



КБК

КАРАЧАЕВСКО-БАЛКАРСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ

СЕРИЯ «КАРАЧАЕВО-БАЛКАРСКАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ КЛАССИКА»

ФОНД «ЭЛЬБРУСОИД»





*«Не падай, дабы не унижить
наступивших на тебя»*

Борис Магометович Чипчиков родился в 1948 г. в Киргизии, где жил до 1958 г. Родиной считает Киргизию, сейчас живет на земле своих предков. Окончил истфак КБГУ. Инструктор горнолыжного туризма. Член Союза писателей РФ, был ответственным секретарем писательской организации Кабардино-Балкарии. Автор книг «Возвращайся свободным», «Нерестились рыбы в свете лунном», «Улыбается Боже». Живет в Нальчике.





*К 60-летию со дня
рождения писателя*

Б. М. Чипчиков

*«МЫ ЖИЛИ РЯДЫШКОМ
С ГРААЛЕМ»*


Москва 2008





УДК 821.512.142

ББК 84(2Рос=Балк)

Ч 63

Книга издана фондом «Содействие развитию карачаево-балкарской
молодежи «Эльбрусоид»

Президент Фонда – **Тоторкулов Алий Хасанович**

Чипчиков Б.М. Мы жили рядом с Граалем / Б. М. Чипчиков; Сост. и ред.
Ф. И. Байрамуковой. - М.: Эльбрусоид, 2008. – 528 с. – (Карачаево-балкарская
-энциклопедия. Карачаево-балкарская литературная классика).

ISBN 978-5-91075-007-8

В книгу талантливого балкарского писателя Бориса Магометовича Чипчикова вошли повести, рассказы и миниатюры, написанные им на русском и карачаево-балкарском языках. Сборник составляют произведения разных лет.

В приложении даны отзывы и рецензии известных литературоведов и критиков на творчество писателя.

Эта третья книга из серии «Карачаево-балкарская литературная классика».

ISBN 978-5-91075-007-8

© Б. М. Чипчиков, 2008

© Фонд «Эльбрусоид», 2008





Посвящается моей жене Лейле

Возвращайся свободным

Повести и рассказы







ВОЗВРАЩАЙСЯ СВОБОДНЫМ!

Горное село. Страна моя с лицом моей мамы. В старых домах живет тепло давным-давно умерших сынов твоих. Суетному, городскому сердцу ты – лекарство.

На неоструганном сосновом бревне, накинув на иссохшие плечи худой тулупчик, сидит старик. Видел его весной в белой рубашке среди яблонь цветущих, молился или просто беседовал со звонкими скалами. Лицо у него, как зеркало.

В этом же селе живет одинокая женщина Жансурат. Ее муж и два сына погибли на войне. Она живет назло бедам своим. Хозяйство у нее маленькое: небольшой домик, крошечный огород, низкорослая коровенка и грустный осел. Несмотря на старость, она сама возит из леса дрова, не слишком загружая ослика, своего друга и частого собеседника. Приезжаю я к ней, убегая от нескончаемых забот городских. Стеснясь, присаживаюсь к ее маленькой печи, и мне все кажется, что я впитаю в себя часть тепла, которое ей предназначалось.

– Как живешь, Жансурат?

– Да так и живу, жизнь в одну сторону, я в другую. Живу, чтобы скотина не подохла. Осенью картошку продаю, чтобы сена купить, ведь косить некому. А так счастливая я, некому стирать, готовить, живу беззаботно. Мне много самой-то не надо, что есть, тому и рада. Зимой вот тяжело, думы одолевают. Зима согревается, прислонясь к домам нашим, из труб сельчан струится дым веселый, а из моей трубы лишь мое дыхание холодное, вперемежку с нехотя выползающим и лениво стелящимся дымом. И спит село мое, уставшее от дня нелегкого, и луна тысячерукая,





пробиваясь сквозь оконную изморозь, убаюкивает сельчан моих.

Живу. По осени картошку продам – куплю муку. Живу, когда почтальон придет да протянет пенсию. Слава Богу, и колхоз вот помогает, недавно выдали пять килограммов масла подсолнечного и мешок отрубей, вот иногда и балую ослика своего Муслима. Живем. Слава Богу, войны нет. Вот в Чечне, правда... Включаю радио – поют, а мне как-то неловко, вроде сама на похоронах пою. Но, Бог даст, утихнет, умиротворится, а то кости болеть больно стали. Война внутри у меня комом, – троих забрала – все, что было. Так-то, сынок... Ничего, хлебушек у нас есть, одеть чего имеется, никто не помыкает – чего не жить? Детям в последнее время конфет мало раздаю, – дорогие. Если здесь ребенку сладко, то и умершие умиротворены. А дети какие красивые пошли, – раньше один-два на все село, а сейчас – что ни дом, то полно красоты. С чего им красивыми не быть. А нашим детям – не так было. Советская власть, колхозы пошли, все на работах. Тогда инвалидов не было. Дети малые были – в колыбелях. Идешь на гору сено собирать, – колыбели эти с собой волоочишь, отнесешь одну, бегом за второй. Дома – только ночевали. Потом война, выселение, возвратились – обустраивайся. Вся эта мерзость – в кровь да на лицо. Откуда детям красивым взяться?

Мы ели траву-кисличку да запивали барбарисовым соком, арбузы со шкурой поедали, голо было, ни фрукты какой, ни овощей. Отцы в кошарах пропадали, матери из-под коровы вылезти не могли. С чего красота-то, сынок, откуда взяться ей?

Жаль вот родственники редко проводят. Родственник, видно, как ветер: слышать – слышишь, а видеть – не видишь.

А поутру два друга, две родственные души, любимцы Бога – Жансурат и ослик Муслим, бредут по бесконечной мерзкой дороге в сторону дальнего леса, идут налегке, а выходят оба груженные. Вечерком пьем с ней чай.

– Слышишь, сынок, во дворе ветер играет с брошенной бумажкой, звук ее напоминает мною прожитые годы. – И светлые глаза ее наполнились слезами.

Как-то встретил ее: нарядная, веселая...

– Куда собралась, Жансурат?

– Сказали, нам волю дают, вот иду голосовать.

– Возвращайся свободной! – крикнул ей вослед...





АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК

Але Федосеевой

Иду с гор через буковые леса. Стою на опушке, где когда-то стояли замки, лаяли псы, надрывались трубы, деревья тоже когда-то ходили, они пришли к нам оттуда, куда идем и идем мы и никак не можем дойти. Деревья устали и стоят разочарованные, они ожидали большего. Ныряю в речку, в глубокую заводь, на воде листья, на берегу камень, сестрица Аленушка. Голова под водой, почти у поверхности, лицом к солнцу, узнаю, откуда пришли деревья, до слез хочется уйти. Пробираюсь сквозь тяжелую лесную думу. Трасса. Машины. Лица. Осень – женщина в белом – анестезиолог. Машины навстречу, машины вслед. Сигнал. Визг тормозов, черный след на асфальте, шофер держит палец у виска, вряд ли застрелится, наверное, у него дети несчастные. Около дома на лавочке бабушки под ивой ругаются, машут кошелками. Лениво думаю: не ругайтесь, милые, ведь жизнь – это не навсегда. Солнце на лоджии, паркет, мухи дремлют на абажуре, книжки на полках, подобранные по цветам. Мои куда-то ушли, на голом столе клубника в бледной тарелке. Пастернак очень похож на Лермонтова – взгляд исподлобья. Утекаю в ушедшие года... Конец марта. Одичалые деревья. Неожитая деревушка. Сундук на полу в куче мусора.

Железная кровать с шарами, вовек из нее не выбраться. Март, тягучий и бесконечный, насквозь пропахший хлоркой. Март очень провинциальный, мне его жаль, заодно и себя. Мама побелила комнаты и ушла радостная, довольная. Первый день на Родине, на их Родине. Пахнет известкой, на полу белые пятна, на столе две тарелки, одна прикрыта газетой, другая тарелка, черная, как толь, – радио. Есть не хочется, не верится, что радио когда-нибудь заговорит, не верится, что кто-то зайдет в мою комнату, даже не верится, что вернется мама.





Побелили дома на главной улице, белые пятна на асфальте; дома, больницы, люди куда-то ушли, и неизвестно, вернутся ли? Бреду в билльярдную. Стук шаров, червонцы из рук в руки. «Иван, здоров, ну, как теща?» – «Нормально». Звуки неживые, выбеленные. Осень уносит маленькие дома и заборы, подвальчики с вином, бабушек и скамеечки, и семечки, скоро весь мой одноэтажный город утечет и сгинет, и будет возвращаться ко мне, пробившись сквозь черно-белый сутроб, веточкой вербной.

В парке фотографии, бездомные, идти некуда, все снимаются. Фотографы надежней календарей, зеркал и часов; если старого нет, а на его месте стоит молодой, значит, ушла эпоха, моя эпоха. Так и есть, молодой, весь в «варенке» и «манке», – не мое. Все фильмы отсняты. Бобины на полках. Люди в халатах меж стеллажей. Осень. С витрины фотоателье смотрит Мадонна. Тигры на снегу, а когда-то отсюда смотрел на меня молодой Кадочников, в фуражке «под перепелку» с резиновым козырьком, эти фуражки любили вратари. Яшин. Факелы на стадионе, все прыгают, обнимаются, целуются, будто Пасха, Иисус воскрес. Лайма Вайкуле. Раймонд Паулс в объятиях, вернисаж в мини-одеждах. Литва без бензина. На крышах Таллинна трубочисты в цилиндрах. Дюны. Домик с красной крышей. Ели. Печь в белых плитках. Стерильно. У нас все по утрам пьют кофе. Эстонский язык, гласные плавают согласные. А у нас осень. Стадион пуст. Прожектора в осколках. Меж пустых рядов бродит пес и лениво катает носом бутылку. Звон. Приборов не надо – трясет планеты. Пес с расшатанной генетикой. Депутаты, невзирая на осень и лица, мордобойствуют. Есть и интеллигентные от общественных. Лишь бы народ был счастлив. Народ пьет «Осенний сад». Неделью голова полна запахов. Леса. Дачи, дачные улочки, пузырьки из-под одеколona. Съезды. Сны с разбойниками. Улицы прямые и пусты, с разгона, со всех сторон врезаются в белые скалы, те пока стоят. В одной руке у меня газета, в другой – сказки, включенный приемник у ног. Осень. Андерсен. Сказки. Мюнхен. Желтая машина с белой надписью – краски. Чегем. Сельпо. Скалы. Из темной Вселенной азбукой Морзе – Аля, Аля, Аля.

Что привезти тебе, доченька, из стран заморских?

Привези мне, батюшка, аленький цветочек.





Аля Федосеева. Радио «Свобода».

Банки. Тресты. Мафия. Рынок. Солженицын – куда идти России и другим?

Максимов с «Континентом» под мышкой. Синявский прогуливается с Пушкиным по берегу Сены.

Аля Федосеева. Радио «Свобода». Мюнхен.

Привези мне, батюшка, аленький цветочек.

Саддам Хусейн – гроза империализма. Палестина. Площадь Тяньаньмэнь. Валенса на чугунном коне. На Привозе в Одессе биндюжники сплошь коммунисты – место доходное.

Аля Федосеева. Радио «Свобода». Мюнхен.

Суверенитет в составе. Президент Узбекистана. Пообносились бабы Малявина. Чернобыль. Черны березы Есенина.

Аля Федосеева. Радио «Свобода».

Дубы – на дачи. Кабаны роют столбы телеграфные, коты в отчаянии – помойки в прошлом, и сказка из прошлого – зерно России.

Аля Федосеева. Радио «Свобода». Мюнхен.

Убили Меня – богатый был. Ограбление. Патриархи выразили сожаление, священники в горе. Стреляют в корреспондентов, патроны вышли. Телеграмма Хусейну: вышлите обратно наши снаряды авангардные. Некоторые в субъекты не вышли из-за малочисленности. Базары закрылись, в каждом подъезде, в каждой квартире бушуют рынки. В Амстердаме – тюльпаны. Подслушивающие устройства глушатся разговорами о мануфактуре, колбасе и селедке. В Мюнхене бастуют люмпены: пенсия крохи – тысяча марок, разве что долететь до Гавай, устроить съезд, переименовав его в конференцию, не дожидаясь консенсуса, выработать генеральную линию.

Аля Федосеева. Радио «Свобода». Мюнхен.

Картина Врубеля. Мефистофель верхом на саранче. В комитет по гигиене хлынули деньги, на духи сингапурцам. Жена Нельсона Манделы окружила себя головорезами. В Соуэто порядок – черные режут черных под лозунгом «долгой белых».

Аля Федосеева. Радио «Свобода». Мюнхен.

Забычивы империалисты, в Афганистане войну не объявили –





некогда было, плели интриги, миллион убили, два ранили, три разогнали. Бедные советские мамы, их дети поют о бывшей пустыне, ныне сплошь зеленой. Литва, воспоминание об Афганистане. Убили – спели. Спели – убили. Вначале было Слово, и слово было – больно.

Аля Федосеева. Радио «Свобода». Мюнхен.

Шахтеры устали от страны и от угля. Хорошо, не успели уничтожить буржуя последнего. Империалисты кормят здравомыслящих. Победителям от побежденных. Всем! Всем! Всем! – на охрану гуманитарных посылок.

Аля Федосеева. Радио «Свобода». Мюнхен.

Крестьян наделили землей, и рухнула перспектива. Фабрики – трудящимся. Рабочие-акционеры – могильщики пролетариата. Ясени ростом с крыжовник: надышались воздухом «Искожа». Что привезти тебе, доченька, из стран заморских? Привези мне, батюшка, аленький цветочек.

Аля Федосеева. Радио «Свобода». Мюнхен.

В России снег. В Мюнхене дождь. Пивные терпеливо ждут путча. Аля в белой шубке, замшевая сумочка, сумочка с бахромой. Соборы как невозможность вернуться. К далекой часовенке. Боже, упокой душу сыночка Коленьки. Запах ржаного хлеба. С мороза к печке. Здравствуйте. Здравствуй, милая. Фройлен чем-то расстроена? Нет, просто дождь, потекли ресницы. Вы очень внимательны, герр прохожий. «Я тоже была когда-то прохожей». Столбы. Провода. Права человека. Аля, Аля. Привези мне, батюшка, аленький цветочек. Аэрофлот. Совместные предприятия, менеджеры. Конвертируемость людей. Туман. Гололед. Духи «Северное сияние». Аля, Аля, Аля.

Букинист Жора из Пролетарского района. Он очень большой и сильный, и, несмотря на это, очень хитрый. Он не читает газет и сказок, не слушает радио, он важно произносит: Додэ. А, привет, абрек, лучше гор могут быть только деньги? Ну а девушки? А девушки потом. Жора – не дурак, думаешь, если Жора на отшибе, значит, он в прогаре? Нет, брат, в полете те умники, что в центре. Меняю пролетариям водку на книжки, пошел необратимый процесс обмена духовности на дух. Вот «Персидские миниатюры» – бутылка водки. Семь томов Додэ – за три бутылки. А рэкетиров не боишься? Да я для этих беспредельных рож – бабушка с семечками. Трясут це-





ховиков, вот у кого книжки – от Талмуда до Пикуля, и материальное, и духовное, и человек посередине, и вышибалам никакой мороки, – все на месте, все по высшему разряду, сервис. Давай, зверь, лучше расхумаримся, а то у меня со вчерашнего легкая абстиненция. А голова ведь не для того, чтобы болеть, и не бежать же с ней в степь, как тот парнишка с фабричной заставы или Орленок, и, найдя белогвардейский клинок, спеть напоследок: вот прилетят орлы да настучат беркутам, ничего себе хрен со спичками, на кого они рассчитывали? Они будут коржики лопать, а я им амбразуры закрывать? Лично я шкурник и не позволю свою драгоценную шкурку... Или пограничник, я бы в пограничники пошел, и учить меня не надо, а там наши рядом, на границе тучи ходят хмуро, вроде над моим магазином они, тучи, лопаются от веселья. Прошли пионеры: привет Мальчишу-Кибальчишу, а Мальчиш-Кибальчиш уполз к своим буржуинам... Пароль при переходе – «Мальчиш-Плохиш», а там уж машины, бабы – не чета нашим выдрам: без тумана, но в штанах, и никто в дверь не ломится и не выламывает, мол, здравствуйте, Георгий, рассвет уже полощется, а не тунеядец ли вы, а, может, какие книжки у вас имеются, я ваш участковый Пименов, а еще лучше – нетрудовые доходы, а ну, посмотрим вашу кровать, а коврик, небось, туркменский, одному ведь не углядеть за всем, а тем паче за собственной жизнью, оглянешься назад, и досада: живой, не отдал ее за идеалы призрака, давным-давно бродившего по Европе. Одна голова – хорошо, а две – лучше, а коллективные головы – совсем хорошо, вот написали тут на вас, с ошибками, правда, а все понятно. Ну ты чего, мужичок, что, не видишь – перерыв. Да ты чего, чердак, что ли, протекает, это не буфет, а, слава Богу, книжный магазин.

Что? Маркес с Айтматовым? Так бы и сказали, а то размазываешь сервелат по шоколаду; волокни. Клиенты мои совсем ошалели: выпить ему, видите ли, потом скажет – закусить, а потом – одень, обуь его, тоже мне! – сын полка. Люблю я их, абрек. «Простота и есть высшая интеллигентность», – как сказал Кайсын Кулиев. Что, не так, зверь? Ну, если что не так, то дернем, а если так – клюкнем. Будем счастливы – все остальное приложится. Что есть жизнь? А, зверь? Хочешь в девяти словах? «Наша жизнь есть то, что мы думаем о ней», – сказал Марк Аврелий, считай, что и мой мухур под его словами. Книги, брат, это





друзья, помощники, я бы сказал, за которыми далеко бежать не надо, они всегда под рукой и всегда помогут. Ну что – по второй? Вот мерзавцы, что с ними построишь, разве что второй Беломорканал, точно с шанхайского крана плеснули, там у них лужа библейская, может, с нее самой и подмолодили водочку. Не горюй, зверь, гляди веселей, как говорил Уильям Джейм, а что говорил Уильям Джейм? Не знаешь, абрек, в горах таких книг не бывает, а он говорил: «Если вы опечалены, вы не сможете сразу развеселиться, но если вы будете сидеть, двигаться и говорить с веселым видом, вы невольно воспрянете духом». Вон, гляди, сколько «мерседесов» вокруг, не наши лягушата, гляди, радуйся; в машине телефон – але, кабак? Хочу жареных галушек, скорость оплачивается, и несется человек с подносом; а школьник у вас нет случая? А? Зверь, согласился бы на жизнь такую? Но вначале штаны нормальные приобрел бы, а, зверь? Только не надо про Теккеря, согласился бы! Знаю я вас, грустных пингвинов, небось дорветесь – потом не оторвать вас никаким тоталитаризмом. Сейчас, зверь, тут какая-то шкура пришла, может, с чем интересным.

«Шкура» одета в ситцевое платье, у меня слабость к ситцу – на человеке ничего лишнего. Глаза. Достоевский. «Бедные люди». Беременна. Держит за руку дочку, дочь стесняется, прячется за маму, мама смущена, будто деньги просить собралась. Громадный Жора восседает за столом, вокруг книжки – фотомонтаж «мы при культуре», большие руки на столе, вялые. Я не представляю в этих ладонях спелые вишни.

Вы не взяли бы Достоевского? Я с дочкой в магазин пришла, дай, думаем, зайдем, может, возьмут, мы никогда ничего не продавали, а тут – дай, думаем, зайдем. – Конечно, возьмем, о чем разговор.

Двери тихонечко затворились, через витрину вижу кусочек трогуара и две сестры – мать и дочь – бережно несут третьего. Осень. Ну, привет, Жора, пошел и я, домой надо. Зверь, но ведь так не делается, за это раньше резали, ты ведь законы знаешь – двое торгуются... Подожди, посидим, приговорим еще пузырь. Привет, Жора, не могу. И несусь вслед ушедшим. Что ты хочешь, купить Достоевского? Купить Достоевского, купить Достоевского, тьфу ты, затараторил, ощущения перемалывают слова, уничтожая их, будто курица переваливает. До-гнал. Не знаю, что им сказать, как с детьми. Смотрят. Мать и дочь.





Картина Брюллова «Итальянский полдень». У женщины и винограда общая суть. Удивление. Недоумение. Неприятие. Может, не будете продавать. Да нет, мы продадим, мы уже читали. Пришел Достоевский. К большим нельзя прийти – они приходят сами. Продают книжки. Господи, прости меня, беса. Мы все равно продадим, хотите – купите вы, только подождите здесь, а то у меня муж ревнивый. Сажу в песочнице, жду, прогуливаются вороны, этикие мудрые старушки. Русский язык. Озон над головой на высоте недоступной.

Ковыль. Кони. Недоумевают Толстой: почему я верхом на лошади? Наташа Ростова – дочь Достоевского, нежные руки на усталой голове.

Осень. Песочница. Вороны. Двое первоклашек – в школу: говорят, Нинка – уличная, врут, она за деньги шлюха.

Заборы в железную клетку отделяют дома жилые от детского сада, оградили, наверное, чтобы во дворик не сели перелетные птицы; корявые обломанные деревья, по узкой дорожке катит старая серая детская коляска, в ней десять книжек Достоевского в сером переплете, за ней две сестры – мать и дочь, бережно ступая, несут третьего. Тел не видно. Глаза. Осень. Гуттузо. Не знаю, что и сказать, как с детьми. Сую червонцы и, прижимая к себе книжки, бреду домой. Осень. Кончились сигареты, в магазине при виде книг кинулась ко мне очень интеллигентная женщина, в испуге прочитала фамилию автора, с жалостью посмотрела на меня материнскими глазами, и какая-то силища приподняла и отшвырнула ее в сторону. Осень. Солнце на балконе. Мухи спят на абажуре, клубника на бледной тарелке, день по капле утекает в осень, и осень втекает в день.

Пришла мама, сидит на детском стульчике, моя мама, моя дочь, моя старенькая белоголовая дочь. Я глажу и глажу ее по голове, виноват, она состарилась без моего присмотра. Осени одна за одной: то купчихой, то старухой с клюкой, золотой девой, хилой девочкой. Осень – проигрыш в тотализатор, – ускакали кони, деньги в окошко. Смотрю на серые томики и думаю о моих дочерях в Мюнхене, в Пролетарском районе, в собственном доме и о сыне-букинисте. Русь – золотое блюдо, а в блюде том – золотые книжки, любовно одетые в серые одежды.





И СВЕТИЛО, И ГРЕЛО...

Книжный Кавказ был четко графичен, с какой-то акварельной сутью. Азия вся из бликов, вся горит разноцветьем: тополя, сирень, дремлющая киргизка на лошади. Мои детские внутренние блики купались во внешних бликах.

Родители жили на моей Родине, сейчас я живу на их Родине.

Узловая фраза в судьбе.

Сажали дерево без корней и удивлялись, почему оно не растет. Ностальгия по свету и цвету. Ранней ранью жеребенок, по сути, был голубой, а чай в руках киргиза – оранжевый. Ностальгия по трезвой наркотичности Азии. Сбречь обилия мелькающих, переливающихся цветов два были устойчивы – оранжевый и голубой, они и не давали раствориться тебе в обманчивых бликах.

Временность пребывания в Азии питали вечные домашние и уличные разговоры: вот вернемся на Кавказ, вот уж попьем вдоволь из наших родников, вот, вот, вот, вот...

В азиатских бликах растворялась даже «сталинская» униформа. А на Кавказе четкая одежда: валяные черные сапоги, китель с накладными карманами, галифе. Лесные шишки и отрезвляющий, лишаящий враз всяких иллюзий вкус барбариса; все захлопнулось, все знаки препинания расставлены и в конце четкая точка. Без корней. Анархичность. Воспоминания о былом свете, о былом солнце. Будто одинокий азербайджанец на берегу Енисея. И только устойчивые голубые и оранжевые цвета не дают разлететься, раствориться в погоне за частностями. Жизнь на наследство отцов. У предков нет времени на осмысление собственной жизни, событие за событием, одно весомей другого. И вот из азиатского светового сюрреализма падаю в снега Финляндии, мажу собственной кровью линию Маннергейма, вот я на озере Хасан уничтожаю японцев, и пехом через всю Европу – в Среднюю Азию. Любовь и насилие, отвага и мародерство, в общем, герой нашего времени. Тринадцать азиатских лет, потом вновь Кавказ, строю дом и не один. Стройматериалы, пот – вот все наследство. Разбираю наследство отца и коплю свое – сбор и складирование личных бед тому, кто придет после меня. «Отцы ели кислый виноград», и дети ели кислый виноград, и внуки будут есть кислый виноград... И ни у кого не будет времени на оскомину.





НОСКИ

Пришла осень, будто давно ожидаемая женщина пришла. И ты, как всегда, не готов к встрече. Домик твой не прибран, на столе ни хлеба, ни цветов. Ущелье будто расширилось. Деревья заснули, то ли глубоко о чем-то задумались. Усталые горы присели бы, да некуда. Стих рёв голубой горной реки, и она, одевшись в покорную зелень, по обрыдшему пути идет неспешно на встречу с морем. Цветы постарели, стали ярче, напоследок, что ли, разгорелись. Я сидел под деревом прямо в центре турбазы. Лето вышло из меня, осень растекалась вширь, едва меня касаясь. Женщины поменяли штормовки на платья, и это удивляло, они готовили себя к новой жизни, как бы тренировались, примерял маски для той, другой совсем жизни, от которой отделяли их какие-нибудь десятки километров; они ходили, и в их походках исчезало что-то туристское и появлялось нечто бульварное. Сказочные летние существа эти женщины: тяжело, уж сил никаких, а она достанет помаду, сотрет все невзгоды, улыбнется и поцокает дальше, и конечно, на встречу с лучшим.

Деревянные финские домики уже почти не пахли помадой, духами, сигаретами и водкой. Они пахли сыростью и олифой. Запах сосен, красные гроздья рябин на склонах гор, предсмертная яркость цветов, слоняющиеся по турбазе последние туристы – все это смешалось во что-то густое, но прозрачное, и если возможны светлые похороны, то это и был тот редкий и, быть может, единственный случай таких похорон – хоронили лето.

В далеком поезде плакал Визбор: «Опять я Баксаном люблюсь, как сказкой прошедшей, прекрасной и неповторимой, веселой и щедрой, совсем по-кавказски, и чуточку грустной, как повести Грина». И эхо этой песни грустью растекалось по нашей далекой турбазе. Будто из сказки, из леса, только что родившись, среди сосен и берез появилась знакомая девушка. Шла, сжигая огненной гривой окружающее уныние, в синих глазах ее по весне, по степи необъятной неся ошалелый табун вольных лошадей, и только где-то в глубине их затаилась грустная рысь. Идем среди молоденького леса, в народе его так и зовут – «молоденький», он чуть постарше меня и ровесник беды нашей, когда





нас вырвали почти что с корнем. В тот год пересохла река наша, чего никогда с ней не случалось, после засухи грянули ливни и сель смел в одночасье старый лес. Успел он вырастить несколько поколений – укрывал от дождя и холода в домах, сделанных из плоти своей, укачивал в колыбелях своих и ушел с нами, погребя семя свое под белыми, величиной с яйцо, камешками. Красота любит менять лик свой, были деревья, потом камни, сейчас вновь лес, что будет завтра?

– А я вот читала Пушкина и Лермонтова, а понимаю Кавказ, когда смотрю на коробку «Казбека», и оживают абреки, и таинственные горянки; в этой маленькой картинке многое уместилось, словами и не передать, воли много и давней, уж выветривающейся, чистоты. Как мне не хочется уезжать, – и глаза ее стали серыми. Когда ей хорошо – они голубеют, чуть что не так – сереют.

– Да и мне что-то не хочется в город, видно, тому, кто родился в деревне, уж не стать горожанином.

– А в село чего не переедешь?

– Да и там я чужой, ни пахать, ни сеять, ни толком готовое съесть. В общем, ни украсть, ни покараулить. Да и на завалинке нужно подолгу высиживать, а я неусидчив. Оградить бы это место, пригласить всех, кого любишь, и пожить бы до надоеду в такой резервации.

– А меня пригласил бы? Ведь ты даже имени моего не знаешь.

А зачем мне имя, я знаю тебя по пачке «Казбека». Хотя человека знают лишь Бог и женщина, как сотворцы его. Идем по «молоденькому» лесу, из которого в завтра, в города выталкивает нас осень. Будто из бани – да в грязное белье. Мы так долго убегали из городов и социализма...

Попытка сохранить душу грозила гибелью плоти, а сохранение плоти – гибелью души. Мы бежали за синим троллейбусом Окуджа-вы, пытаясь ухватиться за поручень последнего вагона. Мы у костров отогревали те крохи, что уцелели от души, пели, как гимны, песни.

И осень нас выталкивала, гнала, прочь – в бесприютность, безденежье. Мы шли по «молоденькому» лесу, в последний день лета, в предпоследний день свободы. Сиротство.

Идти не к кому, некуда, да и идти уж не хочется в эту урбанизированную тундру, в скопище надутых манекенов. Идти нам было некуда, и мы шли друг к другу, два оборвыша, две сироты. Потом был вечер,





был сильный дождь, была моя комната, моя постель, наша постель. Она подошла к окошку, где стояло большое зеркало, и вдруг грохнула его об пол и, сидя среди битого стекла, на полу, плакала. А постель была потом, мы забрались в нее, как в какое-то убежище, избегая всех и всего. Долго молчали, потом она тихонько шептала: «Не хочется уезжать, возвращаться в конуру, где живет подруга Лидка, которая смотрит мужчинам в зубы: если они здоровы, значит, дружить можно, если нет, то – прощай, милый. И как я с ней жила, Господи!

Я еду туда, где всех знаю, и знакомых и незнакомых. Вою жизнь жила, мечтая: встречу когда-нибудь незнакомого человека. Тяжко, когда все кажутся знакомыми. И мне кажется, что я встретила».

А за окном дождь, холодный, наверное, осенний дождь в горах. Всю ночь дождь, ей хотелось, чтобы он не кончался. На улице раскачивался фонарь, освещая верхушки сосен, они сгорбились, слегка покачивали мохнатыми лапами, что-то шептали, и ей казалось, что это не сосны, а души давным-давно умерших людей. И нашептывали души: все не так, все не то. Сосны нагоняли на округу таинственность, и необычность эта вползала в комнату в постель. Она плакала, тесно-тесно ко мне прижимаясь, желая как бы раствориться во мне. Нам обоим не хотелось утра. Холодная капель билась в пористые бетонные ступени и как бы успокаивала нас: ничего, до утра далеко. Ее проклятая память, как огненная полоса, выжигала в голове и сосны, и дождь, и тепло незнакомого, и очень близкого человека. Ее голова наполнялась сибирским ветром, маленьким кирпичным заводом на краю большого города и бабами в ватных штанах и телогрейках.

Она всеми силами старалась гнать завтрашний день и в испуге быстро нащупала мою голову и гладила ее, гладила, убеждая себя, что не сон это, а самая настоящая жизнь и есть кто-то рядом, будто последний из живущих. Мне передалось ее состояние, и я до ломоты костной жалел ее. Полоска рассвета слегка осветила огромный шифоньер, пепельницу с окурками, графин с водой, засверкало на полу битое стекло. А она сквозь слезы: «А дети у нас были бы красивые». – Это она пыталась избавиться от дня вчерашнего, связав день сегодняшний и завтрашний. Она судорожно цеплялась за свой, за наш день и все шептала: «А дети у нас могли бы быть красивыми». Она ждала от меня слов, что день прожит не зря и это не просто день, а выкройка, быть





может, жизни всей. Тогда я еще не знал, что женщина всегда права. Не знал, что, если мужчина будет мужчиной, все остальное приложится. Не знал, что при всей завершенности и самодостаточности женщины, ее до конца дней из глины сырой лепить и лепить, а, вылепив этот кувшин, надо его еще заполнить, не чем попало, ибо хлебать-то самому придется. Не знал, что мужчина должен сказать слово, поддерживающее день сегодняшний и выкупающее день завтрашний. Я много чего не знал. Я привык бежать, а бегающий бежит налегке. Я считал, что жить – это уклоняться от жизни! На могильной плите Григория Сковороды его же слова: «Мир ловил меня, но не поймал».

И я ничего ей не сказал. И она ушла, утопая в сугробах снега, неожиданно выпавшего за ночь. Она шла в прошлое, унося с собой лето, шла, прокладывая какой-то поворот, какую-то тропинку в судьбе моей. Цвели цветы на ее ситцевом платье, горела огненная грива, но исчез из глаз табун свободных лошадей, зараженных весенним бешенством.

Я опустел, как резиновая кукла, и дым сигаретный ничуть не способствовал моему наполнению. Я ступил на порог в босоножках: другой обуви не было. Валялись в углу комнаты дырявые резиновые сапоги, но я о них забыл. Ноги утонули в снегу. Я стоял и думал: завтра в город, нужны ботинки, пальто, на что покупать – непонятно; толкаться в переполненных автобусах, кому-то наступать на ноги...

А в притихшем лесу ели, березы, чуть покачиваясь, слушали мелодии Дворжака. А по радио чей-то очень деловой и значительный голос объявлял: «Внимание спасотряду: пропал турист из пятнадцатой группы – Кузьма Соловьев. Всем, всем, всем – на спасработы».

Минут через десять, вытянувшись в струнку, опоясанные веревками, кошками и еще Бог весть чем, протопал отряд спасателей, лица – как перед штурмом Эвереста. А за домиком в пушистом снегу лежал пропавший, лежал, блаженствуя, сбивая температуру. Он не окликнул, не вернул отряд. Пьяный, а знает: нельзя в людях убивать чувство собственной значимости. А по радио чей-то приятный голос пел: «Не жалею, не зову, не плачу...» Я стоял и слушал, и понимал эту песню как никогда. Понимал, почему все обездоленные любят примерять собственные души к этим словам.

И, дробя есенинские слова, в лесу, совсем неподалеку, раздавались какие-то глухие удары о дерево. Поплелся, не знаю зачем, на эти звуки. Под сосной стоял коренастый, широкоглазый мужичок с громадным





камнем в руке. И как он умудрился в этих сугробах камень отыскать? Он бил этим камнем по дереву, задрав голову вверх, а на макушке сосны сидела, скукожившись, перепутанная белка.

– Дядька, ты чего творишь?

– Как чего, не видишь, белку сшибаю. Если долго стучать по дереву, то она обязательно свалится. Я сам из Комсомольска, правда, я тигролов, но и белок потягал из лесу не один мешок. А что – пять штук – и, глядишь, шапка сыну. Будет обнова.

Я засмеялся.

– Что смеешься-то?

– Так ведь белки не в мешках, а на деревьях.

Мужик загоготал.

– Так ведь они на деревьях, пока в мешок не угодят. Уж я-то знаю. орден Дружбы народов имею за истребление хищников, депутат областного совета.

– Знаешь что, мужик, сшиби и мне на фуражку, дай пройти по главной улице во всей красе, авось, кому понравлюсь, тем более терять нам с тобой нечего, мы с тобой, можно сказать, личные враги Творца: ты вот белку сшибаешь, а я человека только что убил.

– А ты веселый, как я погляжу, – сказал он с угрозой.

– А ты ловок больно, одним ударом хочешь сшибить и шишку с дерева, и шубу с неба. И как это ни смешно, а многим удается. Уж ты-то и наешься, и оденешься, да за все это кого-то и в тюрьмустроишь...

Хотел я плюнуть, да снег был больно чистый.

Вернулся в комнату, курю, укутавшись теплым одеялом. На полу среди капель крови и стекольного крошева валялись носки, веселые такие. На пальме сидела обезьяна, смотрела на меня и хихикала. А в соседнем доме мужики, успевшие выпить, пели: «Не жалею, не зову, не плачу...»

А я жалел и плакал. Жалел о годах, прожитых в бегах. Жалел, что побег из рабства так долог и бесконечен. Жалел, что не вытащил ее из прошлого. Жалел о погубленном мною табуне вольных лошадей, скачущих наперегонки с весенней горячкой. Жалел рысь, утопающую в бесконечных снегах, мечтающую ощутить жар золотого песка. Скорбел о погибшем безвозвратно тигролове. И просил Господа Бога, чтобы он сотворил для нас хоть один нормальный день, пусть не по заслугам нашим, а подарка ради...





БЭЛЛА

Поезд вот-вот должен тронуться, вбегаю в плацкартный вагон, и меня останавливают необычные глаза, какие-то древние-древние. Они как бы говорили: «Ну, что суетишься, маленький человек?» У меня щелкнуло внутри! Подошел к ней, погладил по голове и говорю: «Здравствуй, Бэлла». И она нисколько не удивилась, смотрит на меня, будто давным-давно меня знает и просто отвечает: «Здравствуй».

Бэлле лет 13–14, на ней дубленка, аккуратненькая, с очень красивыми узорами, джинсы. Она сидит в окружении женщин-телохранительниц, окутанных в большие шерстяные шали – одни глаза, злобно меня изучающие. Вагон чеченский, а у них законы строгие. Может так случиться, что погладишь женщину по голове в последний раз.

Где я видел Бэллу? Лицо ее напоминало мне что-то хорошее в моей жизни. Я часто ее видел и вижу в своих снах. Глядя на Бэллу, я вспоминаю детство. Мы жили в Киргизии, помню нашу маленькую комнатку с земляным полом, где пахло слегка сыростью, жареной картошкой и индийским чаем. Какой был чай! И все это пахло чем-то очень таинственным, прошлым. Этот запах ношу в себе и по сей день. Мне пять лет. Мама приходит с работы, усталая и грустная, наскоро перекусив, зажигает керосиновую лампу и читает мне книжки своим тихим, уютным голосом. Много путешествовал я, не выходя из моей волшебной комнатки. Был на необитаемом острове с Робинзоном, со Зверобоем совершал подвиги в Америке, отправлялся с Печориным на Кавказ.

И что интересно – мне кажется, наша комнатка меняла запахи в зависимости от того, что читала мама.

Свет лампы, смысловой дух книги, внимательный взгляд отца – все это как бы уравнивало нас в возрасте, я не чувствовал себя малышом, я взрослый человек, пытающийся познать доселе мною неизваемое. Особенно я любил «Героя нашего времени», наверное, оттого, что мама читала ее с большим теплом, чем другие книги.

Мне было жаль Бэллу, а мама плакала и сквозь слезы говорила: «Ничего, сынок, Бог даст, поедем на Кавказ, там и наш дом. Мы сходим на могилу Бэллы».





В словах «Кавказ», «Бэлла», «Печорин» было что-то очень высокое, значительное и загадочное, и почему-то холодное. Как мне хотелось на Кавказ! Позже, в «Кортике» прочитал простенькое предложение: «Мать с отчимом уехали на Кавказ». Сколько музыки в этих словах!

Я все приставал к матери, когда мы поедем на Кавказ, и, как мне кажется, усердно налегал на слово «Кавказ». Мне казалось, что на Кавказе все будет хорошо и счастливо. Мне казалось, главное – приехать, а остальное пустяки. «Скоро, сынок, скоро поедем», – говорила чуть не ежедневно мама. А друзья отца, солидные и строгие мужчины, убежденно говорили: «Будет и на нашей улице праздник». И я, глядя на них, ни капельки не сомневался – будет праздник на нашей улице.

Я сделал большое открытие, понял, что некоторые книжки не пахнут и не звучат. Мама прочитала «Над Тиссой», помню, что про пограничников и шпонов, что фамилия одного пограничника Смолярчук – и все. Очень меня интересовали слова «точка зрения». Как-то у мамы видел фиолетовый носовой платок с белыми точками по краям, спросил: «Это и есть точка зрения?» – и очень удивился, что ошибаюсь. Не сразу понял, что не всякое слово людям доступно, и, наверное, тогда и уважение к слову появилось.

Были у меня и огорчения, чуть ли не беды. Каждое воскресенье отец запрягал грязно-белую кобылу и ехал с мамой на базар во Фрунзе. Отправлялись они рано утром, так рано, что я не знал, когда они уезжали. Я просыпался; день в разгаре, а дома ни души. Тоска. Шел по шоссе и все поглядывал в сторону города, ждал отца с матерью, и только поздно вечером слышался грохот телеги. А вечером мама заставляла мыть ноги в арыке, а вода к вечеру в нем о, какая холодная, и суешь ноги будто в йод.

Однажды мама пришла взволнованная и очень радостная. «Все, сынок, прощайся со своей родиной, поедем на нашу общую родину. Ты, конечно, сюда вернешься, но это будет не скоро». Я, радостный, долго бегал по нашему огороду, обжигая ноги о желтоватую, всю в трещинах, твердую азиатскую почву. Я бегал, пока не устал. Потом я подумал, что не так, наверное, надо прощаться. Весна. Вся земля в маках красных, казалось, горит все вокруг и огонь этот упирался в белые-белые горы, а такого голубого неба я больше никогда в жизни не видел. И вот я впервые в поезде. После нашей степной, сонной деревни





вдруг поезд, множество домов на колесах, и все это едет так странно и необычно. Целыми днями бегал по поезду, щупал каждый поручень, удивлялся всякой гайке, пока не привык. Помню, на опушке соснового леса стояли дети, одетые во все белое, и с ними женщина, тоже во всем белом, и все они махали вслед поезду белыми панамками. И часто в жизни, когда мне нужно сделать выбор, я вижу зеленый лес и детей в белом, им сейчас по сорок; как сложилась их жизнь? Останавливались на какой-то маленькой станции, к которой примыкал сосновый лес, люди приносили с собой по веточке, и в поезде хорошо пахло. Мне тоже хотелось такую же веточку, но мама сказала: «На Кавказе много таких деревьев, они еще надоедят тебе».

Конечно, думал я, на Кавказе и чтобы что-то да не росло. Два дня были в Москве. «Почему так много людей, – думал я, – и куда они все бегут?» Было в этом что-то ненормальное. Хотелось пить, и мама купила мне нарзан. Я сделал несколько глотков и больше не смог, попросил у мамы простой воды, а она говорит, что все здесь пьют только такую воду, и жалость моя к москвичам еще более усилилась. Да и как можно было не жалеть людей, пьющих такую воду. Две недели уже едем, и всюду на маленьких и больших станциях вижу женщин, продающих яички, пирожки, огурцы, капусту. Это были не торговки, а кормилицы наши; кормилицы российские, – от Азии и до Кавказа, и до самого края земли, – все на них держалось. И одеты они были одинаково – в телогрейки, кирзовые сапоги или боты да в старенькие шали и платки, а некоторые в шинели солдатские. И лица у них одинаковые были – грустные. Видел и другие лица – сытые и тупые, эти брезгливо совали бумажки кормилицам и спешили прочь. Умом я не мог разобраться в этих сложностях, но сердце говорило: что-то не так...

Приехали мы на Кавказ, в город, но из маминых слов я понял, что это еще не совсем Кавказ, значит, нам еще придется ехать. Живем мы на квартире. Квартира – это когда с тобой в одном доме живут чужие люди. Отец уехал ремонтировать наш дом в ауле.

Мы живем среди праздника. На площади открыли памятник женщине. Она стоит с вытянутой рукой, держа какую-то бумажку. Люди ходят со значками, а на значках голубь. На улицах пляшут и поют, весь город в красном, тьма воздушных шариков. А мы с мамой почти каждый день ходим на вокзал встречать родственников и знакомых. Что





творилось на вокзале: шум, гам, смех и слезы; кто-то пляшет, кто-то рядом плачет, из вагонов вываливались люди и овцы, все смешалось. Помню, как один человек оседлал, словно лошадь, паровоз, держался руками прямо за трубу. На радостях он не чувствовал, что горят руки. Лицо чумазое, сверкает белыми зубами, а сам такой радостный, у меня хорошо на душе, – я живу посреди праздника.

Я любил, чтобы книжки мне покупали в ненастные дни. Туман, грязь, воздушные шарики в руках детей, синие, зеленые, под стать погоде. За прилавком, серым, брезентовым, стояла тетя, укутанная всяческой материей, сапоги с галошами, а на прилавке попеременно с туманом, холодом, веявшим от шаров, асфальта, грязи, сверкали и переливались, цвели книжки; они – теплым островком среди бесконечного ненастья; книжки согревали, я физически ощущал тепло, исходившее от них. Желтая, невзрачная собачонка в одной клетке с красным тигром, и жирафы, и кот в сапогах становились значительными и таинственными. А как пахли книжки, смешиваясь с запахом шаров и асфальта, хоть плачь!

Я со страхом думал – вот стану взрослым, и мне придется читать толстые книжки без картинок. Да, хороши были книжки в дни ненастья.

А солнце все обесцвечивало, и такое грандиозное событие – покупка новой книжки – меркло.

Хлеб тоже любил в ненастье. Тогда было много синих фанерных магазинчиков. Дождь, все в плащах, черные зонты (цветных не было), синяя хлебная будка, и из небольшой амбразуры белые руки протягивают единственно обнаженное существо, коричневое и доброе, которое звали коротким, но значительным словом – хлеб.

А базар в дождливый день, старый деревянный базар, мокрые попугаи в тумане, со знанием дела и с большим достоинством дарящие людям счастье, уместившееся в маленькой мокрой бумажке. Мне очень хотелось, чтобы эта странная птица протянула и мне бумажку и мама прочитала бы удивительные слова, которые до сих пор я не слышал. Я нисколько не сомневался, что слова должны быть удивительными, иначе зачем столько взрослых людей ждут с нетерпением своего счастливого мига. Хотелось попросить маму, но чувствовал – не купит, а как хотелось! Я тогда еще не знал, какой я счастливый: в моих глазах умещались и улица, и люди с бумажками, и дождь, и небо,





и те, кому я так завидовал, и курить им можно, пуская дым через ноздри, и сапоги на них со скрипом, и ремни с бляхами, и лица, знающие такое, чего не знаю я, были очень и очень несчастны, ибо кроме бумаги и нескольких слов на ней они ничего не видели, но узнал я об этом, когда сам мог дотянуться до попугая.

Туман и по сей день для меня загадка и чудо. После Азии, где изо дня в день гипнотическое солнце и ты совершенно теряешься среди остальных, и сам я, и люди казались мне слегка оранжевыми; я отдельно себя не чувствовал, все мы были оранжевыми человечками, даже пьяные не могли нарушить всеобщую хмельную оранжевость. А на Кавказе туман, и я впервые почувствовал, что я есть и остальные люди тоже были, каждый чернел в одиночку, не было цвета, объединяющего людей. Мне становилось грустно и хотелось назад, на родину, где все мы оранжевые, те так ясно очерчены, а тут еще большие двухэтажные дома, автобусы и горы, холодно-серые сквозь рваный туман. Странно было видеть в городе опавшие листья, и давят их машины. Жаль. В Азии тоже опадали листья, и на них наезжали машины, но жалости я не испытывал, видно, вечное солнце усыпляло меня, как бы говоря: я же здесь, я вечное, а значит, будут и листья. На Кавказе все мне показалось холодным и серым, елки после оранжевого дурмана отрезвляюще зеленели. Удивил меня индюк. Обгорелая лысая голова, красная кровавая борода, тупые маленькие глазки, не птица, а символ зла. Мне она казалась и вправду посланцем какого-то другого, злобно-го мира. Ишаки мне сразу понравились и очаровали своей безмерной всепрощающей теплотой. Много их бродило на окраине. Меня передегивало, и я наполнялся бессильной злобой, когда мальчишки били их палками по голове и ушам.

Наконец мы дома, в мамином ауле. Дом это две комнатки, затянутые паутиной, штукатурка на полу. Я вышел на улицу, со всех сторон скалы и скалы, и солнце не такое теплое, как в Азии, и пруда даже нет ни одного.

Я так рвался на Кавказ, а меня обманули, привезли и бросили среди камней. Я сел на ступеньки и горько заплакал. Вокруг пустые дома, в воздухе носилась пустота. Мама гладила меня по голове: «Я понимаю тебя, сынок, я знаю, что такое потерять родину, вот вырастешь и поедешь на родину свою, а пока я сошью тебе черкеску и сапожки, и мы





поедем на фестиваль». Она и вправду сшила сапожки и черкеску, и мы приехали в город. Танцевать я не умел, но ни капли не расстраивался. Один раз я видел, как танцуют на свадьбе, бегают по кругу, становятся на носки. Подумаешь, наука, все это я и проделал. Помню, было много людей и они хлопали...

Все это я вспомнил, глядя на эту маленькую девочку. Мое место в середине вагона, Спать не хотелось, я все смотрел и смотрел на Бэллу и не мог насмотреться. Она не отводила взгляда. Мне казалось, что я разговариваю с ней, только без слов, и вообще я даже про себя не мог выговорить ни одного другого слова.

Девочка часто стала ходить в другой конец вагона, то за водой, то просто с полотенцем на плече, хотя вода была рядом. Она всегда шествовала, гордо поднимая голову. Прошло несколько часов, ее охранницы уснули, а она все сидела, даже дубленку не сняла. Рядом со мной сидела упитанная, как-то по-домашнему уютная женщина и, жестоко расправляясь с курицей, посматривала на меня и улыбалась; напротив худой и серьезный гражданин читал газету, временами отодвигал ее, смотрел на меня и тоже улыбался. И из других отсеков тянулись чьи-то шеи с улыбочивыми лицами. Как они похожи были друг на друга. А мне было почему-то неловко и стыдно. Бэлла уже привыкла к своему имени, и я чувствовал, что имя ей нравится. Я ее тихонько окликал, она на миг останавливалась и грустно-грустно смотрела на меня. Немного посидев, она вновь пошла в другой конец вагона, но дорогу ей преградила чья-то мускулистая, волосатая рука. Мужчина спал, вытянув длинную руку во всю ширину прохода. Бэлла могла чуть-чуть нагнуться и пройти, но она взяла эту страшную руку и, спокойно согнув ее, освободила себе дорогу. Все это она проделала очень изящно, и ничто не дрогнуло в ней; она была выше мелких людских страхов. Уже потушили свет в вагоне, только несколько ламп тускло светили в проходе. Домой я приезжал в три часа ночи, оставался всего час. Хотелось подойти к Бэлле, но что-то удерживало меня. Мне казалось, что я снова маленький и мама читает книжки в нашей маленькой комнатке, а днем я купаюсь в пруду с мальчишками и утками, потом мы лежим на горячем песке, любуюсь небом. Поезд остановился. Моя станция.

Падал снег. Бэлла стояла на самой нижней ступеньке, на ее лицо





опускались снежинки и таяли, смешиваясь со слезами. Я ей что-то хотел сказать, но слова застревали в пересохшем горле. Я весь наполнился какой-то гулкой болезненной пустотой. А поезд медленно уносил Бэллу, а вместе с ней частицу меня, мою лучшую часть, но она оставляла себя во мне. Чернело здание вокзала, обнесенное железным забором, светились в темноте рельсы, уходящие в вечность. Свет фонаря падал на запорошенный снегом тополь, надломленная морозом, одна из веток его мерно раскачивалась из стороны в сторону, возвращая меня в будни.





ДВЕРИ

В дом влетела тетка:

– Быстрее собирайся... Умер Асхат... Автобус ждет... Давай быстрее... Поехали на похороны...

«Поехали на похороны», – застряло в голове и удивило своей нелепостью. Ехать на похороны. На похороны надо идти».

– Ты езжай, я сам доберусь, – сказал я. Сказать-то сказал, да забыл, что на дворе февраль, холодина и ветрище с ног сшибает; а идти надо в ущелье соседнее.

И я пошел. Несло меня ветром по ледяной дороге, штормовка и свитер не грели, и запоздало подумалось о шубе.

А вокруг уныние: снег, замерзшие скалы, ломкие стебли прошлогодней травы, и лес, черным пауком впившийся в серую муть неба. Здесь, наверное, никогда не было людей и никогда не будет, и ветер никогда не утихнет, и мне никогда не дойти.

Кавказ, апельсины, пляжи, золотые пески... Да полно, это ж литературные выдумки, вранье. Это какая-то Сахара, убитая ветром и морозом.

Кунак... Почему-то злило именно это слово. Какой там кунак? Для того чтобы был кунак, нужен дом какой-никакой, а здесь... Еле передвигаю ноги, подбадривая себя энергичным словом «идти»; шел и бормотал – идти, идти, потом и это надоело; все – ни назад, ни вперед, ни домой, ни на похороны, лечь на снег, и все... Лег и вижу на вершине горы – кошара. Полз я на гору бодро, там тепло, там что-нибудь прояснится. Стакан чая и теплая шуба вырвали меня из серого ничто, и я с удовольствием слушал речь чабана: «Пойдешь направо, потом налево, большая часть пути позади, а теперь дорога все вниз и вниз и сама выведет к жилью».





Пожалел чабан и дал мне лошаденку, не жеребенок уже, но и до лошади ей далеко. На мне шуба, и я на лошади – значит, доеду. Рано радовался – дорога и вправду вниз и вниз, да сплошным льдом покрытая; на лошадь не сесть, вот и пришлось мне тащить и себя, и это существо непонятное – не лошадь и не жеребенок. Вначале дорога была одна, потом раздвоилась, потом третья, четвертая появилась, и я перескакивал с одной на другую, выбирая менее обледенелую, но таковой не было. Начал уставать, шуба не грела, лицо, обожженное ветром, то нестерпимо чесалось, то болело до крика. Дорог много, и не все они ведут куда мне надо, думал я, коченея, перебирая ногами, помахивая руками, потирая то грудь, то лицо, и случайно увидел в стороне от дороги столбы с проводами, – значит, они и приведут меня к жилью.

Приободрился и, когда опустился на ровное место, даже вскачь пустил лошаденку, и в сумерках подъезжал к дому умершего.

Умер человек.

Говорили, что дней за пять до его смерти обступили, облепили, нависли над ним женщины, кто в сером, кто в черном, а кто и вовсе в красном, и не умереть ему не было никакой возможности. Умер человек, близкий человек, вот холмик земли, а мне не верится, и нет во мне горя.

И не я один такой неверующий, мне казалось, что все люди, много людей тоже не верили.

Все было буднично, резали скот, мужики, будто стекольщики, тщательно разделявали туши, женщины спокойно и буднично раскладывали по кулечкам конфеты, спорили, зачем, мол, три «Кара-Кума» кинула в тот кулек, надо было в этот. Дымились во дворе громадные казаны, люди ели, улыбались, говорили о сене, о баранах, зарезанных и еще живых. Во дворе собрались дети, большие и малые, им раздавали конфеты, один наклонялся к другому: а тебе какую конфету дали? а мне вот эту.

Смотрел я на них, смотрел и заплакал, подумалось: на таком маленьком кусочке земли умер человек и тут же жизнь будущая шумит, толкает друг дружку. Как же я тогда ошибался – плакать надо было, но о том, что быстро жизнь выросла на том самом маленьком кусочке земли, где только что умер человек, жестокие, въяве видимые ростки прорастали...





Но не мне упрекать, прошло уж больше десяти лет, а я и сейчас не верю и никогда не поверю, что он умер.

Помню его стоящим среди выцветших посеревших скал и в ковшике его мягких ладошек горит барбарис, а в глазах мальчишье ликование – смотри, как много я собрал.

На могилу не хожу, но каждый год, каждый месяц, всегда, когда есть время, прихожу на то место, где он стоял среди выцветших серых скал и в ладонях горел барбарис, по-мальчишески светились глаза.

Развожу костер, я пришел к живому, я не верю, что он умер.

Рядом березовый лес – чудо, среди скал и вдруг – береза, здесь она светлее и значительнее, чем на равнине.

Падают листья, но разве деревья плачут по мертвым листьям, – они светло и нежно расстаются на время и машут ветвями вслед улетающим листьям. Я иду по белому лесу, любуюсь горящими кустами шиповника и барбариса и говорю с живым, близким мне человеком. Вот в это верую, и я верю, говорят его озорные мальчишьи глаза. И мы тихо идем и слушаем, как с белых деревьев опадают желтые листья.

Похоронили Асхата. Странная судьба у человека: автобус их полным-полнехонек врезался в грузовик, и погиб только он.

Дети остались, жена, мороз и ветрище, а человека не стало. Ночь, темень, устал я, голоден и слаб. Оставайся, говорили родственники, но я решил ехать сейчас. В темноте я еле различал еще более черные столбы. Ехал я в каком-то забытье, ехал, тащил в гору лошаденку, потом снова ехал, впервые на лошади; тело ныло, в голове ни мыслишки; я стал забывать, откуда и куда еду. И вдруг, в миг единый, вспыхнула луна, и все вокруг посветлело, грязные проталины не выглядели грязными, а читались как значительные многоточия; осветился лес, стал виден каждый ствол, каждая веточка; скалы, дальние и ближние, купались в белом и голубом свете; каждая былинка, торчащая из снега, казалась думающим существом, не стало большого и малого, все вокруг спаялось светом лунным в единое и неразрывное; и от целого этого стекало и вливалось в меня что-то такое, от чего пошли мурашки по телу; я не был оторван ни от гор, ни от снега, ни от былинки, – я стал частью окрути, и мелькнула мысль – даже если я умру сейчас, то у меня вырастут корни, стану я чем-то другим, иначе буду называться,





но выпасть в никуда я просто не смогу, и замерзнуть – не замерзну.

Ветер исчез куда-то, но было холодно не от мороза, меня коло-тило и било в седле от осознания того, что я не просто сам по себе, а часть чуда. Случайно на темной скале я увидел громадное зеркало и, замерев в ужасе, долго смотрел; а все было просто – в скале дыра и голубое небо, какое-то совсем дневное, и кусочек этой голубизны дивным зеркалом казался. Я даже подъехал поближе к зеркалу: меня затягивала эта голубизна, и хотелось в ней раствориться. Лошадь с любопытством повернула ко мне голову, и в ее громадном всемудром глазу уместилась луна, и смешным и нелепым показался я себе, восседающий почему-то на существе, в чем-то равном мне, а в общем, гораздо более чистом и безгрешном, чем я. Ощущение было такое, будто округа трясется, вышибая из меня темное, и все это нечистое выходит из меня с болью через торчком стоящие волосы. Вот он, Кавказ, такой, как тысячу лет тому назад, и он совсем не изменился. Это моя земля, и впервые, в миг одни понял, что она и кто я. Она рассказала и о себе, и обо мне, и о тех, кто был до меня и кто придет после. И снова Кавказ громадный, как космос, и все миры вместе, и я понял, что Асхат не в земле, а где-то среди белого и голубого покоя, и понял я: умереть нельзя, ибо нет смерти.

Так вот почему Прометей выжил. Не потому, что Богом был, его к скале Боги могли приковать и посильнее. Они ошиблись в выборе места. Ну как может умереть человек, ставший частью бессмертия? От этой мысли я весь стал каким-то легким, будто только что проснулся. Спокойствие вернулось ко мне, но спокойствие какое-то светлое и бодрое. Исчезли голод и усталость, и лошаденка моя приободрилась, видимо, состояние мое ей передалось. И мы плыли молча, улыбаясь. Мы навсегда отвергли слова.

От света лунного снег словно горел, вспыхивали в голове воспо-минания; голова мучилась, пыталась в чем-то разобраться и не могла.

Плыло голубое небо, плыли, цветные теперь, столбы и горящий снег, плыла луна, неся свое великое и простое дело.

Все спаялось большой тайной, и ни одно существо не могло отде-лать себя от этой чистоты, и каждая частичка любовалась друг дружкой и молча клялась никогда не предать освященного братства. Бог на





моих глазах превратил ночь в день. И в свете Божьем я слышал Глас Божий: «Смотри, сынок, и слушай, и унеси свет сей в свой темный и ненастный мирок, да осветит и согреет он путь твой и дороги живущих с тобой! Самый трудный путь – это легкий путь. Не утони в сладком потоке слова – «покой», ибо покой и есть порождение тяжкого пути. Одному не осилить пути Моего».

Странно устроен человек – из кусочков хочет собрать целое, имеет целое – разбирает на кусочки. Вот и я пытался определить пережитое, перебрал много слов и остановился на Красоте, но Красота эта была иная, не такая, какой я ее доселе представлял. В ней было что-то, вроде того, как отец во благо сечет сына, отчаявшийся человек выбивает пыль из ковра, и ковер чист; это как серу ввели в кровь, чтобы вывести шлаки. Странное сочетание: сера и кровь, но иначе кровь не очистится...

Домой я добрался только утром и вошел в дом свой, полный светлой усталости. На дверь свою взглянул и подумал: «Смерть приходит в дома в облике благополучия, дома, имеющие сострадание к самому себе и ко всем домам, – спасены будут...»





ИДУЩАЯ ПО ДОРОГАМ

Мне восемьдесят лет, вымолвить – нужны усилия, а прожить... Сажу у дома своего, со стороны кажусь, наверное, людям старым мудрым человеком, вижу – высматривают они во мне эту самую мудрость, чтобы походя забрать ее и приспособить к жизни собственной. Искал эту спасительную мудрость и я, зачем? Чтобы понять, откуда я? Куда иду? Зачем иду? Шел ли я вперед или, может, так мне казалось, а на самом деле пятился назад к истокам? О чем думаю сейчас? Думаю о яблоке, съеденном Адамом и Евой. Оно имеет самое непосредственное отношение к моим истокам, ко мне, четырехлетнему существу, сидящему у дороги в мягкой, не по-земному доброй пыли, и по дороге той идет старушка, лет ей, может, столько, сколько мне сейчас, может, чуть поменьше. Я не помню ее лица, ни даже рук, хотя руки должен был запомнить, потому что если бы не эти руки, не случилось бы того, что должно было случиться. Дорога пуста – ни машин, ни повозок, ни осла какого-нибудь заблудшего, хоть бы курица какая прокудахтала...

Мир на глазах расширился, все влияло на то, чтобы подчеркнуть важность шествия старухи с узелком. Не помню лица ее, не помню рук, помню белый ситцевый платок, чистый-пречистый, и такой же узелок, не помню, во что одета была, помню – во все старенькое, но чистое, без пятен, будь на ней хоть крохотное пятнышко, все бы рухнуло. И то, что я не помню лица ее и рук, делало ее бесплотной. Это было шествие, будто шла по дороге очень важная для всех мысль, и, как назло, ни единой души вокруг, потому что жара такая, что асфальт расплавился и кое-где потек черными ручейками, которые подчеркивали чистоту шествовавшей мысли. Поравнявшись со мной и покопавшись в узелке своем, молча дала мне что-то зеленое, покрытое шишечками маленькими, и проплыла мимо меня. Долго я рассматривал дар старушечий, долго им любовался, потом надкусил эту зеленую штуку и почувствовал во рту свежесть и прохладу – в этакое пекло. Очень значительным и важным показалось мне все это, и я невольно повернул





голову в сторону идущей. По унылой черной дороге шла она к горизонту. Чистое, доброе и белое шло по черному к темно-голубому, и мне пчему-то подумалось тогда, что старушка будет идти и идти, и конца не будет пути этому. Наверное, обо всем этом поведал мне огурец, впервые мною отведаанный, и ничего более мудрого, волнующего я не припомню за все свои восемь десятков лет. Вкус огуречный говорил о невиданной мною жизни, о каких-то иных временах и даже о мирах иных и бесконечных. Я не могу в словах передать значительность того, что поведал мне огурец, потому что это было настолько огромно, что не уместилось бы во все слова, что есть на земле нашей, потому что все слова – это маленькая часть того, что было внутри огурца. Я помню, что мне стало холодно в этом пекле, и я невольно взглянул на солнце, оно не грело, а просто тихо светило и прислушивалось к тому, что было внутри огурца и что теперь было внутри у меня. Я помню, что я себе показался очень большим, вышиною до солнца, и на миг я почувствовал, что огурец, солнце и я – какое-то неразрывное целое, и я с бешенством, тоской и беспомощностью подумал о людях взрослых, это было не мое бешенство, не моя тоска, не мое бессилие и не моя, до волчьего воя, одинокость, это все из огурца влилось в меня, и я помню, как меня всего охватила и как бы вышвырнула из реальности светлая, до дрожи всеочищающая, восторженная жуть.

И сейчас, когда я слышу волчий вой, с грустью осознаю, как обеднел, обнищал с годами, и я понимаю: самый последний, самый загнанный волк гораздо богаче меня и мудрее. Вот так вот на склоне лет сидели дряхлые Адам и Ева и чувствовали, что их обманули и обокради, и воры и обманщики – они сами. А какие они были мудрые в первый день свой, это потом они поглупели после долгих поисков неизвестно чего, искали, рыскали, хватали, гребли, пока под проживаемыми годами не погребли свежую, чистую, сочную, красивую истину, что дало им яблоко.

Говорю внукам своим: «Не спешите уничтожить, проглотить помидор, посмотрите, какой он красивый, а ну, протянем его к солнцу» – и потянулись ручонки, и опустились разочарованные и недоуменные, я наклоняюсь к ним, лихорадочно думая, что сказать им еще, что предпринять. И вдруг Азамат бьет своим помидором о помидор Узеира, и в лицо брызжет сок, он стекает по бороде и падает красной каплей на





землю, а внучата покатываются со смеху, глядя на меня, присоединяюсь к ним и я. Потом думаю: «Никудышный я учитель». Приходит мысль тревожная: неужели внуки мои не нашли того, что я нашел в их возрасте? А может, найдут они это позже – и в тех вещах, о которых понятия я и то не имею? Вокруг ведь столько всего, что и мыслью не охватить.

Сию у дома своего, мне холодно, и я дрожу, и дрожь эта не восторженная, та, что была в начале от встречи с истиной, а просто холодно мне от крови моей старческой. И мне грустно и больно думать о том четырехлетнем мудром мальчишке и о себе, восьмидесятилетнем глупом человеке, который сам себя обокрал, и в груди у меня тяжелая пустота. Хочется кататься по земле, выть и проклинать себя последними словами, но я сижу важный и прямой и поглаживаю не спеша седую бороду, потому что люди вокруг, и они всматриваются в лицо мое, наверное, мудрость ищут и походя украсть ее хотят. Пусть крадут.

А я думаю об Адаме и Еве, и о себе, у них был один мудрый день, и у меня был один день, они и я прожили одинаково глупую жизнь, но, в отличие от них, я не был так одинок, у меня была черная грустная дорога, и старушка была в белом платочке с ситцевым узелочком в руках, она всегда со мной, и в момент выбора она приходит ко мне, и мне по сей день стыдно от ее чистого добра, стыдно, что редко оправдывал ее доброту, но я старался, я пытался, и у меня ничего не получалось, но ведь я очень хотел, и не я один в том виноват, что не получилось у меня. Но я твердо знаю одно: бродит по черным горестным дорогам женщина во всем чистом и очень хочет, чтобы у нас всех все получалось. Нам бы пожалеть ее, она устала, она очень устала.





ТАМ, ГДЕ БУДЕТ СТОЯТЬ ДОМ

Энергия города, съедавшая мою энергию, позади. Сидящий энергичней идущего. Как я соскучился по дворняге Жучке. Жуля, я хотел бы, чтобы у меня были такие же глаза, и тогда не к лицу рожки и копытца, как мало людей, кому не к лицу рожки и копытца.

Сказка давно уже была. Громадный холм из камней – пионеры и просто дети, если дети вообще бывают, дети такая же редкость, как шаровая молния в собственной комнате, дети собрали с окрестных холмов и равнин камни, очистили сенокосы, соорудили громадную пирамиду. Громадный каменный холм на отшибе домов, посреди скал, это родина моих прадедов, и палец председателя тычет в эту кучу – убери эти камушки и строй себе дом. Я хотел бы быть Жулей и скулить от любви, от избытка чувств, обежать вокруг холма и кинуться в любовь. Как футболист, забивший гол, навстречу вся команда, вот-вот схпают, обнимут, зацелуют, а он сворачивает на беговую дорожку и бежит, бежит один, досказать, дорадоваться. Но я человек и, что того хуже, старый человек. Старость – надоело быть молодым? Старость – освоение чуждого. Качу тачку, полную камней, от холма к речке, весь день мокрый, болят кости. В камне уместились и земля, и небо. Сбирать камни – это просто собирать их, грузить в тачку и катить с ними к реке. Я человек, то есть пространство. Камень – пространство. Я крепко обнимаю камень, высвобождая его из земли, мое пространство соединяется с пространством камня. Расширение пространства – мое и камня. «Сизиф был счастливым» при условии, что работал без зрителей. Камень у Сизифа не простой, он точильный. Сизиф извлекает из себя дары Божьи, а камень их оттачивает. И никого больше. Человек, Бог и дары Божьи. «Личность – всегда аутсайдер». Сизиф при абсолютном безлюдье умудрился стать аутсайдером, он всегда позади камня. Сизиф и простор.

В маленьком зерне больше пространства, нежели в громадном слоне и миллионном городе. Узкая полоска берега необъятней океана. Киты – на берег за памятью. Память – убийца. В запахе типографской краски больше смысла, нежели в слове. В слове больше правды, нежели в деле. Слово – Божье, дело – частенько от лукавого. Дело – ежедневно





и подневольно. Слово – свободно. Вымолвить настоящее слово – годы и годы жизни. Сужение оболочки – расширение пространства. Площадь – комната – карцер. Ширь – только для глаз. Теснота – для ума и сознания. Слепые видят лучше. Качу тачку. В голове – как на вокзале. Железные хлопают страницы справочника. Москва. Иван Грозный – первый большевик, ущемленное боярство, опричнина – первое ЧК. Большевизм – народен, – грабь. Возрожденное боярство, – правь. Большевизм – триедин и вечен. Монархия, боярство, народность. Петербург. Петр I. Россия в немецком кафтане, потеря русскости, с бородой ушло лицо. Петербург, Достоевский. Люди на болоте, город в воздухе, человек в поисках города и людей. Гоголь. Невский, улица призраков, туман. Зрячий объявлен слепым. Понимающий – сумасшедшим. Мог ли Сервантес сделать еще одного Дон-Кихота? Нет. Мог ли Шекспир сделать еще одного Гамлета? Нет. Мог ли Гоголь создать новые «Мертвые души»? Да, сколько угодно. Гений ли Гоголь?

Надо вначале определить, что такое гениальность? Гениальность – осознанная ненормальными нормальность, возведенная на пьедестал: Гоголь надэкзистенциалист. Экзистенциалист – личность, сознающая абсурдность бытия; чтобы осознать абсурд, нужен герой. Гоголь обходится без героя, то есть над абсурдом; есть сверхабсурд, видимый и прочувствованный Гоголем. Увидел, почувствовал, а слов, чтобы выразить, – нет; нет их в природе и сказать некому, нет таких людей. Он мучительно продирался к нормальности – «когда приходит очищение и лучик бьется среди слез, когда во славу вдохновенья деревья светятся насквозь» (Руслан Семенов). Гоголь говорит: «Я вижу и чувствую, помогите мне высказаться, это важно для всех нас». А ему говорят: «А у вас нос большой». Видят нос, но не слышат, как он строит себя, треск-то какой, и выясняется: ценность не в том, каков ты изнутри, а ты таков, каким предстал перед мутированными очами.

Гоголь взял да и отделил от себя нос, и вот нос разъезжает в коляске, которой нет у его хозяина и, в отличие от хозяина, сыт, обут, одет и сидит себе в департаменте и правит теми, кому ценен нос – сей.

Гоголь в отличие от Архимеда нашел-таки точку опоры: уцепившись за собственный нос, перевернул мир. У Гоголя все аморфно, кроме колеса и лошадей, да и те неведомо, доедут ли до Казани или хотя бы до Москвы. Движущийся тарантас и застывшие мужики. Немая





сцена из «Ревизора» сковала все вещи Гоголя, в статике – простор. И даже Чичиков – весь в разъездах, но есть ощущение, что он на месте кружит вокруг мелкой идейки, вокруг самого себя. Видимость движения. Кружатся черти, ведьмы летают на метле, а все на месте. Толкотня на Невском, люди, лошади, не продрагаться. И вдруг, как после галлюцинации, видишь – улица-то пуста, и стоишь один в морозном будто поле, без травинки и без конца, ни начал у поля, ни краев, холодно.

Для чего же Гоголю понадобилось все останавливать? Птица-тройка мчится по часовой, а обитатели Руси, да и земли всей, движутся навстречу. Гоголь распят меж двумя стрелками, он меж двух сил: естественным движением земли и противоестественным движением обитателей ее; нельзя, чтобы эти две силы столкнулись. Меж стрелками небольшой зазор, и в зазоре том распятый Гоголь. Болит голова. Ясен путь Христов, а люди бредут дорогой своей, крестятся, а может, открещиваются, отгоняют сатану, а может, спасителя? Гоголь видит и слышит, хочет крикнуть, а нет слов и нет тех, для кого эти слова. Невский – безлюдное поле России.

Я качу тачку с камнями, хочу увидеть землю, где будет стоять дом. Сизиф с камнем. Ленинград. Рабочий на фабрику, чиновник на службу. Город в воздухе. (Казанский собор. Солнце. Апельсин на снегу в тайге. Вспыхивают стены, колонны – ракеты, вот-вот взлетит купол. Маршируют солдаты. Усилились нападки. Кисловодск – город Грушницких. Самарканд. Пьяные среди мечетей. Мат. Тимур. Верблюды, перегруженные книгами. Берлин. Горят книги. Осудили. Скоро осень. Параллельные Лобачевского, там, где они сходятся, – узел. Вокруг узла вожди. Бурлаки. На пристани палачи ждут не дождутся. «Да будь я хоть негром преклонных годов» – башмачища на пьедестале. Бродят бездомные собачонки, потомки тех, кому обещана была собственная печенка. «Доверие лишь к мандатам». Гоголь с «вечерами на хуторе» в центре Москвы. «Чайки» на колесах. Музей мадам Тюссо. Генерал читает стихи на Арбате. Арба – ат – лошадь, телега. Балчуг – грязь. Къязыкъ – палка для рыхления земли. Эволюция – бьют людей. Осень. Падают яблоки Тарковского, их поедают лошади, людям некогда, они воюют. Усердствует поэзия – «Нам хлеба не надо, работы давай». Вспыхнули кострами синие ночи, автор в тюрьме, возможно, со временем он шагнет на улицу, на свободу – никогда. Сибирь. Мандель-





штам. Реквием. Воют волки. Интеллигент утонул в союзах и юбилеях. Многоуважаемый шкаф. Чехов. Степь. Мальчик в центре необжитого интеллекта, замороженный. Глохнет. Вплывает в город. Утонет. Осень. Уплыл мальчик Айтматова. На воде белый бумажный пароход. Азия из теплой Аму-Дарьи впадает в холодный океан. Айтматов бежит краем моря. О поисках родства, киргизы, узбеки – нивхи, чукчи. Тщетно. Колыбель с ребенком унесло в Лету. Сулейменов вновь откопал шумерию. Шумеры – турки, поплавок на воде, видно суть, рождение, а не достать. Стон. Досада. Апельсин на первой елке, ребенок тянется, а достать не может. В Азии крови пролито больше, чем воды в Южной Америке, а Маркеса нет. Вот, под ногами все, чувствуешь, как кошка, мышь в подполье, а не достать. Пески. Похороны. К кладбищу не пройти – ракетная база, как ложная вешка, уводящая от колыбели. Это найдено. Это прямо из-под земли, на которой ты стоишь, выхвачено горяченьким, жжет руки.

С мамой в Харькове, никак не можем доехать до ночлега. Спорим, в какой автобус сесть, их тьма. А вы татары? Оглядывается. Смуглый мальчик в сугробе с буханкой хлеба в руке. Да, мы татары. И я татарин – кричит мальчик. Ах ты, осколочек азиатский, куда тебя занесло, с какого верблюда скатился, с какого хуржуна выпал, да хорошо с хлебом в руке. Не тушуйся, брат. А я и не тушуюсь, звенит его голос, сливаясь со звоном трамвайных сигналов. Как ты там, брат мой, во снегах. Турки на Кавказе. У Пушкина, Лермонтова на Кавказе только черкесы, правда, черкесы говорят по-татарски, но это неважно. Черкесы. Кавказ. Это так слитно, капля меж ними протечет. И вдруг Толстой выяснил, что на Кавказе живут татары и говорят они на татарском языке, едят хычины, и масло стекает с кончиков пальцев к локтям. Татары – потомки шумер – дворники на Руси великой. Гильгамеш. Первые слова на глиняных табличках, восторг от запечатленного слова, дал Библию – «и был день, и была ночь». У творцов заплеванные лица, распорхались пархатые. Петербург. Метель. Блок близорук, впереди толпы шло оплеванное и окровавленное лицо еврея, под руки его поддерживали дворники-татары с метлами наперевес. Из Симбирска, как из Пулкова, видна вся Русь. Воспоминание о Мамае. Куликово поле. Мелкопоместный хан, конспирации ради записанный русским. Обиженный и своими, и чужими. Месть за окку-





пацию Казани. Брат казнен. Извозчики, в отличие от Гоголя, знают, что колесо не доедет до Петербурга. Устали лошади, барин, эволюция – караул устал. Извозчики не знают, что это колесо докатит до Сибири. Грузженный матерью, отцом и всей родней под красным флагом с надписью «Мы за все в ответе».

Русские цари. Декабристы. Народники. Перовские и Плехановы. Савинковы – ярые большевики. Хан с соратниками ждет, когда они сложат костер, да и сами его подпалят.

Большевизм – не переворот, это явление, закон человеческий, он будет приходить все в новых и новых облициях. Первая годовщина октября. Трибуна. Ленин, Троцкий. Начатое Калитой объединение Руси, о котором ни слова не сказали большевики, наконец-то свершилось. Союз обездоленных: царь, бояре, опричнина плюс воля толпы и плюс электрификация всей страны. Русь – град Китеж. Толща вод и слезинка Достоевского.

Осень за осенью. Тюрки на Кавказе. Все временно. Дома, землянки. Завтра снимаемся и – в Самарканд. Возвращение затягивается. Коротаем время. Вяжем. Устанавливаем памятники большевикам. Печорин не дает руки Максим Максимычу. Досада. Непонимание.

Осень. Продрогшая заря. Озарение. Год 1937-й. Максим Максимыч сдает Печорина пролетарскому гневу и высшей мере – социальной защите. Лермонтов все знал. Предвидел. Знание от неба, как шаблон, несовместимый с мерками земными. Пушкин знать не хочет, что Арина Родионовна написала анонимку – сказку о барине и буржуе Пушкине. Не хочет знать Пушкин, а иначе откуда взяться «Под голубыми небесами, великолепными коврами...»?

Леонид Андреев беседует с гостем в собственном двореике. Надо народ освободить – голос дворника из-за забора. Кто тут, смутьянские речи? Все замкнулось. Дворник – тоже народ. Освободить народ от народа? Как вычленить ветер из бури? Андреев мрачен, идет домой, чтобы разрешить неразрешимую задачу. Шаламов. Сосед по нарам ел человеческий труп. Господи, разъясни ему, с кем он, с теми, кто питается трупами, или с теми, кто вынуждает это делать? И есть ли другой путь, меж людоедством и убийством? Осень за осенью. От Гамлета к человеку с простой фамилией Иванов, понимающему, что он человек, и не могущему объяснить это людям. Нет слов. Осень за осенью. Две





чаши – на одной Иван Денисович в обыденном рабстве, на другой – мы в рабстве веселом. Меж двух чаш самые обездоленные, те, кто подерживает чаши сии. А в стороне беззубый старик с прямой спиной вынимает из черного кармашка эзковской куртки белый платок и бережно кладет на него пайку. Тяжело правящему. Если сам не раб, как рабами править? Лучше всех управляют рабами сами рабы. Тюрки на Кавказе. Рукав шелкового пути через ущелья к морю. Завоевание Алании. Алан – обращение начальника к подчиненному, язык администрации, с годами смягченный, приблизительно: эй, ты. Слово родило страну. По ущельям дозоры, для охраны караванов. Должны сменить. Ждем. Все временно. Дома-землянки. Мастеров нет. Ждем. Столетия. Вяжем. Узоры на кийизах – воспоминания о Самарканде. Тюрки на Кавказе. Поплавок на воде, на дне глиняные таблички. Слова смыло, осталось одно – место рождения, древнейшая анкета и белые камни по дну, и далеки слова: Ана, ай, кёк, узакъ, жылла, желле, бир, эки, юч, тёрт. Мусоргский. Рассвет на Москва-реке. Лопаются ромашки. Потягушечки. Солнце. Аввакум. Опоры хоть о двух пальцах. Федор Иоаннович – цветок незабудка. Как любовь, как вздох. Веткам от дерева оторваться бы и улететь, и улетели бы, да корни не пускают. Райские яблочки. Мичурин. Апорт. Громадины яблоки. Соблазны крупной любой головы. Власть – отказ от жизни. Увидеть бы хоть одного победителя. Вырастить громадную капусту. Даклитан. Качу тачку, груженую камнями. Хочу увидеть землю, где будет стоять дом. В голове хлопают, переворачиваются железные аисты вокзального справочника. Черные рабы в Америке. Завоевание неграми Америки. Джаз. Блюз. Буги-вуги. Мартин Лютер Кинг. Том Соьер. Воскресная школа. Камерность маленьких городов, англичане осторожно, на ощупь пытаются стать американцами. Американская литература вышла из Тома Соьера. Гекльбери Финн. Все размывает и уносит большая река. По берегам больших рек живут космополиты, у речек маленьких – люди, имеющие отношение к какой-либо нации. Англичане не дышали, глядя на большую реку, ставши американцами, назвали ее фамильярно, в честь певички из кабаре – Миссис-Сипи.

Хемингуэй уверяет: люблю корриду, а под словами – ненависть к ней. Набоков и Хемингуэй, с одной стороны, ткнут ковер, а с другой – рождают моль, поедающую этот ковер.





Сюзан Хилл. Старый одинокий человек каждое утро чистит до блеска ботинки, костюм, цилиндр, протирает трость, заводит патефон и пляшет на набережной маленького городка среди изрядной публики. Океан красивые люди в ярких нарядах, серое небо, медяки в котелке и одинокий старый человек, весь в черном и с красной розой в петлице, все это называется «Немного пения и танцев».

Качу тачку, полную камней, от холма к речке, весь день мокрый от пота. Пахнет рисом. Корейцы по горло в воде. Падаю вечером на нары в своей конуре, крытой черной толью. Ем хлеб и консервы. Хочу увидеть землю, где будет стоять дом. Хочу ли я построить дом? Жуля бегаёт за тачкой, радостная, она все понимает.

Народ – это общность языка? Тогда внутри одного народа множество других народов. Молодежь ушла со своим языком. «В магазине давали джинсы и там одну масть задавили...» Блатные ушли со своим языком... У врачей свой медикаментозный язык: церебральный паралич на почве коклюшных окончаний тромбозно-синдромного дифтерита.

Хлопают в голове железные страницы вокзального справочника.

Большевизм – это «аз» и «я» и жирная точка в конце бытия. Большевизм – это я, мне хочется встать в девять, а не в семь утра. Меня бесит громадный отпечаток в снегу башмачища, прошедшего до меня. Я вглядываюсь в лица моих соседей и вижу большевизм, я смотрюсь в зеркало и вижу большевизм. Большевизм – это то, что нам всем хочется. Семьдесят октябрьских лет – это только буква Я. Мы пройдем весь алфавит, чтобы прочитать слово – динозавры. Большевизм ровно настолько, насколько мы. Большевизм может менять имя, а суть – это мы все без исключения. Роль личности в истории, да нет у личности никакой роли, кроме той, что отвела ему толпа. Желание толпы убивать, через выборное лицо. Фашизм – скороспелый, прямолинейный, недоношенный большевизм. Правда только у толпы, народ же любит отвлекаться; сочиняет сказки, песни, растит хлеб. «Суббота для человека», – говорит Христос. «Нет, человек для субботы», – говорит толпа, то есть банный день. Суббота – это идея, и горе тому, кто стал поперек пути к субботе, и в авангарде всегда шли большевики, как бы они себя ни именовали: Петрами I, декабристами, кадетами, они обречены на авангард, ибо толпа не дает им плестись в хвосте или раствориться в середине. Господи, дай одиноким опору, скользко, как на шаре. Три





врага у толпы: искусство, мысль, литература и бесконечное число вражат. Перед толпой одна задача – из пункта А в пункт Б, и она пройдет этот путь, уничтожая тех, кто вольно или невольно призывает свернуть с дороги сей. У толпы свой алфавит, у народа нет письменности. Я заика – я знаю только букву А, она дана мне Богом; девочка, соседка по парте, укрывает от меня ладошкой большевистскую галиматью, как бы говорит: после А будет Г, не верю и ничего не скрываю; «дед», швыряя несвежие носки, говорит, что после А идет Д. Не верю, я не хочу, усвоив лживый алфавит, обучать своих молодых сельчан. Я бы мог стать министром или президентом, но мне надо затвердить, выучить весь алфавит толпы, чтобы уметь говорить, но я хочу с меньшинством, с молчащим народом. Я знаю только букву А, зная ее, могу уцепиться за краешек буквы Я. Две буквы, а меж ними пропасть, гул чужого языка, чуждого бытия. Каренина прошла по всему алфавиту и на самой макушке лжи услышала букву А. Вернись, и я познакомлю тебя с буквой Я. В букве А – весь алфавит.

Я не завистлив, я лишен начисто этого чувства, но я очень хочу быть Сизифом. «Сизиф был счастлив», – утверждает Камю. Сизиф был счастлив, ибо работал без зрителей, ибо зритель – он надзиратель. И Шаламов мог бы быть счастливым, если б меж ним и тачкой не было зрителей-надзирателей.

На свете было два счастливых человека – Сизиф и Иуда – Божьи любимцы, отторгнутые из океана зрителей.

Дождь. Качу тачку. Хорошо, что дождь, если б каждый день над головой бирюзовое небо, я сошел бы с ума: испытание красотой не выдерживает никто, даже с сытой жизнью как-то сладишь, если попытишь-побухтишь.

Сизиф единственный созидатель. Его созидание оправдано, ибо он созидал красоту. Созидание же вообще – первейший врат человека, ибо Богом все уж создано, построены и земля и небо, звери и люди, травы и деревья, – все последующие созидания от лукавого. От первых штанов до полетов на Марс. Мадонны Леонардо – лубок, женщина как эфир – дышишь, но не видишь, нельзя нарисовать женщину, нельзя нарисовать травинку – для этого надо нарисовать землю и небо, космос и самого Бога, и только после всего можно попытаться нарисовать колючку у дороги. Бог родил нас нулями, то есть носите-





лями бесконечного. Мы же возомнили, что единица, двойка, девятка больше нуля. Чем больше цифра, идущая после нуля, тем он меньше, она дальше от бесконечного нуля. Чем «талантливей» человек, тем он дальше от Бога. Цифра сужает пространство. Дилетант – это все грани, нараспашку. Профессионал – это увеличение одной за счет других граней. Профессионал – преступник. Профессионал – искажение Божьего. Создав, человек неминуемо становится рабом созданного, ибо его созидание – ложно.

«Блаженны нищие духом» – это и есть тот всеохватный, всевместимый нуль – Божий сосуд. Култ юродивых на Руси. Сумасшедших нет – есть инакодушные. Практический, житейский, базарно-фабричный человек более ненормален, нежели так называемый сумасшедший, ибо он более далек от нуля – блаженства. Планеты в виде нулей: Солнце, Земля, Венера, все мирозданье в виде нуля. Голова в виде нуля, все иные построения и есть дисгармония в голове и Вселенной.

Евразийство, загадочность русской души, рожденная на стыке несовместимости, невообразимости. Камерность русских, их самодостаточность плюс тюркская эмоциональность, опыт «путешествий» – встреча двух начал, направленность вовне и направленность внутрь. Отсюда и метания, поиск пути своего, но нельзя стоять и бежать одновременно. Попытка совместить Пушкина и Лермонтова в лице едином. И над всем этим русский язык – как радуга, вобравшая и солнце и влагу, соединившая и небо и землю. Мусоргский – Бах, Шопен, Моцарт – в лице едином. Дворжак – Европа вся в лесах, прорубаются первые просеки, плач вырубаемых деревьев, первые города как первые болячки цивилизации.

Болгары – прекрасные штангисты и борцы. Плоды тюрко-славянского симбиоза. Штангист – основательность плюс взрывная сила мышц и духа. Юрий Власов – самый сильный человек планеты, тяжкий путь восхождения на спортивный Олимп и еще более тяжкий путь возвращения к себе, к человеку нормальному, страдающему и мыслящему. Длинный путь – эволюция вверх и эволюция вниз, к истокам. Путь не без ошибок и заблуждений. Ближе всех к истине люди, испытывавшие всеобщую любовь и всеобщую ненависть. Меж любовью и ненавистью – истина, в виде нуля.

Большевизм – пресс над нашей головой, и вся наша энергия на-





правлена против этого прессы. Для того чтобы сдвинуть эту плиту, нам нужна любовь друг к другу. После устранения плиты наша энергия растекается по горизонтали – мы начинаем враждовать друг с другом.

У человека, к сожалению, выбор: или дождь – или снег, солнце – как передышка.

Тоталитаризм – громоотвод от междоусобиц.

Демократия – большевизм, опирающийся на частную собственность. Три кита демократии: обогащай, развращай, правь. Большевизм – паразитический куст на дереве христианства, фашизм – ветвь на ветви большевизма. Хорошая миниатюра – спрессованная эпопея. Грант Матевосян – мальчик в красной материнской шали, зима, голод, стужа. Армянин зимой – нелепица. Эпопея, спрессованная в рассказ. Армяне, солнце. Армяне – пресыщенные. Армяне, зима – так есть. Курды – народ-дервиш, в поисках собственной страны, с винтовками наперевес. Бесконечный поиск земли своей в бесконечных песках. Мираж, ООН, сообщество стран, сообщество людей. Доллар – проклятье Божье, заплесневелая индийская кровь. «Со мной все в порядке, Джим, а на тебя наплевать». Гунны, разорив Европу, вернулись в коммунистический Китай.

Тоталитаризм – это все против одного.

Демократия – каждый против каждого.

Демократия ближе к Божьему. Бог всегда защищает одного от всех. Мне никогда не попадались хорошие люди, но я встречал хорошего человека; живет среди людей, запутавшихся в античеловеческой игре, святой человек.

Люди в сфере бесовской, человек – это божье. Все против одного, каждый против каждого. Даже родившие тебя по ходу жизни пытаются исправить свою оплошность, забывая, что рост наш от Бога, и у людей нет возможности укоротить кого бы то ни было. Мы видим бомжа, зэка, золотаря – как воплощение личности с укороченным людьми ростом, но это мираж. Явь то, что внутри этих изгоев.

Качу тачку, полную камней. Мелькают люди, страны, народы. Сквозь светлый родниковый пот доносится неуловимый запах арбузов азиатской прохладной ранью, камышовый шалашик сторожа. Качу громадный арбуз, немного уступающий моему росту.

Революция – это не только перераспределение материального,





революция – перераспределение языка – заставить барина говорить языком простолюдина, а самому выражаться на столь желанном барском. Трудно быть рабом, куда трудней быть рабовладельцем, ему вечно барахтаться в трех грехах: он самоубийца, он убийца, он и певец, воспевающий убийство. Горького не купили, он должен был сделать выбор между рабами и рабовладельцами, последние показались ему менее мерзкими.

Платонов из «Деревни» Бунина.

От толпы нет тени, просто сплошная чернота, если нет тени, значит, нет и солнца. У Платонова во всех вещах мелкий бесконечный дождь, не имеющий шансов перерасти во всеочищающий ливень. У Маркеса ливень, смывающий мелочь. Суть крупнеет, расширяется, ибо ливень смывает границы неба и земли, соединяя их в единое целое, и суть земная утекает в бесконечность, крупнея и крупнея.

Набоков – утонченный Хемингуэй.

Боже, спасибо, что лишил веры в события, отнял возможность делать выводы. На улице драка. Трезвый прохожий, веря событию, действию, делает вывод – жизнь ужасна. Двое целуются – жизнь прекрасна, думает верующий в события, и только пьяный, пройдя меж двух событий, выносит вместе с собственной цельностью некую правду, ощущение правды, живущей меж жестокостью и любовью.

Чеховский «человек в футляре» окружил себя дымящей, отстраняющей его от событий и охраняющей его самость от утекания и растворения в этих самых событиях. Кино работает только за счет этой легкой дымки меж зрителем и актером.

Театр – лицо в лицо, и видна бородавка на лице актера, а это отвлекает. Актеры всего мира как ни пытались приблизиться к Чехову – тщетно. И только Васильев совершил чудо, отбросил слова, ибо слова уводили от сути. Он побежал к Чехову, бросился в него в своем балете «Анюта». Хрустят кости, трескается кожа, и в пластике внутреннее вытекает вовне и является сам Антон Павлович, да не один, а вместе с Гоголем. К великим нельзя прийти, они являются сами. Воистину, танцующий мудр. Танцует человек, танцуют планеты. «Анюта» – порыв и прорыв сквозь бытовщину и белую коросту бесконечных «маленьких лебедей», танец, сметающий всяческую шелуху, танец-крик, короткий и убедительный, – раздвигаются времена, падают картон-





ные генералы-балетмейстеры. Просто танцует человек, танцуют планеты. Простор и светлая бесконечность. Первый день творения, еще не родилось слово, только музыка вокруг, и танец, и Бог. В танце этом и Гомер, и Сервантес, и Шекспир, Гоголь, Лермонтов, Достоевский, Чехов. Танцующий человек устал и в блаженстве вымолвил: хорошо. И пришло слово. И деньги, и флаги, и генералы. И потекли мутным ручьем дни, годы и века океанами грязи. И пришло слово, и было то слово Я – как хлопок мышеловки. И жизнь пришла, как подготовка к смерти, жизнь, когда смерть желанна.

Бог один, сколько людей, столько и богов, веселых и хмурых, умных и не очень. Пришел дождь. Жуля мокнет на пороге моей хижины, я сижу на топчане и пью чай. Дождь наполнил мою тачку, проник в мое жилище. У Жули глаза цвета светлого чая. Дворняжка умней любой породистой собаки, в ней нет генетической заикленности на себе, в ней больше любви. Сквозь вечный дождь, сквозь дома громоздкие, посиневшие изнутри, от недостатка любви и музыки, сквозь сине-фиолетовые индустриальные филоновские пейзажи вспыхивает коричневый Вьетнам. Рис собран, дети и внуки вяжут снопы, старик-вьетнамец, прошедший все учения «великих кормчих», «незаменимых рулевых» и всеохватное чучхе, заgroundован в темно-коричневое, плоть исчезла, и лишь глаза темно-янтарные, чистые-чистые, плавают где-то далеко-далеко во внеземной ясности.

Он выкатил свой камень на вершину высокой горы. Камни собирают в одиночку. Париж. Булонский лес. Ливень. Ураган пытается снести многовековые дубы. Куприн мокнет и плачет на скамеечке. Нет России, никого нет. Он – один. С коржилом в зубах, не пробиться к солнцу. Ищи камень. Натруди плоть, до резиновой гибкости, чтобы она забыла о душе, не третировала ее.

Мальчик Короленко строит город, начал с обездоленных, начал с подвалов. Отец. На работе судит людей. Жена умерла. Горе. Не до сына. Лишь редкие встречи с ним. Городок круто замешан на цыганах, бродягах, мелких чинушах. Петр строил город, вгоняя людей в болото. Мальчик строит свой город, могучими силами своими вытаскивая людей из болота. Петру – памятники, мальчику – забвение. Хочешь памятник – убивай, чем больше убьешь, тем выше памятник.

Азиатский ренессанс: Айтматов, Сулейменов, Пулатов. Айтматов





без усталости расчищает многовековую пыль под ногами, добрался до истоков, и истоки те поведали о вселенной всей. Сулейменов раскопал Шумерию, ученые-тюркологи растащили Шумерию, крадя по камешку, по кирпичику, о Сулейменове, понятно, ни звука. Пулатов соединяет континенты – Евразия. Опыт – врожденное. Опытный человек и генерал. Якир в тюрьме. Пытается докричаться до Сталина, верит в его неосведомленность. Малолетний сын Якира, Петя, убежден, что Сталин и его дружки – попросту убийцы. Опыт – от Бога.

Мудрейший из мудрых – Идиот Достоевского, ибо он пуст, блажен и вольно в этой пустоте необъятной душе его, отвергающей все ложное и фальшивое извне. На первый взгляд у Достоевского очень много необязательных слов, слов лишних, это не так. Достоевский очень точный писатель, каждое слово выверено. У Идиота любимое животное – маленький ослик. Как это верно и как точно. Не могу вообразить себе, как мог бы полюбить Идиот, положим, тигра.

Бунт ничтожеств. Главный враг ничтожных – это любовь, в любом ее проявлении. У Паустовского Старик я собака, промокшие, продрогшие, но любящие, заходят в трактир просто отогреться, на еду денег нет. За столиком двое, со здоровым духом в здоровом теле поедают колбасу. Ешь себе, умножай здоровье, никто ведь не мешает. Старик оборван и убог, собака стара и ободрана, все вроде бы способствует усилению аппетита, но нет, в трактире враг – любовь. И вот на полу лежит кусок колбасы, собака подползает к колбасе, виновато поглядывая на хозяина, Старик поощряет взглядом друга – бери, понимаю, го-лодно, но ведь это не нарушит того, что меж нами. И они уходят в дождь. Удел любящего – гонения, удел «здоровых и телом и духом» – тепло и сытость.

Жуля мокнет на порожке. Дружить с ней я, пожалуй, не смог бы, дружба многого требует, не съешь куска лакомого, не ложишься на кровать мягкую, не укройся теплым одеялом – и так без конца. А вот любить Жулю я смогу, любовь самодостаточна. Мокнет Жуля, и мне кажется, прижмись я к ней, взмокни, замерзни до зубного стука, и освободятся глаза, станут такими же, как у Жули, и, взглянув в истрескавшееся зеркальце, я увижу, что рожки совсем мне не к лицу.

Дождь с небес, как древние еврейские песнопения, история, сплетенная из музыки, голосов и судеб, песня светлая и горькая одновре-





менно, история вчерашняя и завтрашняя, восход и закат, гимн и плач, дым печей и апельсины на рынке Тель-Авива, века рассеяния и века воскрешения, утеря себя и трудный, тяжкий возврат к себе; родить себя, нарисовать, собрать по крупицам, рассеянных в прошлом, вылупиться из песен и танцев, и обрывков слов, из горького запаха ковыля, из миллионов голгоф соорудить одну, вскарабкавшись на которую, увидеть вершины золотого Сиона. Еврейская песня – единая песня трех народов – евреев, арабов, шумер. Шумеры и евреи, народы-соседи, породненные кровью и духовно, женились, выходили замуж, на основе общего мировоззрения создавали книги. Христос и Магомет – дети одного народа – евреев и арабов. Библия и Коран – две страницы листа единого. Я слушаю балкарскую песню, и в нее вливается песня еврейская, в многоголосии исходят дома и скалы, поющие единую песнь. Балкарский – самый консервативный из всех тюркских языков, поэтому он лучше других созвучен древним тюркским текстам. Я вижу Багдад и Иерусалим, два равно родных города, две родины мои, две половины колыбели моей. Два города, построенные памятью моей, снами, плачем, запахом балкарской колыбели, настоящем на еврейском и шумерском духе и общей нашей песне. Я говорю: салам и добавляю: шолом. Для многих тюрков и для меня полнокровное паломничество – это Стена плача и черный камень Каабы, ибо для нас – это две половины камня единого. Мне хочется видеть свободный Иерусалим и свободный Багдад, мне хочется верить в цветущие эти страны, живущие по законам трех книг – Талмуда, Библии, Корана.

Салам и шолом, родившие нас и оставшиеся в веках, салам и шолом, живущие и радующие нас своей жизнью, салам и шолом, еще не родившиеся, дарящие нам бессмертие. Тюрки – ветер истории, сеющий и сжигающий. Тюрки – шов на стыке трех континентов – Европы, Азии, Африки. Тюрки – пчелы, оплодотворившие многие культуры. Я собираю камни и буду строить дом, круглый, как яранга и юрта, мечеть и церковь, чтобы лучи солнца не бились об острые углы холодного, фиолетового квадрата и отлетали прочь, а стекали бы, обнимая жилище мое. Я качу тачку, обливаясь потом, на меня с любопытством взирают лица, нарисованные Босхом и Рафаэлем одновременно. «Девочка с шаром» Ренуара и «Девочка с шаром и сачком» Пиросмани списаны с одной модели. Нет школ и течений, есть радуга и мироощущение.





В нескончаемом дожде бесконечные песни черных рабов – попытка соединить кокосы и кока-колу. В негритянских спиричуэлс: воспоминание о родине и в слезах обживание вынужденное земель чужих. И в дожде, в хоре обездоленных слышна и русская боль Шукшина, льющаяся из тюркских глаз. И в дожде в этом родилось великое русское актерство, из хляби провинций пришедшее к золотым куполам Москвы и Петербурга, чтобы через местную непогоду поведать миру о всеобщем ненастье. В дождь тащили русские люди три громадные сваи – литературу, музыку, балет, дабы не поглотила молодой народ зыбкая русская почва. Дождь на всей земле, дождь большой и бесконечный. Приходит большой дождь. Приходит, занавешивая быт, парализуя и размывая его. Уходят звуки, запахи, врывается литература, заглушая гром, затмевая молнии, молодой и дерзкой по-мальчишески и многотрубной многовековой строкой единой поглощает все и ввергает все в тишину – и «разверзлись хляби небесные». Строка уносит, смывая в небытие, артиллерийского офицера Толстого, восхищенного выправкой драгун и удалью гусар, и, заново рождаясь, Толстой видит в большом дожде маленького мокрого Наполеона, и приходят слова Пьера: «Как меня, мою бессмертную душу?!» Князь Мышкин воспринимает окружающих его людей, как дождь, как успокоительный фон, он не отвлекается на глупую фразу, на жестокое слово, блеск шелков и бриллиантов, как капли росы на елках-подростках.

Все затихает и меркнет в большом дожде, но ведь горит костерок на Бежином лугу, горит и не гаснет. И кто-то открывает Божественную книгу – букварь, и плещется в словах: у Шуры шары, и мама моет раму, и кто-то рвется ввысь то столбикам золотых цифр не ведая, что предстоит медленный путь назад к тому мигу, когда вспыхнули на белом фиолетовые цифры, назад от серой графы – зарплата, с большими надоевшими, скучными, пыльными цифрами, к тому золотому нулю.

Академики, мнущие в руках громадные цифры, как сапожник щетку, увлеченные траекториями высоких полетов, бешено хлопающие и оружие – bravo! бис! – на балете «Щелкунчик», изобретшие не одну атомную бомбу, вдруг прозревают и ползут назад к нулю, где у вонючей параша умирает Сын Божий Анатолий Марченко за ту слезу неведомого ему ребенка. И если Бог смилостивится и омоет большим дождем, то с вершин Марсов и Венер начнут карабкаться академики





к вершине будущего букваря, к высоте тазика, в котором Мать Тереза моет ноги прокаженному. Каждый день, как игра с автоматом – за какую ручку ни дерни, выпадает зеро. Игра по дьявольским правилам, испытание на прочность, испытание на вшивость, испытательный срок. Хождение к ближнему, как за три моря, к соседу через океан.

Обломов один из немногих, у кого нет множества вариантов, их всего два: или диван, или жизнь во всю мощь. Он не Штольц, измеряющий жизнь линейкой сантиметровой. Пойди Россия в свое время за Софьей, сохрани лицо свое, пусть с бородой, разве стояла бы она недоуменная, безликая на распутье всех дорог? Петр же отшвырнул Россию на многие и многие века назад, после чего Россия – дом без фундамента, страна вечного попугайничания, страна без собственных границ, с вечным радением за Бог весть чьи интересы. Россия – четырехликая страна, обращающаяся во все стороны света с недоуменными вопросами: что делать? кто виноват? Благо, остался язык русский, на него и надежда, музыка и свет, подарок Божий, он и выведет страну на ту, только ей сужденную дорогу.

Сегодня же Россия – земля, которую не изведавший не поймет, а изведавший не поверит. На распутье всех дорог, ненастья, непогоды, гроз, прикрывшись толпой глупеньких берез, стоит Россия, вся мокрая от слез. Японцы интересны миру «лица необщим выражением». Улыбка японца дороже всех компьютеров, машин и небоскребов, им созданных. Качу тачку сквозь строй зевак, им интересно наблюдать за мокрым человеком, на лицах улыбки – симбиоз ехидства и простоты; через пот свой добираюсь до мыслей своих. У дороги истоптанный цветок мака. Единственный, быть может, цветок на земле, ниспосланный нам свыше для очищения, оболганный художественной и медицинской беллетристикой, затоптанный полицейскими сапожищами. Искажена суть цветка – трезвее трезвого на ложное пьянее пьяного. В малых дозах он просто необходим человеку, как баня и чистое белье. В больших же количествах – просто убийственен. Чтобы принимать маковый сок, нужна очень организованная душа, душа, способная не переступить грань между чистым и смертельным. Если бы наука помогла найти тот ограничитель, она бы вывела человека на новый уровень мышления, на новые гуманные формы бытия, ибо маковый сок снимает с человека все, как правило, пакостное – жестокость, зависть, злобу,





чрезмерный материализм – и увеличивает количество любви на земле. Если бы в основе цветка было бы что-то злое, бесовское, он не пленил бы такое количество душ. Если бы те деньги, уходящие на бессмысленную дурацкую борьбу с наркоманией, давно переросшую в настоящую войну с применением автоматов, танков и самолетов, передать науке, – задача эта была бы решена. Ожесточение этой бессмысленной войны вызывает рост цен на наркотик, а рост цен – все более и более тяжкие преступления. Какой покой обрело бы общество, сколько преступлений кануло бы в безвозвратное прошлое, реши люди эту проблему, и реши ее не танками, а любовью и умом своим. А это означало бы прекращение самой продолжительной гражданской войны, войны против собственных детей, войны Богопротивной, бесовской, ведомой государственной тупостью и обывательской слепотой. Качу тачку, полную камней, а в голове грохочут железные слова – «Святой долг каждого человека защищать Отечество свое». С долгом человека ясно, а где же долг государства? А долг государства перед человеком – предотвращать войны, тем самым снимая с человека его долг. Человек долги платит, государство – никогда. Чтобы как-то привести к взаимоприемлемым взаимоотношениям человека и государства, саму суть долга надо изменить. Государство должно, на основе договора с другими государствами, одновременно перестроить казармы под молитвенные дома, а долг каждого человека – молиться в этих домах, познавая себя и других, наполнив реальным содержанием банальное – «Бог един», только именуемое по-разному. Преступления, преступления, заторы, мешающие увидеть лик человеческий, а через него и лик Божий. Преступление официально трактуется как деяние человека, наносящее урон людям, обществу. А где же государство? Оно при этом событии как бы не присутствует, удивительная способность государства – исчезать в самые ответственные моменты. И если все же умудриться найти это самое эфемерное государство, то трактовка преступления будет звучать несколько иначе: условия, созданные государством для человека, минус содеянное человеком, разность и будет трактоваться как преступление. Качу тачку, полную камней, и мокрыми от пота губами шепчу: «Не допущу греха – человекоубийства, терзания души человека, убийства животных и поедания их плоти». Уничтожение без крайней нужды «неживой природы» – это основные грехи. Но множе-





ство иных грехов висят на мне. Почему я не симпатичен? Это мой долг перед собой и другими. Почему так мало любви я привнес в мир сей Божий? Скольких женщин удушил тем самым, удушил в буквальном смысле, ибо любовь для нее, как воздух для остальных. Я и есть убийца и душегуб. Господи, помоги очистить меня, ибо в нечистом любовь не селится. Женщина не способна быть счастливой, она вынуждена лелеять плоть свою за счет духа своего. Чтобы быть счастливой, ей не хватает малости – узреть в прохожем и мужа своего, и сына своего. Счастье – это когда твоя энергия совпадает с энергией окружающего тебя мира. Горы, горы, народ наш. Есть очень симпатичная теория: новгородцы презирали власть, считали это низким, низменным, поэтому и пригласили Рюрика на правление. Зачем нам отдавать лучшие умы свои власти, что равнозначно небытию – смерти. Пусть правят другие, наша же потенция потечет в более благостные стороны: литературу, спорт, искусство. И будем благодарны тем, выполняющим за нас эту грязную работу. Чудеса искусства: ансамбль «Балкария». За несколько месяцев можно вырастить разве что картошку, а создать ансамбль, разгладивший морщины тысяч лиц, – разве это не чудо. Прекрасные костюмы, намекающие на азиатский корень, музыка, которую ни с чьей другой не спутаешь, классически выдержанный стиль, не выпадающий в циркачество. Артисты не высоки ростом, слегка корявы? Да. Но это даже к лучшему. У высокого, хорошо сложенного энергия втекает и утекает, не задерживаясь, не накапливаясь в нем, ей не за что уцепиться, нет корявинки. Танцы – это спринт. А спринтеры, как правило, сложены не очень удачно, есть, правда, исключения, как Карл Льюис. Художник из Санкт-Петербурга Уянаев, чьи картины, как сплав музыки, философии, поэзии. Сулейман Бабаев – мастер миниатюры, умудрившийся в несколько строк спрессовать глыбы народной мудрости, лиризма, доброты. «Такой идет снег, что нет возможности не поумнеть». Читай. Плачь и очищайся. Расул Ахматов – европейского уровня прозаик, в коротком рассказе соорудивший сложную многослойную, многоплановую архитектуру – мальчик – родители – дедушка, а меж этих поколений плещется вино. Прекрасно. О поэзии говорить нечего. Она на хорошем уровне. И «волшебною сказкой старость спустилась с небес» прекрасно, но все же нужны новые имена, новое молодое мирочувствие. У нас выбор: или петь, или властвовать?





Одно исключает другое. Будь Кайсын главой администрации деревушки, района, – пусть шара земного, – разве согревала бы день наш сегодняшний его улыбка, разве утешали бы душу его слова? Каждому свое. А петь? Кто ж нам запретит петь? У нас есть о ком и о чем петь. Айран – питье и еда наша. Айран – хранитель нации, наше телесное и наше духовное. Женщины наши, буквально спасшие народ свой от вымирания. Здесь нет ни грамма поэзии и вымысла, вот этими пропеченными холодными казахстанскими ветрами, навек прочерненными киргизскими шахтами руками и вытащили они народ свой из пекла, отняли у смерти самой. Они морщинисты и некрасивы, они укутаны в немыслимо яркие тряпки, глаза их вечно слезятся от вечного вязания, но свершенное ими светло и бесценно. Пусть Бог пошлет вам красивых и умных внуков, поющих и рисующих, пишущих прекрасную музыку, ищущих слова заветные. А день 8 марта для нас вместил все – и горе, и радость. Мы плачем, поминая усопших, мы радуемся живым. Мы ушли в один день, но в один день и вернулись. Вернулись и поем, и петь будем во веки веков. Вечером у хибары своей развожу костер. Огонь всегда стирает настоящее, уносит в прошлое, слегка освещает будущее. Хочу сказать: годы прошлые, какие там годы, эпохи и эпохи. 1948–1953-й – отмена карточек, смерть Сталина. Отпылала война и пришел какой-то веселый покой, свершилась еще одна революция, революция в себе, осмысление Европы, топали себе по шкафам слоники, плыли лебеди по простыням, но они уж неспособны были заслонить Европу, выклевывать и вытоптать не могли бациллы, вызревшие в душах бывших солдат. Люди ходили, наполненные чем-то значительным, они предчувствовали перемены.

1953–1956 годы. XX съезд. Все носимое внутри хлынуло вовне, грянул Московский фестиваль, воспламенивший всех, от его огня зажигались все новые и новые праздники, и даже мудрый, предостерегающий взгляд Хемингуэя никого уж не мог остановить. 1956–1960 годы. Новый стиль в одежде, джаз, молодежь в восторге своем оторвалась от уклада, быта, традиции, от отцов своих, улетела в новых узких штанах и с новыми словами на устах.

1960–1964 годы. Окуджава, на чьем синем троллейбусе мы все же выехали из мрака. Чьи песни сохранили пораненные остатки нашей человечности. «Сорок первый»: ба, да любовь-то важнее и сильнее





революции. «Один день Ивана Денисовича» посильней, чем «Записки из мертвого дома», сильней не событийно, а художнически крупнее. Гагарин как апофеоз народного восторга, переселение людей и народов из тюрем в дома свои, конечно, условные. Одна волна восторга накатывала на другую, и плясало и пело море людское. После войны, после разрухи люди радовались новым домам своим, новой одежде, новым песням и новому дню своему. 1964–1968-й. Брежнев, Чехословакия. И все замерло, и тишину не могли нарушить даже многотысячные поклонники поэзии площадей: Евтушенко, Вознесенского; и в тишине на площадь вышла совесть, воплощенная, народная совесть: Сахаров, Богораз, Литвинов и другие. И утонул «Белый пароход» как воплощение цветаевского «Не желаю быть». Вампилов – самый крупный, после Чехова, русский драматург, за незатейливостью внешней слов и событий – крик уходящих в болото. Простор для актера, простор в духоте. 1968–1985-й. Распутин – «Пожар» – пророчество дней наших сегодняшних, вакханалия толпы, сорвавшейся с тоталитарной цепи. «Прощание с Мстерой» – сильный текст, убивающий и простор, и ощущения. «Деньги для Настены» – есть место для горения слов; широка Россия, а рубля занять не у кого. Астафьев – «Печальный детектив» – вязкий быт, лишенный бытия. Отар Чиладзе – бездонные грузинские духовные эпопеи. Сулейменов – «Аз и я» – продрался сквозь века и докопался до корней тюркских народов. Ахмадулина – симбиоз тюрко-славянской духовности.

Великое советское кино. «Судьба человека». Бондарчук. «Овод» – трагедия, сын, рушащий духовность и отца и Бога. Невозможность что-либо изменить. Чухрай. «Баллада о солдате». Солдат, как чистота, затоптанная мерзкими правителями. «Калина красная». Человек, пытающийся выползти из лагеря, попадающий на «волю», где в клубе сладкая самодеятельность, а вовне – аморфный дурдом. «Печки-лавочки». Поезд как страна. «Конструктор», он же вор, кондуктор – цепной пес социализма, пассажир – просто мелкий кляузник, столица – шутующая интеллигенция, пустыня, как и в родной деревне. «Дочки-матери» – интеллигенция и народ – столь близки, как Марс и Венера. Ростоцкий. «А зоря здесь тихие». Мать. В одной руке ребенок, в другой – автомат. Михалков. «Раба любви» – трамвай без водителя, а в трамвае, мчащемся, обезумевшее искусство – сирота, а вокруг





все смешалось; чекисты, белые, кинематографисты. «Чужая белая и рябой» – провинциальная мафия, добравшаяся до неба, до голубей. «Чучело» «Плюмбум» – жестокость, сконцентрированная в одном и растекшаяся по многим. Великое советское кино, заставлявшее вечно сбивать с себя пыль, выклевывать из себя нескончаемые шлаки. Титаны мирового искусства – Смоктуновский, Борисов, Янковский, Ульянов и еще десятки и десятки, после которых, как после бани, да в чистом белье, спасение от комсомольско-партийной полицейщины. От атомного средневековья, просто от быта, где «99 живут только для того, чтобы сделать сотого сумасшедшим». 1985–1993-й. И грянул год, словами Горбачева – «Мы за приоритет общечеловеческого над идеологическим», и слова эти смели империю и страны многие. Разваливалось то, что не могло не развалиться, от узбека и литовца ничего не родилось, да и родиться не могло. Разрушен барак – и слава Богу, слава Человеку, разрушившему рабство, пора бы дом строить каждому на свой вкус, а вместо этого: кто виноват? Все рабские миазмы растеклись по горизонтали и травят всех: и ближнего, и дальнего. Бушует Распутинский «Пожар», и он высветил, что нет ничего хуже демократии после жесточайшего тоталитаризма. Не пришло время собирать камни, каждый из нас накидал их столько, что за всю оставшуюся жизнь не расчистить. Демократия для нас, как солдату – компьютер. Иди, тому же солдату объясни, что автомат тяжелее любого камня. Демократия – и есть собирать камни в буквальном смысле слова, и на внуков нечего рассчитывать, у них будут свои камни, возможно, потяжелее наших. «И высохли на земле все моря и реки, и стал человек строить лодку». Будет дождь, будут и ручьи; будут ручьи, будут и реки; будут реки, будут и моря, и нам без лодки никак не обойтись.

Я качу камни, один укачу, а два разбросаю. И нет конца и краю камням, мною рассеянным. Совсем как у Абэ «Женщина в песках». Человек в глубокой песчаной пропасти, сколько ни чисть эту пропасть, а песок практически невыгребаем. И каждый в глубокой песчаной яме, но ведь была и лягушка, попавшая в чан с молоком; барахтаясь, она сбила молоко в масло и выбралась из плена. Мы выбрались из ямы, но мы настолько к ней привыкли, что принялись выкапывать новую. Свобода – это любовь, лишенный любви – лишен свободы. Не любя живем, не любя плодим. И слава Богу, остались еще свободные люди,





как раскольники, ушедшие в свое время в кочегары и сторожа, в леса и монастыри, шли с крестом и мусульманским амулетом, шли, хранимые Богами на небе, неся Бога в себе. Жаль, что они самодостаточны, как планеты, и так же отдалены друг от друга. Русь – нескончаемая перманентная революция. День наш прожитый – десятилетия, год – сгустки эпох. Мы ели кислый виноград вместе с отцами своими, едим и сейчас. Качу тачку, полную камней, выплевывая шлаки прожитого, из пор моих утекает с потом вместе желтая моя рабская кровь, и сквозь плотную густую желтизну – мысль, как кусочек, голубой пульсирующий кусочек: «В чем мое величие? Чем я отличаюсь от улитки и носорога?» Власть? Деньги? Слава? Жалость. Жалость и есть величие. Жалость – когда «моя слеза течет по щеке твоей». Жалость – как спасенье мое и всех. Любовь и жалость должны править миром. Земля нам даже не мачеха. Земля – вселенский отстойник – общепланетная каторга особого режима. Мы уголовники, сосланные на землю с иных планет. Уголовность – суть наша, гены. Куда подевались динозавры? Мы их съели. Торговля оружием и наркотиками на государственном уровне, государственный вооруженный бандитизм, войны. Две трети чекистов и милиционеров сидят на этой земле за изнасилования, тяжкие телесные повреждения, убийства. Две трети профессоров и писателей – за растление душ в особо крупных размерах. Да возьми ты хоть маленький топорик в свои немощные, вымирающие ручки, выйди, пусть не на большую дорогу, куда тебе – духу не хватит, выйди на тропку, убей ты одного, десятка; нет, ты вскарабкался на кафедру для погубления тысяч и тысяч душ. «Живи хоть тыщу лет – спасенья нет». На земле одно лишь время – время разбрасывать камни, собирать их – дураков не осталось. Остальная часть каторжников на сельхоз- и промработах. Они пленники вялотекущей трудотерапии с летальным исходом. А властители наши давно уж вне слов, они черные отпечатки абсолютного зла. Одноклеточный рэкетиры – гроза пенсионеров и нищих – добывают кровавые денежки для власть имущих, дабы не истончали лопаты последних. В чужой стране, сидя на трупах солдат, непременно споет лирическую песню о хорошо исполненном долге. Ах, вышла ошибка, убил я миллион-другой, так это не я, это те, кто думал за меня. А мне дайте квартиру, я жить хочу и памятник при жизни. И песни, песни, поющий не может быть плохим? Поем,





как жаль нам Христа; ошиблись, так это не мы, это Рим, Пилат, козни Вавилона, интриги жидомасонов и туманность Андромеды. Нам песня строить и жить помогает, да песни-то все лагерные, ночью убьешь нескольких, а утром, ба, да ведь это мать родная, отец единокровный, сестра единокровная, а с нею и друг, и товарищ, и брат. Нам песня строить и жить помогает. А в песнях Ветхого завета поем, как Бог собственноручно истребляет целые народы, разрушает города и страны. Реки и моря крови заполняют страницы. Вытягиваются жилы, и бежит история мурашками по спине. Потом высыхает, испаряется кровь со страниц, исчезают явные фальсификации, расизм и шовинизм, и ты оказываешься в гуще поэзии и на просторах неохватных грандиозного романа, заново встречаешься с Маркесом, Сервантесом, Гоголем, Достоевским, Чеховым, Лермонтовым, Пушкиным, Фрейдом и всеми, всеми. «Земля же была безвидна и пуста и тьма над бездною», и лермонтовское – «В пустыне мира без приюта вослед за веком век бежал, как за минутою минута, однообразной чередой, ничтожной властвуя землей». «И был вечер, и было утро: день один», «И произвела земля зелень, траву, сеющую семя по роду ее, и дерево, приносящее плод, в котором семя его по роду его. И увидел Бог, что это хорошо». И пушкинское – «Кто знает край, где небо блещет неизъяснимой синевою, где море теплою волною вокруг развалин тихо плещет, где вечный лавр и кипарис на воле гордо разрослись». Здесь Маркес летает на простыне. И Достоевский вглядывается в топор, летящий в космосе; топор падает на дом Раскольникова, и на дом старухи, и на дома близкие и дальние. На страницах Библии умещаются все: и убийца, и праведник, и пророк, и Божий враг лже-пророк, псевдоинтеллигент, образованный хам, душегуб, дующий на костер у собственных ног. Все спаялось емким и гулким союзом И. Здесь Моцарт и Чайковский, Бах и Мусоргский, и колокольный звон Хемингуэя. И звонит он по мне. Картины Босха и Рафаэля уживаются в одной строке. Почавкивают платоновские земные хляби бытия, и идет его мелкий нескончаемый дождь быта. Утро кроит печаль, день вышивает слезы, годы шьют платье забвенья. И одна осталась лишь защита – «Защита Лужина». Как всегда, точна Раневская – «Все провинциально, кроме Библии». Не Божье это дело подрубать под корень виноградники, лишать хлеба насущного только за то, что ты не из числа народа «богоизбранного», истреблять





целые народы в угоду «богоизбранным». Правы говорящие, что «Бог – это любовь» – и только любовь. И каждому воздастся по количеству любви, внесенному им лично в мир сей. С Богом можно говорить на трех языках: на языке любви, на языке удивления и на языке кротости. Три пути ведут к Богу – дорога жалости, дорога великодушия и дорога милосердия. Говоря на трех языках, идя тремя путями, и придешь к Богу. Усвоивший эти языки и идущий этими дорогами – и есть Богоизбранный Человек. Никакому народу эта задача пока не по плечу. Народ может быть «всегда правым», бессмертным, непобедимым, но Богоизбранным быть не может. Главное условие Богоизбранности – безымянность, ибо жалостливые всегда в тени, милосердным не ставят памятников, не за что? – он не Наполеон и не Чингисхан, крови не проливал, дома не рушил, страны не разорял, а милосердные всего лишь дают и плачут. Они почти все неудачники, лишены эполет и орденов, они улыбаются звездам на небе и с отеческой жалостью взирают на звезды на чьих-то плечах. Богоизбранных много, они везде, ими возделывается земля, строятся дома, ими переполнены тюрьмы и психушки, их топчут; наступишь на такого, а он смотрит на тебя отеческим, жалостливым взглядом: «Кто ж, сынок, тебя так обидел, кто ослепил тебя, тебя, путающего землю с живой плотью?» Праведник отрезает ухо себе, рисует лицо свое, обезображенное вечным криком кричащего в пустыне. Да вот же рядом с тобой горит неопалимая купина подсолнухов, вот же гроздья смеха висят на винограднике, все создано, все есть, все сотворено, благодари, пользуйся и радуйся, ибо радость – суть Божья; разве унылый слепил бы солнце, разве плачущий усеял бы всю землю цветами, разве невеселый нарисовал бы коту усы, а павлину хвост. Трудно выучить языки Божьи, трудно осилить пути Его, но иной дороги к Нему нет. Через пот и слезы, боль и отчаянье, и все же Радость – прыгающий на одной ножке ребенок, поющий и танцующий старец – божьи люди. Пьющий в меру вино и безмерно любящий – Божий человек. Много на земле Богоизбранных, да жаль, мы их не видим. Мы о них не слышим, но мы просто знаем, что они есть. Главное условие Богоизбранности – безымянность. Бывают и исключения – доктор Гааз, Мать Тереза, Махатма Ганди, отец Мень и многие другие, но безымянных больше, они суть, они соль, они основа, они и фундамент, и Дом Божий на земле.





О чем бы мы ни говорили, а все к Гоголю приходим. Гоголь – смысловой узел России.

Гоголь складывает простые, безобидные слова, а прочитаешь – страшно, а критики вторую сотню лет считают его сатириком. Да поймите же вы, кормящиеся его именем, – не смеется он, а плачет, ибо Чичиковы, Коробочки, Хлестаковы – это ведь все мы. Страшно от деяний гоголевских героев. Коробочка говорит: «А я еще мертвых-то не продавала». Еще главный лейтмотив всей поэмы, казалось бы, дальше некуда, ан нет, оказывается, есть резервы для дальнейшего обезличивания, для дальнейшего самоубийства. Еще – это когда индивид готов принять все чудовищное и нелепое извне, чтобы собственное Я убить. А ведь родились-то мы голые, это потом уж одеваться стали, и не всегда сами выбираем платье.

Может, и мчимся мы в тройке, но куда? Проголодаешься от быстрой езды и «веселых» песен ямщика, устанут глаза от холодного света, луж по краям дороги, от чернеющих до самого горизонта редких деревьев, пахнет неустроенностью сотен судеб и собственной судьбы. Безнадежно рабская спина ямщика, грязь из-под копыт, кони, окольцованные хомутами, серое небо, закроешь глаза и думаешь: кони, лужи, небо, в одной мы упряжке, и ехать не хочется, а спрыгнуть... куда? Лицом к лицу с небом. Небо и ты, и все... Ничего во всей Вселенной. Откроешь глаза, да вот спасенье, радостные желтые ворота, и вот он веселый, хлебосольный Плюшкин. Гостишь которую уж неделю, а хозяин потчует все, да на белую постель укладывает. Ехать уж пора, да взглянешь на хозяина, ну как расстроишь его своим решением, и останешься еще на день. Но надо... «И летит птица-тройка, да кто ж не любит быстрой езды».

Лев Аннинский: «Роман «Буранный полустанок» испорчен рыхлостью пространных описаний, хрестоматийностью пейзажей, дурным вкусом научно-фантастического элемента. «Лесная грудь» вызывает у меня, простите не образ светлого будущего, а образ волосатой женщины. Критиков, которые пишут об этом романе в ритме гимна, всерьез читать не могу. Уж что сейчас помогло бы писателю такой силы и таких возможностей, как Айтматов, – так это дотошный разбор текста, безжалостность конкретного анализа».

Ну и ну, не впервые слышу о «школьности» стиля Айтматова, опять





стиль, опять оболочка, и ни слова о том, что же родилось от внешней и внутренней связи, о том, третьем, что важнее и значимее всех и всяческих стилей – атмосфере, духе, вещи.

Пространность описаний передает дух пустыни: ее дремотность, сильный и емкий текст только сузил бы бескрайность, нарушил бы звуковую особенность степи, сильные слова, как барабанная дробь, врываются бы в веками устоявшуюся спрессованную плавную музыку Азии. И уж совсем ни к чему дотошный разбор текста. Мы можем додотошничаться, что, разрывая текст, мы из большой Азии получим сотни песчаных островков, лишенных жизни. Согласен, что «лесная грудь» звучит не очень приятно и вообще фантастическая часть выглядит «заплатой иного цвета».

* * *

А. Спирин: «Шукшин сделал удивительное открытие, употребив в буквальном смысле поговорку: «С бору по сосенке», кто-то из пишущих искажил форму данной поговорки, употребив ее в редакции – «С бору да с сосенки». Ошибку эту повторили Шолохов, Федин и др.»

Нам кажется, обе редакции имеют право на жизнь. Дело в ритмике произведения: если автор ведет рассказ плавно, последовательно, то с «бору по сосенке»; если вещь экспрессивная и автор подчеркивает нечто из ряда вон, то «с бору да с сосенки», «с бору да еще с сосенки». Так, например, – вагон и маленькая тележка.

* * *

Самые обездоленные сыны человеческие – это властвующие и только насыщающиеся, они Божьи пасынки, им к Богу не прийти, ибо они не знают языков Божьих и не видят путей Господних. Они могут прийти в церковь, в мечеть, синагогу. К Богу – никогда. Говорящий на трех языках и видящий пред собой три дороги, сливающиеся в единый путь, не идущий сам и не показывающий его другим, – великий трешник. Ближе всех к Богу монахи, узники, композиторы и балерины. Только концентрация духовного, душевного и телесного, да еще и музыка, доселе еще не написанная, и способны приподнять человека и плавно приземлить его в безлюдной Москве.

Господи, да что это за игра, где нет побед и ничьих, игра с единственной ставкой – поражением, или убей, или прикажи убить, или будь убитым. Или – или, так ведь это не игра; это – война, а на





войне не бывает выживших, уцелевшие оставлены как бациллы, как вирус, чтобы рождали убитых.

Господи, что ж Ты загружаешь лучших, ведь тащат и свой и мой грех; подели поровну, дабы не падали лучшие и не топтали их идущие налегке. «Возлюби врагов своих» – это буквально, ибо они такие же, как и ты, Божьи дети.

«Возлюби врагов своих» прочитывается и в переносном смысле. Не будь их, нет необходимости из тайников души и духа тащить на свет Божий все, «что ты приберег на старость, дабы было чем жить и на что ждать тебе на склоне лет твоих, и заиграло, и засветилось в свете Божьем все, что дремало и чахло в недрах твоих, и враги уменьшились в росте, а ты вырос. За счет врагов и растет человек. Гонители всегда малы ростом, гонимый – высок. «Возлюби врагов своих», возлюби гонителей, ибо они почти всегда гонят тебя в сторону Бога.

Уносят годы и дробят то цельное детское, емкое и пахучее. Память и есть едва помнимый запах гармонии всего и всех; все остальное ложь – бытовой миф, бытовой мираж. И только любовь способна вернуть память. Годы, как плохо определенный фокус, неверно выбранная диафрагма, и ты – размазанный негатив, и из цветущего поля втекаешь в беспросветный фатальный запах ковыля. И только труд возвращает тебя к исходному. «Время собирать камни», и камни соберут тебя. Малое – это сконцентрированное большое. В пшеничном зернышке – тысячи элеваторов, в яйце – тьма кур, в камне – история. Мы высыхаем, время сушит, из нас утекает живая вода, мы высыхаем, превращаясь в антивещество, достаточное, чтобы превратить в ядовитую пыль эту маленькую землю; нет нужды ни в атомных, ни в водородных, ни в иных каких бомбах – лишняя трата денег; народы сами позаботятся о своей судьбе, без участия умных своих сынов. Серое вещество утекает из мозга, обволакивая тело. Ад и есть бесконечное, непрерывное серое, огня под персональной и братской сковородой (в зависимости от земных заслуг) не будет, ибо цвет его напоминал бы о солнце, порождая несбыточный оптимизм. И только любовь, и только память (а любовь и есть память) способны развеять потусторонний мрак. Любовь – это озарение. Любовь – это встреча земли, неба и человека. Любовь – это нормальность. Только любящий может сказать – я нормальный. История – это музыка. Музыка народов, переданная





через великих своих композиторов. Музыка – это подлинная, непредвзятая история признания всеми. Музыка – это история дерева, лепестка, цветка, кошки, бегемота, человека, земли и космоса. Музыка – история войн и немногочисленных праздников человечества. Хоровое пение – передача наиболее концентрированных этапов истории. Чайковский – история любви человеческой, торжествующей и не состоявшейся. Моцарт – праздник, гармония (произрастающего и живущего). История часто болеет, рок-музыка – лучший диагност этой болезни. Рок-музыка – это движение, вакханалия вирусов, бактерий в организме истории. Рок-музыка – история вирусологии, королева медицины. Каждый композитор написал свой кусочек, свой пласт истории. Музыка – это то, что было, что есть и что будет. При помощи музыки можно найти ту самую собаку, умершую, проглотив философский камень. Место, где зарыта собака, безуспешно ищут все новые и новые поколения. А найти можно только музыку, все остальное – бытовой и интеллектуальный мираж. И найдя, наконец-то свободно вздохнуть – «Господи, наконец-то свободен!».

Свобода – это то, что к человеку не имеет никакого отношения. Человек – это ангел, закованный в демонизированную оболочку – тело, этакая куколка, из которой только со смертью вылетает бабочка. Вся агония – безуспешная попытка вырваться и ухватить за хвост большую хемингуэвскую рыбу, а ее нельзя поймать, она нам ниспослана Богом в день нашего рождения, вон она плавает во дворе в невидимом глазу, бассейне, большая-пребольшая, с громадными голубыми глазами. Плещется в воде и зовет нас, а мы не видим. Нам надо ее поймать где-то там, на стороне, и стоит нам только подумать об этом, как ниспосланная нам рыба уменьшается, как шагреновая кожа, и в конце концов от нее ничего не остается, а вместе с ней уходим и мы. Суть не в том, что поймать, а в том, как бы не упустить. Хемингуэй и Маяковский слишком поздно это осознали. Конечно, не все так просто в этих трагических уходах, но все же... Раскованность Запада, шорты, маечки, трусы, энергия вливается и без задержки утекает, ибо чтобы удержать ее, нужно усилие, напряжение. Напряженность России, скапливание энергии и концентрированный духовный выплеск громадной силы – кино, театр, литература, живопись, наука, спорт. Раскованность – вещь прекрасная, ходить в набедренной повязке и с вечно раскрытым





ртом, конечно, пир телесный. Напряженность – будущий праздник духа. Сегодняшняя напряженность России – завтрашний ренессанс. Нормальный человек – это человек, рожденный от убежденной хиппьянки и академика Лихачева. Хиппи – это попытка очеловечить проживающих на земле, но чекисты и чиновники посчитали, что они – слепок их жизней – и есть тот путь, по которому должно идти общество, и общество пошло бы, да сил уж никаких. Иссякла любовь, а без нее идти некуда. Любовь – это и путь, и преодоление пути.

Господи, внизу тесно, наверху – подлю, отстающего бьют и верхние и нижние. Быть нет никакой возможности, а «не желаю быть» – грех. Солдатами не «рождаются». Плох тот солдат, кто ничего не желает. Общество возвращает убийц для того, чтобы с ними потом бороться согласно указу 0015/34. Москва, Кремль, Вашингтон, штат Невада. Белка в колесе – автопортрет человечества, медведь на велосипеде – самоистребление, убийство Божьего в человеке. Политика – разговор о невозможном, утверждение несбыточного. Спорт как попытка выпрыгнуть хоть на миг из сумасшествия. Футбол – воспоминание о первом дне человечества, восторг от сущего, после которого и было слово. Интеллект Пеле, Круифа. Надежность – Джентиле. Разрушение Карфагена – Гарринчи. Чуткость – Воронина, широта, кругозор – Веремеева, Конькова, Кипиани. И родившийся, и растворивший себя в футболе – Стрельцов. Футбол – интеллект, энергия, вдохновение, творчество. Футбольный тренер должен быть дилетантом, он должен быть над, а не у кромки поля. Он живописец, архитектор, дизайнер – всего понемногу, главное – наличие абсолютного вкуса. Пьесы Чехова должны ставить и играть дилетанты, не обремененные дикцией, ермоловской осанкой и системами всех мастей. Обладающие только одним качеством – абсолютным вкусом. Интеллигентность красит все. Интеллигенты везде, даже в боксе – Григорьев, Агеев, Мохамед Али, Кузнецов, Киселев, Конакбаев, Енгебарян. Иду на вы – Медведя изощренность, утонченность, соединенная с молниеносностью Али Алиева, многогранность Шахмурадова, былинность Ярыгина, суть – разные пути к свободе. Борьба – взаимопомощь, совместный путь к свободе и победителя и его оппонента. Гол в девятку, 5-й концерт Рахманинова, полет Плисецкой. Гениальность землепашца Мальцева, ежедневный подвиг просто живущего, улыбчивого, поющего на улицах и есть разрушение куколки и полет бабочки.





Пляски африканцев, бой (народов) барабанов, грузинские песни, танцы народов Кавказа, русское истинное лицо в кино, театре, литературе, а главное, Иванушка Дурачок – символ свободы, вольная прохлада еще молодых лесов, – суть русского, то есть симбиоз тюрко-славянского – вершина интернационализма. Пушкин, Толстой, Лермонтов, Тургенев, Чаадаев – это сам интернационализм крови и духа. Часть общества покаялась после «Сорок первого» Чухрая и «Баллады о солдате». Это и было началом перестройки. Тогда-то и проросли первые ростки общечеловеческих ценностей. Литература врала или отмалчивалась, церковь стала социалистической, и этот мрак освещало только кино. Советское кино по значимости своей в одном ряду с русской литературой XIX века. Будут в кино еще всякие измы, более изысканные формы, фантастические возможности техники, будет все, но мировое кино всегда будет возвращаться к советскому, как литература возвращается к Гомеру, Софоклу, Еврипиду. В наши дни выйти из кино да в жизнь – будто из бани в болото, сейчас гармония – из болота в болото. Но время злобно-го примитива пройдет, ибо злоба и миссия – понятия несовместимые. Миссия любви – да, миссия добра – да, но миссия зла? Язык отказывается выговаривать подобное, звучит нелепо, как злобная лань. Не несущее миссии – однодневно. Страна застегнута на все пуговицы, сержанты и генералы, швейцары, жэковские чиновники, начальствующие школьники-звеньевые, председатели дружин и отрядов молились только одному – начальственной дикции. И в этот дурдом ворвался Пашка Колокольников из фильма Шукшина «Живет такой парень», ворвался, как ветер, со дна морского, из самого града Китежа. Пришел простой и емкий, как дождь, как снег, как ностальгия по несостоявшейся нормальности. Пришел, и мы слышали здоровые слова, увидели нормальные поступки. Пришел улыбчивый, ёрник, миссионер, и мы увидела себя и с досады рванули рубахи, и полетели державные пуговицы, и рухнул Союз, Свифтовский союз, в основе которого был физический закон – все легкое всплывало наверх, все крупное опускалось на дно.

Рухнул Союз серпа и шаров собственного и близь и даль прилегающих народов. Мы шли в кино не за мыльными мексиканскими пузырями, мы шли туда, чтобы жить, мы убегали туда от утопии. «Калина красная», «Судьба человека», «Жил певчий дрозд», «Гамлет», «Три тополя на Плющихе», «Доживем до понедельника», «Пять





вечеров», «Пьеса для механического пианино», «Мы, нижеподписавшиеся», «Премия», «Обыкновенное чудо», «Когда деревья были большими», «Иваново детство». Да разве все перечислишь, от одних названий тепло, хочется их повторять, как стихи и молитвы. Мы веровали в кино, ибо кино несло Божье; и наши апостолы не предали нас, и мы выжили, пусть искалеченные, пусть с огромным крестом на жизни нашей. Но были у нас мгновения истинные, воистину чистые мгновения, когда мы жили и живем, греясь у огня, рожденного трением художника и быта. Лучше всего о великом советском кино сказал Мюнхгаузен уста-ми Горина, Захарова, Янковского: «Подъем в 8 утра, до 8.30 разгон облаков и установление хорошей погоды». Вот и наше кино было занято разгоном облаков и установлением хорошей погоды в несчастных душах наших.

А сейчас все камни собраны, и уставшему человечеству – время пить «Херше». Отгремели дебаты на тему: «Стоит ли наступать на грабли?» Черный квадрат на флагах всех стран и стяге ООН. Черный квадрат – как наше прошлое, настоящее и, к сожалению, будущее, шансов никаких. Миром правят синие люди Филонова, а воздух фиолетов. «Открыть окно, что жилы отворить». «Какое на дворе тысячелетье?». Окно сейчас вообще не отворить, решетка не позволит, одна радость: не появились еще тюремные козырьки, как деталь из программы – каждому к двухтысячному году – по тюремному козырьку. А пока синее, фиолетовое, серое сгущается, вбирая в себя все и вся. Люди для того, чтобы трансформировать добрую сущность человека во зло. Люди – это некая эфемерная сущность, пытающаяся сформироваться в нечто реальное. Грянуло солнце среди ночи, луна пропылала среди дня, пришел первый день заката.

Наступила эпоха самой последней и самой затяжной революции – бунта ничтожеств, тотальное, впервые осмысленное наступление серости на остатки, крохи человечности. Земля и все живое на ней зарождалось, быть может, от микробов, а погибнуть ей суждено от одноклеточных. Серость сама себе вождь и исполнитель собственных замыслов. И во главе этой толпы – Люмпен всех сословий и классов, этот вечный и злой, отстраненный от материальных и духовных ценностей, наконец-то вырвал из правящих рук свою долю материального и расставаться с завоеванным он не намерен. А люди – это





абстракция, как победа, свобода, мирное существование. Люди – это легионы, объединенные разными целями, понятия не имеющие, за что они воюют. Люди – мираж, реален лишь человек. Если рубят сук, на котором сидят, – это люди, если сажают дерево – значит, это человек. Господи, воистину этот сук из сверхпрочных материалов – все рубим и рубим, и никак срубить не можем. «Не всякая птица долетит до середины Днепра», времена меняются: нет той птицы, что приблизилась бы к берегу Днепра (Чернобыль).

Бог с нами говорит на равных, а мы различаем лишь отдельные буквы, мы, как младенцы, ощущаем Бога, чувствуем Его прикосновение, но Глас Божий нам недоступен. Легче пьяному перейти через мост Сират, нежели вкусившему власть вернуться в нормальное человеческое состояние.

Крестьянство – ящик Пандоры, безнадежно инфицированная материализмом сущность, материальное, доведенное до порока, до душевного разврата. «Каждый пишет – как он дышит, каждый дышит – как он пишет». Пишущий – вообще дышать не должен, вместе с воздухом уходит воздух из слова, и оно становится худосочным. Творчество – это затаить дыхание. В последней капле пота, блеснув, исчезла «Незнакомка» Блока.

В основе патриотизма – любовь, в основе национализма – ненависть.

Интеллигентность – это пятьдесят процентов вкуса и пятьдесят – стыда.

Интеллектуал – «Меня интересует все, что меня не касается».

Интеллигент – всегда чужая боль в моей груди.

Кто виноват? – Государство.

Что делать? – Не угодничать.

Ум – это удачный монтаж жизненных кадров. А чтобы из тьмы сюжетов отобрать необходимые тебе кадры, нужен просто вкус, а стыд – это реакция на плохой кадр. Профессионал выбирает какой-нибудь единственный кадр, распушивает его. Молится на него и растворяется в нем. Господи, Ты дал четыре ноты: весну, осень, зиму и лето. Люди придумали семь нот – Чайковский, Вивальди, Дворжак, Рахманинов, появились люди, семь нот спрессовавшие в одну – Бах, Мусоргский. И все дела Твои, Ты создал сотворцев, не попугаев. Японцы из пространной китайской





поэзии оставили три строки, а из этих строк родились высокие японские технологии – брать чужое, отсекай лишнее и оставлять свое.

«Овод» как тройной одеколон, «Дон-Кихот» – это даже не тончайшие духи, этот запах, минув нос и сознание, заполняет подсознание, это нечто, не имеющее запаха, но ассоциирующееся только с этим чувством.

Космополизм: гуманный и агрессивный.

1. Гуманный: твое лучшее – мне, мое лучшее – тебе.

2. Агрессивный: ни тебе, ни мне.

Надежда вернуться к себе: это язык, потомки Сахарова, Ковалева – путь к истокам, возврат к гуманному космополитизму и покаяние на деле. Провоевал в Афганистане девять лет, двадцать семь лет кайся, обустраивай, корми, извиняйся, молись, только воссоздавая Афганистан, Чечню, можно возродить Россию с русской основой. И покаяние только действенное.

Формула покаяния проста: год воевал – три обустраивай.

Я пытаюсь расчистить кусочек земли – родину предков своих, чтобы построить дом. Пока я таскал камни, ко мне в гости шли с конца земли люди, я узнавал их и принимал, под каждым убранным камнем народы и страны, клочок земли расширился до уровня планеты всей. Под одним из камней я раскопал новое Евангелие от Игоря Шкляревского. Из Старого я взял всего одну заповедь: «Возлюби ближнего как самого себя». Из всей современной литературы – стих Игоря Шкляревского: «Твоя слеза течет по щеке моей». Соединил два Евангелия и получил одно. Излишне уже говорить: не убий. Ну как ты убьешь, если любишь ближнего как самого себя и его слеза течет по щеке твоей. «Не убий!» – обращение к мертвому, ибо живущий убить не сможет, а убивший – мертв. Оказывается, льется не чужая кровь, а своя. И из-за чего льется, из-за самого пустого, погребушечного, не наполненного никаким содержанием слова – «победа». Это слово камерное, глубоко личностное, вырываясь наружу, оно окрашивается в красный цвет и запрашивает самую дорогую цену, существующую на земле, – лицо человека, лик народа. Разве есть на земле такие богатые люди и народы. А заплатившему – пребывать в вечной нищете. Я строю дом...





ВАЗА КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ

Помню день рождения. Помню миг рождения: на белом столе большая бело-голубая ваза, тяну к ней руки, вот-вот дотянусь и... она разлетается, и черепки ее выплывают в распахнутое окно и тают в синеве, а за окном ясень и чей-то голос: Отца, Сына и Святого Духа; и ветерок колышет занавеску. Я кричу, меж двух концов крика умещается мир Божий. Свежесть утренняя приносит ощущение, нет – обрывки знания, что осколки вазы и разорванные фрески на них есть слепки всей земной и всех иных бесконечных жизней моих. Знанию, что вазу не сложить, надо попытаться отыскать самые важные ее фрагменты, они и будут пропуском в иные миры и жизни иные.

Нас, первоклашек-интернатовцев, поднимали в пять утра и вели на другой конец сонного города кормить в заводскую столовую. Тьма, не за что глазу зацепиться, и почему-то столбенеешь при виде дворника в белом фартуке. Почему все спят, а он один-одинешенек в полутьме метет улицу? Здесь что-то не так, здесь все не так. Так не должно быть, раз мне больно, и чувствую – я создал вину или создам вместе с теми, кто спит сейчас за темными окнами. Пройти мимо, ведь не я же стою с метлой, усталый, прижавшись к железным перилам. Я не виноват, и это не мое, но дворник – как линия, связующая фрагменты на моей вазе. «Что, малец, не сладка сиротская жизнь?» – вдруг говорит он человеческим голосом. Мы не детдомовцы, мы из интерната, – и криком во тьму: у меня есть и папа, и мама, и я учусь играть на скрипке, интернат у нас музыкальный. «Все мы сироты», – говорит тихим голосом дворник, и я иду в заводскую столовую, неся с собою сладко-горький мой черепок, хочется рассказать о нем несслыханными словами, но слов не было, они пришли потом, и не совсем те слова...

Я иду по черепкам, отшвыривая ненужные и глупые, и просто





мерзкие, а они дробятся на мелкие кусочки и прилипают ко мне, сверкая и посмеиваясь надо мной. Дурацкий костюм из ярких побрякушек. Подбираю, напрягая силы, тяжелые глыбы, составные вазы, подаренной мне в день рождения.

Я слышу чей-то голос из моего первого дня, мой первый и бесценный черепок, хрустальный камертон мой: жили-были старик со своею старухою у самого синего моря. Вслушивался, впитывал те слова и искал среди них слово выпавшее, слово присутствующее, но невысказанное, и когда я произнес это слово – «небо», слова выстроились в лесенку от неба самого до моря синего.

На этих словах вырастали деревья и травы, и на деревьях тех пели песни невиданные птицы. И ничто чуждое и ложное, и никто лживый не мог ступить на лестницу ту. Я слышал голос из моего первого утра: Отца, Сына и Святого Духа. И не хватало среди слов этих одного, очень важного слова. Долго искал и нашел я слово то – «Матерь Божья», не Матка Боска, не Дева Мария, а Матерь Божья.

И стал я писать киносценарий по мотивам чужих вещей, но со своим, мною найденным словом.

Я увидел маленький городок у моря, лавчонки, пыльный базар и людей, нарядно одетых, в лавках тех и не видевших моря. В лавках продавали и покупали, а моря не видели, а было море то зеленым-зеленым. Рыбаки ловили рыбу; рыбу видели, а моря – нет. И никто не видел зеленоглазую, златокудрую деву-босячку, стоящую на берегу зеленого моря в длинном, до пят, рваном домотканом платье. Чуть поодаль, в шалаше, – пожилой крестьянин, Бог весть как и откуда попавший на эти берега. Перед ним зеленое море, а за спиной далеко-далеко серое небо, изба серая, старенькая жена, и сын, и сноха. Он ловит золотую рыбу в море зеленом и дарит ее златокудрой деве, а она дарит ему любовь. Шалаш, костерчик, казанок, зеленое море, «которое смеется», он и она.

Жили-были старик со своею старухою у самого синего моря.

Приплыли революционеры в цилиндрах и робах, машут красными флагами, кричат: мол, переделаем, да разрушим, да раздуюм костер, да погреем бока земле-старушке, – и не видят людей у маленького костерка.

Соседка кормила овцу бакинским печеньем. Овца брезгливо ню-





хала, но есть не собиралась, а смотрела вдаль сквозь бесполезные торы печенья, и во взгляде этом умещался весь ее путь от библейской родины до кончика ножа – ее цельный кувшин. Соседка жаловалась: несут это печенье на свадьбы и похороны, со свадеб и похорон, вон у меня под навесом уже десять ящиков набралось, дети не едят, птицы не клюют, думала, баран хоть позарится, а ему и понюхать-то лень. Соседка похожа на овцу, только в джинсовой юбке и с ищущим взглядом, не ведающую, где родилась и куда уйдет, ее ваза – вдребезги. Ищет, наверное, свои важные осколки. Да, беда, печенье кто-то готовит, кто-то приносит, а есть некому. Соседке собирать свои осколки, а мне свои.

Отец в кожаном плаще, в сапогах, на голове фуражка-сталинка, в руке чемодан деревянный с огромным висячим замком, а вокруг – мир иной: магазины пухнут от избытка черной икры, колбас, окороков, детишки перепачканы шоколадом и мороженым, а на мне суконное, с отцовского плеча, пальтишко и резиновые сапоги... Палит солнце.

Целый день мы ходим по городу, мы прописываемся, и еще я узнал, что отец – спецпереселенец, слово понятное: отец специально куда-то переселился и теперь никак не может переселиться обратно.

Ночью мы падаем на пол чьей-то маленькой комнаты, которую отец важно величает квартирою. И опять утро – не мое утро, и опять день – не мой день.

Впереди нас идет девочка в праздничном платье с громадным алым бантом на голове, рядом ее мама с лукошком, полным большущей клубники, я вяжу пухленькую белую ручку, в ладошке мелькает, переливаясь на солнце, чудо-ягода... и исчезает меж красных губ. За ними следует пьяный, и видно, голодный человек, с глазами любопытной крысы, изогнулся весь, голова чуть ли не в лукошке, погрузился душевно в чужой процесс поедания клубники.

А в парке жарили шашлык. Женщины в крепдешиновых платьях и мужчины в макинтошах ели его. Запахи пудры, зелени, шашлыка и удовольствия от его поедания наполняли улицу, и я невольно поворачивал голову в сторону жующих, а отец, видя это, все сильнее и сильнее сжимал мне руку и, резко дернув ее, шагнул в магазин, протянул продавщице медь: сто граммов печенья, шепотом и оглядываясь, сказал он. Я взял печенье, надкусил, а проглотить не могу.

Я смотрел отцу в глаза, а видел его плащ кожаный, несчастные ста-





рые сапоги, фуражку с беспричинно оптимистическим козырьком и деревянный чемодан с громадным висячим замком.

И все исчезло, провалилось: магазинный гвалт, продавщица и весы, звуки и запахи, – пахло лишь бедностью и чистотой. Мне хотелось смеяться и от радости плакать. Я ликовал: мы бедные, и папа мой бедный, и я его очень люблю за это, а отец смотрел на меня, и глаза его стали теплыми и влажными. Ликование подхватывало и зашвыривало аж к самому небу и кубарем скатывало и зарывало меня в желтый песок у самого синего моря. Немного придя в себя, я увидел те слова, что прозвучали под окошком моим, вероятно, из уст деревенского попа: Отца, Сына и Духа Святого. И я увидел со стороны Отца, Сына и Святого Духа, обернутого в грубую гастрономовскую бумагу.

И вспомнил я того попа, пьяного, с громадной палкой в руке, ею он крушил буфетную вывеску, – стеклянное крошево падало на землю и на голову попа, путалось в бороде, а он махал и махал своей дубинкой и кричал: «Люди, одумайтесь, сатаны в вас и сатаны, суд Божий грядет, и день ваш последний на пороге вашем». Потом, усталый, заснул в березовой роще, а кто-то из ссыльных не поленился – сбрил ему волосы и бороду, и ушел поп из дома своего, стал ходить по окрестным селам, входя в дом каждый, проклиная и умолая: одумайтесь! А люди приветливо встречали его, и, говорят, от этой приветливости он и сошел с ума. И бродит по бесчисленным и бесконечным дорогам безумный поп и бормочет сам себе: «Что дороги? Дороги – мираж. Слаб – упавший. Выстоявший – мертв. Устали люди быть людьми. Мельканье рук, мельканье ног... проходят дни».

И вспомнил я дворника, которого предстояло еще увидеть. И вспомнил я лицо незнакомого мне человека и содрогнулся, да ведь он в любую минуту может убить меня, старушку с кошелкой, любого шофера и любого пешехода. Кто ж его так обидел? И, когда захлопнулись дверцы переполненного автобуса, я вспомнил: ведь это я его обидел. И я не хотел уже ни шашлыка, ни клубники, я хотел, чтобы всегда был отец и был бы он бедным, а от бедности той пахло бы чистотой. И чтобы никакие другие запахи и звуки не мешали мне увидеть собственную вину за все то, что я вижу, за все то, что я слышу, и чтобы я всегда любил отца своего, и были бы у меня силы сказать встречным: «Здравствуйте, братья и сестры», – и были бы силы сказать уходящим:





«До свидания, братья и сестры», – и ходили бы мы все по ступенькам моей лестницы от неба самого до моря синего.

Я хочу собрать все самые важные черепки, но как мне выползти, вырваться из моего дурацкого костюма, костюма из крошева мерзких фресок.

Китайцы могут в десяти строках рассказать, о чем шепчет бамбук ветру и ночи, как опадают лепестки роз и река их уносит, словно чьи-то годы уносит. Как тяжело старому с похмелья, как тесно малому в колыбели. Скандинавы могут в десяти строках рассказать, как руками они века придерживают море, расскажут, что рыбак не рыбою богат, а душою, и о душе его расскажут. Они знают, о чем кричат чайки, они слышат, как смеется янтарь. Расскажут, как молчалив и стоек песок в испытании вечном с волной и морем, и все это в десяти строках. А японцы умудрились в трех, всего лишь в трех строках рассказать, кому улыбается сакура, и о том, как пахнут утро и женщина, продающая свежую рыбу, о том, что земля одна, человек один, одна надежда. Как рождаются и умирают звезды. И все это в трех строках. Мне тоже хочется рассказать, как я умер, а потом научился смеяться, но мне и тысяч слов не хватит. Я умер в тот летний, послевоенный день, посреди необъятной Азии. И было мне то ли четыре года, то ли пять лет – не все ли равно, разве мертвые годы считают? Было солнце? Кажется, было. Мужики пили пиво в лесочке, бабы шли в сельпо, выходили с кулечками, с ситцем. А он вышел на дорогу с мешком, перепачканным известью. Человек как человек, и лицом ничего, и одежда на нем была, кажется, была. Поднимал он мешок, полный кошек под самую завязку, и колотил им о горячий асфальт. Мне и тысяч слов не хватит рассказать о кошачьих воплях, хотя вечно воющих странах слов больше, чем надо. Слышали все, даже те, кто слово «мама» никогда не слышал. Мне и тысяч слов не хватит рассказать, как я умер в тот день, а затем сделал вид, что живой... и научился смеяться. Вдоль дороги тополя тянулись, мчались полуторки и «победы», мужики пили пиво, бабы с покупками шли, и было солнце, кажется, было, приторно пахло сиренью и пылью. А парень, с виду не злой, даже на херувима слегка похож, поднимал тяжелый мешок, не всякий справится, а он смог, мертвые могут. Дома, деревья, люди, дорога погружались в





прокаленное солнцем и умытое кровью слово «Азия», молчаливое и мудрое, все видевшее, все принявшее слово – «Азия».

Только что кончилась Великая Отечественная и началась просто народная, без конца и края, ежедневная и ежесекундная война, и были уже первые раненые и первые убитые, нет, не первые.

Давным-давно, далеко-далеко, за всеми морями, за всеми горами жили-были люди, и был у них свой король. Утром люди просыпались в собственных домах, а спать ложились в домах чужих, на чужой земле они воевали, воевали каждый день. Чужое солнце стали путать со своим, свою землю – с чужой, и пришли тогда изможденные люди к королю, и спросили люди у короля: «Зачем война? к чему война?» Усталый молвил повелитель: «Идем на битву мы, чтоб хоть на миг отвлечься от войны».

Когда умирал я, то был напоследок тем котом в мешке, не сказочным, а настоящим, в настоящем дерюжном мешке. Был червем дождевым, на острие лопаты. Было солнце, и были деревья, и была тишина, ехали куда-то машины, плавилась Азия, и я должен был сгореть в этом пекле, но кто-то произнесший: Отца, Сына и Духа Святого, – опустил ко мне лестницу, и прохладные слова, спеленав меня, пылающего, бережно понесли за три-девять земель, в иные царства, в иные государства.

Я хочу домой, в комнату, где на белом столе стояла бело-голубая ваза, к ясеню за окном, который помнит день и миг тот. Я хочу к голубым ручейкам, что бежали вприпрыжку по селу и кричали, булькая и захлебываясь от восторга: арык, урюк, дувал, арык, урюк...

Я хочу прикоснуться к первой своей свистулке, от звука которой дрожало утро и тополя валились и бились в падучей, слетались звуки на душевное вече, смеялось утро и плакал вечер. Я найду этот дом по той березовой рощице среди песков, насквозь и навсегда пропахшей воробьиным духом, где мы, послевоенные детишки, сшибали птиц с веток, жарили и ели, голода не было, но есть хотелось всегда.

Я сел в поезд и не сомневался, что еду за очень важным своим черепком. Ничего из бывшего вокруг – рощу вырубili, будто вместе с девушками и парнями, певшими здесь: «Ой, рябина кудрявая, белые цветы» – вырубili вместе с песней. На месте том что-то строили, поплеывая и покуривая, скучающие ребята. Кружусь вокруг дома, а узнать не могу, место вроде бы то, а дом не тот. К стенке приколо-





чен портрет старика Хоттабыча, внизу надпись: «Знатный колхозник Франц Майер». Кружусь вокруг дома, а во мне звучат слова то ли из хокку, то ли мои, из вазы моей: много я прожил, многое видел, и когда вернулся к своей колыбели, – она велика для меня оказалась. «Вы ищите кого?» – спросила незнакомая женщина. «Да вот, дом свой потерял». Назвал отца, мать свою. «Как же, дом ваш, но новый хозяин пристройку сделал, и не узнать». Переночевал я у нее, а утром еще до свету поплелся в райцентр, на вокзал. Вокзал. Кочегарка с обугленной стеной, глядя на которую, почему-то думалось: скоро весна. Маленькая березка у полотна, человек в куртке желтой, простукивающий колеса, шашлычник, сонный еще, извлекающий из мангала тоненький дымок, щуря и без того узкие глаза. С белых далеких гор пахло весенним ветерком, появились девочки-киргизки в белых фартуках, и пахли они утренней ранью и земляничным мылом.

Я шагнул в поезд и вспомнил слова маленькой девочки, жившей в лачужке у самой железной дороги: и синие поезда уходят в голубую даль. И слова ее шествовали по моей лестнице от самого синего моря до самого неба и приводили меня к морю зеленому, к зеленоглазой и златокудрой деве-босячке, а с небес голубых на жизнь нашу смотрела Мать Божья, улыбалась и хмурилась, а море смеялось и пело...





КАК ТРУДНО СШИТЬ ПЛАТЬЕ

Рожденный от плоти – есть плоть.

Рожденный от духа – есть дух.

Как трудно сшить платье, если тебе 75 лет.

Долго подыскивала материю, нашла, наконец, тонкую серую ткань в белых ворсинках, сделала все вроде как надо, кармашки пришила, пуговицы, а вот воротник никак не могла соорудить. Время шло, а работа не двигалась. Как-то в городе встретила девочку. Знала, что работает она художником, да еще и модельером. Обрадовалась да и пожаловалась: с воротником вот нелады у меня, а она смотрит на меня, чистота в глазах. Спрашивает: «А зачем тебе новое платье, что, на праздник собралась?» А голос, как средь лета осень. Заглянула я ей в глаза, и так захотелось увидеть в них красную, теплую жилку, но в них – одна чистота; ни холод не примут, ни тепло. Развернуло злостью меня и к дому подтолкнуло, иду, кипит во мне все; летела по этажам и ступенькам и дома не могла успокоиться, все комнату вымеряю свою, мысли прыгают, сходясь на слове «праздник».

Праздник, праздник, а был ли у меня праздник, был ли у нас праздник? «Да, был!» – сказала твердо и села на диван, и пришел покой, и пришла жалость к той девочке: как она, бедная, с такими глазами жизнь проживет?..

И все же были большие праздники, и кровь была большая, кровь в глазах и на дорогах; были мертвые дороги, были чужие земли, ляг и умри, и небо не поможет.

Была далекая Родина. Были битком набитые растерянными людьми поезда. Не дай Бог, тебе, девочка, услышать этот железный, бесконечный стук колес, будто рубят на куски и Надежду, и Родину, и Время само.

Мертвых хоронили тут же, у дороги, в маках, в тюльпанах, забрызганных черным мазутом. В степи чужой доселе невиданный верблюд что-то жевал и выплевывал, жевал и выплевывал, и уходил, топча бесконечно красное, и пекло нескончаемое солнце. А я старалась уйти назад, в ущелье мое, пропахшее сосновым духом, к звенящим родни-





кам, в домик наш темный с маленьким желтым окошком, где мама у окна шьет по белому шелку золотыми нитками и поет про какого-то солдата, нашего земляка, погибшего в Бессарабии, которого некому оплакать, и так далеки от него близкие, земля, дом. И это диковинное слово, звеня, врывается в дом, пугая и завлекая чудом неизвестного доселе звучания: Бессарабия! Отец не спеша точит нож. К нам придут гости, и он велит мне принести сыр пятилетней выдержки. Как рассказать тебе, девочка моя, о вкусе того сыра, как рассказать об узорах на платке моей мамы? Я прошла и поля радости, и поля скорби, и сейчас уже не скажу, где правда, на тех или этих полях? Привезли нас, народ мой и твой, и высыпали в желтом поле, расселили по домам русским, киргизским, немецким, украинским – да разве всех перечислишь, и зализывали мы раны средь речи чужой, иногда слова пахли нашими соснами, звенели ручьями нашими, а иногда – как песком по глазам. Всякое было. А по утрам бригадир вышибал окна. «На работу! На работу!» – звенело и утихало на краю села.

Как рассказать тебе о поле, сплошь зеленом от бурачной ботвы? Не было конца, не было начала у этой жгучей, злобной зелени, сквозь которую не продрасться до родины. Песни женщин, переломанных в пояснице, громадные черные руки опускаются, выхватывают кучи зеленого, отшвыривают и вновь опускаются, а глаза красные с черным: печет ноги, и оранжевое пекло над головой, и стоишь, как лошадь, стреноженная мягкой зеленью, забытая всеми, и понимаешь, как далека земля твоя, как нереальны сосны наши, домики-землянки, и я понимала того солдата из песни, что погибал в далекой Бессарабии, и мне вот выпала своя Бессарабия, и слово это не пугало и не манило, оно приковывало меня к зеленому и оранжевому. Я вспоминала слова маминой песни и пела про себя, и мне казалось, что я прокладываю дорогу домой, на родину, смотрела на сгорбленных красноглазых женщин и слышала, как они тоже поют и прокладывают дорогу домой. Мы пели и строили дорогу. И ничего сильнее той тесни я не встречала, не слышала даже в праздники...

А праздники были.

Сейчас, перебирая те дни, не могу понять, чему мы так дружно радовались. Тому, что грамотными стали и стали писать доносы, что ни день, то бандита арестуют или шпиона поймают, и навоз





отмыть с лица и рук времени не было. А уцелевшие пели, да как пели, душой всей. Кусок хлеба не съешь, пока не прибьешь на крыше громадное красное полотнище.

А праздники были...

Прилетит гонец из центра на взмыленной лошади, только и скажет: «Завтра митинг». И, ночь ли, полночь ли – все живое приходило в движение. У кого лошадь – на лошади, у кого ишак – на ишаке. Инвалидов грузили на телеги, брали с собой собак, кошек – все живое. Еще вчера существовавшие сами по себе, превращались в одно громадное, возбужденное и радостное.

Первым трогалось самое верхнее в ущелье село. Тачанки, телеги, конные по бокам, гармошки, бубны, свирели – все это звенело, пело, пылилось и плыло вниз по ущелью. Поглотив нижнее село, лоток увеличивался, а затем вбирал в себя третье, четвертое, пятое село и превращался в громадный поток, завернутый в пыль и музыку.

Устраивали привал, жгли костры, пели и плясали, ели и смеялись. Прибывали села верхние, и вспыхивали еще костры. И горело и светилось темное узкое ущелье, а лиц не увидишь, будто все на одно лицо, лицо поющее.

Утром все приходило в движение. В обед – митинг. Скрипели колеса, вначале с натугой, потом все веселей и веселей. Цокали копыта, много копыт, стреляли из ружей то здесь, то там, били бубны – и все это причудливым, многоголосым эхом оставалось позади нас, а мы выплывали на поле громадное и ласковое и вливались в поток, образованный из равнинных сел, и это было море, поющее на разных голосах, и не понять уж было, где наши, а где не наши, все здесь были наши. И вновь наша речка вытекала из моря и устремлялась вверх по ущелью, плыла и пела, текла вверх и втекала малыми ручейками в до-ма, и приходил покой, и лишь внизу привычно гудела река, убаюкивая уставшее село.

Я слышала много песен, я прошла поля радости и поля скорби, но сильней той песни бессловесной, поддерживаемой маленькой верой, меньше бурачного листка, не слышала. Ту песню бережно поддерживали черные, в кровавых трещинах, трясущиеся руки, ту песню видели красные в черном глаза, и слабенькая песня вливалась в нас маленькую веру, которую, казалось, вот-вот испепелит солнце, кровь и





вера росли и приближали нас к земле, где сосны, где мать по белому шелку шьет, и из-под тоненьких пальцев прорастают золотые цветы, где в кувшине поет вода и где слышен голос отца: «Пойди, дочь, принеси пятилетнего сыра».

Я не враг тебе, дочка, и совсем не злюсь на тебя, я корю себя: может, я и отпраздновала в свое время праздники, предназначенные тебе, может, и горе твое прихватила, кто знает. В дни мои приходят те красноглазые, чернорукие люди, прошедшие, как и я, через поле радости и поле скорби, и перед ликами этими я должна предстать в новом платье. Я понимаю, как трудно сшить платье: оно должно быть не убогим, но и не желтым, в розах красных...

Трудно сшить платье, когда звучит в тебе та далекая и грустная песня: Бессарабия, Бессарабия, когда платье должно быть таким, как та песня; да сшила уж почти, а вот воротник никак не получается, и сижу я над шитьем, думаю и вспоминаю, а вдруг что забыла, быть может, маленькое, крохотное. И это-то не дает покоя...





*Моему отцу
Магомету Узеировичу Чипчикову
посвящается*

Нерестились рыбы в свете лунном





НЕРЕСТИЛИСЬ РЫБЫ В СВЕТЕ ЛУННОМ

Я учила крестьянок золотому шитью. Их старанием схваченные, разинутые рты пытались помочь красным корявым рукам, привыкшим к вилам и лопатам. Длинная, полностью застекленная веранда полна света, и на шелке белом расцветают золотые и серебряные цветы. Меж красных скал, посреди обезлюдевших землянок белеет наша родовая башня. В тени вкривь и вкось из камня сложенных заборов дремлют величественные, головастые собаки.

Слуги, батраки – все на сенокосе. В доме служанка, я да мой старый отец. Братья возвращаются вечером. Сбрасывают с себя окаменевшие от высохшего пота рубахи, и я, поддев их кончиком палки, бросаю в бельеовой чан. Поливаю братьям из кувшина, они моются, упрятав головы в больших ладонях, моются, будто молятся. И пахнут они крепким потом и дальним, едва уловимым соком скошенных трав. Отец и эфенди ведут неспешный вечерний разговор. До меня доходит лишь часть их слов: «Скоро наступят дни, дни неверия, и неверующие запретят, отнимут и сожгут святые книги. Шел я недавно мимо облепиховых зарослей. Раскаленные избытком яда, ища облегчения, свернувшись калачиком, змеи взлетали в небо. Большая беда поджидает нас впереди».

А беда не ждала, она хохотала в пыльном кружеве, порожден-





ном десятком ошалелых лошадей и взбесившихся всадников. Беда перекрикивалась детскими голосами, мчавшимися вслед хохочущей пыли. Всадники неслись, вытянувшись в цепь. Передняя лошадь, запрокинув голову, рвалась ввысь. И этот копимый напруг коней и всадников должен был неминуемо рухнуть сам или разрушить первых же встречных. И встречной оказалась я, и от ошибки той меня швырнуло в пасть змея, и я медленно, сквозь липкий мрак, двигалась от головы до кончика бесконечного хвоста. В село хлынуло хлынье. Всадники влетели во двор, быстро пристроили лошадей и рассыпались по комнатам.

– Ахмат, достань красный флаг... Каллет, скачи, собирай людей на митинг...

– Так сенокос же...

– Ничего, – командовал ясноглазый человек с задранными вверх усами, – ничего, не каждый день свобода, не завтра и помирать нам. Мы навсегда!

Прискакали они полуободранными. Перевернув дом вместе с сундуками, облачились в новые черкески, опоясались серебряными старинными поясами. Откопали красное покрывало и покрыли им перила нашей веранды. Отцу связали руки и бросили его в сарай. Двор неспешно заполнялся потными усталыми людьми... и время поскакало. Привезли окровавленных братьев моих и бросили их к отцу в сарай. Ясноглазый, ухватившись одной рукой за перила, другую рванув в сторону скал, заголосил так, что глухие прозрели и слепые услышали: «Товарищи, мы пришли, и не одни, с нами свобода и справедливость, вы их еще увидите. Мы освободим вас от биев, богатеев и других всяческих паразитов. Земли и скот их станут общими. Мы откроем школы и больницы, построим дорогу. Тропка, где двум ишнякам не разойтись, превратится в ширь, где десятку коней тесно не будет. На завтра мы назначаем торги. Любой желающий может купить бийскую вещь, а вырученные деньги пойдут на укрепление нашей родной Советской власти. А после торгов мы этот дом переоборудуем в клуб. Из многих комнат сделаем одну светлую, такую, где никому тесно не будет, но и сплясать на радостях место останется. Приносите с собой ломы, топоры, носилки. После работы устроим той. У бия есть бараны, а у нас желание попировать».





И чуткий горный воздух наполнился деревянным стуком мо-
золистых рук, лица побурели в предчувствии надвигающейся
справедливости.

А эфенди грустно вздохнул: «Топочущий скучный покой получает
веселое рабство. В один день бедолаг заведут туда, откуда и за тыся-
чу лет не выбраться». Я стояла в толпе, ничего не видела, ничего не
слышала, и мне очень хотелось спать, я очень устала. Эфенди, легонь-
ко толкнув, сунул мне сверток и тихонько шепнул: «Беги, дочка, в пе-
щеру, а я приду за тобой». Добредя до пещеры, я свалилась в теплую
ласковую пыль и уснула. Пыль во сне как убаюкивающая суть моей
прапрапрабабушки. Можжевельник, надышавшись солнцем и под-
земной прохладой, блаженно выдыхал за день собранное, наполняя
предсумерки бездонным пряным смыслом. Разбудили меня стуки и
крики. Из пещеры просматривался наш двор. Трещал дом, люди весе-
ло рушили комнаты, сооружая одну большую и светлую, дабы было где
всем всласть натанцеваться. Кто-то невидимый и мощный резанул по
реальности, и она исчезла. Я в пещере, наши батраки, слуги и добрые
соседи в доме моем. А вчера они приходили к отцу просить барашка
на свадьбу, бычка на похороны, просто день прожить – ведро муки. И
никому и никогда и ни в чем он не отказывал. Поэтому и дружил с ним
эфенди: «Ты мусульманин, – говорил он, – живя сегодня, вымаливаем
завтра, не вернется от людей, пусть воздастся от Бога».

Люди влетали в дом и вылетали из него, кружились по двору. Они
были множеством рук и ног невидимого, но реального чудовища, ко-
торое с треском поглощало мой дом. Я, глядя на бегающих и пры-
гающих, ощутила себя в пасти огромной змеи, и холод, идущий из ее
бесконечного нутра, обжег мне и спину и затылок. Четверо воору-
женных вошли в сарай, на руках, будто покойника, вытащили свя-
занного отца, с усилием приподняли и легко бросили через высокие
борта телеги. Увлеченные «улучшением дома» нашего, они и не за-
метили, как зеленый ящик, поглотив двух моих окровавленных бра-
тьев, двинулся вниз по большой дороге. Я видела черные усы охран-
ника и купающийся в солнечных бликах штык. Зеленая телега катила
вниз, сопровождаемая синей речкой, вслед им смотрели розовые в
угасающем дне беспомощные скалы. Я еще не знала, что в телеге этой
уместилась вся моя жизнь и еще жизни тех, кто еще, по счастливой





случайности, родиться не успел. Судьба была сооружена нетрезвой плотницкой рукой и безразличьем маляра.

Я вышла в пещере, а во дворе разгорался торг. Вооруженные люди выносили на веранду то черкеску отца, то мамины отрезки, чашки, ложки, табуретки. Крик, гам... – Куплено!.. Торги – дело новое, невиданное. Здесь, как оказалось, по дешевке можно купить издавна вожделенное, пусть и чужое, заодно и поговорить, повеселиться. Ближе к вечеру в пещеру вбежал веселый мальчик в белой папаше, держа в руках алюминиевую покоруженную чашку.

– Тетя Мариам, мама сварила вам похлебку. Все село ходило покупать ваши вещи, а маму папа не пустил, сказав, что ничего чужого нам не надо. А маме так хотелось. «Ты что, самый умный, все пошли, а ему зазорно», – ворчала она. – «Кто пошел, тот не знает, куда ходил, а уж тем более не знает, как ему оттуда выбраться». А я ускользнул из дома, и дядя, что продавал тряпки, дал мне вот эту чашку.

Чашку я узнала сразу, из нее ел наш пес Эштер. Поев, он катал чашку по всему двору, и она позвякивала, ударяясь о камешки, а Эштер, не веря нашему слуху, а тем более понятливости, скулил, требуя добавки. В узелке эфенди оказались лепешка и кусок сыра, я сдула с них пыль и стала есть похлебку.

– Спасибо, Ахмат, поблагодари родителей, – собрав все свои силы, еле выговорила я.

Сказав спасибо, я впервые заплакала, слово это принесло обыденное, но давно забытое тепло. То, что было еще вчера, ушло в едва вспоминаемую прошлость. Мальчик смотрел на меня, будто увидел доселе невиданное. А я гладила его по голове: «Спасибо, Ахмат, спасибо, родной», – и слова эти, царапаясь, выходили из меня вместе со слезами.

А из дома носилками, ведрами выносили битый кирпич, мусор. Во двор выносили столы и ладили к ним стулья. Задымились казаны. Ближе к вечеру пропорола тишину гармошка. С края села двинулась громадная гармонистка Хафисат. Сзади плотной толпой плыли семеро не в меру упитанных дочерей ее. Хафисат нещадно растягивала меха, полыхая желтизной громадных, отделенных друг от друга широкими черными пробоинами мехов, и пела, не щадя обширного живота своего, похабные частушки. Дочери дружно и невпопад поддерживали, как могли, кровно-родственные отношения. Не было в селе мало-





мальского праздника, который мог обойтись без этой не в меру музыкальной семейки. Они не держали скот, не вязали, не шили, даже куру какую захудалую видели в чужих дворах и не на своих столах. Несмотря на все семейную дородность, были удивительно легконоги. Они, как веселые посланцы иблиса, влетали в предпраздничный дом, сами наливали, насыпали все, что подворачивалось под их умелые руки, а уж мимо рта пронести им никак не удавалось. Тем, кто, не жалея молодых ног, прибежал вслед за ними, кое-что иногда и доставалось, а старые и не в меру солидные люди тешились лишь взбесившимися звуками гармошки. Даже если Хафисат заболела и у нее пропадал интерес к празднику, дочери сметали ее с постели, насильно одевали, пристегивали к гармонии и гнали впереди себя, на встречу с нещадно манящей радостью.

Столы заполнялись людьми, и легкий рев их, и стук обглоданных костей нудно и больно бил по темени. В большой, расчищенной комнате загорелись десятки керосиновых ламп. Черные тени плясали в освещенных окнах, лампы часто-часто моргали, создавая огненную рябь в глазах. Я смотрела на черных пляшущих человечков. Нет, я не чувствовала, я точно знала, эти люди вот сейчас, сегодня вытанцовывают большую завтрашнюю беду. Человечки выглядели крошечными кузнечиками, дергающимися в конвульсиях.

Я взглянула на едва освещенные пики когда-то высоких скал, и они показались мне маленькими, небо прогнулось, и я услышала злобный гомон тысяч звезд. В полутьме бытия каждый творил, что умел и что хотелось: кто телегу, увозящую из жизни, кто ружье, гасящее свет, а кто по шелку белому вышивает золотые цветы.

Луна наполнилась и слегка осветила вход, и я увидела, как что-то толстенное вползло в пещеру, сверкнув полосатым хвостом. Змея была громадной толщины, казалось, что она проглотила курицу и вползла переварить проглоченное. Судорожно схватив подвернувшиеся мелкие камешки, швырнула их в сторону вползающей – змея мяукнула. После кошки в пещеру стали вползать лохматые, сопящие существа. У них были крепкие, с чудовищным слоем мозолей руки. Один защемил мне руку за спиной, другой лохматый навалился на меня, от его шубы несло мертвой овцой, изо рта полыхнуло водкой и пронзительно кричащей, еще не до конца убитой плотью барана. Потом руки сменялись,





и на меня наваливалось другое, но точно такое же лохматое существо. Голова моя билась о камни, и боль залила меня, стекая теплой влагой по ногам моим. Кровь во мне ухала, как бьющиеся о дно телеги тела отца и братьев моих. Где они? Куда их увезли? А может, выехали из села и бросили в речку? Господи, спаси и сохрани. Господи... Господи...

А по двору двигались, пошатываясь, черные тени. Собаки грызли кости и друг дружку, сбиваясь в громадные рычащие кучи.

А в зале вдоль стен сидели существа, усталые, наплясавшиеся. Лишь рыжий парень, оккупировав пианино, без усталости бил желтоватыми пальцами по черно-белым костяшкам. Рядом две девушки испуганно прикасались к инструменту красными пальцами. В углу валялась громадная куча книг. Пианино и книги остались непроданными. Ясноглазый всадник сказал, что по этим книгам он выучит сельчан грамоте, научит играть на чудо-музыке, не сам, конечно, а при помощи Советской власти. Праздник потихонечку, позевывая, угасал. Люди растекались по землянкам и зарывались в матрацы из овечьей шерсти, в блаженстве поджидали завтрашнюю сказку.

Чья-то нереально мягкая ладонь коснулась моего лица. Надо мной стоял эфенди и, вытащив меня из пыли, обнял. Его голова раскачивала мою голову, и на шею и спину мне капали теплые капли. Из-за его спины я видела красные полосы и кровавые оттиски своих ладоней... «Они заперли меня в доме, не мог я вчера прийти, доченька. Они ставили меня к забору и стреляли, и стреляли, и все никак попасть не могли. Все книги сожгли, а уходя, сказали: поживи, не до тебя пока. Я слабый человек, молитвой речку не остановишь и даже на ширину ладони в сторону не свернешь. Почернела совсем. Ты всегда у меня перед глазами: в белом платье, в белой шали, ранним утром, у реки. Ты помни это, только это, и мы выкарабкаемся. Это их грех, жаль, правда, что чужой грех проходящ – свой вечен. Не зря я видел летающих змей. Потерпи, я дочерей пришлю, и мы заберем тебя».

Я смотрела на свет, идущий в пещеру, и сквозь желтоватый туман видела черных дергающихся человечков, слышала стон рушащегося дома. Видела, как из зарослей облепихи взлетают в небо калачики переполненных ядом, черных, зеленых, полосатых змей.

Эфенди с дочерьми уложили меня на носилки, и мы поплыли из пещеры. Я слышала, как из-под ног несущих, шурша падающими ка-





мешками, уходила земля, а надо мною бежало куда-то пересиненное безучастное небо.

Жена эфенди купала меня в маленьком тазу. На меня накинули просторную рубашу и уложили спать. Я просыпалась, когда в черно-желтое окошко пыталось пробиться солнце. Засыпала и просыпалась при свете керосиновой лампы. Как невозможность перемен, чернел пропитанный очажной копотью потолок. Кривясь в черно-желтом свете, приплясывая, уходила комната, унося с собой смех эфендиевых дочек, мурлыканье жены. Таяла белая борода и вслед ей, кружась и поблескивая, поспешали перламутровые четки. Сон, одолев и день и ночь, смешав вчера и сегодня, баюкал, спеленав меня в ватный кокон. Голова, как мельничный жернов, кружилась от вечного гула неба и шума реки. Осторожные шаги в ночи отпечатывались гулким притопом. Сквозь давящую плотность безлюдья, вонючие испарения земляного пола пробивались кусочки больных и вялых слов.

Потихоньку возвращалась комната: топчан, стол, стулья. Вернулись эфенди, его жена, дочери. Вернулись слова: «Пока ты спала, мы Советскую власть установили, да и колхоз успели соорудить. Правда, мало кто знает, что это такое, но догадаться норовит каждый».

Была и улица... Трое изрядно поживших и плотно обмотанных в рванье проплывали мимо: «Что, надоело в молоке плескаться, побарахтайся в навозе», – выплонула красноглазое морщинистое существо. «Бесстыжая», – буркнула другая. Мальчишки гримасничали и швыряли в меня камни. Кривлялись маленькие злобыши. Поодаль сидели мужчины, посмеиваясь, с величайшим удовольствием поглядывали в мою сторону. Исчезли горы. Я очнулась в дремучем лесу. С ветвей свешивались змеи, готовые в любую минуту броситься на меня. В мире остались одни лишь танцоры. Через миг проросли скалы, камни, разбросанные по склонам, трава с мизинец высотой, землянки, едва проросшие из-под земли то у скалы, то съехавшие к самой речке, – нагромождения, будто в комнатке, в которую со всего дома снесли битую мебель. И маленький кусочек неба, схваченный каменными зазорами. День за днем, месяц за месяцем... День проходил в трепетной окаменелости. Ночь – облегченное вылупление из камня.

Эфенди поселил меня в летней комнатке, во дворе. Печь, кровать, стол – ничего другого мне и не надо, а главное – поменьше видеть и





слышать. Последнее тяжелее; житье, как в железной бочке, – птичий писк, бляение барана, кудахтанье куры врываются в мое жестяное нутро и, находя внутри еще неотмерзшие кусочки, впиваются множественностью железных лапок... И я вынуждена видеть, видеть пляшущие тени, лепнину призраков на лошадях, летящие в меня камни, и камни возвращаются и погребают юные и пожившие существа. Вижу низвергающиеся на меня нечистоты, и вся эта мерзость возвращается и накрывает своего родителя. Крики, беготня и бег, стремительный бег каждого в сторону самоубийства. Эфенди совсем поблек, его вчера еще молодые глаза смотрели мимо, мимо себя, мимо людей и окружи, серебристая борода его окрасилась в равнодушно болотный цвет. Жена и дочка ходили, по собственному двору ступая, как по горячему.

А в моей комнатке кривились и корчились деревянные черные опоры, плясала печь в мутном от пыли солнечном свете. Я выползала на улицу и по голове увесисто бил шум реки. Давили стоны нависающих скал, ненавистных скал, закрывших и небо, и землю.

Гвалт детенышей неизвестной породы, предсмертный гогот мужиков, – ни восходов, ни закатов... Солнце появлялось на клочке неба чудом, незаслоненном горами, и тут же скатывалось за их спины. Тело стало громоздким и ненавистным, а внутри, как вокруг замерзшего пруда, поскрипывали сухие камыши.

И только на стыке заката и ночи, когда округа наполнялась благодатной тишиной безвременья, душа и тело с облегчением выдыхали вязкое сумасшествие. И когда тонкая небесная полоска покоя ложилась меж вечером и ночью, я садилась на давно не виданные звезды и, слушая едва уловимый перезвон листвы, плакала, и слезы облегчали тело, и я забывала земную тяжесть. Ночью в постель вползал котенок, мял лапками мою холодную плоть и говорил все о чем-то на своем теплом кошачьем языке. Слушая котенка, я видела себя в белом платье у родника. Белизна наряда, кошачье соучастие переносили меня в иное, неземное, измерение, где еще можно было жить. Кошки и женщины. Несмотря на свою многочисленность, неподвластны обесценке.

А утренней ранью, до первого скрипучего человеческого шага, я шла погулять вдоль реки. Я слышала подземный шум воды, знала, что вот за тем камнем лежит змея и, обнаружив ее, холодела от сбывшегося предчувствия. Все обострилось, и уже четче слышался гул тупо и





всеохватно надвигающейся черноты. Я слышала, как плыли рыбы на нерест, обдирая о камни брюхо, кровавая первозданную ясень мелко-водя, и на стыке жизни и смерти успевали увидеть, как в серебряном перезвоне подремывала в оранжевых кружочках грядущая красота.

А в пещеру вползали мохнатые существа, и не было им числа и имени, и древний дух, сотканный из дряхлой пыли и земного ковыля, смешался с запахом овчины и непереваренного барана, плескавшего-ся в чреве, наполненном водкой. И я ободрала тело об острые камни, и зачала я будущую нашу общую беду. У всех плод был в чреве, а у меня в груди, и носила я его не девять месяцев, а четверть века.

Говорят: «Когда муравью подоспело время испытать боль, у него вырастают крылья».

И люди запылали в разрушенном энтузиазме, в преддверии большой беды.

И каждый тащил свою долю наполненного мрака, щедро, из себя, и бережно складывал среди своих и чужих.

И каждый боялся не успеть поучаствовать в сером гоне среди разноцветья тьмы.

Пришел и Хажос, Хажос, которого в деревне видели раз в несколько лет. Он батрачил на дальних кошах, куда не всякая лошадь добиралась, не стерев копыт. Пришел припорошенный многолетней копотью и многослойной альпийской грязью. Короткие ноги вширь и вкривь – дуб в расцвете на склоне крутом. На ногах куски шкуры, навечно схваченные толстым ремешком, щедро утепленные изнутри сеном. Серая черкеска с грязно-красными пятнами подпоясана толстенной воловьей веревкой, на голове шкура полугодовалого ягненка в черно-белых яблоках. Хажоса, как самого бедного посередь самых обездоленных, на сходе и избрали комиссаром, то есть главарем деревни. Из города на тачанке прискакал черный суетливый человечек с красным орденом на тощей груди. Все село сбжалось поглазеть на диковинную телегу, перещупали ее снизу доверху. Приезжий начальник торжественно вручил Хажосу печать, еле выволок из телеги громадный маузер в деревянной кобуре, изрядно помыкавшись, пристегнул его к Хажосу и на зависть всем маломальски слышащим и видящим сказал, что тачанка передается Хажосу в служебное пользование. И носился с ней Хажос, не ведая, где восход и когда закат, – благо своего дома у





него никогда не было. Зато бог весть откуда появилась белая черкеска, серебряный ремешок, газыри из того же материала да на голове выросла бухарская шапка. Оброс Хажос и дружками, появились бригады, счетоводы, из города приехал русский бухгалтер. Новая жизнь стремительно налаживалась. Весной пришлось женщинам и детям очищать от камней склоны гор, готовя их к сенокосу, шли в сторону дальних гор плотной толпой. Согнали всех – больных не было. В селе нет врача, так и больным взяться неоткуда. Женщины тащили на себе колыбели с детьми, немощным помогали подростки. А по кабинету выгуливал себя Хажос. Бессловесный бухгалтер сонно начитывал ему цифры обрушившихся на сельчан налогов. «Так, – сказал Хажос, поднимая и резко опуская вниз указательный палец, – Ахмату к его доле припиши еще пять рублей, у него овца окотилась, Сулемену рубля сверху хватит – обзавелся курицей, а Каммату к его цифре припиши ноль, у него шуба белая, ноль он и есть ноль, Каммат ничего не теряет, но догадается, что мы его предупредили».

Плыли рыбы на нерест...

Почерневшее от работы и голода многолюдье молча скатывалось со склона к дороге. Одурелый от чужбины и цифр брел по той дороге бухгалтер. И они столкнулись. Взвизгнул женский голос, откуда силы взялись: «Вот кто власть нашу любимую привез, топчи его». И люди топтали, месили человеческую плоть, нашлись и силы и желание.

«Когда муравью подоспело время испытать боль, у него вырастают крылья».

Когда люди в едином выдохе выпустили годами собираемое и драгоценное, на желтой безнадежно несчастной дороге лежал грязный искромсанный покойник, из синевы лица, из кровавых расщелин горело крошево очков.

«Господи, – криком вырвалось у меня, – что с нами будет?» Хотя я знала, что с нами будет. Толпу развернуло ко мне. За многие лета я налюдно что-то сказала. И они что-то заподозрили. Маленький осколок моего предчувственного знания помелькал у них под темячком и исчез, оставив едва слышимую трепетную тревожную топь, придавленную туманом самосохранения.

Господи, что бы я делала, если бы не было ночи, если бы сутками люди не спали? И днем и ночью вечное эхо падающих о дно телеги





человеческих тел. Грузят отца моего и братьев, грузят и разгружают... Звенит собачья миска, прыгая во дворе с камня на камень. В пещеру вползает змея величиной с кошку... и мяукает. Продираются много-рукие, многолапые пауки, и пахнут они полумертвыми, полуживыми баранами и водкой. И вечный пульс смерти падающих на дно телеги живых человеческих тел. Небо выдохнуло... Выдохнули дневную напряженность хмурые земляки. Враз впали в дрему навидавшиеся всего и поговорившие обо всем усталые деревья. Я сижу под маленьким деревцем и вернувшимся ко мне ночью телом слушаю ласковый перезвон листьев и вижу, как вверх по реке, светлой толпой, прислушиваясь к свету лунному, плывут радужные рыбы. Взвизгнув по разбойничьи, свиснув, врывалось утро, враз забирая все, не оставляя сил ни себя вспомнить, ни убиенных помянуть, ни живых пожалеть. А в обед грянули в село очумелые от гор солдаты. Всех согнали в центр села. Хажос, шапкой смахнув громадную мужскую слезу, обращаясь то к небу, то к горам, проорал: «Вчера вражьи элементами зверски истреблен наш бухгалтер, не жалевший ради нас, неразумных, ни времени, ни сил, ни жизни своей незабвенной. И за наши праведные слезы они рассчитаются слезами кровавыми. Нет пощады врагам новой жизни. Вы убили белого всадника из светлой грядущей жизни, но руки мы поукоротим так, что вам и блохи не пришибить на собственной поганой шкуре».

И Хажос стал выкрикивать имена тех, кто, по его мнению, убил бухгалтера. Завизжали не враз повязанные женщины, усердно сопели вязальщицы. Услышав свою фамилию, я молча протянула руки, сработанные из двух набухших чурбачков. Я и не ойкнула, когда меня швырнули в визжащий клубок. Под аплодисменты тех, кто вчера затоптал бухгалтера, оцепленная с боков вооруженными людьми, уставшая от всего, груженная орущими существами телега, переваливаясь с боку на бок, двинулась из села. Я смотрела на вспухшие зареванные лица, а пожалеть их сил не было. Была беременность, я зачала от танцевавших в доме моем существ, бог весть с каких далей попавших на нашу землю. Будущее дитя греет женщину, мой плод не рвался наружу, он растекался внутри от темени до пят, он был холоден, колюч и пах железом. Танцоры вытанцовывали нашу общую беду, которая и зрела внутри меня. И носила я плод свой не девять месяцев, а четверть века.





В сумерках телега вкатилась в ворота тюрьмы. Сквозь лязг и разнозвучье отпираемых замков нас провели по длинному коридору и втолкнули в едва освещенную большую комнату. Это была подземная страна, населенная растрепанными женщинами, полувидимыми в клубах махорочного дыма. Пахло бедой и безразличием и издалека, из земных глубин идущим горячим тленом. Женщины обступили моих односельчанок, и те рыдающим многоголосьем ведали, как нечаянно затоптали бухгалтера.

Открылся маленький проем в двери, и появились алюминиевые чашки и хлеб. Я попыталась хлебнуть жидкую кашицу, но запах разложившегося быта, исходящий от еды, проник в меня, смешался с моей железной преснотой и, ужалив, отшвырнул от чашки. Тут же подлетела какая-то старуха в грязной ночной сорочке, окунула сивые космы в чашку и через миг подняла счастливое лицо, нос и бело-зеленые усы ее были перепачканы кашей. Сквозь мельтешение и гул сокамерниц я, сжавшись в уголке, отщипывала от черного и мокрого хлеба и слышала, как мерно дышит уставшее за день небо, позванивают листья на маленьком деревце, и рыбы неспешно плывут в голубой воде в сторону белых гор.

Людей приводили и уводили, я смотрела и не могла разглядеть ничьего лица. Лицо было, но среди порхания множества подземных бабочек с обтрепанными до лоснящейся черноты крыльями оно то появлялось, то вновь исчезало. Лицо прорастало из чистейшей белой сорочки.

– Ксения, Ксения, дай кусочек хлеба, – пели подлетавшие к ней подземные существа.

И она никому не отказывала, каждую, хоть крохой, но наделяла.

Потом, будто большая птица из времен забытых, с небес неслыханных спустившись, садилась на нижние нары и от оставшегося маленького кусочка неспешно, по маковке, поклевывала. Волосы, аккуратно расчесанные, прикрывали всю спину до пояса, громадные серые глаза глядели через светлую сквозь и купались в одной ей видимой радужной ясени. И во взгляде ее, в чужой чистоте, привиделся и мне мой далекий, далекий теплый свет.

По утрам из камеры выносили мертвых с чудовищно раздутыми ляжками. Из меня невольно вырвалось: «А почему у них такие рас-





пухшие ляжки?» Губы у соседки-односельчанки сомкнулись и в идиотическом высокомерии поползли вверх к уху и, рухнув к подбородку ядовитой слизью, заговорили: «Ты что, придурок, совсем ослепла, они ж пайку свою меняли на тряпки, а барахло, чтобы не уперли, заталкивали в рейтузы». – «А зачем?» – «А вот ты пойди и расспроси их, может, они на том свете и объяснят тебе, что да к чему».

Жизнь за тряпки. Да и где их носить, перед кем красоваться, за кого замуж выходить?

Я трясла и перетряхивала свою дремотную голову, пытаюсь хоть что-то понять из увиденного и услышанного. Все равно умирать, хоть жизнь на что-то поменять?

Я вспомнила наших баб деревенских, как на свадьбу они тащили тряпки подарочные, возвращались оттуда с другим барахлом, прощупывали, измеряли принесенное вдоль и поперек, неслись к другим бабам, чтобы порассказать о случившихся с ними бедах – мол, отнесла добро, а принесла труху, те в ответ делились бедой своей, еще более горестной.

Ведь не тряпки ради бегали уже пожившие люди, а в поисках смысла. Надо же чем-то заполнить нелепое, недосоленное время.

Я проснулась от женского визга: «Настя умерла!» Мы, отпихивая друг дружку, рвались к лежащему на нарах горнему вечному покою. Толпясь в дверях, мы несли Настю мимо рыжей, мокрогубой надзирательницы, мимо плотных женских телес, упакованных в шинели, пронесли и положили в дальний угол коридора, вместе с погибшими из-за мануфактуры бабами. И когда я оглянулась, среди ушедших, раздутых и распростертых, из синевы тлена, как невозможность ухода, светилась бесконечьем наша Женственность.

По вязким хлябям подземелья чужая плоть моя брела, содрогаюсь от емкого равнодушия мрака. Водили на допросы, и поводырем была рыжая, вечно мокрогубая надзирательница с глазами послестирочной воды. В конец коридора, к следователю и обратно. Туда, сюда, день, ночь, дни, недели, по чавкающей тьме, сквозь запах разложившегося безвозвратно быта, сопровождаемая посланцем иблиса, рыжим перекати-мраком.

Бескровное, очень усталое, равнодушное существо пыталось: не я ли убила бухгалтера? А я смотрела сквозь и удивлялась, как из этой изна-





чальной бескровности исходит нечто, похожее на живой звук. Я смотрела на свои истончавшие до крупной вязи серые чулки, безнадежно увядшие цветы на платье, до сонной одури уставшие башмаки, и мне стало жаль себя. Разорвать платье или, искромсав матрас, приладить к нарам веревку? Лень было. А бабы жгли в параше бумагу, и запах гари наполнял камеру духом «вольного» жилья и будил воспоминания о чьих-то, возможно, счастливых жизнях.

Оборвался коридор комнаткой следователя, трясущиеся бело-желтые костяшки пальцев с усилием придвинули ко мне лист бумаги, и изваяние, едва различимое на фоне серой стенки, голосом высохшей известки вымолвило: «Распишитесь. Вы свободны». Он было вострепнулся сказать еще что-то, судя по внезапно ожившим, дергающимся пальцам, нечто пакостное, но не было сил и желания, он был такой же убитый, как и я.

Дальние, слабые позывы жалости гасли в бескровной серости этого уставшего убивать существа. А если бы крови влить этому давно ушедшему? Плясал бы в чужих домах. И воспоминания о плясунах испепеляли саму возможность жалости. «Вы свободны...» И пахло новым безжизньем и дальним-дальним отголоском жухлых трав.

Свобода, дом – это все в той жизни, той, что уцепилась за телегу, груженную отцом моим и братьями, утекло вместе с той речкой и растворилось в слезной сини небесной.

Мне дали буханку хлеба и селедку. Лязгнул за спиной замок. Вслед, сквозь зарешеченное окно, смотрела моя надзирательница. Подбородок ее зацепился за жердочку решетки. Губы замкнуло клеткой выше, а нос весенней сосулькой свисал с морщинистой, усеянной веснушками шеи, и лишь волосы, как подземные ржавые травы, рвались мимо решетки в высь, на поверхность земли.

Я уходила, но несчастное женское существо, навечно схваченное железной паутиной, оставалось. Оно никогда и никуда не сможет уйти.

О чем ты? О каком лице?

Она – танцорка, она – плясунья в чужом доме, на чужих, невидимых танцорах, похоронах.

Из моего чужого тела, из моей головы я не могу прорваться до танцующей женщины. Ну, пляшут мужчины, ну, бывает, он всего лишь соавтор, но, как я, Сотворец...





И неважно из чего я: из ребра или из пятки, важно – для чего я. Я не плясунья, но я лишена любви, тогда – зачем я?

Свежий воздух, ворвавшись во внутрь, разбередил холодную дрему плода, и тот множеством железных лапок впился в полуотмороженную плоть мою. Вороний гай глухо ударял по темени, воробьиное чирикание влетало и билось внутри головы, ища выхода.

На главной улице городка толпилась живность: бараны, коровы, бегали среди них дворняжки, бог весть кого облаивая. Шли отрешенные, отсеченные друг от друга, нарядные люди. Проезжали редкие, всем и вся недовольные автомобили, при виде которых я почему-то не удивлялась. Ужас, пульсировавший во мне словом «бежать», гнал меня в сторону гор.

Убогие домишки обрывались у золотой зловещей скалы с колоннами. Вот где свили гнезда правители: здесь плодились тачанки, рождались существа с винтовками в руках. Одна. Всего так много вокруг и никого на всем белом свете.

Чаща непролазная, с деревьев свисают жирные змеи.

Холодный плод мой, встрепенувшись, пополз к горлу, усиливая мой панический бег. Время несло вприпрыжку, а жизнь моя увязала в медленной бессонной тягучести.

Русские бабы, видя меня, крестились, мусульманки возводили к небу глаза. Совали мне: кто хлеб, кто сыра кусочек. Я молча брала, не испытывая никакой благодарности. Мне казалось, что я могла бы сесть в центре села и справить нужду.

Мне думалось: когда многие отторгают одного, то он наполняется спасительным высокомерием. Чтобы осознать свою униженность, свою неправоту, нужно лицо, пусть прохожего, пусть незнакомого. Большие и добрые не унижают. Маленькие не в состоянии это сделать. Одиноким человек – безнаказан. Степные, едва уловимые запахи, сменились терпким, начиненным специями, духом ущелья.

– Эй, старая, полезай, так и быть, довезу, – игриво бросил дед-возница.

«Хоть бы в зеркало взглянуть», – лениво подумала я, зарываясь в солому.

– Откуда идешь, чья ты будешь? – пытал меня дед.

– Простите, но мне очень тяжело говорить.





– Какая жизнь пришла, милая, не говорить, петь – да не останавливаться. У меня три сына и три невестки. Двести копен сена накопили и собрали в этом году. Три телеги пшеницы заработали, вот свез их на мельницу. Будет, что поест. Сам Эдык Караушевич в колхоз пожаловал. Наградил многих почетными грамотами, а сыну орден собственными руками пристегнул к рубашке.

Небо выдохнуло. Задремали деревья. В притихшей речке медленно плыли рыбы. Глубоко дышал можжевельник, наслаждаясь запахом свежескошенной травы. К подножию белых гор, прямо на дорогу, села громадная луна. Телега, поскрипывая, двигалась вдоль густо-черной полосы кустарника. Луна поджидала нас в конце дороги, а мы медленно въезжали в ее желто-холодную пасть.

Издали, из давних времен, из почти забытых земель доносился голос возницы:

– Эдык Караушевич всем руки пожал, поднял чарку, отведал от праздничного быка, всех поблагодарил. Бабы не выдержали, заплакали, да и я весь общипался, но слезы сдержал. Такая жизнь пришла, а какая будет, такая, что и умереть не будет никакой возможности.

Тело мое вернулось ко мне и вспомнило дом, веранду, полную света, этажерки с книгами, и почему-то подумалось, – а в Бразилии карнавал...

Никого. Ночь, как желанный уход бытия. И как легкая рябь задремавшей реки – обрывки слов старика. Кто-то из оставшихся что-то пытался сказать уходящей жизни, но голос и сам уходил все дальше и дальше и тонул в ночном покое.

Телега стала, выбросив меня из полудремы.

– Приехали, милая. Оставайся у нас, поедим, согреемся, может, и поговорить тебе захочется. Здесь и волков полным-полно, да и медведи еще не перевелись.

– Спасибо, добрый человек. Я пойду. А говорить мне не захочется, слова, выходя, грудь царапают.

– Ничего, милая. Бог даст, еще поправишься.

Телега свернула в деревню, а я двинулась в сторону белых гор, защищенных желтым лунным щитом.

Какие волки, какие медведи? Они появятся только днем.

Скрежетали в голове обрывки мыслей, я шла, и каждый шаг мой





отзывался деревянным поскрипом в безучастной, занятой лишь собой черноте.

Новая власть объявила войну безграмотности, и на село обрушились учителя. В школу сгоняли всех, от самого малого до самого старого.

Война оставляла фиолетовые пятна на лицах старух, метила усы и бороды стариков. По-военному быстренько всех научили читать и писать. Писали все, писали помногу и часто. Люди играли со словом, и слово играло людьми. Оказалось, что слово не только растворяется в воздухе, а еще, ложась на бумагу, будто в тюрьму попадает: какое на мгновение, какое надолго, а какое и навечно. И если бумажку вложить в конверт и отправить вниз, то исчезают твои враги: кто надолго, а кто и навсегда.

Уходили все, уходило все, а слово оставалось. Всем очень хотелось поиграть в слова. «Будьте, как дети, иначе не войти вам в Царство Божие».

Письма уходили вниз, а оттуда неслись тачанки с вооруженными людьми. Вязали как врагов нового, светлого, так и друзей старого, темного.

Многие заранее, из слухов деревенских, узнавали, что за ними должны приехать, и, не дожидаясь предстоящей судьбины, брали ружья – и кто в лес, а кто и в горы. Как говаривала наша огненно-болотная надзирательница: склонен к побегу. Выходило, что одни люди не хотели сидеть в тюрьме, а другие без нее обойтись ну никак не могли. Нежелающих сидеть дома, любителей природы стали называть «бандитами». Танцоры разделились на склонных и несклонных. Танцы раздуло и распушило так, что они уж не вмещались в бывшем когда-то моим доме, и они хлынули на свежий воздух. Танцы сопровождалась ружейной музыкой, павшими и ранеными с обеих сторон. Каждый заполнял отпущенное ему, как мог и чем мог. Я же была парализована железным плодом моим и нашим общим. И ничего уж не входило в меня, как ничего и не выходило. Не полюбить, не пожалеть. Как одинокое дерево на склоне, наверх нет смысла – ни куста, ни деревца, а до нижнего леса идти, идти и не дойти.

Я ходила на работу, что-то стряпала, что-то ела, слышала смех и удивлялась – неужели не чувствуют? Видела плач, вглядыва-





лась, может, что и донеслось до них, может, унюхали запах железа, исходящий от меня?

Ничего. И смех, и плач – все по случившемуся, все о бывшем.

Сплошняком вскипало краснощечье. Земля уменьшилась до размеров чужести. Попади я в Африку, услышь слова, никогда не слышанные, стой чучелом среди смеха чужого и плача – ничего, никого и ничего ни в центре земли, ни на самом ее краешке.

Хажос с дружками ежедневно стогнал нас в центр села, к конторе. Он любил поговорить с нами. Долгие годы в безлюдье, среди животных, требовали словесного насыщения.

«Посветлела жизнь, – сказал он, – сегодня мы научились читать и писать, кто работает, у того есть что покушать и что одеть. Одно плохо – дороги нет. А нет дороги, значит, и света поменьше. Мы с вами такую построим, что две телеги без труда разъедутся».

В некоторых местах скалы очень близко подступали к реке, обирая дорогу. И мы должны были подвинуть их назад. Скальные участки поделили на количество домов в селе. Имеющий лошадь – на лошади, имеющий ишака – на ишаке, имеющий ноги – на ногах, лишенный одной ноги – на колхозной телеге спозаранку хлынули вниз по ущелью. Взрывники грохотом и криками углубляли нижнюю часть скалы, а вот с верхней ничего поделать не могли. Несколько человек взбирались на выступ скалы, конец веревки крепили за камень или за дерево, второй конец подвязывали к большой корзине, и человек, сидя в ней, вручную отбивал от скалы все, что мог. Веревки перетирались, и несколько человек расшиблись насмерть. Потом наловчились: под веревку стелили войлок и ветви. Мужчины весь день висели на скале. Корзины то взлетали в небо, то бились о скалу, взбалтывая рабочих до синюшной бледности. Все, что отлетало на дорогу, собирали, грузили в тачки женщины и дети, грузили и сваливали в реку.

С громким хрустом надламывался водопад, ухала река в теснине, кричали что-то работягам командиры, беспрестанно чау-чаукали женщины, чуть поодаль сидела гармонистка Хафисат и в редкие мгновения затишья до рабочих долетал дробный писк гармошки.

Спали поблизь от работы, в кошаре. Кому не нравился ночлег вповалку с людьми и вшами, кто не мог выносить запаха сотен тел и медленно сохнувшей потной одежды, тот спал прямо на земле, посте-





лив, что имел. Я свернулась вокруг камня, он еще малость теплился.

Река чуть притихла, но шумные выдохи ее дневной усталости волнами накатывали на тихое беспокойство сумерек. Ночь все тужилась от переполненности дневной, тужилась... и никак не могла выдохнуть – слишком много людей собралось в одном месте, и люди те в полусне цеплялись за день ушедший, по кусочкам отщипывая от каменной вечности. Звезды в злобной напряженности всматривались в нас и не скрывали, что мы им не нравимся.

Меж нами и звездами – детская обида. Емкое, пронзительное сиротство...

И давнее родство проявляется не от взгляда друг на друга. Оно приходит после долгой болезни, ранней весной, когда вот-вот разомкнет коробочки верба, через утонченную ледяную скорлупу радостно курлыкнет ручей в предчувствии свободного бега. И куры взметнут вывысь земляной фейерверк. И уходит земное, и наплывает восторженная память, и пахнет она далекими, до слез родными звездами.

Болезнь, постель, отрешенная, очищенная от дневной мельтешни суть озарялась единственной возможностью существования.

«В здоровом теле здоровый дух».

В здоровом теле здоровое желание потанцевать в доме невидимого и не чувствуемого тобой покойника. Преодоление болезни, урза – выстраданное блаженство свободного духа. День за днем, месяц за месяцем мы отщипывали от скалы. И пришел час, когда в расчищенное влетела тачанка с сияющим Хажосом в полный рост. Вслед за ним поспежали две телеги, украшенные красными лентами, они шли вровень, и меж ними и рекой вполне уместилась бы парочка лошадей.

Мы возвращались в свои жилища, ошибочно именуемые домами. Дом – звук колокола. Жилище – позвякивание колокольчика на воловьей шее, обиталище мышки подземной. Мы возвращались. Я возвращалась, и то, что я здесь, и то, что я куда-то иду, ощущали только ноги. Ноги были здесь, а голова уплывала, покачиваясь на речных волнах. Волны топили, ударяли о речное дно, то выбрасывали на поверхность, и я глохла от гулкой немоты неба и бескрайнего земного безлюдья.

Мы вернулись. Возвращаться не хотелось и идти было некуда. Идущий – возвращается, вернувшийся – уходит, даже ушедший навсегда когда-нибудь, да вернется. Уйти нельзя. Нет возможности уйти.





Где-нибудь прорастешь, где-то выплывешь или вылупишься. Еще наплаваешься и налетаешься, повоешь и поскулишь, наплачешься и до боли в ребрах насмеешься.

– Дорогие сельчане, партия и правительство и лично Эдык Караушевич благодарят вас за героический труд во благо трудящихся всего мира и награждают... – исходил в багровом энтузиазме Хажос.

После каждой названной фамилии Хафисат усердно прикладывалась к гармошке. Кому корову дали, кто барана получил, а мне досталась швейная машинка. Поглаживая ее холодную поверхность, я еще не знала, как много тепла от нее получу. Мне еще не виделись те, послевоенные, женщины, едва выкарабкавшиеся из фуфаяк и кирзовых сапог, одевшие крепдешиновые платья, густо полившие себя «Красной Москвой», припорошившие себя пудрой, одевшие лаковые, в солнечных бликах, туфли. Обдуваемая теплым ветерком рябь обновила ласково нашептывала об иной, возможной нашей жизни. До слез было жаль и себя, и всех, всех. Господи, как мало надо для жизни настоящей: одеться во все чистое-чистое, выйти в мир весенней ранью и еще вспомнить и не забыть. Дождаться все-таки весны. Увидеть на темном полу светлый лучик, постараться выкарабкаться, вопреки всем и себе, вспомнить и не забыть. Ведь на свете всего-то два слова: вспомнить и не забыть. Все остальные слова легко в них вмещаются: мама, родина, радость, любовь, леса, родники, колыбель, ночь и звезды, небо и то, что над ним.

В село приехал зубной врач. Впервые за многие и многие годы. Все вымерло, все ушли к врачу. Я шла по теплым от безлюдья улицам... и дышала. Никого. Собаки ушли след вслед за хозяевами. Я шла мимо и сквозь: пустые улицы, пустые расщелины скал... желтое предсмертье трав. Все село – от младенца до старых самых – лепилось в комнатке врача.

Я присоединилась к ним... и меня никто не увидел, никого не вернуло от самоубийственной ухмылки. Человек или смеется, или улыбается и лишь вытанцовывающий собственную смерть ухмыляется. Господи, как хорошо, что есть зубная боль, на миг возвращающая почти что ушедших к себе. Хорошо, что на свете есть зубная боль, не оставляющая сил для kloкочущих и пирующих в куче вытоптать одного. Меня выворачивала зубная боль, но я впервые днем сидела





среди них, ушедших в себя... и дышала. Светило и баюкало солнышко, у всех болели зубы, и псы, пришедшие след в след за хозяевами, проныковенно вслушивались в тишину всеобщего страдания. А я была счастлива. Я дышала.

В село въехала машина. Мы все ждали, когда же по нашей новой и широкой дороге в село хлынет свет, а приехала машина. Подивиться на чудо сбежались все. Глаза чуть поменьше автомобильных фар. «Война началась», – сказал шофер в кожаной куртке... и исчезла железная невидаль.

Хажос в галифе и гимнастерке, на головке высоченная каракулевая шапка, в руках для пущей убедительности кнут, расхаживал вдоль бледно-зеленой шеренги мужчин. «Гитлер, конечно, паразит, – убежденно выпалил он, – а с паразитами у нас разговор короткий, мы их били и бить будем. Да здравствует Сталин!»

«При чем тут Гитлер, где он, тот Гитлер, – думала я, глядя на этих, уже большей частью не жильцов. – Неужели они вправду считают, что война началась сегодня. Для нас она началась с танцев в чужом доме, с пещеры, со всеобщей «грамотности».

Плод мой бился во мне, исторгая железную вонь. Не было сил ни позлорадствовать, ни пожалеть. Мужчины заполняли кузов густой растерянной лепниной. Хажос взмахнул плеткой, под густой бабий рев пискнула гармошка Хафисат, и машина тронулась.

Когда-то, давным-давно, зеленая телега с отцом моим и братьями растаяла за скальным поворотом... Утекла вслед, вдогонку той телеге, громадная машина, и для большинства громоздящихся в ней это была последняя дорога. «Господи, зачем эти люди губили себя?» – думала я, глядя вослед уходящей машине.

Плясали черные тени в мутно-желтых окнах, в пещеру вползали мохнатые существа, пахло древней пылью и свежей кровью, моей утекшей кровью. И кровь та не высохла, не смешалась с пылью, а тонкой струйкой вытекала из пещеры и потянулась вслед уходящей машине, а груженные в машину ехали, чтобы добавить свою кровь в эту струйку, и не оскудевала, не высыхала красная река, а бежала и смешивалась с речкой черной, в которой все мы плыли, плыли во тьме, навстречу свету. А плод мой, судорожно подергиваясь, продвигался к горлу, заполняя нутро мое металлическим холодом. Чтобы как-то вырвать





себя из стужи, хотелось выдавить из себя какое-нибудь слово или от кого-нибудь услышать какой-нибудь людской звук. Я посмотрела вокруг себя на безнадежно здоровое, залитое слезами краснощестье... и поплелась в сторону жилища своего.

Война смела мужчин. Женщины побледнели, осунулись. Взгляды их то прятались в себя, то, обволакивая туманом, уходили в никуда. Меня не видели, меня забыли. И я дышала. Господи, как хорошо дышать!

Я смотрела на лица односельчанок и слышала, как в их чреве зреют семена того, что долгие годы мучает когда-то бывшее, живое тело мое. Танцоры вытанцевали-таки себе войну, танцорки замерли в предчувствии собственной беды. А я могла дышать. Господи, _как хорошо дышать!

В селе появились румыны вперемешку с немцами. Исчез Хажос с друзьями. В его кабинете теснились обросшие донельзя «бандиты». Бывшая власть ушла в «бандиты», а «бандиты» стали властью. И власть им нравилась – можно было поесть чего-нибудь, отоспаться, спяну пострелять то в небо, то по скалам. Румыны, попиливав на губных гармошках, ушли, прихватив с собой «бандитов». Вернулся Хажос с друзьями. Одни уходили, другие приходили, и ничего вокруг не менялось. Несмотря на видимость движения, все вокруг застыло и насторожилось. Плод мой лежал неподвижной тяжестью.

Вопли баб, получивших похоронки, только оттеняли застоялую настороженность, сулящую беду неслыханную.

На излете зимы, на исходе ночи, заворочался во мне плод, заскребся и пополз к горлу. Село наполнилось машинным гулом. Утро еще не пришло, а округу высветлили машинные фары. Да сколько же их? Ночь превратилась в день, в светло-желтый недоношенный день. В мою хибарку влетели двое: один с пистолетом в руке – офицер, второй – молоденький солдатик с автоматом.

– На сборы пять минут, – рыкнул офицер, помахивая наганом, – с собой можете взять ручную кладь.

Я сунула котелок в мешочек с мукой, вскинула на плечо швейную машинку и поплелась за семенящим впереди офицером, солдат шел сзади. Проходя мимо дома Нафисат, я увидела у порога брошенную гармонь, и валялась она, как скомканное истерзанное время. Под жен-





ский рев, переполошнные куриные крики, овечье блеяние и вой собак мы вползали в крытые брезентом машины. Машины тронулись, и старик, сидевший рядом, выдавил из себя: «Ушла земля из-под ног». «Ой ушла», – завопили бабы. Эта земля ушла из-под меня давным-давно, в пещере ушла, да так и не вернулась. И глянув мимо двигающейся желтоглазой пещеры на горы, я точно знала, что никогда, ни за какие блага я не вернусь на эту землю. На миг вспомнились братья мои и отец. Отец привез из Парижа белое платье. Все это было, но не въяве и совсем не на этой земле.

Нет сил пожалеть ни себя, ни других, нет крови, что навсегда утекла от меня, а новую поглощает плод мой, железный и ненасытный. Глаза слепли от фар идущей сзади машины и подумалось: так вот он тот свет, обещанный Хажосом, это из-за него люди тесали скалы, из-за него расшибались, кровавая будущую дорогу. Да, расширили мы дорогу, и приехали по той дороге машины, полные света, превратив ночь в бледно-желтый недоношенный день. В пещеру, в ту самую, что укрывала меня, поместились многие, а когда нас поглотили вагоны, то в нее вместились все и почти всё. В полумраке поблескивали бороды стариков, слабый отсвет керосиновой лампы ложился на опухшие от слез бабы лица, то плакали, то умолкали грудные дети, но по прибытии на руках у баб, кроме узелков, я ничего не видела, они остались там, в том времени, раздавленные железными колесами взбесившейся пещеры. А пещера неслась вперед и дальше, и завтрашний день будет неминуемо достигнут и раздавлен – уверенно твердили колеса. И когда пещера нас выплюнула в степь, плод мой, заполнив грудь, подступил к гортани и дышать стало нечем. И я отползала все дальше и дальше в степь. Падала и вставала, плод мой рвался наружу, а я задышалась и билась в падучей в унисон моему железному мучителю.

Я во всю ширь раскрыла рот, и из меня все выходил и выходил воющий застойный дух, дух сгнившего во мне за долгие годы плода земного исчадия. Иссущая потужные слезы, в разверзнутую пустоту мою хлынул весенний ветер, теплой пылью гор китайских и снежным многоцветьем равнин якутских. Эта ширь была мне знакома. Я жила здесь. Помню, как папа на базаре в Бухаре купил мне красное платье. Помню захлебную неистовость азиатских скакунов, тонкий рассветный запах лепешек из тандыра и солнце, как безмерная Божия щедрость.





И взглянув на растерянные очертания моих соплеменников, сиротским недоумением проросших среди степи, я подумала: они потеряли родину, они в ссылке, они на каторге, я же потеряла родину на своей родине, а здесь, наполнившись памятной ширью, я ее обрела. И теплые волны времен ушедших, земель, еще не обезображенных, накачивая на меня, смывали пещеру, взламывали душегубку гор, беготню со стрельбой, тюрьму, накачивая на меня, отрывали от народа и втягивали в самую сердцевину нации. Я была никто, я была нигде и вдруг в миг единый обрела все.

Народ лет за сто до меня был иным, лет через сто станет совсем другим. Народ приходит и уходит, народ изменяется. Нация – Божия мета – величина неизменная. Человек волею судьбы всю свою жизнь может прожить вне народа, но вне нации он не бывает никогда.

Я лежала в степи, и она не казалась мне бескрайней, она была мала и уютна, как колыбель. Неслышный, но осязаемый гул прошлого наполнил степь трепетным воспоминанием о себе. Я дышала и улыбалась, слушала едва помнимые, давным-давно ушедшие времена, они то четко всплывали во мне, как день вчерашний, то полувиделись сквозь древнее царство.

Большая теплая волна памяти накатила на меня из глубин, из дальности и далека и, смывая вчера и сегодня, оставив завтра, унесла меня в звонкую ясьень моей первоосновы.

На шумном азиатском базаре папа купил мне красное платье. Папа привез из Парижа белое кружевное платье.

Иерусалимский закат наполнял проямы мостовых, красил усталые дома, розовыми пятнами падал на почерневшие от времени доски базарного прилавка, освещая в фиолетовом зеркале баклажана истомленное поиском лицо старого еврея.

И как зримое обновление, сквозь красные пески летели золотые ахалтекинцы, летели туда, где на стыке земли и неба, в прохладной голубизне им мерещились чистота и свобода.

Теплые человеческие слова рванули и вытащили меня из сладкого ухода. У врат земли стоял толстый, улыбчивый киргиз с лопатой.

– Вставай, надо дом строить, ночевать надо.

Земля была вся в трещинах, желтая и неподатливая. Лопата сбрасывала с себя мою дрожащую ногу, черенок рвался из рук, креня меня





то вправо, то влево, рвался прочь и ему частенько это удавалось. Ничего с землей у меня не получалось. Подошла с лопатой украинка, через время немка со своим мальчиком, гомоня, прибежали турчанки, уютный киргиз оказался в самом центре бабьего хоровода. Еле отковыривая крохи земли, я слушала ласковый украинский, интонационно-концентрированный немецкий, мягкий и протяжный турецкий, поглощающий, вбирающий в себя русский.

Я умилялась разноцветью чужих сущностей. Вспомнив свое, я возрадовалась чужому.

Мы копали землянку, мы откапывали мой дом. И сквозь поскрип постаревшей земли, сквозь единение разнозвучий, пробивалась звонкая, молодая, наша общая бедолажная суть. И мы, заслышав негромкий, но беспрестанный звон ее колокольчиков, пытались защититься, закидывали ее словами. А она шла, легко и ловко увертываясь от слов, шла вечно юная, упругая, наша скорбная предопределенность.

И я подумала: так мы же герои, мы говорим, мы не сдались, мы будем бороться с ней, пока смерть не разрешит наш спор. Вот только в чью пользу? Мы, ссыльные и каторжные, раздетые и разутые, холодные и голодные – мы говорили! И звуки, сопровождающие слова, защищали нас от пугающей неохватности степи, от пустоты, нависающей над ней, от бесчисленных мучителей наших. Мы говорили, о, значит, мы были бессмертны!

Звуки гласили: вот мы живы, живем и звучим, и слышно нас на краю земли и на всех небесах. И я поняла, слово и только слово есть единственная наша защита. Слово и есть основа героизма. На всем белом свете кроме слова и нет ничего. Это единственное, что реально имеет смысл, это единственное, что после нас и останется.

Построй самый крепкий дом – время сметет его. Роди хоть сотню детей – правнуки забудут тебя. Посади лес, и он сгинет в свой час.

Слово – и семья наше, и поколение наше.

Слово – это световые столбы мироздания.

Не то слово, что бултыхается в гортани, готовое выскочить и кануть во мрак, а то, взлелеянное под сердцем, со скрежетом продрав темень нашу, вырывается наружу, и есть забор вечный, неодолимая ограда от мрака. Мы заполняли яму, обустраивали мой новый дом.





Кто доски для нар принес, кто столик, сбитый из древесной ветоши, с фанерным верхом. Из камыша соорудилась крыша.

Ушел день, ушли люди, унося слова, которым я целый день удивлялась, будто впервые их слышала.

На столике ласково помаргивал огонек фитиля, благословляя, освещая мое жилище. Лежал, благоухая, чернящий ломоть хлеба, и в запахе том слышалась моя любовь, она была в едва осязаемом, но ясно помнимом далеке. Она ступала неуверенно, искалеченным обликом едва касаясь земли, но я ее слышала.

А над головой, там, на земле, поддерживая друг друга, вещали о благом цикады, но в маленькие зазоры их благовеста большими червями вползали слова коменданта: из деревни никуда, да по деревне аккуратно... упорным трудом... день за днем... выковыривая из себя вражки бациллы... способствующие... мировой... когда наши доблестные... в логове... вы тут... понимаешь... клянусь честью.

Поезд, везший нас, рубил и кромсал время. Комендант, встретивший нас, выплевывал из железного нутра своего серые ошметки слов. Да, меня выслали, меня выслали из пещеры и привезли на мою прародину, где все помнимо и знакомо... и широка и необъятна моя землянка...

Летели золотые ахалтекинцы... Гудел древний азиатский базар... Папа купил мне новое платье... Базарный гомон, свежесть материи, лепешки из тандыра, пахнущие вечностью и новизной... Цикады отделили реальное от видимого.

И я поняла, что события – есть завеса от реального.

События потому и творятся, чтобы отвлечь меня от действительного.

События – это лекарство от памяти, от первосути моей и живущих со мной.

Я лежала в землянке, как в лоне материнском. Внешнее время остановилось, и я вслушивалась в реальное, в тишину своего рождения, и благодать возрождения благоухала землями, мною невиданными, временами, еще непрожитыми.

И я слышала, как из вечного далека сделала первый свой шаг истощенная любовь моя. Она шла удивленными ногами жеребенка-перводневка. Она падала и вставала, склеивая своей хрупкой непобе-





димостью обрывки времен и эпох. Крошились горы, порождая пустыню, исчезали пещеры – эфемерные пристанища зла, высыхали моря, испарялись полноводные реки, а любовь все шла, неподвластная ни земле, ни небу, шла, соединяя небо и землю.

И я, лежа в постели, шагала в ритме любви моей, и нет, не подозревала, нет, не предполагала, я знала, что я вечна.

Вместе с утром вылупившись из реальности, я узнала, что попала в огромную бригаду, об этом прокричал с сельсоветского крыльца комендант. Утренняя тишь, редкие петушинные вскрики и слова «огородная бригада» грели, обещая будущий, но такой еще далекий покой.

Целый день мотыжили землю. Ели похлебку – стакан муки на ведро воды, густо сдабривали все это крапивой.

Крапиву сушили на зиму, складывая ее небольшими стожками. Женщины выхватывали крапивную сушь из-под снега, вгреваясь в скупое тепло тлеющего торфа, вслушиваясь в бесстрастное побулькивание котелка, плакали, замурованные внутри уродливых грибов, едва пробившихся из-под земли, именуемых мазанками, плакали, и на всей земле не осталось никого, кто мог бы остановить эти слезы, и на всем белом свете не осталось ничего, могущего высушить эти слезы.

А в злобном далеке темень сшибалась с теменью, высекая кровавое пламя, и холод огня того цепко впивался в малых, сырых и старых, обнимал изыбшую от безлюбовья сердцевину женщины, плотным бесплотьем ложился на пропеченную азиатскую землю.

Громыхало вдали, полыхало рядом.

И не понять было: то ли испечет тебя прокаленная солнцем и преисподней земля, то ли замерзнешь от неистребимого желания взвыть. И на всем белом свете не осталось никакой опоры, кроме мотыги. И люди с рассвета допоздна вышибали из себя и из земли наледь далекой и затаенной внутри себя войны. Поливали ростки будущих овощей, меж грядок плавали змеи, спасаясь от солнца в прохладной желтой жиже. Бабы, визжа, сбивались в кучу, а вода уносила ползучих к другим участкам, они плыли, то сматываясь, то скатываясь друг с дружкой. Военное безлюдье расплодило их сверх всякой меры. А поодаль сидел Хажос, донельзя оборванный, заросший – не понять, где борода, где грива. И что он видит сквозь эти заросли? А видел он алюми-





ниевую чашку да собственную давным-давно не мытую ладонь, ею он черпал зеленое жидкое месиво. Из разверзнутой пасти сапога черным черепашьим выводком рвались наружу ногти.

Он сидел поодаль от всех и черно-желтой пятерней, черной от одиночества и желтой от цвета земли, чистил чашку. Бесстрастный поскрип песка на редких зубах его говорил: ничего у тебя не осталось – ни шубы, ни маузера, ни кобуры.

Пустота дней наполнилась лишь закипающим маревом да мельканьем ржавых мотыг.

А к следующему лету дрогнуло и потаяло военное оцепление, запели позабытые гармошки, в огородах зацвели огурцы и помидоры – село в миг единый ожило при виде фронтовиков. От них исходил дух чужой, но не чуждой воли, прихваченной с собой для короткой потехи. Весенняя одурь свободы, полня людей, выплескивалась на многовековую твердь неслышно гогочущего рабства. И дни выдыхали радость. И смеялись люди, и сыпался смех драгоценностями из давних полузабытых сновидений.

И танцевали люди... Они не оттанцовывали из домов хозяев, не вытанцовывали свою и общую беду, – люди просто радовались и захлебывались в детском неумном восторге – чужая степенная свобода, заглушая перезвоном тысяч капилляров своих монотонный поскрип вращающейся земли.

И жаркий хмель того веселья, чуть теплимый, на излете своем докатывался даже до меня.

Днем мотыжила землю, ночью слушала стрекотание швейной машинки. А люди кинулись шить платья из трофейной немецкой ткани. Машинка кормила и одевала и еще собирала кое-какую денежку. Под гармошечный раздрай и глухой нескончаемый стаканий перестук фронтовики строили новые дома. А я купила себе времянку, и сараюшка моя потихонечку заполнилась вещами. Была у меня кровать железная, ложки, пиалы и главное – белье постельное.

После землянки, нар, рванья, что стелила и чем укрывалась я, белье пахло долгим мгновением утра и просветленной усталостью вечера, оно, спеленав, поднимало и уносило в неправдоподобье детства моего.

Машинка работала, а я дышала и радовалась, что выдох мой не пахнет железом.





Но и железо, видно, устает, в один из дней стала и моя машинка. Я обегала село в поисках мастера, но все впустую, во многих домах появились трофейные машинки, да вот чинить их было некому.

Я мыкалась вечерами, скучала по весело стрекочущей машинке, дробь ее не давала опуститься в знакомое и нежеланное, а уносила в незнакомое и неведомое, такое же, как воздух. Скучала по чужим платьям и костюмам, вот висят они новехонькие, а завтра укроют, поражают чью-то, без сомнения, грустную усталую плоть, и почудится на миг, что я в давнем далеке и вновь с людьми.

И сквозь чуткое оцепенение опустевшего нутра, полуобжитость жилища, сквозь далекую близлежащую округу я слышала, как рыбы идут на нерест, они плыли неспешно, радуясь обилию воды, зная, еще миг... и мелководье, и уж не плыть, а продираться, они плыли, каждой чешуйкой ощущая голубизну воды, согревая светом лунным продрогшую от долгого житья усталую синь глаз своих.

В воскресенье... в воскресенье постучались в дверь.

– Здравствуйте, меня зовут Павел.

– А меня Мариам.

Господи, меня ж зовут Мариам. Мариам... будто о ком-то, о чем-то давнем и полузабытом. Мариам... да ведь это о реальном, о сегодняшнем, это ж обо мне.

Мариам... как цыплячий носик из скорлупы, и первый вздох во тьме, и первый выдох из тьмы, и предчувствие света.

Павел... Из полутьмы жилища, на пороге, в свете солнечном, в черном стареньком костюме, белая рубашка, туфли в бликах, каштановые волосы до плеч... и глаза светло-карие с золотыми и зелеными крапинками... и тело, не вырастающее в платье, а плавно из него устремленное.

Павел... Словно вчерашнее и завтрашнее, но сегодня, среди стриженных, влитых в гимнастерки и сапоги... совсем, совсем нереальное.

– Я слышал, у вас машинка сломалась, я попробую ее починить.

– Да вот, сломалась, а я так к ней привыкла.

– Ничего, Бог даст, починим, – он корпел над машинкой, что-то откручивал, что-то ввинчивал.

– А вы мастер?





– Да нет, я священник.... бывший.

– Как бывший?

– Власти посчитали меня врагом, а церковь – еретиком, и те, и другие правы, нет у меня любви к ним. А проповедовать кто ж мне запретит? Правда, никто не слышит той проповеди, направленная внутрь, она невидима, но слышна, вовне она безмолвна, но зрима. Толстого тоже отлучали в свое время. Шел к Богу сам, без посредников, тем и не понравилось. Бог-то не всех скопом слепил, не со всеми враз и говорит. Каждого творил поодиночке и с каждым беседует наедине. И посредники не надобны. Бог – это усиление слабого: кого по голове погладь, кому слово ласковое скажи, кому от хлеба своего отломи, кому рубль протяни, поднеси камень к будущему дому бесприютного, а кто-то прикатит бревно, кто-то гвоздь вобьет, и дом тот, проросший на пустом и из пустого, и будет храмом Божиим. И Бог тебя увидит, и ты его почувствуешь – вот и поговорили, и посредники не надобны.

А ремеслу учился у добрых людей, походил я по земле, бывало, и подвозили за бесплатно, а платил всего-то ничего – годами. Вас-то привезли, не поленились.

– Нас за танцы. Танцы – это, когда хозяин в пещере, а гости пляшут в его доме.

– Но ведь кто-то учит танцам, да за грех тот плясунов же и винят. Они и учителя, они и судьи. Что-то мы все о грустном да невеселом. Вы не скучайте, Мариам, пройдуся я по деревне и скоро вернусь.

И он ушел. А я смотрела на темно-синюю дверь, изъезженную трещинками, такую безнадежно заземленную, как нежеланная давность, которую хочется забыть, да не получается. Павел ушел, и я почувствовала, как меж горлом и животом, схваченные болью внезапного сиротства, взныли ребра. Чтобы как-то отвлечься, я долго всматривалась в маленькое зеркальце, пытаюсь улыбнуться, но губы вытягивались в бледную полоску и никак не хотели размыкаться.

Он вошел улыбчивый, весь нараспашку, и в улыбке той виделся многое знающий, многое чувствующий, стеснительный ребенок, который осознал что-то важное, увидел что-то очень светлое, переполнен неожиданным подарком, предназначенным только ему, – оттого и неловко перед другими. Через миг в серьезном лице его я увидела человека, нашедшего в пустыне огромный кусок золота,





кругом пески – ни камешка, ни железки – и отщипнуть от глыбы нечем, и бросить жаль.

На столе появилась бутылка вина, баночка кильки, черный пахучий хлеб, бутылка нарзана.

– Ну что, Мариам, доставайте стаканы.

– А у меня нет стаканов.

– А что есть?

– Пиалки.

– Пиалки – это святое, иди, напейся из ладоней... Хлебнувший из чаши, устрашится ли чашки. – Он разлил вино. В карем свете глаз зазвенели зеленые и золотые светлячки, и почти видимое тепло, скатываясь с каштановых прядей, текло по удлинённому лицу.

– Я рад вас видеть, Мариам. Не падайте, дабы не унижить наступивших на вас. Не умножайте легионы малорослых, путающих плоть живую с твердью земной. Во имя Бога нашего Общего, Единого и Неделимого. Аминь. Ага, пригорюнились, а стол для радости, и все, что на столе, в радость. Пшеница как растёт? Смеясь, – хорошо ей на солнышке, даже в ненастье, колосок дремлет-подремлет и улыбается во сне. Мне хорошо с вами, Мариам. Будто в детстве... Зима стерла время. Дома – никого. Лежишь на печке, и печное тепло баюнит о светлом бесконечье и, как слепок того дивного света, разузоренное инеем окно.

– А вы всегда так разговариваете?

– Я уж и не помню, когда беседовал в последний раз. Проговариваешь, а вот поговорить – такая редкость. Целый день с людьми – кому патефон починишь, кому радио, кому печь соорудишь, – разговариваешь, но слова падают отзеленевшими листьями, падают, не срастаясь друг с дружкой, и пахнут они дождливой осенью. Целый день с людьми, а как в монастыре – все проговариваешь, проговариваешь... Беседа – это, когда я слышу чье-то обращение к себе, он слышит то, что звучит во мне, и в этот миг едины – и слово, и жизнь, что же еще?

Вино, хлеб, килька, нарзан – такие разные, встречаясь друг с другом, создавали неразрывную терпкую оболочку, она ограждала и защищала.

И так захотелось живого и доброго, что рука сама потянулась к его голове. И когда его ладонь коснулась моей головы, то слезы сами полились из меня.





– Павел, внутри такой суховей, скажешь или услышишь слово доброе, – будто сухарь проглотила, и он, обдирая нутро, колет веки и скребется в голове. Швыряет меня из стороны в сторону, будто мир только-только создается, и Бог ладит его, переставляя широким жестом людей, зверье и деревья. И трясет меня, и швыряет, все кружится – не остановиться, не опереться – будто стержень из меня вынули.

И когда ночь выдохнула суету дня, я обрела утерянное, и пахло оно скошенной обласканной солнцем травой.

Едва он касался меня, как слезы скатывались с щек и, переполняя шейную ложбинку, текли на простыню. Я проплакала всю ночь. Утром его ладонь потянулась к моей голове... и я снова заплакала. И омытая плоть моя все удивлялась: как в одном человеке может скопиться столько слез?

И предрассветная дрема утянула в сон, и снились мне усталые ахалтекинцы, по холку самую в зеленой траве, и ноздрями, похожими на детскую обиду, они чутко вслушивались в кромку, где небо встречается с землей, улавливая там потягушки зарождающихся ласковых ветров, и на золотых их боках горели красные, оранжевые и голубые блики восходящей зари.

Я дышала, вдыхая запахи и колокольчиковые звуки степи, и видела юрту моего первого предка, его самого, пьющего айран, чумазных братьев и сестер, прихваченных дрожью утреннего холода и в ожидании солнца жмущихся к очагу, растопленному моей праmaterью... И дымок, кизячный дымок, полнящий степь, как бесконечье рода и племени.

Проснулась – Павла не было, видно, ушел в поселок подзаработать что-нибудь. Я попила чай с хлебом и села за машинку. Вбежал Павел, обсыпанный игривыми бусинками пота, полыхая светло-карим задором.

– Мариам, давайте я вас прокачу.

И не успела я ни охнуть, ни сообразить, он подхватил меня, пристроил на плечи и выбежал в огород. И кружил меня вокруг тернового дерева, росшего из истрескавшейся от безводья желтой земли. Он бежал вприпрыжку и кричал:

– Да здравствует терн, дающий прохладу! Да здравствуют киргизы, добрые и безобидные! Да здравствуют спящие, идущие и едящие! Да здравствуют курицы, коты и собаки! Да здравствует Мариам – краса всего человечества! Ура!





– Ура! – кричала и я.

Вспомнился босоногий киргизенок, державший за длиннющий хвост воздушного змея, – белое полотнище купалось в голубизне, а ошалелый мальчик несясь вприпрыжку, будто выпрыгнуть хотел из тягучей хмари земной и ему это удавалось. В какой-то миг змей замирал, к своду приклеенный, и казалось, что мальчик, ухватившись за веревку, поднимался над землей. Мы катались по желтой усталой земле, одинокий терн кружился и взмывал в аховую азиатскую синь. Соседка-немка, ее сын заблудившимися северянами стояли посередь Азии и трезво-серыми взглядами хотели что-то понять, и охало их нутро, осознающее, как далека от них Германия, и даже все чувствующая кареглазая овчарка Найда ничем помочь им не могла, она качала головой, пытаясь найти ракурс понимания, отыскать смысловую точку и у нее ничего не получалось.

Днем я уходила на работу, а Павел чинил чью-то обувь, корпел над примусами, керосинками, патефонами.

– Мариам, вы бы хотели иметь ребенка?

– Я, как улитка, человек со своим домиком на спине. Вокруг так много танцующих, что я малую кроху свою боюсь выставить наружу. Я всегда удивлялась: как женщина умудряется выжить, да еще и родить? Внутри у нее столько закоулков, заторов, кладовых, что выбраться, не заблудиться нет никакой возможности. Некоторые умудряются – порасшибают все, и на просторе – гуляй, дыши полной грудью. А нормальным и вовне не ступить, внешнее закабалено идиотизмом мужества и героизма. Героизм тот – вырубить все, что растет, спалить все, что дышит.

А мужество и героизм ведь в другом – помоги женщине стать женщиной или не мешай. Ей ведь и так нелегко: как внутри себя, из себя, оторвав от плоти своей, слепить ребенка, да так, чтобы он и внутреннее сохранил, и внешнее его не прихлопнуло? Как одновременно быть жестокой, чтобы не затоптали дитя твое, и оставаться нежной, дабы было ему на что жить?

А кто сломал все перегородки, разрушил все закутки свои, тем полнее, у них чадо появляется с гармонью в руках и с топором в зубах.

Гармонь – чтобы сплясать в доме чужом, а если хозяин пригорюнится, то и зашибить его, благо за топором бежать не надо.





– Не знаю, Мариам, видно там, где у мира не сшивается, женщина вынуждена штопать, да так, чтобы швов не видно было.

Гулял я как-то прикарпатским лугом и наткнулся на мощную дружину чертополоха: толстостволое, колючее и вечное, а подле росла маленькая фиалка. Ветер трепал ее, не жалея ни сил, ни времени, а она помахивала синими крылышками и улыбалась.

В середине января я вновь пришел к этому месту. Среди протяжного посвиста ветра чернел обожженный холодом лес, валялся изрубленный морозом чертополох, а изо льда, из самой середины, улыбалась живехонькая фиалка.

– Павел, а за что вас сана лишили?

– Я вижу, Мариам, как все мы темным табуном плывем по речке черной, нет не плывем – ползем среди мрачного мелководья, ползем, обдирая животы и бока свои. У истока реки нам видится далекий свет и, преодолевая противоход воды и грязи, медленно продираемся к Свету Небесному, неся с собой Свет Земной.

Бог послал Христа на землю, взяв с него обет молчания. Он должен был идти по берегу речки черной, безмолвно освещая нашу долгую, долгую, как все долготы вместе взятые, дорогу. Ждать и молчать, ждать, когда на излете реки, у самого истока истончая плоть наша вылупится из грани возможного и невыносимого и Светом станет – Светом Земным, и не жмурясь, глаза в глаза встретится со Светом Небесным...И не отвернется, не зажмурится.

Но, видя черно-красную речку, – красную от крови нашей и черную от тягот наших, – Он не выдержал и выдохнул Слово, и Слово то высветило и ослепило, высветило темень нашу и ослепило Светом извне. И увидели мы в Свете том собственный мрак, увидели, зажмурились и отвернулись.

И явился Иуда – Божий избранник, и зазвенели тридцать сребренников, как плата за нарушенный обет, как волеизъявление ослепленных Светом извне. Ибо до срока, предначертанного Небом, не родиться, не вылупиться, как не вызреть плоду посреди цветения, не скреститься рыбе посреди реки.

Христос не смеялся и не плакал, лишь пролил слезы при виде воскрешенного им же Лазаря.

Он знал, он прислушивался к бесконечной дороге, ведущей на Голгофу.





Все пили воду, он же в ней купался, все лакали воду, он же в ней плескался, по-детски раскрыв рот, вслушивался в ее святость. Висел на иссохшем, корявом деревце оболганный в веках Иуда, – никого рядом, лишь сама одинокость счищала пыль с широкого лба его.

Розовея в закате, брели усталые овцы и коровы, за ними шли люди, они шли мимо распятого Христа, им казалось, что идут они домой, но они плыли-продирались к Свету Земному. И долг был путь их, как все долготы, вместе взятые, ибо нет длинней дороги, ведущей к собственному свету.

Христос до кровавого пота молился в Гефсиманском саду, прося отвести от него чашу сию, но не был услышан, ибо Бог уже передал свою волю Иуде. «Без воли Божьей ни один волосок не упадет с головы человеческой».

Вдали от жилья, брошенное людьми, отторгнутое лесом, изжеванное ветрами, обглоданное козами, корчилось одинокое дерево. Средь корявых ветвей висел оболганный в веках Иуда – и никого вокруг, лишь сама одинокость, в миг сей покинувшая всех, истончавшими пальчиками смахивала пыль с широкого лба его.

Розовея в закате, брели сытые коровы и овцы, за ними шли усталые люди, они шли мимо распятого Христа, им думалось, что идут они домой, но они плыли-продирались к Свету Земному, и долг был путь, долг, как все долготы, вместе взятые, ибо нет ничего длиннее тропки, ведущей к Свету собственному. Не нашедший Света Собственного, не обретет и Небесного, – хоть сотней попов себя окружи.

В день Христова ухода были все: Пилат, не согрешивший в день сей, непреклонные фарисеи, продающиеся к Свету Земному люди, – не было апостолов. Прибегал вечером Петр, да трижды успел предать учителя своего, и это был не самый тяжкий его грех. Были все, и было Слово: Бог един, и всякая буква к Слову тому есть кровь, раздоры вечные и грех непрощаемый.

Пришли апостолы и сказали: Отец, сын и Дух Святой – и у Бога появились родственники. У Бога есть сыновья и дочери, и Дух Божий осеняет и охраняет их благостью горней.

У Бога нет родственников, у Бога – родные. Христос не Бог, а дорога к Богу.

Темным табуном плывем-продираемся по речке черной, а по бокам





светлые, полноводные реки, и есть соблазн свернуть и сразу очиститься, вожди и лжепророки зовут нас в реки те, но мы продираемся дальше и дальше – к самому истоку. У истока реки на пределе плоти своей мы увидели: Христа, Магомета, Будду, ветхозаветных пророков, они купались в Свете Земном, излучая Свет Небесный. Здесь были все – не было апостолов, ибо слово их, – как невозможность примирения человека с человеком, народа с народом.

Продрались и мы, неся с собой Свет Земной, и встретились два Света, и никто не зажмурился, никто не отвернулся, ибо Свет тот не слепил, а освещал.

В начале было Слово, и в конце было Слово, и имя слову тому – Свет. И в конце пути нашего, у истока реки Просветленной, в последний миг иного бытия... слово за ненадобностью растворилось в Свете и Светом стало.

– Жаль терять киргизов, Мариам. Ведь редкий из них не отломит от лепешки своей, не протянет грош свой скудный. А сколько таких киргизов отторгнуты от нас. Вокруг имени Бога Единого примирятся: и русский, и китаец, и негр.

Апостолы свершили самую кровавую из всех революций. Всякие преобразования когда-либо, да кончаются, – эта же имеет начало и нет ей конца. Вы вслушайтесь, Мариам, «освободить гроб Господен»...

Да не умирал Творец наш Единый, и нет у него никакого гроба.

В Ветхом завете Бог наказывал людей, рассеивал по всей земле целые народы, молившиеся за богов иных. И все это во благо живущего и еще не рожденного человека. Бог Един – вопиет Библия, – ибо всякая буква к Слову тому – есть кровь, кровь нескончаемая.

Пришли апостолы и утвердили многобожие. Пришли их последователи и «освободили гроб господень», побили «неверных» и... принялись за братьев по вере. Кровью осветилась ночь Варфоломеева. И шагу не ступить было из-за засилия еретиков, – побили и их и... мир заполнился колдуньями, пожгли и их.

Горела Европа, и огонь тот растекался по земле всей, доходя до самых темных ее уголков.

Огонь затаился под иссохшим торфяником, готовый в любое время вырваться наружу, но его может потушить большой дождь или подоспевшие люди. Если каждый день, до скончания бытия, будут лить





дожди, и землю терebить бесконечные бураны, и снегу навалит по самый Арарат, и сойдутся люди с земли всей, – то и тогда не потушить им огня, воспламененного апостолами. Пришли малые к большому и отщипнули от него, за ними еще меньшие взяли долю свою, и каждый приходящий был ниже предыдущего. И раздробили большое на малое – на то и маленькие, чтобы большое сделать малым.

Освящались мечи и шлемы, и в свете красном том горело грядущее время, время полива водой «святой, ножей карманных». Я слушала Павла и вспоминала, как на Иерусалимском базаре папа купил мне новое платье. А вечером мы шли с ним через тот же базар, он был пуст, лишь старый еврей, опираясь белой бородой о почерневший от времени прилавок, продавал баклажаны, в фиолетовых зеркалах их догорали остатки заката и едва различимые в сизом мареве плода глаза старика.

Горела лампа, в черноте костюма белело лицо Павла. Свет лампы отодвигал и отодвигал его от меня, и смотрел он из невидимого, но до удушья в горле чувствуемого и желтоватого далека. И сквозь тусклый ламповый свет, затаенную чернь комнатных теней, ухмылку теней оконных лился на меня светло-карий свет, – будто средь лютной зимы с улыбочивой сини небесной опустился день весенний: утихли бураны, исчезли снега и в теплой тишине слышалось, как тяжело расстаются влюбленные и где-то хоронят очень хорошего человека, которого ты никогда не видела, но без него очень грустно на этой земле.

Закололи скрученные болью ребра, и грудь прихватило ковыльным привкусом расставания.

– Павел, я вас больше никогда не увижу.

– Что вы, Мариам, меня может рядом не быть, но я с вами. Мы же всегда, мы же везде. Подойдите к дереву у дороги и почувствуете меня. Погладьте дворнягу и, заглянув ей в глаза, увидите меня. Утром чай будете пить, вслушайтесь в его запах и поймете, что я жив, здоров, и я порадуюсь вам, и недоуменное одиночество внезапно отступит, как всегда – ни с чем.

Пили чай, утро нехотя, позевывая, втекало в день, вот-вот они должны были соединиться, но меж ними еще оставался зазор дымчатого дремотного пограничья.

И этот миг онемевшего безвременья заполнился дверным грохотом, звоном стекол и моим вмиг охладевшим нутром.





Во дворе трое в военной форме: один весь черный, иссохше-поджарый, прутиком сшибал с подсолнуха-недоростка желтые лепестки, двое плечом к плечу выдвинулись к дверям и сросшейся громадной своей заслонили двор, дальний горизонт и полнеба прихватили. В кипении их скул и подбородков дымились схваченные колким инеем одинаковые светло-студенистые глаза. Один чуть выдвинулся вперед, он улыбался, но губы, потянувшись к уху, застряли на полпути, да там и застыли:

– Павел Столбовой?

– Да.

И эти двое с окаменевшими плоскими затылками вытащили Павла во двор. Четыре лапищи впились в голову, уронили... вновь вросли и щекой теранули о землю, развернули, и другая половина лица окрасилась красным. Резко поставили на ноги...

Павел виновато посмотрел на меня и едва различимыми средь окровавленно-бескожего лица губами прошептал что-то.

Я ничего не расслышала, но средь тягуче-красной онемелости его лица, в свете светло-карем почувствовала слова: «Не падай, дабы не унизить наступивших на тебя».

Я закричала и кинулась к Павлу, но опаленный, ловко извернувшись, ударил ногой в лицо. Успела увидеть тонкий носик сапога, и жужжащее, переливистое крошево заполонило голову, заплясало в глазах, закапала кровь из носа и потекла из губы. И сквозь красное марево я видела, как четыре неправдоподобно больших сапога с самоубийственной сноровкой сдирали кожу с лица Павла. А пара других сапог прутиком изящно сшибала с подсолнуха-недоростка желтые лепестки.

Четыре громадных сапога, притопывая, тащили Павла, за ними, поскрипывая, повизгивая, семенили изящные. Сапоги, раскачав, бросили Павла внутрь черной, как катафалк, машины. Больно ухнула ушибленная плоть, и заскреблись башмаки по железу. Дверь захлопнулась, пыль поглотила и дома, и дорогу, и машину.

Было пекло, было все выжегшее пекло, оно умиротворенно подремывало после тяжелой работы, и лишь живые сапоги с непоколебимой улыбочивостью, уйдя, возвестили о завтрашней всеобщей беде.

А я сидела на земле и не могла встать – подгибались колени. И,





глядя на измазанное кровью платье, шевелила опухшими липкими губами и била кулаками по окаменевшей земле.

Я промокала лицо подолом платья и сквозь болючую слабость свою видела старый дуб у арыка. Земля выталкивала его из себя, а он поверху цеплялся за нее корнями и ему было все равно: лежу ли я вперемешку с кровью, или что Павел ушел навсегда. Бежала дворняга по улице, бежала, помахивая полуобрубком-хвостом, одно ее ухо наострилось к небу, другое от старости свисало к земле. Бежала собака, и ей было все равно: здесь ли я, или что Павел ушел навсегда. Пела в соседнем дворе маленькая героическая птаха, и пела она ни обо мне, ни о Павле.

Я на четвереньках вползла в жилище свое и растянулась на полу. Я утопала в известковом запахе равнодушия, всплывала и ударялась о многозвучие и многоцветие обиды. Тонула и всплывала, пока жесткие бригадирские руки не оторвали меня от пола и не вытолкали в поле.

Кричали в поле существа с настороженными угловатыми взорами. Из этого крика топорщились кости, мускулы, мозоли и лишь по платьям и длинным волосам можно было догадаться – это женщины.

И выпорхнувшие из излома кричащих тел солнце, плоское на стыке земли и неба, да полукружье мотыги напоминали, что есть на свете белом мягкие и добрые формы, которые были в нас и были нами. И эта мягкость окружила теплинкой тледа в груди, как полузабытые, но очень желанные воспоминания о себе.

– Домой едем, домой, – кричала всеми забытая, восторженная истощенность.

– Домой, – твердили мужчины, сбиваясь в возбужденные и растерянные кучки.

– Домой, – вопили босоногие, едва различимые в пыли дорожной дети.

И лишь полузаброшенные всеми псы цепные тихо поскуливали, предчувствуя недоброе, да кошки с настороженной недоуменностью вглядывались в галдящую округу.

И деревня превратилась в большой базар – продавалось все, что покупалось.

Домик мой обещала купить соседка. А тряпье ненужное я упаковала в узел и повезла на базар во Фрунзе.





Скрипел кузов, ветер присыпал снегом и дождем деревянную кабину полуторки. Обветшалые тополя вдоль дороги, кизячные дымки из крыш камышовых – никого, все куда-то ушли или идти никуда не хотели.

Едва теплимая полусонь растеклась по малолюдному продрогшему базару. В ожидании застрявших в теплых домах покупателей торговки вжились в прилавок.

Вдоль рядов прохаживался мужичок с сапогами на шее и с огромной самокруткой в зубах. Запах махорки и постук каблучков на груди человека напоминали об уходящем времени. В кожаном пальто, в солдатской шапке-ушанке, утонув в тюках, сидела бабка-барахольщица. Кинув в общую кучу мой узел, порывшись за пазухой, она протянула мне несколько бумажек.

Я пошла к выходу, но мальчишечий гогот остановил меня. Под брезентовым навесом, у закрытого магазина стоял донельзя заросший пожилой человек. Стоял босоногий, в драном галифе и некогда белой нательной рубаше. Дырявый брезент никак не защищал его. Он выдергивал из снежной жижицы обгорелую от холода красную ступню, опускал ее, поднимал другую, стелил рубаху под ноги, мерзла грудь – отжимал рубаху и одевал ее.

Подойдя поближе, я узнала Хажоса. Беспрерывно одеваясь и раздеваясь, он кричал: «Я красный партизан, я орденоседец». Чуть поодаль стоял остроглазый парень в широченных матросских штанах, офицерской гимнастерке и маленькой кепочке на голове, и держал он в руке ароматно чадающую папиросу. К нему неслись мальчишки, совали мелочь и, затянувшись дымком тем, окружали несчастного, в один голос вопя: «Русиш, капут...», и закатывались в истерическом повизге смеха.

А Хажос все кричал, что он самый заслуженный из всех кавалеристов и большую часть крови давно пролил за родину и Сталина. А вокруг него приплясывали заплатанные фуфайки, женские кофты, притопывала рвань, что когда-то была ботинками, сапогами, галошами.

– Хажос, поехали домой, – сказала и подумала: так у него ж нет дома. Он появлялся то в одной, то в другой деревне. Кормился, чем люди пошлют, да умудрялся еще и напиваться.

– Хажос, пойдем отсюда, поедем ко мне.





Из сивых зарослей глянули залитые плотной желтизной, схваченные красными жилами глаза... и черная, давно немывтая рука оттолкнула меня. На базарной свалке я нашла обрубок доски и положила под ноги Хажоса и, сняв с себя платок, накинула ему на плечи. Один из оборвышей, белолицый и узкоглазый, помесь русского с киргизом, крикнул: «Тахир и Зухра!»

– Горько! – подхватили оборванцы и, уходя от резкого посвиста пляшущих, оглянувшись, я увидела, как на отмороженных красных ногах по снегу талому уходит вчерашний день, как корчится истерзанная днем сегодняшним подрастающая плоть и... впивается в затаившийся в страхе, еще не обглоданный ею день завтрашний, и рука с ароматной папироской указывает ей путь.

Они едут домой, а я куда? На одном конце света потерялся Павел, на другом отец с братьями канули. Они ехали домой, а я была везде и нигде. А мне куда и зачем? Но этот ошалелый от радости поток подхватил меня, мою машинку и втиснул в гомонящий, весь в зайчиках, солнечный поезд.

Средь нас, почерневших и потрескавшихся, ходили улыбчивые вольные люди. Поезд пропах устоялостью дивной еды и сладкой неопределенностью предстоящего. Он пыхтел в нетерпеливом ожидании, вытянувшись в осязаемую линию меж прошлым и будущим. Я ела мороженое, пирожное и пила лимонад. Сладость вкушаемого порождала горечь. Думалось: а ведь могло все сложиться под стать этой еде. Ведь есть же где-то в глубинах недоступных редко встречаемая тобою радость. Под стук колес я твердила: мороженое, пирожное, пирожное, мороженое и, глядя на пузырьки лимонадные, видела себя в новом платье у родника. Вот я вся в обнове на бухарском базаре. Вот мы с папой на рынке Иерусалима. Вот я на спине у Павла, и мы скачем вокруг одинокого терна. Теплый ветерок раздувает его волнистые волосы, и пахнут они обласканной солнцем, скошенной травой. И летели сквозь времена и земли золотые ахалтекинцы.

Кавказ нас встретил колким дождем и холодным ветром. Забилась в суете платформа, заполняясь людьми, кроватями, столами, живностью домашней. И машины, загруженные людьми и скарбом, вцепившись друг в дружку, потянулись к заколдованным, застывшим в недоумении белом скалам. А я осталась одна на платформе.





Дождь, черные палые листья, – никого, и все пропахло бесконечным, слякотным сиротством.

Я пристроила машинку на плечо и поплелась в город искать квартиру. Туман занавесил дома, лишь изредка, на миг, из него вылуплялись окна, выглядывали бледно-красные крыши, выкруглись афишные тумбы, выплывали тени прохожих.

Крыши домов, окна, афиши, прохожие говорили об одиночестве, они многое о нем могли рассказать. Но все об одиночестве знал лишь туман. Он сам был зримым и слышимым одиночеством. Я шла и слушала туман, как Богу безмолвно молилась, и думала: не спугнуть бы судьбу.

Я шла по туману и кожей слышала, что одиночество – и путь, и преодоление пути. Одиночество и есть движение. Одиночество – это общение не с кем попало, а с кем хочу. Одиночество и верность – два слова с единой сутью.

Одиночество – это то, что всегда остается. Уходят все, уходит все, но оно всегда с тобой. Одиночество – ангел-хранитель земной. Бог одинок и человек одинок, и только люди без устали и безуспешно воюют с этой очевидностью. Меня любили все, меня ненавидели все. От всеобщей любви я поглупела. От всеобщей ненависти я стала высокомерной. И когда я осталась одна, меня увидел Бог и накрыл этой благодатной невидимостью, и подумалось – не спугнуть бы судьбу.

Я стала улиткой и несла на себе дом, собранный из тумана. Я шла и вслушивалась в еще неизведанные мною дали одиночества. И дом мой вспыхивал и горел в свете проезжающих редких машин, горел разноцветьем предчувствуемого ухода. И сплошная нить уходящих людей и машин удалялась и удалялась, ревела моторами, исходила человеческим восторгом и начинала яростно лепить из дня сегодняшнего завтрашнюю свою трагедию. И нить та натягивалась меж мной, машинами, людьми, и эта чернеющая пуповина наша вот-вот должна была лопнуть в свете тумана, выбросить меня из народа и швырнуть в перворань нации. Я шла по туману одинокая и невидимая и знала – человека нельзя бросить, оторгнуть от жизни. Если ты проголодался – зайди в лес, он накормит. Если пить хочешь – спустись к реке, она напоит. Если соскучился по слову – шагни в туман. И лишь взлетом своим и паденьем не спугни судьбу. Туман то обнимал, то покидал меня,





и тогда наезжали на меня маленькие домишки по бокам широкой поляны, где паслись бабушки и дедушки вперемешку с козами. И как недоумение, как что-то лишнее, враждебное окружающей убогости, заслоняя собой белые далекие горы, в ядовито-желтом мареве, исходящем от него, горел громадный дом с колоннами, и из него важно выезжали черные машины. Свет фар желтил белый оскал зубьев под глазницами безучастных стекол, падал на собранные для прыжка два черных крыла. Машины въезжали в жизнь...

В серой дреме забылось осеннее небо. С деревьев падали черно-желтые листья. И доживали миг свой, прикрывшись истерзанными дождями и ветром, морщинистыми ставнями, ничего уж не хотевшие дома. Машины злобно урчали, им хотелось жить, а жить было не с кем.

Господи, о чем я думаю?

Мне ж надо найти хоть какое-нибудь пристанище.

Ну какое мне дело до танцоров? Какое мне дело до желающих жить машин и до их жизнерадостных хозяев? Ну какое мне до них дело?

Господи, ну нельзя же быть такой нелепой!

Чем я могу помочь, если с годами у них убывает жалость и с каждым годом ее все меньше и меньше, и она уж на самом доньшке, она, самая драгоценная, скукоженная в полжменьку, едва пульсирует на дне отмирающей плоти, не найти ее и дотянуться уж сил не осталось.

Господи, ну почему жалость во мне все прибывает и прибывает?

С кем мне ее поделить? С танцорами? Партнерами жизнерадостных машин?

Я шла в тумане, наполненная, отяжеленная невесомой драгоценностью земной – жалостью. Я шла и стучалась в двери, и серым нежилым отстуком они окликались. А людей не было. Наверное, осень была виной тому, и уж точно ненавистный туман. А в вокзальном окошке, освещенном луной, вздыхали и заламывали лапы сосны, будто души умерших, но не желающих покидать эту землю людей. Свет лунный падал на холодные плитки, на разметающуюся по вокзальным лавкам цыганскую семью, и в желтоватой нереальности отсвечивали нереальные часы одинокие милицейские сапоги.

Я лежала на холодной вокзальной скамье, накинув на себя пальто, укрывшись обрывком уличного тумана, думала: каждому дан кусочек





земли – кому больше, кому меньше. Каждому отмерян свой отрезок тьмы – кому больше, кому меньше – по силам его. И лишь продравшись сквозь личное мерило мрака, всплывешь в восторженное безмерье Света. Я вслушивалась в цокот милицейских сапог, в сон цыганской семьи, и меня переполняла жалость к ним, продирающимся рядом со мной. И сквозь теплую пелену жалости я слышала Свет свой, и поняла – жалость к другим укорачивает собственный отрезок тьмы. Жалость к другим – есть приближение к собственному Свету, ибо жалость и есть предтеча Света.

А поутру я вновь побрела искать себе жилье.

Дождь, палые полусгнившие листья в грязи, отказный отстук редко открываемых дверей, и все вокруг пропахло неистребимым слякотным сиротством. А я все стучала и стучала, не пропуская ни одной двери. А к вечеру усталое тело, без воли моей, извергало то смех, то хохот, воображая себя сумасшедшим дятлом. В один из дней я выстукала толстую бабушку с фиолетовым лицом и опухшими ногами-стойками.

– Живи вон, во времянке, хоть воды подашь, да кликнешь кого, коль умирать стану.

– Пусть живет, – молчаливо согласился древний кот, трущийся у ее ног.

И я поселилась во времянке, сколоченной из фанеры.

Устроилась на работу в ателье, а вечерами шила в пристанище своем. Я работала и работала, и на скопленные денежки купила однокомнатный домик у аэропорта.

Взмывал самолет, и отзвук его, падая на безлюдную переполненную землю, вырывал меня из постоянного и привычного оцепенения. Я заходила в стеклянное здание аэропорта и с удивлением вглядывалась в улетающих. Куда они летят, улететь невозможно. В пустом зале аэропорта я увидела плачущую девушку.

– Что случилось, девочка?

– Деньги потеряла, бабушка, – и плоть ее была отделена от вязаного старого свитерка. «Нет, она не из танцоров», – подумалось мне.

– Я была у вас в санатории, собралась домой, да вот в автобусе деньги потеряла.

– А дома кто тебя ждет?

– Папа, мама и брат.





– У тебя есть дом, а в нем и папа, и мама, да брат еще, и ты плачешь? А сколько нужно?

– Ой, много, бабушка, шестьдесят рублей.

Я протянула деньги.

– А куда вам прислать, я вам обязательно вышлю, оставьте адрес.

– Денег мне всегда хватало. Хватало, когда их было мало, хватало, когда их было много. Денег всегда хватает, лишь бы они были. Лети с богом, дочка.

И она улетела, как многие до нее и многие после нее. И все-таки они улетают. Их ведь кто-то ждет, и они кому-то нужны.

Я посмотрела на белые горы, изъеденные невидимыми черными пещерами, и с содроганием отвернулась. Я смотрела в сторону, где синий горизонт касался оранжевых песков, и сторона та отозвалась азиатской зевотой. Я смотрела на здание вокзала, на дерево, росшее неподалеку, на столб с фонарем. Я, как и они, была недвижна вовне и сломана изнутри. Я никуда не могла улететь и поплелась в сторону жилья своего. Я шла и сквозь дождевую морось, на пустыре, еще не совсем заваленном мусором, увиделся недвижимый ахалтекинец. Подошла поближе – ржавая деталь от какой-то машины.

Вчерашнее ненастье враз спалила жара. На базаре купила арбуз, да не рассчитала, – тяжелый больно попался. Ручки у кошелки длинные – не поднять эту тяжесть, пришлось тащить волоком. Не привыкать, конечно, и себя, и то, что меня окружало, я воспринимала единым словом: жизнь моя и живущих со мной умещалась в слово единое – волоком. Нас было так много, и как мы все уместились в одном единственном и не самом лучшем из слов. Я, такая похожая на всех... и единственная на всем белом свете, как я смогла, умудрилась уместиться в одном из слов, чуждых живущим: людям, деревьям, зверушкам. Как я умудрилась так скукожиться?

Даже из песка слепленного человека нельзя волоком, не получится. Я, трепетавшая при виде себе подобного: как похож на меня... и чудо, он не я...

Это я тащу арбуз, сметая асфальтовую пыль, и говорю сама с собой, я так привыкла к себе. И вдруг кто-то зазвонил за спиной: «Бабушка, давайте я вам помогу». Он неожиданности я присела, человечек оказался небольшого роста – чуть повыше меня, сидящей. И на меня во





всю свою ширь спокойных светло-карих глаз, усыпанных золотыми и зелеными блестками, смотрел Человек. Господи – Павел в детстве, он мог быть нашим сыном, только он мог родиться от нас. И невольно рука моя потянулась к его голове. Он вслушивался в руку мою, и мне казалось – он узнавал меня.

– Как зовут тебя?

И мальчик, не отрывая глаз от меня, сказал: «Зовут меня Ахия, отца Узеир, а дедушку Магомет». А я стояла на коленях и говорила, и говорила: «Меня зовут Мариам, меня зовут Мариам...» и видела Павла, а мальчик спокойно вслушивался в меня, будто по голосу вспомнить хотел. Я сдерживала слова, а самой казалось, что я все говорю и говорю... и никак не могу убрать руку с его головы.

– Ну что, пойдем домой, Ахия?.

Он стоял, молчал и не враз ответил:

– Пойдемте, тетушка Мариам.

Мне показалось, что он долго плутал среди трех слов: тетенька, бабушка, тетушка... и выбрал последнее. Мне и самой это слово понравилось. Оно было теплым, как чей-то домашний уют, дающий жизнь желающим жить.

Мы взяли кошелку с двух сторон, и арбуз взвился в воздух. Столько теплой силы влилось в меня, что я забыла о теле своем, руки и ноги наполнились просветленной легкостью, и я едва не обгоняла Ахию. Я шла и все поглядывала на него, на ладненькую фигурку, на тонкую упрямую шейку, не желающую вращаться в чистенький серый костюмчик. Я помыла арбуз, Ахия, отделив кусок, порезал его на части, а сердцевину протянул мне.

– Ахия, а почему ты дал мне этот кусочек?

Он, спокойно и удивленно взглядевшись в меня, сказал: «Он же вкуснее».

– Ты в каком классе учишься?

– В пятом.

– А кем ты хочешь стать, когда вырастешь?

– Никем, – уверенно ответил Ахия. – Правда, я немножко рисую... может быть, художником. Я бы вас хотел нарисовать.

– А почему меня?

– Вы красивая.





Едва он сказал «красивая», из меня полились слезы.

Я красивая!

Я слышала это слово, но никак не могла отнести его к себе. И теплые волны низвергли из меня слезы. Видно, стоило пожить, чтобы услышать это слово единое. На работе некоторые женщины говорили: «Он меня бросил».

Я плакала, и радость, пульсируя и смеясь во мне, надо мной и над другими, говорила: «Ну, как можно бросить живого человека? Как можно бросить меня, дающую жизнь и поддерживающую ее. Меня бросить?! Какая глупость! Нельзя утверждать несбыточное». Слезы вмиг высохли, и внутри меня воцарилась тихая уверенная в себе благодать.

А мальчик смотрел на меня всепонимающими светло-кариими глазами, усыпанными золотыми и зелеными блестками, и молчал. И в молчании том я услышала, как в невидимом далеке сделала первый свой шаг истерзанная любовь моя. Она шла удивленными ногами жеребенка-перводневка. Она падала и поднималась, склеивая своей хрупкой непобедимостью обломки судьбы моей. И до слез светлейших пахло землями далекими и родными, землями, где я никогда не бывала.

– Пойду я, тетушка Мариам, а то дома будут волноваться.

– Иди, сынок, и приходи ко мне, посмотри, сколько книг у меня.

– Я приду.

Я смотрела ему вслед и думала: «Зачем ему книги, у него все есть, и неважно, чего он достигнет, важно, что от него останется». Он ушел, и мне хотелось идти.

И я стала вышагивать по комнате своей, ни о чем не думая, мне просто хотелось ходить. Я ступала, и никогда доселе мой шаг не был таким упругим и твердым. Долго я ходила, прислушиваясь и привыкая к себе, пока светлая усталость не уложила меня в постель. И лежала я, не ощущая тела своего, купаясь в свете лунном. Небо выдохнуло, и уснула усталая земля. И в выдохе небесном – вздох Единого и Неделимого, и вздох тот благодатью опустился ко мне, спеленал и убаюкал. И в сладкой дреме я увидела слова Павла: «В начале было Слово, и в конце было Слово, у истока черной реки Оно растаяло в Свете. Не было необходимости в Слове, ибо в Свете растворилось Оно и Све-





том стало». Я слышала, как из черной реки выходят усталые и светлые люди, их встречали Магомет, Будда, Иисус и Иуда. Иуда, никого не предававший, а исполнивший волю Единого и Неделимого, ибо он был с теми, кто продирался к Свету собственному, он считал, что из Света каждого возгорается Свет Единый.

Здесь были все: и пророки, и люди – не было апостолов, ибо кровь пролитая, льющаяся и ждущая мига своего, рожденная из слов, добавленных к словам «Бог един», была необъятна, несмываема, и грех их был неизмерим и неискупаем.

А в земных травах дремали золотые ахалтекинцы, и ноздрями, похожими на детскую обиду, вслушивались в великую тайну горизонта. И стоял Ахия, сын Узеира и внук Магомета, и в руках его горела сердцевина арбуза.

Я спала и у подбородка ощущала детскую, улыбчивую, всезнающую слюнку, и она шептала мне: «Мы были, мы будем».

Слюнка детская напомнила о давней давности. Тогда я еще не жила – лишь помню: зеленая текла река, слегка побеленная осенью, усталой бледностью седого изумруда душу полня; и веяло от реки радостным предчувствием рождения и тоскливым бесконечьем бессмертия одновременно.

1978 – 2002





ОБЛЕПИХОВЫЙ ЛЕС,

или

Разговор с Луиджи Малерба, автором повести «Сальто-мортале»

Адмирал стоял на лугу, а вправду, Луиджи, – адмирал на лугу! – что он там забыл? Ведь его место на палубе. Ты не расстраивайся, Луиджи, – у нас генерал в парламенте. Что он там делает? Ну, наверное, перепутал полигон с парламентом. У него болезнь такая – эхолалия. Что такое эхолалия? Это когда человек слышит звук, но путает смысл. Что делал генерал в парламенте? Доказывал неразумным депутатам, что лопаты на войне просто необходимы. Черниченки говорят ему, – лопаты для того, чтобы землю копать, а он: «Не надо вбивать клин». Меж кем и кем клин? Как меж кем, Луиджи? Ведь это так просто: меж теми, у кого лопаты, и теми, для кого лопаты, неужели это так сложно уяснить?! Если ты даже этого не понимаешь, то как тебе втолковать о воде, что льют на чью-то мельницу, через которую красной нитью еще и проходит? Непонятно? Ясное дело, это тебе не лаврушка с апельсинами, мандаринами, Мадоннами, Марадонами и тиффози, это не для итальянских, плохо приспособленных к реальной действительности, размягченных мозгов, – тут голова нужна, прихваченная морозами сибирскими.

Адмиралы и генералы большие путаники,

не правда ли, Луиджи? Как стать адмиралом или генералом? Дело безнадёжное: одного-двух убьешь – из рядовых не выберешься, – тут сотни положить надо. Но ведь и рядовые люди, они же простые, ведь такого наворочают... ну как у тебя: Джузеппе убил другого Джузеппе, да так запутал, подлец, – на месте преступления полиция нашла лезвие, а ручки от лезвия нет, но есть лезвие, но на лезвии не бывает отпечатков пальцев. У нас лучше, в нашей деревушке нет даже милиции, так что убийц искать некому. А зря, моя соседка убила свою золовку. На месте преступления не нашли бы, если б вдруг вздумали приехать милиционеры, ни лезвия, ни ножа – они нашли бы только мертвую золовку и плачущую над ней убийцу. Она плакала, Луиджи, плакала, и настоящие





слезы капали ей на грязное платье, минуя щеки. Не было ни ножа, ни лезвия, ни ручки, ни веревки даже, – ничего не было, Луиджи, и все же она убила свою золовку. А где был брат убитой и муж убийцы? – он пас овец, Луиджи, дотемна не возвращался домой; я вижу его верхом на ослике, каждое утро карабкаются они вверх по склону; в ненастье он кутается в военный плащ, и уже непонятно, кого или что везет ослик – то ли человека, то ли груз какой, то дождик пытается зачеркнуть старика, и ему это удастся, а с плешивого бугра корова мордой скатывает камешки – все веселей.

Убийцу зовут Индира. Иногда ее окликают подружки в один голос: Индира! Индира! Соседка, у которой уши понежнее, отвечает: нету Индиры, она ушла собирать сено, – и это правда, Луиджи, она иногда куда-то ходит и, как правило, возвращается, а возвратясь, принимается за свою золовку: откроет рот и польются нечистоты, благо зубов нет, кроме двух желтых и крепких клыков по бокам. Однажды говорю, – встала бы зубы, – а она – денег нет, кроме тех, что оставила на похороны; на свои похороны, Луиджи, на свои собственные, но она не умрет, Луиджи, она вечна.

Самолеты всегда создают шум,

правда, я не видел американских самолетов, они у нас не летают, я бы мог нарисовать самолет, но Курт Воннегут сделает это лучше, чем я, – он здорово рисует самолеты, да и зачем мне самолеты, я крестьянин, Луиджи, и здесь ничего не летает.

Приезжай, отдохни от шума, Луиджи, ты болен. Ты здоров? Это неправда – здоровых не бывает – или ты сам ошибаешься, или кто-то ввел тебя в заблуждение. Кто, Луиджи? А кому это выгодно. Как говаривал мой знакомый философ, – больны все, физически здоровый человек ущемлен духовно, и наоборот – здоровых никогда не было, ибо здоровье есть реализация изначального Я. Я ему верю, Луиджи, может, он что и напутал, так самую малость. Приезжай, Луиджи, да чтобы скучно не было, прихвати Воннегута, бедный Курт, каково ему в Нью-Йорке? Пожалуй, страшней, чем тебе в Риме: сколько самолетов в американском небе – не мне тебе рассказывать. Вот бы узнать, Луиджи, кто выдумал самолеты, да окажись он к тому же послабее тебя, да хоть меня... А? Луиджи? Ведь совсем неплохо было бы: ох, настучали бы мы ему по бестолковке. Да, Луиджи, мы чуть не забыли, в Швейцарии ведь тоже самолеты, каково





там бедняге Макс? Ты не знаешь Макса? Ты болен, Луиджи. Макса знают все, все те, кто не знает о роке тяжелом и среднем.

Неужели ты думаешь, что Макс Фриш не слышит гула самолетов? Ты о других подумай, Луиджи, – как гнутся от изобилия всего Макс и Курт... а ты вспомни, как тяжело было Анжеле, Слава Богу, все позади, я рад за нее, – терпеть не могу, когда мучают человека; я против насилия, Луиджи. Ты не знаешь Анжелу? Ты болен, Луиджи, американские самолеты вышибли последние крохи памяти, порядочности и сострадания из тебя, напрягись, собери в комок всю свою гражданскую совесть... чуть не сказал интернационализм, слово очень опасное и чреватое, так что ограничимся гражданской или хотя бы обычной совестью; как ты мог забыть Анжелу Дэвис? Лучше забудь самолеты, вспомни, как издевались над Анжелой тюремщики: выделили две крохотные комнатки. В одной ванная, туалет, трюмо, в общем, натаскали всего, не развернуться бедняжке; в другой установили телевизор, громадный, цветной... Ты думаешь, телевизор от скуки или для общего развития? Не будь наивным, нет, Луиджи, телевизор создает шум, на экране тоже самолеты. Проклятые тюремщики, как они ее мучили, вымолвить не могу, Луиджи, – они кормили ее холодными сосисками и, что совсем чудовищно, давали кофе с молоком, ведь знали же, гады, что она не выносит кофе с молоком, а они назло льют да подливают.

Это было сделано специально

Откуда я знаю про страдания Анжелы? В моем отечестве вышла книжка с описаниями зверств этих палачей и стойкости великой революционерки. В школе наш класс организовал тогда не то собрание, не то митинг протеста, а Вовка Карабутенко покраснел аж от гнева и выпалил: свободу Луису Корвалану! Не знал он тогда, что Луиса Корвалана мы обменяли на уголовника Буковского. Учительница потихоньку одернула Вовку, а тот, вошедши в раж, требовал уже освобождения Анжелы Дэвис.

Солидарность укрепляет и способствует

Ты не был в тюрьме, Луиджи, и тебе трудно понять страдания находящегося там. Особенно тяжело в тюрьмах Америки – все свои излишки, все свое перепроизводство обрушивают на головы бедных заключенных, те отмахиваются, как могут, а эти вампиры – ешь да пей, и понять не могут, что унижают человеческую личность всяческими империалистическими объедками.





Отбрыкиваются заключенные, но что они могут в самом сердце каменных джунглей? Вот и страдают чистые терпигорцы.

Усвоив вышеизложенное и проникнувшись, захвати с собой Анжелу, ведь у нее после той беды очередное горе, неужели не слышал?! Ты меня-то хоть не убивай, никак не могу втолковать тебе преимущество одиночества: одинокий общается ни с кем попало, а с кем ему хочется; тебе ж тяжело, Луиджи, – под ногами грохочет Рим, туда ведь и все дороги ведут, и кому не лень тот и бредет по дорогам тем, а какому нормальному не хочется полежать в тени апельсиновых деревьев? А над головой самолеты, и не только американские. Натовцы облюбовали теплое итальянское небо и плевать им на тебя, Луиджи, ведь ты рядовой, простой и средний, а в сумме трех этих субстанций (правда, я не знаю, что это такое) переходишь, как бы награждаешься призом, в четвертую; и становишься крайним.

Беги, Луиджи, они хотят тебя уничтожить. Кто? Все! Помоги убежать и Анжеле, не бросай ее в беде.

Какая беда?

До чего же американцы глупый народ! Не выбрали Анжелу президентом, предпочтя ей, кого бы ты думал?.. Да! Рейгана. Да, того самого, «чей политический кругозор не шире полей его ковбойской шляпы», ну как с таким народом ужиться?

Вот так-то, Луиджи.

Ты извини, что я с тобой фамильярно – я не знаю твоего отчества. Назову тебя Луиджи Джузеппович или Джузеппе Сарталевич, или Джузеппе Морталевич, или Малербо Луиджевич. Вот почему я к тебе не по отчеству; не кажется ли тебе, что от отчества пахивает, нет, не масонством, а хуже – жидомасонством. Ты не слышал и не понимаешь, что это такое? Здесь все слышали, но мало кто понимает; даже такие вроде бы понятные слова «Бей жидов – спасай Россию!» тоже не совсем понятны: бьют жидов, а спасать почему-то надо Россию; бьют уже пару тысяч лет, а спастись никто не спасся, ощущение, будто грузовик проехался по пуховой подушке – никакого толку. А сейчас они вообще охамели – изучают свой язык (иврит все же красивее, идиш нечто на-носное, ведь так, Луиджи?), они, безъязыкие, столько бед натворили, а выучатся говорить, тогда уж никого не спасешь. Уж очень сложно, даже Кафка нам не помощник, ведь Кафка – это истоптанная Европой душа еврейства, с чужой душой разве спасешься? Евреи и самолеты есть повсюду. Евреев больше самолетов. В конце концов, все мы евреи – покажите мне хоть одного не еврея, покажите мне хоть одного неубегаю-





щего человека. Что, Луиджи, есть и догоняющие? Им только кажется, что они догоняют – у догоняющих за спиной всегда свой догоняющий, и нет конца погоне, и не понять, кто гонит, кто убегает. Евреи давно не нация – они лекарство, средство от гиподинамии.

Шолом, Луиджи, над всей планетой безоблачное небо.

Легкая атлетика не только королева спорта, она и королева жизни. Только занятие еврейским двоеборьем приведет к отмиранию наций, народов и народностей; только бег и поднятие тяжестей способны решить межнациональные, межнародные и международные проблемы в общечеловеческом тупике, а тупик он и есть тупик, там не разгонишься, веселый этакий тупичок, где встретятся и пограничник, и душманы, таможенники и расхитители межнациональных ценностей, власть имеющие и от власти получающие; весь мир стремится к интеграции и сплошной сионизации, где сын за отца не в ответе, и не важно, в конце концов, строил ли ты светлое или отмежевался, будучи некоторым – дождь равно мочит нас всех и ничего, что он черного цвета, – каждой семье к двухтысячному по ванной!

Ты пьешь вино и пиво, Луиджи?

Ага, значит, ты пособник Тель-Авива. Убегай, Луиджи, хоть от вашей рекламы, совсем они там голову заморочат тебе: хоккейный матч! щелк! секунда! мальчик ковыряется в носу! хоккейная клюшка!..

Потом увидишь на улице мальчика, исследующего свой нос, а у тебя щелк! – и в голове хоккейная клюшка. Лихо они! Вроде череп твой приподняли и наводят нужный им порядок в чужих мозгах, заодно и карманы чистят.

Зачем тебе хоккейная клюшка?

Она тебе нужна, быть может, даже необходима, ты просто без нее не можешь обойтись – итальянцы уже в группе «А». Ты стар для хоккея! Будешь тренером, с твоей-то фантазией!..

Говорит Папа Римский

Папа имеет привычку говорить. О чем говорит? Об объединении церквей. Где говорит? В Англии. Разговор будет долгий, а пока полети из Рима в Лондон, из Лондона в Рим – на твой век хватит, и опять они летают над твоей головой и потрошат твои карманы. Пока Папа договорится, ты успеешь состариться, боюсь даже, умрешь. А если Папа договорится с англичанами? Этого нельзя допустить, Луиджи, – над римским небом станут чаще появляться английские самолеты, только





и всего. А о тебе подумал Папа Римский? Нет, он не думал о тебе. И вообще, почему Папа поляк? Здесь что-то не так.

Тут не обошлось без блага

Варшава все же поближе, если не к Москве, то к Минску точно, но уж никак не к Риму. Папа неглупый человек, это точно, и не потому он умный, что родился в Польше, в Польше многие рождаются, а потому, что Польша граничит с некоторыми странами. Есть какая-то особая миссия у этих стран, воспитательная, что ли: страны и люди, граничащие с ними, стараются думать, думать чаще, больше и лучше – само присутствие рядом этих стран как-то способствует тому. До чего афганцы... ну дня не могли прожить без слова «интернационализм», но забылись – напекло им головы, подул ветерок северный (хотя у нас и поют, что у истории нет ветерков – у истории только ветры), поостыли немного и решили; подумали вначале, конечно, – лет девять думали, – что могут обойтись и без интервенции... тьфу, без интернационализма.

Помяни мое слово, Папа не ограничится Лондоном, полетит в Бонн – надо же и с протестантами побрататься, и в Китае есть христиане. Неве- роятно! – китайцы – и христиане! Потом полетит на Украину: там одни христиане отобрали у других храмы, обиженные вновь заняли Божьи дома и нет конца перемещению христиан. Тут без Папы не обойтись. Китайцы и они же христиане.

Здесь что-то не так

Все против тебя. И даже нет возможности «взяться за руки, чтобы не пропасть по одиночке», потому у рядовых и простых нет сил, чтобы разжать кулаки. Будут идти бесконечные переговоры, будут летать над Римом английские, американские, русские, китайские самолеты, и будут они выжигать последние крохи кислорода над твоей бедной головой, измученной вечной войной, и ногами, изнуренными вечной битвой.

Не будь эгоистом, Луиджи!

Неважно, что ты еле дышишь и едва передвигаешься, но зато когда они договорятся, вот заживем тогда. Ты должен уяснить себе, в какое время живешь. Ты живешь во время, я бы не побоялся этого слова, переломное, когда мечта всех живущих вот-вот воплотится в реальность и общечеловеческие ценности высоко поднимутся над просто человеческими. Тут самое главное – определиться с кем ты: с силами реакции,





ратующими за просто человеческие ценности, или со всеми прогрессивными и мыслящими и, конечно, демократическими.

С кем ты, Луиджи?

Ведь антисилы не дремлют! Ты говоришь, что ничего не сделал? Так не бывает, что-то ты да сделал. Вопрос такой тебе, мужской, настоящий вопрос для настоящего мужчины:

А кто стрелял в Папу?

Чистосердечное признание... все равно рано или поздно полиция обо всем узнает. У них есть осведомители, Луиджи, и они делятся на многие категории, но есть среди них две основные. Первые очень музыкальны – любят стучать. Вторые любят тишину и работают как бы кладовщиками.

От осведомителей не скроешься,

они как бы из народа и внутри народа действуют во благо. Если даже криминал разыгрался не при их глазах и не при их ушах, все равно найдут очевидцев и все равно узнают кто, кого и за что.

Осведомители – это воплощенное перемирие идеализма и материализма. У них вера в неизбежность зла при неизбежном поступлении хотя бы неконвертируемой. Философии пора взглянуть в них, как в зеркало, и устыдиться, и соединить две свои половины, и охладить мозги по обе стороны баррикад, через которые красной нитью еще и подводится черта. И отдельные прогрессивные философы все же стараются внести лепту, биясь над вопросом: есть человек или его нет. Вернее, они называют себя группой философов. Дожили мы до благодатных времен – за всю историю были так себе, единицы: Платон, Сократ, а здесь в одной только телепередаче сразу группа. Так что не кисни: телевизоров много, значит, есть и другие группы и объединения, и они, наконец-то, выяснят, есть человек или нет, я не только в космогоническом смысле. Но для этого надо объединиться, а то встретил я давнего знакомого, спрашиваю: «Кем работаешь?» – «Философом», – отвечает. Есть у нас еще отдельные из незначительной части экстремистов, всячески разжигающие и к власти рвущиеся.

Здесь ты поймешь меня – ваши неформалы из Сицилии тоже, видно, куда-то рвутся, чего-то хапают, потом отмыывают. Чистоплотные, чтобы скучно не было, нет-нет да чего-нибудь взрывают.



*Кто стрелял в Папу и кому это выгодно?*

Ты говоришь, что стрелка поймали и что он турок? Тогда тем более тебе надо бежать, бежать, пока не поздно. Ты не виноват? Но так не бывает, Луиджи, хоть в чем-то ты виноват все же. Ты совершил ошибку – турок ведь мусульманин, и они дадут ему сосиски, и будут кормить, пока он не назовет сообщника, то есть тебя, ты влип, Луиджи, читать надо Семенова или Пикуля, на худой конец, – ты бы понял: все крупные шпионы и наемные убийцы попадают на мелочах.

Куда бежать?

В Свободный Союз Демократических Бандустанов. Туда принимают всех, отпускают, правда, не всех, но у тебя нет выбора.

Где эта страна? В Евроафрике

Тебе не нравится, что в ССДБ химзаводы разрушают окружающую среду? Да, разрушают, но ты не в курсе – заводы эти выпускают таблетки, которые спасут тебя от разрушенной этой среды. Вот видишь, что значит быть плохо или однобоко информированным.

У Папы тоже есть осведомители, и он им хорошо платит. Беги, Луиджи, все и всё против тебя. Если ты задумал убить Папу – не делай этого, назначат другого. «Мы таким путем не пойдем». Не знаю даже, как тебе выбраться из твоего преступного прошлого на свободу, да еще и с чистой совестью. Да и язык у тебя того... согласись, «чао» как-то несерьезно прозвучит на берегах Печоры или Лены. Вместо «чао» придется говорить «будем», с таким оттенком неопределенной будущности. Запомни, «будем». Согласен, не очень привлекательное слово, но оно хорошо вяжется с окружающей средой. Эврика! А не совершить ли тебе великий скачок? Что? У китайцев не получилось? Да, у них не получилось, потому что они не очень умный народ, я бы даже сказал, глупый народ. Откуда я знаю, что китайцы чрезвычайно глупый народ? В поезде слышал: солдат с Даманского с орденом на груди начал свой рассказ по-нашему прямо и по-простому: «До чего же китайцы глупый народ». И закивали головами бабули в платках – все жалели бедных китайцев.

Индира убила золовку. Золовка мертва,

и милиция не найдет ни ножа, ни рукоятки, ни яда, ни склянки от яда, ни обрывка веревки – она найдет плачущую Индиру. Придет все село и будет плакать, придут села другие и тоже будут плакать. Индира плачет!





Она убийца, Луиджи, и все это знают, но никто ни взглядом, ни словом, ни шепотом при скорбном объятии... нет, Луиджи, – все де-лают вид, что золовка умерла самостоятельно.

Груш меньше, чем предполагалось, –

она убила и груши мои, но милиция беспомощна – нет улик; увядшие безвременно, гниющие на почерневших ветках грушата – не в счет.

Ты не расстраивайся, Луиджи, как говаривал Ницше, «больной не имеет права на пессимизм», а здоровый не знает, что это такое, значит, пессимизма, можно сказать, и нет.

Ура! Луиджи!

Оглянись вокруг – все радостные лица; лица и жизнь стали еще лучше и жить стало еще веселее; семилетний мальчик повесился в детском садике, обмотав шею собственными колготками, дома его били – есть у нас еще отдельные неблагополучные дома.

Они почему-то плакали

На похоронах принято плакать, Луиджи, плакала и Индира. Она оказалась убийцей неопытней, нежели ты.

Домик у нее маленький, сложенный из камней в эпоху язычества, оброс в три круга сараями, хлевами, заборами и десятками калиток; чуть стемнеет – в дом попасть нельзя – угодишь в лабиринт подсобок, и имей ты хоть несколько клубков, до зари не выберешься из западни. В доме нет полов, маленькое окошко, как два башмака вместе, темень, пахнет мочой и овчиной.

Золовка – дева, она очень стара и полупарализована, она едва может одеться и сесть на кровати – вот все, что она может, все остальное ей не под силу, а если по нужде, то ползком за порог. Но даже в полутьме высветленные от ежедневных мук некогда голубые глаза, гордая осанка – тянулись в прошлое, в человеческое бытие. А перед ее глазами Индира – в платье из всевозможных бабочек, ракушек, всяческих цветов, рифов коралловых – таким штормом носилась туда-сюда. Золовка опрокидывалась на кровать, и сил у нее оставалось только на то, чтобы изредка вдохнуть и выдохнуть. Нет у нее сил ни уйти, ни тем более убежать. Некуда ей идти и некуда ей бежать.

Я слышу гул

Неужели это самолеты? Нет, Луиджи, – это крысы. Но разве крысы гудят? Еще как гудят, если их много. Крысы не хотят быть кры-





сами, они желают летать, стать птицами; потому и гудят, будто собрались улететь.

Крысы покидают землю! Мы боремся за мир!

А бороться надо против Индиры. Надо ее разоружить, Луиджи, это наш долг. Если б она была вооружена до зубов, мы бы с ней, пожалуй, справились, но она пустая, Луиджи, у нее нет ни оружия, ни зубов; не совьешь ведь из воздуха веревку? Но она убивает всех и всё.

Она убила мои груши

Индира смотрит на цветущие деревья, мои деревья. Надо повязать на них разноцветные ленточки. «Зачем?» – спрашиваю. «От дурного глаза», – отвечает. Она знает, что говорит. Индира стояла, подбоченясь, упрятав тело в коралловые рифы, открыв рот, как океанское чудище, по недоразумению выбравшееся на землю; она убивала мои груши. Поздно, Луиджи, обвязывать их пестрыми ленточками от дурного глаза.

Но цветут вишни в саду у дяди Вани

Нет, сад не пустили под дачи, уже и вишни созрели в саду у дяди Вани. И как это Индира не пронюхала про этот сад? А где же дядя Ваня? Надо ведь срочно собрать вишни. А он в колхозной бане, в уголке сада (колхоз у него оттяпал кусочек и построил баню, а завбаней работает тетя Груня), вот дядя Ваня пошел проведать тетю Груню в эту самую баню, тем временем в саду пацаны обносят дядь-ванину вишню. Он не может бросить бедную тетю Груню – одинокую, бесприютную, а рожи у пацанов наглые, в вишневом соке, они догадываются, что творится в колхозной бане. У дяди Вани раздвоение личности: он вроде мичуринцев, но с гурманистическим уклоном.

Все идет к гурманизации, Луиджи!

Гуманоиды летают в небе на тарелочках. Гурманоиды доберутся и до гуманоидов. Гуманоиды пропадут, потому что у них нет четко выработанной программы-минимум и программы-максимум. У каждого своя тарелочка.

Тут что-то не так!

И если у тебя остались хоть крохи классового... мы тут гнемся, приближаем, выносим на себе, в надежде на плотно сомкнувшись, еще теснее объединившись, клеймим, понимаешь, в поте лица, а в это





самое время находятся пока отдельные и летают себе; спросить с них! Какого, мол, летаете? Какова, мол, цель? Имеем ведь право, как будующие ветераны; или вечно нам спотыкаться о клинья, вбитые теми, кому это выгодно? Здесь надо определиться и внести ясность; есть над чем подумать не спеша, но и не застаиваясь. Шаг вперед, два назад, три в бок и четыре в уме, тарелки ведь – они круглые, надо исходить из реальности – это не ипподром какой-нибудь и лихими атаками да с аллюрной головой надо же видеть перспективу, а не чернить – народ ведь не поймет, потому и писать будет многочисленно, а «без почты нет социализма», – а то дойдет до того, что по-простому, по-рабочему – ведь сейчас уже никого не надо убеждать, что электрификация плюс все для людей, все для трудящихся и для прослойки, которая как бы между и уже овшивела и гниет, – это же надо понимать!!!

Понимать, что судьбоносное время собирать камни. Я думаю, Луиджи, неплохо из этих камней построить хоть одну мечеть, излишки камней продать, а вырученные деньги передать ученым, чтобы перевели Коран на мой родной язык, и мы бы не только слушали божескую речь, но и понимали бы суть услышанного, – все же хочется знать, о чем там говорится; говорят, что там написано, что никого нельзя убивать. Знай об этом Индира и те, кто знали об этом, то, возможно, золовка и сейчас жила бы. Лицо у золовки княжеское. Красивая была, но ее убили.

А как же брат?

Он ничего не знал – он пас баранов. Никто ничего не знал – все пасли баранов! Почему же брат должен что-то знать?

Говорят, в других домах тоже убивают

Милиция с ног сбилась – не находят ни ножа, ни ручки, ни поси-невшей веревки. Тишина. Убивают в тишине и тихо. Организована центральная собирательная комиссия по выявлению вещдоков. Выброшен лозунг: от каждого дома – по одному общественному милиционеру, с оплатой путем конвергенции межрегионального хозрасчета. Я думаю, мы на верном пути, так что к твоему приезду будут выявлены, очищены и привлечены, и тут же грянет весна.

Говорит Папа Римский

Оказывается, Папа не только говорит, но и пишет. Папа символист, как и все попы.





Приход – это не сумма тех, кто приходит, –

это дом, желательно широкий и высокий, а иначе ведь некуда и приходиться, неважно, откуда ты идешь, может, от поля чистого, это твое личное дело, но, как и во всяком деле, и тут находятся некоторые, считающие, что вера есть обращение каждого к Богу и Бога к каждому. Лучше, конечно, хором, справедливо полагая, что до Бога высоко, да под музыку, да восстанавливая храмы, и неважно, откуда ты пришел, где ты живешь и живешь ли. Среди отдельной части всегда много путаников, не так ли, Луиджи? Эти путаники считают, что Слово было вначале, но не между – между Богом и человеком. Но это отдельные, прости Боже, вшивые и загнивающие. Главное – ячейка, она же – семья, говорит Энгельс. Папа прямо, по-простому, говорит – главное семья. Я же скажу тебе, Луиджи, что лучшие семьянины – колорадские жуки. Жук лежит на картофельном листочке, греется на солнышке, рядом жучиха, – все на месте: и корм, и солнце, и жена, и дети. Лежат жучки на солнышке, ленятся и живут. Леня породила мысль, идею; идея – работу; работа сделала нас людьми; став людьми, мы дружно осудили лень. Крут нельзя разорвать, а разорвешь – это будет другая геометрическая фигура.

Неужели, Луиджи, ничего нельзя?

Нельзя дважды войти в речку, но в нее нельзя войти и один раз: войдешь одной ногой, пока сунешь вторую, выясняется, что вторая совсем в другой реке; неужели даже в реку не войти? Можно, Луиджи, можно, и – это выход: можно прыгнуть туда, а это меняет дело. Значит, можно жить, можно войти генералу в парламент... Можно! Но выясняется, что выйти ему трудно, почти невозможно; есть, оказывается, безвыходные положения. Безвыходные положения – это когда войти можно, а выйти нельзя.

У старика безвыходное положение (не у того, чью сестру убила Индира, у другого; я путаюсь и путаю других, не называя имен).

Нет, Луиджи, я просто хочу внести ясность

Луиджи, Джузеппе, Иван, Ахмат – больно абстрактно. Для ясности: есть молодые и есть старики – вот это реальность, потому я и говорю «другой старик».

Еще вчера он был умным,

во всяком случае, нормальным, нет, нормальным – это уже чересчур. Мы ложились, когда нормальных стало гораздо меньше, чем гениальных –





сейчас в каждом доме несколько, а то, на худой конец, хотя бы один гений. Так что назову его гением, чтоб не переоценить старика.

Еще вчера он был гением,

а сегодня все в нашей коллективной деревне назвали его придурком. Жить бы старику и быть простым рядовым гением, да вздумалось ему скосить траву на своем лужке. Косил он долго – потел и косил, косил и потел. Старик был любопытен – старики все любопытны! – все им хочется узнать: а что с ними будет после старости? Старики живут будущим, молодые же живут просто так: прошлого у них еще нет, а будущее далеко и неинтересно. Старик думал, сидя в высокой траве, то там, то тут посвистывали суслики. Интересно, Луиджи, почему свистят суслики? Предупреждают друг друга, что люди непредсказуемы, могут и в нору залезть или они просто дразнят старика? Не нравятся мне суслики – зверьки двусмысленные. Ничего, скоро придут крысоловы и сусликодавы – и с сусликами будет покончено. У крысоловов и сусликодавов множество капканов и у них еще ясные головы; хлопок крысоловки – наивысший момент ясности, прямо, по-простому, хлоп! И всем носителям ясности все понятно.

Луг очищается от сусликов специально, –

видно, ждут адмирала. Не может же привыкший к орудийному грохоту, не одну сотню раз нас защищавший, стоять среди суслячего посвиста. Это было бы неуважением – сразу стали бы искать, кто ущемил престиж самых лучших, и, конечно же, кому это выгодно.

Старик думал о будущем, шаря глазами по ближним и дальним пригоркам, и глаза его наткнулись на что-то желтое и блестящее. Старик, кряхтя, одолел несколько метров – рядом с сусличьей норкой лежал громадный золотой слиток. Радости не было, старик знал: если есть тот, кто нашел, найдется и тот, кто отнимет; первыми на него ринутся сыновья, живущие в городе, – появятся, как два истощенных, безголосых шакала, станут рвать друг у друга слиток, рвать вместе с руками и головой. Потом на луг придут и молодые, и старые, и совсем маленькие, они станут рыть луг, словно секачи, лишенные брачных забав, будут рыть три месяца весной, три месяца летом, три месяца осенью и всю оставшуюся зиму.

Они станут зимогорами

Этого нельзя было допустить, Луиджи, одно из двух: или зимогоры не видели адмирала на лугу, или им наплевать на судьбу ближнего. Ста-





рик видел адмирала, он был понятливый, он сразу смекнул: ага, значит, пересохли моря и океаны, корабли потрескались на солнце и развалились, и прибрежные люди растащили их на дрова, а где стоять адмиралу, если нет ни моря, ни корабля? Старик решил для себя – сделаю хоть лодку и ступит в нее адмирал в белом кителе, весь в орденах, в саблях, и поплывет лодка вниз по зеленой реке в поисках моря и корабля и будет радоваться старик, как радовался утке фиолетовой и зеленой, посыпанной будто пудрой золотой, занесенной сюда Бог весть как из Африки, безучастно сложившей крылья, верящей солнцу и реке, которая обязательно приведет ее к родным берегам.

Старик усвоил главный закон жизни, закон сальто-мортале. Посадишь косточку – вырастет дерево, посадишь зерно – испечешь хлеб, накормишь корову – напьешься молока... Но было одно исключение из этого правила, исключение, грозящее опрокинуть и закон, и все остальное. Посеешь ветерок – родишь ветер, посеешь ветер – пожнешь бурю, буря родит пургу, пурга – смерч, смерч – шторм, а шторм – цунами... А что если посадишь цунами? – на этом месте старик оборвал себя, будто просыпался почти осознанно среди кошмарного сна и пел детскую песенку:

Вышел ножик из тумана,
Вынул немца из кармана,
Буду резать, буду бить,
С кем останешься дружить?

Жаль, что старик был неграмотным, а иначе он мог написать в комиссию по океанам, а те переслали бы письмо в подкомитет моря и от них уже старик смог бы узнать, что делает адмирал на лугу.

Старик бросился спасать луг. Для того чтобы спасти луг, ему надо избавиться от золота. Зачем же избавляться? – золото можно сдать и получить аж четвертую часть от стоимости всего золота. Сдать некому, Луиджи, у нас нет власти. Так не бывает? Вернее, власть есть, но она далеко, и старик по старости и общей своей слабости до нее не доберется. Власть перешла к Советам, а Советы состоят из депутатов. Депутатов выбирают по округам, округа оказались среди другого народа, тот народ и выбрал своих депутатов, а мы остались без власти. Среди безвластного народа опять оказались отдельные, которые взбаламутили остальной народ, говоря, – если уж так необходимы округа, то пусть они будут и среди нашего народа, мы не можем без власти, давайте, говорят, будем чернить; села и деревни выдвинули делегатов разузнать и





разыскать эти округа, через которые красной нитью, – и стали чернить, и их стали чернить. Старик тоже был среди чернителей. А отдельные ходили по дорогам и все искали округа. И на каком-то базаре нашли продавца семечек, и он им сказал: «Пойдете прямо через избирательные, увидите красной нитью и на конце нити той увидите округа, – и, сметая желтым пальцем с губ семечковую шелуху, закончил, – одного из вас выберут, но избранный позабудет дорогу назад, к народу своему».

На власть не было надежды

Старик сам решил избавиться от золота. А вдруг найдут? Но золото не имеет запаха, а если и пахнет, то разве они собаки? Собакам лишь бы лаять, а ветру лишь бы носить.

Старик кинул слиток в расщелину ближайшей скалы и опасливо покосился на дорогу. На дороге никого не было. Дорога измеряется километрами. Это неправда, Луиджи, дорога измеряется плевками, в каждом метре бывает по несколько плевков. Дорога эта ведет вверх и вниз.

Кот зажмурился и мурлычет

Назову его жмуриком. Но жмурики не мурлычат... Со словом надо поосторожней, добиваться единства формы и содержания. Если жмурик, значит, не мурлычет, если мурлычет, значит, не жмурик.

Старик спас луг, –

значит, будет где стоять адмиралу. Старик из «зеленых», или все же он экстремист, ведь он тоже чернил, или он за тех лучших, на которых хотят бросить тень худшие? А может, старик из тех, кто «весело расстается со своим прошлым»? Но для того, чтобы весело или не очень весело расставаться с прошлым, надо вообразить себе настоящее и будущее – если уж не жить, то хотя бы вообразить. Старик лишен был воображения со всеми вытекающими отсюда. Старик не умел читать. Я ему расскажу, Луиджи, что не все человечество весело расстается со своим прошлым, есть у нас еще отдельные, вообразившие, что не входят в это самое человечество и что человечество им не указ; они вообще никак не хотят расставаться – ни весело, ни со слезами, даже если здравомыслящие, демократические с честью и совестью, с эпохой в ногу и с мирозданием за руку. Нет, говорят отдельные, не хотим рушить завоевания развитого общества подпольных миллионеров, повсюду создают прошлогодние комитеты, прошкомы, ударим, говорят – но бить нечем: поспешили – мечи перековали на орала, сошки сожгли в буржуйках и





просто в печах, и даже те семеро, что с ложками, и им, бедолагам, приходится хлебать через край; бить надо, но нечем. Старик, человек конченный, еще вчера он был просто гением, сейчас ему говорят: «С добрым утром...» Уже ночь на дворе, а все ему: «С добрым утром...»

Индира скучает,

потому что у старика нет больше сестер.

Милиции дали новую технику

Лучше бы ей дали хоть какие-нибудь улики. И еще им дают Закон. Впервые за всю межисторию! Все эти годы они были вне закона, как выяснилось, в законе были только воры.

Я хочу позвонить в Рим,

чтобы узнать, что вы там себе думаете. Нет, сначала я позвоню в ближайший городишко, что они там думают и что нам думать, наконец... Я не могу никуда позвонить, потому что телефонист пришел на работу. Он ходит по своей маленькой комнатке, уставленной гудящими ящиками, закрывает глаза, будто Богу молится, и сует в автомат отвертку – наверное, надеется наладить связь с Божьей помощью. Потом он, усталый, уходит домой, наконец я могу позвонить. Нет, я не могу столько ждать, я сам поеду в этот городишко и найду, наконец, компетентного человека, который мне объяснит, что такое обратная связь и почему она постоянно не работает.

На главной улице стоял милиционер с палкой

указывал, куда кому ехать. Значит, сидящие в машинах не знают, куда им ехать, значит, они некомпетентные, а милиционер с палкой компетентный? Милиционер говорит, что он некомпетентный, посоветовал позвонить в казармы, быть может, там что-то знают.

Дневальный сказал, что он не в курсе, мы, говорит, сажали яблони в одной бывшей дикой, а теперь интернациональной стране, но я не интересуюсь ботаникой. Это не ботаника, говорит, а аномальное явление, сажали яблони в интернациональной стране, а яблоки выросли на площади Свободы. Яблоки эти нельзя было есть, но из них получается хорошее вино – люди только в песнях поют «лоза, лоза», а вино делают из этих яблок; а напившись того вина, швыряют друг в друга баллончики с надписью «Черемуха». От черемухи той плохо себя чувствуешь и постоянно тянет вбить клин или, на худой конец, очернить, или найти хоть какую-нибудь мельницу и, жменями черпая воду из Арала, лить ее на эту мельницу.





Дневальный сказал, что в казармах говорят по-пруски. Все говорят по-пруски – никто ничего понять не может, но все говорят по-пруски. Из-за того, что никто ничего понять не может, возникают мелкие стычки на языковой основе, приводящие к жертвам.

Генерал на чистейшем прусском языке пишет родным убитого: ваш сын смертью храброго, защищая от некоторых и распада. Родители читают – понять ничего не могут. Бегают, летают – все ищут компетентных, чтобы им перевели, что же написано на бумажке и что, что же случилось с их сыном. Им тогда отвечают: «Ввиду того, что прусский язык исчез вместе со своими носителями, то ничем помочь не можем». «Без почты нет социализма», – хлынул поток писем в «Клуб путешественников», будто в «Клубе» есть компетентные. Компетентные люди нужны везде. Некомпетентные просят показать страну Пруссию и провести уроки прусского, чтобы хоть как-то понять, кто кого защищал и кто такие отдельные и некоторые. Ответы были короткие: с 20-х по 90-е годы архивы не сохранились.

Появились деды, которые не хотели быть уставными. Вместо того, чтобы уважать старость, появились желтые газеты и журналы, которые хотели выкорчевать.

Наука в панике. Ботаника в отчаянии.

Философия в трансе

На площадях вырастают яблоки без всяких деревьев; приходят дворники с саперными лопатками – надо же очистить площадь; нанюхавшись гнилых яблок, некоторые отдельные, числом в несколько десятков тысяч, отобрали у дворников лопатки и стали бить себя ими по голове, спине и другим частям тела. Словом, устроили шахсей-вахсей. Дворники пожаловались Верховным Компетентным. Компетентные, дабы неповадно было бросать тень на самых лучших среди самых санитарных, решили яблоки считать недействительными и, чтобы народ не понял как-нибудь иначе, объединившись со всеми гуманными и политическими силами во имя неохватной дружбы и тотальной любви, – заклеить!

А как же иначе, Луиджи, ведь всем нам жить скоро в общем доме. Сосед у меня чужак, решил дом построить, а зачем его строить, если будет общий дом, да еще в Европе? А иначе нам туда не попасть, так что, Луиджи, мы будем с тобой жить в общем доме. Как туда пройти? Очень просто: минуя все стадии капитализма и обогнув период народной демократии по столбовой Дороге закона. Ты говоришь, у нас





«тропинка закона»? Так переименуем: решением январского пленума Анархо-Монархистских Конституционалистов отныне тропинку считать Дорогой закона. Опять что-то не так? Все народы Европы должны путем референдума, одобренную 2/3 Европарламента с 5-летним испытательным сроком... если произойдут какие-то нелады с референдумом или 2/3, или Европарламентом, то через десять лет можно будет поставить вопрос вновь; а если и через десять не склеится, то – через двадцать.

Есть надежда на Албанию: она наложит вето, высветит двурушнические. Что? И Албанию потеряем к тому времени?! Луиджи, а не напутал ли ты чего? Может, Папа Римский что сказал? Папа говорит на восьми языках; говорит о вопиющем сплачивании рядов отдельных стран ведомых. Теперь-то понятно: четко проступают лики тех, кто дует на голландские мельницы; теперь понятно, куда запропастился ветер, который должен был дуть, а вместо него некие самозванцы, рвущиеся, наполненные личными амбициями, а если кто наполнен, ему ничего не остается, как дуть.

Европа не хочет целоваться на морозе

Это удел отдельных исторических личностей. Не ведали, что творили – тогда не было групп риска, тогда и просто групп не было, не было и СПИДа. СПИД – болезнь нравственная, ею вполне может заболеть любой колхозник, даже земледелец. Надо предупредить Индиру.

Надо предупредить всех!!!

Надо предупредить дядю Ваню и тетю Груню. Я не могу разыскать Кузьму с его матерью. Нет и Макара с телятами. Если люди скрываются, значит, они что-то замышляют. Пропали люди, хотя с высоких трибун нам обещали показать и Кузьму, и его мать, и с каждым годом мы будем видеть их яснее и яснее. Есть надежда на Албанию, и не только на нее: есть страна всех утренних прохлад и островов свободных грез, этакий надежный треугольник будущих устремлений, социальных и даже, не побоюсь этого слова, гуманитарных построений во славу всех, во благо каждого и в углу человека. Если еще заключить договор о дружбе и взаимной интернациональной с Бермудским треугольником, то кто их осилит, Луиджи? Американские Ф-15, Ф-16? Звездные войны? Быть может, американцы и сокрушат в конце концов эти самые звезды, но им никогда не сокрушить



*несокрушимое –*

решимость в народе интегрированных треугольников отстоять завоевания революции, которая во главе угла и посередине двух квадратов. Что американские самолеты? – весь революционный сахар – в патоку! Пяточные ловушки, в виде рыболовных или волейбольных сетей, – в небо! Самолеты и снаряды прилипают к сетям, а внизу общереволюционный восторг, общенародная пляска! Вива, ламбада! Команданте и виктория с Сатурном! Сначала все, потом уже хлеб. Странно, находятся еще те, кому это непонятно. Пусть изучают диалектику, ведь жить как-то надо или я чего-то не понимаю. Не изучив процессы, можно запутаться в долгах, а то должен я многим, Луиджи: тем, кто родил, потом воспитал, но, правда, не в духе, выучил, дал профессию... всех и не перечислишь; не зная диалектики, как узнать, кому платить, с кого начать? А некоторые прибегают к не совсем научным, я бы по-простому сказал, народным рецептам: кому должен – всем прощаю, отсюда полшага до Боже, спаси меня от друзей, а от врагов я и сам спасусь. Но так ведь ничего не построишь, а строить надо, иначе нас не так поймут, и на пороге уже 2001-й, перспективно-переломный, да не побоюсь этого слова – судьбоносный год, новая чистоплюйная эпоха, сменившая камнесборный период развитого чертополошья. Ведь надо же как-то возрождать крестьянство, ведомое и направляемое, исходя, конечно, из решений, но самый сознательный класс среди самых несознательных никуда идти не желает, хотя и пишет письма, которые и свидетельствуют, что живы еще здоровые элементы и их носители, я бы даже сказал, гнездо социализма – почта, значит, появятся колготки и женщины будут звонко кричать, несмотря на то, что еще не весна, несмотря на декабрь: я женщина, я мать, в конце концов, и гражданка, не побоюсь этого слова. Улетели грачи и прилетать не думают, но природа не терпит пустоты, – кому-то ведь надо кричать; да хоть депутатам всех созывов и нашим лучшим половинам из худших. Чтобы хоть какой-то из ста новорожденных и выживших и чуть подросших, съевших не одну пачку маргарина и думающих, что это масло, маленький путаник, заслышав крики, улыбнувшись блаженно, выговорил бы: «Весна. Грачи прилетели».

Находятся некоторые, которые ратуют, при полном попустительстве других некоторых, за расформирование колхозов. В стране усилились шатания и крены – кого вправо, кого влево, и в этой ситуации, я бы прямо сказал, Луиджи, «некоторые вынуждены взвалить на себя все мыслимые и немыслимые государственные посты, в которых, конечно,





есть разумное зерно», и, «усилив многообразие плюрализмов мнений», опираясь еще сильнее на рабочий класс, колхозное крестьянство и на тех, кто еще вконец не овшивел; но те, на кого сильно опираются, тех почему-то шатает, здесь бы потеснее сплотиться во-круг тех, кто сильнее опирается, а эти вздумали шататься. Ясно, в этой ситуации народ не поймет, а избиратели не простят. Написал я письмо в Высший совет пролетарской инициативы и гнева: кто, говорю, занимается тем, что рушит сплоченные вокруг ряды на застройщиков и перестройщиков. Те, кому это выгодно, – отвечают. Хорошо городским, вокруг которых: опирайся себе на пролетариат и городское крестьянство, проживающее около базара, – вот тебе базис, вот тебе надстройка, Маркс и Энгельс, и полные тома.

Председателю колхоза хуже,

я бы даже сказал, что неизмеримо. На крестьянство еще можно опереться, оно еще дружно и тесно спланивается вокруг магазина, когда неожиданно, будто вражьи листовки с неба синего, туда чего-нибудь подбросят, но председатель не успевает опереться, те, кто кутил, опорожняют купленное и начинают шататься.

Председатель решил возродить пролетариат и усилить его роль в деревне, для чего и построил цех по выпуску антиинфляционных условных банок в год. На открытии цеха он сказал: «Наши цели ясны, задачи определены, за работу, товарищи», и только вперед по прямой с выходом на столбовую и никаких поворотов, тем более крутых, это несмотря на призывы тех вместе с коленом якобы, а на самом деле замахиваются на историю, с теми, применяя плюрализм, надо все же решительно, вначале отмежевавшись.

Я думаю, тут двух мнений быть не может, как сказал один старый революционер: «Мои идеи те же, несмотря на то, что мой организм подорван нехваткой витаминов и очи замутились от изобилия врагов». Шахтеры разгоняют демонстрантов, но полиция не может и не хочет добывать уголь. Макаренко с нами: один за всех, все за одного, не хочешь – научим, не можешь – заставим. Крепкие пошли ребята – в воде не горят, в огне не тонут. Не ворчи, Луиджи, ничего, что это племя молодое и тебе незнакомое, ты должен радоваться и молить Бога, чтобы ваши платонические отношения тянулись как можно дольше. Как сказал самый великий из всех кормчих: «Смерть одного – трагедия, смерть многих – статистика». Не могу понять, Луиджи, участвую ли я всегo-навсего в трагедии или полыхаю уже среди истории? Наверное, это





всего-навсего трагедия, ведь я могу написать тебе, как во дворе моем растет береза; слава Богу, ведь еще живы люди, которые знают, что такое береза и даже видели ее. Если мы станем очень старенькими и я вздумаю написать тебе о березе, то меня заберут компетентные и будут пытаться: какое секретное оружие имел я в виду под дурацким словом «береза»? Ясно, – сверхсекретную бомбу величиной с пшеничное зернышко, синтез солнца и СПИДа, способную уничтожить все наши видимые вооруженным глазом и знаемые понаслышке планеты, объявят, что я агент резидента Есенина, и я не смогу отвертеться; они не знают, не видели и, что самое печальное, не помнят, что такое береза. Может, в учебниках останется упоминание о березах и я сошлюсь на эти книжки, и организм мой вырвется к витаминам?

Учительница вошла в класс, чтобы выявить худшего среди плохих. Человек должен быть компетентным с первых шагов вокруг люльки, – это поможет усовершенствовать всю компетенцию в школе, и суперусовершенствовать свою компетентность в институте совершенствования межкомпетентных отношений, а иначе, если каждый вдруг вообразит, что он хороший среди прекрасных, то на кого опереться? – каждый начнет сам по себе шататься и шарахаться, а кто присмотрит за колесом и мутной водой, за историю и говорить нечего.

В мутной воде лучше ловится рыба, попадаются и грузинские пещари, мясо переводится на шашлык, и это в то время, когда наиболее прогрессивные заняты тем, что из последних сил поддерживают человека во благо, чтобы не шатался и было бы на кого опереться; в это самое время находятся те, кому это на руку: поедая рыбу, несмотря на сионизм и не решена главная задача – передать земной шар детям, это в то время, когда не определена степень вшивости того или иного члена прослойки и точно неизвестно, кого обозвать интеллигентом, а кого интеллектуалом, потому что они все за народ и тоже во благо, да и у народа, должен я прямо сказать, нет того чутья: раньше он активно выявлял своих радетелей и пачками сдавал, иное сейчас.

Народ рад бы подсобить, выявить, делегировать и, я бы даже сказал, окунуть народников в самую гущу компетентных, благо, у компетентных расширилась социальная база, но уменьшилось социально-защитных подсобок, ввиду многочисленности подсобок, ввиду делегатов, прибывающих со всех фронтов, как народных, так и интернациональных, независимых, но в составе; и никому не удастся опорочить, хотя это архиварноважно.



*С кворумом нет проблем*

Я не знаю, как там у вас, Луиджи, но у нас все будет в порядке, пока есть в стране здравомыслящие десантники, а они нужны хотя бы для того, чтобы напоминать некоторым, что есть небо и не все еще поют по хуторам «я дом продам – куплю калитку»; я, как житель планоно цветущего Нечерноземья, к тому же самый здравомыслящий, от лица народов Приянтарья призываю всех честных людей к решительной борьбе с «лесными братьями», замаскировавшимися под партию «зеленых». Если бы была дорога, если бы я мог вытащить как-то ноги из грязи, да я бы пешком лично пришел бы на подмогу братьям-приянтарцам, тем более, кое-какой опыт имею – бивал в свое время «зеленых» на Украине, дело знакомое. Вначале неплохо бы консолидироваться здравомыслящим с честными и прямопутьцами, чтобы решительно по по-ползновениям.

На какой я стою платформе?

Я на платформе любви и безнадёжья, с этой платформы никуда не уедешь, – можно только загреметь. А вообще, на платформе стоять опасно, когда у истории нет ветерков, была бы голова – плаха найдется: время безымянных прошло, никто не будет забыт, и ничто не предано забвению, с фамилиями и телефонами.

У моих соседей нет телефонов, а за фамилию лучше не цепляться – запутаешься сам и запутаешь компетентных: в каждом доме есть человек с этой фамилией, да и сам я из этого рода, несмотря на то, что бывал несколько раз в городе, видел настоящую ванну и газовую плиту.

Соседи у меня крохоборы и жмоты; я зажимаю себе рот, ибо из меня так и прет непечатность вперемешку с нецензурными выражениями. Умер глава семьи. Что в этом случае должен делать

нормальный мусульманин?

Резать баранов и варить шурпу, поить той шурпой других. Вместо этого они превратили свой дом в чайхану – варили грузинский чай повышенных сортов и критики. Конечно, кое-кто любит чай, – они и пришли; пришли бы и другие, которые предпочитают шурпу, но все дело испортила одна очень конопатая и очень в годах мусульманка — она шла по главной улице и кричала: «Люди, не ходите к ним, они ничего не зарезали и ничего не сварили. Я пойду по верхней и нижней улице», – и она пошла по всем нашим улочкам, а каково ей, ведь она





очень старенькая; и многие ей сочувствовали. В нормальный день она не осилила бы столь длинный путь, но гнев молодит, а праведный – вечное девичество, со всеми вытекающими отсюда.

Хорошо, когда есть человек, который выводит на чистую воду, иначе в мутной разве разглядишь? Да хоть бы самую захудалую платформу, как с программой-максимум, так и с программой-минимум, с генеральной линией, благо красную путеводную нить видно, как бы там ни мутили воду, ведь должна же у человека быть хотя бы цель и выбор трудного пути, ибо легкие заняли чуждые нам, в массовом порядке, а иначе человек сползет со своей позиции – сойти потому что нет возможности; взобрался хоть не туда, но высоко, должна же быть у человека альтернатива между прыгнуть и расшибиться, вот и вынужден он сползать, а иначе не поймут, да, пожалуй, и осудят, – правы будут; да, человек уже сполз, человек был не один, их оказалось очень много, и сползание проходило поэтому медленно хорошо, красная нить под рукой была, по ней и ориентировались: прямо и вниз, а раньше красная нить указывала вперед и вверх, но красная нить тем и хороша, что ее можно развернуть куда угодно, тем, кому это выгодно, невзирая на лица. В конце концов, не человек для субботы, а суббота для человека.

Но и тут не все так просто

Одни, те, что выбрали и расхватили все легкие дороги, считают, что суббота для человека, а те, кто выбирает трудный путь с поездкой за туманом, когда кричат даже рельсы (железо, наверное, некачественное), те считают, что человек для субботы. В жизни каждого человека, который оглянулся на прожитые без мучительной боли, наступает момент, когда надо определиться, с кем ты. Я уже не говорю о мастерах культуры: «Когда буржуазный художник говорит: я партийный – это стыдно, когда пролетарский говорит то же самое, то это звучит гордо».

Не позавидуешь редакторам, им хоть заканчивай Всесоюзный компетентный институт, – а иначе не разобраться. Спрашивает он у иных авторов, где работает или работал ваш герой, где жил, наконец, у вас же сплошная Невада? Следуют жалкие потуги, рядящиеся под объяснения, – мой герой пенсионер. Эта неопределенность и проникает в самые глубины и толщи масс, которые уже не знают, что им варить – то ли шурпу, то ли чай. Я, конечно, против чая – он тонизирует, несмотря на свою отечественность, появляется чрезмерная радость, которой противоречит покойник. Но я и против шурпы: после нее тянет почитать, но рядом почивший, а это несколько отбивает охоту. Нужны альтернативные решения.



*Без кумгана нет мусульманина*

Некоторые говорят, что есть мусульмане, но откуда им взяться, когда нет кумганов? Считать мусульманами тех, кто разгуливает с бутылками из-под пепси-колы, было бы чересчур легкомысленно и я бы, так сказать, не побоялся этого слова, преждевременно. Мусульманин должен быть чистым, а как им стать, если нет кумгана, – вся надежда на конверсию, опираясь на конвергенцию, невзирая на лица, не содрогаясь от изобилия высоких должностей и краснеющей черты уровня бедности, ватерлинии нищеты, обросшей ракушками благополучия.

*Астрология на службе
у коммунального хозяйства*

Не зная расположения планет, не суй голову в парикмахерскую, а тем более под фен, компьютеры вытесняют бабушек и попугаев с гадалками. Чтобы что-то решить, надо «поднять проблемы», но они так высоко подняты, что до них тщетно пытаются дотянуться «разъяренные рабочие и покупатели». Выход один: агропромышленный комплекс должен выйти на рыночные отношения. Я думаю, Луиджи, я просто уверен, хотя некоторые и ратуют за партию парламентского типа, что фракции не смогут защитить, а главное, объяснить трудящимся их же интересы, без авангардного типа партий никто и не узнает своего интереса; пусть все партии будут авангардными! Я за плюрализм авангардизма, в том числе на предприятиях, армии, флоте и геологоразведке. В то время, когда весь мир интегрируется, трудящиеся, вместо того, чтобы по-простому и прямо есть рябчиков и заку-сывать ананасами, не могут сделать этого, ибо не могут закрыть рот, так как слушают авангардных. Когда же те объяснят им про интерес? А в это время другие «пускают русский лес на секс и никакого внимания провинциальным писателям» и, несмотря на аморальность, хорошо питаются, путешествуют, убеждаясь, как мала наша планета и как надо ее беречь, несмотря на засилье жидомассонов и обилие детей.

Маша мыла раму

Мама и годовалый Митя с трехлетней Светой угнали помытую Машей трофейную раму в Турцию. Мечта почти столетней давности наконец-то сбылась: каждая кухарка может управлять, но нечем. Низы хотят и будут жить по-старому, верхи – одни хотят, другие тоже хотели бы, но негде сесть. Наконец-то большая политика скатилась к самым низам. В селе, чтобы никому не было обидно, всех выбрали в парламент;





трое воздержались – они кооператоры, на что рассчитывают, непонятно. Правда, у поселкового парламента большие материальные проблемы – нет помещений, а значит, негде пристроить картину В. И. Глазурного «Свет в конце тоннеля» с подзаголовком «от Боярской через Булыгинскую думу к I съезду народных депутатов». Никто не забыт – все бояре и думцы нарисованы в полный рост вместе со своей челядью и народные депутаты, все свое носящие с собой. Размер картины 1,5х2 км.

*Хочу съесть бутерброд,
хлеб есть, а масла, как выясняется, нет. В голову лезут всякие мысли.
Или масло, или мысли*

Когда надоедают мысли, иду в магазин за маслом. Масло только для ветеранов, – они нас не только защищали, они нас кормят; продавщица моя знакомая. Если б не было ветеранов, не было бы и масла, я меняюсь: даю продавщице порнографический журнал, а она мне масло. Если я ем масло, а кто-то не ест его, то вскоре наступает момент, называемый «не могу молчать». Я делюсь с другими маслом, те, наевшись, окрепнув, скуки ради плюют в мой колодец и тогда приходят сразу два состояния: не могу говорить и не могу писать.

Трудно найти золото, избавиться от него еще труднее. Деревушка, в лице ее обитателей, хлынула в гости к старику. «Как живешь, дедушка? – говорили. – А может, чего тебе надо? Так ты скажи». Но старик молчал. В гостях хорошо, но родная земля зовет, неудержимо манит, и люди пошли на луг и стали прогуливаться, сыновним и дочерним, отцовским и материнским взглядом внимательно изучая каждый камешек; они наконец-то осознали и проснулись, выиграло в них самосознание: земля требует всего человека, и припадали люди на все четыре кости, и никакая сила не могла отодрать их от земли.

Люди бросали свои дома

Появился продавец палаток. Палатки яркие, с красивыми иностранными надписями. Прошедшие многогодичные курсы прусского легко читали по-иностранному: «Для пострадавших от землетрясения в Армении». Красивые иностранные слова породили не менее красивые наши, и запорхали в голубом воздухе разноцветные слова-бабочки: «совершенно изумительно», «абсолютно прелестно», «нерассказуемо своеобразно»... Слова порождали, выращивали, можно сказать, смельчаков: «...я не побоюсь этого слова, так сказать», – и все верили: этот не побоится.



*Шакалы появляются ночью,*

к близким родственникам они могут прийти и днем. Сыновья не отходили от старика ни днем, ни ночью. Черная кошка отгоняет всякую нечисть. Два сына, как два почерневших громоотвода, прошедшие гражданские и общечеловеческие войны, дети асфальта и внуки бетона, раненные в лоб, а на месте раны той проросли горящие фосфорные буквы: бытие разрушает, – приглядывались к чужому человеку по имени отец и чего-то от него хотели. Старик ничего не должен своим детям, он отдал им самое дорогое, что может быть у человека, – шар земной. Шар земной был поделен на фронты. Фронты были народные и состояли из народа. Не участвовали в войне только те, кто вышел из народа и выбился в люди. Они называли себя – военно-патриотические пацифисты.

Индира не любит телевизор

Она не любит все, что нельзя убить. Старик любил телевизор больше своей деревушки. Ни дня без мира, говорили ему с экрана борющиеся, и он верил – есть все-таки где-то этот мир. Ни крохи чужого, но и ни пяди своей – ведь есть же люди, – благотворно думал старик, – не везде, видно, темень наша деревенская. Но в то же самое время, когда одни борются за мир, другие рушат дружбу.

*Перевести общество СССР–Италия
на хозрасчет, –*

явно, Луиджи, кто-то хочет столкнуть борцов за мир с любителями дружбы. Скупой платит дважды, – о какой дружбе между людьми может идти речь, если не будет дружбы между народами? Тогда и собирать камни будет некому, время придет, – собирать некому. Возможно, это происки партии объединенных дачников? Зачем им где-то и с кем-то дружить, когда есть своя крыша над собственной головой? Им плевать, что реакционные и не совсем здоровые крутят колесо истории вспять.

А что, если они вообще остановят колесо?

Ведь если не есть, не спать, а все думать, как бы повернуть или остановить...

Колесо истории под контроль ООН!

Мы хотим мирно спать и сладко есть! Каждый народ должен сам решить, в какую сторону крутиться колесу! Объединившись и скинувшись, установить компьютер для контроля за колесом! Для полного и





всеобщего благосостояния – каждому дому в трехтысячном году по домашнему компьютеру, чтобы рядовой, а я бы больше сказал, даже простой, собственными глазами видел бы, куда крутится колесо, независимо от того, кому это выгодно, и каждый чтоб увидел тех, кто не спит, не ест, кто вцепился в колесо, посинел уж, а вспять!..

Надо возвысить наш голос, Луиджи, там терять нечего, – у меня нет цепи даже для собаки. Не говори, Луиджи, что у тебя есть цепь, хотя Италия – страна контрастов. А как мы объединимся, если у тебя цепь есть, а у меня нету?

Тут есть над чем подумать!

Проблема не так проста, как некоторым может показаться. Думаю, решать ее на слух было бы опрометчиво, – есть работа для подкомитетов по всеобъединяющимся лозунгам, комиссиям по инако- и вообще мыслящим, а Супер-бюро обобщило бы и вынесло на всемирное обсуждение и 2/3 голосов при наличии кворума с консенсусом. Только в борьбе рождаются те, кто достоин жизни и свободы! Да и за водой надо присматривать: есть еще люди – увидят воду и давай мутить, мутят не просто так, а чтобы выловить в ней всю рыбу.

*Общество речников и рыболовов
решительно протестует*

Вода – это не цель какая-нибудь, это достояние. Общество тигролов не менее решительно встало на защиту волков. Собаки, почуяв, что все можно, изодрали на волках овечьи шкуры.

Надо, Луиджи, как-то прислушаться и беречь.

Люди на лугу, что среди скал высоких, решили в будущем устроить здесь высокую набережную, а пока разойтись по домам. Палатки перепродать цыганам, а деньги вложить в цивилизованных кооператоров.

Кооператоры любят сидеть на шее

Уже и закон вышел – услышать и не упасть нет сил никаких, – а они сидят. Видно, кому-то это выгодно. Не перевелись еще любители за счет тех, кто по простому да еще и прямо. Ведь идут письма, кадры завалены бандеролями, те самые кадры, которые решали все, они б и сейчас решали, но завалены, – леса пилят, создаются земляничные поляны; ударим земляникой по недоедающему быту. Экономика, становясь экономной, перерастает в религию. Мы, некогда правоверные и православные, станем протестантами





и отчаянно протестуем,

а отдельные находятся, которые и решительно. Куда смотрит Папа Римский? Ведь не может же Папа куда-то не смотреть! Этого нельзя допустить, Луиджи, в то время, когда весь мир объединяется, мы почему-то протестуем; это ничего, что временно проиграли Европу, лишь бы народ не завели в болото. До чего дошло – узнать нельзя: были ли у Сусанина потомки!

Это делается специально

Видно, боятся спугнуть, а если слух о них станет достоянием, сусанинцы возьмутся за серпы и молоты, пожнут чертополох, а меж молотом и наковальней чертополох обернется чертополошным маслом для космических кораблей «РАЗОР-98».

Двурушничество на каждом шагу:

встретил кого на дороге и понять не можешь, то ли брат родной, то ли сын Павлик. Каждый на своем рабочем месте только и делает, что хоронит родню. «Вы куда в разгар рабочего?» – кричит начальник. – «Теща умерла!» – говорит простой и прямой. «А сегодня?» – «Сегодня племянник – в стране свирепствует коклюш». Так за неделю всю родню и похоронит. Проходит перепись, прирост – миллионы. Разве это не очковтирательство? Здесь надо не спеша разобраться, если мы хотим когда-нибудь назвать себя цивилизованными. Мы все сидим друг у друга на шее, – цивилизованные сидят на стульях; мы перебили все стулья и поэтому вынуждены... Но, слава богу, у нас еще не Чикаго, работы хватает, работы творческой: как на переводных картинках – осушаем болото, чтобы народ чего не перепутал, получаем пустыню, а там глас, – хорошо, одинокого, – орошаем пустыню, получаем болото. Диалектика замкнутого пространства. Все двери нараспашку – замки раскупили пограничники. Граница на замке.

Как бы там ни злобствовали душманы

Что ж, не хотите из феодализма? – в конце концов, каждый народ должен сам решить, не в ущерб другим народам, как ему жить при феодализме.

Индира равнодушно поглядывает в сторону телевизора – ее мало интересуют маленькие дразги крупных народов. Жизнь и смерть – вот круг ее интересов. А не продать ли потихоньку от мужа наших барашков, да пару коров и ишака в придачу, на любителя? Все это хорошо,





мыслит Индира, но все же лучше, когда рядом все еще живой человек. В каждом доме есть своя Индира.

А старик с луга хочет устроиться сторожем, охранять колхозную конюшню. Конюшня – это каменная ограда с железными воротами, замком, ключами и звездами на небе. В деревушке очередь на эту работу. Все хотят сейчас или сторожить, или как бы подметать. Высоколобые дворники и сторожа ушли в депутаты, по ротации их места заняли те, кто работал в райкомах, чтобы как-то отмыть темные пятна: а вдруг кто и спросит ласково – а где ты работал до 1990 года? Многие бросились к пограничникам, чтобы выменять самогонку на ключи с замками, другие пообломали все ивы и соорудили метлы. Трудовая книжка с записью «сторож», «дворник» на черном рынке стоит коровы с теленком в придачу. Все попрятали дипломы, а значки продали уголовникам – те разгуливают себе по улицам и общественным местам под ностальгическими взглядами стариков и старушек. Зачем прятать диплом, Луиджи?

Диплом – свидетельство о вшивости,

принадлежности к прослойке, которая гнилая и которая между теми, кто творит прямо, а не «так сказать», и теми, кто выращивает. А раз ты не класс, а прослойка, значит, снюхался с теми, кто все разваливает. Все бросили пить вино и пиво, дабы не прослыть пособниками Тель-Авива. Массоны Европу не развалили, говоришь, Луиджи? Ну, наверное, потому что тайно! Тайно ведь не развалишь. Наши, из тех, кто пьет вино и пиво, разваливают в открытую и нахально, пользуясь беспамятством некоторой части либеральной, но есть еще люди, которые что-то да помнят и память их крепка, и взгляд их всеохватен от тайги до британских морей. Казна несет громадные убытки. Как мы будем дружить, Луиджи, без денег – нет дружбы. Папа пьет вино, а это чревато, со всеми вытекающими отсюда. Папа не пьет вина? Это меняет дело. В каждом доме убивают, и все делают вид, что человек умер самостоятельно.

Папе не надо никуда летать,

ему надо остановиться и подумать, если не обо мне, то о тех, кого убивают ежедневно, ежечасно, каждую минуту, наконец. Куда смотрит Папа? Неужели он не видит, что убийц стало больше, чем убитых? Скоро убийцы начнут убивать друг друга. Пусть Папа отменит слезы, – пусть отлучит каждого заплакавшего. Плачущий все путает, он плачет, и кажется, что человек и вправду умер сам, но так не





бывает, Луиджи, ведь кто-то помог ему?! Пусть Папа издаст указ: «На похоронах всем улыбаться», – хотя бы тем, кто убил или в чем-то помог. Я хочу, чтобы все было по-честному или хотя что-то было честно – надо начать с похорон.

У мусульман нет Папы, но ведь есть кто-то, кто самый главный, пусть Папа встретится с ним. Но у мусульман нет Ватикана, в каждой стране свой главный, и опять Папа будет летать из страны в страну, самолет будет сжигать воздух над этими странами. Мусульмане живут на всех континентах.

Далай-лама – бездомный

Бездомные всех стран должны объединиться! Давай, Луиджи, выберем далай-ламу Председателем Объединенного Совета Бездомных. Пора шагать в ногу со временем, надо построить общий дом для всех бездомных. Земной шар у детей временно экспроприировать – надо же определить, где строить всеобщий дом. Чтобы дети не плакали, – не все дети знают, что есть где-то еще Папа, который запретил слезы, – подарить им что-нибудь менее тяжелое (только не архипелаг), подарить им по звезде.

И еще один старик строит своему престарелому сыну дом. Старик сам в прошлом строитель: в 30-х годах он работал прорабом, много чего настроил на своем веку, он один из тех, без которых ничего вокруг бы не стояло. Рабочие вот-вот выведут стены, материала и инструмента хватает, есть даже красные пожарные ведра, крюки и щит, на всякий случай. В деревушке нет пожарников, – стоял где-то щит, старик посчитал, что щит не там, и ведра, и крюки, – все не на месте, вот и перенес все на свое подворье. В обед старик мобилизует всю свою семью: тащит в громадных пятиведерных термосах еду. «Дед, где достал эти штуки? – спросил один из подвыпивших рабочих, – снял с трактора?» – «Снял с трактора», – говорит дед.

В деревушке нет тракторов, а в магазине не сыскать термосов, а он нашел, он и шифер найдет – сегодня и привез бы, но умер человек – старик на кладбище. Мулла возносит молитву, он не настоящий, он овецевод, – читать может по-арабски, но не выпытать у него под расстрелом, что значит то или иное слово – не скажет; ни о чем не ведают те, чьи ладошки взмывают к небу в перерывах между молитвами. Старик вынимает из кармана ручку и записную книжку – ему надо подсчитать, сколько заплатить рабочим. Кладовщику веры нет – насчитает столько, что на те деньги можно построить если не дом, то времянку точно.





На кладбище хорошо думается, частые, некстати, молитвы мешают, и старик вынужден тянуться к небу с ручкой в одной руке и записной книжкой в другой. Старик теплеет от воспоминаний и расчетов: раньше, если кто умер на стройке, – оттянули чуть в сторону и за работу, а сейчас, пока не похоронят, никто не работает, и это правильно, думает старик, все же теплеют времена, правда, молодежь... – в этом месте старик поморщился, как бы зачеркнув саму мысль. Я не знаю, как ты, Луиджи, но старик неправ – молодежь у нас прекрасная, развитая, не побоюсь этого слова, хоть украсть, хоть покараулить – всесторонне, так сказать. Что пришло, то пришло, что не пришло, то придет.

Капитан последним покидает тонущее судно

Старик-строитель не видел ни моря, ни корабля, ни живого капитана. Не видел моря, корабля и живого капитана и старик-пастух, женатый на убийце родной сестры. Ничего не ведали о морях, кораблях и капитанах старик с луга и два его сына – они воевали на суше. Индира не хотела и знать о каких-то морях, – лишь бы жил человек, думала она, это главное. Все они видели море, тонущий корабль и капитана по пояс в воде; матросы уже на берегу, разинув рты, не дышат, а капитан не хочет покинуть палубу, – говорит все и говорит под музыку, которая подбрасывает со стула, забываешь, что кино и что это пона-рошку. Вот это им нравится, это их всех как-то объединяет, они как бы понимали –

без мужества нет прогресса,

но все старики и молодые, воюющие и не воюющие, почерневшие от войны и еще не почерневшие, не выдавшие морей и капитанов, – ЗНАЛИ, что на земле иной закон: капитаны первыми вселяются в новые дома, и правильно, думал старик-строитель, капитаны не хотят подвергать опасности жизни матросов своих.

Это делалось специально –

матросы имели свой дом на море и, чтобы еще более сплотились и как-то прониклись, своего дома на берегу не имели. Капитан, чтобы еще теснее, хотел им построить общий дом.

Старики, их дети, Индира, дядя Ваня с тетей Груней слышали об общем доме, но не разделяли, потому что были реакционерами, хотя об этом и не подозревали. Но мы-то знаем, Луиджи. Что? Что «...средние сословья: мелкий промышленник, мелкий торговец, ремесленник и крестьянин – все они борются с буржуазией для того, чтобы спасти свое существование от гибели, как средних сословий. Они, следовательно,





не революционеры, а консерваторы. Даже более, они реакционеры: они стремятся повернуть назад колесо истории. Если они революционеры, то постольку, поскольку им предстоит переход в разряд пролетариата, поскольку они защищают не свои настоящие, а свои будущие интересы, поскольку они покидают свою собственную точку зрения для того, чтобы стать на точку зрения пролетариата». Крестьяне, вне сомнения, реакционеры. Но каково старику-строителю? Как строитель – он революционер, как давний крестьянин – реакционер, а точка зрения у него неизменна с самой колыбели, – что увидел, то мое. Старик бьется между двух начал своих и, бог даст, как-то выкарабкается. Хуже дела с шабашниками, строящими дом для старика: они то сидели в тюрьмах, то строили дома, сидели и строили, строили и сидели. У них, Луиджи, вообще нет выбора – они обречены. Они сидят на куче навоза и пьют водку. Я видел со стороны – куча навоза, люди, сидящие на самой ее верхушке, и чистая бутылка у подножья, и все это освещалось солнцем.

Они обречены,

потому что «люмпен-пролетариат, этот пассивный продукт гниения самых низших слоев старого общества, вовлекается пролетарской революцией в движение, но в силу всего своего жизненного положения он гораздо более склонен продавать себя для реакционных козней». Они, Луиджи, не только прогнили, они и продают себя! Интересно, а кто их покупает? Они же воплощение гниения и разврата. А вот не имеют понятия, кто они такие, – строят себе дом, хоть стены кривоваты, а растут. Справедливости ради, – в том, что стены «восьмерят», они не виноваты, просто старик на одном из секретных объектов но-чью распилил с охранниками туф, темновато было, вот и получились блоки не шибко ровными.

Реакционерка ела картошку

Реакционерка пришла в гости к реакционерам, сосланным за пособничество при обмене безымянного хребта на осиное гнездо разрухи и космополитизма. А сосед мой, наверное, был тайный неразоблаченный бандит. Едва разлепив глаза, он брал ружье и хлопал первую попавшуюся птицу: орла ли, голубя, воробья, ворону – вороны раньше летали, это сейчас чего-то сидят. Птица падала, сосед, не глядя на нее, шел домой, громко хлопая дверью, и на соседних улицах, наверное, слышали, как он матюкается, потом ругань затихла, сосед тихо и долго плакал. Из этого ружья он убил залетного милиционера. Кинулись люди на него,





давай вязать, руки крутить, а он пытался вырваться и все кричал, – многих пострелял, да жаль, – не тех, кровососы тыловые! С тех пор я его не видел. Сосед был неграмотным, а иначе, встань он на точку зрения пролетариата, а не трясись над душой, как дурак над документами, – все могло сложиться иначе, чревато со всеми выте-кающими. Учиться, учиться, учиться. Учиться никогда не поздно, и любовь надо беречь. Реакционерка брала почему-то сразу по две картошки, откусывала ошкуренную и дула на неочищенную, иногда путала все – кусала ту, что в «мундире», и дула на чищенную. Она, видно, привыкла все запутывать, будь у нее хвост – она была бы похожа на старую лисицу, заметающую следы. Она утопала в громадных галошах, плюшевая телогрейка горела масляными и керосиновыми пятнами, под козырьком ее громадной пестрой шали можно было спрятаться от дождя. Пахло от нее нафталином, лежалым-прележалым земляничным мылом и тройным одеколоном. Представляю, как с ней мыкались компетентные. Но сколько веревочке ни виться, народ всегда прав. Он видит, все видит, но где он был, когда дед разбирал пожарный щит? Никто не видел? Но так не бывает – кто-то обязательно что-то видит. «Социализм – это учет и контроль». Ну и что, что щит стоял на большой дороге, почти что в чистом поле в десяти километрах от деревни? Он там не просто стоял, а по генеральному плану, причем перспективному. Я требую расследования, тем более, что улики налицо.

Улики ожидают в каждом дворе: дворы придумали специально, чтобы собирать там улики. Капиталисты не имеют высоких заборов, а значит, и дворов, значит, нет улик. Хотят сбить с толку полицию, да они просто хотят уничтожить полицейских – нет улик, зачем тогда полицейские?

Народ, говорят, спал, так что же – он во сне растаскивал по дворам улики? Автобус переоборудован в курятник, окна настежь, куры любуются суровой, неопишимо-великолепной красотой. Сараи состряпаны из телеграфных столбов. Сонными они утащили автобус, а если проснутся, Луиджи,

у старика с луга – улики налицо, –

два обугленных на необъявленной и бесконечной войне сына; где был старик, когда сыновья воевали? На лугу? Если выжечь всю траву и помазать этой зеленью двух черных сыновей старика – и тогда они не позеленеют, откормить на лугу тысячи коров, сдоить молоко и искупать в этом молоке двух черных сыновей старика – и тогда они не побелеют. У них нет сил подняться на луг, даже если б у них были фронтовые карточки и





они ели бы в день по кило масла, и тогда они не вскарабкались бы на лут. Но у них нет карточек, никто не знает, где они воевали. Просто при виде любого встречного они вздрагивают и ежатся, и легкая белизна покрывает их черные щеки. С войны солдаты везут трофеи, швейные машинки, иголки, зажигалки, брелоки из патронов. Черные сыновья вернулись без ничего, – на поле брани не было ни одного ружья, пушки, «Катюши», ни гильзы пустой, – интерпол с социнтернами, ООН не нашли бы ни одной улики, чтобы узнать, кто же развязал эту войну. Нюрнберг так и не дождется своих подсудимых. Война без начала и конца, без оружия и пуль, без побежденных и – народ не будет знать, пусть он трижды проснется, – победителей, одни трупы, трупы...

Жизнь в войне?

Можно сидеть себе в фешенебельном буфете, есть манную кашку и быть убитым, и милиция на месте преступления не найдет ни патрона, ни пустой гильзы. И если тебе повезло, от тебя не пахнет спиртным, то приехавшие врачи скажут, что ты умер сам от засекреченной врачами, ишемической в области печени, болезни, а не погиб на войне, и что это за война, о которой никто ничего сказать не может, хотя все или проснулись, или просыпаются и уже заклеили тех, кто продолжает спать?

Я точно знаю, что я убийца. Я, может, и сплю для того, что хоть во сне увидишь лицо убитого мной, – въяве не увидишь. А может, я убил десять, сто человек? Я не смогу доказать, что я убийца, – нет улик.

В автобусе живут куры, и автобус переименован в курятник. Автобус уже не улика, Луиджи, тем более, если он стоит в моем дворе, а я герой оперативного труда. Происходит сращивание производственно-родственных отношений: кум, он же родственник, он же трудяга в поте лица во благо, появились даже подкумки.

По четвергам раздают конфеты на помин души усопших. Индира распахнула калитку, в руке громадный ящик с конфетами. Все калитки настезь, все с конфетами. Как много убитых.

Горные орлы летают с кинжалами в зубах, оружие они находят в расщелинах скал. Степным беркутам повезло меньше, можно сказать, совсем не повезло – оружие в степях собрали без их помощи археологикраеведы из неформалов, которые прошли по местам сугубо боевым.

Возможно, мы прилетели на самолете,

который «поднять подняли, а посадить не знают куда»? Как они умудрились его вообще поднять? Садиться надо в том месте, где объеди-





нились как высокопоставленные, так и низкооплачиваемые. Таких мест нет на земном шаре, подаренном детям?

Есть, Луиджи!

Отец области ездил на всяческие уборки. «Не бережете себя, Харитон Тихомирович», – говорили отцу областные дети, правда, приемные. «Обеспечиваю страду идеологической поддержкой», – скромничал он. Тут опять налетели: желтые шмели из желтых пархатых журналов и давай цитировать отца, давай над ним смеяться. А чего смеяться, ведь суть-то верна, ну не так человек расставил слова.

А как он хотел расставить? Идеология твердо гарантирует страдания. А другой вице-отец той же области поехал на митинг, встретиться с народом. Бушевал народ: убрать химзаводы! Очистить каждый квартал от каждого завода! – говорит народ. Говорить-то говорит, а понять не может, что штаны у него небось из этого оранжево-фиолетового дымка; ну убери заводы, думает вице-отец, дыши сколько угодно, но без штанов, если б в каждой области да свой Узбекистан! Но мы – реалисты, думает себе вице-отец, химия – это политика, а химизация и того хуже, это ж надо понимать. Вылез из машины и так прямо, по-простому, и сказал: «Нам, – говорит, – нужна химия, а химизация еще нужнее, но не может химия, а тем более химизация, существовать без идеологизации». «Долой!» – кричит народ по-простому и прямо, и не может понять вице-папа, чего долой-то? То ли химию, то ли химизацию, то ли... страшно подумать, саму идеологизацию?! Человек хотел сказать – идеологизацию химии, а мало будет, так и химизацию. И не надо, понимаешь, раскола. Все сейчас чего-то хотят расколоть или кого-то расколоть, или самому расколоться. Я думаю, до добра это не доведет. Так мы никогда не придем к свободе личности в свободно взятой стране, хотя бы и отдельной. Если каждый отколетя, это значит, моя хата с краю, построит парники с апельсинами, заведет свиней, посеет пшеницу, без связи с наукой и передовой технологией, и станет кормить только сам себя, выходит, и авангарда не надо? Но так не бывает, потому что авангард думает о тех, кто думать не хочет. Он не думает, живущий с краю: а вдруг у меня доходы нетрудовые? Он и не ведает, что надо усилить рабочий контроль над средствами производства, производственными отношениями и производительными силами; так можно зачеркнуть все предыдущие успехи в области контроля; больше того, надо организовать крестьянский контроль, учитывая, что и крестьянин хочет чего-то контролировать, и, как высшую стадию всенародного контроля, – смычку рабочего и крестьянского контроля.



*Без контроля нет учета, а без учета нет контроля*

В Италии окончилась страда. На тока везут апельсины, виноград и, вообразить невозможно, – довозят-таки, а не съедают по дороге. Неужели это правда, Луиджи?

В деревушку привезли муку. Индира отхватила мешок.

Старикам и молодым кое-что перепало, – не досталось только юридиков. «Провалитесь вы вместе со своей мукой и вашей деревней!» – кричала она. Отношение к сумасшедшим показывает нравственный климат общества. И, чтобы как-то повысить свой нравственный рейтинг, приходится в дурдома загонять здоровых. У нас еще отдельные как-то не думают, не проникаются общим здоровьем общества, и приходится еще в отдельно взятых районах вести профилактическую, санитарно-медико-биологическую борьбу под лозунгом «Здоровье для всех – забота каждого». А им подавай здоровье да еще и каждому, понять не хотят, что только в здоровом обществе – здоровый индивид.

В деревушке появился милиционер

Занялся поисками улик. «Где твоё ружьё?» – спрашивает у парня. «Нет у меня никакого ружья». – «У всех есть, а у тебя нет, так, что ли, понимать?» Парень оказался мелким врунишкой, ему бы напомнить милиционеру о «коррупции невиновности», но он ни к первому, ни ко второму слову, на беду свою, не имел никакого отношения.

Деревушку надо разоружать! Есть только один способ: если деревушка объявит о своей политической независимости, вот тогда-то ввести танки для охраны граждан и учреждений. А как же? Все жители будут ходить с ружьями, а граждане, понимаешь, подвергаться опасности?! Согласись, Луиджи, этого нельзя допустить. Или отнять ружья у жителей, или вооружить граждан. А как же иначе? Ведь народ не поймет, если как-то иначе. Ружья – это реализация принципа: око за око, зуб за зуб. Как ты думаешь, Луиджи, если собрать кворум с консенсусом, да и отменить первую часть и оставить вторую, просто: зуб за зуб, и, усилив консолидацию, пропаганду и демилитаризацию всего сельского населения, изжить и вторую часть этого беспринципного принципа? Выход прост: убрать зубы и положить на полки ружья.

Инфляция захлестнула капитализм, и особенно империалистический с монополистическим уровнем. Я подарю тебе, Луиджи, способ борьбы с инфляцией, ты запатентуешь и будет закон сей называться – закон Луиджи сальто-мортале. Надо спасти нацию, и ты спасешь ее,





Луиджи. Итальянцы носят деньги в мешках; идет итальянский мешочник в магазин за спичками, а из магазина выходит с полупустым мешком и коробком спичек в зубах. Фирма «Фиат» наладила выпуск сундуков на колесах для тех итальянцев, которые желают купить штаны и туфли в одночасье. На тротуарах установили светофоры, негде уже простому и не совсем простому итальянцу присундучиться. Появился новый отдел тротуарной полиции и подотделы – подъездный, лестничный и подлестничный. Под видом пожарных полицейские хотят проникнуть в квартиры. А как же, ведь в каждой семье средней по пять-шесть сундуков, хранящихся в пожаро- и взрывоопасной среде. Пожарникам закон не писан. Перед стихией все равны и все бесправны. Что делать? Как что, Луиджи, пусть Папа Римский объявит месячник по борьбе с инфляцией. Месяца вполне хватит. В конце концов, в один день можно решить эту проблему, опираясь на мировой опыт некоторых стран, которые не чета каким-то Уругваем. Ты говоришь, что это невозможно? Что ж, выкладываю все свои козыри и делаю тебя обладателем патента, первого гражданина Запада, покончившего с инфляцией, ибо в восточном полушарии – это дремучая банальность.

В одну ночь все предприятия, согласно 10-летнему плану развития, использовав все резервы и учитывая, что во главе угла человек, он же и посередине, а между нами, Луиджи, он везде, – все предприятия переходят на выпуск условной продукции: условных банок, бутылок, с условным их содержанием, а граждане расплачиваются условными деньгами. Все равны, все условны, нет ботулизма и алкоголизма.

*Самопальные яйца легко можно переделать
под куриные*

В Госкурятниках держат специального человека, который слюнявит яйца инкубаторские и окунает их в настоящий куриный пух. Профессия у человека очень важная: пухобряк.

Духи могли бы называться «сальмонелла», а куриная болезнь – тропобром.

Они нарочно все запутали

Я знаю, есть препарат дурбаксин, но мало об этом лекарстве пишут и дискутируют, хотя многие дурбалаи спят и видят, что их не забыли, мало того, – о них помнят. И все же, Луиджи, кто бы что бы ни говорил, главный продукт – это питание. И еще память. Без памяти нет социализма. Прошел день памяти газеты «Истина» в городке Достижений





Межнациональных Духовных и Материальных ценностей. Выступила с речью Нинель Андреевна Памятнова. Она вспомнила добрым словом «лесных братьев» и призвала создать комиссию по реабилитации басмачей и басмачества. Все книжки о бурях над Азией и капканах в лесах Балтии сдать в макулатуру, а вырученные деньги раздать прямым потомкам борцов «за нашу и вашу свободу». Все бы хорошо, Луиджи, но они все-таки вбили клин – отделили некоторых граждан от остального народа, создали, понимаешь, им дачные резервации. Гражданам ни в кино, ни в магазин – все на дому, а им хочется: и пообщаться с народом, и вообще, это нарушение всяческих прав и обязанностей. Где ООН, что себе думают люди из мирового сообщества? Кто вытащит клин? Это геноцид, не побоюсь этого слова, Луиджи, они закроют граждан, закидают их норковыми шубами, дышать нечем – будут только выдыхать, бедолаги. Их надо спасти, Луиджи! Кто спасать будет? Как кто? – Гога и Магога из солнечного Черноспинья. Они вдвоем умудрились спить всю Вологодскую область, опустошили Нечерноземье; если они такие умные, пусть лучше клин вытащат.

Продажные элементы все же, несмотря на свою продажность, построили-таки старику – строителю 30-х и последующих развитых годов – дом, правда, он получился кривоватым, но зато большим, о десяти комнатах, и в комнатах этих сидели дети старика и внуки, – в руках записные книжки, личики сосредоточенные, серьезные, старик – сама значительность, ходит из комнаты в комнату и учит подрастающее поколение таблице умножения. Хмурые личики очень походили на своего отца и деда, они купались в солнечном свете, пытаются как бы выпрыгнуть из него, ухватившись за цифры. Главное – сложить и умножить, вещал старик, и еще, пожалуй, отнять, а отнятое опять сложить и умножить, а все остальное... Как живете? – хорошо, а как вы? – и мы хорошо.

Старик-пастух отыскал-таки давнюю родственницу, сироту круглую, искал целый год, иногда ел, иногда спал, но не дома – домой Индира не пускала: пока не найдешь, домой не возвращайся, не могу, говорит, без родственников. И вот – она! Молоденькая, непуганая, главное – живая! Индира обняла ее, поцеловала в лоб, и в избытке родственных рот ее так вытянулся, что губы оказались на самом темени долгожданной родственницы. Усилий стоило Индире приостановить движение губ, – не одним днем живем, мелькнуло у нее в мозгу, и губы сползли с чужого черепа и вернулись лицу. И сказали губы: счастье принесла с собой в дом наш, доченька, – и от избытка чувств и умиления опустили фиолетовые очи и лицо задернулось морщинами.





Председатель колхоза окончил филологический факультет общевойскового трижды командного, четырежды гербоносного института общественно-экономических наук в дважды правофланговом добре и меченосной правды. Раньше он был нормальным председателем, но наваяло его новыми веяниями по самую крышу, он собрал чрезвычайный и полномочный сход, дабы наваять остальных невеянных своими веяниями.

– Я думаю, уважаемые аксакалы и граждане нашего колхоза «Красные пики», для того, чтобы жить, выжить, а еще и развиваться, нам необходимо принять ряд постановлений:

1. Колхозу полную экономическую и политическую независимость.
2. Нашим детям – лучших учителей-новаторов.
3. Для повышения любви и взаимопонимания пригласить на постоянное местожительство в наш колхоз «Мисс Область», «Мисс Железнодорожный транспорт» и других мисс, с созданием им лучших жилищных, коммунальных, бытовых и других условий.

Загудела негромким, но решительным гулом женская половина схода.

А так же, продолжал председатель, для полного равноправия пригласить «Мистера Черноросское Пароходство», «Мистера Уссурийская Тайга» и других, с созданием им всех благ, во благо нашего независимого колхоза.

4. Для поднятия общего культурного уровня построить самую высокогорную в районе набережную с фонтаном.

И последнее, для протокола, как считать изложенное мною, – докладом или выступлением? Прошу определиться путем тайного и всеобщего голосования. Партгруппорг ходит с шапкой по рядам, собирая записки, весь штат бухгалтеров производит подсчет, и к радости одних, к огорчению других, победили сторонники – считать высказанное председателем докладом.

Говорят, Луиджи, – у умных людей большая голова.. Говорят, что динозавры вымерли, потому что голова у них была маленькой, а тело громадным. Смотрю в зеркало, – и у меня тело громадное, а череп маленький. Но я же не сам себя нарисовал, и, потом, я не хочу вымирать, или я чего-то не понимаю? Подношу свой кулак к черепу, – почти равны, обычно я этот кулак подношу к чужому черепу – есть в нашей деревушке пара черепастых. Встретишь такого, лень до него добираться и кричишь: эй, квазар, а ну, подбежал-ко быстренько, настучал-ко я тебе по бестолковке. И что ты думаешь, Луиджи, бежит, понимает, что мне нервничать нельзя.



*На то он и головастый, чтобы понимать*

Написал я и в журнал «Физкультура и спорт»: «Товарищи дорогие, вы печатаете рецепты, как увеличить мышцы шеи, ног и некоторых других частей тела; среди других частей меня интересует голова – хочу принять участие в строительстве чего-нибудь светлого – вру, конечно, но так больше шансов, что вышлют, а без головы, тем более, с такой маленькой, как у меня, и жить, и строить как-то грустно». Отвечают мне, мерзавцы, что «дважды медицинский, трижды Бехтеревский, краснотранспарантный химико-ишемично-бактериологический институт шейных позвонков при журнале «Физкультура и спорт» пока, хотя и успешно, но работает над этой проблемой». Я извещаю общественность и журнал, что ввиду безнравственной, даже больше того, античеловеческой отписки, прерываю всякую интимную связь с журналом. Тут я завернул лихо, – зачешутся там, небось.

Бродяга вышел на луг,

швырнул рванье в зеленую траву, лег, вытянул руки вдоль тощего тела, запрокинул громадную голову, – над ним парил орел, и бродяга смотрел на него глазами старого орла, древней, усталой жалобы, и глазами овна, в которых трепетала рань рождения и зарево ухода, глазами узнавшего, что жизнь земная только взлетная полоса и чем стремительней разбег, тем выше полет, а иначе – пауциное барахтанье на первом попавшемся небе. Он бежал и бежал от Иерусалима до Ирландии, от Ирландии до Австралии, от ЮАР до Гренландии. У убегающего растет голова, у догоняющего – крепнут ноги, но уменьшается голова. Нужно срочно спасать догоняющего, Луиджи, иначе он вымрет. Эй, синьор, товарищ, остановись, не вымирай!

*Или ноги, или голова, –
так, наверное, Луиджи?*

Бродяга лежал в траве и буянил: нет, не буду вас проклинать, боюсь, ненароком проклятьем своим улучшу вашу породу, лучше пожелаю вам еще больших благ и украшений; наденьте сверх адмиральского мундир генеральский; пусть на крышах ваших машин будут еще машины, эти-кие буранята; наденьте штаны с картой звездного неба и каски с Венерой во лбу; денег вам, чтобы сложить некуда и не пересчитать до конца мироздания. Такие мои пожелания, но ведь вы мои дети, и братья, и сестры, и я вам брат и сын, и помощи нам всем Бог.

Бродяга лежал на лугу, над ним парил орел, глаза их встретились, и





орел вострепнулся, задергался и полетел прочь скачками, как стриж, и чирикая, как воробей. Раньше бродяга был лавочником и революционером, адвокатом и писателем, и главная его работа – профессиональный беженец. Бежал он как-то сразу в трех направлениях. Это был какой-то кошмарный, наложенный друг на друга бег. Убегал он от преследующих его, от Родины своей и от мыслей своих, и в беге почти что стерлись воспоминания о Родине, о крови, о мысли самой; увеличивался череп, и слышался внутри него треск, и казалось ему, еще чуть-чуть, и он преодолеет земное притяжение, и душа, вылупившись из тела, процеживаясь, будет преодолевать небо за небом, пока не осветится и не освятится и не станет звездой для кого-то, кто начал бег свой тяжкий на прекрасной земле.

Бродяга лежал на последнем на этой земле лугу, перед последним стремительным бегом, когда из пор пошел пот вместе с кровью.

А аксакалы и аульчане, граждане и примкнувшие к ним отдельные товарищи не без амбиций и, что самое печальное, личных, начали прокладывать самую высокогорную в мире набережную, бульвар, можно сказать, с аквариумом и рыбками, во имя будущих детей и ветеранов, с четырех сторон; и начали свое рытье, и черный крест среди зеленой травы быстро приближался к темному пятнышку — к тому месту, где лежал бродяга и где должен был грянуть фонтан с разноцветными струями.

1980–1990 гг,
с. Булунгу





СТАРИК. НОЧЬ. ДЕТСТВО

Когда в село стали привозить первые кинофильмы, Старик ходил в клуб из любопытства – многие шли и он шел; позже со скуки – село глухое, куда деться вечером? Жили они со Старухой в старой сакле, которая спиной прислонялась к скале, а спереди опиралась на две дубовые колонны и старой совой взидала мутно-желтыми глазами на непонятную деревенскую жизнь, на новые дома, с виду добротные, но не защищенные; и только зеленая трава и множество полевых цветов на плоской крыше говорили о ее веселом нраве.

Спозаранку гнал Старик на выпас коровенку и пару овец. Дни были тягучи, липки, и тяжело выбирался Старик из дней своих в вечера чужие, экранные. Он смотрел все фильмы, которые привозили в клуб; они не волновали – глядя на экран, он думал: хватит ли до весны сена? Как заготовить дровишки? Силы уж не те. Да и мало ли о чем думается старому человеку.

И после многих вечеров – пришел день, когда Старик понял, что пойдет в кино, как на работу, на любимую работу. Не нравились Старик у фильмы индийские, арабские, в них если радость, то столько шума, гама, что она терялась в этом хаосе, а если горе – столько крика, слез, что и горю места не оставалось.

Старик любил русские фильмы – на экране ни плача, ни крика, а почему-то самому хотелось кричать и плакать. А сельчане ждали индийские и арабские фильмы – не кино, а праздник всенародный. Они заранее знали, когда привезут эти фильмы, и как-то умудрились втиснуться в маленький, тесный клуб, занимали все места, заполняли проходы, облепливали стены, подоконники, и даже на сцену не ступить – куча галдящих мальчишек! Мужчины, глядя на экран, курили сигарету за сигаретой. Женщины рыдали. Грудные дети плакали от духоты и дыма. А Старик недоумевал.

Посмотрев серьезный фильм, Старик расхаживал вдоль единственной улицы, стараясь понять увиденное. И чем сложнее был фильм, тем дольше гулял Старик по селу. Потом он шел домой, они садились со Старухой к старому очагу и он, глядя ее по голове, рассказывал суть увиденного; Старуха прислушивалась только к голосу Старика.





Сегодня Старик прочитал на афише «Вы не все сказали, Ферран» и внизу буквами помельче «Франция». До начала фильма оставалось не менее двух часов. Старик не знал, к чему приложить руки. Он взял лопату и стал окапывать уже вскопанные деревья, потом вбегал в дом, чтобы взглянуть на часы, замедленный ход их злил его, он выбегал во двор, брал вилы, чистил хлев, а мысли были в клубе: что за фильм посмотрит он сегодня? Что там Ферран не досказал? Бросал вилы, садился во дворе на маленькую скамеечку – не сиделось. Перед фильмом его охватило нетерпение, заставляющее забывать свой возраст. В клуб он почти всегда заходил первым, ерзал, оглядывался на маленькое окошечко.

Странный фильм увидел сегодня Старик. Озадаченный вышел Старик из клуба и долго ходил по селу. Почему Ферран ограбил банк? Ведь своих денег некуда девать. Может, потому, что в молодости грабил банки? Привык? Нет, не из-за денег! Потому, что когда гангстеры выкрали жену Феррана, он швырнул им все награбленное. Нет, не из-за денег. Из-за чего? Что его заставило это сделать? И не из шалости, ведь старый человек. Пожалуй, ровесник ему, если не старше. Старик все ходил и ходил, он хотел добраться до сути, но проклятая голова, этот надоедливый туман в ней... Долго ходил Старик, уже погас последний огонек в селе. Он забыл, что его ждет Старуха, не спит, волнуется.

Старик, устав от ходьбы и размышлений, остановился у дома, на краю села, в огороде которого чернели деревья. Ноги сами несли его в чужой сад, который был метра на полтора ниже улицы. Старик спустился в сад, не спрашивая себя, зачем. Подойдя к ближнему дереву, он сорвал продолговатый плод, надкусил сливу, кислота по всему телу прошла судорогой, на мгновение развеяла старческий туман... И голова прояснилась. Старик от неожиданности присел, ощущение такое он уже испытывал: у него были забиты уши, он мучился, привычные деревенские звуки он еле слышал; утром не будил его петух, он слышал его, но не так, как прежде, и вместе с петушиным криком пропадала ясность и свежесть утра. В его распухшей голове постоянно что-то звенело, и звон этот оставлял только одну мысль – как избавиться от звона и мути. Старуха отвела его к врачу. Врач прочистил ему уши, с глаз сошла мутная пелена, голова прояснилась; он с удивлением та-рашил глаза, что так не шло к его седой бороде.





И вот сейчас... Вместе с прояснением он понял, почему Ферран ограбил банк – подсказали зеленые сливы: вкус их напоминал ему детство, и сидя на влажной от росы вечерней земле, прислонившись к тонкому стволу дерева, который резал позвоночник и тоже прояснял голову, он прошептал – понял, понял. Ему вспомнилось детство, сельские праздники: родится у кого сын, вернется кто из земель чужих, орден кому дадут – праздновало все село. Варили в громадных казанах сыру, а дети, прячась за них, кидали друг в друга зеленые сливы; взрослые пытались их унять – не получалось, да и не особо старались. Столы выносили на улицу, и по ней уже не пройти, не проехать, да и необходимости в этом не было – все село здесь. Гуляли допоздна, а многие – до утра. Детей уже никто не одергивал, не укладывал спать.

Хорошие были дни...

А сейчас как бы разучились радоваться: давно забыли, как варится сыра, и столов на улице праздничных давно уже нет. Опустела улица...

Так думал он, сидя на сырой земле, и понял, почему он, Старик, который не сегодня-завтра умрет, полез в чужой сад. Глядя на звездное небо, он понял, почему плачут старые люди – мы отрываемся от пуповины, пытаемся увязать нить, а дни рвут ее и рвут, и на старости, оглянувшись, видим обрывки нити той, которую всю жизнь пытались связать. Старик ощущал необыкновенную легкость, он был счастлив, по-настоящему счастлив. Долго он так сидел, потом встал, подошел к забору и полез, перебирая руками камень за камнем. Он уже по пояс на уровне улицы, силы стали покидать его, он перегнулся так, что лицом уперся в землю, из последних сил оттолкнулся и, обессиленный, распластался поперек улицы. Было уже поздно. Все спали.

Он уже не помнил, сколько пролежал, за это время никто так и не прошел по улице, только бездомная собака подошла, понюхала недоуменно и, мотнув головой, отошла.

Старик долго лежал в пыли деревенской улицы, он тяжело дышал, влажная пыль лезла в глаза, щекотала ноздри, но он не двигался, ему казалось – шевельнись он, и детство ускользнет. Наконец, он осторожно перевернулся на спину, и звезды стали надвигаться на него, стрекода кузнечиками, и он с облегчением выдохнул – не ушло. Он знал, что всю ночь детство будет с ним, и утром Старик не отпустит его: будет долго лежать в постели, глядя в прокопченные многовековой копотью





потолочные бревна и будет видеть в маленьком окошке восходящее солнце и еще не зашедший месяц. «Да, – подумается Старику. – Вот уже и жизнь прожил». Вошел в дверь, а выходит в окошко, и на прощание увидит, что комнатка его – не просто серенькие стены, они, оказывается, расписаны узорами, рядом с дверью – незамысловатыми, а ближе к окошку – сложными.

Вошел в дверь, а выходит в окошко... И все? Старуха удивится, что Старик, обычно встающий рано, что-то разнежился, а он ей ничего не скажет, а то подумает она, что совсем свихнулся Старик; она всегда считала его ребенком.

Жаль, что нельзя будет рассказать о своей ночной встрече старикам сельчанам – засмеют, да и бесполезно говорить. Старик знал, что каждый сам должен встретиться с детством, а с молодыми что говорить, оно с ними. Он пойдет к своему старому приятелю и все ему поведаст. А тот будет делать понятливое лицо и говорить, что с ним часто такое приключалось, он тут же уйдет от него и вернется к своей Старухе. Они сядут у догорающего очага и будут говорить о прожитой жизни, она будет плакать – не хочется ей, старой, умирать. А вечером – опять кино...

Старик знал, что не сегодня, так завтра он в каком-нибудь фильме встретит, наконец, человека, которому все поведаст, и тот хорошо так посмотрит на Старика... И улыбнется ему с экрана.

Долго думал Старик, лежа в пыли деревенской улицы; потом встал, ноги его дрожали, он чуть постоял... И зашагал к своему жилищу. Он был счастлив и думал – вот со всеми так, разом со всеми людьми, хорошо бы было, наверное. Старик шел... И улыбался.

1978





НА КРАЮ ГОРОДА

Рестораном эту хибару не назвал бы самый изощренный дурдомовский фантазер. На эстраде стояла женщина солидных годов и скрипучим голосом пела: «О, Юра, Юра! Где ты, Юра?» И дальше в таком же духе.

Очень хотелось, чтобы Юра вдруг появился, подошел бы к ней и тоже очень трагично, но без крика, а так это, по-домашнему, тихим уютным голосом, но почему-то закатывая рукава, сказал бы: «Да здесь я».

Мы с Муратом были не против такой развязки. Но это вряд ли понравилось бы компании, чей столик рядом с эстрадой, людям сельским, не часто бывающим в таких местах. Блестящий аккордеон, певица (платье у нее в блестках) и не менее блестящий барабан околдовали их, и они по очереди и вместе лепили на барабан замусоленные и вполне новые деньги, заказывая «Юру». Певица вошла в раж, пальцы так и носились по клавишам, а глаза ее продолжали стрелять в поклонников, которые успели выучить текст и вовсю старались, помогая певице. Равнодушные официантки лениво скользили меж столиков – они и не такое слышали. Мурат сидел печальный и чуточку злой. Подозвав официантку, он жалобно, как просят дети, сказал:

– Свежих помидоров нет у вас?

– Что вы, – взметнулись ресницы, – какие же помидоры в январе!

Мурат смотрел куда-то мимо аккордеона: «Да, январь, помидоры, досадно».

Певица меж тем уgomонилась, села за столик у окошка, но это уже была другая женщина, от прежней остались только белила на лице; отдыхала немолодая, усталая женщина.

А на сцене здоровенные ребята пели «Гуси, гуси» и среди них неожиданно бодрый старичок в старомодной шляпе, похожий на честнейшего из коллежских регистраторов. Он же учитель гимназии, тот самый «че-





ловек в футляре», которому Чехов почему-то не подарил в свое время эти дивные серые глаза, но природа через много лет исправила его ошибку, старичок тоненьким голосом выводил: «Га-га-га». Хор – «Гуси, гуси», а старичок – «Га-га-га». Он был в футляре и огражден от остального зала, оркестра, всего и всех самым прочным и надежным воздушным футляром.

Мурат был мрачен.

– Что случилось, Мурат? Может, уйдем?

Он посмотрел на меня, как мне показалось, долго, пристально, устало и безнадежно.

– Куда уйдешь... – выдавил он.

– Да что с тобой, Мурат?

– Мать у меня в горах одна, понимаешь? А там тесно, понимаешь, тесно и скучно, вот и хочется ей на тройке прокатиться. Все собираюсь ее обрадовать, сам уже состарился, а такой малости сделать не могу.

– Может, деньги нужны, Мурат?

– Да нет, деньги есть. Ей нужно настоящее снежное поле, настоящий сын и лошади, чтобы овсом пахли. А у меня нет желания кататься на тройках, понимаешь?

И мне казалось, что я понимал, понимал всех. И старичка с его раздирающим душу «га-га-га». Представлял, что его ждут дома старушка в блоковской шляпке с черной вуалью и старинный комод с бронзовыми ручками. Два старых человека из прошлой эпохи, а за окном новый непонимаемый ими мир, где старичок должен петь эту нелепую песню, петь, поглядывая на часы в ожидании того мига, когда можно вернуться домой, в другую, понятную ему жизнь. Усталую женщину понимал, дочь у нее гулящая, хорошая, добрая девка, но как-то с жизнью не совсем лады, отца нет, будь он – и сложилось бы все иначе. Понимал любителей музыки, весело стучащих по столу обглоданными костями. Смотрел на официантку и понимал, что никогда она ранним росистым утром не срывала с грядок помидоры, пахнущие вечной молодостью, и не впивалась в них чистыми, детскими зубами.

Посмотрел в окошко: кабацкие ступеньки замерли, прильнув к обледелым настороженным перилам, не слышно ничьих нетерпеливых ног.

А на сцене «Гуси, гуси – га-га-га» и кажется, что и песенка вылетает





на улицу и вмерзает в ступени, ведь она такая легкая, не зимняя совсем, вот и не выдерживает мороза.

А на улице гололед. Попрощавшись с Муратом, иду домой. Очень хотелось, чтобы тройка была, был праздник, но – сильный гололед. Ноги скользят, и мысли, тяжелые мысли упираются в землю. Я не пойму, то ли стар, то ли подошвы поистерлись?

А ведь еще вчера, может быть, даже сегодня, до кабака, я весело катился бы по ледяным тротуарам, вбежал бы в дом, перезвонил бы всем знакомым, наговорил бы им много слов хороших. Мне очень хотелось сыну, матери, дочери, старику и старухе, лошадям – праздника, но гололеду нет конца, и я ступаю осторожно, будто на мне тяжесть судеб людей, которых я сегодня понял. Немножко жаль, что у меня сегодня день Понимания, он много мне дал, но и отнял многое, много веселых дней в моей оставшейся жизни. Гололеду нет конца.

1980





ОЗРОК

Озрок – это маленькое хрупкое пятнадцатилетнее существо. Озрок был ходячим протестом против развитого социализма. Впрочем, столкнись он с капитализмом, то вряд ли бы и его одобрил. Если нормальный человек на семьдесят процентов состоит из воды, то в воде той плавают остатки процентов, состоящие из компромиссов, приноравливания к любой системе, к иному человеческому мировосприятию. В Озроке на все сто плескались волны анархизма. Он был врагом всех систем, всех мало-мальски человеческих объединений. Воевал он на многих антиколлективных фронтах, единственное утешение – на войну идти недалеко, благо фронты все рядом. Это кинотеатр, кафе «Мороженое» и гастроном. Ну какому парню в пятнадцать лет не хочется сходить в кино, поесть там мороженого, выпить бутылку-другую отличного портвейна «33» и закусить его дюжиной шоколада «Аленка» или на худой конец «Кофейного»? Может быть, такие и бывают, но, значит, они жили не в 60-х годах и не в нашем городе, а уж тем более не на нашей улице. Тогда наш городок походил на маленький уютный бескровный Палермо. И улицы тогда были полны личностей, уличных, но личностей. Сейчас город наш вряд ли отличишь от Тамбова, а улицы просто массово заполнились. Город был теплым и терпким, почти как Кисловодск, как вино в нагретом солнцем деревянном бочонке, как воспоминание о теплых странах, в которых никогда не бывал. Все от мала до велика, выходя в город, одевали все лучшее, мало дома туфли начистишь – еще и «бархатку» для обуви сунешь во внутренний, поближе к сердцу, карман пиджака, да еще зайдешь к старому, мудрому ассирийцу-сапожнику, который знал, кто ты, знал родителей твоих, где живешь и даже где жить будешь. Выйти в город в майке и трико, – такое никому и в голову бы не пришло, и не потому, что время такое





было, я видел городки, где и тогда разгуливали в нижнем белье, просто мы чтить свой город, и он нам платил тем же.

Озрок сшил на заказ остроносые туфли, удачные они получились, «аэродинамичные», готовые к полету. У Озрока не было обувной «бархатки», но он ежесекундно обтирал их о тыльную сторону штанин, идет себе и чистит туфли о штаны.

Хотелось Озроку и в кино, и в «Мороженое» и, конечно, в гастронном, а там все повязаны круговой порукою, в общем, шайка государственная. «Давай деньги», – говорят. А кто дал бы их Озроку? Попрошайничество денег у родивших тебя считалось у нас дурным вкусом, и вкус этот всячески развивали и поощряли наши родители, не исключением был и Озрок, он скорее походил на правило. И вот против этого государственного вымогательства и восстал Озрок. Откопал в дебрях кухни громадный нож и ринулся на штурм кинотеатра. Он оттягивал слегка дверь, просовывая нож, двери распахивались, и Озрок царственным жестом приглашал нас просветиться. Были фильмы, которые мы смотрели по двадцать и более раз, потом двери стали закрываться на нижние и верхние щеколды. Один он уже не мог справиться, но впятером, вшестером вполне можно было образовать приличную щель, куда Озрок совал какой-нибудь малоопрятный дырн, и дверь, матюгнувшись, поддавалась. Потом вставили такие замки, что кати хоть паровоз, если появилось желание бесплатно потрудиться. Тогда Озрок влезал в форточку туалета, и вновь светились его белые зубы в темных проемах кинотеатра. Заколотили форточку досками – «все ушли на фронт». И тогда Озрок вынужден был пойти навстречу людям, впервые, быть может, в своей жизни. Люди из кино, а Озрок им навстречу... И за экран, мы за ним. Начинается фильм, мы выползаем и чинно рассаживаемся по стульям, облюбованным нами заранее. А потом кинотеатр сдался, стали проветриваться туалеты, и, можно сказать, распахнулись двери, но Озрок, великодушно простив коллектив кинотеатра, который он успел узнать лучше, нежели родителей своих, вдруг резко охладил к киноискусству, видно, кино окончательно впало в упадок.

Простив работников культуры, Озрок сосредоточил свои силы на торговом фронте. Выбрав момент, когда продавщица шла мыть посуду, он влетал в кафе, открывал крышку холодильника-прилавка, миг – и он катапультируется с полной пазухой мороженого. С гастронном





он обходился более интеллигентно. Выбивал в кассе два чека, на 22 и 17 копеек, брал копирку и отточенной палочкой обозначал единицу и получалось 1р. 22 к. – стоимость «Портвейна» и 1 р. 17 к. шоколада «Аленка». Мы, послевоенные полубеспри-зорники, в свое время недополучившие сладкого, щедро компенсировались благодаря войне, организованной и проводимой лично Озроком. Не могу сказать о нескольких поколениях горожан, но что одно поколение нашей улицы выросло и окрепло на шоколаде Озрока – это точно. Даже Хампот, этот кривоногий, кривоносый житель окраин, делавший окрошку из подсолнечного масла, поевавший эту бурду, мурлыкая и жмурясь от удовольствия, прописался на нашей улице в одном из многочисленных сараев. Его усыновил Озрок, хотя Хампот был лет на десять старше. Уже через пару недель шоколадной профилактики Хампот, который, кроме мата, знал еще десяток слов типа «дай», «принеси», «зарезу», «бикса», – вдруг поразил нас каким-то томным и сытым взглядом и чрезмерной интеллигентностью: вдруг, в перерыве меж игрой в футбол и поддавки, он подтянул трусы, что спадали с колен, оправил оборванную майку и, выставив кокетливо свою кривую волосатую ногу, сказал: «Пацаны, зовите меня Валя». А творец сего чуда сидел себе в сторонке и улыбался своей прифронтной улыбкой. Но мы все поняли, что Макаренко тьфу по сравнению с Озроком, просто пыль на хампотовских ушах.

Озрок врал всегда, врал даже в ущерб себе. Как-то с Лесиком мы пришли к Озроку поболтать о том, о сем, и Лесик взял просто так с подоконника озроковские часы, игрался, игрался с ними, в запарке сунул в карман, да и забыл про них. На следующий день относили часы обратно, не успели мы о них заикнуться, как Озрок, состряпав испуганное лицо, сказал: «Пацаны, что вчера со мной было, захожу я в свой подъезд и тут четыре ножа, два сбоку, два сзади: а ну, снимай часы, а что было делать, такие гамбалы, а у меня в кармане даже расчески не было». Мы посмущались за Озрока, потом Лесик втихомолку сбросил их на тот же подоконник, и утром они уже горели на руке Озрока.

Отец Озрока, худой низкорослый молчаливый человек, откликающийся на вопросы других из чистой вежливости, причем хватал первые попавшиеся слова, швырял ими в вопрошающего и умолкал, и спрашивающего как-то не тянуло на дальнейшие пере-





говоры. Отец его чистил зубы какой-то очень пенистой пастой. Где он ее откопал, когда вокруг за тыщу верст кроме «Поморина» и «Хвойной» ничего не было?

– Озрок, откуда у отца паста?

А он:

– С Китая ее привез.

– Озрок, пойдем сегодня на парад?

– Ну ее, эту чертопляску.

– Вот, – сокрушается мать-старушка – для всех праздник Великого Октября, а для него – чертопляска.

И вместо парада пошли мы с ним на озеро покататься на лодке.

Пустынно. Кто пляшет на площадях, кто пирует в кустах. Озрок явно загрустил – никого вокруг и не к кому пристегнуться, лишь чья-то одинокая лодка покачивалась на середине озера, к ней мы и поплыли. На дне лодки лежал великан. Прищулив глаза, он блаженно поглядывал на бегущие облака и думал, видно, о чем-то хорошем и, судя по его облику, с ним не часто такое случалось.

– Эй, бульдог, – крикнул Озрок, – чего ты на небе нашел, может, поделишься?

Великан встал, оглядел тщедушную фигурку Озрока, потом что-то в нем дрогнуло, и он вновь растянулся на дне лодки, подумав: «Ну, и слабак же ты, будто по осени рожденный чертенок, но лучше не связываться с нечистой».

Озрок бросил пить, стал заниматься боксом и за один год умудрился стать чемпионом республики. Прибежал он домой радостный: «Па, а па, я чемпионом республики стал по боксу». Отец его слегка оживился: «Молодец, Алик, олахи, бардак этот тоже хорошо».

Озрок окончил восемь классов, одноклассники во всю пируют на втором этаже, а он стоит в фойе и улыбается своей прифронтовой улыбкой. По лестнице сбежал его классный руководитель Аскер Хамидович:

– Алик, почему здесь стоишь, там торт, лимонад, пойдем наверх.

– И ты еще спрашиваешь, чего я не праздную? Не ты ли влепил мне в свидетельство три с минусом по поведению? Домой твою бумажку принес, а отец ею и печь топить не хочет.

И он, развернувшись, ковбойской походкой вышел из школы.





Ушел, чтобы никогда не вернуться. Мы шли с ним по еще одноэтажному проспекту, дошли до обрыва, маленькие домики завершались у пылающего Дома Советов.

– А сюда пускают? – серьезно и грустно спросил он.

– Не знаю, может, кого и пускают.

Я уехал жить в деревню, к бабушке, и несколько лет Озрока не видел, а встретив, не узнал – куда что подевалось: глаза, кроткая улыбка, – все монашье.

– Что-нибудь случилось, Озрок?

– Да, случилось. Помнишь грузиненка, Шоту, маленький такой, с бородкой, учился у нас? Там же, на танцах, все и произошло, сцепились мы с ним из-за пустяка, то ли я его толкнул, то ли он меня. В общем, побил я его, как собственного ишака, аж самого до сих пор передергивает, чуть вспомню.

Поехали мы в Тбилиси на соревнования. Отбуксировал вроде неплохо, выиграл, иду себе довольный и – столкнулся я на улице с Шотой. А, брат, говорит, пойдем, по нашему обычаю, съедем кусок хлеба и запьем его стаканом вина. И тащит меня в кабак. Сидим, едим, пьем, а он все про свою жизнь. Мол, кончил учебу, работаю прорабом пока. Ну, думаю, говори, говори, небось на улице стоит кодла счетоводов, кости мои считать пришли. Поели, попили. Шота обнял меня, сунул в карман пятьдесят рублей. Выпьешь за мое здоровье, говорит, с первым, кто тебе попадется на пути. Хороший у вас город и ты хороший человек, только не совсем созрел. С тем и отпустил меня восвояси. Ничего вроде и не произошло – сели, поели, выпили слегка. Крепко меня били – и не помню, а вот разок не поколотили – и забыть не могу. Вчера ехал с одним на машине, гляжу, гуси домашние летят, да высоко, будто дикие. Что это они разлетались, спрашиваю у шофера.

– А домашние гуси раз в году и летают – осенью. Бог их ведает, чего им взбредает в башку ихнюю, – говорит шофер.

– Ты представляешь, сколько живу и первый раз вижу, как гуси летают, – и он посмотрел на меня, глубоко и кротко улыбнулся.

Смотрел я на него, и он напоминал мне громадную виноградную лозу, выросшую без солнца, потому и не плодоносящую, и вот кто-то взял и веточку развернул в сторону света и на ветке той вылупились уже первые ягоды...





Озрока забили до смерти в КПЗ. Он пытался защитить от троих насильников девушку. У насильников оказались папы и мамы, и не просто папы и мамы, а с волосатыми руками, они купили и девушку, и всех остальных. А из Озрока выбивали признание и выбили жизнь...

Уходят с улиц личности, уходят-пропадают. А ведь они много чего могли: стать чемпионами мира, выдумать новый компьютер, вырастить невиданные цветы, они не могли только жить в рабстве и выбираться из него всеми недозволенными средствами.

Почему, когда человек погряз во всем отвратном, живет на теневой стороне земли, его как-то терпят, но стоит ему потянуться к свету – обязательно наступят. Почему? А почему Христа распяли, а Варавву помиловали, почему? Потому что Христос попытался осветить теневую сторону земли, а там себе спокойно проживали и Варавва, и еще многие и многие, а свет этот ослеплял и приводил в ярость. Христос – для кого Свет, для кого ослепление. Иду в кинотеатр, захожу в кафе «Мороженое», покупаю вино в гастрономе – вспоминаю Озрока. Полетели гуси домашние – это самые святые их минуты воспоминания о былой воле, попытка вырваться из рабства.

Господи, как потускнел мир с уходом этого маленького, хрупкого человечка!

Еще в детстве я ему сказал: «Озрок, когда-нибудь я напишу о тебе рассказ, только я не знаю, как его назвать». Он улыбнулся своей неповторимой прифронтовой улыбкой и сказал: «А ты так и назови – «Озрок».

Я так и сделал.

1980





КОШКА

Встретишь иного человека и думаешь: как бы не потерять. А у кошек я беру и беру, а как долги буду возвращать – не знаю, да и невозможное это дело. Бывает, все-все вымерло, никого не осталось: горы да камни, да пустые дороги... Ляжет на грудь это пушистое создание Божье, лапками помассирует и согреет тебя и думаешь: ничего, завтра все будет иначе, и все вернуться, и ты возвратишься. Чем с ней считаешься? Злостью своей и завистью, жадностью и коварством? Ничего такого кошке не нужно. Что могу я дать ей, не сеящий, но ползающий? Я, годами писка крохотной птички не слышавший и утверждающий, что без музыки жить не могу? Что я дам, опавшего листка бесполезней? Тот согревает и питает землю. Что могу я, не видящий звезд и плюющий в костер? Что могу я дать этому пушистику, лежащему на моей неряшливой кровати? Я у нее беру. Утром, как и она, вытягиваюсь в кровати, стараюсь, как и она, улыбаться в предвкушении дня. Потом я умываюсь, стараюсь есть и бережно ступать по земле, как и она. И еще я учусь у нее любви. Долг мой гнетет меня, ведь нельзя же все время брать. Жду, когда наступит день и одену я рубаху белую, умоюсь росой и постараюсь без суеты прожить хотя бы один день, вспомнить себя, найти себя, и тогда, быть может, и я смогу что-нибудь дать моим учителям.

В кошке большая тайна. Когда она дремлет, ей снится древняя Родина – Аравия. Я пытаюсь услышать сон кошачий... Ей снится солнце, пустыня, верблюды и тепло. Ей снятся пирамиды и фараоны, Библия, Коран и Талмуд. Она помнит Гильгамеша, ей сняты первые песни, первые звуки тамтамов. Это крохотное существо вместило в себя историю, музыку, танец и архитектуру, и весь этот сплав поет внутри нее и танцует, она слушает эту музыку ушедших веков и улыбается во сне. Прогнувшись, она хмуро оглядывает снег сквозь окно, печку, телевизор, белые холодные стены. Нет, думает она, это какой-то кошмарный сон. Закрывает глаза и возвращается в настоящую жизнь. После кошачьего сна Чайковский, Бетховен, Шопен уже не кажутся великими, каждый из них услышал только фрагмент этого сна. Полностью сон этот видели Мусоргский и Бах. Они поделили землю пополам – на Востоке властвует Мусоргский, на Западе – Бах, а маленькая кошка спит, вытянувшись во всю длину на моей неряшливой кровати, спит и улыбается, купаясь в музыке веков ушедших.

1980





ПУСТЯК

Человек увидел в прошлогодних золотых травах фиолетовую нитку. Разозлился и пошел людям сказать, какие они нечистоплотные и неряшливые и еще много-много справедливых, нужных, злых слов рождалось внутри человека. Другой человек увидел эту же нитку, свернутую, как цветок, и подумал, что прорезался первый подснежник. Оделся во все новое и помчался к людям рассказать, что наступила весна.

* * *

Смотрю на деревья, слышу вдалеке гул камнепада, мальчишка бьет палкой о железные ворота, звук неприятный, но есть в нем некая правда жизни нашей. Смотрю на деревья и думаю, как много лишнего сказано о себе и о других. Смотрю на осенние деревья, слушаю их, вижу, как скупое с них падают дождевики, как запятые и точки в древесных предложениях, как малословны деревья и как значительны их слова. Осень. Смотрю на осенние деревья, слушаю их, и с каждой минутой становлюсь все меньше и меньше.

1982





РАСТЕМ, ЖИВЯ

Старик любил ходить в гости. Ходил без приглашения. Сам был прост и в других не любил излишеств и вычурностей таких, как приглашение. Поест, попьет и идет в следующий дом. В глаза мусульмане ничего не говорили (ведь у нас к старикам относятся с почтением), а за глаза почти все – мол, жена не кормит, вот он и ходит, обжирается. Зашел я как-то к соседке за солью, старик у нее сидит на диване, улыбается, как всегда. Вижу, вижу по недовольному лицу соседки, многое бы отдала, исчезни старик. Пожалел я ее и пригласил старика к себе в гости. Сварил чай, поставил перед ним огромный поднос с конфетами и пряниками. А он – жменю в карман, аккуратно очистил поднос, одежда у него оказалась удивительно приспособленной к чужим конфетам и пряникам. Я не знал – смеяться мне или злиться?

– Ну, как, – говорю, – дедушка, в старину люди получше были?

Это от растерянности ляпнул, а он:

– Получше, сынок, – говорит, – получше, – и улыбается, будто ничего не случилось, а я про себя думаю: «Шиш бы ты в старину нашел такого дурака, чтоб такой поднос и перед тобой. В старину лежали бы эти самые конфеты да пряники в сундуке, надежно охраняемые замком амбарным, а поднос, думаю, и вправду большой».

Вышел старик и стал моими конфетами и пряниками кормить детей, тут я совсем успокоился. «Ну, думаю, некоторым и шара земного для детей не жалко, а ты из-за каких-то пряников-конфет расстроился, тем более, если дети наше будущее, то кормить это самое будущее надо сладко и сытно», – улыбался я себе.

Долго я не видел старика-гостевика, не до него было. Возраст у





меня переходный, как шутит мой друг – из молодости в дряхлость, минуя зрелость. И, как куприновский гимназист, я обнаружил, что люди – это мясо и кости, а это обстоятельство ни на что не воодушевляло. Сажу дома, никого не вижу и видеть не хочу, досиделся до тумана в голове. «Нет, думаю, надо проветриться, а то бог знает, до чего досижу». Взял удочку и на рыбалку. А сам злой – передать нельзя, глаза в землю, камни считаю, тяжесть в теле, слышу: «Салам алейкум!» И голос звонкий такой, молодой и радостный. Ба, да это же старик-гостевик, глаза у него юные, смеющиеся и сам он весь бодрый, напружиненный, смотрит на меня ласково и нежно и во взгляде что-то трогательное, чистое, младенческое.

– А ты вырос, – говорит.

Улыбнулся я невольно, ну как не улыбнуться – через три года 40 лет, а все расту... И куда исчезла злость и хандра – вместо них чувствую покой и радость, прощаясь со стариком, невольно кланяюсь ему. Пришел на речку: а в глазах старик, и меня как током пронзило, как озарение – я понял его, и кажется мне, что самую суть понял. Мне показалось даже, что я его ровесник, помню его с самого детства. Теперь я знаю точно, бывают безгрешные люди, совсем безгрешные. И понял я, какую большую цену дает старик за жменю пряников-конфет.

Шел я вдоль речки, забыв про рыбу, думал о людях, о себе. И вдруг поймал себя на том, что иду как-то не так, иду, подгибая ноги и сутулясь, как очень высокий человек.

1982





МУЗЫКА

Наша кухонька единственным окошком смотрит на железную дорогу.

Если бы вы знали, как тяжело жить у этой дороги: вечно куда-то хочется уехать, тягостно видеть веселые и беспечные лица тех, кто едет – счастливы. Тяжело жить у железной дороги, если тебе пятнадцать лет.

Я рублю капусту, мама что-то шьет на машинке, идет поезд, и я в открытую форточку слышу: чух-чух-чух, а из-под моего ножа – тук-тук-тук, а машинка – та-та-та, и в кухоньку врывается запах мазута и еще запах тех неведомых земель, где побывал поезд, ведь он не только увозит, но и привозит запахи и даже краски тех земель, где успел побывать. Борщ готов, отец и брат пришли с работы и как хорошо и задорно они едят, вот уже ложки скребут дно тарелок, нет, не скребут, а весело постукивают. Звук уходящего поезда, звон ложек, стрекот маминой машинки рожают во мне музыку, будто флейта запела. И мне кажется, что во всех домах нашей улицы все стучит, звенит и радуется.

Мне жаль тех, кто живет на центральных улицах, там много машин, и машины эти везут будни. А весной... Весной и поезда идут веселее, мелькнет в окошке перепачканное, но веселое лицо машиниста, и чувствуешь – весна. Весна, и еще сильнее хочется куда-то ехать, встретиться с кем-нибудь и с кем-нибудь прекрасным, хочется зайти к кому-нибудь, позвонить или бежать и бежать по шпалам вслед уходящему поезду и даже чуточку верится, что можешь догнать поезд и заглянуть в лицо улыбчивого машиниста, махнуть ему рукой.





Ни в парке, ни при виде подснежников и первой робкой травки, нигде я так остро не ощущаю прихода весны, как у железной дороги. А как приятно спать в чистой накрахмаленной постели, луна освещает рельсы, черные шпалы и мою постель, и постель моя кажется еще белее и чище, и сны мне снятся хорошие. Во сне я слышу гудки поезда, такие надежные гудки, и кажется мне, что я навсегда и все мы навсегда – папа, мама, брат и я. И еще мне кажется, что в доме нашем живет невидимый дирижер, и мы все играем на ударных инструментах, но только зачем во мне звучит флейта жалобно и тревожно, и в груди у меня холодно и пусто – боюсь за маму, ее лицо осунулось и похудело. Она подолгу уже не может сидеть у машинки, часто ложится в постель, заболела, но ведь это пройдет, обязательно пройдет, ведь весна. Когда возвращаются брат с отцом, они весело и сильно хлопают дверьми и едят вечный борщ, и стучат ложки по дну тарелок. За окном весело проносятся поезда, оживает домашний дирижер, оживают звуки, значит, мама выздоровеет. В стук ее машинки мне слышится: уедем, уедешь. Я смотрю ей в лицо, и во мне поет флейта, мне хочется крепко-крепко ее обнять и слушать стук ее сердца – уедем, уедешь.

1983





УЛЫБАЕТСЯ БОЖЕ

Смотрю на попов, смотрю на муллу, внимаю их речам, но в словах их не слышу улыбки Господа, не вижу смеха Его. А ведь на земле самый умный человек – человек улыбающийся. Если б Боже не был улыбчив и смешлив, как бы он создал такого умного человека? Как радугу б нарисовал, не улыбаясь? Как бы летали птицы и цвели деревья без улыбки Божьей? Как бы шагнул ребенок, если б Господь не улыбался? Просто у Бога нашего смех и серьезность нераздельны. Все слова всех служителей церкви разве серьезней и значимей цветка улыбающегося? И стал я искать в святых книгах следы Божьей улыбки и смеха. Нашел в Библии.

Жители города Ниневия непомерно грешили и тем вызвали гнев Божий. И позвал Господь многострадального Иону, во чреве кита поскитавшегося вдоволь. И сказал Господь Ионе:

– Пойди в город сей и скажи живущим там – если они не вернуться к вере моей, – сотру их с лица земли.

И пошел Иона в град сей, и видел там блуд и мерзости, и передал им Иона слово Божье, и покаялись жившие там, и Господь простил их. И сидел у ворот города Иона, опечаленный решением Господа, и казалось ему, что нет прощения ниневийцам.

И сидел Иона у врат городских, голову пекло солнцем, снизу поджаривала земля, вокруг ни травинки, ни куста какого. И произрастил Господь Бог растение, и оно поднялось над Ионою, чтобы над головой его была тень, и чтобы избавить его от огорчения его; Иона весьма обрадовался этому растению. И устроил Бог так, что на другой день при появлении зари червь подточил растение, и оно засохло.

Когда же взошло солнце, навел Бог знойный ветер, и солнце стало палить голову Ионы так, что он изнемог и просил себе смерти и сказал: «Лучше мне умереть, нежели жить».

И сказал Бог Ионе: «Ты огорчился за растение, которое не сажал,





не выращивал, которое за день выросло и за ночь погибло, а каково мне уничтожить те двести тысяч живущих в городе сем людей, не могущих отличить, где у них левая, а где правая рука».

Так, посмеиваясь, Боже вразумлял Ионе Большое...

На рыбалке я вспомнил Иону, может, кит на ум пришел, может, рыба потому что не ловилась, может, потому, что на речке почти что видимы и время и Бог.

Долго бродил я и, наконец, поймал крохотную рыбку, и возопил я к Господу Богу всей своей усталой плотью и изнуренным духом: «Боже, возвращаю тебе маленькую, а Ты вместо нее дай мне большую и жирную». И двух шагов не прошел – как вот она, громадина, вначале думал, камень подвернулся. Нет, тронулась, тянул я ее, будто годовалого барана из ямы глубокой, будто ветвистое дерево из чащи дремучей, тянул, тянул – еле вытянул, да и сам при этом опрокинулся. Такого зверя еще не видели наши старожилы, ох и нацокались бы они языками... если бы...

Ходил я по речке, малую рыбку выпускал, большую к рукам прибирал. Ходил, смеялся да с Богом торговался. К вечеру утомился, уж больно мешок тяжел оказался. Ну, думаю, пора и домой. Перед тем, как умыться, положил мешок на покатый камень, да к реке повернулся, – слышу сзади шу-шу-шу, оглянулся – моя рыба из мешка скользь, и несет ее река, будто поленья уносит. Кинулся я за ней, сам взмок весь, поймал несколько штук, остальные поплыли, помахивая мне на прощание своими радужными хвостами. Иду, карабкаюсь на бутор мокрый и злой, запыхался, сел отдохнуть. Вечерело, улыбнулся месяц, горы выдыхали звуки, собранные за день, и бежала река, хохоча, и Боже смеялся, пуская белые облака, засмеялся и я. И торопилась река донести радость Божью до земель далеких и грустных.

1985





ЖЕНСКОЕ МОГУЩЕСТВО

От сильной жары погибли травы и деревья. Пожелтели слегка люди, но продолжали передвигаться.

День дождя нет, два нет, неделю... А солнце горело без устали. «Что есть будем? – думали люди. – До базара далеко, да и без страха туда не зайти, а зайдешь, так и хлопнешься: месяц пахал – за миг выложи». Какой-то дядька сказал: «Жизнь в борьбе». Но в борьбе той почему-то раздевают тебя. Да, что ни говори, а дождь нужен, хоть голова в прохладе, а то сядем с бабами во дворике Сакинат, так и просидим до вечера на солнце, а домой придешь, в голове огонь, ничего не соображаешь.

Собрались мы, все деревенские бабы: пойдем, думаем, на речку, дождь выпрашивать, и Атика с нами, без нее ничего бы у нас не вышло. Заболеет в селе кто, бежит фельдшер, врача-то нет, – ну и давай колоть, таблетки совать – а все без толку. Придет Атика, плюнет смачно, будь ты хоть баран, хоть человек, обязательно на ноги вскочишь.

Вытащили из сундуков все лучшее, сколько могли, на себя прикинули, остальное на палки прилепили, а как же, без флагов никак нельзя. И двинулись все на речку – впереди Атика с громадным желтым флагом на кривой сучковатой палке, идет, поет, у Бога дождь выпрашивает, мы же дружно все подпеваем. Мужички вослед нам поглядывают и хихикают, желтенькие такие, дыхнуть нет силы, а они хихикать: напекло, наверное, головы бедолагам. С собой мы все взяли: и казан, и ложки, и чашки, да барашка уже разделанного, – а как же, иди целый день попой по этой жарнице, ослабеешь, небось. Поем мы, значит, ну кто как может, кто по-арабски, кто по-балкарски, к вечеру –





грянули по-русски. Поем, а казанок наш кипит. На крики и запах шурпы откликнулись мальчишки, сели на бугре и смотрят на нас, за ними потянулись собаки, только у мужичков сил не хватило – хихикать хватает, а как прийти, поддержать – этого не дожدهшься. До самых потемок пели, еле живые до дома добрались. А утром грянул дождь. День идет, два идет, неделю уж поливает. Мой паразит уже розовесть начал: ты, говорит, если в следующий раз дождь просить удумаешь, оставь половину баб в деревне, а то вы вчера перестарались, кого-то вы там наверху напугали, но перебрали, просили дождь, а получили ливень. Дожди не прекращаются, на улицу не выйти, узнать бы, как там мои бабоньки поживают.

А сын читает вслух русскую книгу: «Лицеисты при встрече целовали друг другу руки».

Читай, маленький мой, читай, а я телевизор посмотрю, правда, смотреть нечего – вон дирижер головой мотает, будто дурачок наш деревенский – Чокка, машет руками, будто ускользнувшую куру ловит, тоже, небось, на солнце перегрелся. Испанские бабы копают картошку, а корреспондент что-то у них спросил про Дон-Кихота, и они закатились в хохоте. Боже, как они на наших баб похожи!

Вот так и живем, милый, то пекло, то ливень, то дирижеры по телевизору, скучаю по бабам своим.

1985





СОН

Проснулся он за полночь. Включил ночник, листал забытые сыном книжки Фолкнера и Гарсиа Маркеса, впадал в дрему-сны и выползал из них.

Пушной техникум в Бодайбо, нарты белые, голубоглазые лайки, бег, снег, свобода, все ухнуло в полынью, плавание по морскому тоннелю из дома в гастроном в пол-квартала, из гастронома домой, хлопанье дверьми, дверцами шкафа и холодильника, плавание среди подсобок, шашлычных и пивнушек, опоясавших гастроном. В директорский кабинет, в его кабинет, всплывают караси – нежнейшие и дороднейшие дамы-продавцы с красными червонцами в алых губах. Всплывают и выплывают спруты и крабы на «волгах» и «вольво», жучки и паучки. Звон бутылок, как звон ледышек.

Фолкнер и покойный отец в шортах и куртках цвета хаки. Избушка на берегу реки, большое зеркало, деревянные нары. Школа. Пионерский лагерь. Утро. Запах воды и зубного порошка, и была в этом запахе таинственность, сулящая необычность грядущему дню. И день врывается, скомкав утро. Они идут в поход, не куда-нибудь, а в старый, заброшенный монастырь, идут на целых три дня, а ночью костер у стен монастыря, в густом лесу на самой макушке горы. Палатки влажной запах вольный, и словно на ладони птичка – сон, черные кривые дома в тумане, нарисованные детской рукой, и запах, запах давний бумажной пульки в детском ружьеце. Какао, костер, роса и девочки-инопланетянки, все в начале и нет ничему конца. Нарты, голубоглазые лайки, бег, снег, свобода – уханье в полынью, сияние блики на черных стенах тоннеля. Умер отец, ушли запахи, обыкновенный иней осыпался с обыкновенных веток, падал лист, кто-то кинул ком земли в могилу близкого, упала капля с крыши – кто-то умер. Нет, запахи еще жили в нем, они приходили по ночам, врвались в сочиняемую им музыку, и музыка пахла зубным порошком и звонкой водой, и бежали по белому снегу голубые лайки к солнцу у





горизонта. А днем черепахой вплывал в свой кабинет караван машин «в Москву, в Москву» – за товаром.

Отец и Фолкнер в шортах и куртках цвета хаки, отшумели слова, переплавились в емкий и гулкий покой и молчание, и, глядя на них, директор видел свою потерю и видел возможность будущего обретения.

Фолкнер смотрел в зеркало и молчал, а он, набравшись смелости, тяжелея от света, пробивающегося через молчание и покой, вспомнив фолкнеровскую фразу «Париж Скотта Фицджеральда и Париж Хемингуэя, что не одно и то же» – спросил: – «А вам чей Париж по душе?» Фолкнер удивленно и чуть строго посмотрел на него, улыбнулся и широко развел руками, и в этой улыбке и разводе рук чувствовалось, что ему нравится Париж Фицджеральда.

А отец и Фолкнер сидели на нарах спокойные и величественные в простоте своей, чуть усталые после строительства Парижа, и стройка эта была мигом в их большой работе, сидели два Бога, два человека племени малопонятного, сидели и молчали.

А он суетливой птахой кружил вокруг Фолкнера и, тяжелея от света и покоя, чирикал: «Особняк», «Шум и ярость» будто разные люди написали». А Фолкнер молчал и улыбался, отец тоже молчал и улыбался. «Один человек, а такие разные вещи», – приставал он к Фолкнеру. А Фолкнер улыбался и широко разводил руками, и вырывались вещи на волю и летели никому неподвластные, как птицы, по осеннему постаревшему небу, полетели туда, куда мы летаем, или летали, во сне. И он понимал их безмолвие, как осеннее небо, наполненное птичьей грустью; и безмолвие, такое глубокое, что он видел голубизну тех краев, куда летят птицы, куда летаем мы во сне, или летали. Все здесь было значительно и просто: избушка, сбитая из не-ошкуренного соснового кругляка, нары и два близких ему человека, сидящих рядышком в шортах и куртках цвета хаки.

Бежала меж деревьев речка – мудрая девочка-подросток в шортиках и куртке цвета хаки, и лес-юноша со свирелью в руках, любующийся речкой, и играла на свирели той сама любовь.

И вынес отец из избушки что-то в большой пластмассовой посуде. «А у меня есть белый коньяк, жаль вот, закуски нет». «А мы прине-сем», – озорно сказал Фолкнер, кивнув в сторону директора. И пошли они в глубь леса по узенькой тропинке.





И летели по снегу голубоглазые лайки, и музыка опускалась из давних снов, и пахло зубным порошком, и ухнуло все в полынью, звон ледышек над головой, как звон бутылок.

Берег реки, множество голых людей, большой мост с красной железной крышей. На другом берегу белый особняк среди сплошной хвои и зелени. «Особняк Маркеса», – мелькнула мысль. Он шел по мосту, и вдруг автоматная очередь, на той стороне – стрелок, но не снайпер, но пули все же втыкаются рядом с ним, мост длиннющий и подпирают его обычные бревна, черные и прогнившие. «Надо вернуться», – думает он и оглядывается на голых купальщиков, те безмятежны, будто не слышат стрельбы и не видят, что убивают человека. Нет, назад хода нет, надо перейти мост. И он проворно ныряет под мост, хватаясь руками за одну из подпорок, бревно крошится, опадает черными гнилыми опилками, но выдерживает, а пули чиркают по железному верху и падают, булькая, в воду.

Стрельба прекращается, и он смело идет по мосту, идет к белому особняку. Стрелка он увидел метров за пятьдесят. «Повернуть назад?» – но шагнул вперед. Стрелок медленно приближался, но почему-то без автомата, а держа в руках огромный топор. Он по пояс голый, большое зеркало висит в воздухе, стрелок смотрит в него, разворачивается и медленно подходит. «Сейчас взмахнет, – успевает подумать директор, – и все навсегда смешается: красный особняк, красный лес, красная река, красные купальщики». И он замирает в ожидании красной карусели. Но почему тот, с топором, медлит? Скорей бы уж.

И радость – человек с топором оказывается одним из его клиентов, базарным мясником. Как он изменился, нет уверенности, глаза в себя. Мясник отшвыривает в сторону топор, обнимает директора за плечи, а в глазах мольба:

– Слушай, ты много ездешь по свету, купи мне большую картину, чтоб на картине той было много людей, и икону, и книги.

– Я бы рад, – говорит директор, – но у меня нет денег.

– Это у тебя-то нет денег, ну, нет так нет, я тебе дам, чего-чего, а этого хватает, мне с некоторых пор деньги ни к чему. – И он ведет директора в особняк.

– Что это за дом?

– Не знаю, просто я здесь работаю сторожем, хочу читать, хочу





картину и на ней много людей, или икону, у меня ничего такого нет, в подвале особняка полно автоматов, сюда в лес приезжают хозяева-охотники, и день и ночь бьют дичь. Полы в комнатах в крови, в перьях, в клочьях шерсти. В этом доме всегда пахнет кровью, дичи в лесу множество, вот и бьют ее хозяева-охотники.

Они спускаются в подвал, стрелок-мясник достает из-под кровати мешок, запустив туда руку, швыряет деньги на пол, куча растет.

– Зачем так много? – спрашивает директор.

– А мне много книг нужно и много картин, я так давно ничего не читал, ничего не видел. А есть ли в мире книги и картины? Есть, говоришь, так привези, а то я сойду с ума от стрельбы и одиночества.

Куча денег на полу растет.

– А почему ты стрелял в меня?

– Вначале я подумал, что ты хозяин-охотник, потом, что ты купальщик, а тут вижу, ты ни то и ни другое, ну и стал стрелять. Ты не хозяин-охотник и не купальщик, кто ты? Купальщиков я знаю, у них одинаковые лица, они купаются и загорают и совсем не слышат и ничего кроме речки не видят, я бы мог со скуки в них стрелять и убивать их, а живые стояли бы рядом, ничего бы не видели, ничего бы не слышали, они слепые и глухие, их и убивать неинтересно, они мне надоели. Я хочу читать, чтобы что-то услышать. Я хочу картины, чтобы что-то увидеть, попросил я у хозяев-охотников, а те разозлились. «Убьем, как крякву, – сказали, – если еще хоть раз вякнешь о том, чего в природе нет». А я же помню, что были, на тебя только и надежда. Привезешь, не обманешь?

– Привезу.

«Наверное, и в глазах детей своих выгляжу охотником-хозяином, и они принимают от меня тряпки и еду как приятную необходимость», – уныло думает директор.

– Откуда этот противный запах?

– Это во всех комнатах дичь гниет, я привык и не чувствую запаха, – бесстрастно говорит мясник-стрелок.

Они выходят из особняка, пахнет хвоей и солнцем, а на другом берегу купальщики, их много, тьма, они купаются, загорают, ничего не видят и ничего не слышат, почти ничего.

– Послушай, а что они едят? Где живут?





– Они ловят рыбу руками, у них отросли громадные когти, рыбы много в реке, а живут тут же в норках. А теперь уходи, скоро должны приехать хозяева-охотники, они не любят посторонних, непременно убьют, видишь, висит их любимая табличка «Посторонним вход воспрещен!»? То-то.

– А тебе одному не страшно? – спросил директор у стрелка-мясника и сторожа.

– Одному никогда не страшно, страшно, когда приезжают хозяева-охотники, и страшно, когда смотрю на купальщиков. Ну, иди, да не забудь про книги и картины, очень тебя прошу.

И он пошел. Шел он тихим дремучим лесом, на сосне сидела плешивая белка и плакала, под деревом волк с изрешеченной шкурой пытался прикрыть свои заплаканные глаза, он шел сквозь лес и думал – одному действительно не страшно.

И летели голубоглазые лайки к солнцу у горизонта, скрипели полозья... Он вылетел из нарт и больно ударился о бетонную твердь.

И разделил бес землю пополам. И по меже той прорыл громадный ров, ни дна у рва, ни краев. На одной половине поместил одинокого человека, на другой – людей остальных, и отделил бес человека от людей. И одел бес землю и небо в бетон и пустил по небу громадных птиц со злыми глазами.

И ступал человек по бетону и взирал человек на бетон и не было тому бетону ни конца и ни края. А на другой половине веселились люди, прилипшие друг к другу, так им было тесно, опускали глаза к земле, а видели чьи-то башмаки и не видели, что земля в бетоне, поднимали глаза к небу и видели чужие носы и подбородки и не видели, что небо в бетоне. И было им хорошо, они веселились и смеялись и слышали они в небе клекот злых птиц и почему-то с грустью говорили: «Журавли полетели».

Летели злые птицы медленно, поскрипывая крыльями, а за ними, тяжело ступая, шел человек, и влетели птицы в магазин, в его магазин, бились, прогибали витрины, оставляя на стеклах кровавые кляксы, летали по прилавкам, с грохотом сшибая консервы, топтали колбасу, прохожий прилип лицом к витрине, щеки его расплылись по стеклу, добрые его глаза плавали в громадных красных глазницах, ему нравилось это месиво, он любил этих птиц, и на плече у него сидела





птица – помесь вороны и грифа. Она приговаривала: «Так их, так их».

Директор носится по магазинам, утопая в мясном и стекольном месиве, и кричит, и в крике этом все исчезает; нет ни леса, ни гор, ни птиц, ни земли, одетой в бетон, а есть большой город. Он видит свой магазин, а ему не хочется ни города, ни магазина, он ищет избушку, отца и Фолкнера, горную речку. И он видит и отца, и Фолкнера, и избушку, только они далеко-далеко. И все это плывет по огромному гулкому небу и улетает к далеким голубым землям, туда, куда улетают хорошие птицы, куда летаем и мы во сне, или летали.

Летят по белому снегу голубоглазые лайки, музыка опускается из давних снов, и пахнет она зубным порошком.

Дочь тербит одеяло: «Папа, мама говорит, что ты на работу опоздаешь».

Он смотрит на нее, будто впервые видит, ему покойно, он улыбается, широко разводя руки. Дочь смотрит на отца, она никогда не видела его таким спокойным, улыбчивым и так уютно разводящим руки. Входят жена и сын, порываются что-то сказать, но, глядя на него, умолкают, а он смотрит на них, кивает головой, улыбается и широко разводит руками. Они, тихо ступая, закрывают за собой дверь.

Он ходит по комнате, открывает шкаф и удивляется, сколько всякой всячины, лайковые плащи и куртки, куча костюмов, рубашек, обуви, захлопывает дверцы, садится на кровать и смотрит в окно, а на улице дождь, он видит большие дома, кособокие от дождя, стены в водяных подтеках, людей, сонных, искореженных водой и холодом. Долго он так сидит, уставившись в окно, пока люди, дома, автобусы, дождь, большой серый дождь, пока все это не смешалось в мокрую и липкую массу, сидит и бубнит: «Ливень, на всей земле ливень, часов не осталось – выпотрошили, в корпусе дырявом два бельма, белый круг прошлого и белый круг будущего».

Он встает, снова садится на кровать, ему никуда, впервые, может, в жизни, никуда не хочется идти.

Нарты, бег, снег, свобода, голубоглазые лайки. Лайковый плащ в шкафу.

1982–1991





РОЗОВОЕ ПОДПОЛЬЕ

Иногда старик говорил, что ему семьдесят, иногда шестьдесят, были дни, тянувшие на все девяносто, да и не в годах было дело. Он чувствовал себя розовым шариком, катящимся в черную лузу, нет, не сам катился, подталкивала чья-то мощная и нежная сила. Старик вынужден был двигаться в двух противоположных направлениях сразу. Катиться вместе с шаром, выбираться из него, меняя форму, становясь на ноги, ища руками хоть какую опору. Дети и внуки не помощники в этом деле, они пока движутся в одном направлении. По телевизору рикша катит тележку с клиентом.

Старик знает, что везущий и пассажир двигаются в разных направлениях, – рикша выбирается из лузы, сидящий в тачке в нее впадает. Тачка двигалась по одной дороге, по двум разным путям, в двух разных временах одновременно.

Дети, внуки не помощники в этом деле, старик выбрал тачку. Тачка идеальное, а возможно, и единственное средство для того, чтобы выбраться из черной лузы концлагеря, из окружения под Харьковом, из ГУЛАГа, из «спецпесков» Азии. Из всех этих луз он построил большую яму и упорно карабкался вверх, неспешно попивая белый айран из большой темно-красной чаши, сработанной его прадедом из громадной чинары. Старик полз вверх, цепляясь за хлеб, испеченный матерью, за запах, исходивший от хлеба того. Подводил глаза козе, пристегивал к ушам ее клипсы, вешал на шею красные бусы, красивая женщина получалась, значительная и умная. Он улыбался ей и карабкался дальше вверх, срывался на дно и розовым шариком вкатывался в черную лузу громадной темной ямы...





Идет снег, крупный, неспешный. Из моего окна вижу – открываются синие ворота и выходит старик с розовым лицом, – он катит тачку, груженную снегом, неспешно ее опорожняет, садится на лавочку отдохнуть. Идут люди, идет снег, идет старик со своей тачкой – и так каждый день. Смотрю на розового старика, и ко мне приходит сказка из синих утренних лет моих, приходит Снегурочка, проснувшись в домике моем из ребер, построенном меж головой и сердцем. Врывается первая детская беда: так не хочется весны, ведь с ее приходом уйдет Снегурочка. Это нежелание весны жило в домике из ребер, построенном меж сердцем и головой. Смотрю на розового старика и думаю, а что он будет делать, когда кончится зима, уйдет снег, солнце выбелит его лицо, высушит самого и лавочка останется пустой? Будет солнце, будут люди, а старика не будет?

– Что ты шьешь, внученька?

– Я, деда, шью зайке штаны и рубаху, зайке холодно в лесу, потом свяжу ослику свитер, а то он простудится и будет плакать.

– Молодец, внученька, шей рубашку, шей штаны, а зайка вырастет, окрепнет и отдаст одежду свою младшему из братьев своих. Так и у меня когда-то было, правда, не помогли те штаны, не спасла та рубаха братьев моих, а зайке и ослику обязательно помогут.

Старик ненавидел сказки, свои сказки, и вся его жизнь – попытка выбраться из сказки. Сказки скатали его в розовый шар, нежно и неутомимо столкнули в большую темную яму, и катался он по дну провала, из черной лузы в черную. Варился старик в Харьковском котле. Полуживым вкатился в фашистский концлагерь, где существа в черном на его глазах превращали людей в полосатых шакалов и волков. И глядя сквозь колючку на мерзлое бескрайнее поле, он чувствовал, что сказкам не будет конца. Сказку прервали американцы, и на изломе сказки той он увидел белые скалы и теплые камни, что рушили черную сказку в поле мерзлом и бесконечном. Обдираясь о колючую проволоку, он выкатывался из темной ямы, оранжевым шариком выкатывался из черно-красной сказки.

Сказку ту продолжили советские, сменили одежды, черные стали зелеными, факиры сменили халаты и фокус продолжился. И опять людей превращали в шакалов и волков, готовили для житья в дремучих лесах. Старика одели в черную форму, заковали в черные, крепкие





башмаки, водрузили черную кепку на голову – наряд от сглаза, наряд от нечистой... И сидел он в черной лузе, на дне темной ямы, и видел время. Время, когда мимо него пролетали охранники, красномордые, пахнущие грязным бельем, луком и самогоном, увешанные значками ГТО, пролетали мимо лузы его, мимо ямы, – прямо в преисподнюю.

Год работает старик, за ботинки рассчитаться не может, два года работает – все за кепку должен. Три работает. Четыре работает... На пятый год ворвался в барак свой, сел на пол у койки вора в законе, над кроватью висел плакат «На свободу с чистой совестью», и стал старик с остервенением бить ботинки о пол, приговаривая: «Да что вы – золотые, что ли?». Вор улыбался, обнажая фиолетовые, без единого зуба, десны.

– Что ты, бычара, пол курочишь, да почем зря, легче чертей на молебен созвать, чем до них докричаться. Сколько я износил, сколько сгорело на мне мануфактуры, из тех шкур, если бы веревки свить, – всем мусорам удавиться б хватило. А ты пару коц износил и уже в терпигорцы норовишь записаться. Кричи, не кричи, залейся слезами гремучими, а красные как пили кровь, так пить и будут. Вот тебе, штымпяра, ведь дали в свое время ружьишко, и вместо того, чтобы пальнуть по шавкам красным, ты кинулся Европу освобождать? А так сидели бы сейчас, увешанные колбасой, попивая пиво немецкое. Теперь куканься в этом блошином царстве.

– Поел я немецкой колбасы, попил их пива, сыт, будет о чем вспомнить и на том свете. Под Харьковом неделями живого хлеба не видели, ели, что ни попадись – лошадь так лошадь, собаку от кошки уже отличить не могли. Тогда и говорит мой земляк – вот бы к немцам в плен попасть, у нас от сытой жизни на спине бы шерсть выросла. Каркнул он, и попали мы в самое логово сытой жизни. Как-то он чуть вышел из строя, а немец прикладом едва из него дух не вышиб. Ну что, говорю ему, выросла шерсть? «Лучше из харьковских луж суп хлебать», – взвыл земляк. Да где те лужи? Лужи те сотни раз кровью наполнялись и высыхали, да испарились вместе с теми, кто их защищал. Бес он есть бес, будь он зеленого, черного или серо-пегого цвета...

– Эх, чурка, чурка глазастая, – вздохнул вор, – есть разница. Сто немцев за сто лет того не удумают, что русский за пять минут отчебучит. Конечно, вкусную колбасу он не выдумает, но как кого рожей об





пол хряснуть, тут с ним не тягайся, такой портрет нарисует, что и в ад не сразу примут, дабы тамошних чертей не разогнать...

У сказок нет конца, но бывают короткие перерывы, даже сказки, в отличие от людей, устали от убийств.

И прервалась сказка распахнутыми лагерными воротами, пыльной дорогой, полуторкой, двумя ржавыми хлебами в руках.

И катился старик из одной сказки в другую.

Народ его заснул в горах, а проснулся в песках.

Сказки продолжались. Одна вливалась в другую, рождала третью и не было конца тем сказкам.

Ехал старик в полуторке мимо поля зеленого и в поле том, видит, люди бродят черные.

– Кто это? – спросил старик у шофера. Тот потряхнул кучерявым чубом, выбившимся из-под блатной «восьмиклинки», одной рукой поправил сирень в петлице, потом махнул рукой в сторону черных людей и весело сказал:

– Это балкарцы пасутся.

– Так ведь и я балкарец, – вскинулся старик.

Шофер недоверчиво покосился на хлеба, как бы говоря: «Балкарец, а не пасется, да еще и с хлебом в руках. Врет, небось мужичок, а может, засандалил чего с утра, а может, и солнцем напекло».

И увидел старик чернолицых, беззубых людей, жующих траву, и сказал он им: «Здравствуйте, люди». И они плакали, плакали от давно забытых простых человеческих слов. Меж черных людей бродили голые, пузатые, полусонные дети. Он поднял одного из них и увидел темное пятнышко-сердце: ребенок просвечивался на солнце, темнели печень и почки, а меж головой и сердцем, в черном домике из ребер, было пусто...

И катились слезы, и катился розовым шариком в черно-красную сказку старик. И выхватил он свой нож-складенец, нарезал хлеба тонюсенькими ломтиками, и двумя хлебами накормил народ свой.

Умер главный сказочник.

Народ заснул в песках, а проснулся в горах.

Ушли снега, утекли в мутных придорожных ручьях. С любопытством и тревогой смотрел я в окно: что будет делать розовый старик без зимы и без снега? А старик кинул на дно тележки старую клеенку,





погрузил навоз и неспешно покатил к краю села. Оттуда возвращался щедро загруженный черноземом. И посыпал он черноземом тем заброшенную каменистую землю, примыкающую к его огороду. И так каждый день.

– Недокулачили в свой час, – судачили соседки.

– Жаден дед, – думали «крепкие» мужики. – Небось, сундук на сундуке, а сверху еще и чемоданы, так изводит себя, горемыка. Вот народ пошел.

Даже собственная бабка ворчала:

– Мало тебя небо загрузило, так ты еще сам на себя валишь.

– Никто еще не смог облегчить груза своего, каждому по силам его, – отвечал старик.

И шел, розовея за кучей чернозема, шел впереди, ибо знал, много земли перетаскать надо, чтобы засыпать яму, выбраться из лузы, держась, как за реальность, за тележку свою, а остановишься – покажишься назад, в сказку, бог весть кем для тебя придуманную. Мулла говорил ему: «У нас за спиной два ангела, один черный, тот все грехи считает, а белый учитывает добрые дела наши и попутно охраняет нас». «Черный не в счет, – думал старик, – дурное люди не хуже его посчитают». И еще говорил мулла: «Ангелы из огня Божьего сделаны и если дела твои ангелу белому по сердцу, то часть его огня передается тебе, и огонь тот освещает дорогу твою, ведущую на путь Божий».

Старик знал, что легкая дорога – это верчение в темной лузе, кружение в яме черной. Легкая дорога – самая тяжелая из всех дорог. Тяжелая дорога – это ступени в черной яме, кратчайшая дорога к пути Божьему.

– Что шьешь, внученька?

– Зайке штаны и рубаху.

– Что вяжешь, внученька?

– Ослику свитер...





ОТКРЫТИЕ

Ливни родили большое наводнение, вода смыла все мосты и покрыла рыбой все село. Рыба запрудила улицы, повисла на деревьях, засверкала на плоских крышах низкорослых домов.

И тут пришли мы с мешками, корзинами, тазами, ведрами, корытами, наволочками и матрасовками. Мы были красноморды и потны, нам даже слово некогда молвить, только сопели и тужились, как быки на бойне. Кончился сбор, зажарил я две рыбы, предварительно их измерив, обе по 40 см, и когда их съел, с ужасом вспомнил, что рост мой 1м 60 см, я съел рыбу длиной 80 см и при этом не наелся, и тогда я подумал, что ж я за чудовище, в один прием съедающий половину самого себя.

Не знаю ничего гармоничнее форели – удивительно нежное существо и удивительно сильное. Что нежнее форели? Может, роса утренняя, быть может, цветы и еще душа человеческая, не всякая душа, а та – редкая, жалостливая и сострадательная.

А я-то кто? Я не придумал даже мешка, все выдумали до меня – капканы, и сети, и клетки, и цепи – а туда же с мешком, и прекрасное в мешок, и пожирать. Я не посеял ни одного зернышка, не накормил ни одного голодного, исключая мышей, те попользовались – что было, то было.

Очистили мы улицы. Прошло несколько дней. У дома моего собрался народ, собрался, чтобы хором похоронить день. Разговор вели о рыбе, и я при этом невольно стал прикидывать рост каждого из них. Один сказал, что в речке, как минимум, два года не будет рыбы. Сказавший был человеком видным, много пожившим, с красивой белой бородой был человек и не поверить ему нет никакой возможности. Другой белобородый сказал, что рыба исчезла года на три. Высказались и безбородые, эти говорили вразнобой: кто год, кто сказал пять лет, а кто шесть. Слушал я их, слушал, а сам подумал: «Ну как может такое быть, чтобы в речке не было рыбы?» Конечно, после такого наводнения мысль глупая, а все же не могу я вообразить себе речку без рыбы, даже если бы на нас обрушились все тайфуны да цунами, и что там еще...

И очень уж мне захотелось доказать себе, что есть рыба в речке. Взял удочку – и на рыбалку. Таким я идиотом, наверное, со стороны смотрелся,





да и станешь таковым, если 5–6 часов будешь смотреть на нетонущий поплавок. Стоишь, весь напрягшись и не дыша, надеешься, а поплавок спит. Трудно ходить по речке, камни все живые, раскачиваются туда-сюда и частенько падать приходится, и хорошо, если упал все на те же камни, а бывает, что в речку свалишься, вода холодная, будто тысячи игл впились в тебя, да еще ветер пригладит, а ветер на речке вечный.

Долго ходил я по речке, растопылив руки, пытаюсь сохранить равновесие, и все бормотал про себя: «Речка без рыбы, речка без рыбы». Потом договаривался до «рыбы без речки», слова эти почему-то очень меня смешили – «рыба без речки», и я смеялся, здесь можно смеяться, здесь никого нет, и не скоро придут люди на эти берега. Вспомнил я теплую комнату, молоко белое-белое и хлеб с поджаристой хрустящей корочкой, но оставливал себя – нет, говорю, должен я поймать рыбу, пусть одну, самую малюсенькую. Почему-то для меня это очень важно, а может, не только для меня. Я тупо глядел на мой нетонущий поплавок, раздражал меня вечный шум, исходящий от воды, и мне казалось, что поплавок мой никогда не утонет, даже если мне и прыгнуть на него, но он утонул. Я не совсем в это поверил. Ох, и дернул же я, а сам похолодел от мысли, что вдруг сорвется, на рыбалке и такое бывает. Но на этот раз обошлось, и вот она, красавица моя, на песке, и сколько же силищи в ней, сколько нежности, и все это вместе, и я невольно оглядел себя с ног до головы... Да... Рыбка небольшая, а какая дорогая, самая-самая в моей жизни. И такая радость на меня навалилась, забыл я, что голоден, что весь мокрый, и билась одна мысль, одна, заполнившая всего меня – доказал, доказал, стучала она, захлебываясь. И что-то новое открыла мне жизнь, она ясно и просто сказала: «В речке всегда есть рыба».

Положил я ее в мешочек и пошел домой. Издалека увидел – стоят все те же и добивают день. Недолго уж ждать, вон он уползает, искромсанный, за горы, оставляя за собой следы ясно-красные. И я почему-то сунул рыбку в карман. Мне не хотелось, чтобы они ее видели, хотя, может, ее надо было показать им, не знаю. Иду мимо них, а они ухмыляются: мол, горе-рыбак. И мне их стало очень жаль. Я остро ощутил, что они лишены чего-то очень важного, и если это в них было, то другими сейчас стали следы уходящего дня. А мне жить стало как-то надежнее. Ведь сегодня я узнал очень важное для себя и всех нас, узнал, что в речке всегда есть рыба.





1981

ДЖАНТУГАН

– Люди злы, – сказал я.

– Нет, они добры, – сказала она, – просто они спешат, гонит их кто-то невидимый и сильный. Вот если бы всех людей вдруг остановить и стояли бы они так, чтобы видели друг друга, а подойти не могли. И сказал бы им невидимый, сильный и очень веселый: «Берите, люди, все, что хотите». И получили бы люди все, что хотели, но не имели бы их руки возможности ласкать друг друга, слова их уносил бы ветер, и только глаза искали, неважно кого, ближнего или дальнего, потому что после разлуки все были бы близкие и чистые. И сказали бы люди, уставшие от большой разлуки, тому невидимому – заberi все и допусти друг к другу. Знаешь, людям надо остановиться хоть на мгновение, ведь это так просто.

Так говорила моя хромая соседка Джантуган, и глаза ее светлели и наполнялись чем-то таинственным, колдовским, неземным. И я не видел уже ее красивого лица, ничего вокруг не видел, только свет от нее. Так бывает ранней весной, когда небо недоуменно смотрит на землю, как бы говоря: неужели была зима? Почему-то вспоминалось, как в детстве среди опавшей листвы нашел я яблоко, холодное, обрызганное росой, такое неожиданное. Мать разрезала яблоко пополам. И я, сидя на крылечке, вспоминал, как летят журавли, они летели, все летели и никак не могли улететь. Я радовался и не знал чему, то ли что птицы не могут улететь насовсем, то ли найденному яблоку. Только вокруг меня все было по-осеннему чисто: и деревья, и листья опавшие, и птицы в небе, и крылечко наше – все вокруг чисто, и приходила уверенность, что все это вечно и я не умру.

– Хочешь правду? – спросил я. Она кивнула.

– Люди не так добры, как ты думаешь, они жалеют хромого коня,





а тебя все не любят, я знаю, я слышал. Они называют тебя колдуньей и говорят, что ты приносишь одни беды, они рады, что ты хромая. – На этом слове я запнулся, поняв, что сказал нехорошо. Я часто бывал с ней жесток.

– А я и есть колдунья, – сказала она спокойно и уверенно, как будто в этом не было ничего необычного. – Колдуны – это те, кто строит мир, какой им по нраву, а старый мир помнят с самого начала, будто живут вечно. Вот и мне кажется, что я давно уж живу и все помню. Помню, когда мы все зверьми еще были. И кто-то невидимый, что живет в тех далеких временах, откуда мы родом, смотрит на нас оттуда и очень злится, что мы пытаемся стать людьми, и мне порой кажется, что души людей воюют с ним. Так бывает со мной, когда я сижу у костра, удивляюсь огню, вспоминаю его, и мне кажется, что давным-давно я сидела одна у костра и мне было очень одиноко и боязно. И еще, глядя на огонь, мне кажется, что моя душа где-то далеко-далеко и будто воюет она с тем невидимым. А еще он меня не любит, потому что я построила свой мир, он сильно не любит тех, кто что-то строит.

– Песни у тебя все грустные, и я их нигде не слышал, где ты берешь столько слов?

– Новый день приносит новое слово.

Вот так мы говорили с ней в тот день, и за день этот я узнал ее больше, чем за все годы, что прожил с ней совсем-совсем рядом и очень далеко от нее.

Я тоже раньше, наверное, больше любил и жалел хромого коня. Сядешь на него, а ему не стоит на месте, и скачет, стараясь не подавать вида, что он хром. И скачет он, забывая, что три ноги у него, забывая, что в горах у нас дорога камениста, часто падает, с болью и недоумением устремив грустные глаза куда-то вдаль, вроде спрашивая кого-то: «Как же так, за что?» И тогда его глаза становятся похожими на глаза моей соседки. Но я не про коня, я про ту, что любит нас сильнее, чем мы ее. Я про ту неделимую любовь, что разделили люди так несправедливо, за одну ее слезинку я заманил бы всех коней, хромых, здоровых – всех в болото! Болот на свете, к сожалению, хватает. Но это так, как молния блеснув, исчезнувшая злость. Но снова молния сверкает, ощерившись на нашу деревушку. Быть может, гнев высокий на нашу глухомань, а в мире все наоборот? В конюшне конь стоит, уставший за





день от жалости людской. И на пригорке черненькая кузня, окутанная мирным дымом, плывет меж красных скал, как старый-старый пароход. Так я о чем? О калейдоскопе детском, где по узорам, как по углям раскаленным, все мечется и мечется душа. О чем же я?

О том коне, о кузне, о девчонке у древнего огня.

За что же я?

За весело бегущего коня!

За то, чтобы для всех доступно и понятно было тепло костра.

Еще за новых нас! За нового меня!

– Так уж устроен мир, – сказала она. – Быть хромой не так уж плохо, меньше суетишься. – И она горько усмехнулась. – Зато у меня есть своя радуга.

– Разве радуга может быть чьей-то?

– А я не про ту, что над головой. Та общая. А я про ту, что под ногами, – она моя.

– Такой радуги не бывает, – сказал я.

– Нет, бывает. Я тебе ее покажу, она совсем рядом. Вон в том тесном ущельице. Просто мало кто знает про эту радугу. Чабаны проходят рядом с ней, но им некогда, да и незачем раздвигать густые колючие кусты, а женщины не ходят в то место – боятся зверья. Может, мальчишки видели мою радугу? Мне очень хочется тебе что-то подарить, и я покажу тебе то место. Только ты дай слово, что не приведешь туда людей, которым это не нужно, и не будешь показывать радугу из-за корысти, выгоды или тщеславия. И если очень захочется кому-то сделать что-то хорошее, то я разрешаю – приводи. – Она немного помолчала. – А знаешь, приводи людей, которым это все нужно, может, им это необходимо. И еще, зря ты думаешь, что я одинока. Я познакомлю тебя с моими друзьями. Говорят люди: друг может быть один, если это вообще возможно, а у меня их много. Пойдем?

И мы пошли.

– Мало у нас праздников, – сказала она. – Если бы я была всемогущей, то я выдумывала бы их побольше и узаконила бы. Один я придумала. Несправедливо люди называют ишаком такое трудолюбивое животное, я бы назвала его трудоносцем. Самую трудную работу делает, кормится сам и зимой и летом, а в благодарность – ишак. Нет на свете красивее животного, чем маленький ослик, ножки ровные,





походка, как у балерины, симпатичная челочка и грустные глаза. Маленькие ослики рождаются грустными, наверное, чувствуют, что их ждет впереди. Мы часто к ним несправедливы, и я бы сделала такой праздник – раз в году люди приносили бы осликам разные лакомства и извинялись бы перед ними.

И она стала прыгать и бить в ладошки, приговаривая:

– День трудоносца, день трудоносца!

И крикнула:

– Хороший был бы праздник!

– Да, – вяло согласился я.

– Давай полежим немного на солнышке, – сказала она, – а то я что-то устала, да к радуге рановато, солнышко слишком низко.

Мы легли на теплые камушки, и она сразу уснула, а я ворочался, ворочался, да так и не сомкнул глаз.

– Эй, вставай, – толкнул я ее. – Солнце высоко, пойдем. И как ты умудрилась заснуть на камнях?

– А я под голову положила мягкий камушек, – сказала она, блаженно потягиваясь.

– Ну что, идем?

И мы пошли.

В горах не принято ходить с девочками по селу, а уж тем более за село. Но мы пошли. И если честно, то мне хотелось ее взять за руку, да побоялся, вдруг увидит кто, да и без рук разговоров хватит. Мы шли, и я ни с того ни с сего стал чему-то радоваться, я чувствовал, что иду навстречу чему-то необычному, светлому, глядя на нее, только это и могло прийти в голову. «Да, мы идем что-то открывать», – говорил весь ее облик, и меня окатила волна беспричинного восторга. Так бывает в осенний туманный день, когда мелкий дождь нашептывает тебе какие-то очень грустные стихи, туман окутывает ноги твои, а потом и вовсе обнимает тебя, заслоняя собой поникшие деревья и кустарники. Тоскливо. И вдруг туман отступает и ты натыкаешься на куст барбариса, и на нем одинокое красное зернышко, живое, выжившее, и радость захлестывает тебя. Только не объяснить, чему радуешься.

– Видишь, сфинкс, – сказала она, показав на гордую каменную глыбу, возвышавшуюся над остальными скалами. – А вон скорбящая мать, – шепчет она, не давая мне прийти в себя, и тоненький палец ее





зависает в воздухе, чуть подрагивая, и кажется мне, что этот пальчик на твоих глазах от «груды камня отсекает лишнее», и вот сидит среди скал женщина, вся в черном, опустив голову и обхватив руками колени. Ты слышишь, как она думает и все вокруг слушает, оцепенев.

– А хочешь, я покажу свою душу? – И пальчик взмывает куда-то вверх. На красной скале черной краской нарисовано лицо, не выбито, нарисовано. Живое лицо на скале, ведь не может неживое так улыбаться.

– Смеется, – сказал я.

– А когда назад будем идти, оно будет плакать. Знаешь, есть такие картинки: нарисован корабль, а чуть повернешь картинку – и нет корабля, а вместо него дом.

Сколько раз проходил я мимо этих мест, а ничего не видел. Наверное, потому, что проходил, и потому, что мимо. Чтобы найти, нужно остановиться.

Мы дошли до ее колючего царства, продрались сквозь него. И, о чудо... Внизу, далеко-далеко, глубоко-глубоко, на самом дне узкого ущелья, злобно рычит и двигается скачками фантастический зверь. Ему есть на что злиться: дорогу преградили два громадных камня, прижавшиеся тесно друг к другу. Зверь со всего маху бьется о камни и, ухнув от боли и злости, дробится на кучу громадных градин, и только так ему удастся перепрыгнуть через огромные перламутровые камни, в прыжке рождая злостью своей тихую, очень яркую, спокойную радугу. Стены ущелья облеплены влажным мхом. Джантуган, тыча пальцем в эти стены, шепчет:

– Похожи на мой ковер, в детстве любила гладить узоры, очень это мне помогало, особенно, когда обидит кто, гладишь узоры, а они такие ласковые, таинственные, сулящие что-то доброе впереди, и успокаиваешься.

Палец ее указывает мне на ошкуренные и до блеска отполированные рекой бревна, которые не портили праздника, и, глядя на них, мне думалось: «Вот были деревья, потом умерли, стали бревнами, нет, не умерли, просто живут иначе, в другом мире».

Внизу беснуется река. У-у-у-ух, го-го-го, у-у-у-ух, го-го-го – и этот гул создавал какую-то особенную тишину, слушая которую, казалось, что время остановилось. Мы смотрели на радугу и молчали, молчали





и думали. О чем она думала, я не знаю, а я думал о том, что это единственное для меня место на земле, где неплохо родиться и умереть. И прожить бы так, чтобы после тебя нашелся человек и сказал бы: «Ничего, что высоко, мол, и далеко, и хоть много у него грехов и недостойн он места такого, но я продерусь сквозь колючки и принесу его сюда». Пусть не принес бы, пусть только подумал бы так, только подумал...

Мы долго стояли с ней и молчали, слушая музыку, доносящуюся из еле видимой глубины. Потом ушли, когда-то ведь надо возвращаться. Шли мы домой, а может быть, из дому. Вслед нам смотрело лицо на скале и плакало, как люди плачут, а может, даже еще жалостливей. И я искренне верил, что это – ее душа. И мне еще показалось, что лицо на скале живет давным-давно, оно старше этих скал и давно уже смотрит на нашу деревушку, смеется и плачет вместе с ней, с деревушкой. Смеется, когда кто-то приходит, плачет, когда кто-то уходит. Смеется и плачет, смеется и плачет. Вот уже показался наш деревенский пароход, как пропуск в мир иной. Мы оба с сожалением оглянулись туда, откуда пришли, и она тихо и убежденно сказала: «Приведи кого хочешь, а лучше людей плохих». И, кажется, я ее понимал.

* * *

Почему люди возвращаются к истокам своим? Почему люди ходят в баню? Почему возвращался я? Устал я просто, вот и ехал к себе домой. Да, ехал на своей машине, заработать которую было не очень легко, но я старался правдами и неправдами, больше неправдами – заработал. Проезжая через чужие города и села, я представлял себе наши красные горы, Джантуган и нашу радугу. Все эти годы земля моя была как бы моральной индульгенцией. Грешил я и тешил себя, вот приеду домой – отмоюсь; а как же иначе, ведь в душе я не таковский, но жить-то надо, ничего, дома отмоюсь. Вот и ущелье мое. Но горы почему-то не красные, а какого-то мышиного цвета. А были ли они когда-нибудь красными? Были, если не совсем красные, то красноватого оттенка точно были. Серые скалы нависают надо мной, глыба на глыбе, и все на мне, и кажется, что давят они, перечеркивая мое прошлое и будущее, а может, это все мне кажется – не привык еще.

В деревню приехал во время сенокоса, деревня на месте, людей нет. Спрашиваю, где люди, серьезно отвечают – на войне. Да, сенокос в деревне – это война. Но кое-кто остается в тылу. Это колхозный





сторож Самоса, буфетчик и еще двое-трое недобитых, перебитых. Мужики звали на покос и буфетчика – хозяина большого желтого дома с красной крышей и надписью на стене, сделанной рукой местного полиглотта по-иностранному, конечно: идем, мол, с нами. А он показывал на Самосу и разводил руками: рад бы, да вот клиент.

Те, кто уцелел после мобилизации, собрались у колхозного клуба, сидят на бревнышке и лениво перекидываются словами, и кажется со стороны, что и родились они на бревнышке этом. Да еще и председатель здесь, не может же село бросить на произвол судьбы. Сидим, озираем округу. От нечего делать разглядываю ухо соседа, густо поросшее растительностью и щедро смазанное серой, и кажется, что у соседа плавится что-то в голове и вытекает через ухо. Вдруг двери клуба распахнулись. Держа в одной руке швабру, в другой ведро, появилась она, Джантуган. Потом все произошло очень быстро. Она споткнулась о швабру и покатила со ступенек, ведро опрокинулось на нее. Джантуган долго пыталась встать, упираясь ногой в край ступеньки, платье ее задралось, обнажая ноги. Никто из нас не шелохнулся, не попытался помочь ей. Сосед, кивнув в ее сторону, широко улыбнулся, показывая желтые зубы, проемы которых были забиты хлебным месивом. Сказал:

– Ребята, нас соблазняют.

Все тихонько, но от всей души смеялись, и почему-то смотрели на меня. Я тоже скорчил веселую и в этот момент, наверное, глупую рожу и захихикал. Джантуган долго поднималась, очень долго; сначала встала на колени и повернулась в нашу сторону. Глаза, где же ее глаза – прежние, радужные, где они? Вместо глаз два красноватых злобных круга. Где я видел такие глаза? Вспомнил, это же картина какого-то грузинского художника. На ней жираф с очень злыми тигриными глазами. И только сейчас я понял смысл той картины. А Джантуган долго, презрительно и зло смотрела в нашу сторону и дальше, охватывая и вбирая в два злобных круга всю деревню.

1983







Моей сестре Мадине посвящается

*Мы жили
рядышком с Граалем*





БЛАГОСЛОВЕНИЕ ДОЛГАМ МОИМ

*Шедевр – это краткость звука
и бесконечье отзвука.*

Тогда, в реанимации, подумай я о душе – то ушел бы вслед за ней. Меня затормозили обычные, не Бог весть какие, житейские мыслишки. Сквозь болючий туман, впереди моей коляски, плыли два светло-бирюзовых пятна – медсестры в халатах. Иногда эти пятна сливались в одно, ввозя меня в детские бирюзовые рассветы, зачарованные красно-желтым полыханием земли Азиатской.

А за окнами, наверное, туман – ведь в палате все белым-бело: и стены, и простыни, и даже кровати.

Сидя в коляске, я вспомнил давний больничный разговор с одним очень здоровым парнем, оказавшимся в больнице по причине косоглазья – он плохо видел себя в рядах: то ли советской, то ли Красной Армии. Да еще он курил красную «Приму», исписанную такими словами: «Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, сигареты пятого класса, курение опасно для вашего здоровья». Текст навевал ему мысли о бандитах ростовских, о раненном в голову Щорсе и цветущем цветом золотым, несмотря на такую потерю, Чубайсе. И любому врачу было понятно – человека надо спасать. И понятно от кого. Чтобы как-то скоротать больничное время, я спросил у него: «А какая у тебя мечта?» И это ясноглазое существо – кровь с молоком и чао-какао, не задумываясь ответило: «Я хочу быть здоровым, но чтобы меня катали в коляске». И ему верилось, потому как мечта его срослась с целью





и переросла в единую, неделимую убежденность. И сидел я в кресле-каталке, скованный болью, но внутри боли той, как живительное пощипывание, зарождался смех. Надо же, мечталось кому-то, а перепало мне. По-крупному мне всегда везло. И вспомнилась маршрутка, в ней одни женщины, и я смотрю на них и думаю: какие они счастливые, они не попали в число тех семнадцати тысяч, которых ежегодно убивают мужья и любовники. А они безмятежно едут себе, почти счастливые, и не ведают об этой печальной статистике. Блаженны незнающие, блаженны неведающие. Вспомнился мужик-верзила из телевизионной «Дежурной части». Он подходил к ребенку и просил у него велосипед покататься. Поймали его на десятом велосипеде. Я представлял громилу на детском велосипеде, и мне было смешно. Я видел расстроенного малыша, и мне было грустно. Детский велосипед – пустяк вроде бы, а какую веру угробить можно в этом, все впитывающем существе. А потеря веры безвозвратна. А без веры он просто оболочка.

Хорошо, если парень умный, хорошо изнутри сложенный – понимает, что опыт не собирать нужно, а просеивать через детский, безошибочный камертон. А если нет, а если не все так гладко с наследством, а если начнет копить в себе этот «опыт», да в нужный момент не поможет нуждающимся?

Да это просто Джек-потрошитель на велосипеде детском. Господи, как бесконечно, многолико убийство.

Вспомнился давно ушедший отец мой.

– Сынок, у тебя есть хоть капля гражданской совести? – Тогда еще такая была. Сижу себе и думаю: «Тут хоть обычной бы наскрести в продрогших сусеках своих».

– Вот я выйду сейчас на улицу и наберу полную арбу женщин. А ты седой уж наполовину – пора бы о семейной жизни подумать.

Я вижу отца и полную телегу женщин. И мне сквозь боль мою смешно. И выплыло уличное: «Жизнь научит смеяться сквозь слезы». И мелькнуло: «Как же я с такими несерьезными воспоминаниями предстану перед Богом?».

Между мной и Богом были две девочки-медсестры, они стояли с двух боков, прижавшись ко мне бедрами, и лепили на грудь мою какие-то присоски. Какие у них крепкие ноги, а я думал, женщины пушистые. И эта женская прочность удерживала меня на земле, не давая





раствориться в манящем, бирюзовом бесконечье. И подумалось: вот так стоит дом с сиренью под окном, с цветами на подоконнике и ликом Девы Марии на стене. И у меня не было возможности уйти. Больничная палата – вроде потустороннего отстойника: ты еще не там, но и здесь как-то не весь.

– Я спросил у печального больного: «Что, инфаркт?»

– Да, почти, – безжизненно буркнул он

– Из-за жены?

Он посметрел на меня одним, чуть ожившим глазом, другой – был надежно захлопнут.

– Откуда ты знаешь? – услышал я голос, со слабым, но уже интересом к жизни.

– Обидно, – сказал я, будь какая уличная знакомая, тут ведь своя, живешь вместе, хлеб и душу пополам, а тут – хлоп, как из-за угла, и прямо в сердце, и если повезет, то шрамы на сердце том, а если нет... то нет. – Он, вроде, чуть ожил, но мне показалось, веселее ему не стало.

Инфаркт – результат встречи с неожиданным, с чем встречаться не предполагал, а тем более не желал. Сознание отвергло это отвратительное нечто, а сердце приняло, сердце все принимает. Принять-то приняло, а вместить не смогло.

Три ступеньки: реанимация, больница, поликлиника – и не понять: то ли ты опускаешься вниз, то ли карабкаешься вверх. Но в поликлинике как-то спокойнее, почти как в жизни: сиди и жди, какая дверь откроется, и успевай вовремя захлопнуть дверь свою. Свои двери придумали исключительно для того, чтобы закрывать. Люди то здесь, то там ждали. Редкие больные поднимались по лестнице, но их движение не было заметно среди этого емкого ожидания. Все сидели в коридоре, и казалось, что сидят они тут издавна – как духи предков, не нашедшие земного успокоения. Рядом со мной села женщина. Напротив сел паренек и погрузился в неведомое. Вдруг звонкий голос соседки, обращенный ко вновь пришедшему: «А я сюда первая».

– Ну, тогда я второй, – нехотя пошутил паренек.

– А вы тоже сюда? – вдруг заметила меня соседка.

В таких местах я ощущаю себя как в самолете: вдыхаю при посадке и выдыхаю на выходе. А попадают пассажиры: что-то читают (даже, бывает, Достоевского, что вполне уместно в сложившейся си-





туации), смеются, едят, и это на высоте десяти километров. Господи, кого только нет.

Из сбежавших от меня слов я еле выловил одно, и то не самое длинное, и вполне спокойно выговорил – да.

И я увидел ее глаз – синий-синий, второй был явно стеклянный. И увидел я улыбку – будто сам недавно родился, и так мне понравилось увиденное, что я улыбнулся. Это потом я увидел ее зубы – они напоминали, почерневшие от горного ветра, причудливо изъеденные временем, невысокие скалы. Но эта улыбка смывала все изъяны ее лица. Эта улыбка и синь – одинокого глаза, вновь окунали меня в трепетную бирюзу моих детских рассветов.

– А вы, по поводу инвалидности?

– А, что у вас болит?

– Да, раны сердечные, – скромно сказал я.

– А Вы знаете, я тоже, но у меня с головой – я попала в аварию.

И не было в ее словах никакого идиотизма, а было доверие и какая-то искренность, какую я давным-давно не слышал и не видел. Мне не нужно на нее смотреть – я чувствовал, как под обломками машины осталось все лишнее, наносное и выжило самое необходимое, и этого необходимого хватало на жизнь, да и другим перепадало самородков, высшей категории милосердия. Ведь только искренний живет, и это единственная форма и суть существования. Неискренний – лишь имитирует жизнь, ему кажется, что он живет. Соврал – значит это не ты – и время твое проживает кто-то другой. Она говорила, и болезненное, тягучее ожидание чуть потеплилось, и виделась уже земля, в черных и белых островках, в горах плескались ласковые ветра, и вот-вот должна была явиться весна. А она все говорила и говорила, и слова ее гладили меня по голове, и дождик косой, пролитый солнцем, блуждал в березняке-подростке. А в горах еще не построены турбазы, не проросли отели из «звезд» земных. Из мокрых палаток нехотя выползают скукоженные холодом туристки, одетые в балкарские свитера и горные башмаки.

Плеснув в лицо горсть родниковой студеной воды, девушки взвизгивали на все голоса и лады все, и, как в сказке, оживали.

И думалось: «Не из пены морской родилась женщина, а из воды родниковой» – свидетельство тому не успевшие высохнуть разноц-





ветные капли на их лицах. Цельно и емко пахло: хвоей, утренней ранью, звенящей родниковой прохладой, предчувствием полуденной солнечной неги.

И верилось в вечность всего природного и естественного.

А сейчас туристки выплывают из теплых эльбрусских отелей, в желтых куртках и красных брюках, и, глядя на эти пурпурные штаны, думаешь почему-то о будущих детях, и непременно своих. Всего-то... А может, все-таки из ребра Адама?

– А я после аварии стала стихи писать, и даже прозу, – и она протянула мне пару исписанных листочков.

– А я тоже пишу, – неожиданно вырвалось у меня, хотя обычно я никому об этом не говорю.

Во-первых – неудобно, как и с какой стати сказать кому-то: «Я писатель». А во-вторых, нецелесообразно. Одни, романтики, будут относиться к тебе лучше, чем того заслуживаешь, другие – завистливые, скажут: «Я тут гнусь в поте лица и спины, а он балуется со словами, да еще и гордится этим. Среди этих разноголосий и знать не будешь, кто ты такой.

Чтобы оправдать хлеб свой, я тружусь целый день, чтобы оправдать жизнь свою – пятнадцать минут за письменным столом.

Правда, есть до самоубийства сытые. Непонятно, как они, выехав из своих убогих, потому что неудобных, замков, на усовершенствованных телегах, могут смеяться среди множества плачущих, как им это удастся – непонятно.

Воистину живому и живущему это не по силам.

Господи, как хорошо мне в Твоем непокое. Если бы я нашел сейчас портфель с деньгами – я бы умер от горя. Надеюсь, я не настолько разгневал Бога, чтобы он сделал меня богатым. Какой крюк я бы дал, отрываясь от судьбы своей, и сколько плутал бы, чтобы вернуться на исходную сужденного мне.

Займел червонец, сел на полянке, выпил свои фронтовые сто грамм – и нет у меня охранников, и свободен я.

Просто я знаю: нет ничего на свете вкуснее родниковой воды, тюремного хлеба и свободы внутри меня. И сытым не испробовать ни того, ни другого. Творчество рождается при виде сытого человека.

Хотя тюрьма видна из их «крепостей», и до гор ближайших с их «зияющих высот» доплюнуть можно. Попадут в тюрьму они, попадут,





но там будет совсем уже другой хлеб – хлеб, испеченный по всем выхолощенным евростандартам. В нем не будет той соли, запекшейся на спинах царских холопов, в нем не будет пота сталинских крестьян, а без этих удобрений хлеб – что вата. Вкус-то не на кончике языка, а на потной спине своей.

Время уходит, унося неповторимый вкус свой. Долетят они дряхленькими, на вертолетах своих, до ближайшего родника, но это будет уже другое время, и совсем другая вода.

Пришло время «рубить капусту» под «чес» ошалевших певцов.

На базаре килограмм капусты стоит пять рублей, нарубив ее и посолив, – ты получишь двадцать пять. Так зачем же собирать камни?

Ясно, что ты выберешь, а выбрав, выберешься ли из выбора своего? Как быстро складываются пособия для самоубийц. Коперника еще могут помиловать: то у царя день рождения, то он одержит, как ему мнится «победу», а «рубящий капусту» – это до самой смерти, из этой профессии не возвращаются, а вернувшийся вряд ли узнает себя.

Время всегда делилось: на растящих и на охраняющих. И подсчитывающих, и поедающих выращенное.

Растящий хоть округу оглядит, подышит полной грудью, все-таки какая-никакая жизнь.

Время треснуло пополам: на одной стороне – правоохранители и экономисты. А что охранять, если права нет – нет и прав. А что считать, если никто ничего производить не собирается. На второй половине растящие, они же растаскивающие.

И вот первая половина готова всех растящих посадить (после сбора урожая, конечно), а вторая половина готова вырастить и срочно съесть.

И все в нетерпении, все лихорадочно ожидают: когда же произойдет это «братание» охраняющих и растящих.

И тут в разных концах города раздались автоматные очереди, и мой знакомый подумал: «Наверное, декабристы вышли на площадь Абесинии?». Он и сейчас так думает. Но большинство иного мнения – они считают, что на площадь вышли шамхалиты. О них и до того говорили, и даже по телевизору показывали. Но никто не знал, кто они такие, они никому ничего не рассказывали, даже милиционерам, которые собственноручно пытались об этом узнать. Они стали воплощенной загадкой – о них знали все, о них не знал никто. Благостные времена пош-





ли – все, что видишь, записывай на бумагу и получай скопище загадок и не надо ждать, пока народ удосужится заняться этим делом.

Сейчас понятно: они вышли на площадь из-за долларов, которые, почему-то не оставили дома, а все до цента прихватили с собой. Говорят, они завербовали машиниста поезда – хотели доехать до Канар, не прямиком туда, а слезть где-нибудь неподалеку. Они до смерти напугали кассира, и он не продал никому ни единого билета. Поезд ждал их, да так и не дождался. Они были еще дальше от народа, чем их предшественники.

И мой знакомый сказал: «Ладно, одни шамхалиты ушли, другие придут, но как быть с детьми, видевшими трупы, валяющиеся на дорогах? Даже если бы это были убитые собаки, то детей уж не вернуть было, а здесь люди...»

Нам хана, они уничтожили элиту – настоящую элиту. В кои века на улицу вышли люди, чтобы отстоять свое, да и наше достоинство.

Когда началась война в Чембулакии, я понял, нам всем кранты: другие страны прикупают солдат, чтобы уцелеть, а мы уничтожаем народ-воин, да еще и солдат своих. Если мы уничтожаем элиту свою и воинство, что с нами будет?

Развалилась страна или нет?

Если отец убил сына, развалилась ли семья?

Если развалилась семья, уцелела ли страна?

А китайцам жить где-то надо? Не плыть же им в лодках на Филиппины? Даже если мимоходом захватят Индонезию – все равно им всем не разместиться, зачем куда-то плыть – шагнул, и ты на одной шестой части земли? Да еще индусы подтянутся, им не так далеко плыть, всего-то – три моря. Афанасий Никитин – злейший враг страны, проложил путь к индийским феодалам, а уж индийским капиталистам развернуться и двинуться в обратном направлении – ничего и не стоит. Вот такую безрадостную картину нарисовал мой знакомый.

И тут меня взбесило: «Ты кому, говорю, горе кличешь? Нам, родившимся прямо под березами, минуя общепринятые пути рождения, нам – у которых все: снег, лес, мыло и даже небо?» Ну не наберется же наглости американец, хоть он на Аляске родился или в каком-нибудь зачуханном Вермонте, не скажет же: «Американский лес, мыло, небо». А березы наши так шумят, как никакие в мире. Ка-





надские – те вообще тихушницы, бывало, целый день среди них посидишь – ни одна так и не пискнет.

Иду платить налоги: за свет в сберкассе, за воду – в водоканал, за газ – на другой конец города, и везде очереди.

Люди не деньги пришли просить, они хотят их отдать, а их не берут.

– Зачем очередь? – спрашиваешь.

– Да вот деньги хотим отдать, а их не берут.

Ведь готовые деньги – собери, и украсть возможность появится. Не думай обо мне, подумай о себе.

Да на каждом углу должны стоять автоматы экстренные, сколоченные из фанеры будки, для сбора денег у желающих. Если я умру, то найдут меня на какой-нибудь фешенебельной почте, с червонцем в руках, который я так и не успел заплатить.

Дева Мария без усталости, без сна и отдыха приглядывает за нашей страной, не веря охранникам земным, она устала смотреть в одну точку, и нет у Нее никакой возможности окинуть очами усталыми земли иные.

В таких болезненных местах лезут в голову болезненные мысли. А по лестнице неохотно поднимались больные, да и то понятно – не на свадьбу идут. Раньше в этом доме энкавэдэдешники забивали на смерть посетителей своих – сейчас в этом доме лечат их потомков. И дух смерти впитался в эти вечные, дубовые перила, притаился в щербатинах мраморных ступеней. Дом тот же, время другое, время – принесшее более утонченные формы смерти.

Старика я увидел сразу, он мучительно преодолевал ступеньку за ступенькой, опираясь на два донельзя кривых и сучковатых дрына, выломанных в соседнем парке, благо рядом, но как у него сил хватило справиться с этими дровинами, не иначе как с Божьей помощью. Но не топор же с пилой таскать ему с собой, да и дороги они нынче – без ссуды не купишь. Но у наших инвалидов собственная статья, и не чета они инвалидам швейцарским. Уроки лесоповала пригодились и в миру.

Зелено-пегие брови колючками вознеслись ко лбу, будто он спал на них, такого же цвета борода, всклокоченная во все стороны света, скрученная во все стороны тьмы, теплое трико пузырями спадает на дырявые башмаки, и глаза, как два маленьких уголька среди серо-белого весеннего снега, светили с каких-то немислимых высот, и из





всех времен вместе взятых. Его взгляд только присутствовал на земле, ни на что не влиял и влиять не хотел, он как бы говорил: я вынужден жить – вот и живу.

Поравнявшись с нами, он спросил: «А в каком кабинете берут кровь с вены? С пальца я сдал на первом, да впопыхах забыл спросить».

– Вам на четвертый этаж, дедушка, – сказала соседка.

Мне казалось, что старик дымился. Слава Богу, полпути он уже одолел. И при чем тут власти? Ну почему все это нельзя проделать в одном кабинете или на худой конец на одном этаже? Ведь не родились же мы только для того, чтобы мучить друг друга?

Старик родился, как и все мы, не в свое время. Появись он на свет пораньше, Пиросмани обязательно его нарисовал бы, назвав картину «Предсказание». Старик и выглядел как будущее или воплощенное предсказание – зримое наше проклятие. И это было так реально – как пощупать руку свою.

И глядя на старика, вспомнилась картина грузинского художника: белое снежное поле, одно-единственное черное дерево, и на нем маленький черный человечек, вдохновенно рубящий сук, на котором сам же и сидит. Совсем как жизнь наша, совсем как наша судьба. Мы только тем и заняты, что рубим сук, на котором сидим, а в перерывах роем ямы, чтобы попасть в них, слетая с поверженного сука.

Обо всех я, наверное, погорячился, но это самая правдивая моя биография.

«Дворник» Пиросмани был армянином и никак не грузином. Грузины как-то умеют растворять свои беды в вине и песнях. В глазах армянина – боль давняя, неизбывная.

И говоря «грузин», я не вижу перед собой ни гор Сванетии или Тушетии – я просто купаюсь в теплых травах Алазани.

Армянину, куда ни посмотри – везде камни и врагов, что камней, но он горец, и этим многое сказано.

Я турк, но как бы я не хотел, чтобы турки отдали Арарат армянам – вот радости было бы у турков.

И волны той радости, многих и многих, вынесли бы на путь истинный.

И в этом мельтешении воспоминаний почему-то всплыла картина грузинского художника, и называлась она – «Подшипник». Городок,





построенный как дагестанские аулы – ярусно, и каждый ярус окольцован большой дорогой. Кто-то катит по дороге той на велосипеде, кто-то на самокате, дети катают просто колеса – это те, раздобывшие их счастливики – они собственники, самые маленькие оседлали прутья и самые обездоленные, у кого ничего нет, катают друг друга на спине. Вот люди, собравшиеся вокруг огромной бараньей игровой кости, в руках у них маленькие косточки – альчики, и они вдохновенно играют с ними. И названа картина удивительно точно – «Подшипник». Кольцевые дороги как основа подшипника, а люди как шарики. И все по кругу, все в замкнутом, все грустно, хоть и весело. И захотелось мне разорвать этот круг, захотелось, чтобы кто-то сделал шаг за пределы этого кольца. И назвал я картину – «Игра в альчики». У нескольких писателей я читал рассказы с таким названием. Есть в этих словах звонкая Надежда и стойкая Вера в решение всех проблем, которые, услышав эти слова, рушатся, позванивая уже не восстановимыми обломками. Игра в альчики... есть в этих звуках выход из закольцованности дорог и замкнутости бытия, веселые и жизнерадостные звуки, выводящие на свежие просторы. И мы играли в альчики в послевоенной Азии: взрослые на деньги, малыши – на яблоки в колхозном саду. Играли в альчики и фронтовики, ошеломленные наступившим миром, и как и мы, маленькие, – не знавшими, что им делать в этом наступившем дне.

Меня допускали к игре потому, что я был самым маленьким, постоянно проигрывал и бегал за яблоками. Сторожа не могли меня обнаружить потому, что я был маленький. Чтобы достичь сада, надо было преодолеть канал, он летом мелел, но и обмелевший был мне по плечи. На меня, мокрого, садилась бархатная азиатская пыль, и к вечеру я напоминал статую из глины.

А какие громадные были яблоки, за пазуху помещались только две штуки – третья, разрывая рубаху, падала наземь, увлекая остальные. И я бежал платить долги, поддерживая яблоки и спадающие трусики. Сторожа, конечно же, меня видели, но они знали, что я сын фронтовика и ссыльного в одном лице. Они знали, что отец мой проливал свою кровь в буквальном смысле, проливал кровь, которая предназначалась мне и которая дала возможность им, в этом пекле, блаженствовать в тени яблоневого. Они знали, что должны мне, и платили долг свой, за-





крыв глаза. Они чувствовали, что добро чужое не оплатить добром своим. Они догадывались – долг неоплатен. И только благодаря тому, что долг неоплатен, и рождается ощущение неодинокости, неразрывной связи с другими.

Они знали: какой уж «богатырь» может родиться от человека, пролившего свою кровь, – вот и укрепляли меня, чем могли и чем обладали. Они догадывались, что мне нужно быть крепким, чтобы добраться до родины предков моих.

Качу арбуз, величиной с себя, намокший в предрассветной росе, и пахнет он росой и дивными, чистыми далями, в которых вместе с восходом солнца я непременно побываю. Спасибо людям, которые ничего не были мне должны, но вовремя отдали долг. Я тоже стараюсь вернуть долг людям, у которых ничего не занимал.

И если я посчитаю, что долг мой выплачен, то оборву нить, связующую меня с другими, и значит, я умру, а я хочу жить.

Я хочу, чтобы соседом моим был балкарец, если не будет его – как я узнаю, кто я такой?

Я хочу, чтобы соседом моим был кабардинец, если не будет его – как достигну цели своей?

Я хочу, чтобы соседом моим был русский, если не будет его, то как мне без цветов на подоконнике, цветов на могиле, и любопытно все же: кто ж там с горочки спустился.

Я хочу, чтобы соседом моим был еврей, если не будет его, то как я узнаю о тяготах мира нашего, а не зная их, как я возрадуюсь благам земным?

Я хочу, чтобы соседом моим был белорус, если не будет его, как я умилюсь тому, что окружает меня?

Я хочу, чтобы соседом моим был грузин, если не будет его, как я сяду за большой стол, и что я спою в радостный день свой?

Я хочу, чтобы соседом моим был вайнах, если не будет его, кто сможет отстоять дом мой?

Я хочу, чтобы соседом моим был осетин, если не будет его, как нам жить, и христианам, и мусульманам, в мире едином?

Я хочу, чтобы соседом моим был армянин, если не будет его, кто оплачет меня в день ухода моего?

Время не оставило и крохотной доли своей нам на обиды.





Земля сплошняком укрылась розами, полнясь однообразием обожженной Азии. Как же без веточки вербной ощутить рождение ребенка и нежный выдох весны утомленной? Как же без горечи полей полынных, вникнуть в краешек бескрайнего? Как без торжествующей мокрой сирени услышать плач уходящих домов и времени?

Моя соседка, уходя, сказала: вы прочитайте мою прозу и скажите потом, художественна она или нет?

И я стал читать ее прозу.

Москва. Кремль.
Президенту РФ
ПУТИНУ В.В.

ЖАЛОБА

Я, Костикова Елена Викторовна, 1960 г.р., в 1998 г. работала на кондитерской фабрике мастером. Жила по улице Баумана, 210, кв. 56 со своим сыном Андреем 1985 г.р. (с мужем развелась 1993 г.). Однажды после работы случилось со мной несчастье, и я почти на год (с 9 апреля по 8 декабря 1998 года), попала в реанимацию (перелом черепа). Когда вышла из больницы, получила вторую группу и дома жила одна, так как родители уже умерли, а ребенка забрал его отец (Александр Костиков). Родственников в городе никого у меня нет, хотя здесь и родилась. Дома я познакомилась с Толиком Нарушевым, и у нас стала гражданская семья (гражданский брак). Год жили у меня, но деньги были, в основном, моя пенсия. Что-то с работой у Толика ничего не было, хотя до меня у него был хороший бизнес.

Потом он уговорил меня продать отцовский гараж, хотя до этой продажи просил занять где-нибудь 10 тысяч денег на две недели. У меня нет таких знакомых и слава Богу, иначе я получилась бы обманщицей, если бы он не вернул чужие деньги через две недели.

Я ему верила, муж же, и гараж продала за 20 тысяч, деньги – Толику. Он, видимо, вкладывал их в бизнес, но ничего у него не пошло, потому что, так и жили на мою пенсию, и денег всегда у нас не было.

Потом Толик уговорил меня продать квартиру. Я знала, что ребенок мой у свекрови в селе, а мне его отец не отдавал, говорил, что я недееспособная (что это такое, я так и не знаю). Я и согласилась продать квартиру в 2000 году, думала, человек-то знает, что такое квартира, и





я ему верила. Когда выписалась с адреса, в ЖЭКе спросили: «Куда?». Он дал свой адрес, хотя эта квартира его мамы, и он там прописан. Я не знала совсем, что если в квартире прописан несовершеннолетний ребенок – продаже квартира не подлежит (это о моей квартире). Оформлением продажи занималась О.Е. Спицина, которая и купила у меня 2-х комнатную квартиру. Деньги отдавала у себя на работе при начальнице, 3 тыс. долларов, мне и Толику (это когда все уже было оформлено). Куда вписала его и мой паспорт (думаю, у нее еще эта расписка есть, а наша у Толика).

И вот пошло: Толик снимает квартиру, где я жила почти всегда одна. Он редко бывал, уезжал, наверное, туда-сюда. Месяц проходит, надо платить за квартиру, а его нет. И в КПЗ я где-то около месяца жила по Толикиному договору. Где я только не ночевала (даже на стадионе около месяца), и в больницу попала, где сразу поправилась (там же кормят). После больницы Толик увез меня в соседний городок, хотел в бывшем Р.С.У. кур поставить (цыплят), договорился с директором, поехал за кормом и исчез. Я там ждала его неделю, хорошо, что люди меня кормили. Потом директор дал мне денег на дорогу, чтобы я уехала, раз Толика все нет. Я поехала – и куда? До последней больницы я немного подрабатывала. А теперь все: ни жить негде, ни кушать нечего. Десять месяцев назад я целый год жила в магазине (весь 2001 г.). В начале 2002 г. магазин продали. Я жила в нем потому, что сын хозяина Абушиков Астемир с Толиком занимались бизнесом на мои деньги: то отправляли гравий, то лес – в общем, всего я не знаю. Знаю, что денег у них не хватило (на что?), и они у одного человека – Мухи взяли машину (волгу) на продажу. Продали, но денег Мухе не отдали до сих пор. Он ездил к ним домой и к Толику, еще и в магазин при мне приезжал и ругался, и просил, но ничего. «Если подашь в суд – нас посадят, а ты без ничего будешь. Мы отдадим тебе деньги позже». Вот он и не подал. Но у него хоть есть дом, другая машина. А у меня ничего нет. Я себе могу заработать только стардом и психушку. Это меня ожидает

Сегодня я встретила Любу (Толик дружит с ее сыном Виталиком), и она сказала, что Толику брат старший нашел богатую невесту, женится, а мне потом купят квартиру. Толику Люба заняла деньги, дала адрес в Москве, и он сейчас там, старается заработать деньги на мою квартиру (это когда будет, через 5-10 лет?). Но меня очень





удивляет вот что: год назад мой бывший муж подал в суд на меня за квартиру, потому что ребенок был у меня прописан, а сам Саша снимает квартиру, но где он прописан, я не знаю. Получается, я и мой ребенок – бомжи, хоть он и у бабушки. И этот суд закончился миром, с обещанием Толика купить гараж и квартиру (с его слов) через три месяца в июне 2001 года. Уже столько времени прошло, ничего так и нет. Жалко, что у меня нет цианистого калия: проблемы бы не было. Если можете мне помочь, прошу Вас, Владимир Владимирович, помогите получить свою квартиру с телефоном (который у меня был всю жизнь, еще родительский: папа был геологом, а мама – врачом), с гаражом (мой был самый большой и дорогой в районе). Насчет этих продаж я ничего не оформила у нотариуса, потому, что Толику верила. И куда он отвез всю мою обстановку (еще папину большую библиотеку, пианино, ковры, паласы), – я этого не знаю. Сейчас у меня нет одежды, вещей, ничего нет. Хоть документы свои я кое-как забрала, они были у Толика, а его сейчас нет. Последний раз я его видела 3 октября.

Не знаю, что мне делать. Я уже была в Верховном суде, милиции, прокуратуре. И все это бесполезно. Многие говорят, что зря и вам пишу. Если можно, помогите мне. Только Толика сажать не надо, а то так ничего и не будет.

2002 г. 21 октября

С уважением Костикова.

Вот такая вот проза...

А с Толиком мать его и моя знакомая встретились-таки – в морге.

Толик не болел, его никто не убивал – живи себе, а он взял да умер.

То ли московский климат ему не подошел, то ли чужие деньги в кровь не пошли – иди, гадай.

А что до прозы моей знакомой – ничего более художественного я не читал.

Жалоба... Поставь многоточие – какая горькая ширь откроется перед тобою.

Жалоба – это зашифрованная молитва, обращенная к людям.

Искусство должно быть узнаваемо, только узнавание дает повод, толчок для отлаживания своей внутренней сути.





Раньше я думал, что художественность – это отторжение лишнего и приумножение недостающего в этом мире.

А прочитав ее прекрасную и горестную прозу, как поэзию страдания, я понял: художественность – это когда чья-то печаль, поселяясь в тебе, становится болью твоей.

Господи, если бы я был чиновником, то каждый день читал бы шедевры. Я видел ее из окна автобуса – она постригала кусты в парке. Она, которой мы все порушили, из обломков своих ладила нам красоту. Завтра же я приеду к ней, и мы сообща найдем адвоката. Я никогда не был на новоселье, просто я знаю, что событие это радостное, и мне не хочется лишать себя этой радости.

Не сделанное на земле, – не услышится на небе.

Как же я предстану перед Богом, не бывший ни разу на новоселье. Не испытай радости чужой, как я огорчусь собственному уходу?

И я не хочу никуда уходить из моего города-подшипника, где я вместе со всеми играю в прекрасную игру – альчики, и мне еще не надоела эта веселая и грустная игра.

А она проснулась на стадионе. Ее трясло от холода, мутило от голода.

В лесочке – рядышком, она нашла дикую грушу, надкусила и почувствовала вязкий, сжимающий горло вкус одиночества: одиноким был стадион, каждое дерево в лесу, каждый дом у дороги... и ничего, и никого родного. Но надо идти, идти, улыбаясь, на работу, а после нее идти искать себе пристанище среди бесконечного одиночества. И она шла, улыбаясь.

Одинокие, грустные деревья, что б вы делали, чем жили бы, как выжили бы, если бы с вами, бок о бок, не шел этот улыбчивый человек.





ВСЛЕД ЗА АВГУСТОМ

Август... падают листья... их сметают, спозарань, старушки. Падают листья, и истосковавшиеся друг по другу дети в душевной сумятице ждут сентября.

А вечером горят костры и падают звезды.

Одни, как печальный дым осеннего костра, безропотно и тихо уходят, другие под звонкую, звучную капель приходят. Бабье лето... Так тихо, что усталую поступь уходящего года... и дальний приглушенный, но въяве слышимый топот года приходящего.

Излет августа – пограничье – встреча Нового и Старого года.

Кавказ спал: спали в белизне скалы, спал изуродованный и чужой католицизм, в образе громадных и донельзя пошлых замков, отторгнувших на веки вечные, тепло человеческое. Замки, построенные безнадежно больными людьми.

Все дремало, убаюканное светлым безучастьем августа. И в этой сонной слитности все было само по себе – каждое отделено от каждого, непреклонной ржавью опавших листьев.

А человек во дворе громадного санатория сметал листья. Никого... а человек машет метлой, в нежелающем жить, едва видимом, сонном рассвете. Старое пальто в едва различимую клеточку, громадные, тупоносые ботинки и замасленная фуражка, из козырька которой едва желтел кусок обглоданного Временем картона. И из потрепанного картона удивленные глаза, глаза пожилого человека, собравшегося родиться.

Август – это люди куда-то уходят, а человек вот-вот должен родиться.





И я воочию увидел, как в мучениях рождается старый человек, как из застоялого водочного марева, средь безлюдья, безвременья август, влажной теплинкой полнятся глаза вновь рождаемого, давно живущего человека.

Я узнал его, поздоровался и сказал: «Саня, а ты улучшился». Что мог ответить этот, корчащийся в боли, малознакомый человек, он просто невпопад кивал головой.

Я вспомнил его, да его весь город знал. Он играл в футбол, и мы толпой валили посмотреть его игру.

Футбол – игра простая – отдай все, что имеешь и то, что умеешь, а по взмокшей майке и трусам понятно, сколько отдал, и отдал ли? Зачем мы ходили на футбол? Ведь не затем, чтобы увидеть, как мяч влетает в ворота и затихает в сетке. И не для того шли, чтобы забыться и отвлечься, – мы шли туда в поисках выхода, хоть и не осознавали это.

Чье-то неожиданное движение, непредсказуемый ход, создавали иллюзорный ответ найденного выхода.

Любое зрелище, как и сама жизнь, – поиск выхода.

А к выходу сухоньким и не дойдешь – только в поте лица и плоти всей, и души, и духа своего – всего без остатка. Это и есть простая игра – футбол. Мы баловали его, как баловала его и жизнь сама.

А он шел по главной улице, средь цветущих роз, чистенько одетый, и сквозь промасленную благополучием глазную пелену ничего и никого не видел.

Но это было вчера, в многолюдном июле, а сегодня – обезлюдевший август.

Помахивая метлой, он продолжал играть в футбол – то есть искать выход.

И у него это получалось – свет впереди смотрел в его полнящиеся теплом влажные глаза.

Я иду домой... Я лежу в больнице... Больница новая, еще слегка прилипают тапочки к полу. Больница выложена белым мрамором – изнутри и снаружи. Белеют в ожидании больных раковины и ванны. Нежилым отблеском мелькают белые халаты врачей и медсестер.

Больных – никого, я – один. Ко мне никто не приходит, да и я никого не жду. Никого... Лишь седой дворник сметает желтые ли-





стья, и с почерневшего дерева смотрит на меня своим забытовевшим взглядом старый ворон.

Долгий, без конца и края день... По дальним, опустелым улицам бредет усталый август... и останавливается на отдых в больнице. Больше всего на свете август любит больницы.

Я только что родился в этой белизне. Родился без крика и плача. Никого рядом не было, хоть кричи, хоть плачь...

И вот вслед за августом, неслышно, один ухожу по золотой дорожке, посланной из вчера еще зеленых листьев, ухожу к давным-давно знакомой сини.

И ничего не происходило, и ничего не произойдет.

Было лишь то, что родился. Будет лишь то, что уйду. Об этом лучше всех знает усталый, мудрый август.

Рождается человек на изголодавшемся пустыре, и даже тьма высоток не может заслонить безысходия того пустыря, в ненасытии хлебающего августову грусть. Не манны желаю – соли, кто б сыпанул от щедрот своих с неба? Кто бы развеял пряный дух августова безнадёжья?





ДВОРЕЦ МОЙ В БЕЗЛЮДНОЙ СТЕПИ

Обездоленность — когда нечего дать другому.

После ухода мамы мы собирали поминальные кульки со сладостями: на девятый день, потом на пятьдесят второй. И даже сквозь горе чувствовалось, что делаем что-то не то — пытаемся накормить сытых. Сестру, наверное, Бог надоумил: в годовщину поедем в интернат, там и раздадим милостыню, неожиданно сказала она. И мы, ближайшая родня, наполнив «Газель», поехали. Миновав ближайший городишко поселкового типа, поплутав в степи с полчаса, мы подъехали к этому интернату. Дом с колоннами, а рядом: ни жилья, ни людей, ни живности. Степь до горизонта и дом с колоннами — жилище Кафки, земля его собственная. Время забылось в нереальности. И интернат этот предназначался для умственно отсталых людей. К нам подходили обитатели этого дома: у кого — губа заячья, у кого — глаза в раскосьях, у кого — шея шире черепа. Обступили, разнообразные, невиданные на земле формы, будто фантастичные видения во сне. И странно, от них не отшвыривало, а притягивало, как к неведомому, но долгожданному теплу. Будто, прошедши сквозь пургу, подполз к очагу, к горячей чашке чая. Мы жали друг другу руки, обнимались, как фронтовики в первые мгновения после войны. Слов было мало, будто мы давно все обговорили. И в простор милославия, через босхианские формы, на меня неожиданно накатили потоки едва узнаваемого, простого, чистого добра, изначально нами забытого, но помнимого только этими людьми. Наверное, так же внезапно, нас вбросят в чистилище, и мы испытаем то же самое, что испытывал я, стоя на земле, в поле чистом, у дома с колоннами. Да ведь я, оказывается, и не жил вовсе, разве что сейчас жить начал, в миг сей,





и миг был такой емкий и долгий, и предполагал какое-то долгое продолжение, смывая предыдущую жизнь мою, зряшную почти. Господи, избавь меня от гордыни, хожу я с ней по хлябям земным, не ведая пути своего, и не будучи хозяином дел своих. Сил как у цыпленка, а гонору – как у ста орлов, вместе взятых. Господи, дай мне смирение, а значит и истинной жизни чуток. Я ведь догадываюсь, что такое смирение.

Смирение – не крест, раскрашенный кровавыми губами.

Ни кисти муэдзина в полутьме. Смирение – не хлеб мой вчерашний. Не хлеб, о котором мечталось во сне. Не взгляд мой осенний, в продрогшем окне. Не раскаленный посох, тлеющий в пыли. Не ставни – до земли. Смирение – когда в глазах старушких синее целомудрие весны.

И я жал руки и обнимал этих людей, как носителей той жизни, которую просил у Бога. Мое сокровенное, мое самое ценное, самое необходимое, было не во мне, а в них. Один бы я не унес, и Боже дал мне подмогу. Крест свой, я худо-бедно, нес, но долю свою, от Божьей благодати, один я не унесу. Будто самое ценное свое я сдал на хранение, и я знал, что в миг любой, оно вернется ко мне преумноженным.

Санитары сказали: вы сами раздайте ваши кульки по палатам. И мы пошли по изодранному донельзя линолеуму коридорному, вдоль давно не беленных стен. Обитатели больниц и тюрем обретают суть, исходящую от стен этих домов – грустную суть, плохо стиранного, старого белья.

– Курить принесли? – только и спрашивали: и молодые и пожившие вдоволь, и женщины и подростки. Здесь очень хочется курить.

– А как вас кормят?

– Хорошо, дают макароны и картошку.

В палатах сидели и лежали холодные и голодные люди, и в замкнутом пространстве своем, из бед своих и лишений вырабатывали тепло, чтобы согреться, и добро, чтобы было на что жить. Им не на кого было надеяться, да такое и доверить некому.

И палаты умиляли ликами с общим выраженьем, и лики те совсем не хотели вживаться и обретать смысл скорбных стен своих. И за все время я не услышал ни одного шероховатого слова. Слова были простые и теплые, обогреты и взлелеянные ими.

– Спасибо, – говорили они, – чтобы у вас не было больше смертей, чтобы много радости было. – И я, протягивая кулек, ощущал, что не даю я, а беру.





Они ели и смотрели в глаза, и слаще тех конфет я никогда не едал. Из душевой неожиданно выскочил совершенно голый человек на четвереньках, он взял свой кулек и вновь захлопнул дверь. И никто не содрогнулся, не отшатнулся – ну, вышел человек и вновь зашел. На каждом этаже были свои санитары. Добрались мы до второго этажа. Стою с кульком в руке и не знаю кому его протянуть. А санитар, грозно взглянув на меня, рыкнул: «Ты что, уже второй кулек взял себе?»

Боже, да он меня с ними путает. И такая радость хлынула в меня: значит что-то во мне осталось, значит не все растерял.

– А, извини, – спохватился санитар, не ко времени подобрел, и все рухнуло.

Обошли мы все палаты, двигаясь в безвременьи и невесомости. Мы уезжали, а они стояли на ступеньках и махали нам вслед, и им очень хотелось уехать.

Едва мы отъехали, и я заскучал по этим людям. И мне показалось, что это я, из далекого далека, крохотной ручонкой машу себе, едущему Бог весть куда и Бог весть зачем. Я не мог бы остаться, ибо я не понимал: как можно излучать добро, будучи совсем, совсем одиноким, холодным и голодным? Я уезжал туда, где тепло и сытно, но чем лучше я одевался, чем вкуснее ел, тем дальше и дальше уносило меня от добра.

Как их назвать: умственно отсталыми, людьми с ограниченными возможностями? Да, у них ограничены возможности делать что-то не так. И неограниченные в том, без чего и жить-то невозможно. Их бы не бросить в степи, а поселить в центре города, чтобы брать у них средства: на день свой, на год, на жизнь. Я уезжал, а позади остались: дом с колоннами, схваченный со всех сторон тополями и людьми на ступеньках, машущими вслед нам руками и все это стиралось, впадая в сизый, кизячный закат грустных деревенских окраин. И вспомнилось название: не то повести, не то рассказа Катаева «Хуторок в степи». И пахли слова эти светлой ширью и возможностью выхода, выхода из теснин обезумевшего бытия.

Мы молча возвращались домой. Вымолвить слово не было никакой возможности. Все нажитое – выветрилось, а новое еще не обжилось.

Меж двух дорог, меж мчащихся машин, на клумбе цветочной лежал пес на правом боку и, сладко подремывая, улыбался. И дремлющий пес, и сизый, без единого яркого пятна горизонт, не завершали





день, а растягивали, удерживая долготу дня. Совсем как у Пастернака: «И дольше века длится день».

На одном из домов было написано: «Продается». И мой двоюродный брат, остановив машину, сказал: «Я хочу дом купить, будь другом, узнай цену».

Калитка была открыта, на крыльце стояли двое седовласых мужчин – примерно, мои ровесники.

– Салам алейкум! – поздоровался я.

А в ответ – тишина.

– Сколько дом ваш стоит? – Молчат...

Эти двое, одетые в какие-то старомодные костюмы, стояли на крыльце и смотрели сквозь меня. Они молчали, им было лень изобразить даже презрение ко мне. Молчание затягивалось. И один из них, оживившись приливом сарказма, крикнул в приоткрытую дверь: «Фоза, тут к тебе покупатель». И в голосе его было столько ехидства, лишавшее надежды купить когда-то, хоть что-то.

Вышла крупная женщина, в блеклом платье и с блеклым лицом, оглядела меня и, ничего не сказав, захлопнула дверь. И вспомнилась фраза Катаева: «Мадам Стороженко». В двух словах – образ человека, не слышал ничего более емкого и более лаконичного во всей литературе.

Мадам Стороженко, облитая солнцем, бойко кричала: «Бычки, кому бычки» и полнилась жизнью, почти как море за ее спиной.

А эта уже состарилась и сама не знала, что ей надобно. Бывает. Бывает и хуже. Они оценили меня по одежке. Я оделся поскромнее, чтобы не было стыдно перед людьми, к которым я ехал. А они продают дом свой и, наверное, примеряют себе какие-то новые роли.

Ну, продадут они дом – на Канары они точно не поедут, вряд ли сошьют себе хорошие костюмы – вкуса не хватит. Вряд ли съедят сразу двух куриц, они сейчас и полкурицы не осилят. Тогда зачем весь этот гонор. Не знаю. Но я знаю, даже одень я свой лучший костюм, все равно я им ничем помочь не смогу.

Наконец один из мужичков, смилостивившись, сказал: «Дорого стоит дом, дорого». С тем я и ушел.

И что же мучался я – неужели день мой влез в катаевских словах: «Хуторок в степи» и «Мадам Стороженко».

И уже подъезжая к дому, я увидел одинокий тополь у дороги. Когда





я вижу тополь, мне хочется молиться. Если долго стоять около него – сам превращаешься в молчаливую молитву. Я не могу представить киргизскую юрту без тополя, растущего рядом, так жилище надежней кажется. И умильные всплыли айтматовские слова: «Тополь мой в красной косынке».

И как вообразить украинскую мазанку без тополя, растущего рядом?

Но тополь – всегда у дороги, а не у дома. Тополь все время в движении, он странник неустанный. За березами всегда ощущается оседлость, жилище человеческое. Береза как бы пришла, светло обустроила округу и никуда уходить не собирается. Когда я иду по большой дороге, вдоль тополей, то полнюсь оптимизмом – ведь люди, сажавшие их, поняли бродяжью суть тополиную, поймут они и цену живущих рядом... и не так уж безысходна жизнь, которую, по неведению своему, мы соорудили.

Тополь – это всегда выход, выход зримый. Жизнь тополя, как и жизнь человека: дорога и молитва.

Человек, как и тополь, не чувствует, что молится.

Помолюсь тополю, посоветуюсь с ним и выйду в день новый. И мне все дано, и все понятно. Уступлю тополю дорогу и пойду в такт дышащей тверди земной. Мне всего-то надо: не обогнать его, а иначе заблужусь. Тополь мой, странник и домосед, скромное обличье вкуса, ибо вкус и есть всепонимающая, всех понимающая, обиженная нами скромность. И в трудную минуту я вспомню тополя вокруг дворца моего, в степи безлюдной, тополя, которые молятся и охраняют людей, у которых я оставил все свои ценности.





ДЕНЬ, ИЗ КОТОРОГО НЕВОЗМОЖНО УЙТИ

Четырехлетний Эркин гуляет в одиночку.

– Ты почему один, Эркин?

– Я не один, я с шапкой.

Из Азии мы вернулись в мае, потому что все ликовали. А после мая, пришел март такой бездомный, как и большинство вернувшихся, и долгий, как приход в раковую больницу, он и сам был раковым больным: немытым, неряшливым, ничего не хотевшим, ничего не желающим. Тоска любит прогуляться по осени, иногда навещает весну, но родилась и живет она в марте. В марте и умирать не жалко, наверное, он для того и существует – это и оправдывает его существование. Люди бродили по марту во фронтовых гимнастерках и колхозных фуфайках и сами были зримым мартом. Они пытались в этом хаосе, собранном из грязи и тумана, освещенном блеклым солнцем, найти когда-то утерянное: знакомую тропинку, бугорок в конце огорода, камень у дороги.

Шло долгое, близорукое узнавание окружи – собирание себя в этом заблудившемся марте. Потерявшие искали свое, в потерянном. Господи, как тягостно жить на чужой земле, в чужом доме, да еще и в марте, и есть с утра до вечера кукурузную мамалыгу, дерущую горло, как и сам март. Нам еще повезло – мы жили хоть в чужом, но доме. У большинства были хижины, сплетенные из прутьев, обмазанные глиной и крытые дырявой толью. И в «домах» этих после дождя текли ручьи.

Нам все же крепко повезло с домом. Все было заражено мартом, и даже горы, с виду такие крепкие, стояли понуро, будто в преддверии болезни. Единственное существо, которое было вне марта и как выход из марта – теленок наш, запертый в сарае. И сарай наш был под стать марту, сколоченный из досок кривых, вперемежку с бревнами. Если бы теленок умел плевать, он бы плюнул на март, но это было доброе и интеллигентное существо, и поэтому плюющим его никто не видел. Он бегал по огороду, брыкался, как жеребенок, а наигравшись впадал в задумчивость, и мне казалось: он смотрит в какие-то светлые и чистые дали, которых мне никогда не достичь. Меня тоже тянуло: побегать, попрыгать, но глядя на





этих озабоченных людей, я понимал, что не надо этого делать – не к месту это, да и не ко времени.

Отец привел с собой троих мужчин, а они прихватили с собой веревку и большой нож. Наверное, отец хотел накормить нас, чтобы мы с сестренкой Мадиной окрепли, выросли. Но я не хотел есть теленка, и сестра моя есть его ни за что не будет. Мы же кормили его из соски, гладили по бархатному лбу, смотрели в глаза ему, сидели с ним на соломе, в закутке сарая, а сейчас должны съесть его. В тот момент я знал, как много мы потеряем, съев любимое, и знал, что утерянное мы никогда не найдем – станем несчастными.

Я стоял у дверей сарая, сколоченного из всякого хлама, скрепленного громадными щелями и одет я, наверное, был под стать сараю, и по щекам моим лило и лило.

Отец что-то сказал пришедшим, и они ушли.

Мой папа самый умный – он все понял. Он самый, самый добрый – захлебывалась теплынь внутри меня. И от восторга и ликования я долго не мог шелохнуться. Как я его любил в эту минуту! И что-то общее и очень, очень важное было: и у теленка, и у отца, и у враз потеплевшего марта. Наверное, родное то, что было в отце, жило в теленке и передалось разочарованному марту. И эта общность рождала слова: родственники, родное, Родина. И земля была непоколебима, и жизнь желанна.

Первый класс, как шаг в жизнь другую. Урок чистописания. Где же еще писать чисто, как не в этом безлюдье, не в толчее же человеческой?

Урок чистописания. Скрип перьев. Тишина. Учительница у осеннего окна – святая Дева Мария, в первые мгновения без Христа. Утомленные от долгого ожидания людей, дома. Простуженные деревья, покашливая, бредут вместе с промокшей дорогой, в поисках зимы.

Первые дни. Первые уроки. На впервые увиденной Родине моей. У окна сидит Муса Боллуев, лицо его освещает солнце – он вылитая копия отца своего Ахмата. Очень серьезен и, кажется, что вместо отца вспоминает годы свои, проведенные в окопах, и отшелестевшую в тополях придорожных, и истаявшую в сини небесной, войну вчерашнюю. Алеша Жарашуев написал слово арбуз с большой буквой на конце. Учительница наша так смеялась, и мы вместе с ней, а зря - па-





рень был прав – арбуз и надо писать с большой буквой на конце, ведь он круглый. А если вспомнить о бесконечьи оттенков его вкуса, то он и должен напомнить собой планету. Нас тоже не всегда верно учили. Отец мой говорил: если бы я каждый день ел арбузы – я бы никогда не умер. Сколько поэзии затаилось в этих незамысловатых словах. Я только сейчас узнал, с каким большим поэтом я жил в одном доме.

Впервые Бога я почувствовал годика в четыре, как почувствовал огонь, случайно коснувшись раскаленной печки.

Какая-то бабушка угостила меня огурцом, надкусив его, я онемел: как, откуда в этом пекле такая прохлада? И как эту жидкость упрятали в прочную зеленую обертку, и она не утекает? И каждый раз, пробуя какой-нибудь фрукт или овощ, все во мне переворачивалось, и я чувствовал Бога. А когда попробовал арбуз – я уверовал. Пробуя каждый раз что-то новое, я ощущал иную грань Бога. И пахли эти осколки запахов и вкусов чем-то очень значимым, емким и цельным.

На беду моей тетушки Кани и на радость мою, у нее плохо было с произношением. А чтобы избавиться от этого недуга, был один рецепт – читать вслух, что она и делала каждую свободную минуту. Она читала книжки для взрослых, как я сейчас вспоминаю от Свифта до Шекспира, она читала, а я слушал, а услышав, так поразился, как ничему другому на свете. Оказывается, слово пахнет: и огурцом, и виноградом, и арбузом – мало того, оно может все это вместить в себя. Сидя в маленькой саманной комнатенке, я одновременно бегал с индейцами в прериях Америки, это ж уму непостижимо – слово, маленькое слово, может вместить в себя и время, и пространство. Оказывается, в слово можно вместить все, что увидишь и о чем подумаешь. Это же здорово! Собрал все в слово и спрятал внутри себя – и никто, никто на свете об этом не узнает. Так мне явился компьютер, задолго до его изобретения, в те еще времена, когда жил загадочный Сталин.

В школе я слушал слово о Парижской коммуне, о царях и коммунистах, я не продирался к смыслу, а внюхивался в слова, если пахли они: огурцом, дыней или арбузом – значит, правда, если нет, то и в голову не брал. Были слова совсем без запаха, а некоторые пахли, но очень плохо.

И праздник наступил, когда в доме появился радиоприемник, расшитый спереди узорным шелком и с таинственным зеленым глазком.





Взрослые, сгрудившись вокруг него, с упоением слушали песни, едва они уходили на кухню, я переходил на другой канал и почти бездыханный вслушивался: в вести с полей, или новости – не важно, лишь бы музыка не мешала ощущать мне, таинственный запах самого слова. А когда еще отсутствовали слова, я чувствовал шаткость человеческую и собственную неустойчивость. Вот я, маленький человек, стою в поле, а у поля того нет ни начала, ни конца, и я понимаю, что дойди я хоть до другого края, он все равно будет похож на свое начало – и ходьба моя никакого отношения к опыту иметь не будет. Опыт – это не то, что обречено, а то, что ниспослано.

И только надкусив огурец, я почувствовал опору – и я стоял, и стоял крепко. И в тот же миг я утерять интерес к событиям, а значит, отказался от всякого «опыта». Вот идет человек на работу – и никакого отношения к сути огурца он не имеет и опыт не в его движении, а во вкусе самого огурца. И стал я жить в преддверии встречи с очередным чудо-опытом, кем-то с большой любовью уже подготовленным для меня.

Къайсын осторожно ступил на Башильскую землю, и неспешно прошелся по прошлогодней хвое. Так, наверное, проходят на склоне лет, с чудом уцелевшей собственной колыбели. За ним из автобуса хлынули его друзья-литераторы из Москвы. Я поздоровался с ним, и он ни с того и не с сего громко сказал: вот это мой племянник, и он лучше всех знает мои стихи. И это было неправдой, приехавшие вместе с ним гораздо лучше разбирались в его поэзии. Къайсын всех балкарцев звал племянниками, и возраст тут не имел никакого значения. Племянник – он образовывал из слова племя, правда, ни с кем не делился этим своим секретом. Он, по сути, был человеком, расширяющим границы родства – впрочем, как и любой другой большой поэт. Хотя поэзия, это реально существующая субстанция, и поэт это тот, кто отщипнул кусочек от этой реальности. Поэтов нет и никогда не было, есть писатели, и весь вопрос в расстоянии, в дистанции меж ними и поэзией. И Къайсын щедро отламывал от глыбы поэзии, находясь рядом с ней.

Возможно, главная задача поэзии – увеличение количества родственных душ на земле, людей с различным цветом кожи, но единых в братстве слова. Для того и Слово ниспослано, чтобы уце-





леть в этом тяжком испытании, зовущемся жизнью, а в кругу родных это сделать легче, нежели среди чужих и чуждых, и чем шире круг, тем легче испытание.

Къайсын, сознательно преувеличил мое знание поэзии, и мне так нужна была эта неправда – именно сегодня, именно сейчас. На то он и племянник, чтобы чувствовать, что другому племяннику худо.

В этот день я успел переругаться со всем турбазовским начальством, хоть их и было всего двое: директор и его заместитель, но начальства всегда больше, чем того хотелось бы.

Как он почувствовал, что мне необходимы его слова?

Так чувствует охотник, идущий на тура. Так рыбак чувствует именно ту, необходимую заводь среди бурлины речной. И рыба лучше ловится не у того, кто умеет, а у того, кто ощущает.

С Къайсыном я родился в один месяц. Наши предки из одного ущелья – из одного села. В Киргизии мы жили рядышком – и на родине Айтматова. Большинство балкарских писателей жило или родилось во Фрунзе и прилегающих к нему селах.

В первый класс мы пошли в одну и ту же школу, уже в Нижнем Чегеме. И самую великую книгу – Букварь – я прочитал здесь. И первый настоящий снег, и дорогу, покрытую льдом, и детей, длинными кнутами гоняющих по льду тому деревянную юлу. Еще вчера эти дети барахтались в азиатской пыли. И снег, и лед, деревянная юла и горы – все впервые. И кто ж детей за ночь научил так лихо щелкать по юле?

Что-то я не видел, чтобы родители их этому учили. Во сне, что ли, привиделась им эта игра? Тайна ...

И тайна впервые услышанного Пушкина.

За классным окном все пушкинское: и снег, и лед, и краснощекие дети в самодельных санках, и дворняжки, восторженно барахтающиеся в снегу. Пушкин во все времена года, Пушкин, но зимой, он светлее и пронзительнее, какой-то емко-радостный.

И первую в жизни шоколадку я получил из рук Къайсына. И впервые в жизни я увидел улыбчивого человека – это был Къайсын. Да и кому было улыбаться в нашем селе, медленно таявшем среди азиатской, аховой степи, под ярым восточным солнцем. Улыбка была как табу, как нечто постыдное среди ссыльных и потомков каторжан, среди отсидевших или ожидающих с минуты на минуту кары сей.





Смех-то я слышал, но чтобы человек так устойчиво улыбался – видел впервые. Он стоял весь залитый солнцем, большой и добрый... и улыбался.

Я стоял с нашим свирепым черным псом, который сидя был на голову выше меня. Я взглянул на собаку, а она изумленно смотрела на Къайсына – не тявкнула даже – она была изумлена не меньше моего, ведь и она впервые видела улыбающегося человека – и мы оба растеряно смотрели на диво. И выражение глаз у нас было одинаковым. Он стоял и молча улыбался. В его молчании было так много, что мое пустое, громадное нутро не могло все это вместить. Я понял лишь малое из его неохватного молчания: мужество – это не длинный меч и грозный взгляд, не шрамы попеременно с морщинами, мужество – это стоять, стоять и улыбаться. И нет другой формы и сути мужества. Несчастен ты, когда не можешь улыбнуться. И нет иной формы сути несчастья. Ведь улыбка – это ответ небесам. Тогда у меня не было слов, чтобы выразить свои чувства. Но у меня были знания – тогда я без труда мог написать Библию, а сейчас у меня много слов, но с их прибавлением, уменьшились мои знания, и сейчас Библию я могу лишь прочесть – и не более того. Знание – это безмолвие. Когда просыпается разум – исчезает истина.

Солнце. Безлюдье. Безучастная степь. На скорую руку, слепленные из глины домишки – как мавзолеи для живущих. Домишки, сооруженные на случай потопа – снесет, не жалко, или еще постоит до следующего выселения. Черный безмолвный пес на цепи. И все это, на одном уровне – и над всем этим возвышается улыбочивый, теплый Къайсын. И такая горькая, детская тоска вселяется в меня, на исходе лет моих – совсем как в тот далекий, давний день, когда Къайсын на новенькой «Победе» бежевым пятном растворился в оранжевом бесконечьи округи, оставив меня в безнадежной пыли азиатской, с шоколадкой в руке. Шоколад я отдал маме, она отломала кусочек – мою долю. И я, окунув ноги в прохладный, булькающий арык, долго-долго ел эту сладость. Эта была не еда, а вкус будущего. И вкус этот предвещал какие-то радостные дни, необыкновенные события – надо только вырасти и дожидаться. И я знал: вкус – это время и твое соучастие вместе со временем в создании и поддержании вкуса.





На базаре маленький мальчик маме: мам, купи мне резиновые сапоги.

– А зачем они тебе?

– Буду по лужам ходить.

Мать резко дернула его за руку, и чудо не состоялось.

Ведь это чудо, ходить по воде и не намочить ноги, что чуднее и чудеснее на этой земле?

Мальчик просто помнит этот день, когда Христос шел по воде – и неправда, что дело было зимой, это было летом, мальчик все помнит, и никому не даст соврать. Он сам много раз ходил по воде, не намочив ног – и уверовать, что это может кто-то другой, ему не нужны: усилия, попы, посты, молитвы и книги – ведь это так очевидно. Нас угощали конфетами и пряниками. Будь хоть одна конфета, мы с сестрой относили ее маме, она делила ее пополам, и только тогда часть конфеты наполнялась чудом.

Помню, как я съел пару конфет, не донеся их до дому, – помню разочарование свое.

Проходя мимо магазина (а их тогда было так мало, и они были так желанны), мы никогда не просили маму что-нибудь купить – боялись, а вдруг у нее не хватит денег и ей будет стыдно перед людьми. Никто нас этому не учил – просто это было тогда, когда детская душа была большая-пребольшая, она вмещала все и все знала. Растешь, видно, за счет души своей: сам становишься все больше и больше, а души все меньше и меньше.

Когда приходил гость, доля наша сладкая возрастала. Оставалось – пойти в любимое местечко свое, мелко-мелко откусывать от конфеты – и день становился длинным-длинным, и сладость нечастая уносила тебя далеко-далеко.

Сейчас у детей есть все – во всяком случае, больше, чем у нас когда-то. Они едят много разного: вкусного и приятного. Но время так уплотнилось и убыстрилось, что у них нет времени насладиться съеденным. Еда ведь не только поглощение – это встреча с иным, и чтобы осознать значимость этой встречи, нужно время.

И едят они на земле заземленные – и никуда их не уносит. А нет удивления – нет чуда. А удивление – это то, что движет эту жизнь. Нет удивления – не полюбил, не полюбил – не прожил.





Жизнь была щедра к нам, она давала такие длинные дни, такие длинные, что они тянутся из того предрассветного далека и не обрываются в иных временах, в тех, в которых живем сейчас.

Бедные еврейские дети. Они станут великими скрипачами, великими философами, но у них не будет самого главного в этой жизни – длинного-длинного дня. Того самого дня, по которому еще хоть как-то можно узнать себя. Еврей – это непрерывная смена форм обездоленности: от нищеты неподъемной – до богатства самоубийственного. И вечное освоение этих тяжких форм. Бедные евреи – дайте им возможность остановиться. Мне их жаль, я чувствую свою вину перед ними и мне стыдно. Если одного преследуют многие – преследуемый теряет вину, а преследователи ее приобретают. Мне не нужна вина чужая – мне своей хватает. Я их всегда выделял среди остальных – отламывал от доли своей кусочек хлеба, не взирая: богат он или беден. И они брали хлеб тот как манну, и богатые и бедные. И хлеб тот был ценнее манны, ибо нес он не насыщение, а рукопожатие. И в хлебе том затаилась возможность, когда еврей мог бы сказать: Господи, наконец-то из всех времен по кусочкам кровавым соберу тело свое, и найду душу свою, затерявшуюся в безвременьи, и вселю в тело, мною собранное.

Моисей шел позади народа своего, он заслонял собой дорогу назад, дабы, оглянувшись, не увидел он Египта и не соблазнился бы сладким рабством, ужаснувшись долгой дорогой к свободе. А впереди шел самый старый еврей. Он еле передвигал ноги, и с трудом приоткрывал иссиня-фиолетовые веки, изредка поглядывая на оранжевое бесконечье песков, бездонной поволокой глаз своих. Шел старец, сдерживая спешащих – он знал, что до свободы не добежишь, к ней надо идти медленно и долго, очень долго. Евреи еще не вышли из Египта, ибо границы Египта расширились безмерно. В «Египте» не только евреи, в «Египте» – все, и никто и никогда не покидал пределов «Египта». Из «Египта» можно выбраться или всем сразу или – никому. У выходящих из Египта, на ногах будут висеть оставляемые, и если удастся от них освободить ноги свои, то из оставшихся и родится терроризм. Родина терроризма «Египет» – то есть несправедливость.

Отломите еврею от хлеба своего, и вы увидите: и дальше и больше. И узнаете то, что у вас за спиной, чего не видите вы, а видит еврей с





высот своей обездоленности. Ибо высота – это то, что сооружено из собственного страдания, и нет высот иных.

Отломите еврею от хлеба своего, ибо он испытание ваше, отломите ему от хлеба своего, и спасены будете. Евреи – не ваше отношение к народу сему, а ваше отношение к собственным проблемам.

Национализм – попытка пролезть в узкую форточку при широко распахнутых дверях. Националист – первейший враг своего народа – мало того, что он забыл про распахнутые двери, он пытается и народ свой протащить через эту форточку, сужая возможности народа своего, ориентируя его на мелкое и злобное.

Национализм – это преграда, мешающая народу внести достояние свое в достояние человеческое.

Национализм и существует для того, чтобы уменьшить достояние народное.

Вот, привез сына Пастернака – Евгения – сказал Къайсын.

– Его отец поддержал меня – трудно мне тогда было.

– Подумалось: а когда тебе легко было?

Пастернак сказал свое слово – и Къайсын устоял.

Кто-то ж словом своим поддержал Пастернака... и так по цепочке, до самого Адама. И я зримо увидел, как братья по слову, взявшись за руки, держат шар земной – отсюда и Интернет, как калька с этого видимого братства. И если бы человек словом своим не увеличивал бы число братьев своих – люди давно бы перерезали друг-другу, и некому было бы держать землю, и она рухнула бы. На слове человеческом земля держится.

Къайсын шел по Башильской земле, по родовой земле своей. Кулиевы издавна держали здесь коши свои. И шел по своей земле горец – потомок горцев.

Как много чего: знамого и незнамого умещается в этом, собранном из эха живших, и дыхания живущих, слове горец.

По языку Къайсыну близки – азербайджанцы, по характеру – грузины (он предполагал, что Кулиевы – выходцы из Грузии), но безликое слово – горец, поглотив и характер его, и язык, который он любил больше всего на свете – сблизило его с армянами.

В основе горского – провидческий консерватизм, который держится на двух ипостасях: не считать себя умнее предков своих и не





пытаться догнать время, а тем более его обогнать. Время горец воспринимает как зайца, бегущего по кругу. И не дело человека, а тем паче народа, гоняться за зайцем по кругу – лучше стоять в одной точке и достойно встретить его. Горец не ринется сломя голову искоренять несправедливость, он знает: ничто не может находиться в одном и том же состоянии, и несправедливость, переполнив собственную вместимость, уничтожит самое себя. На равнине ты, споткнувшись о камень, слегка ушибешься. Если ты в горах сдвинешь камень – можешь оказаться: или под лавиной, или в пропасти. Поэтому горец примеряет и примеряет, ждет и верит, что время отрежет за него.

Горец – это тот, кто пришел в горы за свободой, как раскольники шли за ней в тайгу. И цена той свободы – меньше есть и больше трудиться. Но она стоит того. Горцы – общность людей, зреющих в собственном соку, не смешиваясь с другими, зреющими до осознания собственной сути и предназначения. Иван Грозный истребил одну треть населения, и все таки это была обрезка дерева российского. Петр-I срубил ствол, не дав дозреть русской сущности. Спасибо, что хоть с корнем не выкорчевал. И растут из этого корня молодые побеги: кто на восток, кто на запад, мучительно пытаюсь срастись в ствол единый. Петр-I нанес вреда стране своей больше, чем все остальные правители вместе взятые.

Горец же зреет в свободе: он не обременен властью, деньгами государевыми, правоохранительными обязанностями – зреет и вносит плоды свои, в общность человеческих ценностей, ведь ничего тебе не мешает. Это божий подарок. Вот он и зреет, и терпеливо ждет плодов своих. Он знает, что самое необходимое, самое ценное сформируется само собой и как награда непременно придет к людям. Ведь мироздание, как и слово художественное, потихоньку отторгает все лишнее и долго-долго возвращает необходимое.

Горец говорит: «Если я пожелаю кому худа, пусть оно вернется ко мне, если кто возжелает мне зла, пусть Боже вернет ему желаемое».

Горец – это когда не в унижение бедность и богатство не в гордыню. А это и есть свобода, за которой он и шел сюда. Не всякому дано то, что он искал. Да не всякий и знает, что он ищет. А здесь повезло по-крупному.

Горец не интересуется национальностью другого. Он просто спра-





шивает: «Ты горец?» Горец никогда не скажет «Спасибо», ибо этого слова нет в языке горца. Делать добро – это обязанность, и благодарность здесь не предусмотрена. На чье-то хорошее горец может сказать: «Будь здоров, богат и щедр», надеясь, что усвоив эти слова, ты вынужден будешь творить добро.

Для себя, в первую очередь, горец говорит: «Если ты хорош, то хорош для себя». И это справедливо. Но жаль, далеко не всякий горец, говорящий, что он горец, является таковым. Ибо далеко не всякому дано впитать то, что вмещается в короткое слово – горец. В полной мере это удалось Кязиму и Къайсыну. И это потому, что главная их мысль была: не утратить. Мы же безуданно пытаемся приобрести, не замечая, что приобретаем – теряем. И эти люди вне слов и оценок, как и родившие нас, ибо сущность не имеет словесного обозначения.

Река Башиль, ошалевшая от ледникового холода, неслась в теснине, пытаясь хоть как-то согреться. Отогревшись у равнины Башильской, стихала, блаженно распадаясь на маленькие речушки. И все как бы замирало: и молкли немногословные горские птицы, замирали на полянках изумрудных солнечные смешливые маслята, и дышали глубоко и молодо древние сосны и нежились в теплой бирюзе, умиротворенное небо, небо, из цвета которого японские женщины шьют себе платья, и глядя на эти платья, видишь благодать Башильскую.

Японцы не потому японцы, что опередили всех по высоким технологиям. Японцы потому японцы, что дождались собственного созревания. Дождались. Созрели. Создали. Все просто и всего достигнешь – только смирись, слушай, жди... и все придет. «Все еще впереди... надейся и жди». Не кричи и не бей себя в грудь, дабы не смела тебя, незрелого, неумолимая молчаливая справедливость. Бойтесь справедливости, ведь это одно и то же, что неумолимость и неизбежность. Несправедливый похож на игривую мышку, возомнившую, что на всей земле перевелись коты.

Несправедливые, не делайте мир беднее – не убивайте себя.

На глазах река Башиль изначально свое превращала в исход и вновь обретала начало. Будто к морю себя примеряла – где нет конца и начала. Если, взглянув на море, человек не поумнеет – он не поумнеет никогда.

Я могу представить себе националиста: в джунглях, в прериях, но у моря – никогда, ибо очевиден он у моря: жалок и мал.





Горец трепетно относится к чужому благодеянию. Когда ему сделают что-то хорошее – он собирает угощение для своего благодетеля и узелок тот называет: нохтаба. А переводится слово это двояко: «путь к Ною» и «поднос для Ноя». Сколько иронии и юмора в этом слове. И какова благодарность народная на добрый человеческий жест. Хороший человеческий поступок приравнивается к спасению от Всемирного потопа. И без этого слова скучнее и скучнее было бы в Ковчеге Ноя. Да оно просто там необходимо. Добро породило жизнеукрепляющую благодарность и спрессовалось в этом энергичном слове, и открыло путь к спасению.

Нохтаба – звучит как не подлежащая сомнению, очень значимая, нестираемая печать – краеугольный камень горской сущности.

У горца нет вождя, горец – парламентарен по сути своей. Горец не ринется в дали иные. Он утепляет землю свою, растит себя в ней. Он инстинктивно чувствует, что осваивать иные пространства – это измелчить и растворить себя в этих пространствах. Горец – это энергия, направленная внутрь.

К Къайсыну пришли скромные «племяники» в сопровождении величавых собак. Собаки хорошо понимали свою миссию, ибо для горца, демонстрировать свою значимость – все равно что выйти в мир в нижнем белье. «Племяники» без суеты, мгновенно разделили баранов, а бараньи останки раздали своим собакам. А те, устроившись под со снами, на шелковых мховых тронах, не спеша поедали доли свои. Никакой праздничности, все по-домашнему. А что праздновать?

Праздник – это когда построил дом. А это еще никому не удавалось. Сам Господь Бог не завершил постройку дома. Мы, пребывая в жилищах, кладем фундамент будущего дома и сами станем фундаментом, и это не так уж и мало. Какой там праздник. Ближе к весне заканчивается сено, а купить комбикорма денег не хватает. И когда вы едете в горах, в теплой машине своей, посмотрите на заснеженный склон и на человека, стоящего рядом с отарой. Бараны хоть греются, выгребая из-под снега жухлую траву, а он стоит и стоять будет до самых потемок, под ветром, который вы услышите в наглухо закупоренной машине. Посмотрите на заснеженный склон, и все увидите горца. Он вернется в жилище свое, отмороженными пальцами возьмет горячую пиалу с шорпой и, отпив, вдруг почувствует дом,





ибо дом это не зримое, а осязаемое. Но, пообвыкшись, потеплев, он вновь возвратится в жилище свое. Посмотрите на снежный склон и на человека с отарой, и вы увидите дорогу к дому своему, который вы пытаетесь построить. Посмотрите на этого человека, и вы увидите каким должен быть дом, и как он выглядит, и нет иных вариантов постройки дома.

А средь благодатного башильского оцепенения и неспешности людской гравийная дорожка, у деревянной столовой, источала гул далекой городской жизни. Ближе к вечеру накрыли столы, но выяснилось, что тракторный движок, дающий свет, сломан – благо керосиновых ламп было вдосталь, ими и украсили подоконники. И без того крупные головы горцев, став в полутьме нереальными громадами, вырисовывали горскую вечерю. И как осанна, рокотал голос Къайсына – «летаратура». И это бледное, почти канцелярское слово – литература, превратившись в «летаратуру», наполнившись сущностным выдохом человеческим, полилось и зазвенело звоном веселым, падающих с Чегемских водопадов сосул, и пахло умиротворенностью зимней реки и наполнилось гулом, переполненных памятью гор. Это и было основой того фундамента, который без устали и спеси строили горцы. И в этой внеземной полутьме мне виделась нить, протянувшаяся от Пастернака до Къайсына, а от него к нам. И мальчику Пастернаку что-то важное успел сказать Толстой, гостивший в его доме. И нить эта по цепочке тянулась до самого Адама. И не было ничего прочнее этой нити, и на нити той и держалась земля.

И если словом своим ты причастен к судьбе другого – ты обрел родственника, и нет ничего крепче того родства.

Господи, воюем ведь с родными. Кровь разжижается во времени: тот, кто близок к тебе сегодня, завтра станет дальним. И только родство по слову и судьбе – вечно. И свидетельством тому – эта горская вечеря.

А утром ни Къайсына, ни его друзей не было – он ушел так же внезапно, как и появился, совсем как в тот давний Азиатский день.

И вновь появились туристы и зазвенел, закрутился день, полнясь беспечным бытом.

Туристы ходили под горой и влезать на нее не собирались – они считали, что осилившему гору не увидеть горы самой. Я тоже придер-





живался того же мнения. Мы не хотели испытывать себя, справедливо полагая, что Бог и жизнь сама – достаточное испытание.

Если Париж стоит мессы, то люди – оды. В конце концов, мы россияне, а это само по себе – испытание.

Другого мнения были горные инструктора. Они перебирали свое снаряжение: веревки, кошки, рюкзаки, а когда доходили до слова шлямбур – я начинал закипать, ибо я воочию слышал, как романтизм начинает обрастать профессиональной щетиной, а мне он виделся безбородым. В один из дней инструктора, укрывшись под громадными рюкзаками, ушли покорять вершину. Дня через три они вернулись усталые, загорелые и очень довольные. Якуб подошел ко мне, не Якуб, а сплошное ликование.

– Ты чего такой радостный, Якуб?

– Как? Мы же хорошую вершину сделали и назвали ее «Пик Суздаля».

– Якуб, а ваш руководитель Витя откуда родом?

– Из Суздаля.

– А почему вы не назвали гору «Пик Ростова Великого или Владимира»?

– А потому, что Витя приедет в свой Суздаль и скажет: «Вот какой я молодец».

– А почему вы не назвали гору «Пик Къайсына Кулиева? Почему не назвать его именем какой-нибудь бугор в округе, где его предки пасли баранов своих? Как говорил один партийный деятель: «Из стихов Кайсына можно построить второй Кавказский хребет». – И я, махнув рукой, ушел.

На следующий день ко мне подошел Витя.

– Слушай, о Кайсыне мы как-то и не подумали. Давай в округе присмотрим что-нибудь стоящее, а через пару недель и сходим туда.

– Да, есть хорошая гора, ты ее тысячу раз видел – она напротив «каравеллы».

«Каравелла» – двухэтажный, громадный финский дом на поляне среди сосен. Покрашенный олифой, он и вправду похож на позолоченный первыми лучами солнца корабль, идущий по зеленому морю. И мы с Витей, стоя у «каравеллы», увидели меж двух зеленых гор белую двуглавую вершину.





– Да, – только и мог сказать Витя.

Они пошли на эту гору, и в тот же год Верховный Совет утвердил название. И было это в далеком двадцатом веке, 1973 году.

И Къайсын собрал этих ребят в ресторане «Берег», и они сидели там до утра. Что ели, что пили, о чем говорили – не знаю, меня никто туда не приглашал, но это уже другая, менее интересная история. Ушли из жизни: Иосиф Кахиани, Якуб Аккизов, Мусса Аппаев – ушли, но успели связать судьбу свою со словом и судьбой Кайсына.

Живы, слава Богу: Алеша Жарашуев – преподаватель яникоевской школы, Алик Кожемов – декан спортфака, Наурби Мамишев – преподаватель Центра научного творчества.

Они и сейчас ходят и выискивают что-нибудь красивое, чтобы называть красоту эту в честь кого-нибудь хорошего и необходимого.

«Природные» люди, как любят выражаться они сами, – и с этим уже ничего не поделаешь.

На следующий год мы стояли и смотрели уже на его гору. Къайсын был умиротворен, как сытый лев, разве что не мурлыкал.

Только фронтовики полнятся благостью при виде обыденности. И благость та устойчива – она не может уйти, ибо место ее займет война, потому что прошедших войн не бывает, как не бывает забытых переселений.

А во мне все ликовало – и я видел воочию, как слово его отозвалось. Видел нить, протянувшуюся из того давнего Азиатского утра до этой белой горы, утопающей в зелени гор соседних. Къайсын просто стоял и улыбался. И мне казалось, что рядом с ним и я становлюсь большим. На то и крупное, чтобы из малого сделать большое.

И из детства всплыло давнее: мужество – это стоять и улыбаться.

Мужество – это не длинный меч и грозный взгляд. И не шрамы вперемежку с морщинами. Мужество – это просто стоять, стоять и улыбаться.

И во мне звучала нелепая песенка: «С неба звездочку достану и на память подарю». И не важно: я назвал или кто другой, а важно, что это возможно. При жизни твоей и другого.

Через много лет, уже в веке ином, я с «оказией» добрался до Башиля. Снег, пустые, некогда веселые домики. «Каравелла» отгорожена





колючей проволокой, а за ней рыженький солдатик с автоматом – и почему-то подумалось: «А зори здесь тихие...»

Поплелся назад, натываясь в снегу на обрывки колючей проволоки.

Пустые домики, излучая давнее человеческое тепло, растопили около себя снег. И на земле той, оттаявшей, выросли маслята. Никогда еще не доводилось собирать грибы в снегу. А какие хитрые – все рассчитали: дождались, когда уйдут люди и уползут черви. На встречу со мной они явно не рассчитывали. И вот стоят передо мной, как удивленные дети. На равнине, в лесу, я собирал грецкие орехи, и вдруг натолкнулся на большую ореховую кучу, радостно стал сгребать ее в сумку и почему-то посмотрел на дерево, с какой укоризной и обидой смотрел с вышины на меня бельчонок – до сих пор забыть не могу.

До ближайшей деревни восемнадцать километров и неизвестно, найдешь там попутку или нет. На сосновом склоне сель то там, то сям отгрызла куски горы вместе с деревьями, побледневшая горная речка почти не дышала, по бокам, под ногами, корчились обмороженные камни. Я шел и пел: «С неба звездочку достану и на память подарю». А мне бы петь какие-нибудь бодрые революционные песни, что я часто делаю по утрам, в теплой городской квартире, готовясь выйти в жесткий день.

«На границе тучи ходят хмуро...», «Если смерти, то мгновенной, если раны – небольшой...»

И вроде бы нет лучшей адаптации с грядущим днем. А я шел и пел дурацкую песенку: «С неба звездочку достану и на память подарю». Хотя она никак не увязывалась с тем, что я вижу, но без нее я плохо представляю то, что хотелось бы мне увидеть. Я шел по безлюдью и громко пел. У меня столько родни, и я это осознавал, так кому же еще петь – как не мне? Вроде бы и за тысячу лет меня никто не услышит, но я узнал, что кто-то меня внимательно слушает и из невообразимого бесконечья, улыбаясь, кивает мне головой. Песня Ему нравилась. И весь вопрос в том: гармонично ли твое звучание с гулом черной дыры или мягкий звук твой не преодолевает солнечной опеки? Я шел и пел простенькую песню и веровал в нее.

И не важно, кого ты встретишь в пути, а важно, каким ты выйдешь из дома. Ты встретишь того, каким ты ступил за порог.





КРАСИВОЕ ЭТО СЛОВО – ТРОПИНКА

Сквозь листопад в небесных просветах вижу маму, почему-то именно в эту пору она чаще всего приходит ко мне. Может – потому, что лицо ее было в желтых веснушках, может – потому, что у крылышка носа приютилась маленькая бородавка, как необходимость, как видимая определенность, как цельность ее, а мое первое детское умиление. Глядя ее бородавку, я собирал в тельце малое плещущую в необъятности первозданность свою. И с высоты всех высот смотрели на меня мамины светло-карие глаза... и помогали мне собраться. Я ничего еще не знал о Матери Божьей, я никого еще не знал по отдельности, я еще жил во времени том, где все и вся были вместе, и мне так не хотелось уходить из времени того, но – вопреки желанию – я детскими ручонками хватал, комкал необъятность и втискивал в крошечную плоть свою. А мама печально смотрела на необходимые, но пагубные труды мои. Я еще ничего не слышал о Матери Божьей, но я знал, что у нее глаза точь-в-точь как у моей мамы. На свете очень много глаз, но карие роднее и понятнее. Моя сестра Мадина сказала: «Тебе повезло – у большей части человечества именно такие глаза». А мне по-крупному всегда везет.

Мама приходит из того дня, моего первого дня в этом городе. Тогда так же падали листья, правда, на другие дома, на другие дороги и совсем на других людей. Время приходит со своими людьми – тогда кто-то же должен жить во времени своем, но почему-то все живут не во время свое.

Жизнь – это хоть какая-то общность человека и времени. А если у времени своя дорога, а у человека тропинка своя, то это – все, что угодно, но никак не жизнь.

И шел я, семилетний кроха, не в свое время, среди чуждых людей и домов, – и ничего вокруг моего, лишь рука моей мамы... и мелькнуло, озарило: «Во времени чужом не потерять бы свое...»

Это потом года разжижили, слегка расплескали мою детскую отметину: «Во времени чужом – ищу свое. Во времени чужом – не растворить бы свое. Во времени чужом – живу в своем».

После азиатской шири, беспечного безлюдья, маленьких ободран-





ных мазанок, крытых ветхим камышом, и солнца во все небо, – и землю всю вдруг зашвырнуло в замкнутость громадных, сделанных навсегда двух-трехэтажных домов, в толпы людей, куда-то идущих и, как мне показалось, знающих – куда им идти. В Азии люди, как и солнце на небе, шли себе непонятно зачем, непонятно куда...

А листьев сколько: на крышах домов, на улицах и тротуарах, – и идя я по ним осторожно, иду, будто на какую-то тайну наступаю. В Азии я не помню, чтобы на мне была обувь, – ее носили только взрослые. Ноги, как и земля, были в трещинах, и каждый вечер мама заставляла мыть их в арыке. Теплая вода с заходом солнца леденела, и окунал я свои окровавленные ноги в холодный йод. А здесь на мне новые ботинки, что само по себе удивляло, расширяя круг нереальности, в который меня угораздило. В Азии не то что ходить по листьям – видеть я их толком не видел: на всю округу с десяток деревьев и росло, – и я не знал, куда мне смотреть, то ли на людей, то ли на дома, то ли призадуматься, куда я попал. И если бы не мамины руки, за которые я крепко-крепко держался, я бы, наверное, растворился в этом мельтешении чуждых людей и домов, в этой томной сосредоточенности осени. И неправда, что обрезается пуповина: а мамина рука, а память о ней, до дней своих последних?

Много позже, на склоне лет, иду с мамой той же дорогой и той же осенью. Ходить тихо я не умею, а здесь вынужден. Иду с ней тихо-тихо, под стать падающим листьям, и думаю: «Вот в детстве она меня за руку водила, а теперь веду ее я. Как бы и в расчете...» Только вдруг замечая: а ходить-то я так и не научился – бегом все, и сейчас она учит меня вновь.

Балкарцы говорят: «Чтобы отплатить один день материнского труда, надо дойти до Мекки с матерью на спине». А некоторые утверждают – и обратно.

Я думаю, обратно мы бы шли рядом, собирая воедино увиденное, осмысливая собранное. А ведь это было возможно, ходят же люди пешком вокруг света, но эта ходьба – зряшная. Разве увидит идущий налегке то, что увидел человек с матерью на спине, – ведь они и ростом выше, и видят дальше и больше. А ведь это было возможно: она была у меня такая худенькая. Это был мой единственный шанс – и я его не использовал. Мы так легко расстаемся с важным, насмерть уцепившись за пустяшное.





Душе так хочется учиться. И душу можно научить. Но нет у знающих поводыря. Тут жизнь хоть как-нибудь, да прожить и обмануть себя – что прожито не зря.

Смотрю, как падают листья, и вспоминаю ее слова:

– Когда пишешь, помни о загубленном тобой дереве. И пиши так, чтобы написанное стоило хотя бы тени исчезнувшего по прихоти твоей дерева. Хотя я не больно-то тебя читаю – врешь ты все. Все у тебя хорошие, а сам ты – лучше всех. Ты возьми лист бумаги, на одной половине напиши о делах своих хороших, а на другой – о плохих, вот тогда и я прочитаю.

– Мама, если я перечислять начну все свое плохое, то у меня не останется времени даже упомянуть о хорошем своем.

А про себя подумал: «Да, я живу среди хороших людей и сам я не так уж плох. И если жизнь и судьба не доказали мне обратное, то кто же меня переубедит. Если у меня есть хорошая черта, а в противовес ей – десяток пороков моих, – не они ведут меня, не за ними следую. Впереди меня шествует то небольшое хорошее, что есть во мне, а позади плетутся мои недостатки – они худы, грязны, оборваны, они плачут, обращаясь ко мне: оглянись, приголубь нас, – а я и не подумаю. Я иду вперед, едва поспевая за хорошим, что несется впереди меня. У меня нет времени говорить о плохом».

Были у нас с мамой разногласия по литературным вопросам. Мама, едва говорившая по-русски, как-то, ни с того ни с сего, сказала: «А правда, красивое это слово – тропинка?» А слово, и правда, красивое, и как до сих пор я его не расслышал?

Смотрю на падающие листья и думаю: «Как мало места на земле занимает человек, а уйдет, то всем виденным не заполнить пустоту, оставшуюся после него. Если уходит, ты продолжаешь жить, просто живешь ты совсем в другом времени. Смена времени и происходит с уходом мамы, нет, с ее уходом происходит смена времен».

Ходил по большим дорогам человек – ходил, как по тропинке, всего-то. Все было просто, необъятно и неотвратимо – как сама банальность.





Я САМ ВЫБИРАЛ СЕБЕ ПАПУ

В центре России шелестишь себе в березовом лесочке и чувствуешь, что ты есть. И речка тихая никуда не утечет. И бабушке с козой деться некуда. Давнее и сегодняшнее соединено и устоялось.

Кавказ же – попытка оседлать скакуна, у которого иные, непонятные тебе задачи.

Громадины гор хрупки, и все время вещают о разлуке. Они, как и сама разлука, зримый, неотвратимый раздел меж бывшим и предстоящим.

Реки: то ли их к морю несет, то ли в небо выстреливает? Отголоски великого переселения народов еще пузырятся в крови у живущих. Человек – как продрогший кусочек мха, чудом прилепившийся к скользящему камню, и его вот-вот сметет серебряным фанатизмом потока, в ярости напоминающего о давнем-давнем, до удивления необходимым, но помнимом лишь им самим.

По равнинам несутся невидимые кони – несутся на встречу с то-скливой горечью горизонта.

Закрою дверь своей фанерной дачи – и я в прошлом, открою – и весь в сиротской необходимости бурлящей.

Живешь – как в чужом саду: то ли яблоки есть, то ли опасаться хозяина?

Господи, где тот дом, стоящий в настоящем?

Предки мои кого-то догоняли, от кого-то убегали, весь день в гонках, поесть некогда было, и ели уже при луне – за весь день.

Ускакали кони, ушли те люди, забвенье уравнило и победы и поражения, осталась лишь привычка в наследство – плотно поесть на ночь глядя, за весь день.





Никогда не седлал лошадей, сажу себе на бревнышке у домика своего, похожего на отесанный небольшой камень, брошенный среди громадных скал. А натруженная от поводов рука на бедре – будто ледоруб во льду. Жест – как последняя зацепка у изначалья памяти, исчезни он... и заскользишь по беспамятству, как по льду, от равнодушного до бессмысленного. Этот простенький жест, возможно, определяет более крупные мои поступки. Я ничего не знаю об этих сложностях, догадываюсь и просто повинуюсь.

Кошка жила у соседки на сеновале. Иногда она приходила ко мне, тихо садилась рядышком, и молча вслушивались в горы. Никого вокруг, а мне казалось, что все, кто мне нужен – рядом.

Кошка была зримой копилкой и моей, и своей памяти. Она была беременной, и ходила ко мне не просто так, а чтобы узнать, что я за человек такой и стоит мне доверять? И я замечал: она стала проводить моих соседей, и ближних, и дальних. И ходила она к ним с той же целью, с которой приходила и ко мне.

А в один из дней принесла в зубах котенка и положила его рядом со мной. Она понимала: ей, бездомной, не прокормить, не отогреть его среди холодных снегов и лютых ветров высокогорья, вот и искала человека, который ей в этом бы помог. И выбрала меня, наверное, потому, что я умел молчать. Кошка больше всего ценит молчание, и не просто молчание, а молчание от переполненности невысказанных слов. И на стыке зимы и весны сидел я на бревнышке среди безлюдья и гор, которые и сами-то были зримым воспоминанием о невозвратном, – горы всегда смотрят в прошлое и думают об ушедшем времени и ушедших людях.

А мне хотелось встретить кого-то из живущих и говорить, и говорить, и верить, что твое многословие приблизит весну, и среди этой серо-черной голи вылупится что-то цветное, и ощутишь ты хоть какую-то опору. Я был собран и подтянут, и ждал бог весть кого, пришедшего неизвестно откуда, и собирался ждать долго, столько, сколько потребуется. А тут такое доверие – не кого-нибудь, а существа, переполненного знанием и пониманием, и не участвующего в нашей жизни лишь потому, что она ему не нравилась.

И – переполненная одиночеством и сочувствием этого сказочного создания – моя стойкость рухнула, и, растворяясь в этой черно-серой





жестокой невнятице, в предчувствии простора и шири, теплой влагой пролилась по щекам.

В один из вечеров сквозь ненавистные, как они сами, большевистские глушилки, я мучительно продирался к вестям из Рима. Я очень хотел, чтобы выбрали папу, поляка.

За окнами выла вьюга, в унисон радиоглушилкам, в комнате раскалились две электроплитки, я докуривал вторую пачку сигарет и допивал банку кофе. Подросший кот спал в нижнем ящике письменного стола, он был привычен к безвоздушию и дыму. Его мама – на соседском сеновале, и ей было безразлично: выберут папу-поляка или нет. В отличие от меня, для нее это лишь маленький эпизод в громадной истории мироздания, дремлющей внутри нее. Мне же необходимо было, чтобы выбрали Кароля Войтылу.

Я знал, что выберут его, а иначе сквозь мельтешение флагов красных, дурацких слов и не менее дурацких дел, на веку моем не увидеть мне лица человеческого. Выберут, куда они денутся, куда им против времени. И выбрали, и содрогнулось, и встрепенулось от этого выбора устоявшееся, и посыпалась коммунистическая ржавчина. И на стыке зимы и весны подули теплые ветра, а с ними пришла и сама весна, с грязью, пеной, шелухой, но все-таки весна. И стоит мне шагнуть за порог, и я увижу новых людей во времени новом, первое поколение свободных людей на Руси. Они должны начинать все с нуля, с новой азбуки. Они быстро ее составили, и уже говорят совсем на другом языке. Уже говорят! И учить их некому, нет учителей, «порвалась связь времен». И они вынуждены быть самородками, в буквальном смысле этого слова. Несвободные просто не в состоянии научить их языку свободы. Язык у них пока корявый и однозначный: приколоться, оттянуться, отпасть. Но он очень емкий без словесной шелухи. Это пока язык восторга от произнесенного впервые слова, но рано или поздно он перерастет в язык разума, и это будет их язык, от первой до последней буквы выстраданный ими.

Это будет потом, а пока я сижу на бревнышке и жду, когда луна преодолет гору перед домом моим. А она все не показывалась, и тогда я сам пошел ей навстречу. Поднимаюсь на гору и слышу кошачий плач за спиной: в слабом лунном свете, весь в снегу, одни уши торчат, да глаза светятся двумя фосфорными огоньками, – мой подросток-котенок.





Я иду за луной, а он зачем?

Мне снег по колено, а ему – по уши. Он полз за мной и беспрестанно плакал. Ведь лапки ему Бог создал не для студеньих чегемских снегов, а для того, чтобы он вышагивал по теплым аравийским пескам, мурлыкал себе в удовольствие и на радость другим.

Обойдя гору, мы ахнули: прямо на полянке сидела полная луна. Она успела уже позолотить равнинки и склоны, – и белые скалы, как громадные волны, блаженно плескались в теплой желтизне. И тепло так стало в округе, и спокойно. Котенок перестал плакать и глазами-изумрудинками впился в луну. Никого на свете, лишь луна, горы, котенок да я. И под ногами у нас не снег земной, а что-то желтое, пушистое, неземное. Наверное, из этой золотистой пыли и появится земля, потом люди, звуки и песни, а пока никого, мы одни на всем белом свете – луна, горы, котенок да я.

И мне показалось, что вначале Бог создал луну, и Ему стало печально, и тогда – на радость Себе и людям – Он слепил солнце.

Котенок вновь заплакал, вырвав меня из оцепенения. И мы двинулись обратно, кто пешком, кто – с плачем – ползком.

Состояние нереальности стало угнетать и пугать, и я, чтобы убедиться, что мы на земле, взглянул с горы на деревеньку нашу. Дома едва чернели далеко внизу, и похожи они были на комочки, Бог знает зачем слепленные самой природой. Огней не было, люди спали, убаюканные лунным приливом.

Наш промерзший насквозь дом на контрасте показался теплым, но нас колотило нещадно: то ли от увиденного, то ли от холода. Хорошо – сухие дровишки у камина. Сидим с котенком, смотрим на огонь и молчим, сидим, как два существа, наполненных таинством, боясь спугнуть неосторожным звуком обретенное чудо, и огонь нам в этом здорово помогает.

Днем я жил среди вековых конвульсий большого мира. Я и сам был источником его предпоследних колебаний. А ночью мне снилась предутренняя, зябкая дрожь балкарской землянки. Ни свечи, ни лучины...

Внешнего света не было, но свет был. Иисус в большом дагестанском тазу мыл ноги апостола. Остальные сидели в полутьме, замороженные зябкой тайной. И черные их тени замерли на серой





стене. Святой человек, до крика одинокий, переполненный всеземными муками, мыл большие натруженные ноги заново рождающихся людей.

И я – после праздного, тяжелого дня своего – вмиг утерять груз плоти своей и ощутил любовь большую, цельную, еще не распавшуюся на людские доли. Была долгая, долгая ночь, самая долгая со дня Творения... и как отзвук пяти гвоздей – короткий день. Апостолы исчезли, толпа спала, чтобы послезавтра проснуться народом.

Во сне я выкарабкивался из удушливой уплотненности гор и тяжелой людской сосредоточенности. Мне виделось: утро, ширь и много, много беспечного воздуха.

И пришло умиротворение, прочувствованный выход из тягостной слитности людей и округи. И оставалось всего-то дожидаться утра и шагнуть за порог.





ЗДРАВСТВУЙ, НЕЗНАКОМЫЙ!

*Если в словах нет духа Орелли –
нет произведения и,
по большому счету,
не о чем говорить.*

Сяду в автобус, включу гитарную классику и пойму, что не музыка иллюстрирует видимое, а столбы, поля за окном, горизонт, кони – все это сейчас на моих глазах вылупляется из музыки, возможно – я и сам появляюсь из нее, жаль – не вижу себя со стороны.

Еду и прислушиваюсь к детскому гомону за спиной, как астроном, почти бездыханный, вслушивается в сигналы, идущие из миров иных. И печальные кони за окошком автобуса вслушиваются, как разгоряченная боль человеческая, накопившаяся за день, оседает облегченно на предвечерние, все понимающие прохладные поля. Кони, вечно гонимые сироты, с вечным воспоминанием об их никому не ведомой Родине, с таким горьким недоумением пребывающие на чуждой им земле, да еще и вынужденные – по каким-то неведомым обязательствам – таскать на себе не знающих куда скакать, зачем скакать и кого убивать, несчастных, обезумевших людей.

А безумие так зримо – жизнерадостный человек, сидящий на печальной лошади, да еще и поющий героические песни. А он, мирно сидящий на лошади, и не ведает, что где-то далеко-далеко от его сидения уже горят дома, и называется это почти безобидно – горячая точка, и печально, что сидящий на лошади никогда не узнает, что эти дома поджег он. Как возмездие за лошадиную печаль и возгорелись дома человеческие.

Это все я увижу и услышу потом, если договорюсь с директором школы о поездке, а пока пью чай, курю и смотрю на мартовский снег за окном, вслушиваюсь в март, несущий в себе и отражающий искаженный вечными смутами лик России.





Смотрю на таяние мартовского снега и вижу, как мучительно умирает последняя нормальность на этой земле – Россия.

Этот чай с сигаретой, на стыке ночи и дня уносящий с собой прожитое и дарящий предчувствие грядущего, – такая ценность, такая необходимость – как поручень в нереальном и шатком. Падает снег, едва коснувшись земли, тает, и лужи всех размеров и на любой вкус – моя погода!

Все «лишние» люди сидят по домам, и хорошие хозяева не выпускают собак из дому.

Вот бы в следующей жизни родиться породистым псом. Все гладили бы меня по голове, и тогда я бы узнал, что такое любовь. Или еще лучше – породистым котом с паспортом, и милиционеры не спрашивали бы у меня документов. И ходил бы я, куда душе хотелось. И на каком-нибудь углу меня по ошибке не застрелили бы какие-то фантастические автоматчики. Нет, никуда бы я не пошел, а лежал бы себе на диване и ел бы черную икру, заедая ее красной. И нежная рука красивой и уютной хозяйки лежала бы на лбу моем, и я бы точно знал: эта рука меня любит.

Я побрился, оделся во все чистое, не куда-нибудь иду, а в школу. Я волновался, будто шел туда впервые. На ногах у меня – белорусские ботинки, чем-то похожие на Лукашенко, тупоносые, с подошвой, как у белорусских же грузовиков. Шагнул в лужу, а ботинки неожиданно протекли, а с виду казались такими надежными.

И тут я увидел дворничиху в оранжевой куртке, она выковыривала из грязи то, что набросали люди, нежащиеся сейчас в теплых постелях. Никого на этой земле, лишь я да она. Когда я вижу женщину-дворника, особенно в непогоду, когда в миру еще ни света ни зари, я столбенею, будто встретил желанного человека с неимоверно трудной судьбой, и он ее осилил, и стоит себе целый и невредимый, да еще и в округе, которую мы захламили, наводит порядок, – это так здорово – силен человек.

Вроде не занимал у этого человека, а вот должен – и все тут!

– Доброе утро, – сказал я ей, незнакомой.

– Здравствуй, солнце, – ответил родной, впервые слышимый голос.

Она почувствовала, что я очень хочу ей доброго утра, и в ответ благословила день мой. Я шел по пустому городу, по безлюдной ули-





це, и думал: «Через день-два высохнут лужи, появится солнце, выйдут люди в трусах и майках, запахнет шашлыком и апельсинами, и тогда в этом вспотевшем, изнуряющем многолюдье нельзя будет поздороваться с незнакомым. Ненастье специально создано для встречи с незнакомым». Я шел по пустой улице, шагая по лужам, – обойти их не было возможности, да и терять мне нечего: ноги все равно промокли. Как сама неожиданность, в конце улицы появились двое. Они шли по другой стороне, и один из них, подойдя ко мне, попросил сигарету. Я протянул пачку – можно я две возьму – да ради бога – левой рукой он взял сигареты и, похлопав меня правой по плечу, сказал: «Чтобы день твой удался». Он почувствовал, что мне встретилась дворничиха, и что я от всей души желаю им доброго дня.

Сел в маршрутку, на голове у меня таял снег и крупными каплями падал на пол. Незнакомая женщина, по-матерински улыбнувшись, протянула белый-белый платок, какой кроме как у женщины, ни у кого не сыщешь. Она почувствовала, что я встречался с дворничихой и теми двумя бедолагами, у которых раньше времени закончились сигареты.

Я вспомнил, как я с базара в жаркий день волок две доверху наполненные сумки, еле втиснулся в маршрутку, с меня не капало, а лило, руки заняты, не могу добраться до платка. А рядом – на одном сидении – вжались две миниатюрные девушки. Одна из них вытащила из сумочки бумажный платок и промокнула мне лоб. Я потел, а она меня сушила, – и как столько салфеток уместилось в ее крошечной сумочке, наверное, мне повстречалась какая-то волшебница. Может быть, она предчувствовала, что я встречу с дворничихой, с теми двумя и женщиной с удивительной улыбкой и белоснежным платком. А мне казалось, что я сделал что-то очень хорошее для людей и они послали ко мне это мифическое существо, чтобы я почувствовал, как они мне благодарны. Я так уверовал в это, что мог совершить нечто хорошее, что и десятку человек не по силам было бы.

Вышел я в малознакомом районе, где школа – не знаю. Вижу, идет девочка лет двенадцати, угрюменькая, понятно – климат не очень радостный, да еще и в школу идти, не возрадуешься быстро.

– Вы не подскажете, как к школе пройти?

– Идемте со мной, – буркнуло малорадостное существо.





Пока мы шли к школе, девочка почувствовала, что я встречался с дворничихой, с теми, кому очень хотелось курить, и с женщиной с белоснежным платком наготове. Самая умная часть общества – девочки до четырнадцати лет. Мне удивительно легко с ними. После четырнадцати они более углублены в себя, наверное, осмысливают Богом подаренное. Этой было лет двенадцать, и она щедра была не в меру, а у щедрости и нет меры.

Она чувствовала, что и я не пустой, и иду я с подарками.

Пока мы дошли до школы, успели стать дружками. Уже у выхода я ей сказал: «Проходим резко мимо охраны, а если нас окликнут, ты скажи – он со мной».

Так мы и поступили – резво проскочили вестибюль, но уже на ступеньках услышали: «Вы куда?»

Три очень крупные, усидчивые бабушки за разговорами упустили наш стремительный проход. Моя спутница, обернувшись к ним, сказала сурово: «Он со мной». Мы взглянули друг на друга и покатались от хохота.

Мы смеялись, а серьезные бабушки смотрели на нас и ничего понять не могли. И, сидя на школьных ступеньках, я думал: «Дорога к Богу – это ступеньки, сложенные из очень простых истин. Трудность в том, что исполнив одно и забыв про другое – надо начинать свой путь сызнова».

И живем-то мы в ожидании неведомого и с верой в незнакомого. Надежда – и есть ожидание незнакомого.

А умиление – такая необходимость, как уборка захламленного, подготовка места, куда должен прийти незнакомый.

В детстве при виде скомканной и брошенной обертки мороженого меня до боли грудной охватывала тоска. Мне казалось, вот человек бросил эту бумажку и ушел, и я его никогда не увижу, а он был тем самым необходимым человеком, и жизнь становилось иной, менее радостной, что ли?

И сейчас, на склоне лет, при виде этой скомканной бумажки в меня вселяется та детская, мудрая грусть и долго пребывает во мне. В этой скомканной бумажке притаилось ушедшее время и упущенные возможности, а главное – ушедший незнакомый человек, который никогда не вернется, а он так нужен был мне.





Я иду в школу. Я учусь здороваться с людьми, если я не умею здороваться с людьми, то как я обращаюсь к Богу. Ибо слово наше доходит до Него только через другого. И чем дальше от тебя человек, тем короче путь твоего слова к Нему. Бог услышит, если ты обратишься и сам, но слово наше обретает смысл только пройдя через другого.

И если беда другого становится бедой твоей, ты можешь говорить с Богом без посредников, и нет меж вами преграды. Трепещи от умиления при виде встречного, – это лучше, чем трястись после водки, выпитой в одиночестве.

Незнакомый, я думаю о тебе, я верую в тебя, помолись и ты за меня, один я так далек от Бога, а вдвоем мы рядом с ним.

Директор посмотрел на меня и понял, что я встречался с дворничихой, с двумя лишенными спозарань табака, с женщиной с белоснежным платком в доброй руке, с девочкой, готовой раздать хоть сейчас все свое богатство.

И он сказал мне: «Что ж, будем учиться отдыхать, работать мы худо-бедно умеем, а вот отдыхать не умеет никто».

И мы ударили по рукам. А значит, я буду ехать в автобусе и слушать гитарную музыку, и видеть, как из музыки рождаются поля и полоска вдаль, соединяющая землю и небо, и грустные кони стоят на печальной земле, погруженные в вечную думу свою.

И пока я учусь здороваться с людьми и без усталости ждать незнакомого, я не состарюсь. Я буду, конечно, выглядеть старым, но никогда им не стану. Ведь ничто так не молодит, как дума о дальнем, и ничто так не старит, как забота о себе.

Полет летчика – это букет для себя, а если ты в ненастье чуть приподнялся, то непременно кого-то найдешь, а найденный обретет тебя, – это и будут цветы для всех и букет для тебя. В ненастье надежды на солнце нет, одна надежда – тепло человечье, которого нам так не хватает в погожие дни.

Я смотрю на безоблачное небо... и жду дождя.





МЕЖ КРЕСТОМ И ПОЛУМЕСЯЦЕМ

Не мы идем к Богу – это Он приходит к нам.

Проведал родственников в уразу, и – в полутьме – жду первый и последний на сегодня автобус. Снежная поземка с воем вгрызается в без того уж изъеденный дорожный булыжник. От вида придорожного глиняного холма, отутюженного тракторным ковшом до перламутрового блеска, становится еще холоднее. Маленькая деревенская почта, с громадным гербом на стене, слепленным местными мастерами, выulptяется из дремучих снов деревенских рассказами О'Генри, и черные скалы нависают над темно-сизой продрогшей округой.

Ураза. Попы в золоченых рясах, с громадными крестами золотыми на мощной груди, муллы в шелковых роскошных халатах, немислимых тюрбанах, – ряженные под мультяшных халифов. Зима. И до веры – как до весны. А где-то вера: веселая, несказанно молодая, как и весна сама. А где-то вера пузырится на краешках губ сладко спящего младенца. А где-то вера нежится в вечерней прохладе речной. А где-то вера теплится в птичьем гнезде, и, обогретые ею, желторотые верующие выдыхают хвалу переполненному восторгом небу. Я стоял и грыз семечки, и всматривался в дорогу, ожидая автобус, а увидел мальчика, совсем рядом с собой, а увидев, от растерянности предложил ему семечек. Мальчик безучастно посмотрел на меня и сказал:

– У меня ураза.

Хорош же я был – белоголовый, на этой зимней дороге, с грохотом дробящий черные семечки в разгар уразы. Мальчик же был значительным и безучастным, как часть этой округи. Мне даже на миг показалось, что округа безмолвно, не напрягаясь, исторгла его из себя. Волосы у мальчика были цвета каштана, прочного, крупного, но несъедобного. И я вспомнил городские каштаны, лежащие в ржавых листьях среди осенней тротуарной слякоти. И каштаны те были безнадежным и зримым безверьем.

И, когда глядел в глаза мальчика, в безнадежно бытовые его глаза, без устали пытающиеся просчитать все земные варианты, у меня мелькнуло: а ведь вера – это деликатность. Мог бы семечки положить





в карман, а потом выкинуть – птицы склевали бы, все грехом меньше. Мальчик был очень несчастным. Он был частью дороги, важной частью, но он никогда не сможет стать идущим по дороге, которая выводит на путь свой. Вера – это когда от тебя тепло, даже на этой стылой дороге. А какая ж это вера, когда от тебя знобко? Он будет неистово молиться, но верующим ему не дано стать, ибо вера дается, а не приобретается. И дается она в начале, а никак не в середине или в конце. Просто некоторые запоздало с ней встречаются, но она была в них изначально. Павел не пришел к Богу – он к нему вернулся. Еще не было человека, который пришел бы к Богу: это невозможно, ибо не мы идем к нему – это Он приходит к нам. «Званных было много – избранных мало». Христос выбирал. Выбирали и Христа.

Вера – это не ум в голове, а пупырышки по коже. Путь – это то, что ты можешь пройти. Пройди, сколько сможешь, и путь, тобою пройденный, сам осилит все оставшиеся дороги. Если ты проехал – значит, мимо, мимо времени и сути. Идущий – весел, едущий – печален. Но в жизни все с ног на голову. Едущий – весел, идущий – печален. И Бог, глядя на наши пятки, ничего понять не может. Вера, когда душа и тело шагнули за предел, предел видимого. Вера – это преодоление видимого. Вера – это отбор духовной элиты.

«Элитные» войска... не слышим, что говорим. А не слыша, что говорим – не ведаем, что творим. Элита – это улучшение и приумножение улучшенного. Ничего военные не улучшили, а о приумножении и говорить как-то неудобно. Ведь говорим мы не только общения ради, а общаемся, чтобы жизнь поддержать. С уходом слов уходит и жизнь сама. Самая большая беда – хлеб, купленный в магазине. Если ты посеял, сжал, смолот и испек – ты прожил воистину. «Добывай хлеб в поте лица своего» – это буквально, как и все Священное Писание. Пышность убивает веру. Не могу вообразить Христа, сидящим на лошади, еще больше смущает Христос, едущий на ослике.

Загляните в глаза ослика, и вы увидите собственную несправедливость и несправедливость мира всего. На ослика нельзя садиться. Ради веры самой. Вера – самое хрупкое из всего хрупкого. Если Христос сидит на ослике и пьет вино, это совсем не значит, что и ты машинально должен повторить все это. Ты сам решаешь, где тебе сесть и что тебе выпить. Вера – это гармония собственного «Я» и тончайших





небесных посланий, предназначенных конкретно тебе. Без собственного стержня вера недостижима.

И, глядя на мальчика, вмерзшего в зимнюю дорогу, я вспомнил давний, давний, как предутренний сон, тот летний азиатский день. Впрочем, в Азии я помню только летние дни; было, и снега выпадали, кроме недоверия и недоумения они ничем и не запомнились. Проходя мимо старушек, продававших с придорожного лотка винограду, папа сказал:

– Выбери, какой хочешь.

Я хотел взять самую маленькую кисть, но рука моя указала на самую большую. Старушки смеялись, смеялся и отец. И смеялись солнечные зайчики, пляшущие на терпкой тени тополиной. Из ласковых тополиных крон прорастали добрые птичьи гнезда. И птенцы, переполненные умильным шепотом листвы тополиной, самозабвенно распахивали желтые рты свои – они не есть просили, им петь хотелось. Они и пели про себя, и я слышал материнскую колыбельную, когда утомленные слова утекали в шепот листвы тополиной, унося меня в дали дальние, в небеса необъятные, знакомые, как щербинки нашего порога деревянного. И я навсегда вдыхал в себя неистребимый воробыный дух, исходящий из гнезд тех добрых, и дышал запахом асфальта от расплавленной дороги, и крепко веровал и верил, что все это – навсегда. И смотрел – как на икону – на крохотное птичье яичко, голубевшее в бархатной пыли золотой. Эту пыль я не спутаю ни с какой иной. Я не соломку стелил, я перемалывал ногами босыми колючий песок, превращая его в невесомую пыль золотую, и Бог с небес сыпал под ноги мне пух тополиный. Для меня сотворили, я и сам сотворил – сам и ходил по благодати той. Я смотрел, дышал и слушал... и крепко веровал и верил, что все это – навсегда.

И в минуты растерянности, непонимания, когда я чувствую, что навеки заблудился, я вижу ниточку из добрейших тополей, росших у теплой дороги, – и я хватаюсь за нить ту и с облегчением выбираюсь из заблуждений своих. Тогда я был заворочен увиденным и чувствовал, что все это – самое главное, самое важное в жизни моей, просто я не знал, как это все назвать. Сейчас знаю – это была вера сама. Все, что не вписывается в эту картину, и есть неверие. Мальчика на моей картине не было.





А был совсем другой человек.

Я его видел-то раз в жизни, и то мельком. А он возьми и останься навсегда. Картину, как оказалось, не всегда ты сам рисуешь. Приходят какие-то люди, вещи малоприметные, приходят незванные, и уходить никуда не собираются. Я помню его черное, старое лицо, красные слезящиеся глаза и стоптанные сапоги, про которые говорят – «сапоги дорогу знают». Я стоял рядышком, а о чем он говорил – не помню. Я просто, раскрыв рот, смотрел на этого человека. У края дороги была большая проплешина, и из нее торчали дорожные булыжники, присыпанные выгоревшим от пекла белым песком. Человек чернел у этой белой дорожной раны, средь благодатной зелени тополиной. И пронзило: у него нет ни дома, ни семьи, ни близких, а есть эта дорога и случайные встречи.

Обычно, когда говорили взрослые, я отходил в сторонку. Не потому, что воспитан был, просто, когда говорили взрослые, от слов их размывалась округа, предметы и ощущения теряли четкость, физически чувствовалось, как едет земля, а вместе с ней уносит и тебя. Благо, маленькому можно, да и нужно было не слушать взрослые разговоры. И меня это очень даже устраивало. Округа, наверное, любит слова, но не те, которые мы высыпаяем, проходя, а те, которые проговариваем про себя. Переполненные думой деревья, усталая дорога, удивленное небо, кот на солнечном подоконнике, пес в тени дворовой – все жило внутренним и соединялось друг с дружкой безмолвным пониманием. И лишь человек жил внешним, растворялся во внешнем и его ничто и никто понять не мог. И был он одинок во всей вселенной, ибо одиночество – это оторванность от иной, внутренней жизни.

А черный человек улыбнулся и вытащил из кармана грязный-прегрязный платок, схваченный несколько раз прочными узлами. Руками и зубами распустил этот ужасный платок, вытащил оттуда кусочек сахара и протянул его мне.

Чего только не уместилось на этом некогда белом кусочке: желтая пыль придорожная, более темная – домашняя, нанесенная с домов чужих, и все это щедро было посыпано махоркой. Я взял его подарок и сунул в карман. На том мы с ним и разошлись. Он-то ушел, но остался во мне по день сегодняшний. Я много думал о нем, думаю и сейчас. Мне кажется, я многое о нем знаю. Он и не человек был вовсе, а время





само. А время характерно своей нелепостью. Если и есть связь времен, то связывает их воедино одно лишь слово – нелепость.

Человек этот был и временем и судьбой Балкарии – одновременно. Дома наши находились Бог весть где, а сами мы пребывали вдали от них. Куда нелепей. Я почувствовал, что есть в нем что-то важное и непонятное мне, как и в тополе, что рос рядом с ним. Придорожные тополя так похожи были на маму. Когда я смотрел на них: зеленых, теплых и прохладных одновременно – я думал о маме. Тополь у дороги всегда порождает грусть. Он уходит от тебя – уходила и мама, и я это чувствовал. Грусть – это когда от тебя уходят. Тополь в городе и тополь у дороги – разные деревья.

Городской тополь – он общий, он не твой. Тополь у дороги, да еще в степи полужилой, когда средь всего видимого он один – это твое. Он понимает свою значимость крохи, стоящей рядом с ним. Как же не усыновить ему этой малости – ростом с две виноградные кисти, одну из которых он держит в едва обозначенных ручонках своих. Вместе с тополями уходил и черный человек – уходил вместе со временем своим. Потому-то я и спрятал дар его в маленький карманчик свой, спрятал как память о нем и уходящем времени. А придя домой, я не выкинул тот сахар, а положил его на подоконник, и сбегавшиеся со всего дома муравьи щедро отламывали от сахара того и радостно неслись в норку свою. Уходили муравьи, уходило и время – это виделось в залитом солнцем, неподвижном зеркале оконном. Черный человек был из тех времен, когда в горы торговцы привозили комковой сахар, а взрослые дробили его на кусочки и раздавали детям. Он был из тех времен, когда горцы поедали арбузы с кожурой и спали под коровой – все равно ни свет ни заря вставать на утреннюю дойку.

Черный человек грыз соль. Все, что он ел, превращалось в соль. И сжалился Бог над ним и превратил ту соль в сахар. И ходил черный человек по дорогам чужим и делился с людьми Божьим даром. Достался и мне кусочек от доли той. Я уже шагнул в новое время, с громадной кистью винограда, а черный человек, протянув мне кусочек сахара, остановил мой бег за временем. Так и стою – одной ногой во времени ушедшем, кусочек сахара держа в руке, другой ногой в дне сегодняшнем стою, с громадной кистью винограда. И все пытаюсь разгадать загадку черного человека – кое-что у меня получается, но этого так мало.





И я, весь облитый солнцем, держа в руке радужную кисть виноградную, чувствовал, как во мне созревает сама свобода. Свобода – это то, что было во мне и в тополях, идущих вдоль теплой дороги к бирюзовой кромке неба. Мы, родившиеся с 1945-го по 1950-й, и выносили в себе ту свободу, в которой пребываем и сегодня.

А семена той свободы бережно собрали отцы наши с кровавых полей европейских и посеяли в нас. Рожденные в 30–40-х годах, так называемые «шестидесятники», глядя на нас, сформулировали и передали другим суть этой свободы. Мы не смогли бы этого сделать. Нам не до разговоров было – мы сами росли среди свободы и сами ее растили, да и говорить-то толком мы еще не умели. А то, что свобода наша не совсем благодатная, так и кровь, из которой выросла она, – не враз смывается.

После уразы пришло Рождество.

Рождество – это, когда кто-то родился и ты не один на этой земле. Это остро осознаешь, будто ступил в мороз из теплой комнаты. И еще пронзительное недоумение и жалость, что кто-то прет, не щадя души своей, не жалея душ и плоти, и близких и дальних, – прет, подвигая тело свое поближе к Богу, не понимая, что нет дороги к Нему, а есть Путь, исходящий от Него. Рождество – как нашатырь к беспамятству. Рождество и пахнет дальним и давним, едва-едва уловимым запахом нашатыря. И потому на Рождество пытаешься что-то вспомнить. Вспомнить то, что произошло или могло произойти, или тебе показалось тем давним-давним летним утром, что-то необходимое тебе сегодня и завтра. И в сознание втекает первый луч солнца на пупырышках крохотного тельца и крупные гроздья росы под босыми ногами – и в том луче, и в росе той и затаилась разгадка произошедшего или беспричинно ожидаемого события. Воспоминание неумолимо накатывает на тебя, и, кажется, что оно вот-вот взорвет бытовую, невнятную тяготину... и ты, ойкнув, вылупишься из плотной пелены хаоса, и наступит ясность в тебе и округе. Но оно захлопывается перед самым носом, становясь желанной тайной, которая всегда рядом с тобой, но до нее ты опять не добрался... и досадно, как от несостоявшегося чиха.

Запах навоза ударил резко и неотвратно, и пахнул он одиночеством вселенским, и Христос приоткрыл печальные глаза свои. Рождество – праздник для молящихся и печаль для сирот, ибо рож-





дественская морозная ясень пахнет просветленным сиротством. И, хватанув во все легкие то рождественское ощущение, я пошел к ней. Проведал я родственников в уразу, пойду теперь к родственнице-христианке. Но, увидев крест на ее груди, я замер: то ли крест был больно большой, то ли крест – это прерывность, остановка. А я веру чувствую как движение. Она и молодая, и задорная, потому что в постоянном движении, и двигается она во благе самом. Чтобы почувствовать веру, надо самому пребывать во благе. «Будьте как дети» – важнейшая, если не самая важная мысль Христова. Бед не много на земле, беда одна – дети перевелись на свете белом, а с ними вместе ушла и вера. Вера – это просто восторг, тот самый телячий восторг, который так не любят пишущие о литературе и в котором пребывают телята и дети.

В дверь позвонили, и она зазвенела: резко, долго и нахально. На пороге две девушки восточной внешности, не по годам изможденные. И не салама от них, и не здравствуйте, а единый возглас: «А вы имя Бога знаете?» Вот тебе раз – жизнь прожил, а имени Бога, выясняется, так и не узнал. Я враз и потух. А они показывали какие-то пухлые книги, и до меня долетали слова: «Голгофа», «Армагеддон», «Содом» и «Гоморра». Меня окутало туманом, и я слушал издалека летящие слова и смотрел на давно не метенные лестничные ступени, на смачно залепленное грязью подъездное окошко, и реально чувствовал, как меня все дальше и дальше уносит от веры. Долго я их слушал в забыв-тии и унынии, и уж не помню, как и избавился от них. Не иначе как с Божьей помощью. И я почувствовал, как далеки от веры все кресты и халаты. Ну нет у веры атрибутов! Вера – это воздух на земле и на небе, а крест – на груди, а халат на плечах.

Мы сидели с родственницей за праздничным столом, пили и заку-сывали. Горели свечи, горела елка – было все, лишь не было главного – детского подарочного кулька с открыткой Деда Мороза. Было еще светло и было видно, как за окошком идет снег, хлопьями крупными и дробными, как сами снежинки, одновременно.

– Папу забрали на фронт, а мама, копая траншеи, заболела и умерла.

Падал крупный снег за окном, и, падая, вспоминал ее родителей, и, упав, мягко погребал их под собой. Погребал и воскрешал, воскрешал и погребал.





– Война унесла родителей, а победа лишь подтвердила мою потерю. Победа... и никого на всем белом свете – ни родных, ни близких... Громоухание слов: война, победа оставляет после себя долгий, едва слышимый звон сиротства. Мне девять лет, и я все понимаю. Понимание пришло вместе с бомбежками и укрепилось послевоенными грудями почерневшего кирпича и камня, еще вчера считавшихся домами. И эти острые осколки черни росли из зеленой травы. И глядя на молоденькую зелень, порождающую пепелище, я сильнее ощущала сиротство свое. Война и победа, объединившись, добивали меня. И я все понимала. И понимала я не то, что видела, а то, что увижу. Я понимала не сами события, а то, из чего возрастали и во что превращались они завтра. Сирота ведь – вечное вслушивание и неоглядная ширь ожидания. У сироты – вчера и завтра, но нет сегодняшнего дня.

Диван, мягкие кресла, мерцающий телевизор – вещи, родившиеся в менее варварское время, с недоумением и непониманием, напряженно вслушивались в слова моей родственницы и ничего понять не могли. А время, оно всегда варварское, оно созидает только внутри себя и разрушает все, что вовне. Люди для него, все равно, что чесотка для человека, одно лишь желание – избавиться.

А снег все шел и шел – мягкий, умиротворенный, как давным-давно прошедшие события. И даже время лихое задремало, убаюканное чистейшей музыкой, просеянной сквозь семь небес и павшей с тех небес на землю белизной.

Снег шел и шел, и нес, и нес сохраненные им мои и чужие воспоминания. И в маленькой снежинке умещались воспоминания всех и все воспоминания. И голос моей родственницы, в такт падающим снежинкам, озвучивал прошедшие события. И я, сидя рядом с ней, слышал отзвуки далекого далека. И как это африканцы обходятся без снега? Как трудно им – в монотонном пекле – вспомнить ушедшее.

Солнце – это всегда настоящее, снегопад же – вести из прошлого, музыка ушедшего. Кто-то читал Библию, кто-то Коран – читающим хотелось приблизиться к Богу, но если ты не слышишь песен падающих снежинок, в которых уместились и Библия и Коран, тебе никогда не приблизиться к Нему. Далекий от поэзии – далек от веры. Вера и монотонность – несовместимы. Вера – это полифония чудес, фейерверк умилений и изумлений.





Нас, сирот, разместили в уцелевшей военной казарме, на самом краю города, на высоком обрыве речном. Дальше нас были лишь степь да горизонт. Степи было много, аж до самого стыка земли и неба. И если бы не речка, а нечастые деревья, искореженные ветром речным, можно было подумать, что жизнь отсюда давным-давно ушла и возвращаться не собирается. А жизнь была в городе. Кто в телегах, кто на тележках, а кто и в мешках заплечных – растаскивали кирпич. И, глядя на них, я думала, что люди собрались строить хоть и мирные, но блиндажи. Из этого кирпича, пропитанного войной, ничего мирного нельзя было построить.

Все мельтешило, несло и кружилось, и, глядя на этих оголтелых людей, я думала: молчаливые, но деятельные проповедники собственного несчастья. Слов таких, конечно, не было, но суть была именно эта. Слов не было, но остро ощущалось строительство всеобщего сиротства. За все время я не видела хоть одного просто так сидящего человека. А мне так хотелось увидеть такого. Вид мирно сидящего человека подсказал бы мне выход из собственного сиротства. Так мне казалось, и я верила в это.

Директора детдома Порохню то носило по комнатам дома нашего, то выбрасывало во двор. И он все давал какие-то распоряжения нашему плотнику Расщупкину. А тот, лысый, в полотняной, до белизны заношенной рубаше, весь день стоял за верстаком и все строгал и строгал, утопая в янтарной древесной пене, и от запаха этой ласковой пены я ощущала какое-то жгучее сиротство. За одним ухом у него ловко была пристроена папираса, а за другим – остро отточенный карандаш. За все время я от него и слышала разве что несколько десятков слов.

Чтобы как-то заполнить день наш, Порохня водил нас строем по двору, и мы пели солдатские песни. Вместе с нами шла дворняжка, наша Афелия, и не в такт, с величайшим неодобрением, подвывала песням нашим. Когда не одобряешь – это всегда не в такт. Видя, что в городе все что-то строят или на худой конец ремонтируют, Порохня решил отремонтировать наш дом. Недельку где-то пропадав, нашел черную краску, и мы покрасили фундамент, на большее ее не хватило. И все вернулось к строевой да песням.

И тут на той стороне реки появились цыгане, и жизнь наша наладилась. Цыгане появились внезапно, как война, победа и сиротство. Порохня сказал, что если появились цыгане – значит, будут красть.





И наша, мол, задача защитить социалистическую собственность. Но кроме солдатских панцирных кроватей и нас, лежащих на них сирот, никакой другой собственности у социализма не было. Порохня приказал Расцупкину смастерить нам автоматы. И тот мало того, что вооружил нас, но и для пущей похожести окунул оружие в остатки черной краски. Нам выдали красные нарукавные повязки с буквами «БДО» – боевая дружина обороны. И стали мы и днем, и ночью охранять нашу собственность. А на праздники рядились в пестрые лохмотья и танцевали «цыганочку».

Я стояла с автоматом и в свете луны видела усталых цыган, певших заунывные песни свои, серенькую задремавшую речонку, черные враскосьяк растущие деревья, груды мертвенно-бледных камней речных, и все это поглощалось бесконечной теменью ненасытных полей. И я, замерев, стояла, прижав к груди автомат, и чувствовала свою оторванность от всего этого. И вдруг что-то мягкое и шершавое коснулось моей руки, враз наполнив ее теплом. В свете лунном, прижавшись ко мне, стояла наша Афелия, стояла, задрав голову, неотрывно смотря на меня. В ее глазах было столько теплого пронзительного понимания, и понимание то заливало меня с ног до головы, и слезы текли из глаз моих. И мне стало жаль себя. Но больше всего, больше чем себя, жаль мне ту девочку. Век проживу – век ее помнить буду, и если есть жизнь на свете том, то и там мне ее не забыть.

Она украла у подружки носовой платок. Мы раздели ее и поставили посреди спальни. Была поздняя осень, из вечно разбитых окон несло предзимним холодом. Мы сидели, укутавшись в одеяла, а она стояла голая. В свете лампы керосиновой крупные пупырышки на тельце ее виднелись издалека. Лопатки у нее развернулись, как зачатки неотросших крыл, а вместо попки торчали две острых кости. Она стояла, отвернувшись от нас к окну, а в окне полыхали крупные звезды. Мы, обездоленные, нашли себе в утешение еще более обездоленную. Так там тогда казалось. А сейчас, когда я вижу в окошке звезды, ко мне в комнату из незабываемого далека wpłyвает голая, подрогшая девочка и худеньким тельцем своим заслоняет свет всех звезд.

И сейчас, когда я думаю: «Почему я несчастливая женщина, почему все женщины несчастны?» – перед глазами моими встает как ответ та голая девочка из послевоенного далека, и я понимаю, что женщина не





может быть счастливой, потому что изнутри ее прорастают крылья, а внешне комкает ее крыла, прессуя из них две кости. И от этого столкновения внешнего и внутреннего женщине всегда больно. Женщина – боль въяве. Одни женщины смирились с двумя костями позади, у других в глазах предполагаемые крылья за спиной.

...Ну ладно, ничего себе я Рождество тебе закатали. Не Рождество, а история сиротства. – И в ее выбеленных одиночеством бледно-голубых глазах мелькнула тень продрогшей девочки.

И она отвела меня в спальню.

А спать совсем не хотелось.

Наверное, потому что Рождество я представляю, как утро, а кто ж спит по утрам? Утром человек встает – встает во весь свой рост.

Уличный фонарь, а за фонарем тем – громадная луна, а меж ними – снега и снега падали перед фонарем, бились о землю и вновь возвращались к луне, создавая белые холмы в желтом бесконечии. И трепетное белое и желтое заливало комнату, и казалось – не в жилище я, а в вагончике фуникулера, и вагончик тот, укутанный снегами, по белым холмам небесным уносит меня в желтизну первоздания. И в свете том постель показалась неправдоподобно белой. Я не мог лечь на нее – она явно предназначалась кому-то другому. Лечь на нее было все равно, что есть при голодном. Есть при голодном до слез пахучий хлеб.

Ноздри младенца почувствовали запах стылого навоза, и пахнул он чистотой предстоящих событий и одиночеством зимнего ветра в продрогшей степи. Младенец улыбнулся и приоткрыл печальные глаза свои... и наступило Рождество – праздник молящихся и печаль всех сирот. А постель моя пахла добрым рассказом, который предстояло еще написать.

Книжный шкаф, столик, несколько стульев, а на полу, в углу, трофейная немецкая картина. А на картине той совсем не рождественский снег. Снег тот был грязно-серым – первый снег послевоенной Германии. Это был не снег, а состояние разбитой вдребезги страны. Даже из этой белой благодати, чем щедро делилось небо само, оказывается, можно слепить безысходную грязь. На книжной полке попала книжка «Фельдшерство». И мне подумалось: «А наука эта вполне могла произойти от фамилии Фельдшер».

И ходил я по комнате, и носило меня от слезной чистоты Вифлеема до кроваво-серой усталости послевоенной Германии. И, устав, присел





на коврик половой, взглянул на стену и обомлел... В красном платье с белой оторочкой по краям, со стены на меня строго, но по-доброму глядела кареглазая Мать Божья – работы Петрова-Водкина. И мне показалось, что не со стены Она на меня смотрит, а с тех белых холмов небесных, щедро политых светом лунным. И среди зимы из меня болюче выцарапывались весенние слова Есенина: «Будто я весенней гулкой ранью проскакал на розовом коне». И мне срочно захотелось написать рассказ, навеянный белоснежной постелью, которая предназначалась не мне. Я вбежал на кухню – ручки и бумаги я там не нашел. А нашел коробку спичек. И я, намочив спичку, стал писать на белых кухонных изразцах. Писал в забытии и исступлении. Спичек мне хватило, но вот изразцы закончились. Не помню, о чем я там писал, но в сознание всплывают кадры из «Мира животных». Лев терзал олененка, бегемот, отбив его у льва, засунул голову несчастного себе в пасть, стал делать ему искусственное дыхание. Тут же слетелись большие белые птицы и, став в круг, замахали крыльями, разгоняя зной африканский, вея спасительной прохладой на бегемота и олененка. Я не помню, что я там написал на белых стенах тесной «хрущевки», но помню что-то доброе, которое не исчезает, едва появившись, а оседает внутри тебя навсегда. Ничего добрее я не писал и уже никогда не напишу. Жаль не помню о чем.

Я сидел на полу и смотрел на падающий снег, на луну, на волшебный уличный фонарь, а на меня строго, но по-доброму смотрела кареглазая Мать Божья, и за спиной у меня белела постель, предназначенная не мне. Так и просидел до утра в благостном оцепенении. А утром попросил у нее картину. Она молча ее протянула, и крест на ее груди не казался таким уж большим. По глазам было видно – и она не спала. Так трудно уснуть в Рождество.

Я шел домой, и дом мой был совсем рядышком. И шли сквозь сугробы сонные люди. И, глядя на них, подумалось: «Господи, меж крестом и полумесяцем – шаг, но в шаге том – забыли, потеряли человека».

Хоть тысячу лет смотри на небо – ты не увидишь Бога. Бог затаился в другом. До века скончания молись – ты не увидишь Бога. Бог не приходит в одиночку и не приходит к одиноким. Он является вместе с Благодатью к тому, кто нашел Его в другом. Прошедший мимо человека – прошел мимо Бога.





А утренний запах снега и был запахом самой веры. И была та вера на стороне идущих. Несмотря на государство, на силу креста и полумесяца, – люди шли, шли, полня меня теплом веры своей. Идущих становилось все больше и больше. Господи, как много у тебя верующих. Шла пожилая пара – оба белоголовые, под стать снегу небесному. Они шли, помогая выбираться друг дружке из сугробов. Они шли, нелепо размахивая руками, нелепо передвигая ногами. Они шли, как в неведомости, шли как два человека, любовью своей преодолевшие земное притяжение и шагнувшие вместе в измерение иное. И, глядя на них, мне подумалось: «Они могут пройти и по лесу осеннему, не проронив ни слезинки», – так они были сильны. Мне ж одному без помощи Божьей и шага не ступить в том лесу, не заплакав. Я умилялся им, как умилялся вере нашей единой белой благостью, ниспадающей со всех семи небес.

А снег все шел и шел, и не было конца снегу тому. Я поместил Божью Матерь не в красном углу, а у дверей. Пониже Ее я пристроил фотографию своей сестры и ее подруги. Их сняли ранним утром в горах Чегема. И горное утро застало их врасплох, не дав им раствориться в предстоящем дне. И я, не верящий поповским мифам, вдруг уверовал в Троицу Святую, которую вместе с Петровым-Водкиным и соорудил собственными руками. У меня есть своя икона и молитва от святого Сергея Есенина: «Будто я весенней гулкой ранью проскакал на розовом коне». У меня есть икона, у меня есть молитва, и я глубоко верующий человек. И выходя из дома, я смотрю на Святую Троицу, и возвращаясь домой, я встаю пред ними. И мне не надо разбирать свои слова и поступки. В их строгих и добрых глазах я вижу прожитой день свой. И понимаю – день был прекрасным, просто мне трудновато до него дотянуться. Человек не должен оставаться один, за ним одного земного присмотра мало – ему необходим и взгляд с небес. Господи, как хорошо мне под земным и небесным присмотром.

И, глядя на этот добрый снег, на убаюканные снегом деревья, на вступающих в бесконечный день свой верующих, мне подумалось: «Мы из жизни пришли – в жизнь и уйдем. И нет у нас выбора». Как нет выбора у падающего снега, растущего дерева, летящей птицы. Мы обречены на жизнь, и выбираем лишь, на что нам жить. Господи, на чтобы я жил, если бы не снег Твой?





МЫ ЖИЛИ РЯДЫШКОМ С ГРААЛЕМ

*Мы пастыри себе и паства,
И пастись нам легко.
Мы вчера родились и ничего
Позабыть не успели.*

Молодые безработные парни с окрестных сел, мы строили баню в Башиле.

Конец ноября, много снега, финские домики изнутри поросли инеем, света не было, но были: соль, спички, мука и тушенка – все необходимое для войны и мирного строительства в горах. Благо, были керосиновые лампы, мы нагревали их, укутывали их в старые свитера и грели ноги перед сном, и это здорово нам помогало. Мы умели петь и строить. Больно холодно было, а с песней теплее, да и строилось легче и лучше.

Перепев все знакомые песни, мы на все голоса горланили арии, из нами же сочиненных опер, на темы: строительные, личной жизни и политики правительства – нам плевать было на то, что где-то растут тюльпаны и прямо на головы людей падают апельсины. К вечеру мы ругались, выясняя почему раствор оказался жидковатым и камни попадались круглее, чем того хотелось бы. Песни пели во всю мощь своих молодых легких, благо зрителей не было – лишь белки, вроде нас, скачущие с места на место, да дремлющие горы, спросонья отзывались ленивым эхом. И эхо то было близким отзвуком на слова наши и давним, долгим отголоском песен тех, кто жил до нас.

Отец ушел на фронт с тремя братьями. Два брата навсегда остались в Сталинграде, третий погиб неизвестно где. Отец вернулся, кто бы его сейчас вспомнил бы, разве что эхо горное, но кто бы догадался, что это голос моего отца?

Отец работал районным судьей. Более всего мне не хочется быть: судьей, писателем, учителем, священником, боюсь, не то скажу, не так сделаю – ответственность уж очень большая, неподъемная.

Отец работал районным судьей. Газеты писали о напряженности вокруг озера Хасан. Завтра должна была начаться война, и все это понимали. Женщины и мужчины (женщин было больше, мужчины как-





то стесняются открытого проявления добра, женщины же и в добре, и зле – безоглядны) громко просили Бога, чтобы Он сохранил жизнь моему отцу. И Боже из дальнего далека своего услышал просьбу людскую, сказанную на краешке горного села. Много лет спустя отец сказал своей родственнице: «Я выжил, потому, что за меня просили люди. С осознанием этого факта отцу был ниспослан один единственный талант, но самый важный на этой земле – любовь к людям.

Для него слово люди значило – человек, а это самая большая редкость и благо, а мнение иное – самая большая беда среди живущих. Осознание идентичности людей и человека – есть наивысшая форма любви земной.

Наверное, эти люди вышли к Богу, потому что отец давал сроку меньше, чем того требовала бумага? Наверное, у него была своя оценка поступку человеческому. Наверное, он поступок соизмерял с самим человеком? Нам от этой жизни достается по максимуму, просто прожив, мы уже отсидели за возможные преступления свои, а если и сажать будем друг дружку по полной, кто же будет на земле этой, и какие это люди будут, и какая жизнь? Обо всем этом я отца не спросил и не потому, что неинтересно, просто я стеснялся с ним разговаривать.

Воевал отец на озере Хасан, после ее окончания попал на Финскую, и тут же грянула Великая Отечественная. Вернулся на Кавказ – своих нет, догнал-таки аж в Средней Азии, благо разгон был мощный. Это какой же путь одолел человек: с Кавказа на Дальний Восток – оттуда через Румынию, Польшу, Венгрию, Югославию – до Чехословакии. С Чехословакии на Кавказ, оттуда в Среднюю Азию и вновь на Кавказ – перечислить тяжело, а одолеть? Не просто эту дорогу пройти, собирая апельсины, так еще же воевать надо было.

Встретились мы с ним в 1948 году и прожили вместе тридцать лет.

А вернулся он с несколькими медалями на груди – и это за три-то войны?

И когда, на День Победы, он надевал свои юбилейные медальки, и среди изобилия орденов это было так трогательно, что я – кроха, проникался к нему отеческим теплом и умильной жалостью. Да, именно отеческой – это так здорово, что становишься отцом своего отца, и здорово, что никто об этом и не знает. И не важно, что отцу-то всего четыре годика. Важно, что ты цельный, что ты защи-





щен необъятным шатром небесным и не раздроблен твердью земной – самое время ощутить себя отцом. Возможно, когда-нибудь ты будешь родителем, но это не значит, что ты стал отцом. Дети всегда старше отцов своих, ибо родились они позже родивших их и состарились вместе со временем и стали старше на целую жизнь, прожитую отцами.

Мы пели и строили. Все бы хорошо – да вот – консервы закончились. Столько я этой кильки поел, что чувствовал себя аборигеном владивостокских окраин. Да и от товарищей моих несло рыбьим духом, как от крупного поселения поморов.

И решили мы сходить за туром – благо, была у нас двустволка, да туры на нашей стороне хребта. Тур ушел из Сванетии – там нет ни одного. То ли им балкарцы по нраву, то ли здесь советской власти побольше, то ли у сванов с аппетитом все в порядке – кто знает.

Двое пошли на охоту – остальные работали и с нетерпением ждали охотников.

Охотники вернулись без тура. Тур-то есть, но больно большой, да и идти за ним далековато, так что всей бригадой придется нести его – объяснили охотники. И чтобы не столкнуться с редкими, но вредоносными егерями, надо идти за ним в полночь. Снег выбелил все, что еще совсем недавно было реальностью. В светлой полутьме сосны и скалы вратами вечности чернели перед нами. И мы, вытянувшись в черную цепочку, шагнули в те ворота. Мы шли вверх по ложбине межскальной, проваливаясь в снег по самую грудь. Снег был рассыпчат и сух, тропа не утаптывалась. Чтобы продвинуться вперед, мы упирались ногами в крутизну, выгребая перед собой снег руками. Мы шли, будто на ходу молились. Мы не шли, мы плыли по снегу. Наверное, вечность, притаившаяся в синеве небесной, видела нас вот такими неловкими, несуразными существами, плывущими по снегу. Ноги проваливались в невидимые ручьи, застревали меж камней. Я весь взмок, по мне текли струи пота. Мне казалось, что я потерял свое тело в этих местах и оно растаяло и стало ручьями, что текли у меня под ногами. Снег пах католическими сутанами, мечами крестоносцев, черной краской банков, в бликах снежных улыбалась Джаконда, вобравшая в себя сочную суть бытия и оставившая вовне тоску выхолощенных побрякушек быта.





И вспомнились слова Пастернака, сказанные Кайсыну: «Над вашей головой сошлись стрелки Запада и Востока». Да нет же, стрелки не сами сошлись – западную культуру Къайсын почувствовал, зарывшись носом в чегемские снега, снега – так же, как чувствую сейчас я.

Много снегов выпало на голову Кайсына, и который из них поведал ему чужую северную сагу – кто знает?

Чегемские снега дали ему ощущение грани между западным холодом и излишним, до ряби в голове, восточным многоцветьем. И по грани той, по тропе срединной, по своей золотой тропе и пошел Кайсын.

И мы шли черной цепью, по темному снегу, шли и чувствовали: что где-то там, за скалами черными, в истоме желтой, томится щедрая луна. И мы доползли-таки до нее. Скалы оборвались громадной поляной, на которой мы лоб в лоб столкнулись с белыми горами. И все это горело, переливалось бусинками радужными. На темно-синем, летнем небе подрагивала взволнованная луна. Господи, да я же в чаше Грааля – обожгло меня, обессилено лежащего в снегу, вмиг просветленного – перед глазами поплыли кадры с космонавтами в открытом космосе. И тело мое, со всем нажитым и прожитым осталось бог весть в каком-то не в моем далеко.

Гра-а-а-а-ль – позванивали вмиг помолодевшие чегемские скалы.

Чаша Грааля была пуста, но в ней умещались все, жившие когда-то и ждущие мига рождения своего. Чаша Грааля была пуста, но в ней было все. И подумалось: «Безумие это все, то, что именуется «здравым смыслом».

И «трезвость» – зримый облик безумия. И тогда, как подтверждение мыслей моих, явилась Офелия – и пахла она здравым смыслом. И глазницы мои наполнились и никак не могли пролиться, потому что я не мог приподнять голову, лежа в восторженном оцепенении, не чувствуя ни холода, ни времени. Я вслушивался, не дыша, в этот запах, я так давно его не слышал, аж с самого детства – с того огурца, изведенного мною в том далеком азиатском пекле.

Я не искал Офелию, как Блок всю жизнь ее искал в продрогшем Петербурге. Она сама в Чегем пришла – Къайсын тому свидетель, луна, да горы. Мои друзья чернели клавишами в полыхающем многоцветье снега и нельзя было разобрать: то ли, они часть огромного, включая небо, инструмента, – то ли музыка сама.





Господи, как я соскучился по здравому смыслу. Я так долго не встречался с ним, потому что здравый смысл всегда лишь – запах, ощущение.

И осенило – Блок видел чашу Грааля, и наплыли строчки его: «Немая грань внедрилась до конца, Из мрака вышел разум мудреца. И в горной высоте – без страха и усилия. Мерцающих идей ему взыграли крылья». Я увидел его лицо, смотрящее в вечность зыбкую, сквозь хрустальное марево чаши Грааля. Прекрасная трагедия Блока – пребывание тела его на земле, а души в чаше Грааля. Грааль всегда неподалеку от тебя, но нет на свете более дальней дороги. И, чтобы одолеть этот путь, надо до забытья земли, натрудить плоть свою и дух, вырвавшись из изможденного тела, и осилить эту дорогу.

Измученная душа Блока, всю жизнь искавшая Офелию, нашла ее – это и была гармония. И это видели замершие в умилении горы и оставившаяся в темно-синем небе удивленная луна.

Бог создал женщину из ребра, задача у мужчины более сложная: из доли, из маленькой частички, оставленной Офелией женщине, он должен создать Офелию целиком. И другой задачи нет у мужчины. Решив ее, он решит все остальные. Просто в мире задач никаких и не останется. И если он с нею справится, то только тогда о нем можно будет сказать: «Он настоящий мужчина». Горький писал: «Блок всю ночь гладил проститутку по голове».

Горький говорил об этом с дружеской иронией и непониманием.

А это был наивысший момент в творчестве Блока – он из частички женщины лепил целиком Офелию. Как говорил Фолкнер: «Смелость попытки». А это была сама смелость, и не она должна быть какой-то иной – только такой. Смелость и есть поиск Офелии. Найти ее надо, чтобы шкуру свою спасти, а потом уж и душу, если от нее хоть что-то осталось. Найти Офелию – это и есть национальная идея всех стран и необходимое условие для выживания землян в целом.

Найдешь Офелию – не будешь умирать в тридцать лет в какой-нибудь канаве, от какой-нибудь самопальной водки, и не пришибут тебе бестолковку в ближайшей подворотне – ибо родит Офелия не от отморозка, а человека. Не будешь ты лежать убитый на чеченской равнине или в горах Таджикистана – ибо родит Офелия мужей государственных, и они не пошлют тебя неизвестно куда и неизвестно зачем.





Офелия – женщина, видящая в прохожем и мужа и сына: мужа – чтобы любить, сына, чтобы жалеть. Ищите Офелию сегодня – как всю жизнь искал ее Блок – завтра искать будет нечего, а главное – некому.

Офелия – дух святой, вселенный в человека. Она, как и дух Святой, безмолвна, бесконечна и неуловима, как сам смысл, смысл, который не поддается умственным изощрениям, его лишь можно ощутить и уверовать. Офелия – как спасение, приходит в полнолуние, для того, чтобы и ты спас кого-то. Женщина всю жизнь ищет Офелию, сама того не осознавая. Она и детей стала рождать меньше, чтобы времени побольше оставалось на поиски. И загадка женщины – ответ Офелии, томящейся в самой женщине.

И горе тому, кто разгадал эту загадку – женщины таких не любят. Они не могут разделить любовь к Офелии с кем бы то ни было. Блок – один из немногих, кто проник в эту тайну, и в этом его счастье духовное и трагедия бытийная. Офелия – праматерь всех литературных образов – литературная Ева.

А матросов в Петербурге было больше двенадцати. И не было Христа «в белом венчике из роз». И шла по Петербургу Офелия, «дыша духами и туманами», шла, собранная из единства реальности и грез. И шел Блок, шел сквозь серый, вечный сон почерневших людей и домов, шел, держа в окоченевшей руке белый лист бумаги – обыкновенную жалобу обыкновенной женщины, шел, тщетно ища человека, которому был бы понятен вселенский смысл слов обыкновенных. Все творчество Блока – это поиск Офелии.

А округа пахла еще и сущностью Чехова, одного из самых петербургских писателей. Может быть, он и жил в Москве, но писал в Петербурге, не проживая там.

И лежа в теплом чегемском снегу, я думал: «Господи, так вот откуда тайна чеховских пьес – она отсюда, из чаши гор чегемских». Я встретил его здесь и озарило: Чехов – незамутненный потомок варягов. Слово Чехова выросло из скандинавских саг, а вся скандинавская литература держится на чеховской корневой системе (хотя она может и не осознавать этого). Чехов соткан из тончайшей северной мистики, пахнущей свежевывающим снегом, он и видит Россию сквозь слегка притуманный, ледяной кристалл. По большому счету, слово Чехова – взгляд из Грааля. И не зря он родился у моря. Море приносит не только сор





земной, но и память о далекой прародине, вещая о прохладных тайнах фиордов и вещих криках северных птиц – отсюда и «Чайка» в центре России и «Иванов», стоящий посреди тундры неохватной... и никого на всем белом свете. И нет опоры вовне – никто не слышит, как грустно позванивает в груди именной стерженечек. Они не слышат этого тихого набата памяти. Этот маленький стерженек ни к чему им – мало того, он может разрушить их жизнь, которую они проживают в обмен на эту невидимую, бесполезную штучку, что связывает разные разности в целое – единую культуру. Чехов и есть, та неразрывная и все понимающая нить, что навсегда связала: Скандинавию, горы Чегемские и Русь необъятную. Культура – и есть неразрывность собственного развития и памяти о бытии чужом. Из слов Чехова, каплей неспешной, на землю русскую капала музыка Грига. Прямо на снегу сидел донельзя усталый, сверх меры всякой умиротворенный Дон-Кихот, а на голове его сиял венок из лунной капли и снежного многоцвелья. Неспешно прогуливался Къайсын – как человек, неплохо знающий эти места.

Здесь были все, здесь было все и здесь не было ничего – кроме лежащего на спине громадного тура.

Я взглянул ему в глаза и ахнул: это были глаза не мертвого существа, а взгляд живого, видевшего жизнь в изначалье, и взгляд, устремленный в бесконечье жизненное. Я взглянул на небо, темно-синее полуденное небо, освещенное лунной, потом посмотрел в темно-синие громадные туры глаза, глаза не убитого нами, а пожертвовавшего собой осознанно существа, и взгляд этот не ведал смерти.

Я оглядел округу: моих друзей, застывших около тура, обросших и одетых в рванину... и враз наполнился любовью ко всему и всем: и к луне, и к горам, к друзьям своим и туру. Любовь эта было цельная и из нее никого и ничего нельзя было выделить. И озарило: Платон в чьих-то глазах увидел нашу землю с высоты, до которой никакой птице не долететь. И не важно, были ли эти глаза ничего не знающего человека или глаза всеведающего тура.

И я увидел Махатму Ганди, в белой тряпке, накинутой на изможденное тело, мокнущего под лондонским дождем, босоногого и просветленного. И его встречает британский премьер, в теплом черном костюме, в надраенных до блеска неземного ботинках – и черный громадный зонт над его головой, в руках сладкого лакея. И жаль стало





этого уже не молодого, морщинистого человека, одолевшего неимоверно трудные дороги, после которых на лице осталась пустая паутина не найденного. И жаль было человека, простоявшего всю жизнь с зонтом в руках над чьей то несчастной головой. И я точно знал: в таких ботинках, в таком костюме, под таким зонтом – никогда не дойти до Грааля. И что все Канары с Багамами и миллионами – шкорки арбузные, в сравнении с мигом Граалевым. И как далек Грааль от тех мест, где с деревьев прямо за пазуху падают апельсины. Грааль неподалеку от того места, где «из камня выжимают зерна».

Я смотрел на обросшие щетиной, розовые от мороза, заколдованные лица моих друзей и чувствовал, что и они переполнены любовью и жалостью, слившимися воедино и еще удивлением: как много всего этого, в сияющей всеми земными и небесными цветами родной пустоте. Мы пупырышками на коже ощущали эту любовь и эту жалость, существующими сами по себе в этом разноцветном, восторженном воздухе.

Люди разрушают созданное не потому, что им нравится это занятие – они ищут правду, а правда есть благостная пустота, а на пути к пустоте той преградой стоит созданное.

И во времени есть заповедные места абсолютного добра. Зло же бесприютно, оно вечно занято внедрением куда-нибудь и во что-нибудь.

Средь сваленных лавиной деревьев вырубил деревце потоньше. А отзвук топора отсчитывал последние наши мгновения в Граале. Надо было возвращаться на землю. Но где бы мы ни были, мы уже не сможем жить по иным часам, ибо не будет более точного определения нашего пребывания во времени, чем этот набатный отзвук топора, с вечным призывом вернуться, если потерял ориентиры. Да и ориентиров не много – он всего один. У выбора нет множественного числа.

Громадную лесину привязали к ногам тура. И это не было транспортировкой – это был ритуал: здесь не было мертвых, здесь встретились живые просто живущие в разных временах.

Тащить тура волоком не было никакой возможности – мы проваливались в снег вместе с ним, потом откапывали и его и себя. Утопая в очередном сугробе, я увидел дедушку, сидящего теплым летним днем в городском дворике своем. На плече его блаженствовал кот, другой растянулся на коленках, рядом с Кораном, руками дедушка неспеш-





но перебирал четки. Кошки хурчали на разные лады, утопая в былом и приятном, настраивая дедушку на время, которое должно было бы быть, но его почему-то нет. А дедушке ох как нужна была устойчивая позиция меж Богом и коммунистами, и никто ему не мог помочь, кроме этих пушистых существ. Дедушка был эфенди, поэтому посоветоваться было не с кем. Меж ним и Богом была тьма воинствующих людей, воюющих против себя.

Кошачье хурчание – как слышимая и ощущаемая гармония, как чей-то лад умиротворенный, укреплял его душу, в дороге трудной, на пути к Богу.

Дедушка двадцать лет учился духовному и светскому в Дагестане, дошел по воде до Стамбула. И ходил он не за умом, и не для того, чтобы потешить грустную душу чужедальними диковинами. Чужое нужно ему было, как свидетельство бесценности собственной землянки, среди знакомых, как кошачья шерстка под рукой, колючих скал, откуда до Грааля – шаг ступить.

Если мы побывали в Граале, то это был щедрый Божий подарок, а дедушка родился и прожил неподалеку от Грааля, и он знал это. А иначе сдал бы Коран в ГПУ и со временем стал бы секретарем райкома – с его-то образованием. И жил бы себе припеваючи: драл бы собственное горло и, заодно, последнюю шкуру с ближних и дальних. И сейчас какой-нибудь тупичок носил бы его имя.

Да что там Коран, да что там люди, живущие с тобой в одно время – съестъ бы чашу чечевицы.

Как хорошо раньше было: хлеб двадцать копеек стоил – говорят мои сверстники, а кто постарше – тех хоть в три ночи разбуди – подтвердят, не разлепив глаз. Да нет и никогда не было ничего дороже большевистского хлеба – двадцать копеек, собственная суть и свобода в придачу. До такого обмена никакой бес не додумался, да хоть соберись они все вместе, сколько их там, на свете белом – куда им. Дороги нужны как свидетели бесценности отчего дома – и нет на свете лучших свидетелей. Предавшему забвению отчий дом не преодолеть и самой короткой дороги. Иду ли я далеко и за значимым, или на базар за редиской – выхожу за порог с именем твоим, деда.

А дороги ничего не несут, кроме событий, а события дружно говорят: все, что есть в этом мире – все в доме твоём. Дороги ничего не дают,





хоть и кажется, что ты обретаешь идя. Они и не призваны что-либо давать, они просто показывают: что ты имеешь и чего ты лишен. Если ты вышел в дорогу за куском хлеба – ты обретишь и хлеб, и сверх того.

Если ты сыт, и на тебе штаны, и ты вышел в дорогу обрести сверх того – считай, что ты вышел погулять. Ибо в дом нельзя занести ничего лишнего, а если тебе это удалось, так это уже не дом, а хранилище, и это уже не ты, а сторож этого хранилища.

Дедушка осознавал великую пустоту Грааля, он понимал, что она есть: и смысл жизни, и единственная опора в этой жизни.

А событие – это то, обо что спотыкаешься... и падаешь на другое событие... и жизнь собираешь из сплошных падений своих. Верующему в события – всегда пребывать на коленях и никогда не ощутить опоры под ногами.

Мы ползли, плыли и падали в снежные ямы, в которых по частям и хоронили веру в события. А потом нас огромной волной Грааля вышвырнуло к соснам, среди которых и были наши жилища. И сосны – как стражи у входа в мир иной – встретили нас утрюмой предсказуемостью, и мы почувствовали, что это была граница жизни и проживания.

Промерзшие половицы встретили нас скрипучим ворчанием. Они отторгали нас, как чуждый, впервые осязаемый ими дух утерянной домовитости, принесенной нами.

Друг мой долго ломал спички в темноте, все-таки ухитрился зажечь лампу. Ему быстро удалось скинуть ботинки и зарыться в груды старья. А мои пальцы никак не хотели шевелиться, и сжать их не было никакой возможности. После долгих трудов я одолел ботинок. А со вторым у меня ничего не получалось. Шнурки вмерзли в башмак, а башмак – к ноге. У друга тоже истаяли все силы, и он не мог подползти мне на помощь, и, лежа, советовал за какой кончик шнурка мне дернуть, но у нас и вдвоем ничего не получалось, и я так, в одном башмаке, и опрокинулся на кровать.

Тела я не чувствовал, лежа в мерзлом небытии. Вдруг я услышал, как в этом безвременьи, засмеялся мой друг.

– Ты чего? – спросил я.

– Да вот, вспомнил знакомого своего. Он говорил, что самую большую роль в его жизни и судьбе сыграли шнурки. «Встречаюсь с девушкой, а в темноте никак не справлюсь со шнурками, и любовный момент





упущен». Сейчас ему, видно, полегчало, сейчас липучки придумали. Да и не ему одному – такая мелочь, а как человечеству помогла.

И мы гоготали, радуясь за его знакомого, заодно и за остальных живущих. И сквозь наш гогот я слышал смех дедушки, которого я никогда не видел.

В Азии, из дальнего села к нему прискакали киргизы. Прискакали – это предполагает: движение, вторжение, агрессию, а эти слова так не увязывались с этим народом. Дедушка говорил: киргизов Бог создал, чтобы земля не пустовала. Киргиза я вижу среди многочисленного семейства, прилебывающего чай в тени дерева и поедающего арбуз. Уютное племя – будто колыбельная посередь колючей жизни. Прискакали киргизы: «Узеир-ака, спаси, которую неделю без дождя, все вокруг гибнет и мы умираем». Дедушка сказал им, чтобы они принесли лошадиный череп, благо этого добра было вдосталь в округе – конину здесь любили.

Дедушка весь череп покрыл какими-то письменами, и киргизы, довольные, усаkali. Дня через четыре они, пропыленные, вновь предстали перед дедушкой.

– Узеир-ака, останови дождь, который уже день льет, боимся и нас смочет.

Киргизы усаkali, а дедушка смеялся так, что слезы катились из глаз его.

И в комнатную мерзлоту стало вливаться азиатское тепло и запахло изысканным духом арбуза, дедушкиным смехом, впережку с детскими слезами на его, так много видевшем лице, и осозналось, как все это близко: и край света, и давным-давно ушедший дедушка, и Грааль – и все это уместилось под маленьким одеялом.

О том, что пришла весна, мы узнали по календарю. Ветер, вместе со снегами, унес устойчивость и определенность во времени и мыслях. Сосны печально дули на сожженные морозом желтые крылья свои. Безжизненно бледнела трава, превращенная зимою в сено, на корню. Снег, уйдя, оголил черно-красные болезненные отметины на ликах скал. И непонятно было: то ли это ранняя осень, то ли само преддверье зимы, а календарь показывал весну. А округа горько и бесстрастно выдыхала нашу неминуемую старость. И кто бы мог подумать, что это зримое предсмертье – предбанник Грааля. Это ж надо было так замаскироваться. Но это был запоздалый маскарад унынья – мы-то дорогу





знали. Прекрасное вынуждено забрасывать путь к себе безнадежьем, боясь глаза, глаз чуждых.

Да и нам надо было собираться в дорогу: туда, где не жертвуют собой туры, где не алеют в мягком мху бусинки брусники, где детским смехом не рассыпаны по зеленому жизнерадостные маслята, где щедрые сосны не раздают приходящим щемящий дух вечной юности.

Мы ехали в кузове грузовика, вместе с гулом реки, ехали по теснине. Вокруг ни единого светлого пятнышка, а наверху: ни цвета небесного, ни света солнечного. Наверное, так встречаются и так расстаются с чем-то очень значимым. Наверное, тайна и есть, емкая полутьма, где все на ощупь, все кожей – и глаза тут не при чем. И когда нас вынесло из ущелья, то оглушила громадина неба и выкинул из реальности свет солнечный, и закружило голову разноцветье трав, будто по охотке хватанули по стакану спирта, наверное, так рождается ребенок. А люди были легкие, полуголые, и уносило их, как листву осеннюю, и не понять было: то ли это весна, то ли лето бабье. Шофер сбросил нас в городе, объяснив, как дойти до конторы, где лежали заработанные нами деньги.

Господи, как много машин, как трудно перейти улицу – легче одолеть горную реку вброд.

В конторе нас встретила равнодушная, осенняя женщина. Полистав бумажки, она каждого из нас одарила деньгами, но их не набиралось и половины от заработанного.

В ушах и на руках у нее горели крупные бриллианты и, глядя на них, подумалось: как много людей с продрогшими недозрелыми глазами, будто они только что всплыли со дна морского и еще не успели отогреться. И почему-то стало жаль себя. Мы шли туда, где высились большие дома, убившие пространство. Архитектура – и есть убиение пространства. И над этими пустынными нагромождениями серебряными маяками светились горы. Мы шли по направлению к ним, мы шли, как люди, знающие дорогу. Нас было меньше двенадцати, но нас ждала не Вечеря, а Завтрашний день. И свидетельством тому были белые горы впереди и ласковый весенний ветерок, деликатно шествовавший за нами.





ХРУПКО

Камень очень неудобный – высокий, большой, весь колючий – обосновался в центре села. Как на него взгромоздились две бабы, сказать трудно, но умудрились, и вот сидят две женщины, уже пожившие на этом свете. Ветер рвет их речь, как рвут пошлые письма, развевает юбки, старинные добротные, еще с пятилеток первых – рейтузы, и все вокруг умирает, и все вокруг обволакивается каким-то тихим, безнадежно бесконечным бытом. Еще миг назад мне казалось, что скалы всю ночь трудились, раздвигая землю, и стоят теперь, отдыхая после тяжелого труда: только вчера прорезались тополя, родились коровы, сегодня второй день творенья... Мог бы быть, но его убили две бабы, безмятежно сидящие на камне. Хрупок мир.





ПАСХА

Со стены маленькой церквушки смотрит Иисус, не рад своему воскрешению. Провинция чтит начальственный вид, и Иисус на стене явно провинциальный. Пасха в маленьком городе, разноцветные яйца, церковный двор, толпа.

Зеленые ворота в мир иной.

– Куда прешь, нехристь, – два старушечьих лица вплотную. Старухи одинаковые, наверное, близняшки, лица суетливые, ощущение базара, толкучки. Лица. Затылки, затылки, неужели праздник? Со стены начальственный взгляд Христа. Улица и маленькие проулки, толпы молодежи. Мне к Христу нельзя – я нехристь. Это видно по лицам старух – дежурных. Пахнет старостью и смертью. Кучками молодые, в каждой кучке по гитаре, а то и несколько гитар, и песни, одна убивающая другую. «Увезу тебя я в тундру». «Если друг оказался вдруг». Звуковая вакханалия, под ногами огрызки яблок, плевки, конфетные обертки, цветы, то тут, то там втоптанные в нечисть. Впереди злобные лица старух, сзади эстрада, а на стене начальственного вида Христос. Праздник. Пасха. Иисус воскрес.

Вижу в небе облако, на нем Христос и двенадцать старух, а на другом облаке – Иуда.

Спаситель мрачен, старухи – злы. Иуда доволен; он доволен – умный, честный и прозорливый Иуда.

– Предупреждал ведь, кого ради, – говорит он Христу.

Христос молчит, старухи вертят головами: вверх, вниз, в сторону, глаза алчные, зеленые. Христос сидит, понуря голову. Весна. Пасха. Праздник. Иисус воскрес. Люди пришли к Спасителю. Маленький городишко, маленькая церквушка, и долгий, долгий праздник, увядание.





САЛЮТ ИЗ ОДУВАНЧИКОВ

Она вошла в маршрутку и села на боковое сиденье – других мест не было. Входили мы, она появилась неслышно, незаметно. Вся в веснушках: птичий носик. Очки, в старомодной округлой, оправе – одни косточки, обозначающие хоть какое-то наличие плоти. Она спокойно разместилась на трети сиденья. И к ней подседа крупная женщина – и им не было тесно. И непонятно было: то ли малое льнет к большому, то ли большое растворяется в малом. Потом рядом с ней поместились две голопузые хохотушки – и им не было тесно.

А сквозь будничные веснушки и прозрачные косточки лился теплый, недостижимый, праздничный свет.

И подумалось: прикоснись, вот сейчас, к ее руке – и свет погаснет. И светом этим нельзя обладать, но помнить о нем необходимо, необходимо, чтобы жить на что-то и выжить. И жизнь-то держится не на видимой женщине, а на свете незримом, исходящем от нее. И я почувствовал и влюбился в интеллект – женский интеллект. Нет, в самом слове интеллект уже ощущаются границы. Нет, интеллект и любовь земная, были очень важными, но все-таки частями этого светлого безграничья.

В детстве я сажал светлячков в спичечный коробок, хотелось дома вдосталь налюбоваться этим чудом, а его фонарик тут же гас, – светлячок хотел светить всем – маленький волшебник и большой философ. И только на исходе лет я понял: «Нельзя завладеть светом другого – им можно только умиляться и умиление то наполнит тебя светом собственным». И еще подумалось почему-то: «Последним посланником Божиим, вероятно, будет пришествие Абсолютного Вкуса. И не будет ни слова, ни проповеди. Его молчаливое присутствие и будет и пониманием, и достаточностью для человека». И мне очень хотелось ехать и ехать.

Она остановила маршрутку у аллергоцентра, тихо прикрыла дверь и пошла среди зеленых сосен, мимо розовой «лермонтовской» беседки, где въяве мелькнули «пушкинские» женщины в ажурных белых платьях. Она шла среди розового и зеленого к светло-желтому, будто новорожденный младенец, дому.

Лесные сосны растут, поддерживая и борясь друг с другом за ширь земную и высь небесную. Они лучше других ощущают бесценье свободы.





Но они как бы не здесь, они везде – и им нет никакого дела до тебя.

Больничные сосны, как бы их высоко не возносило, остаются на земле – наши боли и наши страдания не дают им уйти. Она шла рядом с больничными печальными соснами – она болела аллергией. Она могла болеть только аллергией и ничем иным, и я понимал ее. Других болезней у нее и быть не могло – они просто не находили себе места среди светлого бесплотья.

А по тротуару шел молодой, очень важный паренек, и бережно нес на вешалке свой долгожданный сладкий крест – новенькую милицейскую форму с двумя звездочками на погонах. А до войны день ходу, а ей до меня шаг. Я ехал в поселок «Цементный завод», домой, на улицу Трубную. Хотя там труб отродясь не было, но место как-то крепко увязывалась со словом металлолом, по разрушенности своей и запустению, что ли?

И сквозь оконное мельтешение уносящихся мимо кустарников мне припомнилась совсем другая история, медленная и очень протяжная по времени и человеку...

Умирала маленькая девочка... мама в слезах... Видя страдание матери, маленькое истощенное личико улыбнулось: «мамочка, не плачь, когда я умру, ты выйди в поле, посмотри на одуванчики... и вспомни меня...» Я сидел на порожке со старой собакой своей, а ветер из разворошенной горы нес пепельный песок – сырье цементное – нес и посыпал наши домишки, когда-то построенные для рабочих, бывшего в Бог весть какие времена – завода. Посыпал поле и зеленые листья унылых деревьев. И казалось: и дома, и деревья, и нас зацементировали. Чтобы как-то вырвать себя из удушливого безнадёжья, я взглянул на небо, но и оно наполнилось обездоьем, как и мы, сидящие под ним.

А где-то давным-давно, далеко-далеко, по белому одуванчиковому полю шла девочка, шла и улыбалась, и та, давняя чья-то улыбка оживляла большую сегодняшнюю округу.

Затеplилось и потянуло... И верилось, что на пепельном этом поле, когда-нибудь прогремит белый салют жизнелюбивых одуванчиков.

И я, уверовав, гладил утомленный горячечный лоб доброй дворянки моей, а она смотрела на меня всепонимающими глазами... И верила в то же самое, во что уверовал я. Жизнь-то у нас одна, общая для всех двуногих и четвероногих.





Я СЛОВОМ ВРАЧУЮ РАНЫ СВОИ

Для меня литература – вещь прикладная: как пушистая шуба в снегопад, как теплый дом в ненастье, как добрый огонь в доме том, как чаша айрана в болезни и беспамятстве, как материнская рука в невзгодье. Литература – это защита себя, то есть любого одинокого человека.

Единственная задача литературы: поддержать, приподнять упавшего человека – и нет у нее задач иных. Все остальное – от лукавого и во имя его.

Пишущие, не надо ковыряться в душе человеческой, вы скажите ему слово, которое поднимет его с колен, стоя ему видно и дальше, и больше.

Окинув взором и землю, и небо – он сам разберется с душою своею.

Умоляю тебя, упавший, вспомни все хорошее, что было у тебя – ведь были же у тебя свои Божьи подарки, вытащи их из тьмы наносного – и они сами облекутся в слова, и ты еще походишь по белу свету, опираясь на них.

Пишущие, не трожьте душу человеческую – ну нет в ней столько грязи, о которой твердите вы, из века в век вы описываете все внешнее, наносное и радостно кричите, что добрались до сути. Вы описываете ржавчину, забывая, что над ней радужная сердцевина, о которой ведет лишь Бог и догадывается сам человек. Ведь не созывает же людей человек, увидевший экскремент – понимает, что это неприлично. Вы же закидали человека этим «добром» и говорите, что так оно и было. Нет, так не было: ходил он по прекраснейшему из садов и ел сочные яблоки – вот это было. Все, что не поддерживает человека – антилитература, а это гораздо хуже полной безграмотности. Безграмотность не отвергает добра, антилитература ее уничтожает. Литература не вытекает из жизни, она создает жизнь иную, истинную, мало что, по сути своей, имеющую с проживаемыми нами днями.

Литература – это вкус яблока, жизнь – поедание одного, вещи очень





и очень разные. Писатель – переводчик с жизненного на истинный. Писатель – это милостыня, подавание людское, где каждый отщипнул от своей души, духовности и талантов своих, и даже давным-давно ушедшие внесли лепту свою. Писал бы я, на необитаемом острове? А чем бы я себя защитил как не словом своим?

Там я писал бы: и больше, и лучше, только там я смог бы стать писателем, а здесь – я пишуший. У писателя все учителя, но у него нет учителя. У не умеющего писать – есть шанс стать писателем, у умеющего – шансов никаких.

Писатель – это слово, обращенное вовнутрь; слово, обращенное вовне – это слово обращенное во тьму болтовни. Писатель – это удивление от слова, привыкание к нему, осмысление... и долгий, долгий путь до бумаги, учась и учась беспрестанно.

Если можно рассказать о написанном – это журналистика, если суть написанного не вмещается в пересказ – это литература.

Влияет литература на жизнь? Вопрос веры и неверия. Влияет и даже формирует – просто мы этого не замечаем, как не замечаем воздуха, которым дышим.

Влияет ли кровь на сердцебиение? Кровь мы не видим – мы слышим стук сердца своего. Если вы с колыбели будете читать вслух малышу своему хорошую литературу до дня, пока он сам не научится этому – вы ему дали все, что могли дать в этой жизни. Будут у него неурядицы, но с таким наследством он преодолеет их. Этого наследства хватит ему на жизнь, еще другим достанется, да еще и с собой унесет.

Наследство – это то, что не вмещается в комнату, в дом, и в миру ему тесно. И дается ему в начале, а не в конце. То, что дается в конце, – это лишь материальная поддержка и ее не хватит на жизнь, а с собой – уж точно унесешь.

Если тебя обидит один человек – ты защитишься кулаками, а если их будет: пять, десять – может так случиться, что весь мир отвернется от тебя. Как ты защитишь себя? Сколько же сыновей для этого понадобится? И где та армия, которая ринется защитить тебя? И где те дома, в которых укроешь душу свою?

Если ты построишь дом – он рухнет со временем. Если родишь сына – его сыновья забудут тебя со временем. Если посадишь дерево – то и оно истает во времени.





Все, что сделано телом, – тленно.

Все, что сотворено духом – вечно.

И когда весь мир скажет, что ты плохой человек – ты извлечешь из себя слово, подаренное Богом, взлелеянное тобой и берегаемое тобой на день твой тяжкий, и ответишь им: «Нет, ребята, я совсем не такой, с кем-то вы меня путаете, и свидетелем тому – слово мое, и не нужны мне иные свидетели».

И ничего они с тобой поделать не смогут. И нет на земле лучшего защитника, чем слово твоё. Если умрет кто, о нем: или – хорошо, или – ничего.

Если умрет писатель, ты о нем можешь сказать все, ибо говорил он о вечном и подсуден будет вечно. И это – справедливо. Я понимаю важность диалога, значение сюжета. Понятно, что читатель окольными путями придет к смыслу. Но в жизни самой я не встречался с настоящим диалогом, я слышал одни монологи – в лучшем случае, они были полифоничны. И как это вся мировая литература держится на несуществующем диалоге, непонятно, потому что – тайна. Я беру в друзья себе всех вражин литературы: патетику, сентиментальность, телячий восторг – и вместе с ними кратчайшим путем пытаюсь продрапаться к одинокому человеку. И здесь чеховское: «с холодной головой» не помощник, а враг. Если мои союзники увидят, что я весь от головы до кончиков пальцев не полыхаю – они покинут меня, и мне уж никогда не добраться до упавшего. Мне хочется побыстрее донести до цели прямую речь. А цель рядом – одинокий человек, которому нужна скорая помощь, чтобы он мог на что-то опереться и выстоять. И лучшая опора – от сердца идущее слово. И слово то должно быть: энергичным, простым, лаконичным, а главное – добрым.

И юный, и поживший нуждаются в малом – он хочет, чтобы его погладили по голове. На то и чья-то рука, чтобы покоилась на голове твоей. Но рука стареет и гаснет, а слово нетленно и безустанно.

А то, что земля держится не на каком-то притяжении, а на простом человеческом слове, проще говоря, мы сами, собственными руками, поддерживаем землю, а не какие-то там атланты – это я берусь доказать. Я давно нашел точку опоры, и не надо ничего переворачивать, а надо нести ее рядом с идущим – на случай, если он удумает упасть. И укреплять найденное, всеми силами и всей душой своей.

Мой дедушка говорил: «Спасение – на вершине самой высокой





горы. Взойдешь сам – натрудишь ноги и останешься тем же. Втащишь чью-то полуживую душу – спасен будешь». Дедушка был большой писатель, мне до него – как до неба седьмого. Просто он не записывал слова свои на бумагу, а подавал их неимущим. Дедушку своего я никогда не видел, но знаю и люблю его больше всех живших и живущих. Если чего мне в жизни не хватало – так это встречи с ним. Если бы я его хоть раз увидел – то столько не плутал бы, а большую часть пути своего я прошел бы по дороге своей. Я узнал бы его по большому пальцу, похожему на куриную ножку, его внутренняя наполненность выплескивалась именно в этот палец. У отца был такой же, как у дедушки, палец, и полудикие кошки, жившие во дворе в куче дров, чувствовали доброту его ладони, а на нас щетинились и фыркали. И когда я встречаю незнакомого человека, я смотрю на его большой палец и спрашиваю: любите ли вы кошек, нравятся ли вам пьесы Чехова?

Если бы я встретил своего дедушку, то жизнь моя сложилась бы иначе.

Но эта горестная и прекрасная Азия, убившая дедушку и родившая меня, что я смогу с ней поделаться? Из-за нее я вынужден в этом многолюдье искать и возрождать дедушку моего из большого пальца его. Ибо он для меня тот источник, из которого тонкой струйкой, невидимой и едва слышимой, течет литература необъятная.





Миниатюры





* * *

Проза – это создание, постройка из частного, целое.

Поэзия – отщипнуть от целого частное.

* * *

Литература – сотворчество пишущего и читающего, совместное создание реального и движение к нему.

* * *

Самая главная обязанность родителя – читать ребенку вслух хорошие и умные книги, пока он сам этому не научится. Самая главная... Вы его создали, вы его наполнили, чего же более? Разве что любви, как можно больше, чтобы было ему на что жить. Это и есть наследство, и дается оно в начале, а не в конце.

* * *

Афоризмы – выплевывание по кусочкам изболевшейся сути своей.

* * *

Литература кончается там, где начинаются заботы о себе.

* * *

Ничто так не старит, как заботы о себе, и ничто так не молодит, как думы о дальних.

* * *

Литература не служит государству, она его формирует, правда мало, кто об этом догадывается.

* * *

Если считать, что кровь служит человеку, тогда и литература служит государству.

* * *

Во сне к нам приходит Дон-Кихот, а днем мы живем с ветряными мельницами.





* * *

День решил все, кроме проблем Дон-Кихота, и завтрашний день с тревогой их поджидает, как будущие занозы свои.

* * *

Романтика – то, что нас держит, и то, что мы постоянно отвергаем и предаем.

* * *

Приверженец романтики – в конфликте с жизнью, в ладах с собой.

* * *

Трагедии Пушкина – маленькие трагедии. Комедии Чаплина – трагедии большие.

* * *

Обездоленность – нет возможности поделиться.

* * *

Уменьшение количества поэтов в стране приводит к увеличению числа врагов. Сэкономил на поэтах – разоришься на контрактниках.

* * *

Человечество весело прощается со своим будущим.

* * *

Когда я слышу: медикаментозное лечение, то вижу много важных, но малосодержательных лиц и по ту сторону этих слов – одинокого Зоценко.

* * *

Трахман – это фамилия, намерения или жизненное кредо? Непонятно... один человек, а так все запутал.

* * *

Толстовское «Не сойти бы с ума» – единственное о чем стоило бы беспокоиться.

* * *

В конечном счете, все наши подаяния оказываются у богатых. Помогаем богатым, пытаюсь протащить верблюда сквозь игольное ушко.

* * *

Высокомерный человек – уже несчастен. Высокомерному народу – все это еще предстоит.

* * *

Самая большая роскошь – интеллигентность.





* * *

Воздух был плотен, как утоптанная дорога. Дышать было нечем, и идти никуда не хотелось.

* * *

Новое поколение – старее предыдущего, как и сын всегда старше отца своего.

* * *

Количество детей и имущества – кратчайший путь к преждевременному старению.

* * *

Главное – осознать, что, такого как ты, не было и уженикогда не будет. Это чудо и реальность одновременно. А талант, положение, богатство – это все вторично. Осознание собственной исключительности – твой фундамент и основа всех живущих. И понимаешь, что рядом с тобой не простой, обыкновенный человек, а такое же уникальное создание, как и ты сам. И ты не среди сборища людей, непонятно для чего собравшихся, а ты с личностями, мучительно ищущими место свое и предназначение. И уже нет возможности возвыситься, обидеть, убить. Это все равно, что обидели, собрались убить тебя.

Стать таким как все невозможно, даже если тебе даруют бессмертие, и ты эту вечность потратишь для достижения этой неосуществимой цели. Попытка стать таким как все – долгое и мучительное самоубийство.

* * *

Редко какая мысль не порождает кровь.

* * *

«Хоть и писатель, а соображаешь!» - вырвалось у женщины, удивленной ходом моей всеобщедоступной мыслишки.

* * *

Средь бесконечья: чего, да кого, Господи, как я соскучился по незнакомой мне высокопарности.

* * *

У Сола Беллоу: блудный сын возвращается к отцу в Нью-Йорк. Отец работает лифтером. Он отвык от сына и никак не может привыкнуть к городу. И отец, и сын, и небоскребы все это бесконечье, все ирреально. По улице идет похоронная процессия – как нечто узнаваемое и теплое, и сын, увидев ее, заплакал, а из толпы похоронной кто-то сказал: «Господи, кто бы по мне так плакал».





* * *

У Хемингуэя: раненные – солдат и лейтенант. Госпиталь. Ночь. Тишина. С веток шелкопряда падают, объевшись листьев, шелко-
вичные черви.

Главное жениться, и все будет хорошо, говорит солдат. И без уста-
ли повторяет эти слова. Тишина. Падают шелко-вичные черви. Падают
слова солдата. Раны... и долгая, долгая ночь.

* * *

У Чехова: муж с женой везут родственникам кулич. В степи казак
с лошадью. Он там заблудился, то ли не в меру выпил... Он да степь...
и никого. Муж предлагает угостить казака куличом, жена – против,
мол, кулич нельзя есть раньше двенадцати. Проехали мимо... Прошли
годы... Муж вспоминает и напоминает жене об одиноком казаке, кото-
рого они не угостили куличом. Так и развелись...

* * *

Свобода – это защищенность. Защититься можно только верой в
себя, как в образ и подобие Божие. Не уверовавший в себя – не ве-
рует и в Бога. Опорой той веры и будет Слово, подаренное Богом и
взлелеянное тобой. В самый опасный момент твоей жизни не будет
тебе спасения: ни от людей живущих, ни от музыки идущей извне, ни
от картин, написанных кем-то. Спасет только Слово, затаившееся в
тебе самом, и нет иного спасения. Спасения в дне коротком и в жизни
долгой. Ни дети... ни деньги... ни армия... Если тебя пытается обидеть
один – ты отстоишь себя. А если сотня... тысяча... Где столько денег,
где столько сыновей, где та армия?.. Имеешь за душой хоть слово – ты
непобедим. Свобода, вера, слово – это и составные и суть спасения.

* * *

Я не слышал ни одного полнокровного диалога. И даже если это
происходит, все равно не диалог, а полифоничный монолог. Удиви-
тельно, и как это реальная глыба мировой литературы, держится на
несуществующем – диалоге.

* * *

Невозможно завоевать мир, не разрушив себя.
Мир завоеван, а человека-то нет. И кто будет жить в этом мире?

* * *

«Очистить» жизненное пространство – эту непосильную задачу для
всех бывших и нынешних правителей легко решает маленький дождик.





* * *

Нет ничего миролюбивей цветов, но даже они в букете агрессивны.

* * *

Тоска давным-давно истлевших листьев в судьбе и памяти осела.

* * *

Как много людей с недозрелыми, продрогшими глазами – будто только что вышли со дна океана.

* * *

Протопоп Аввакум и Павка Корчагин бьются вроде бы за одно – хорошее. И метод один – неистовство. Но, один, пример того, как жить нельзя, другой – без чего и жить то невозможно.

Один рушит и свое, и чужое, другой – отстаивает суть свою и сущность других.

* * *

Наследство – это то, что не поддается счету, и не вмещается в дом, и даже в сознание.

* * *

Следы чужих сапожищ на первом снегу – будто путь к разгадке собственной судьбы моей и догадках: нет ничего чужого на свете этом – все твое.

* * *

В блике солнечных, на белом снегу, лежала громадная черная змея и умиротворенно улыбалась. И встретил я ее не сегодня, а в какой-то из последующих дней. Возможно, что я ее и не увижу, скорее всего, так. Но то, что эта встреча неизбежна в каких-то последующих годах, с какими-то вновь пришедшими людьми, я почти что уверен.

* * *

Величина «Черного квадрата» измеряется лишь одной мерой – мерой израненности собственной кожи. Ум и сердце здесь не помощники.

* * *

Уровень культуры определяется не высотой суждений носителей культуры, а дистанцией меж взглядом из запыленного подвального окошка и тротуаром.

* * *

Ум-то не в громадной голове, не в большом сердце, а в крошечной поре истончившейся кожи.





* * *

Любовь – это подсказка истины.

* * *

Хаос въяве – поп на велосипеде.

* * *

Разделение религий – неистовый малыш в Мерседесе.

* * *

Амстердам – это не только город, но и фамилия человека. И непонятно, то ли дед его был географом, то ли бабушка глобалисткой была, то ли мальчик и вправду там родился. Бывает хуже – рождается человек в Глухово, а это все равно что потерять родителей.

* * *

Если общество выражается языком междометий, обрывками слов, жаргоном – это не значит, что оно испортилось, просто людям некогда говорить, ибо готовятся они к большим переменам.

* * *

Рассказы Зощенко – плохо замаскированные бездны трагедий.

* * *

В рассказах Зощенко очень много людей, но нет ни одного человека, ни одного... А это по-настоящему страшно. Читаешь – будто слушаешь чью-то бесконечную игру на безнадежно расстроенном пианино.

* * *

У Хэмингуэя: долгий подъем по утоптанной снежной дороге, желтые отметины коровьей мочи на дороге той. Казалось бы, эти желтые признаки жизни должны бы уменьшить чувство одиночества, ведь, если это коровий след, значит, рядом люди и одиночеству конец, но они наоборот усиливают ощущение одиночества и кажутся зримым воплощением самого одиночества, и одиночество то сплошняком, без просветов, желтое.

* * *

Европа – земля засеянная.

Азия – поле взросшее.

* * *

Слово – единственный свидетель, подтвердитель существования земли.

* * *

Россия – вечная борьба данного с привнесенным.





* * *

Спасение России – не создать, а услышать созданное.

* * *

«Черный квадрат»: и путь, и предупреждение, и конец пути.

* * *

Быть может, лет триста назад и бегали «мишки» Шишкина, но сейчас уцелевшие взирают на нас из железных клеток.

* * *

«Черный квадрат» – это портрет Ельцина и Дудаева – творца и жертвы терроризма. «Черный квадрат» – это место, где, когда то рос «Вишневый сад». «Черный квадрат» – это все. Все, что было и что будет.

* * *

Когда балкарцу сделают что-то хорошее, он собирает угощение для своего благодетеля и узелок тот называет – Нохтабау.

А переводится это двояко: Путь к Нюю и поднос для Ноя.

Сколько иронии и юмора в этом слове. И какова благодарность народная на добрый человеческий жест. Хороший человеческий поступок приравнивается к спасению от всемирного потопа.

И без этого слова было бы скучнее и скуднее в ковчеге Ноя. Да оно просто там необходимо. Добро породило жизнестрепляющую благодарность и все это спрессовалось в этом энергичном слове и открыло путь к спасению. Нохтабау – звучит как не подлежащая сомнению, очень значимая, нестираемая печать.

* * *

Стихи Пастернака – это не только отпечаток души и времени, но и гулкое хранилище рецензий, святилище, сооруженное из метафор.

«Февраль». Набрать чернил и плакать» – все о Чехове.

«Мы были музыкой во льду» – это о Мандельштаме, Ахматовой, Цветаевой, Кулиеве, Блоке, Есенине, обо всех тех, кто страдал тогда, когда мы пели истерические песни. Стихи Пастернака – это ода и реке-вием по ним, ушедшим, и тем, кто должен прийти.

* * *

Нет ничего завершенного, но Бог там, где не отличить движение от завершенности.

* * *

Ужас – это когда можно все объяснить или встретить человека, состоящего из одних достоинств.





* * *

Повелевать или повиноваться?

У повелевающего нет тропинки, даже ведущей к Пути.

Пред повинующимся открыты все дороги, сливающиеся в Путь.

* * *

Стихи Кайсына Кулиева по форме совсем не похожи на арабские сказки. А как схожа их суть.

Яркие переливающиеся краски сказок как бы ослепляют взор наш, уберегая от сглаза очень нежную, ранимую необходимость. Стихи Кайсына, приглушая внешние тона, громоздя каменья, маскируют бесценную суть, без которой человек – лишь оболочка.

* * *

Важна не смысловая нагрузка в тексте, а музыка самого слова, ибо музыка та и есть наивысший смысл.

* * *

Как легко мы расстаемся со значимым и из последних сил бьемся за никчемность.

* * *

Поэтов нет, и никогда не было. Есть писатели, и весь вопрос в расстоянии, в дистанции меж ними и поэзией.

* * *

В центре России шелестишь себе в березовом лесочке и чувствуешь, что ты есть. И речка тихая никуда не утечет – она останется здесь. И бабушке с козой деться некуда. Давнее и сегодняшнее соединено и устоялось.

Кавказ же – попытка оседлать скакуна, у которого иные, непонятные тебе задачи.

Громадины гор хрупки и все время вещают о разлуке. Реки: то ли их к морю несет, то ли в небо выстреливают? Отголоски великого переселения еще пузырятся в крови у живущих.

Человек – как продрогший кусочек мха, чудом прилепившийся к скользкому камню, и его вот-вот сметет серебряным фанатизмом потока, в ярости напоминающего о давнем-давнем, всеми забытом, до удивления необходимом, но помнимом лишь им самим. По равнинам несутся невидимые кони – несутся на встречу с тоскливой горечью горизонта. Закрою дверь своей фанерной дачи – и я в прошлом; открою – и весь в сиротской необжитости бурлящей.





Живешь – как в чужом саду, и не поймешь: то ли яблоки есть, то ли опасаться хозяина. Господи, где тот дом, стоящий в настоящем?

* * *

Предки кого-то догоняли, от кого-то убегали – целый день в гонках – поесть некогда было и ели уже при луне – за весь день. Ускакали кони, ушли те люди, забвение уравнило те победы и поражения, осталась лишь привычка – плотно поесть на ночь глядя – за весь день.

Никогда не седлал лошадей, – сижу себе на диване, а натруженная от поводьев рука на бедре – будто ледоруб во льду.

Жест, как последняя зацепка на окраинах памяти – исчезни он и заскользишь по беспмятству, как по льду – от равнодушного до бессмысленного. Этот простенький жест, возможно, определяет более крупные мои поступки, я ничего не знаю об этой механике, догадываюсь и просто повинуюсь.

* * *

Небольшие силенки порождают гонор, отсутствие таковых – бессилие. Нет только самого главного: стабильного, здорового смирения, а значит, нет у тебя свидетеля, нет судьи делам твоим и помыслам.

Живешь, не отличая взлетов своих и падений. А совесть? Но она приходит лишь в момент смирения.

Смирение – не крест, раскрашенный кровавыми губами.

Не кисти муэдзина в полутьме.

Смирение не хлеб вчерашний.

Не хлеб, о котором мечталось во сне.

Не взгляд мой осенний в продрогшем окне.

Не раскаленный посох, тлеющий в пыли.

Не ставни до земли.

Смирение – когда в глазах старушких синее целомудрие весны!

* * *

Вера – изначальное созвучье и ниспослание, то есть данность, а не благоприобретенье.

* * *

Павел не пришел к Богу, он к Нему вернулся.

* * *

Я жив потому, что не верю в события.

* * *

Детство – знакомое небо, жизнь – пересчет песчинок в горсти.





* * *

Детство – наивная в дрожкой просини мудрость.

* * *

Книги нужны человеку не как учителя, а как свидетели, подтвердители твоего.

* * *

Поэзия – смутные воспоминания о Боге.

* * *

Сильным не доверяют.

* * *

Жизнь – пребывание среди ненавистных аттракционов.

* * *

Моя 90-летняя мама приготовила хычины... я их съел, и только по прошествии многих лет... удивился.

* * *

Свет горит... и все хорошо, погасла маленькая лампочка... и вспомнил о маме.

* * *

Тщетность – Дон-Кихот, подающий грош «благополучию».

* * *

Душа – сущность нежная, может испортиться в одночасье.

* * *

Самое большое несчастье для человека – родиться свободным.

* * *

Остановились часы...

Как я их только не встряхивал – никакого результата. И только когда я в них вслушался, затаив дыхание, и стал мерно раскачивать под стук своего сердца... они пошли.

* * *

Во мне времена те, что были до меня, и те, которые будут после. Я могу проживать в любом из них, но мне никогда не выбрать время, в котором живу сейчас.

* * *

Бедные евреи, у них нет возможности остановиться.

* * *

Долгое описание – это удачная попытка из большого построить малое.





* * *

Долгое описание – это рассказ неведающего, обращенный к недоуменному.

* * *

Громоздкое произведение всегда заслоняют художественные «леса».

Все великие произведения написаны внешне плохо, но они завораживают будто чудо въяве. Слова в них не растягиваются в строку, а сматываются, сматываются в клубок, и ты уже не слышишь текста, а вслушиваешься в тайну, затаившуюся среди сплетения, в общем-то, обычных слов.

* * *

Помолюсь тополи, посоветуюсь с тополем и выйду с ним в день новый. И мне все дано, и все понятно. Уступлю ему дорогу или пройду с ним рядом, в такт мерно дышащей тверди земной. Мне всего-то надо – не обогнать, а иначе заблужусь. Постою с ним у дома русского, около мазанки украинской и балкарской, полувросшей в землю, прислонившейся к белой опоре скал, и я увижу истинное лицо славянской и кавказской национальности. Тополь мой – странник и домосед, скромное обличье вкуса, ибо вкус и есть всепонимающая, всех понимающая, обиженная нами скромность. Спозарань помолюсь тополи, в полдень схожу с ним в гости к соседям своим, и в ночи услышу усталое дыхание умиротворенного бытия. И спросите меня: «Ты в порядке?» - И я отвечу: «Я просто счастлив, я встретил тополь, дерево, так любящее людей и дороги, дерево - воплощенная надежда и зримый укор».

* * *

Рядом с домом моим: МВД, прокуратура, стоматология.

* * *

Удочери меня.

Твой возраст не позволяет.

Ну тогда уматери (телефонный диалог).

* * *

Автобиография россиян – живем хреново, но стабильно.

* * *

Библия – сбор и художественная обработка чужой выстраданности.

* * *

Один из героев, в общем хорошего автора, плюнул в камин... и





рухнули все художественные конструкции пишущего. Непонятно, как можно плюнуть в костер, или речку – это все равно, как справить нужду не выходя из дому, и не потому, что это невозможно, просто это краткое облегчение порождает смутный и долгий разлад с собой. Литература не вытекает из жизни – она создает жизнь иную, мало что общего имеющую с проживаемыми нами днями. Литература – это вкус яблока. Жизнь – поедание оного. Вещи очень и очень разные. Писатель – это милостыня, подавание народное, где каждый отщипнул от собственной души и духовности. Даже давным-давно ушедшие внесли лепту свою.

* * *

Об умершем: «Или хорошо, или ничего» – лишь пишущий ответственен даже в могиле.

* * *

Жизнь судорожный перебор шелухи... и маленькие шажки в сторону недосягаемую – к абсолютному вкусу.

* * *

Мужчина выбирает не женщину, а «победу» над своим видимым или потенциальным соперником.

* * *

Последним посланником Божьим, вероятно, будет пришествие Абсолютного Вкуса.

И не будет ни слова, ни проповеди. Его молчаливое присутствие и будет и пониманием и достаточностью для человека.

* * *

Борьба с терроризмом – как выкорчевка амброзии, чем глубже копаешь – тем шире оно распространяется.

* * *

Этикет – привилегия малочисленных народов.

* * *

Ум не спасает даже одного, этикет сохраняет многих.

* * *

Покой – уgomонить оболочку, натрудив суть.

* * *

Не имеющий клочка земли, посмотрел на небо... – и обрел земную долю свою.

* * *

Улыбка человека – самый важный экзамен перед Богом, успешно сданный.





* * *

Очередное открытие верно, но оно неприемлемо, как и все предыдущие.

* * *

Литература – вечные световые вешки – нравственные отметины мироздания.

* * *

Построишь дом – время унесет его с домочадцами твоими и именем твоим.

Посадишь дерево, и оно растает во времени.

Скажешь слово – останешься.

Все, что сооружено плотью – тленно.

Все, что натружено душой – вечно.

* * *

Память – не сбор событий – это их отторжение.

* * *

Слово – это то, чего не слышал.

Слово – это то, о чем не сказал.

* * *

Все чем был занят на этой земле – хоронил себя.

Видит Бог, все силы свои приложил, но у меня ничего не получилось.

Без воли Всеединого и себя не убьешь.

На излете лет, надо начинать все заново, отбросив при этом, тщетную попытку свою.

Начинать сызнова с надеждой, что долгие годы, мною не прожитые, будут короче недели, подаренной Богом мне на житье.

Подарит ли?

* * *

Сын Божий – это не раз и навсегда воплощенная сущность – это бесконечная безымянность – неотъемлемое право каждого обрести имя свое. У сына Божьего, нет и никогда не будет имени. Сын Божий – это стремление к имени. У нас, пока, нет имен – у нас лишь неудачные обозначения такового.

Неделимо дыхание Божье – Дух святой.

Как неделимо творение Его – Сын Божий.

* * *

Живем прошлым, с настоящим боремся. Но прошлое – это преодолённое сегодняшнее. Значит, мы вообще не живем.





* * *

Я 50 лет проворботал (из речи юбиляра).

* * *

Маленькие внешние «успехи» вырастают из больших внутренних катастроф.

* * *

Я только тем и занят, что роняю себя и пытаюсь поднять оброненное.

* * *

Наличие детей и имущества – кратчайший путь к преждевременной старости.

* * *

Власть – это постройка личного комфортабельного тупика.

* * *

Музыка и поэзия изначальны.

Мы двигаемся не под созданную нами музыку, это она управляет нашими действиями.

Художественное воплощение – это не столько создать, сколько услышать.

В прозе же мы сами творцы и интерпретаторы. Иногда в соавторстве с нами выступает бес, если ему интересна тема и выпала редкая свободная минутка.

* * *

Иисус – это запах твоей колыбели.

* * *

Иисус – это мы забывшие себя.

* * *

Иисус – это плач о первом встречном.

* * *

Форма прикрывает суть, преодоление видимого, то есть формы, и есть смысл.

* * *

У труса в доме живет любовник его жены.

* * *

Здоровье – не поддержанное духовностью – агрессия.

* * *

Желающий испытать сильную боль, пусть обратится к женщине.





* * *

Самая большая редкость – человек верующий.

* * *

Прежде чем занять врага, оцени стойкость жены своей.

* * *

Иванов», «Дядя Ваня», «Вишневый сад», «Чайка», «Три сестры» – если все это объединить в одно, то все, написанные и задуманные пьесы, потеряли бы свой смысл. Здесь все интеллигенты, несколько десятков гамлетов и дон-кихотов, купцы, мещане ... и все куда-то хотят уехать, хотят, но не уезжают.

Люди Чехова собираются в Москву, Москва – как желание и подсознательный вопрос... и жесткий ответ – бегство из Москвы: «Карету мне, карету». Круг замкнулся – Москвы то нет.

Уйти у Толстого, уйти у Карениной, уйти у Печорина, уйти – едва ли не главная идея русской литературы.

* * *

В эпизодах все мы похожи на Христа. Христос – это взгляд родного и совсем незнакомого человека – взгляд из юности.

* * *

Самая большая боль – равнодушие Божье и удар ближнего. Удар ближнего – есть желание и воплощенная невозможность ударить себя... и долгое отсутствие Христа.

* * *

Осень – зримый приход неизбежья.

* * *

Когда мне плохо, когда голова отказывается разбирать несусразицу – я ищу окровавленного Христа.

* * *

Виновность – маленькая, как дремлющий атом и бесконечная, как разрушенный сон младенца.

* * *

К Христу только одна дорога, та, по которой он сам шел.

* * *

Страдание – это прояснение, понимание.

* * *

Боль – это недовольство собой, осознание собственной несостоятельности.





* * *

На этом свете есть все – нет только виноватых.

* * *

Вся вина земная умещается в одном человеке.

* * *

Не впасть в сферу сильных – кнут и пряник; не упасть в толчею слабых, во сне мечтающих о кнуте и прянике. Верить в чудо. Поиск эфемерной середины – и есть чудо.

* * *

В час первой молитвы, впопыхах, ты обязательно проснешься, если не с любовью к Богу, то с думой о неверной жене.

* * *

Тридцать три серебреника – самый дешевый референдум.

* * *

В каждой радости – благодать Твоя.

В каждой боли – гвозди наши.

* * *

Недолг путь любви и власти – от горла до ребер – наполняется в гортани и утекает костной болью.

* * *

Все было бы, если бы была возможность быть.

* * *

Господи, прости, что меня не было тогда, потому, как и сейчас-то нет меня. Я очень плохой сон, въяве хочется заснуть, во сне быстрее проснуться и день как невозможный отлет журавлей.

* * *

Не дай Бог жить в эпоху забвения литературы.

* * *

Расщепление атома – вырвать кусок хлеба у собственного ребенка.

* * *

Животные знают все иностранные языки.

* * *

Самое страшное мною виденное – Божий подарок, не оправданный тобой.





* * *

Ничего Боже евреям не доказал – не рассеял он их, они, как Божье подобие ушли в себя, и единственные прожившие не вовне, а внутри себя.

* * *

Хорошо... будто после долгой пьянки встретил родник.

* * *

Эльбрус Казбекович.

* * *

Петух по-чукотски переводится, как мужчина русских кур, соответственно, наверное, курица – женщина русского петуха.

* * *

Загадка: «Их знаю все, их не знает никто».

Отгадка: вахабиты.

* * *

Совесь – есть воспоминание о себе истинном когда-то.

* * *

«Для того чтобы с двух метров попасть в ворота, не надо быть мастером – нужно быть порядочным человеком» (высказывание спортивного деятеля).

* * *

Больничный диалог:

Врач: «Я вас выведу на чистую воду» (в смысле, вылечу).

Больной в испуге: «За что?»

* * *

В больнице люди становятся лучше.

* * *

Шедевр – это краткость звука и бесконечье отзвука.

* * *

Интернационализм возвеличил Америку и погубил Россию.

Что для американца здорово, то для русского смерть.

* * *

Кайсын по-русски звучит глаже, по-балкарски – глубже.

* * *

Еще вчера, кто-то, взглядевшись в тебя, мог участливо сказать: «Плохо выглядишь, заболел что ли?»





Сегодня так много болезненных лиц и никто понять не может, что это – недуг или естественное состояние?

* * *

Если ты плохо побрит – значить собрался сдаться, если зарос щетиной – это уже свершилось.

* * *

Все знают, как работать, как отдыхать – не знает никто.

* * *

Мужчины стали более жестокими и более беспомощными – одно связано с другим.

* * *

Родственник, как ветер – слышать слышишь, а видеть не видишь.

* * *

Если я порядочный человек, то откуда у меня столько болезней?

* * *

Если можно пересказать написанное – это журналистика.
Если суть на вмещается в пересказ – это литература.

* * *

Родители хотят, но не умеют, дети умеют, но ленятся.
Виноваты дети. Виноват тот, кто живет сегодня.

* * *

Художник имеет дело с толпой, народ появляется после его ухода.
Даже Христу не удалось опровергнуть эту аксиому.

* * *

Развитие – это когда ты в чреве, все что потом – деградация.

* * *

Я люблю скромных и стеснительных. К остальным я с недоумением присматриваюсь.

* * *

Догоняющий кого-то, все дальше и дальше от себя... Гонка вспять.

* * *

Красота требует тяжелого труда, разруха – легких физических упражнений.

* * *

Красота – это стыд за себя, а пребывать в вечном стыде невозможно, вот и закрываем глаза на нее.





* * *

Стержень человеческий – ощущение красоты, или воспоминание о ней.

* * *

А огонь-то был выкраден, не выстрадан. И огонь тот спалил огромный кусок эволюции. Нью-Йорк в огне. Москва, Токио – огня много, а света все меньше и меньше. Раньше на ишаке через горные перевалы добирались до самого дальнего родственника, сейчас и на самолете не долетишь до ближайшего соседа.

* * *

Сначала не интересны события, потом человек с делами своими, потом человек с душой своей... Остается, что Бог на душу положит, остается не так уж мало, остается только ждать... и Бог вернет трепет к душе иной.

* * *

Смотришь, человек и умный и образованный, а не ушиблен жизнью – и все насмарку, все пресно, все бессольно. Хоть одень его, хоть раздень, хоть орденами обвешай – все едино.

* * *

Тоталитаризм – государство монополизировало рабство.
Демократия – приватизированное меньшинством рабство.

* * *

Сознание наиболее ярко проявляется в детстве, когда разума и в помине нет. Сознание не просыпается, оно ниспосылается свыше. Сознание – сопричастность к знанию. На стыке человеческой сути и знания рождается разум. Разум – частичка, составляющая сознания.

* * *

Консерватизм – сердцевина опыта, либерализм – облако вокруг сердцевины, которое всегда рассеивается. Консерватизм и есть круги своя.

* * *

Человек сделал себе крылья для полета. Иван Грозный казнил его, сказав:

«Человек не может летать». Я бы сказал: «Не надо бы ему летать». Полеты эти не приближают небо, а отдаляют его.

* * *

Сотканная из бесконечья неведомого, зыбкого, гармония – самое устойчивое из всех состояний.





* * *

Гомер так раскалил на земле слова, что богам на небесах жарко стало.

* * *

Ни небо, ни земля... Не из ребра Адама... Из тысяч ребер радуг... собрана.

* * *

Они будут «мочить» их, а те нас.

* * *

Как длинен путь до ближайшей банальности: «Нет Бога в человеке... и нет человека».

* * *

Хорошая фраза – это жизнь прожить или распрощаться с нею.

* * *

Самое ценное на свете – женский интеллект.

* * *

Чеченцы, заплатив за проезд, благодарили водителя маршрутки и чувствовалось, они очень соскучились по этим словам. Им так долго хотелось сказать кому-нибудь: «Спасибо», а тут представилась такая возможность.

* * *

Я счастливый человек – ко мне Бог терпелив и люди снисходительны.

* * *

Скоропостижная демократия – из тотального единообразия вырвалось чесоточное разнообразие и тут же скомкалось в одинаковость.

* * *

У незнакомого я бы спросил: «Любите ли вы кошек, нравятся ли вам пьесы Чехова?»

* * *

Москва, Мясницкая, 47, Комитет по правам человека. Я переписываю это, как цитату из Библии, Корана, Талмуда, и даже эти книги меркнут перед словами «Комитет по Правам Человека»

* * *

Критика – освоение художественных высот и пустот не обжитых автором.

* * *

Умеющий писать не станет писателем, у не умеющего есть шанс.





* * *

Балкарская проза разделена надвое: одни чудовищно плодовиты, знают язык, многое пережили, но им нечего сказать; другим есть что сказать, но они ленивы и не знают языка.

* * *

Державин и Пушкин – всплеск и взлет русского оптимизма. Они не антагонисты, они единомышленники. Пришел Гоголь и накрыл «Шинелью» своей всю русскую литературу. Пришел Лермонтов, тьму покрыв мраком небесным. После них стало дурным тоном чем-либо восторгаться. Под Гоголевской «Шинелью» благополучно существовало великое российское уныние. Отстраивались «Деревни» Григоровича, Бунина, некрасовские: Неелово, Горелово, Неурожайко. И завершилось строительство вселенской безысходностью Достоевского.

Да, была лирика Тургенева, Бунина, Пришвина, Паустовского, Айтматова, но и на ней лежала тень от Гоголевской «Шинели». И только Грин и Гайдар попытались выбраться из этой тени, и, как ни странно, это им удалось.

* * *

Мне не важно, чего я достиг, мне важно, что от меня осталось.

* * *

Если пошлость раздражает – это молодость, если она смешит – это старость.

* * *

Я знаю разницу меж пьянкой и застольем. Если десяток самых умных мужчин сидят за столом, это сидение все равно перерастает в пьянку. Если среди них есть хоть одна... ну не самая симпатичная из женщин – это застолье.

* * *

Виноват – кто сильнее, прав – кто жалостливей.

* * *

У бедного и туалет не пахнет.

* * *

Все по снегу за дровами, я с лопатой в огород.

* * *

У сытого хлеб подгорает.

* * *

Объявление по нальчикскому автовокзалу: (диктор с милицей-





ским акцентом): «Граждане пассажиры, нашедшие оставленные без присмотра сумки, чемоданы, а также подозрительных людей, обращаться в администрацию или в милицию».

* * *

Кровопотливая работа.

* * *

Запад – Золушка, мечтающая стать принцессой.
Восток – принцесса стремящаяся стать Золушкой.

* * *

Власть – сиюминутные похороны завтрашних лет своих.

* * *

Совесь – воспоминание о первосути своей.

* * *

Стою в коридоре университета и улавливаю обрывки слов из научного коммунизма, истории партии, на ум приходит Коперник и я с тоской думаю о «мраке» средневековья « темных » его университетах.

* * *

Краткость – минимум слов, максимум пространства.

* * *

Провинциализм – сужение пространства и души.

* * *

Цель победы – очевидцы триумфа, но если всех победить, то не останется свидетелей победы.

* * *

Читая Назыма Хикмета:
Если он не улыбнется...
Если ты не улыбнешься...
Если я не улыбнусь,
Как узнаем, что живем?

* * *

Удел бесов – ломать стебли, над корнями они не властны.

* * *

У убегающего – свет впереди, у догоняющего – тень от впереди бегущего.

* * *

Марика два милиционера выводят из здания суда.





Мы с приятелем идем им навстречу.

- Марик, что случилось?

- Да вот завтра свадьба моя, а сегодня дали 15 суток.

- Ничего (бодро сказал приятель), что советский суд, что еврейская свадьба – присутствие не обязательно.

* * *

На балкарском базаре тьма продавцов, горы шерстяных изделий и редкие покупатели. Продавцы с тоской глядят на покупателей, им очень хочется поменяться местами. Две старушки, Бог весть в какую спозарань вставшие, не одну корову подоившие, не одного ребенка снарядившие в школу, с высочайших высот выброшенные на равнину, стоявшие и стоявшие, потерявшие всякую надежду что-либо продать... Одной лет шестьдесят, другой поболее. Старшая плачет, и слезы ее белеют среди азиатских веснушек и красно-фиолетовых прожилок, надутых горным ветром.

- Что ты плачешь? - спросила та, что моложе.

- Соскучилась по своей матери, с трудом выдохнула старуха.

* * *

Литература – это сопротивление внешнему.

* * *

Литература – это поддержка себя, то есть любого одинокого человека.

* * *

Если ты хочешь уйти, но у тебя не получается, живи, пока не найдешь слово могущее улучшить хоть на миг день человеческий. Отпусти то слово в мир, поищи в сарае пару досок, а если у тебя нет сарая и запылившихся досок в нем, отдери их от отчего порога (все равно эти слова ничего не значат), там же найдутся и гвозди, сколоти крест и жди, за тобою придут и помогут уйти.

* * *

На барахолке: пожившая, но еще жизнепышущая женщина в пальто и кроссовках, на голове подростковая замшевая кепочка, держа в руке ложку, говорит покупательнице: «мельхиор – брат серебра, ну как адыги с кабардинцами».

* * *

Почему я пишу? Для того, чтобы поддержать себя. У Толстого спросили: «Писали бы вы на необитаемом острове?»





«Не знаю, - ответил он. - На необитаемом острове я писал бы больше и лучше, и там у меня мог появиться шанс стать писателем».

* * *

Почему стараюсь писать только о хорошем? Даже если у меня есть что-то малое хорошее, а на ту малость десятков нехорошестей – это малое, светясь, шагает впереди, а нехорошести, чернея, плетутся сзади.

* * *

Боролись с джазом – победил джаз, с буржуазным влиянием – оказались в самой гуще капитала.

Борются с наркоманией, и чем яростней борьба, тем больше наркоманов. И только борьба за урожай приносила победы – урожай уменьшался.

* * *

Умиление кем-то или чем-то есть подпитка и воистину сама жизнь.

* * *

«У Лукоморья дуб зеленый,
Златая цепь на дубе том,
И днем и ночью кот ученый,
Все ходит по цепи кругом».

Школьный учитель-чукча так перевел эти стихи:

«У берега, очертания которого похожи на изгиб лука, стоит зеленое дерево, из которого делают копылья для нарт. На том дереве висит цепь из денежного металла, из того самого, из чего два зуба нашего директора. И днем и ночью вокруг этого дерева ходит животное, очень ловкое. Это животное ученое и говорящее...»

Такой мощный сплав реального и сказочного, и я затрудняюсь сказать, что лучше – оригинал или перевод?

* * *

Любовь – это избавление.

* * *

Суть балкарского – незыблемый провидческий консерватизм.

* * *

Туман – светлое безвременье на земле. Это уход из прошлого, приподнятость над сегодняшним, и предчувствие будущего.

* * *

Страна разделилась надвое: одни собираются срочно сесть, другие давным-давно готовы их встретить.





* * *

Приказывать или подчиняться? Или жить в поисках нереального – пытаться найти середину?

* * *

В России наступит демократия, когда отпадет необходимость в радиоприемниках.

* * *

Жить плохо я уже научился, а если вдруг грянет незнакомая жизнь хорошая – она меня просто раздавит.

* * *

Когда я вру – я мертв, ибо это не я и жизнь мою проживает кто-то другой.

* * *

Родился да еще выжил – чудо. Улыбнулся, засмеялся – герой.
И нет под землей столько золота, чтобы отлить каждому хоть по ордену.

* * *

Отрекись – и приобретешь, приобрета, потеряешь все.

* * *

Справедливость – то есть равновесие.

* * *

Главное – вера в себя. Веришь себе – веришь Богу. Вера в себя и есть вера в Бога. Поддержать себя – вспомнить о Боге.

* * *

Своя жизнь любопытна, другие жизни трепетны, как собственное рождение.

* * *

У меня было несколько желаний в этой жизни: чтобы мои родители при мне не ругались, не резали собственноручно животных, не развелись в 15-16 лет моих. Все почти сбылось. И хочется уйти из этой жизни более-менее достойно. Осталось-то всего ничего.

* * *

Главное не плодить рабов и самому не оказаться в рабстве, не участвовать – это и есть середина.

* * *

Рост прекращается с забвения детства.





* * *

Если бы не деньги – человечество давно бы вымерло

* * *

Когда просыпается разум – исчезает истина.

* * *

Интеллигент – это отторжение того, что есть, во имя того, как должно быть.

То, что вижу – не хочу, что – хочу – того не вижу.

Проще говоря – отторжение видимого, во имя сущего.

* * *

Все наши беды в том, что словесный ряд мы заполняем не смыслом, а звуком. Не слышим, о чем говорим, оттого и не ведаем, что творим. Это как песни дельфина, обращенные к океану.

Ученый-филолог спросил у меня: «И каково резюме ваших произведений?»

И в его словах я увидел не только его беду, но и беду нашу общую. Ну нет у литературы никакого резюме, что ты тут поделаешь – или резюме, или литература. Даже смерть не приемлет этого слова, что уж говорить о литературе и жизни самой. На свете всего-то только два слова: удивление и тайна – все остальное производное от них.

* * *

Молитва – это не то, как ты сидишь на ковре, а то, как ты идешь по дороге.

* * *

Если с людьми не получилось – любишь животных. Если не сложилось с животными – любишь природу. Если отторгла природа – собираешь марки, с любовью – ну никак не разминуться.

* * *

Вера – когда в глазах торжество бытия над бытом.

* * *

Вера – удел молодых, молитва – повинность старых. И годы здесь совсем не при чем.

* * *

Только молодой верит в жизнь вечную. Старый же вымаливает возможную жизнь грядущую.

* * *

Вера – это деликатность. А она присуща только интеллигенту. И не





важно кто: крестьянин, рабочий, служащий – если ты интеллигент – значит верующий.

* * *

У верующего жизнь произрастает из души, у неверующего – из разума.

* * *

Вера – когда от тела твоего в стужу земную, жизни безысходии, стало теплее, а главное, яснее другому.

* * *

Душа вмещает все варианты. Разум же просчитывает малую толику их.

* * *

Я думал, что собираю грибы в лесу, купаюсь в речке – казалось, я отдыхаю, отрешась от всех и всего – оказалось, что я писал рассказ.

* * *

Вера – это не ум в голове, а пупырышки по коже.

* * *

Неприятен не делающий добра, но трижды неприятен помнящий добро свое.

* * *

Время – это череда нелепостей, в сумме своей дающая закономерность.

* * *

Деньги – фактор, сдерживающий мощнее атомной бомбы. Кто кого козырней? Пока мы это выясняем – мы живем. Деньги – дающие возможность всем подольше прожить. Убери деньги, и все хлынут на всех и на каждого.

* * *

Не все ж как у людей, что-то должно быть по-человечески.

* * *

Личностная тепlinka – как отпечатки пальцев: Маргарита Володина, Анни Жирандо, Светлана Сорокина.

* * *

В Чечне родился гений, ибо в таких муках они и рождаются. Он уцелел после пьяных зачисток, он готовится прославить Россию.

* * *

И только, и только жалеющий спасется.





* * *

Жалость вмещает в себя и молитву Божью, и жизнь земную.

* * *

Герой – это тот, кто умиляется нелюбимым соседям.

* * *

Нарцисс – это не любование собой, это вслушивание в миг и бесконечье времени.

* * *

Жизнь: незаметно от Бога собирал я соломку и стелил под себя.

* * *

Беса надо гнать от колыбели, и лучшее кадило – Пушкин.

* * *

Как много было птиц... Как много рыб плескалось... Как много было лет... Лишь дни остались...

* * *

Сознание собственной исключительности – тяжелое бремя.

* * *

Осознание собственной исключительности – стержень всего художественного и научного.

* * *

Когда дремлет внутреннее, беснуется внешнее.

* * *

Покой и есть душевное напряжение, единственно реальное, перемалывающее внешнюю ирреальность.

* * *

Покой и есть черпать воду из прохудившейся лодки.

* * *

Покой – это когда ты еще не успел забыть себя.

* * *

Память – это наши верные поступки, событие – это наши неверные шаги.

* * *

Память – это маяк, который мы тщетно пытаемся прикрыть завесой события.

* * *

Память и есть совесть.





* * *

Красота – самый большой раздражитель для человека, ему бы потянуться к ней, нет, легче нагнуться за камнем, несмотря на боль в пояснице.

* * *

Почему красота спасет? За счет нее и живем. Кто ж не восхищается совершенством кошки? Кто ж не гладил закипающий от непонятных будней лоб дворняги? Кто в зной не обретал дыхание под тенью первого встречного дерева? «Красота спасет мир». Она и сейчас спасает, и живем-то мы за ее счет.

* * *

Красота – это то, чему мы всегда изменяем.

* * *

Боязнь красоты...

* * *

При красоте всегда стыд, который и пытается удержать тебя неудержимого.

* * *

Стыд – это реакция красоты на тебя.

* * *

Раньше ярлык княжеств стоил. Сейчас прилип к пачке соли... Века и века, и сколько крови... и бумажки клочок на ящике воблы. Грустно как под долгим ливнем. Тяжко под временем переходя. А время, оно не идет, оно переходит, безучастно переступая через тебя.

* * *

Ты не умнее и никого не лучше, ты исключительнее.

* * *

Горе не знающему дороги, но трижды горе знающему и не идущему по Пути, ибо он ответственен и за себя и за заплутавших среди уймы тропинок.

* * *

Близорукие деревья устали вглядываться в небо.

* * *

Американские инвестиции в Китай – это передел российских земель.

* * *

Чечня – российские конвульсии.





* * *

Наступает момент, когда сущность нации растворяется в ее количестве. Количество разжижает, почти уничтожает суть. Количество – национальное беспамятство.

* * *

Мой дедушка Узеир говорил: «Спасение – на вершине самой высокой горы. Взошел один – остался прежним. Втащил чью-то полуживую душу – спасся».

* * *

Мой отец Магомет говорил: «Если бы я каждый день ел арбузы, то я никогда бы не умер». Какая же большая поэзия (по сути своей) за-таилась в этих простеньких словах.

* * *

Моя мама Балкъыз, ей тьфу... тьфу... 91-й год пошел, говорит: «Пиши так, чтобы слово твое стоило хотя бы тени загубленного на бумагу дерева».

* * *

Моя сестра Мадина ничего не говорит, она «занята» культурой. Культура – ее профессия. А еще она живет с моей мамой.

* * *

Куда-то подевались светлячки... Не разглядеть и не узнать себя...

* * *

Чудак – в глазах Божьих – человек нормальный. В глазах человеческих – недоразумение.

* * *

Господи, какую стерильную убогость представляли бы мы не имеющие недостатков.

* * *

Глупость почти всегда пребывает неподалеку от героизма.

* * *

Скромность – и признак, и суть, и спасенье.

* * *

Терроризм – это когда трое бьют одного, а когда сотня бьет одного – терроризм государственный.

* * *

Терроризм – умственная, моральная, духовная импотенция власти.





* * *

Терроризм – я умру от избытка черной икры в организме, а ты умри от недостатка таковой.

* * *

Мой рыжий кот спал, растянувшись на кровати во всю длину. Он очень устал, нелегко родить льва, тигра и пантеру. Он отец семейства кошачьих. Маленькая мышка пила из его блюдечка молоко, попьет, умоется и опять попьет. Кот очень устал... Тяжело быть отцом, а отцом тигра, льва, пантеры – тем более.

* * *

Бог – дистанция, энергия, добро.

Солнце – дистанция, энергия, добро.

Человек – дистанция, энергия, добро.

* * *

О душе бы подумать... да времени не осталось.

* * *

Осень. Солнце. Черные машины – одна за одной. Боковые улицы перекрыты. Застыли пузатые гаишники – похудели враз и никак не могут отодрать рук от головы. Едет Глава государства. И пахло холодом от власти будто на дальних подступах к плахе.

* * *

Каждый несет по силам его, и чем тяжелее ноша, тем богоизбранней человек.

* * *

Сила беса в его невидимости. Он везде: в воздухе, в воде, в земле, он внедряется в музыку, плещется в полотне живописца, и только в слове он виден. Он пытается проникнуть в слово, но его видимость делает эту попытку бесполезной.

* * *

Вера – ребенок, замороженный утренней ранью. Это – пик веры, ощущение Бога.

* * *

Жалость к другим укорачивает собственный отрезок тьмы. Жалость к другим – приближение к свету собственному, ибо жалость и есть предтеча света.

* * *

Урок чистописания, скрип перьев. Тишина. Учительница у осеннего окна. Святая. Дева Мария в первые мгновения без Хри-





ста. Утомленные от долгого ожидания людей дома. Простуженные деревья, покашливая, бредут вместе с грустной дорогой, бредут в поисках зимы. Первый день. Первый урок. На впервые увиденной мною Родине.

* * *

Христианству не всегда по пути с Христом. Христос – простой и необъятный путь, бессчетье дорог. Христианство – заасфальтированная, закрестованная по бокам дорога.

* * *

Моисей шел позади народа. Он заслонял собой дорогу назад, дабы, оглянувшийся не увидел Египта, не соблазнился бы сладким рабством и не ужаснулся бы бесконечью пути к свободе. А впереди шел самый старый еврей. Он еле-еле передвигал ноги, с трудом разлеплял иссиня-фиолетовые веки, изредка поглядывая на оранжевое бесконечье песков бездонной, болотной поволокой глаз своих. Шел старец, сдерживая спешащих, он знал, что до свободы не добежишь, к ней надо идти медленно и долго, очень долго.

* * *

Евреи, на веки вечные простывшие среди ночных морозов пустынь Египетских, и по сей день, даже в августе, шмыгают носами.

* * *

Боролись с терроризмом Пушкин и Моцарт. Боролись авторы великих книг «Букваря» и «Родной речи». Боролись и победили. Они буквально трудами своими сдерживали приход терроризма, ибо возможные террористы слушали их, не дышали... и веровали, и убивать у них не было времени, и во времени места для убиения безвинного, и незнакомого не оставалось, ибо место-то густо заселено было творцами.

* * *

Поэзия – попытка преодоления земного притяжения.

* * *

Поэзия – выпрыгнуть из обыденного. Выпрыгнул Пушкин из Михайловского. Кайсын из сакли чегемской. Есенин освободился от земного притяжения, не покидая Константиново. «Будто я весенней гулкой ранью проскакал на розовом коне».

* * *

Горький с болью шутил: «Хочешь быть свободным – стань полицейским. Хочешь быть абсолютно свободным – стань тайным агентом».





Количество «свободных» и «абсолютно свободных» в дни наши явно возросло. Свободы нет, а людьми «свободными» мир переполнен.

* * *

В «верху» говорят на двух словах: замочить и замочить в сортире. «Внизу» обходятся тремя: приколоться, оттянуться, отпасть. Никогда еще за всю историю, «верхи» и «низы» не достигали такого созвучия, такой гармонии, когда не отличишь, где «верхи», а где «низы». Вряд ли какое время, и какое место породит такую вакханалию братания «верхов» и «низов», хотя неисповедимы тупики подземные.

* * *

Жизнь убыстрилась – водку пьем на ходу.

* * *

Терроризм не может быть уничтожен, он может быть только заморожен, заморожен справедливостью.

* * *

Только победивший несправедливость победит терроризм.

* * *

Бабе Наде за восемьдесят. Родных нет и близким взяться неоткуда – лишь рюмка водки на праздник, да стопка в будни – вот и все близкие. Когда-то, давным-давно, она работала сторожем и была у нее черная шинель с зелеными шпалами на воротнике, и было ружье со штыком. Сейчас она около домика своего полет траву и с нею общается: «Я полю тебя полю, а ты растешь и растешь».

* * *

«Твой тонкий шрам на круглой попе, оставил рану в моей душе» (современная песня)...

* * *

Сам себе заслоняю мир.

* * *

Своя жизнь любопытна, другие жизни трепетны, таинственны, как собственное рождение.

«Нет большего краха, чем успех», – сказал какой-то умный англичанин.

* * *

Кавказ – это воспоминание, даже если ты тут не родился и впервые его видишь.





* * *

«Почем нарцызы? – спрашивали бабы покупающие. «Нарцызы – по рублю штука» - отвечали продающие. Нарцисс так же отличается от нарцыза, как женщина от бабы.

* * *

Пророки своими смуглыми руками, передали Свет небесный Свету земному (кстати, о «белых»...).

* * *

Память не собирает события, она их проверяет.

* * *

В России никогда не отменялось крепостное право, как и во всем остальном мире, ибо это невозможно. Крепостное право видоизменилось, меняло хозяев, и лишь холопство осталось неизменным. Холопство – есть и цель, и суть крепостного права. Как его ни называй: капитализм, социализм.

* * *

Евреи – народ, лишенный детства.

* * *

Счастье – это когда не ведаешь, что творишь. Убийство и насилие не входят в это понятие.

* * *

Горький, сидя в Тифлисской тюрьме, сказал надзирателю:

- А мы ж то молимся Богу еврейскому.
- Как еврейскому? – подпрыгнул дородный человек.
- Кто был отец Христа? – спросил Горький.
- Еврей, – ответил серьезный человек.
- А кем была мать его, Мария?
- Еврейкой, – ответил надзиратель.
- А сам тогда кто он?
- Сие для меня тайна, – вздохнул охранник.

* * *

Есть притча: был потоп, тонул человек. И послал ему Бог лодку, человек сказал: «Я верю Богу и лодка мне не нужна». Тогда Бог прислал ему вертолет и человек с верой в Бога отверг и это. Когда встретились на том свете, человек, обливаясь слезами, сказал: «Что ж ты, Боже, я так тебе верил». Бог недоуменно развел руками: «Когда ты тонул, я





послал тебе лодку, ты отверг ее, тогда я прилетел на вертолете, что ж я еще мог сделать для тебя?»

Тот человек хоть тонул, ему простительно. А здесь Боже с утра раннего дает свет в дом твой, в твою постель. С трудом разлепляет синие веки твои, остужает дыханьем своим красные желтки глаз, где когда-то в голубизне плескались белки. И ты видишь в истрескавшемся окне красные лохмотья красоты и отталкиваешь великовозрастными пятками все и вся. И Боже смиренно уходит и, затаив дыхание, терпеливо ждет следующее утро, чтобы вновь вернуться к тебе...

* * *

Бог – это бесконечье терпения и терпимости.

* * *

Христос на белом коне – такая нелепость. Ослик – родство души, выражение глаз.

* * *

История великих литератур – это жизнеописание чудаков. Истории больших чудаков – суть великих литератур.

* * *

Тяжко прожитая жизнь – иной доли у чудака нет.

* * *

Чудак – легкость звука и тяжесть сути.

* * *

Невозможно вечно пребывать в «высоте», даже звезды падают...

Власть – безуспешная попытка отвергнуть закон Ньютона «высота» взлета – равна глубине падения. Не больше, но и не меньше, с точностью до миллиметра, тому гарантия – хруст костей ближних.

* * *

Бежало время, не поспевая за людьми. Жизнь в безвременьи. Время приходит, когда уходим мы.

* * *

Старость – читаю поздней осенью Достоевского. Время – по первому снегу ищу следы давнем-давно, вчера ушедшего отца моего. Ищу, пытаюсь выбраться из холода своей, и кипения чужой плоти.

* * *

Снегурочка – сама нежность, нежная по форме и крепкая по сути своей.





* * *

Когда грузинские князья тонули в вине, а грузинские революционеры раздирали страну на части, Пиросмани пил вино и пытался склеить Грузию, рисуя вывески на кабаках. И ему удалось сохранить страну. Когда балкарские лидеры пожирали друг друга, без всякого вина и водки, Кязим в кузне своей выковывал образ балкарской сущности, и ему это удалось.

Один любил пирушки и женщин, другой работал и молился. Они шли разными дорогами – по пути единому. Такие непохожие, такие неразлучные близнецы, никогда друг друга не видевшие. Толстой и Кязим... Один выстрадывал, выстраивал себя, и выстроил таки. Кязим таким родился. Какие разные, а как похожи. Хоть и говорят: «В России – главное родиться», но надо в ней ухитриться вывернуться наизнанку, а выжить. С прекрасными задатками рождаются многие, потом по жизни собирают себя по частям, и редко кому это удается. А он бесстрашно прожил на такой высоте, а иди, упавши с такого верха – ничего бы не осталось, ничего. Потому-то и желающих пожить на такой высоте и маловато. Вскрабкаться туда и не упасть – мало, кому удавалось, а рожденных там и проживших – единицы. Кязим пока не стал героем большой литературы – равным прожитой жизни. Но есть память, а будет память – и придет человек, могущий показать нам эту великую простоту. Мы выстрадали такого гения.

Кязим: человек, интеллигент, рабочий, крестьянин, поэт, философ, теолог, воистину верующий, и все ипостаси равны. Такое вообще не встречаемо и даже неслыханно, и звучит как сказка. А он жил, и был, и это чистейшая, правда. Сравнить его с кем-то – невозможно. С чем-то – есть шанс. С травой, с горами – где родился, со степью – куда ушел. Со всем естественным приходящим, уходящим и возвращающимся. С подорожником, пробившим твердь дорожную. По дороге той, если посчастливится и до зубного скрежета поработается, собирая себя – возможно, и нам удастся прийти. Такая простая, такая сложная, такая тяжкая, до слез умильных желанная, чужая, собственная жизнь, тобой не прожитая. Как тяжело... Как сложно... Как легко...

* * *

Сердцевина одиночества – вина. Вина и есть одиночество.

* * *

Невозможно зарубить старушку, ибо топор – это событие, а старушка – память. Событие – явление приходящее. Память – категория





вечная. Топор – забудется, а старушка вернется, возродившись в памяти. Старушка – не жертва быта, она – опора творчества.

* * *

Суть творчества – совпадение боли твоей и очень, очень дальнего от тебя.

* * *

Я ж был когда-то, Боже Правый, верни мне память.

* * *

Иисус – плач о первом встречном.

* * *

Измена телесная – радость костей. Измена душевная – спуск с собственной высоты, до самых низин самоощутимости.

* * *

Гармония – встреча похмелья с жизнью.

* * *

В России после февраля наступает октябрь. У нас свой календарь. Умом понять нельзя, но в это надо верить. Мы говорим февраль, подразумеваем октябрь – разгуляй. У нас праздников больше, чем у остальных вместе взятых. Построишь дом – взорвут. Посадишь дерево – и косточек яблоневых не оставят. Родишь сына – пошлют в Чечню. На каждую бабашку с семечками – по три мента. Хотел сказать откормленных, да это и так понятно. Нигде так не голосят березы... они насмотрелись... они пострадались... им тяжелее всего... они нежные...

* * *

Есть две данности: хлеб и насилие, насилие – как хлеб насущный.

* * *

Такая сладкая луна... и боль, что в туче спряталась любовь.

* * *

Сильнее дружбы, трепетней любви – неразлучная пара – насилие и слабость.

* * *

Добрые люди рубили деревья, а на другом конце земли началась война. Стон дерев – ружейным эхом отзывался.

* * *

Лучший стимул для творчества – вид сытого существа.





* * *

«Все возвращается на круги своя» – и круги те – одиночество.

* * *

Если вовремя не купил женщине шляпку – значит, не долепил, не заполнил скачущую пустоту и из бездны той вырывается измена – поиск недостающего.

* * *

Совесьть – вчерашняя ошибка, переросшая в боль сегодняшнюю, и с грустью поджидающая день завтрашний.

* * *

Совесьть – точное мерило пути и времени.

* * *

Совесьть – стержень, без которого человеку кажется, что он человек.

* * *

Совесьть – свидетельство Божье. Божий кивок.

* * *

Совесьть – праведная боль.

* * *

Совесьть – самая короткая дистанция меж Богом и тобой.

* * *

Измена – это переход в иной духовный уровень.

* * *

Самый безрассудный человек – человек женатый.

Самый глупый человек – человек женатый.

Самый счастливый человек – человек женатый.

* * *

Измена – попытка забвения недостающей или истощенной духовности.

* * *

Джаз – разрушение привычного, звуки и отзвуки завтрашней разрухи.

Джаз – дробление сложившегося уклада.

* * *

Я не жажду любви, я страшусь измены.

* * *

Осень – как зримое забвенье.





* * *

Весна ... А может быть июль, уж больно жарко. В недоуменья синь она ушла. Как будто жизнь не прожили. Как не была. Как быстро жизнь поделена – неразумием. Как быстро жизнь поглощена – недоуменьем. Река перед выбором: толь в гору ей, толь сразу к морю. И безразличная жара, с охапкой трав прохладных, у памяти моей колючей прилегла. В тени полуживых дерев, у черного костра, упряталась всезнающая осень, вот через миг она закрасит в желтый цвет забвения года, мои ушедшие года. Она ушла, оставив все, лишь прихватив с собой все, что во мне, и все, что было вне меня.

* * *

Если не поделился, то ничего в мире и не было. Во всяком случае, тебе не досталось. И жизнь – будто цветы в подарок себе.

* * *

Перевод Корана – попытка перевести звук. Плохой перевод Корана – вместо ожидаемой музыки – скрежет железа по стеклу.

* * *

Прощение – речь о завершеном. Развитие отвергает прощение.

* * *

Стержень = сознанию.

Время = сознанию.

Поэзия = сознанию.

Сознание – смутное воспоминание о Боге.

* * *

Как долгон путь от весны до осени – вся жизнь. Как краток путь меж весной и осенью, будто на излете нежданного смеха – ожидаемые слезы.

* * *

У женщины всего один лишь недостаток, но какой!

* * *

Многие женщины несчастны, ибо не тело они продают, а Сознание.

* * *

Женское противоречье – конфликт цельного с цельным. Борьба женственности и Сознания.

* * *

Живи с родителями, закрыв глаза, и не открывай их до самой смерти своей. Нет границы меж вами. Родители – незнакомцы.





Мы знаем, что они подарили нам жизнь, и больше ничего о них мы не знаем. И с другом дружи, закрыв глаза. И закрыв глаза, люби жену свою. А если жена или друг переступили границу, ты почувствуешь и узнаешь о них больше любого зрячего. И любить, и дружить надо с закрытыми глазами. И любовь и дружба отвергают всматривающихся.

* * *

Боль – сердцевина осознания.

* * *

Когда я теряю опору, когда эфемерная круговерть поглощает остатки реального. Когда думаешь: «А Суббота ли, как у нас, или в соседней деревушке, что-то иное?» И тогда я произношу: «Нерестились рыбы в свете лунном...», и ко мне приходит покой – как зримое и осязаемое первоначалье.

* * *

От тюрьмы, от сумы и от неверной жены...

* * *

Днем я жил средь вековых конвульсий большого города. Я и сам был источником предпоследних колебаний. А ночью мне снилась предутренняя дрожь балкарской землянки. Ни свечи... ни лучины... Внешнего света не было, но свет был, и тьма едва-едва освещалась. И Иисус в большом дагестанском тазу мыл ноги апостолу. Остальные сидели в полутьме, замороженные зыбкой тайной. И серые тени замерли на черной стене. Святой человек, до крика одинокий, переполненный всеземными муками, мыл большие, натруженные ноги вновь нарождающимся людям. И я после праздного тяжкого дня, вмиг утрав груз плоти своей, ощутил любовь большую, цельную, любовь еще не распавшуюся на людские доли. Была долгая, долгая, долгая ночь, самая долгая после дня Творения... и как отзвук пяти гвоздей – короткий день. Апостолы исчезли, толпа спала, чтобы послезавтра проснуться народом.

* * *

Чужое деянье ложиться грехом на меня, и в самой середине неправды иной, корчится моя больная вина.

* * *

Я никогда не видел веселого дерева.





* * *

Грустные деревья, что б вы делали, как выжили бы, если бы не улыбчивый человек, бок о бок с вами идущий?

* * *

«Я сегодня такая несчастная, еду вот, как лохушка в маршрутке» (монолог юной современницы).

* * *

Не падай, дабы не унижить наступивших на тебя.

* * *

Душа – сущность нежная, и может испортиться в очень короткий срок.

* * *

Жизнь штука простая – удержать малое в себе, не растворив его в большом, что вовне.

* * *

Одиночество – это улитка с домиком на спине, собранном из тумана.

* * *

Привилегия малочисленных народов – этикет. Ум не спасает даже одного, этикет – многих.

* * *

Стыд – переводчик с обыденного на Божье.

* * *

Писатель – переводчик с обыденного на истинный.

* * *

Догоняющий всегда позади.

* * *

Убегающий, возможно, догонит себя, догоняющий – никогда.

* * *

Насилье – кратчайший путь к самоистреблению.

* * *

Удивление – фундамент всякого и всяческого. Все замерло в удивлении? небо, деревья, трава и камни, даже в основе людской беготни – над-осмысленное, над-уразуменное, такое простецкое, всеохватное удивлении:

* * *

Удивление ведет малыша к матери, а взрослого к Богу.





* * *

Удивление приходом своим и уходом. Удивление – первым встречает и последним провожает.

* * *

Когда мы произносим слово «удивление» – мирозданье обретает узнаваемые черты, стоит утратить это слово, и цельное дробится на маленькие бесчисленные дробы.

* * *

Удивиться – значит вспомнить.

* * *

Удивление – поплавок, что держит на плаву, утерял – медленное, мучительное погружение.

* * *

Удивление – как пульс, прервалось – разминулся с жизнью.

* * *

Самое одинокое на свете белом – удивление.

Самое благодарное – удивление.

Самое отзывчивое – удивление.

Самое терпеливое – удивление.

Самое жизнерадостное – удивление.

Самое неожиданное – удивление.

* * *

Удивление, без устали ждущее новых встреч.

* * *

Далеко ушедшего от себя первой навещает боль.

* * *

Плохой человек может написать гениально, но добрый рассказ ему не по силам.

* * *

Чтобы ощущали присутствие Ангела Хранителя своего, Бог и ни-спослал нам совесть.

* * *

Совесть – это то, что укрепляет на земле и приближает к небу.

* * *

Совесть – босой, идущий сквозь пекло, по прохладной борозде.





* * *

Как долго идти, чтобы стать родными, и шаг всего, и даже взгляд, чтоб обернуться чужими.

* * *

Родились от капли, резвились в весеннем, горевали в осеннем, и зимой, в застывшем дожде, себя хоронили. Как быстро... Как глупо... Как слезно... и как мгновенно... Лишь белая пена на выжженном, белом – соль на губах и соль на руках.

* * *

Кайсын всех балкарцев называл племянниками, подразумевая под этим словом – племя, соплеменники.

* * *

Остановился – родилась вина.

* * *

Не было человеку места на земле, а под башмаком не уместался, взглянул он на небо... и нашел свое место на земле. Нет возможности у людей бросить человека.

* * *

Новые дома строятся под будущие тюрьмы: высокие, толстые стены, решетки на окнах. Сигнализация, телекамеры – есть все, нет эстетики и тепла, да в тюрьмах этого всего и не надо.

* * *

Все улыбаются солнцу, все внемлет луне.

* * *

Лучшая лотерея – женщины. Везет всем. И везут же.

* * *

Не могущий сломать баранью косточку пытается переломить человеку хребет.

* * *

«Матушка возьмет ведро, молча принесет воды». И ноют, и ноют в голове моей эти слова: почему сам не пошел, почему судьбою своей, ни свет ни заря, погнал маму свою? Она-то находилась, намахалась в жизни своей до сини небесной в глазах. «Он с бодуна идти не может», – под-сказала знакомая. Наверное, он выпил – точно выпил, но дело не в этом. Просто человек устал, так устал, что даже воды ему не хочется – ничего не хочется. И средь обезлюдившей Руси, по усталому утру, по рваным кочкам тумана, сквозь разуверовавшие деревья, мимо кричащих спозарань





черных домишек, шла она... На всей земле никого... Тишина... Лишь поскрипывает ведро в руке Бог весть куда и зачем идущей женщины.

* * *

Потерял дистанцию – потерял себя.

* * *

Старик балкарец сказал «Ушедший из дома своего и покинувший животных своих – достоин подаяния».

* * *

Каждый человек трагедия, но не каждая трагедия – шедевр.

* * *

Жалость – весы меж сущью и бытием.

* * *

Жалость и только жалость – ощутить Всесоздавшего. Только жалость и стыд.

* * *

Нормальное кровяное давление – жалость к другим.

* * *

Самоутверждение – поклонение жалости.

* * *

Ощущение чужой беды освобождает от собственной боли.

* * *

Только жалость возвращает к себе и дает понимание ближнего.

* * *

Спасение – это жалость и ничего другого.

* * *

Жалость – расшифровка Божьего.

* * *

Не имеющий жалости – не имеет прощения.

* * *

Если жизнь испытание, то жалость – преодоление оногo.

* * *

Жалость – это все.

* * *

На исходе, одно лишь слово – жалко.





* * *

Человек все-таки получился – он жалостливый.

* * *

Муж с женой развелись, но дом поделить не успели. Сестра мужа говорит: «Живи у нас, вдруг тебе что-нибудь подсыпят». Брат отвечает: «Ну, я возьму книжку Пастернака». Ах! Если бы можно было взять с собой Пастернака, то и расстаться не было бы никакой возможности, да и делить было бы нечего.

* * *

Жалостливость Божья и материнская благодать, неравномерно поделенная меж людьми.

* * *

Человек столь пережил... и удивительно, мир не переполнен гениальными книгами, картинами так, чтоб человеку и ступить-то некуда было.

* * *

Скульптура – насмешка над человеком.

* * *

Памятник Чехову – ума хватило не торопиться с воплощением. Высоцкому – где та невнятная подсказка выживания? Как в камне передать: «Милая моя, солнышко лесное». Это миф, что Толстой ожил в камне и Кайсын сборище глыб уместил в камешке малом, реально-го в нем – смятый пиджак, вольно наброшенный на необозначенные скульптором, очень натруженные плечи. Памятники нужно ставить только революционерам и чиновникам – суть их – статика безучастная, самовлюбленная.

* * *

Камень – не дробящаяся, не способная и не желающая перевоплотиться память.

* * *

Архитектура – убиение живого пространства.

* * *

Из Христовой благодати люди вылепили бесконечную беду свою.

* * *

Жестами, немой продавщице сигаретами у входа на базар я рассказал, не зная языка, «Двадцать лет прожил с женой, а сейчас развожусь. Ругались, мирились, а друг без друга жить и дня не могли, а сейчас, в миг один, все рухнуло – как не было». А люди текли двумя





рядами, отсекая временами меня от моей исповедальни. Люди шли за своим, а мы говорили о своем: как умудриться одному пройти по осеннему лесу, как встретить нашествие весны? И все это заняло несколько минут, мы торопились, мы шли экстазируя в поисках хлеба... и я, верующий в слово... усомнился, было ли оно в начале, ибо на словах мне всего этого не передать бы...

Было ли слово в начале, есть ли оно в середине, будет ли в конце – лишь бы оно не покидало примитивного сердечного жеста.

* * *

Все что имел, то осталось, что приобрел, то ушло.

* * *

Дано или не дано, – все остальное погоня за личным тупиком.

* * *

Он родился – это симфония, когда сам себя сделал – это катастрофа.

* * *

Все, что во вне – отщипнуть от собственной шагреневогой кожи.

* * *

Гармония – теплая ладонь на чьем-то холодном лбу.

* * *

Гармония – когда внутреннее выходит из тебя и без скрежета возвращается обратно.

* * *

Маркес, чтобы ощутить ширь неохватную, Чехов – познать глубь человеческую, Короленко – испытать теплую жалость к слабому, едва дышащему в унисон громкому стуку твоего сердца.

* * *

Предыдущее поколение испытывает эмоции, зарабатывая деньги, последующее – зарабатывает деньги, чтобы испытать эмоции.

* * *

Образование «помогает» оценить себя, литература – удивиться другому.

* * *

Бей своих, чтобы китайцы боялись. А им жить все равно где-то надо.

* * *

Междоусобица – забота о дальнем.





* * *

Россия прекрасная и жестокая дева, своевольная и самонаказуемая.

* * *

Затянувшийся спор Бога с евреями закончился миром с Пастернаком и Мандельштамом. С Ландау и спорить не о чем, ибо очевидность вне спора.

* * *

Не алгебра проверяет поэзию, а поэзия дает право на существование алгебры.

* * *

Алгебра – один плюс один, и человек один плюс или минус один. И только поэзия наполняет человека и звуком, и запахом, и движением. Поэзия проста, как позвоночник, и сложна, как привкус воздуха.

Поэзия и есть основа и воздух.

* * *

Без осознания собственной исключительности – нет человека.

* * *

Помолюсь тополи, посоветуюсь с тополем и выйду с ним в день новый.

И мне все дано, и все понятно. Уступлю ему дорогу или пройду с ним рядом, в такт мерно дышащей тверди земной. Мне всего-то надо – не обогнать, а иначе заблужусь. Постояю с ним у дома русского, около мазанки украинской и балкарской, полувросшей в землю, прислонившейся к белой опоре скал, сакле, и я увижу истинное лицо славянской и кавказской национальности. Тополь мой – странник и домосед, скромное обличье вкуса, ибо вкус и есть всепонимающая, всех понимающая, обиженная нами скромность. Спозарань помолюсь тополи, в полдень схожу с ним в гости к соседям своим и в ночи услышу усталое дыхание умиротворенного бытия. И спросите меня: «Ты в порядке?» И я отвечу: «Я просто счастлив, я встретил тополь, - дерево так любящее людей и дороги, дерево – воплощенная надежда и зримый укор».

* * *

Долг родителей – прочитать много хороших книг, когда детям от трех до семи лет, долг детей – впитать все услышанное.

* * *

Без комплексов – это езда без тормозов на высокой скорости, по биологическому, мимо сущностного.





* * *

Отличие ментов от бандитов: бандиты – оставляют на автобус, менты – забирают все.

* * *

Зачем писать, если не слышна мелодия, а придет музыка, она все и напишет.

* * *

В России есть единственный способ хоть как-то отблагодарить родивших тебя – застраховать жизнь и дойти до ближайшей подворотни.

* * *

Невнятный возраст – когда на старухе жениться неудобно, а на молодой – страшно.

* * *

Ни подтвердить, ни опровергнуть – это когда тебя хвалят: подтвердить – нескромно, а опровергнуть – жалко.

* * *

Писателю никакой талант и не нужен, а нужна тонкая кожа и хороший вкус: кожа, чтобы чувствовать, а вкус, чтобы выбирать из прочувствованного – необходимое.

* * *

Нет большего «несчастья», чем родиться свободным.

* * *

Идя по своей дороге – не видишь пути своего, потому и идешь по дороге чужой, чтобы виден был путь свой.

* * *

Я рад, что живу в богатой стране: пока им есть, что украсть – я успею прожить. А если они, наевшись, удумают, разнообразия ради, повоспитывать, вот тогда – беда.

* * *

Ни свет – ни заря: лужи, сугробы вдоль дорог и реки на дорогах. Идет по всему этому дама, аж с двумя дворняжками. Навстречу ей дама, совсем без собак.

Одеты, будто ограбили все секонд-хэнды и хеден-шолдерсы. И собаки, как бывшие секьюрити этих магазинов. Дамы – чистейшие промоутеры, а может быть, даже дилеры, да как бы не сами – дистрибьютеры, прости, Господи. В общем, такой был ремейк, что мало не покажется. Постмодернизм живьем.





Та, что с живым имуществом, будто в чистом поле, звонко кричит:

- Привет! Как жизнь? Как семья?

- Хорошее начало! – итожит дама с двумя собаками, донельзя грязными, но довольными, как две дамы вместе. Россия. Ни свет – ни заря. Лужи, сугробы, полноводные реки на дорогах, и не понять: то ли к лету дело, то ли вот-вот приморозит. И почему-то тепло на душе. И жаль незнакомого, сидящего у моря, на какой-нибудь австралийской лужайке. И радостно осознавать, как неизлечимо больна Россия неисребимым вдохновенным детством.

* * *

От еще одной жизни я бы отказался: иную жизнь прожить – не интересно, а повторить свою – страшно.

* * *

Если в словах нет духа Офелии – нет произведения и, по большому счету, не о чем говорить.

* * *

Дорога к Богу – это ступеньки, сложенные из очень простых истин. Трудность в том, что, исполнив одно и забыв про другое, – надо начинать свой путь сызнова.

* * *

Как я обращаюсь к Богу, если не умею здороваться с людьми.

* * *

Как мало места на земле занимает человек, а уйдет, то всем видимым не заполнить пустоту, оставшуюся после него.

* * *

Интеллигентность – наполненность души и ее безошибочность.

* * *

Интеллигент – человек без права выбора, человек с врожденным выбором.

* * *

Время приходит со своими людьми – тогда кто-то же должен жить во времени своем. Таких не было и нет.

Жизнь – это хоть какая-то общность человека и времени. А если у времени своя дорога, а у человека тропинка своя, то это – все что угодно, но никак не жизнь.

Во времени чужом не потерять бы свое. Во времени чужом – ищущее свое. Во времени чужом – на растворить бы свое. Во времени чужом – живу в своем!





* * *

Дизайн – это не только оформление внешнего, но и обустройство внутреннего.

* * *

Не манны желаю – соли. Кто б сыпанул от щедрот своих с неба на изколыбельную, сладковатую пресноту одиночества.

* * *

Я иду в школу. Я учусь здороваться с людьми, если я не умею здороваться с людьми, то, как я обращусь к Богу? Ибо слово наше доходит до Него только через другого. И чем дальше от тебя человек, тем короче путь твоего слова к Нему. Бог услышит, если ты обратишься и сам, но слово наше обретает смысл, только пройдя через другого. И если беда другого становится бедой твоей, ты можешь говорить с Богом без посредников, и нет меж вами преграды. Трепещи от умиления при виде встречного – это лучше, чем трястись после водки, выпитой в одиночестве.

Незнакомый, я думаю о тебе, я верую в тебя, помолись и ты за меня, один я так далек от Бога, а вдвоем – мы рядом с Ним.

* * *

Нет большей высоты, чем жалость. И только с этой вершины и видна истина.

* * *

Если ты выбрал задворки спектакля, не считай себя второстепенным героем – это главное, это главнее всех главных героев.

* * *

Не важно, кого ты встретишь в пути, а важно, каким ты ступил за порог. Ты встретишь того, каким ты вышел из дома.

* * *

Живым можно назвать только искреннего, именуемого в полуживой среде – лох. Спектр его чувств гораздо емче и обширнее проживания полуживых. Лох – единственный эквивалент полнокровной жизни. А что такое жизнь, определяют мниможивущие, потому что их больше. Лох – это тот, кто идет, остальное – кружение на месте.

* * *

Одним лезвием я бреюсь один раз, другим – бесчисленно, а они из одного металла, из одной упаковки. Одни чайники всплывают, другие тонут, а они из одной земли, с одного куста. От того, как ты сложишь





собственные атомы, будет зависеть и твое место в пространстве. Мы бессильны перед смертью, но властны над своим бессмертием.

* * *

Свет и есть сожженный собственный мрак, все остальное – подсветка.

* * *

Политика – это не ожидание, и даже не опережение, а выстраивание факта.

* * *

Благодать емче и обширнее страдания. Страдание я могу поднять, вместить в себя и нести. Благодать, рожденная от перемолотых мною страданий, не умещается во мне. Она, как и человек, живет в пространстве, шири и средь других, и предназначена другим. Мое, предназначенное тебе, и твое, сработанное для меня. Наверное, это главное наше предназначение – жить, добывая благодать другим из выстраданности своей. Настоящая жизнь и есть обмен благодатями.

* * *

Футбол превратился из борьбы интеллектов в битву туш, в войну за место у денежной кормушки. Нарушено само понятие – слово игра. Вытоптана эстетика, а с нею и красота. Раньше игрок, как бы говорил игроку: «Если ты такой умный, то обыграй меня». Сейчас он ему говорит: «Хоть ты и умный, я тебя снесу». Между футболом и регби – никакой разницы, разве что мяч другой и мастерство борцов в регби повыше.

* * *

Ну невозможно быть одиноким, когда в кармане деньги.

* * *

Страшен не грех, а страшно, когда не оставляешь выхода из него. Из греха может вызволить только тот, на ком согрешил.

А если ты успел убить его? Кто ж тогда спасет тебя?

* * *

В мире все прекрасно, кроме вида из собственного окошка.

* * *

Кто не знает Ефу – тот приезжий.

* * *

Если ты умный, то почему такой богатый? Вот это ближе к истине. Христос изгнал их из храма, а они возьми и построй самый надеж-





ный, единственно действующий, собственный храм – храм Меркурия. Оплот антихристианства периода первого Пришествия, и первые обломки Пришествия второго. Наверное, очень интересно быть личным врагом Христа.

* * *

Если на всем белом свете остался еще человек, которого не жалко – значит, произведение еще не созрело. И это, не поэзия, а в равной мере, физика и физиология – значит, душа не набрала того ресурса, из чего можно хоть что-то построить.

* * *

Идущий – печален, едущий – весел, хотя идущий должен исходить в восторге, а едущий – тонуть в слезах гремучих. Все с ног на голову. И Создатель, глядя на наши пятки, ничего понять, не может.

* * *

Перед Богом можно оправдаться, если не был комсомольцем, – коммунист же будет остановлен еще на дальних подступах.

* * *

Врач – своей подруге врачу:

- Вчера меня залило – домой не зайти.

- Не зря мне два врача снились, а это не к добру.

* * *

Ну как клоун может насмешить маленького ребенка – он же страшный? (из разговора двух родителей).

* * *

Чтобы оправдать хлеб свой, я работаю весь день. Чтобы оправдать жизнь свою – пятнадцать минут за письменным столом.

* * *

Коэльо – разговор о духовном, без участия собственной души.

* * *

Не спрашивай биографии у бегущего тушить твой дом.

* * *

Кайсын – это фасад балкарского дома, а Кязим – внутреннее убранство, дух жилища.

* * *

Глядя на папу Иоанна Павла II, хотелось внимательнее прислушаться к Шопену.





* * *

Шопен – один из немногих, которого еще не сыграли.

* * *

Как невозможно сыграть Чехова на сцене, так и не расслышать Шопена в звуках.

* * *

Богатство – это то, что другим у тебя не отнять.

* * *

Навестив родных и близких, мама говорила: «Если я для них свой человек, то почему они при мне наводят порядок? – И после долгой паузы добавляла: Грязь – это не то, что смывается водой».

* * *

Нельзя иметь больше того, что тебе дано.

* * *

С праведными мыслями и без ног достигнешь цели, с несправедными – и на коне не доскачешь.

* * *

Зло склонно к суициду.

* * *

С хорошим человеком и на пустыре найдешь, с плохим и дома потеряешь.

* * *

Если бандитов, ментов и чиновников стало меньше, чем среднезажиточных граждан, – значит, средний класс сформировался.

* * *

Лишь грехи, снятые с чужого плеча, оказываются впору.

* * *

Если ты не историк – есть шанс сказать правду.

* * *

Из всех дорог выбирай лишь ту, на которой не утратить себя.

* * *

Нет ничего интересней собственной судьбы.

* * *

У меня нет вопросов к прошлому. Да и прошлому нечем ответить мне. Лишь выкрик из детства, вослед ушедшему: а что это было? Я





даже не знаю, кому предназначаются эти слова. То ли мне, то ли Богу, то ли еще кому-то. Ответа нет. И, скорее всего, не будет.

* * *

Расстояние – это не то, что преодолел, а то, что осмыслил.

* * *

В безвкусно подобранной бижутерии твоей избранницы отражается будущая нелепая жизнь твоя.

* * *

Национализм – удачная попытка зачеркнуть собственную жизнь, суть свою и утратить уникальную национальную особенность. И некоторым людям и целым народам удастся воплотить эту «сверхзадачу» в жизнь.

* * *

Не всматривайся так пристально в себя. Душа – не страх и не всегда пребывает в тебе. Ей и в мире-то целом тесно. Но она спокойно умещается в другом. Взгляни на встречного, возможно, в нем затаилась душа твоя.

* * *

Родить человека могут многие, а возродить его по силам лишь избранным.

* * *

Значимость твоя измеряется лишь количеством возрожденных тобой.

* * *

Лишь трудясь над чьей-то душой, ты почувствуешь присутствие Бога.

* * *

Единственный шанс у мужчины сравняться с женщиной, а может, и превзойти ее – это возродить кого-либо.

* * *

Рожать надо хороших, а возрождать – любых.

* * *

Пожалей уходящую женщину – какого парня потеряла. Пожалей ушедшего мужчину – какую женщину не удержал.

* * *

Интеллигенция – это защитная оболочка человека и сообщества людского. Тонкий слой тот: и лежит, помогает расти и защищает от разрухи. И все империи, страны и народы гибли только по одной причине –





они, накопив критическую массу зла, пожирали свой же защитный слой, загнивали и уходили в забвение.

Большевики рухнули не в 90-х годах XX века, а в 20-х годах века того же. Они умерли в тот миг, когда пароход, наполненный отборнейшей интеллигенцией, отчалил от берегов России. Слой свой защитный вконец доби́ли в 30-х и 40-х годах XX века – остальное было агонией. Интеллигенция и сама может разрушить любые сообщества, когда: смиряясь, прославляя и кормясь из рук неправды, перестает быть интеллигенцией.

* * *

Мы не властны над смертью, но нам подвластно бессмертье. От того, как мы выстроим свои атомы в этой жизни, будет зависеть наше место в вечном пространстве.

* * *

Не важно, кого ты встретишь в пути, а важно, каким ты вышел из дома. Ты встретишь того, каким ты ступил за порог.

* * *

Гонка за престижем заканчивается несвободой.

* * *

Престижно то, что не противоречит совести.

* * *

Кому многое дано – тому ничего и не надо.

* * *

Кому мало что дано – тот безуспешно пытается урвать многое.

* * *

Невозможно преодолевать и любить одновременно.

Преодоление поглощает все время, на любовь остается: или ничего, или очень мало.

Не преодолеешь, и нет тебя, и любить уже некому.

Преодолеешь – но это будешь уже не ты. И любить уже некому.

* * *

Маленькая девочка больше всего боялась цыган, она говорила: «Убить не убьют, но в цыганку переоденут».

Детский страх сформировал суть взаимоотношений меж обществом и человеком, меж человеком и государством. Убить не убьют, но в цыганку переоденут.





Слава Богу, не всех. Всех не переоденут. И если останется хоть один не переодетый, то и труды их тщетны будут.

* * *

Если ты сыт и обут, но тебе нужно сверх того – и ты отправился в дорогу, считай, что вышел погулять. Все, что нужно тебе, в доме твоём. Невозможно внести в дом ничего лишнего. А если внес, то это не ты, а кто-то другой живет в доме твоём. Не для находок твоих дороги стелили, а для того, чтобы показать потери твои.

* * *

Боже дал мне жизнь, подарил родителей и сестру, поселил среди людей, чтобы ощущал я себя человеком. Он постелил мне землю, соорудил небо, вырастил цветы, деревья и травы. А мне всего-то надо – собрать время свое, отделив его от денег. И жить в собранном мною, пытаюсь оценить, какое богатство на меня обрушилось и в какой роскоши я пребываю. И нет иных задач у меня, и целей нет иных.

* * *

Все богатство земное не возместит потерь сироты.

* * *

Всю любовь, со всей земли собери, это малая толика любви материнской – так велика утрата сироты.

* * *

Сирота прошел все войны, даже те, что случились до него.

* * *

Взятка – разумное распределение финансов, продиктованное реальностью.

* * *

Женщина – как роза, в любой момент готова распуститься.

* * *

В безвылазной яме врагов не ищут.

* * *

Если ты в глубокой яме, обопрись на врага, а потом подай ему руку – так выбираются из ямы.

* * *

В безвылазной яме одно занятие – поиск друзей.

* * *

Учитель – это не тот, кто учит, а с кого учатся.





* * *

Самые большие расходы мы несем при выкупе собственной сути, ибо цена этого торга – все видимое. Благо бы: пришел, отказался от внешнего, получил свое... и свободен. Нет, все приходится выкупать частями, да с кровавыми боями. И уходя в мир иной, не знаешь: то ли рассчитался, то ли должен остался.





Ышарады Аллах

Хапарла





*«Аталарыбыз алгъын биз туугъан джерде
джашай эдиле,энди уа биз аталарыбыз
туугъан джерде джашайбыз».*

ТУУГЪАН КЮНЮМЮ КЪОШУНУ

Эсимдеди туугъан кюнюм. Эсимдеди туугъан сагъатчыгъым – акъ хант къангада акъ бла кёк къатыш къошун. Къолчукъларымы къошун таба созама. Ма джете, ма джете дегенде, къошун сынады, сыныкълары ачыкъ терезе бла сюзюлюб, учуб кетедиле. Чууакъ кёкде джутуладыла. Терезе тюрбюнде къара тамгълалы акъ къайын терек. Анданмы, кёкденми, огъесе экисинденми – эшитеме ууаз: «Отца, Сына и Святого Духа...»

Къычырама, къычырама да, къычырыгъымы ортасына Аллах джаратхан дуния сыйынады да къалады.

Эртденлик салкъыны келтиреди сезим.

Огъай, хурттакланы, билимни хурттакларын, билимни эсгериуюн. Къошун сыныкълада джазыула, суратла, ол джазыулада, ол суратлада джашауну магъанасы бугъунубду. Огъай, башха джашауланы, башха дунияланы магъанасыды ол къошун сыныкълада.

Биз биринчи классда интернатда окъуйбуз. Эртденликде, сагъат бешде уянабыз, барабыз къарангыда, сууукъда къалкъый-къалкъый, джукъу къонуб тургъан шахарны къыйырына, аш юйге барабыз. Джукълайдыла адамла, джукълайдыла юйле, таула да, анабыз, атабыз да, бары да. Биз а барабыз шахар ичи бла, къара ёзенде баргъанча, илгене-илгене, абына-абына къара кечеге. Кечени тюз да арасында –





арбаз сыйпаучу, акъ ал хотасы бла... Халкъ джукълагъанда бу джангыз къарт адам орамланы нек сыйпайды? Ай, болур анда бир зат, бир терслик, биз билмеген. Ол терсликни мен къурагъанчама, ол джукълагъан адамла да меннге къошулуб... Хо, бар, бар джолунга, сен тутмай ушайса да ол уллу агъач сибиртгини къолунгда! Сен туююлсе да орамны темир чеклерине байланыб тургъан.

Мен терс туююлме, джокъду терслигим. Арбаз сыйпаучу ол къошун сыныкъланы ортасында бир уллу магъанача кёрюндю. «Озуб кетсем, джыялмам къошун сыныкъланы, ол уллу магъанача джашауумда тюбеялмам», – деди ичимден бир ауаз.

– Татлы туююлмюдю ёксюз джашауунг? – деди адам тилде арбаз сыйпаучу.

– Биз сабий юйден туююлбюз, биз интернатда окъуйбуз! – къычырдым къарангыгъа. – Атам да, анам да барды, мен а къыл къобузда согъама!

– Биз барыбыз да ёксюзлебиз, – деди шош ауазлы арбаз сыйпаучу. Барама аш юйге. Элтеме ачы бла татлы къатыш къошун сыныкъны. Ичим – къууанч бла бушуу къатыш толкъун-толкъун...

Ол кече мен табхан къошун сыныкъчыкъны магъанасын сёз бла ангылаталлыкъ туююл эдим.

Джашайма, насыблы ангылаусудан толуб. Кючюм да, кёк да бирча мийик кёрюне.

Джарыйды.

Арбаз сыйпаучу турады, чекча, кюнню бла кечени арасында – бютеу джашаууму суратыча, келлик къадарымы сыфатыча. Тенгизча, терен, эркин бешик тюшлеримде къарт джыламукъларымча.

Зыккыл орам, джууургъанча, чёргелиб, темир сынджырла бла байланыб.

Джилигиме ётуб тургъан бушууумча, турады арбаз сыйпаучу...

Уллу ырхы аллында гитче ташчыкъ...

Алгъандыла аны ортагъа... Эсиргенден аязалмай къара юйле... «Малтайыкъмы-малтамайыкъмы танг атхынчы?» – деб, сын къатдыла сагъышда...

«Ма мени да къачан болса да алыр къарангылыкъ ортасына...» – келди сабий акъылчыгъыма...

Атлайма, къошун сыныкъла аякъ тюбюмде, магъанасызларын бир





джанына сыза. Ауурларын, кѡшунума джарарыкъларын джыяргѡа кюреше, ойлайма джюрегимде, сабийликде эшитген биринчи сѣзлени, джашау макъамын тюз эшитирча, тынгылайма шаудан ийисли сѣз-леге: «Джашайдыла кѡарт киши бла кѡарт кѡатын кѣм-кѣм тенгизни бойнунда»... Ах, сабий анасыны сютюн джутханлай, ичеме мен да ол сѣзлени, айхай, ол макъамны ичинде бир сѣз джетмегенча кѣрюнеди, излейме аны, тынгысыз болуб, излей кетеме да, табам, ол сѣз – Кѣкдю. Сора, Кѣкден джерге басхыч тѡшгенлей, тизилдиле сѣзле:

Жили.

Были.

Старик.

Со.

Старухой.

У.

Самого.

Синего.

Моря.

Ол сѣздеде ѣседиле терекле, чагѡадыла кырдыкла, терекледе джыр-лайдыла джерде болмагѡан чыпчыкѡла. Ол басхычха аман иш неда терс сѣз илиналмай эди.

Биринчи тангымдан келедиле сѣзле: «Отѡа, сына, и Святого Духа...» Да ол мийик сѣздеде да джетмей эди бир сѣз. Излей кетиб, табдым – Матерь Божья.

Биреуню китабына кѡараб, табхан сѣзюме таяныб, джазама кинос-ценарий.

Тенгиз бойюнунда гитче шахарчыкѡ. Тюкенчикле, базарчыкѡ. Тюкенледе сатыу-алыу этген адамла. Адамла сатадыла, аладыла, тенгизни уа кѣрмейдиле. Тенгиз а джашилди, джашил. Джап-джашил. Тенгиз бойнунда уа джашил кѣзлю алтынчач кѡыз, джыртыкѡ акѡ джый-рыгѡы¹ джалан табанларына джете. Арлакѡда джашайды бир адам, хаух шатырчыкѡда. Кѣз аллында – джашил тенгиз. Башында уа мутхуз кѣк, кюл бетли юйчюгю, кѡарт кѡатыны, джашы, келини. Бир Аллах-дан сора бир киши билмейди бу адам бу джерге кѡалай келгенин. Джашил сууда алтын чабакѡла тутады, джашил кѣзлю алтынчач кѡызы

¹Джыйрыкѡ – чепкен





сыйлайды, къыз да келтиреди толү сыймеклигин. Отчукъ джана, къа-
занчыкъ къайнай, джашил тенгиз а чайкъалады, кюле-кюле.

Жили. Были. Старик. Со. Старухой. У. Самого. Синего. Моря.

Келдиле революционерле. Къызыл байракъланы силкинди, кы-
чырадыла: «Муну оярбыз, муну соярбыз, аны ишлербиз, бир уллу от
этиб, бу къарт джерни джылытырбыз!» – деб кычырадыла. Кърмей-
диле гитче отчукъну тегерегинде олтургъан ючеуленни: тишируну,
эркишини, сыймекликни. Тенгизни да кърмейдиле. Революционерле
кычырадыла, Адамла – сатыу-алыу къайгъылы. Тенгиз а кюледи, ары
бла бери чайкъала. Революционерле, сатыучула, алыучула, аланы орта-
ларында – эркиши бла тиширу, сыймеклик бла тенгиз, аланы башла-
рында уа – джашил кёзлю Исса файгъамбарны сыйлы анасы Мариям.
Сценарийни аллы да, ахыры да бу:

Жили.

Были.

Старик.

Со.

Старухой.

У.

Самого.

Синего.

Моря.

Атам. Юсюнде сахтиян пальтосу, башында сталинка деб бир зат,
къолунда агъач чемоданы, уллу кирити бла, тегерекде уа ынычхайды-
ла тюкенле, этден бла кампетден толуб.

Ойнайдыла сабийле, бетлери шоколад-мородженна джугъу болуб.
Мени юсюмде эски тончугъум, аякъларымда чурукъла, кюн а кызыды-
рады... Сау кюнню айланабыз, сахарны кыдырыб-джырыб: пропи-
ска этерге керекбиз, биз спецпереселенцлебиз. Ол сёзню мен иги ангы-
лайма. Атам къайры эсе да кетиб, энди уа артха къайыталмай турады.
«Кете туруб иги сагъыш этсенг эди, бусагъатда бу палахха къаллыкъ
туйюл эдик», – деб тура эдим ичимден. «Прописка», «спецпереселе-
нец» бир такъыр къарангы юйледе джашагъан бир затлача кёрюне эди
меннге. Мени басхычыма ол сёзле къоналмай эдиле.

Жили.

Были.





Старик.

Со.

Старухой.

У.

Самого.

Синего.

Моря.

Сау кюнню ичинде ол прописканы табалмайбыз. Ингирде киребиз биреуню юйюне, тѣнгереибиз джерге, бу гитче отоучукъгъа атам квартира дейди.

Келеди эртденлик – мени эртденлигиме ушамайды.

Келеди кюн – мени кюнюм туююдю.

Аллыбызда мени кибик къызчыкъ анасыны кѳолундан тутуб бара эди. Акъ джыйрыкъчыгъы, къызыл джаулукъчугъу. Анасыны кѳолунда сабий челекчик къып-къызыл уллу марокодан¹ топпа-толу. Къызчыкъ, челекчиге терк-терк узала, мароколаны бошата бара эди. Ызларындан «Вах-вах, акула-крошка, вах-вах, акула-крошка», – дей.

Мен а ичимден кюлеме: акула – тенгизде, бу мароко ашай келген а – Нальчикде. Бу уллу киши ол эки затны ортасын къалай айырала болмаз!?

Паркда шишлик² кѳууурадыла. Крепдешин джыйрыкълы тиширыула, къара макинтошлу эркишиле аны аямай ашайдыла, акъ таякъчыкъланы тиш орталарында ойната. Кюн, пудра, джангы чыкъгъан чапыракъла, шишлик ийис орамны толтурадыла. Мен да келеме, бурунуму ол ийис таба буруб. Атам, аны сезиб, кѳолумдан къатыракъ къысыб, тюкен таба атлады, капеклерин тюкенчиге узатыб: «Джюз грамм къалач бер», – деди. Къабдым къалачны, джуталгъан а эталмайма, ачылыб, этилиб тургъан тюкен эшикден шишлик ийиси келеди, паркны джарыкъ макъамы да. Къарайма атама, уллу мыдах кѳзлерине, эски сахтиян пальтосуна, уллу киритге. Атамы кѳзлерине къарай туруб, тѳгерек тас болду, джер тюбюне оюлуб кетгенча – тюкен тауушла да, тюкенчи да, базманы да кѳурудула. Дунияда джаланда бир ийис къалды – джарлылыкъ ийис. Аны ийисгей, джыларыгъым бла кюллюгом келе эди.

¹Мароко – наныкъ

²Шишлик – тишлик





Къууанама – биз джарлылабыз. Атамы да сюеме. Ол джарлылыкъ тазалыкъны туудура эди. Кёлум толуб, уча эдим кёкге, андан будуман болуб тюше эдим сары къумгъа, джап-джашил тенгиз боюнуна.

Кёб багъалы затла алгъанды атам, мешина да алгъанды, алай ол къатхан къалачланы алгъанындача уа мен аны бир заманда да сюялмагъанма. Бир кесек эс джыйгъанда, кёрдюм мен ол сёзлени, мени биринчи эртденлигимде, терезе тюбюнде орус бабас айтхан сёзлени – Отца, Сына и Святого Духа, обернутого в грубую гастронимическую бумажку.

Сабийлигимде къалды ол бабас, алай кёзюмдеди бюгюн да, ол, эсириб, къазыкъ бла эл буфетни миялаларын къыргъаны. Мияла сыныкъла уа, башына, сакъалына джабышыб, джылтырай эдиле кюнде. Къычыра эди бабас, бетин кёкге буруб: «Адамла, тохтагъыз! Джыймагъыз шайтанланы ичигизге, арбазларыбызгъа, юйлерибизге! Ахыр кюнюгюз босагъагъыздады!» – деб. Сора арыб, джукълаб къала эди агъач ичинде. Бир киши уа джюлюген эди башын, сакъалын да. Ол айыбны кёлтюралмай, кетди бабас юйюнден. Айланады бабас, узакъ-узун джоллада элlege къайыта, хар юйге кире. Уллу намыс бла тюбейдиле анга адамла. Ол намысны кёлтюралмай, шашады бабас акъылдан. Айланады джоллада, тюзледе джартыракъ бабас, кеси кеси бла сёлеше. Джолла не? Джолла – джукъу. Къарыусузду абыннган, бауурланнган, аякъ юсюнде къалгъан а ёлюкдю. Арыйдыла адамла, адамлыкъны кёлтюралмай, силкинедиле аякъла, къолла... озадыла кюнле.

Келди эсима алыкъын мен тюбемеген арбаз сыйпаучу. Келди кёз аллыма бир кюйсюз бет – илгендим: да бу кимни да, нени да, сагъыш этмей, ёлтюрлюкдю. Ким тийген болур джанына? Ким рахын этди джанын? Мен къыйнагъанма бу адамны джанын. Менсиз бу дуняда бир хата этилмейди, ишленмейди. Тиледим Аллахдан: «Юч гюнахдан эркин эт мени – адам джанын къыйнатма, джанкы барны ёлтюртме, керексизге терекни джойдурма».

Сени ишлеринге къууанырча эс бер – кёз ишлерден алгъа хар кирпикни ишлеген къолларынга, аякъ, къол ишлерден алгъа хар тырнакъны ишлеген кючюнге. Адамлагъа джан берген соллуунга, кюнню джандыргъан джылыуунга, джерни ишлеген салкъынынга. Ишлеринге къууансам, – къууанырма байлыгъыма, джер башында джашагъан къарындашларым, эгечлерим – сары, къара, акъ шинли адамла, къууа-





нырма кюнден, къардан, от джагъангдан ишленнген бояуларынга.

Ол сагъатчыкъда сёзлерим джокъ эдиле, алай сёзюм бу сёзледен толуб эди.

Не шишлик, не мароко ашарыгъым келмей эди. Джангыз да атам бла бет бетге, кёз кёзге къараб, бир болгъан сагъатчыгъыбыз, бошалмай, созула эди джыллагъа, ёмюрлеге, ортабызда ол джарлылыкъдан туугъан тазалыкъ кетмесе эди, айталлыкъ эдим хар тюбегениме: «Салам алейкум! Кюн ашхы болсун! Эгечлерим, къарындашларым...» Атам, къаршы джууукъларым, джаны барла, терекле, хансла... ёрлерик басхычым бла кёк салкынына тюшер эдик сары къум джылыууна, джап-джашил тенгиз боюнуна.

Жили.

Были.

Старик.

Со.

Старухой.

У.

Самого.

Синего.

Моря.

Рок-группала – алтын чабакъла джашагъан аквариумгъа дуст сепгенлей... Уялчакъ гудукала¹ ... Бетсиз залимле... Къара агъачдача айланадыла, банкетледен чыгъа, юбилейлеге кире... Халкъ джазыучула, сиз а къайсы стол тюбюнде тас этгенсиз джарлы халкыгъызыны?..

Бары да менме, мени ауругъан къанымды. Менсиз дунияда бир аман иш этилмейди, иш а – Аллахданды.

Мен кьошун сыныкъда окъудум: «СПИД-ден дарман табсагъыз, джер, сизден кесин сакълай, СПИД-2 деген аурууну берир, ауруула сизни аллыгъызда чабарыкъдыла, джерден кёкге басхыч ишлегиз, солусун джер да, къутулурсуз сора палахдан.

Жили.

Были.

Старик.

Со.

¹Гудука – гудучу





Старухой.

У.

Самого.

Синего.

Моря.

Джыяма кѡшун сыныкъланы, аладан джангыдан кѡшун кѡураб.
Аллахды билген, чыгъаралырмамы кесими бу батхакъдан толу терен
урудан?

Къытайлыла он тизгинде ангылатадыла.

Не шыбырдагъанын кѡамиш джелге бла кечеге.

Элтеди суу гюлню акъгъан кѡанатларын,

Адамны джылларын элтгенча,

Къартны къыйын эртденлигин, сабийни тар бешигин...». Он тизгин...

Балтий халкъла он тизгинде айтырла джылла бла, ёмюрле бла тен-
гизни тыйыб тургъан кѡолланы хапарын.

Тенгиз чыпчыкъланы тиллерин адам тилге кѡчюрюрге.

Къаты харфла, джумушакъ харфланы кѡучакълай, кюледиле ян-
таръ ташны ичинде.

Сермешеди джумушакъ кѡум тенгиз бла – арымай, талмай, хор-
латмай.

Он тизгинде, он тизгинде.

Японлула он тизгинде айтырла

Сакураны кимге ышаргъанын.

Эртденликни ийисин.

Танг атханча, тиширыу кѡзлерин ачады, джулдузла тууадыла,
ёледиле.

Юч тизгиннге сыйынады.

Мени ёлген кюнюмю хапарын мен да айтырыкъ эдим, алай ол минг
тизгинге сыйыналлыкъ туююдю.

Ёлгенме джай кюн, Азияны тюз ортасында. Ненча джыл толгъан
эди меннге ол джыл – тѡртмю, бешми? Не башхасы барды? Ёлгенле
джылларын санаймыдыла?

Ол джыл ёлгенме, кѡалгъан джылланы кюлюрге юрениб. Джашай-
ма деб, кесим кесими алдаб турама.

Кюн да болур эди ол кюн?

Кишиле сыра тарта эдиле кѡайын терекле ичинде.





Тиширыула уа – тюкен чулгъамлары бла.

Ол а уллу джолгъа чыкъды. Уллу тытыр джугъу машогу да сыртын-да. Машокну ичи киштикден толу.

Кѣлтюр да – ур! Кѣлтюр да – ур!

Минг тизгин азды, киштиклени ёлюм джылауларын кѣчюрюрча адам тилге.

Ол къычырыкъны ана сѣзюн эшитмегенле да эшитген эдиле. Къа-тына бир адам келмеди. Машогу сыйырмады.

Чаба эдиле акъ терекле, джол джанына тизилиб. Созула эдиле «полуторкала», «Победала». Эркишиле рахат сыра тарта, тиширыула тюкенден келе... Кюн да бар эди, болур эди, дейме, къум къатыш гюлле джукълай эдиле, къанатлары ёчюлюб. Адам эсе, не эсе да, кѣлтюре эди ауур, бир ауур затны. Кѣб адам кѣлтюралмаз эди.

Юйле, терекле, адамла, джолла бата эдиле кюнде къызгъан къан бла бетин джуугъан Азияда.

Сабыр, сансыз, джукъусурагъан, кѣб затны сынагъан Азия, тегерегин да, кесин да кюйдюре, от ичинде джукълай эди.

Тюнене Уллу Ата джурт уруш бошалды. Бюгюн а халкъла урушу башланды...

Эртде-эртде, къачан эсе да бирде, джер этегинде бир къралда бир адамла ашаб-джашаб болгъандыла. Патчахны оноууна тынгылаб. Ингирде кеси юйлеринде къала, эртденликде – башха юйледе, башха джерледе уяна... Хар кюнлери туююш, къаугъа... Сордула патчахха арыгъан адамла: «Керекмиди бизге къаугъа, уруш?»

«Урушдан башыгъызны алыр ючюн, барыгъыз сермешге», – деди къарт патчах...

Ёле туруб, киштик болдум машокда, къамыжакъ болдум джугар бурунунда. Кюн, терекле, шошлукъ. Джюзедиле машинала.

Джана, эрий тургъан Азия! Мен да кюерик эдим ол отда, алай ким эсе да айтды башындан: «Отца, Сына и Духа Святого». Ол ауаз джетди меннге, ол салкъын сѣзле чѣргедиле мени, басыхыма миндириб, элти-диле мени башха джерлеге, башха ёмюрлеге...

Жили.

Были.

Старик.

Со.





Старухой.

У.

Самого.

Синего.

Моря.

Тансыкъ болгъанма юйюме, ол тар отоучугъума, акъ аш къангагъа, акъ бла кёк къатыш къошунума, терезе аллында къара тамгъалы акъ къайын терекге.

Тансыкъ болгъанма кёк суучукълагъа, эл ичи бла секире-секире чабхан, кёллери толуб къычыргъан – арыкъ, урюк, дувал; дувал, арыкъ, урюк – кёк суучукъларыма.

Биринчи сыбызгъымы тауушундан къалтырай эди эртденлик, ары-бери чайкъала, сарнай эдиле акъ терекле. Таула, зынгырдай, джыйыла эдиле джюрек тёреге, эртденлик кюле эди, ахшам джылай эди.

Табарма мен ол юйню, табарма тёрт джол къошулгъан джерде чыпчыкъладан толу къум агъашчыгъымы. Урушну сабийлери кёб чыпчыкъ къууургъанбыз агъач¹ тюбледе.

Поездге олтура туруб, биле эдим бир бек магъаналы къошун сыныгъымы излей баргъанымы.

Солууум тыйыла джетгенде – агъач джокъ, ол ёсген джерде – уллу уру, уру ичинде кишиле джугарлары бла.

Кимни балтасы къырды агъачны? Аны ичинде – «Ой, рябина кудрявая», – деб джырлагъан къызланы джырларын?

Ма юйчюгюбюз. Таныялмай сюелеме. Къабыргъасында – Старик Хаттабычны сураты, тюбюнде джазыуу – «Белгили колхозчу Франц Майер». Айланама юй тегерегинде, башымдамы, башындамы сёзле тууа – ёз сёзлерим.

Кёб джерледе айландым, кёб затланы кёрдюм, бешигиме къайытханда, ол кёрген затларымдан кенг да, эркин да кёрюндю.

– Адам-ишми излейсиз? – деб сорду бир тиширыу.

– Юйюмю излейме, – дедим.

– Юй сени юйюнгдю, алай джангы иеси анга кёб затла къошханды да, таныяллыкъ туююлсе.

Кесими танымагъан юйюмде къалайым, эртденликде уа тебрейим

¹Агъач – чегет





станция таба. Вокзал кочегарка, къабыргъасы от джалындан къаралыб, ол къара тамгъагъа къарагъанда – тамбла-бирси кюн джаз келир деген эдим. Рахын акъ терекчик, сары кийимли адам паровозну ичин къозгъай эди. Джукъудан аязымагъан шишликчи, къысыкъ кёзлерин къысыб, чыгъарады меннгелдан биринчи тютюнчюкню. Узакъ акъ тауладан джаз джел урду, къыргъыз къызчыкъла танг бла, мароко-сапын ийис эте, школ таба оздула.

Туугъан джерим.

Алгъын атам, анам мени туугъан джеримде – Азияда – джашай эдиле. Энди уа атам-анам туугъан джерде – Кавказда – мен джашайма. Адамны къадары. Атладым поездге.

Темир джол джанында гитче юйчюкде джашагъан гитче къызчыкъны сёзлери эсима келдиле – кёксюл поезд барады, кёк узагъында эрий.

Ол къызчыкъны сёзлери басхычыма ёрлеб бара эдиле, кёк тенгизден кёкге дери. Келтире эдиле мени джап-джашил тенгиз бойнуна, джашил кёзлю алтынчач къызгъа. Кёкден къарай эди бизни джашауубузгъа Исса файгъамбарны джашил кёзлю сыйлы анасы Мариям, къарай эди, бир ышара, бир а къаш тюе.

Тенгиз а кюле-кюле, джырлай эди – Отца, Сына и Духа Святого.

Жили.

Были.

Старик.

Со.

Старухой.

У.

Самого.

Синего.

Моря.



НАША¹

Меннге сексен джыл толгъанды.

Мен да ол джылладан толгъанма.

Айтхан да кыйынды, джашагъан а...

Эртденликде ичгичи, «джюз грамм» къуйчугъуз, деялмайды, асыры къарыусуздан.

Юй аллында олтурама, тышындан къарагъан джаш адамлагъа бир акъыллы адамча кёрюне болурма.

Къарайдыла ала меннге, ол акъыллылыкъны биргелерине алыб кетерикча, джашауубузда джарар дегенча.

Мен да излей эдим аллай акъыллылыкъны.

Нек? Билир ючюн: мен кимме?

Къайры барама? Нек барама?

Алгъамы барама огъесе артхамы?

Нени юсюнден сагъыш этеме бюгюн, ма бусагъатда?

Сагъышым кызыл бишген алмачады. Адам бла Хауа ашагъан алма... Кызыу къум ичинде олтургъаны тёрт-джыллыкъ сабийни аллына тюшеди.

Джол бла къарт къатын келе эди. Бети эсимде къалмагъанды. Къоллары эсимде туююдюле. Къолларын а унутмазгъа керек эдим: ол къолла болмасала эди, тюбемез эдим кертда акъыллылыкъгъа, тюбемез эдим ол джангыз кюнчукге, Аллахдан саугъа алгъанча аллай бир кюннге.

Къуру джол. Не адам, не мешина, не арба кёрюнмей эди. Ала огъай, не сенгирчке, не гебенек эслеялмадым, не бек эслеб къарадым эсе да тегерекге.

Джаны болгъанла бары да бугъуб къалгъанча... Джер бла кюн, джол, джол къатында къумда сабий олтура, джол бла къарт къатын келе, акъ туюмчекчиги кьолунда. Эсимде туююдю бети, унутханма къолларын. Эсимдеди чыммакъ кисей джаурукъчугъу, кьолунда акъ туюмчекчиги. Юсюнде эски кийимчиклери, минг кере джууулгъан, бир тамгъачыкъ эсленмеген кийимлери. Бир тамгъачыгъы эди, тийре оюлгъанча кёрюнюрюк эди меннге. Бетин, кьолун эслемеген эдим. Ол адамны хаудан ишленнгенча бир затха ушата эдим.

Ол атламны кёрюрге керек эди. Ол джол бла келе эди, - бютеу адам

¹Наша - агурча





улугъа керекли сууча, гырджынча, бир уллу, сыйлы магъана. Тёгерек-де бир джан, бир адам болса уа! Асыры къызыудан¹, букъгъан болур-ла юйлерине. Асыры къызыудан, асфальт эрий эди, къара суучукъла къум бла къатыш эдиле.

Бу къара джолну юсюнде, джол бла келген адамны тазалыгъы билине эди.

Меннге, джете келиб, чёргеучюгюн ачыб, бир джашил дугъур-дугъур затны узатды, хауада эриди. Кёб къарадым ол къарт къатынны саугъасына, ары да, бери да бура, сора къабдым. Салкъын суу ауузумда, ичим а сейирден толу: бу исси кюн, бир исси зат къабсанг бир иш, бу салкъын джашил зат къалай ёсгенди бу къумла ичинде, джол бла джер эриген тийреде?

Озуб кетген къарт къатынны изледи кёзлерим – акъ барады къараны юсюнде кёк таба. Кёлюме келди – бу адам джол бошалгъынчы барлыкъды, дуния бошалгъынчы – ол хапарны, ол сезимни айтды, ангылатды ма бу джашил наша. Ол хапардан магъаналы джашауумда джукъ эшитмегенме.

Нашаны татыуу айта эди башха, мен кёрмезлик, мен эшитмезлик джашаулары юсюнден, башха джерлени, башха ёмюрлени хапарын. Дунияны башында аллай бир сёз табыллыкъ туююлду – ол нашаны хапарын айтырча. Бютеу сёзле да ол нашаны бир гитче хурттакчыгъыдыла.

Нашаны къабханда, асыры сейирден суукъсурадым, бу иссиликде суукъсурадым, кюн таба къарадым, ол джылытмай эди. Кюн да тын-гылагъанча кёрюндю ол нашадан меннге кёчген магъанагъа.

Кюн да, наша да, мен да бир болуб къалдыкъ. Тамада адамланы, аланы джашауларын эсиме тюшюрюб, кесими ёксюзлюгюмю, джангызлыгъымы кёрдюм. Ол джангызлыкъ, джарыкълыкъ, кенглик, мийиклик, нашаны ортасында болгъан магъана ичими толтуруб, къарыулу кюларына алыб, юзгеленича, джашаудан бир джанына – узакъгъа сызды.

Асыры узакъгъа сызгъан болур, тамбла ёлюр кюнюм, бу джашау-гъа уа къайыталмай кетеме.

Бусагъатда бёрю улугъан таууш эшитсем, мыдах сезим келеди меннге – джашай келеме, хар джылдан джарлыдан-джарлы бола. Ач, джангыз бёрю менден байды, менден акъыллыды. Ма былай къартлыкъларында олтура болур эдиле, Адам бла Хауа – джарлы, тоналгъан адамла, кеси кеслерин урлагъан адамла. Ол биринчи кюнлери эслерине кеб болур эди, ол алмадан келген магъанадан толуб, дуниягъа

¹Къызыудан – иссиден





къууаныб тургъан кюнлери? Сора къабдыла, ташыдыла, джыйдыла хапчюк, байлыкъ басдырдыла, кѣмдюле ол алманы ичине сыйыннган сау дунияны магъанасын.

Айтама туудукъларыма: ашыкъмагъыз бу помидорну джутаргъа, къарачыгъыз, къалай ариуду! Кесиме уа – биз ашагъанны ашаргъа керек туююлбюз, биз аны бла тюбеширге керекбиз, биринчи суюмеклик бла тюбешгенча. Биз – Аллах джаратхан бир затла, ашарыкъ а – Аллах ѳсдюрген бир зат. Ол эки мийик зат тюбегенде, аладан уллу магъана тууады.

Помидорну кюннге буруб къарачыгъыз – созулдула кюн таба сабий къолчукъла. Не айтайым туудукъларыма? Къалай ангылатайым?

Азамат Юзейирни помидорун эзеди. Къызыл суу бетинден, сакъ-алындан шош-шош агъады джерге. Кюледиле туудукъларым. Мен да ала бла кюлеме. Келеди башыма къайгъы, сагъыш – мен быланы джылларында тюбеген эдим уллу магъанагъа. Была уа? Ким биледи, артдаракъ тюберле...

Олтурама юй къатында, сууукъдан ичим къалтырай. Къаным джылытмагъанданды. Мыдах болама ол акъыллы тѳртджыллыкъ сабийни эсиме тюшюрсем, мен – къарт, сылхыр адам, кеси кесин тонагъан, кеси кесинден урлагъан адам, ичим кир баула бла къысылгъанча, алайма.

Джерге къабланыб, джер тырнаб, къычырлыгъым келеди. Олтурама, уллу акъ сакъалымы сылай. Джаш адамла суна болурла: «Аллай бир джылны ичинде аз кѳб акъыл джыйгъан болмаз?! Ол акъылны, озуб кетмей, алайыкъ, джашауубузда джашар...»

Келеди эсиме Адам бла Хауа... Аланы бир акъыллы кюнлери болгъанды джашаууларында. Меннге да бир акъыллы кюн тюшгенди, – ала да, мен да джашауубузну телиликге алышханбыз. Алай мен, алача, джангыз туююлме. Барды менде къара мыдах джол, ол джолда акъ кийимли (джашауданмы, джомакъданмы) – халал адам. Ол адам эсиме келсе, уялама аны тазалыгъындан, джарыкълыгъындан. Эки ишни ортасында къалыб, аладан бирин сайлаялмасам, булушлукъгъа ол таза, ол акъ адам келеди. Уялама – мени джашауум аны тазалыгъына, халаллыгъына келишмегенине. Кюреше эдим табыракъ джашаргъа, джарыгъыракъ джашаргъа. Болалмадым!

Мен билген – айланады къара джоллада таза акъ кийимли тиши-рыу, биз насыблы болсакъ, ол бек къууанырыкъ эди. Биз да, аны эсибизге келтириб, джарсыйыкъ ангa: ол арыгъанды, бек арыгъанды.





ЭРКИН БОЛУБ КЪАЙЫТ

Тау элим. Эски юлеринге эртде келген сабийлеринги солугъан тылпыулары... Тынгысыз шахар джюреке дарманса.

Юй аллында, агъачда, эски тончугъун къаблаб, олтурады арыкъ къарт киши. Джазда кѳргенем аны, чакъгъан тереклени ичинде, узун акъ кѳлек кийиб, къызыл намазлыкъда, намаз эте – Аллах бла сѳлеше, сѳзю тышына кетмезча, тѳгерегин таула алыб. Ол кюн бир мазаллы адамча кѳрюннген эди. Бети – кюзгюча, ол кюзгюге къараб, кесими табсызлыгъымы кѳреме...

Заманым болса, келиучюме къарт Джансуратха – кѳонакъгъа. Аны эри бла эки джашы урушда къалгъандыла. Джашайды Джансурат, къыйынлыкъларына дерт этиб. Гитче бачхачыгъы, бачхасында – гардошу. Арбазында – Тулпар деб кѳош ити, юйюнде – Кѳуш деб кѳолан киштиги, халджарында – Муслим деб халал эшеги. Кѳышда барады Джансурат Муслим бла узакъ агъачха. Ары кѳуру кирселе, андан джюклениб чыгъадыла. Барадыла, узун мыдах джол бла эки халал шуѳх¹ барадыла, бири «чух-чух» эте, бири «ух-тух» эте.

Джансуратны мюлкю-байлыгъы да, юйюне сыйынмай, арбазында тѳгюлюб...

Келеме Джансуратха, шахардан къачыб, отджагъада олтурама, отха джылына.

– Къалайса, Джансурат?

– Да, къалай боллукъ эдим! Джашайма, менден насыблы джокъду деб, джашау – бир джанына, мен а – башха джанына. Кюзде гардош-чукъларымы къазама, кюндюз почтачы къачан келеди да, пенсиячыгъымы къачан узатады, деб турама, кече уа танг къачан атады да, тюшлеримден къачан къутулама, дегенлей. Кѳонакъ не болгъанын эртде унутханма, джууукъ деген а – джелча: эшитилген этеди, кѳрюннген а этмейди. Аллахха шукур, тыш кѳралладача, джаныбызгъа кѳоркѳуу джокъду. Бластыбыз сау болсун, ач этмейди, быйыл беш кия джау бердиле, бир иги чеплеу джаудан, беш кия бал туз², бир машок джем.

¹Шуѳх – шох

²Бал туз – шекер





Аны уа Муслимге ашатама. Игиди, игиди. Аллахха шукур. Уруш джокъ, ачлыкъ джокъ, чеченлилеге джаным ауруйду, радиода джыр эшитсем, хоншуда адам ёлюб, мени арбазымда уа той къайнагъанча кёрюнеди, бек джарсыйма алагъа, харибге, бизге джетмеге эди бу къаугъа. Хоншуларым да иги адамладыла – маллары бачхамы малтамайдыла, сабийлери терезелерими ууатмайдыла. Сабийле дегенлей – алгъын, адам башча, уллу бал туз гыртла сата эдиле, кеси да бир учуз, аны ууакъ туюсенг – сау орамны сабийине джете эди, энди уа кампетле асыры багъадан – джылдан бир кючден юлешеме. Сабий татлы ашаб къууанса, бизден кетген джанла, алагъа къараб, кеслери да къууанадыла. Терк-терк къууандыралмайма сабийлени. Бусагъатда аланы ийнакъ-ламасанг – артда къыйналырла, бусагъатда джылыу джыймасала – артда сеннге суукъ болурла. Сабийле ариудула бусагъатда. Алгъын сау элде эки-юч ариу адам болуучу эди, энди уа юйле ариу адамладан толуб къалгъандыла.

– Нек болур алай, Джансурат?

– Да, не билеим. Биз – харбызны къабугъу бла ашагъан тёлю.

Аталарыбыз къошдан келалмай, аналарыбыз ийнек тюбюнден чыгъ-алмай. Бир уруш бошалгъынчы – башхасы башлана, зыка ашай да, ызындан тюртю суу иче, сабийликде джылыу джыялмагъанбыз. Азияны ол къызыу кюню бусагъатда огъуна къабышдырады. Бизге уруш, къайгъы, кёчгюнчюлюк бетибизге чабыб, башыбызны алыб, джюре-гибизни толтургъан эди, ол башдан, ол бетден ариу сабий къайры табарыкъ эдинг, алай мени сабийлерим а ариу эдиле, къайда къалдыла, къайда асыралдыла – хапарым джокъ. Суратлары да къалмагъанды...

Арбазда джел къагъыт бла ойнайды, аны тауушун эшитиб, Джансурат: «Мени къадарым, джашауум да, бу джел сюрюб айланган къагъытха ушайды, къагъытны тауушу озгъан джылларымы эсиме келтиреди...» – кёзлери джыламукъладан толдула.

Джангыз бир кёрдюм аны, ачыкъ къууаннганын.

Бир кюн омакъ кийиниб бара эди.

– Къайрыса, Джансурат?

– Таулулагъа эркинлик бергендиле, анга къол кёлтюрюрге барама.

– Эркин болуб къайыт! – дедим Джансуратха.

1979, 1995





ПАСХА

Клисаны тыш кѣабыргъасында суратдан кѣарайды мыдах Христос, джангыдан туугъанына кѣууанмай, кѣыйыр шахарчыкѣны тойгъан, джазыкѣ кѣуллукѣчусуна ушай. Христос бу шахарда туугъан адамгѣа ушайды.

Шахарда – пасха. Тюрлю-тюрлю боялгъан джумуртхала¹, клисаны арбазы, халкѣ. Башха дунягѣа – джашил кѣабакѣ бла, кѣзге кѣрюннген джол бла – клисаны арбазына. Мен да ол дунягѣа бир кирейим деб, атландым: «Куда прешь, нехристѣ», – ол дуняны босагъасында эки кѣарт кѣатын, бет бетге джабышыб, бир кюйсюз бет болуб сюеледиле – джашил кѣабакѣны кѣарауулары. Арбазда уа – бет, бурун, чач, кѣычырыкѣ, бирге кѣатышыб, базаргѣа ушаб кѣалды, бир аман кинолада поездни тонаргѣа чабхан бандагѣа ушаб кѣалды. Клисаны кѣабыргъасындан а уллу, джазыкѣ кѣуллукѣчуча, кѣарайды Христос.

Клисаны кѣатында – орамла, орамчыкѣла – джаш тѣлюден толу, ала джырлайдыла, кѣыл кѣобузланы кѣыздыра: «Увезу тебя я в тундру», «Если друг оказался вдруг...»

Орам – тюкюрюкден, кампет кѣагъытдан, чѣблеу кѣабукѣладан толу.

Кѣууанч. Пасха. Христос джангыдан тууду...

Кѣреме кѣкде булут, юсюнде Христос, башха булутда – онеки кѣарт кѣатын, ючюнчю булутда – Иуда.

Христос мыдахды, кѣарт кѣатынла кюйсюздюле, олтурады Иуда, рахатлыкѣдан толуб.

«Айтханем сеннге, ким ючюн джанынгы, сюегинги кѣыйнай эдинг?» - дегенча кѣарайды Христосха.

Джаз. Пасха. Христос джангыдан туугъанды, халкѣ аны кѣууанчына джыйылгъанды. Гитче кѣыйыр шахарчыкѣ, клиса, букѣу, кѣартлыкѣ бла ёлюм ийиси.

¹Джумуртха – гаккы





СЫНЫКЪЛЫКЪ

Эл ортасында – уллу таш.
Таш юсюнде – эки джашаулу тиширыу.
Къалай ёрледиле, къалай къоналдыла аны чигинджили башына,
къан тёммей, къалай миналдыла?
Аллахдан бла кеслеринден сора, бир киши да ангылаяллыкъ туююлдо.
Къатларында – ныгъыш. Ныгъышда – акъсакъалла.
Алгъын ол къартланы къаты бла, тиширыу, сабий отъай – менме
деген кишиле да, уялмай, озалмай эдиле.
Энди уа уллу ташны башында, эл ортасында – эки иги да джашаулу
тиширыу къызарадыла.
Джел сёзлерин джырта, кийимлерин, джыйрыкъларын ары-бери
силкиндири, бутларын ача...
Тийре ёледи. Къаяла бла джолну балчыгъы – бир болуб къаладыла.
Ныгъышда къартла эрийдиле, хауа бла къатыша, тас бола.
Тиширыула ташха миннгенча кёрюннген эди меннге...
Къаяла джерни джырыб, сау кечени къыйналыб, кюн кёзюне ыч-
хындыла. Джерде биринчи терекле ёсдюле. Биринчи ийнекле туудула.
Биринчи гюлле чакъдыла.
Дунияны экинчи кюню – солуу кюню, рахат кюню... Боллукъ эди
бу эки тиширыу ташха ёрлемеселе эди.
Къалай назикди, сыныкълыды дуняя...

* * *

Былыргъы мутхуз кырдыкла ичинде адам, атылыб тургъан къы-
зыл халычыкъны кёрюб, ачыуланды.
«Нечик кирлисиз, хар табхан хылы-мылыгъызны тегерекге джая,
джерибизни кир этесиз, нечик аман адамласыз!» – деди элчилерине.
Башха адам, алтын кырдыкла къызыл халыны кёргенде, джан-





гы кийимле кийиб чабды адамланы къууандырыргъа: «Биринчи гюл чакъгъанды, бизге джаз келди!» – деб.

* * *

Къарайма тереклеге. Къаядан, гюрюлдеб, ташла оюла. Хоншу джашчыкъ къазыкъ бла темир къабакъны ууата. Эки таууш да, бир болуб, бизни сёзлерибизге, джашауубузгъа ушаб къалды.

Къарайма тереклеге. Алагъа къараб, кесиме айыб этеме: къаллай бир бош сёз айтханма джашауумда, къысха заманчыгъымы сёз бла ёлтюре, кеси къолларым бла бууа. Къарайма тереклеге, кюз тереклеге, юслеринден джауум тамычыла агъа, запятойла бла точкала – шош терек сёзледе. Терекледен адам эшитмеген, дуня магъаналы агъадыла, джауум тамычыла бла къатышыб, сёзле. Кюз. Къарайма тереклеге, къарайма, гитчеден гитче бола.

1980





КИШТИК

Адамгъа тюбесем, тас этеме деб, къоркъама. Алама киштикледен, алама аладан, ёнгкюч алгъанлай. Къалай, къачан къайытарлыкъма, неми берликме? Кюйсюзлюгюмю, зарлыгъымымы берликме? Кюйсюзлюгюм, ышаргъанымдан башлаб, къолумда бычагъыма дери. Киштикге ол зат керек туюлдю. Къара кёзлерими, кёз тюблеримде къаралыкънымы берейим? Мен – себмей, джыймай, ётмек ашаучу. Джылла бла – мен чыпчыкъ джыр эшитмегенли, музыкасыз джарым сагъат джашаяллыкъ туюлме деб, кесими да, адамланы да алдагъан. Бу джерге тюшген чапракъдан сыйлы туюлме, ол джерни джылытады, мен а джерни джылыуун къурутама. Джулдузланы эслемеген, отха тюкюрген бир зат.

Не бераллыкъма мен бу ариу джаныуаргъа? Мен андан къуру да алыб турама. Къарайма ол, керилиб, дуниягъа кесин хазырлагъанына. Бетими джууама, ол джуугъанлай, аныча ариу ашаргъа кюрешеме, кесими тазалайма. Ол сабийлерин ийнакълагъанына къараб – суюмекликге юренеме. Алай борчум джюрегими къыйнайды, къуру алыб турургъа джарамайды да. Мен да кюнюмю сакълай солурма. Ол кюн джангы кийимле кийиб, шауданда джууунуб, ашыкъмай, сабыр джашасам, кесими бу дунияда чачылгъан бир хурттакчыгъымы табсам, ким биледи, мен да устазларыма – киштикlege – бир зат бералырма.

Киштикде уллу, терен тахса барды. Ол къалкъый туруб – тюшюнде туугъан джерин – Шумерни – кёре болур. Бу гитче санчыкъгъа, гитче джюрекчикге эртдеги тарих сыйыныб къалады. Биринчи Шумер сёзле, Тора, Библия, Къуран, пирамидала, эски джырла, – ала бары да, бир болуб, тарихни макъамыча эшитиледиле киштикге. Ол а, тёшегимде джукълай, татлы ышарады, узунуна созулуб. Ол макъамгъа тынгы-





лай, татлылыкъ ичин толтуруб, эрийди тюшюнде. Уяныб, мени кёрюб, тар отоучукъну. юй кереклени, хапчюкланы, терезеде суукъ къарны огъай, – бу уа бир аман тюш болур деб, кёзлерин кысыб, къайытады кесини джашаууна: Къураннга, Библиягъа, эски халкъ джырлагъа.

Шумерни биринчи харфларына – джумушакъ къумгъа джатыб, узунуна созулуб, татлылыкъдан толуб, тынгылайды, ышара-ышара, эски тарихни макъама. Ол макъамны эшитсенг, Чайковский, Бетховен, Шопен – алай мийик композиторлача кёрюнмейдиле – киштикни макъамадан бир юзюгюн эшитген адамгъа. Киштикни тюшюн саулай эшитгенле, кёргенле – Бах бла Мусоргский. Ала, джерни экиге юлешиб, музыкада патчахлыкъ этедиле. Кюнчыгъышда – Мусоргский, кюнбатышда – Бах. Ала архитектураны, суратлау ишни, джырны, тепсеюню, балетни, бирге къатышдырыб, эритиб, озгъан, келлик тарихни музыкагъа кёчюргендиле.

Турадыла эки патчах – бири джерни кюн туугъан джанын, бири кюн батхан джанын бийлеб. Гитче киштик да джатады, ышара, эски орундугъумда.

Къарайма киштикге: аны къолун, аягъын тырнакъ басыб, ауузу джити тишледен толу, суукъдан сакъланыргъа – джылы тону. Чычханны хорларча сауутланнганды. Къарайма кесиме: не тырнагъым, не тишим, не тонум джокъ... Алан, кимге, неге ышаныб туугъанма мен бу дуниягъа?





ЭШИК

Эшигинг джабылды... Эшигим джабылды... Эшигибиз джабылды... Халкъ эшикге бек улуу магъана береди.

Гутук сагъатдан чартлагъанлай, эшиклени кенгнге ачыб, хоншу къатын отоуума учуб кирди.

– Алан, не джатаса, джыйыл теркирек, автобус сакълаб турады, Асхат ёлгенди...

– Сен бар, мешинаны да, адамланы да тыйма, мен а, Аллах айтса, кесим джетерме.

Бет-къол джууа, сагъыш этеме: ары да мешина бла барсам, анда иги да ашаб-ичиб, мешинагъа къонуб, артха къайытырыкъ эсем – да не къайгъы сёз, не бушууду да ол?! Аллай джерге джаяулай барыргъа керекди. Алай айтханлыкъгъа, эшикде – балдраджюз, сууукъ джел, джолла бузлаб, – кыш бла кыяма тюбешген бир кюн, барлыкъ юйюм а башха ауузда. Ол кызыуум бла тебредим. Барама десем да, джел бузлауукъ джол бла сызылыб келеди биргеме: «Штормовкам бла джюн кёлегим чыртда джылытмайдыла. Ай, тонум болса эди!» – деб джарсыйма. Ичим мысты, темир татыу эте, тегерек да ёлюб-ёлалмай – къар, буз, тубан, къабышхан къаяла.

Былтыргъы агъач, къара гыбыча, мутхуз кёкню къанын иче, джел а – ёмюрде бошалмазлыкъ, тохтамазлыкъ, мен да ёмюрде дже-талмазлыкъ баргъан джериме. Ачыуланама «Кавказ» деген сёзге: хау, тохтамаз эдинг Кавказ болмай, Аллах унутхан, адамла къойгъан бир.

Джел бла сууукълукъ ёлтюрген Сахара, штат Невада! Бек ачыуландыргъан сёз а – «къонакъ». Къонакъ болур ючюн, юй керек болур... Аякъларымы кючден соза, кеси кесими кючлю сёзле бла кёллендирирге кюрешеме: «Бар, тохтама! Бар, тохтама!» Алай сёзле да хазна болушмайдыла. Ёлюмню да унутдум, кесими да унутдум: алгъа барыргъа – къарыуум джокъ, артха къайытыргъа – он-





гум джокъ. Бармайма бир джары да: тойгъа да, дууагъа да! Ма бу къарда джатыб къаллыкъма. Бир кесек джатыб, эс джыйгъанлай, чегем джели, ёге анача, адамны бир джерде кёб къоймайды. Кёрдюм мийик тёшно башында къошну. Джан кирди, къарыучукъ да къайдан чыкъды? Барама къош таба, къууана. Чай бла тон мени мутхузлукъдан тартыб алдыла. Татлы макъамча, суймеклик сёзле-ча, илипин суукъ ташла бла ойнагъанча. Тамадыла, бал тамчыла-ча, къойчуну сёзлери. Тамадыла, джюрегими джылыта: «Тюзюнлей бараса, сора джол джанына буруласа, тик джолгъа джетгенлей, андан тебме, ол джол джетдирир сени элге». Джаны ауруб, экиджа-шар атчыкъны берди, тай туююл, ат дерге да тилинг айланмайды, орта эшекден уллуракъ бир зат. Юсюмде тон, тюбюмде ат, джетер-ме, Аллах айтса, джериме. Тик энишге баргъан джолгъа тюшдюм, буз мияла, атдан тюшюб, созама аны да, кесими да энишге. Келе-келе, джол экиге бёлюндю, ючюнчюсю, тёртюнчюсю кёрюндюле. Секиреме джолдан джолгъа, азыракъ бузу болгъанны сайлай, ай-хай, аллай джол табалмадым, эгизлеча, бир бирлерине ушаш, бир бошалмагъан затла.

Арыб башладым, джел асыры суукъдан, тонуму да унутдурду, суукъ кюйдюрген бетим кичий, ачыта, тынгысызлыкъдан толту-ра... Джолла кёбдюле, джаланда бириди мени. Къайсы болур? Кёр-дюм – джол узунуна созулуб баргъан чигинджилени юслерине ток чыбыкъла тартылыб, быладан таймай барсам, келтирирле элге, деб тебретим, кесими да, ат кибики да созуб. Ёзеннге джетгенлей, ат юсюне миндим, чабдырыргъа да кюрешдим... Къарангыда ёлген адамны юйюне джетдим.

Адам ёлдю. Ёлюр кюнюне дери бир ыйыкъ къалгъанда, къара, мут-хуз, къызыл кийимлеге чёргелиб джетдиле адамла. Асхатны арбазын, юйюм толтурдула. Кеси джатхан отоучугъу, асыры одеколон бла тер-леген ийисден, не сауну да тунчукъдурлукъ эди. Саусузгъа уа – ёлюб кетгенден башха амал къалмай эди.

Адам ёлдю. Ичимде не джарсыуум, не бушууум джокъду. Мен а ийнанмайма адамны ёлгенине. Ма – къабыры. Ма – джылай тур-гъан адамла – мен а ийнанмайма, бир мен алай да болмам, кёбле ийнанмайдыла.

Мал союлады, кишиле, ашыкъмай, тенг юлюшле этедиле, тиши-





рыула чѣргеучюкле¹ джыя, даулаша: «Юч «Къара-къумну» нек атдынг ол чѣргеуге, экисин атсанг да боллукъду...» Арбазда уллу къазанла къайнай, адамла ашайдыла ѓлген адамны арбазында, ушакъ этедиле биченни, малны юсюнден... Асхат а джокъ. Ёлдю, кетди. Кетди, уллу джашауун джашаб. Биз а тилибизде аны юсюнден айтыргъа он сѣз табалмайбыз, башха сѣз къатышдырмай.

Джангыз бир кюн, бир сагъат, адам асыралгъынчы, биз аны джю-регизде туталмайбыз. Арбазда сабийле кампетле ашайдыла, сеннге уа къаллайын бердиле, меннге уа быллайын деб. Алагъа къарай, тын-гылай кетиб, джыладым. Кетген адамны орунуна къаллай бир джан-гы джашау чыгъыб келеди деб.

Кечирек сездим – джыларгъа башха зат керек болгъанын, бу ар-базда, башха арбазда джангы джашау туумай эди, джюрексизлик-ни, кюйсюзлюкню урлугъу себилген эди. Джашауну къууанчына джыларгъа керек туюул эди, кюйсюзлюкню къууанчына джыларгъа керек эди. Ким биледи, бу джангыдан ѓсе келгенле да ийнана болмаз-ла ѓлюмге. Мен да ийнанмайма Асхатны ѓлгенине...

Бир он джыл озгъан болур ол кетгенли, мен а бюгюн да ийнанмай-ма, ийнанмайма. Эсимдеди: ол, мутхуз къаяланы арасында сюелиб, джумушакъ, халал къолларында къызыл тюртюле джана, кѣзлеринде уа – къууанч; къарачы, къаллай бир джыйдым! Къабырына бармай-ма, хар джылдан, хар айдан заман табыб келеме бу мутхуз къаяланы орталарына. Келеме, Асхатны эсгере – аны къууанчлы кѣзлерин, халал къолларын. Къайын агъачны ичинде от этеме, бу кѣкге джетген ташла ичинде тереклеге сейирсинеме. Терекле джыламайдыла агъыб кетген чапыракъларына, къолларын силкиндире, ашхы джолгъа ба-рыгъыз, дейдиле. Мени терегимден да агъадыла чапыракъла, мен да айтама алагъа: «Ашхы джолгъа барыгъыз! Мен ѓлген адамгъа келме-генме – мен саугъа келгенме». Биз шош-шош барабыз агъач ичи бла, акъ терекледен сары чыпыракъла акъгъанларына тынгылай. Асыра-дыла Асхатны. Къалдыла къатыны, сабийлери, ма бюгюнню кюн, сууукълукъ, джел къалды, – адам а джокъ...

Кеч. Къарангы. Ачдан бла арыгъандан аякъларым къалтырайды-ла... Асхатны джууукълары: «Бюгече мында къал, эртденбла барыр-

¹Чѣргеучюкле – кулѣкчукъла





са», – дедиле, алай мен джолгъа тебрeдим. Келеме къарангыда, ток темир чыбыкъладан, аланы тутхан къара чигинджиледен аджашмазгъа кюрешиб. Келеме, кеси кесими унутуб, мени орунума бир башха келгенча. Башымда бир сагъышчыгъым джокъ. Кёзлеримде къызыл тамгъала, аякъларым учхалай, барама, кесими да, ат кибики да созуб. Келеме къайдан келгеними, къайры баргъанымы унутуб.

Кёкню джарыб, ай чыкъды. Тёгерек джарыды. Къар ариуланды, къар араларында къара тамгъала кёрюндюле, бир терен магъаналы ызлача. Агъач джарыкъдан толду, ичинде хар терекчиги агъарды, хар бутакъчыгъы, терекде къалгъан чапыракъчыкъла узакъдан огъуна кёрюндюле. Узакъ акъ, къызыл, кёк къаяла джуууна эдиле акъ бла кёк къатыш джарыкъда, кече орунуна кюн келген эди. Къардан анда-мында кёрюннген мутхуз кырдыкчыкъла алтын бояугъа боялыб, сагъышдан толдула. Тийре, уяныб, сейирсиниб, солууун тыйыб, бир уллу магъананы сакълагъанча, тура эди. Ай терекни, къарны, къаяланы тёреге чакъыргъанча кёрюндю. Мен да ол тёреге тюшюб, сын къатдым. Джер бла, ай бла, кёк бла бир болуб къалдым. Мен бу тийреге эриб кетгенча кёрюндю, ма бусагъатчыкъда ёлюб къалсам да, тас боллукъ туююлме, тамырла ийиб, не терек, не кырдык боллукъма, дедим.

Джел тохтады. Сууукъ а сууукъ эди.

Сууукълукъ ток бла ургъанча ура эди. Бу сейирлик ичиме сыйынмады, эсима, башыма сыйынмады. Чачым, терим, кийимлерим, башха дунягъа тюшгенлерин ангыладыла. Ангыладыла дуняланы орталарында рахатлыкъ тенгизинде джууунганларын. Баш, джюрек, джан тас болуб къалдыла. Тауну башы джокъ, кырдыкны къаны джокъ, – ашайдыла, Аллахны тылпыуундан солуб, аны джарыкълыгъындан ёсуб. Меннге да Аллахны джаны ауруб: «Къара, джашым, бу джарыкългъа, къара да, ол къарангы джашауунга элтирге кюреш, ол мутхуз, джауумлу кюнчуклеринги джарытыр», – дегенча...

Сын къатыб тынгылайма тийреге, мен да бу сейирликни бир хурттагы, бир кереги. Джюрек бла тырнакълны чеги къуруб, бир болдула. Юсюмде кийимлерим къалтырагъанча кёрюндю.

Бир джанына къарагъанлай, къара къаяда кёк кюзгю кёрдюм. Къарайма, къаным тохтаб, солууум тыйылыб, сын къатыб. Къаршыракъ келиб кёрдюм – къаяда уллу тешик кёкден толуб, ол кёкню кесекчиги





кюзгюча кёрюнуб, ол кюзгю мени да, атымы да джутуб бара эди. Атыма да кьалтыраукъ тийди, тийре сыйыннаган уллу кёзюн мени таба буруб, неди бу дегенча, сейирсиниб къарады. Толстойну эсима тюшюрюб, шохуму, къарындашымы сыртына олтургъанча, бу ат юсюнде олтурагъаныма уялдым. Тийре уа мени кьолгъа алыб къагъа эди, кюйюзню букъусун къакъгъанлай, табсыз ниетлерими¹, аман ишлерими чыгъара ичимден, сюеклерими ачыта, чыгъа эдиле палахла, чыгъа эдиле чачымдан джылла, джылла бла джыйылыб тургъан аман затла.

Ма Кавказ, минг джылла оздула, ол а турады тюрленмей. Ма тюзлюк да, къарындашлыкъ да, тенглик да, бир джерчикде тёреге джыйылыб турадыла, орталары бла чёб ётдюралмазса. Биз да бу джерде джашайбыз, алай бу джерден бизни джерге – джети кёкню узакълыгъы, ёмюрлени кыйырсызлыгъы.

Къысха заманны ичинде джер айтды мени юсюмден хапар. Менден алгъа, мени бла, менден артда келликлени юслеринден. Биз да бу джерде джашайбыз, тюшден чыгъалмай къалай узакъды бизни джашагъан джерибиз бу тийреден, ёмюрле бла барсанг дже-талмазча узакъды.

Кеси кесиме тюз бусагъатда туугъан адамча кёрюндюм. Асхат да джер тюбюнде туююлдо, мен аны джангыдан джашаугъа къайытаргъанма, джашайды Асхат бу акъ бла кёк джарыкълыкъны ичинде джуууна. Ай да, кёк да, ат да, къаяла да, мен да джангыдан Асхатны джашаугъа къайытардыкъ. Не бек кюрешсенг да, ёлаллыкъ туююлсе, ёлюм джокъду. Джокъду, артыкъ да бу тийреде. Кавказны уллулугъу, мийиклиги, теренлиги – кёз аллымда. Прометей къалай ёллюк эди бу джерде?!

Аны ёлтюрербиз дегенле аджашдыла, шашдыла, Прометей огъай, мен да – къарыусуз адам, сынджырла бла такъ, бузла ичине ат, мен да ёллюк туююлме. Прометей бизге отну кюнлеригизни, кечелеригизни джарытыгъыз деб берген эди. Биз а ол от бла бир-бирни ёлтюре, кёрген затыбызны, солугъан хауабызны, ичген суубузну кюйдюре, кесибиз да ол отда кюебиз.

Санларымда дженгиллик, тюз бусагъатда татлы джукълаб уянганча, ач болгъанымы унутуб, меннге шошлукъ сабырлыкъ келди.

¹Ниет – оюм, къарам





Атчыгъым да аякъ тиреб башлады, бичен ийисми эшитди узакъ арбазында, огъесе мени къууанчым ангамы кѣчдю, ким биледи. Къатымда кѣрдюм: атамы, анамы, эгечими, суюген адамларымы, сѣз айтмай бир-бирге, тийреге ышара, джюзе барабыз, хауадан ишленнгенча болуб, джюзебиз шошлукъну ичинде. Бизге ёмюрде бир сѣз керекли болмагъанча, бир адам болуб, тийре бла, дуняа бла бир болуб, шош-шош ышара, джюзе барабыз, ёлюм болмагъан джерибизге – Малкъаргъа.

Къууанадыла мазут джагъылгъан къара чигинджиле, айны чырагъындан джаныб: къызыл, сары, джашил, кѣк тамгъала отда джанадыла, барадыла бир-бирни кюйдюре, бир отчукъ а узакъ, мийик акъ къаяны башында кѣк тамгъачыкъ болуб джылтырай эди. Джанады къар, джанады башымда. Озгъан джашауум джанады, къара кюл болуб, джюрегиме тюше. Башым бир зат ангыларгъа кюрешиб – ангылаялмай, алай бу кюн башны кюню туююдю – джюрекни, джанны кюнюдю. Джюзе барабыз, къаршы адамла бир уллу ангылау бла байланыб. Джашауубузда эталмагъан ишлерибизни, айталмагъан иги сѣзлерибизни бюгюн айтдыкъ, бюгюн этдик. Бусагъатха дери хар кимни кесини сѣзю, иши бар эди, бир джартыракъ сабийни сѣзлери, ишлери, бюгюн а биз, бир болуб, бир джашауну джашадыкъ. Джюзеди кюндюзгю кѣк. Джюзеди джана тургъан къар.

Джюзеди ай, кесини мийик магъаналы ишин эте. Хар зат бир-бирлерин къучакълайдыла, кеси бетлерин тас этмей, бу тийрени хар хурттакчыгъы да бир-бирлерине къууана, тазалыкъны ичинде къаргъанадыла – бу тенгликни, бу къарындашлыкъны ёмюрде сатмабыз. Сейирликди адам – бир сау зат тюшсе къолуна, аны чачмай къоймайды, бир хурттакла тюшселе, аладан сау зат ишлерге кюрешеди. Бу кюнюмю бир сѣзге сыйындырыргъа кюрешдим, излей кетиб, табдым ол сѣзю – Ариулукъ. Башымдан сылаб: «Мен сени суюме», – дегенча туююл эди ол сѣз. Ол ариулукъ – къаяланы джитиликлеринден, кырдыкны, тереклени буруш, къынгыр ызларындан, джелден ишленнген бир зат эди. Адам къазыкъ бла кююзден букъусун кетергенча, ол къарыу, мени сыртыма, башыма уруб, ичими, суюклери ачытыб, бютеу къарангылыгъымы тартыб алгъан эди. Къанны ариулар ючюн, къаннга пашот къошадыла, башха тюрлю къан ариуланмайды.

Юйге танг атыб джетдим, арыгъандан бла джарыкъдан толуб.





Эшигиме къараб: «Биз джашайбыз, биреуню эшигин тутаргъа кюрешиб, джаныбыз бла, къарыусуз сюеклирибиз бла».

Джетмезсе Ариулукъгъа, кирлиликни сансыз этиб озсанг.

Бюгюн чачым, терим, кийимим ангыладыла башха дуниягъа тюшгенлерин, ангыладыла. Ариулукъну тенгизинде джууунганларын ангыладыла. Баш, джюрек, джан хауа бла бир болдула. Тауну башы джокъ, терекни джюреги джокъ, кырдыкны къаны джокъ – джашайдыла Ариулукъну джолунда. Аллахны тылпыуундан солуб, аны джарыгъындан ёсюб. Меннге да, Аллахны джаны ауруб: «Къара, джашым, бу джарыкъгъа, къара да, ол къарангы джашауунга элтирге кюреш, ол мутхуз, джауумлу кюнчуклеринги джарытыр», – дегенча.

Тёшегимден къобмай, хычынла ашай, ызындан боза иче, ачха санай, къууанама, тынч джолгъа, насыблы джашаугъа ычхындым деб. Алай къалай кыйын джол ишлединг сен меннге, мутхуз сёзчук – «тынчлыкъ». Кечирек билдим – тынчлыкъдан кыйынлыкъ туугъанын, кыйынлыкъдан а тынчлыкъ джаратылгъанын. Аллах тауланы, кырдыкны, малны, айны, кёкню бир этиб, джарытыб, кесини джарыгъы бла меннге джол кёргюзтеди, алай айырдым тынч джолну, бардым – джаным, къулакъларым юшюгюнчю, бардым – кёзлерим къарангы болгъунчу. Кеч билдим Аллахны джолу бла джангыз баралмазлыгъымы. Бай байгъа кёшуллуб, насыблы насыблыны къучакълаб, узакъ баралмайдыла. Кючлю джан рахын, саусуз джанны тутуб, къан терлегенлери келгинчи суйреб барса, джETERле Аллахны тынчлыкъдан толгъан джерлерине. Къарыулу сюек къарыусуз сюекни сыртына олтуруб барса, ох-гух эте барса – тырнакъ тюблеринден къан агъа, джETERле экиси да Аллахны сыйлы джерлерине. Ариулукъну хауадан бла джарыкъдан толгъан тенгизине. Алтындан ишлен, башынг, Чегем шауданча, чын акъылдан толсун, – баралмазса. Аллахны джолу бла. Баралмазса, рахын джанны бырناق этсенг, саусуз сюекни теблесенг, сансыз этиб, къаты бла озуб кетсенг. Турурса сора: «Къалайса?» «Игиме.» «Игиме. – Къалайса?» Къызыл бетингден сууукъ сёзле тюшуб, джанынг да, тырнакъча, гитче болуб, тырнакъча, къатыб. Мени насыбым – сени ичингде, сени насыбынг – мени ичимде, экибизни насыбыбыз а – кыйынлыкъны дженгил джолунда. Сабий табхан кыйынды – сен табхан сабийинги рахын джанын, джансыз сюегин джашаугъа кыйытаралсанг, кыйналгъанынга кёре – сууабынг. Он сабийни табхандан





эсе, бир сабийни джангыдан джашаугъа къайытаргъан багъалыды. Сёзге сыйырмагъан уллу къыйынлыкъ, сен танымагъан къарыусуз джанны, джюрек тылпыуунг бла джылыта, джыламулкъларынг бла сюеклерин джууа къайытарсанг, джангыдан джаратсанг – джюз сабий табхандан сууабды. Джюз элинги душмандан эркин этсенг, джюз тауну оюб, аланы орунларында джолла ишлесенг, ол джолла джерни бютеу байлыгъына тирелселе, джол къыйырларында гюлле орнатсанг, гюл къатларында минг шаудан чакъдырсанг да, сен танымагъан джанны джангыдан джаратханны сууабы уллу. Алай а джыгъылма, сени малтагъанны гитчертмезча, аны гитчелигине джынынг аурур.

Джетмезсе Ариулукъгъа, аманлыкъны сансыз этиб озсанг. Бу дуняда бир эшик не? Бир эки-юч къанга бау бла къысылыб кълса, мен аны джаным бла, джюрегим бла, къарыусуз сюегим бла тутмасам, эшиги джабылмазча этмесем, – кесими эшигим джабылыр, Ариу сёз да ётюрюк болур. Джашауда да: ай муну эталмадым, ай мынга дже-талмадым, биреуню эшигин туталмадым, эшиги джабылды, мен да аудум. Биреуню эшигин тута эсенг – ол да джабылмазча, кесинг да абынмазча, аумазча джашайма де сора.

Башха адамланы джашауларына сагъыш этген юйле – ёлюмсюз-дюле. Дуниягъа чыгъа туруб – эшигинге къара.

1985





ЧЫНДАЙЛА

Кюз келди, акъыллы, сабыр адам юйюне келгенлей. Сен да аны келирине хазыр болмай, юйюнг сыйпалмай, аш къангангда ашарыгъынг болмай, абызырайса, уяласа, сыйлы адамдан уялгъанлай. Кюн да, джашаудан тойгъан адам ишге баргъанлай, чыкъды, эрине-эрини, – кёкден, джерден, адамладан арыгъанын букъдуралмай. Аууз кенгерди, уллу суу шошайды, кеси кесине мыдах сёзле шыбырдай барады, джанындан да, кесинден да тойгъан бир джолу бла. Арыгъан таула да джартыракъ болур эдиле муткуз сары кырдыкга, алай онглары джокъду. Къайын терекле джашил-сары къатыш дарий джыйрыкъла кийиб, ёзенни толтуруб, таулагъа ёрлеб, къарайдыла – эрлерин, сюйген адамларын урушха ашырыгъа чыкъгъан тиширыулача. Турадыла, ичлеринде джашау суулары шош-шош къуруй, бетлери саргъала, ауруулу бола, турадыла – не айтырларын, не этерлерин билмей.

Турбазаны агъач юйчюклери саргъаладыла, джашилни ичинде, сау джайны ичинде джыйылгъан адам джылыулары шош-шош чыгъа, помада, дух, тютюн, аракъты ийислери къуруй. Турадыла алтын юйчюкле, турадыла суууй-суууй, – сапын, бояу ийис эте.

Олтурама турбазаны арасында. Джай тегерекни къоюб кетди, кетди мени ичимден да. Кюз келди, сары ууун шош-шош тамдыра. Джанадыла гюлле ёлюм отунда, джанадыла, кюзге эриш болуб, къызарадыла тукъузгюле¹, джашил наратла, къайын агъачла ичинде. Тийре, джыйылыб, джайны асырайды. Ариу кийим кийиб, джарыкъ асырайды. Юй араларында, терек орталарында айланадыла эркишиле, айланадыла аракъыдан бла, джукъудан эсириб, айланадыла, кюз чибинлеча, къонар джер излей. Тиширыула штормовкаларын, ауур турист чурукъларын тешиб, омакъ джыйрыкъла, омакъ чурукъла кийиб, башларын, бетлерин бояб, аякъларын, санларын, джанларын да хазырлайдыла шахар орамлагъа.

Тиширыу керти да джайда туугъан, къыш бла къазауат этген бир зат болур. Тиширыу аурусун, джунчусун, бояучугъун чыгъарыб,

¹Тукъузгю – такъюзюк (рябина)





эринлерин бояса, тирилиб къалады – джомакъдан туугъан бир зат.

Мени таныш тиширыуум да джомакъдан, агъач ичинде нарат бла, къайын терекден туууб келеди, кёк кёзлю, сары чачлы къыз, бир арыгъанбет.

Кеси кесин излеген бир тиширыу келеди агъачдан, кёзлеринден сюлесин бла марал бирча къараб. Барабыз агъач ичи бла, агъач бизни кёчюрген джылда туугъанды. Бизни бушууубуз бла бирджыллыкъды. Биз кетерни аллында, ырхы келиб, эки-юч адам къучакълаялмагъан уллу тереклени тамырлары бла тартыб алыб, гунч¹ этди. Ол агъач къаллай бир таулу юй ишлеген эди, къаллай бир таулу сабий ёсдюрген эди! Бу Кичи агъач да кёб юй ишлер, кёб сабий ёсдюрю. Биз кетген джылда уа, суула къуруб, джер акъ тегерек ташчыкъла бла джабылгъан эди.

Барабыз таныш къызым бла Кичи агъачны ичи бла.

«Кетеригим келмейди», - деди къыз. Аны кёзлери, онгуб, боз болдула. Къууанса, кёлю толса, кёзлеринде джашил от ортасында, чабады джаздан къутургъан, эркинликден эсирген джылкы, чабады кёк бла джер тюбешген чекге, чабады, ёзенлени къууанч джелле бла толтура.

– Мени да кетеригим келмейди. Шахаргъа юреналмайма. Беш джылыма дери элде тургъанма. Бек акъыллы, бек магъаналы джылларым. Къалгъан кюнлерим а – шахарда. Айландым, беш джылгъа джыйгъан акъылчыгъымы шахар орамларында тас эте.

– Да элге нек кёчмейсе?

– Малгъа юренмесенг, джер ишни тынгылы эталмасанг, элчи болаллыкъ туюлсе да. Ма бу джерчикде джашарыкъ эдим. Тегерегин бегитиб, резервация этиб, суйген адамларымы джыйыб, ёмюрде мындан чыкъмай джашарыкъ эдим. Шахаргъа барыб, ол демонстрацияларына къараб, телевизорлагъа, президиумлагъа – шайтан той десенг да – азды.

Коммунистле кюрешдиле шиндик юлгюден къобуз ишлерге. Ленинни суратыны тюбуне джыйылыб, тилчи къызчыкъла, алагъа ушагъан джашчыкъла школда аз къаныбызны ичмеген эдиле. Ала ёсюб къуллукъчула болгъанда уа, джангыз да аналары эсинге келе эди. Кюрешдик джашауда бир кыйыр джер излеб, ким тутмакъда бугъ-

¹Гунч – думп





уб, ким кочегар болуб, юй тубюне кириб, ким а, ачыкъ тели болмаз-ча, агъачлагъа къачыб, джан хурттакларыбызны агъачда от къатында джылыта, Окуджаваны, Галични, Хаджимусаны джырларын джырлай, Вампиловну «Бабуш ууундан» къутулургъа кюреше. Халкъ ючюн, тюзлюк ючюн агъачлада, ташлада ачдан бла окъдан къырылгъанла бандитлеге саналадыла, колхозну, къралны, джарлы халкъны акъылларын, адетлерин, хапчюклерин тонагъанла уа сыйлы адамлагъа саналадыла, тау эллени къырыб чыкъгъанла уа – кърал джигитле болдула, аланы джигит джашауларын махтагъанла уа – халкъ джазыучула болдула. Къачабыз Кафка бла Ионеско джазгъан хапардан – бизни джашауубуздан. Чабабыз ары-бери, джанынгы сакъласанг – санынг оюла, санынгы сакъласанг – джанынг къуруй.

Ох этебиз джайда, кюзде уа – хамамдан чыгыб, кир быстырла кийгенча кёрюнеди. Ач да болайым, джаланнгач да болайым, коммунистле кетген кюнню бир кёрсем эди...

Айландыкъ сау кюнню агъач ичинде, эки къаршы адам, джарсыларыбызны бир бирге айта. Бек уллу джарсыу а – тамбла кюз. Уллу, сууукъ джауум джыйды бизни бир юйчюкге.

Джылайды къыз: «Кетеригим келмейди, артха, общежитиягъа къайытырыгъым келмейди. Биргеме джашагъан къызны кёрлюгюм келмейди, ол эркишилени тишлерине къараб сайлайды, тишлеринг сау эсе – менисе, чириген тамгъачыгъынг бар эсе – мени бла ишинг бомасын. Анда мен танымагъан юй, адам джокъду, танымагъанларым да – бир бетли таныш болуб къаладыла. Мен а сау джашауумда бир суйген, танымагъан адамгъа туберге термилиб кетдим. Кавказны кёргенлей, термилген адамгъа ушатдым аны, мында туугъанча, алай кёрюндю...»

«Кетеригим келмейди», – деб джылайды къыз.

Къыз, туруб, къабыргъа къатында уллу кюзгюню кёлтюрюб, полгъа урду, сыныкъла полчукъну толтуруб къойдула, ол аланы ичлеринде олтуруб джылайды.

Эшикте уа джауум, аллы, ахыры болмагъан сууукъ джауум. Джел юйню тыш къабыргъасында орнатылгъан чыракъны ары-бери силкиндири, ол чыракъ а джарыта, ючюлте турады деменгили къарт нарат тереклени. Тереклени башлары бир-бирлерине къаршы джанлаб, ичлеринден къалын къара таууш чыгъа, эртде ёлген джанла бир-бирлери





бла ушакъ этгенча кёрюне. Гюнахлы джанла, ариуланмай, джылай эдиле. Терекле да, бир-бирлерине ауа, джанланы сылай. Ийнакълай эдиле, джарсыйбыз сизни бла, алай не бла болушайыкъ, дегенча.

Джауум да, элия оту да, кёк кюкюрегени да, терекле да гюнахлы джанла да, аз-маз кёрюннген къара къала да джашауну бир уллу бушуу болуб къалдыла. Ол къайгы, тийрени толтуруб, кире эди юйчюкню ичине.

Къызы сагъышы уа – узакъда, Сибирде гитче сахарчыкъны ортасында уллу заводда. Аны ичинде – къатынла, юслеринде мамукъ габарала бла, мамукъдан сырылгъан кёнчеклери, аякъларында кирза чурукъла. Ташыйдыла къатынла – отдан къызыл кирпичле. Бетлери къап-къара бла къып-къызыл тамгъалы болуб, ташыйдыла отдан къызыл кирпичлени, ишлеген джерлени аман сёзден толуб, адам сёзчюкге уа джер къалмай.

Джылайды къыз, туугъан джеримден кетериги келмей, джылайды меннге, эртдеги, джангыдан келлик адамлагъа, бу джашаудан тарыгъа: «Бизни уа ариу сабийлерибиз боллукъ эдиле»...

Джауум а джауады, ёмюрде бошалмазлыкъ джауум. Джауады, тешикли бетон босагъада джангы ызла ишлей. Ызындан а уллу къар келди.

Эртден джарыгъы юйчюкге кирди, аш къанганы, шиндикни, тютюн кесекледен толгъан орунчукъну джарытды, полда кюзгю сыныкъланы джандырды.

Къыз а джылайды, менден бир зат сакълагъанча, джылайды, кетериги келмей, бу кечени созаргъа кюрешгенча: «Сабийлерибиз а ариу боллукъ эдиле»... Мен а не айтайым, джашар джерим джокъ, не айтайым мен къаршы адамыма? Джауум да бошалыр, джашайыкъ джайны сакълай, джайгъа ышана. Не айтайым мен, джашар джери болмагъан бир джарлы, джашар кючю къалмагъан бир джан? Ичимде аурууумдан сора джокъду сёзюм. Тиширыу бир заманда да терс болмайды, ол сени сабийингчады, сёз бла, иш бла ёсдюрюрге керексе аны, бу дуниядан кетер кюнюне дери.

Тиширыу – джерча, къаллай урлукъ себсенг да, аллай тирлик джыярса. Ол кече уллу джашауум болур ючюн, бир сёзчюк кереклилей къалды, ол сёзге уа, не къарыуум, не онгум джетмеди.

Къыз, кийиниб, эшикни кеннге ачды. Тёгерек чыммакъ акъ, босагъа юсюнде мийик къар тёбе, аякълары тобугъуна дери къарда, къа-





райды мени таба эки уллу кёк кёз, орталада джашил отну ичинде, марал бла, сюлесин бир бетли болуб, къарайдыла мени таба. Къар ичинде барады джашил джай джыйрыкъчыкъ. Барады, къарда бата.

Бир кесекден чыкъдым эшикге, джай тешикли чурукъларымда аякъларым суудула, башымда уа: «Тамбла шахаргъа барыргъа керек, башха дуниягъа баргъанча, юй, аякъ кийим, юс кийим, ачха, тобпа-толу автобуса, коммунистле, сыйдам, татлыбет комсомолчула, адамла, адамла, джабышмакъ, аллы, къыйыры болмагъан джашау, уруш...»

Джай да кетди, къыз да кетди. Бююн – къыш, тамбла уа созукку кюз.

Турбазаны радиосунда магъаналы ауаз: «Спасотрядха! Кузьма Савельев тас болгъанды, бютеуюгюз да аны излерге чыгъыгъыз», - дейди. Бир кесек замандан озду спасотряд, аякъларында темирле, къолларын-да уллу къаягъа урулуучу чюйле, оздула, баула бла байланыб, темир таууш эте, бетлерине къарасанг а – Эверестге баргъан сунар эдинг.

Ол тас болгъан адам а, эсириб, юй артында къар ичинде къалкъый тура эди, къатында андан да оу эки нёгери. Кими аягъындан, кими къолундан тутаргъа кюрешиб, ауа да къоба, кюнлерин безирей-безирей ётдюре эдиле.

Радиода ариу ауаз джырлайды: «Не жалею, не зову, не плачу...»

Уллу къар, джерни джабыб, тийреге шошлукъ келтирди. Алай юй артында, агъач ичинде, бир къауум агъач къакъгъычла терекни эрикмей-талмай талай эдиле. Аланы кыстайым деб барсам, уллу нарат тюбюнде кишичик уллу таш бла терекни ууата, бу сейирде, бу къарда, ташны да къайдан табханды, терек башында уа эрленчик. Кишичик ауузун кенгнге ачыб, кёкге буруб, сары тишлерин къобузча джайыб, тиш орталарында бармакъ къалынлыгъы юзгеле джыйылыб, аузуна да терек къабукъла тюше эдиле, къар бла къатыш, тюше эдиле, ауузун толтуралмай.

– Киши, не этесе?

– Да, кёрмеймисе, эрленни тюшюreme. Терекни кёб къагъа кетсенг, эрлен джерге тюшеди. Беш эрленден а – бир бёрк. Амурда тигролов болуб ишлейме. Былтыр беш аслан тутханма, майдалым да барды. «Джигер ишлегени ючюн» деген майдал. Областда депутатма, - деб, хурджунундан кызыл китабыкъны чыгъарды.

«Да, бу уа, бир терс сёз айтханымлай, джыйдырлыкъ кёreme узакъ тутмакъгъа», – дедим ичимден.





– Бу эрленлени уа хар джылдан машокла бла джыяма.
– Эрленле терек юсюнде болурла?
– Керти айтаса, машокга тюшгюнчю, ала терек юслеринде болуучу-дула, – деди джигер аслантут.
– Меннге да бир фуражкалыкъ агъыз, марджа, мен да, сенича, Аллахны бир джауу.

Кертда, физиканы законлары неге да келише болурла. Дженгил зат суу башында джылтырай, магъаналы, ауур зат а суу тюбюне кете, анда тунчугъа. Дуния уа къолайлы адамладан толугъа, ала таш бла терекни къакъгъанлай, кёкден тон тюшюреди. Бир таш бла терекден къоз, кёкден тон тюшюре.

Есенинни ким ёлтюрген болур?

«Не жалею, не зову, не плачу», «Будто я весенней гулкой ранью проскакал на розом коне...», «Машокла бла джыяма эрленлени...» Машокда буштукъ-буштукъ болуб, бир-бирлерине джабышыб джылайдыла эрленле.

Олтурама, джуургъаннга чёргелиб, олтурама кюйген тютюн ийисли юйчукде. Пол кюзгю сыныкъладан толуб, анда-мында къан тамгъала (къыз бармагъын кесген болур).

Терезе къатында къыз унутуб кетген эркиши чындайла, маймул бла пальма сураты, маймул банан ашай, кюле-кюле къарайды меннге. Мен а къарайма аш къангагъа, шиндикге, тютюн кесекледен толгъан орунга. Кёб къарай кетиб, бу юй хапчуклеча бир зат болуб къалама.

Хоншу юйчукде эсирген кишиле джырлайдыла, бу къыш бла кюз къатышхан узун кюнде джырлайдыла, джанларын, тамакъларын аямай: «Не жалею, не зову, не плачу...» – деб.

Мени уа ичиме бир ауруу кириб бууады джюрегими, мен а сокъураннган да этеме, джыларыгъым да келеди.

Барама шахар таба, тешикли джай чурукъларым къарда бата, барама, Есенинни сёзлери, гымых бычакъча, ичими къозгъай, джыламукъларымы келтире.

Джарсыйма бу къанлы джомакъда кёмюлген джылларыма.

Кёб аман ишлериме сокъуранама. Джылайма къызны джашаууна, кесими хомухлугъума, болумсузлугъума, джоюлуб кетген аслантутха.

Джылайма. Джарсыйма. Сокъуранама.

1979





ЫШАРАДЫ АЛЛАХ

Апендилеге къарасам, бабаслагъа къарасам, сёзлерине тынгыласам, Аллахны ышаргъанын кёрмейме, аны кюлгенин эшитмейме. Бу дунияда уа джокъду ышаргъандан бла кюлгенден акъыллы адам. Аллах кеси да джарыкъ сыфатлы болмаса эди, аллай адамланы джараталлыкъ туююл эди, джаратса да, сюерик туююл эди. Излейме эски китаблада Аллахны ышаргъанын, кюлгенин. Табама Библияда «Ионаны Аллах Ненавич шахаргъа ийди» «Бар, анда адамланы диннге бур, мени сёзюмю эшитмеселе, бу дуниядан къурутурма», – де. Иона Аллахны сёзюн эшитдирди адамлагъа, ала Аллахха бет бурдула. Аллах да кечди гюнахларын. Олтурады Иона шахар къатында, ачыуланыб: «Нек кечди Аллах бу гюнахлы адамланы?» – деб. Олтурады Иона, туюбюнден исси къум къыздыра, башын кюн кюйдюре. Тёгерегинде, кырдык, терек огъай да, чыгъана огъуна ёсмей. Бир кечени ичинде Аллах Ионаны къатында уллу терек ёсдюрдю. «Къууандынгмы, Иона?» – деб сорду Аллах. «Бек къууандым, Аллахым». Сора бир кечени ичинде Аллах ол терекни къурутуб къойду. «Джарсыдынгмы, Иона?» – деб сорду Аллах. «Бек джарсыдым, Аллахым, алай джарсыдым, джашарыгъым огъуна келмейди». «Сен джарсыйса бир кечеге ёсген, бир кечеге къуругъан терекге, мен а къалай джарсымайым джюз минг бла джыйырма адамлагъа, сол къолларын онг къолларындан айыралмагъан адамлагъа?» Алай, ойнай-кюле, Ионаны къатында терек ёсдюре, Ионаны къууандыра, ол терекни къурута да Ионаны джарсыта, кюле-кюле, Аллах уллу магъананы ангылатды.

Чегем сууунда чабакъ тута, джарлы Иона эсима келди. Бир гитче чабакъчыкъ тутдум да, айтдым Аллахха: «Ма бу гитче балачыкъны иеме суугъа, къайытарама Сеннге, къалай иги адатма, кёресе Кесинг. Сен а меннге гитче чабакъчыкъны орунуна, уллурагъын, семизирагъ-





ын бер». Бир-эки атлам атлагъанлай, аллай чабакъ къабмаймыды, аны кѣлтюргенни къой да къой, уллу терекни къалын агъачдан чыгъаргъанча, ууаныкны терен урудан кѣлтюргенча, ол Чегем сууну шоркъаларындан сѳйреб, сыртыма ауаргъа джетиб, кючден-бутдан бир уллу чабакъны чыгъардым.

Къууандым, Аллахха шукур, дедим. Ингирге дери айландым суу бойнунда, гитче чабакъны суугъа ие, уллусун суудан чыгъара, кюле-ойнай. Аллах бла сатыу-алыу эте. Аллах да джети кѣкню мийигинден меннге къарай ышара-кюле, хурджунуму, къолуму чабакъдан толтурады. Ашырдым Аллахны бир къууанчлы кюнюн. Ингирде бет-къол джууайым деб, чабакъладан толу уллу хурджунну тик ташха салыб, суу таба бет бурдум, сыртым бла сууда тауушла эшитиб бурулсам, чабакъларым, тик ташдан уччалаб, шуу-шуу деб, суугъа кетдиле. Аланы тутама деб, кесим да, суугъа джыгъылыб, адамыча джибиб, кючден-бутдан, бир бешисин артха, хурджуннга джыйдым. Иги да джибиб, сууукъсураб, дженгил хурджунчугъуму сыртыма атыб барама, тик тѣшге ѳрлей, юй таба.

Ингир. Джангы ай ышарады, меннге къарай. Аллах да кюледи, ауу-зундан ингир булутла чыгъара, кюледи. «Ким бла сатыу-алыу этеригинги билирге керексе», – дегенча. Мен да кюлеме, мийик дуппурда олтуруб, ачлыгъымы, джибигеними да унутуб, харх этиб кюлеме кесим кесиме. Къаяла да кюлгеними, къатлаб-къатлаб, артха къайытарадыла. Харх этиб, Чегем сууу чабыб барады, кюле-ойнай, Аллахны, адамны да къууанч кюнюн башха элlege, башха джерlege теркирек джетдирейим деб.





УРУЧУНУ ТИЛИ

Таурух

Эртденлик салкъында Сафар, кёзлерин ууа, баугъа кирди. Атын орунунда кёрмей: «Ай, ким эсе да кёзлерими ачмазча этди. Къанымы тохтатды, санларымы суутду», – деб тура эди къарангы бауну ичинде. Эртденлик суукъну эслемей, акъылдан шашхан адамча, не айтырын, не этерин билмей. Шашхан а этермисе – беш ийнек бла джыйырма къойгъа алышхан атынгы урласала! Энди къайсы джол бла чабайым, къайсы ауушланы къармайым, къайсы таугъа ёрлейим?

Сафар, уянганлай, бек алгъа атына къараргъа барыучу эди, аны бла ушакъ этмей, аны джылы бойнундан къучакъламай, кюнюн башламаучу эди. Къаршы¹ адамы тас болгъанча кёрюндю Сафаргъа.

Терк огъуна, чурукълагъа сыйыныб, къабталын къаблаб, шохуна, хоншуда джашагъан Махмутха чабды: «Махмут сабыр акъыллы адамды, алай бу иште ол да болушмаз», – деб келе эди Сафарны кёлюне. Юйге кириб, Махмутну уятды:

– Тур, марджа, атымы урлагъандыла.

Махмут, кёзлерин ачханлай:

– Менден сора адамгъа айтханмыса? – деб сорду.

– Кимге айтырыкъма, бет-къол джуумай, сенинге чабыб келеме.

– Ашхы, сора мен табарма атынгы, сен а ол табылгъынчы, юйюнгден чыкъмазгъа сёз бер.

– Ай, табхан эт ансы, ёлгюнчю огъуна турурма юйюмде уа.

Бет-къол джуууб, шохла ашаргъа олтурдула. «Ой хариб, Сафар, сен бла мен кёрген къыйынлыкъланы санасакъ эди, эртде огъуна «тарс» деб атылыб къаллыкъ эдинг. Гитче заманчыгъымда атам мени къошха джиберген эди. Къош тамадабыз Азрет, ма бу сен тургъанлай, кёз аллымда турады. Юч ёмюр джашасам да, унуталлыкъ туююлме ол адамы. Асыры узундан, мийик къош эшикден ийилиб кириучю эди. Болгъанын тюк басыб, ол къара джабагъыны ичинден уллу бугъа кёзлери къызара, биз да кёзюне, аузуна къарай: не айтады да, не этебиз деген-

¹Къаршы – джууукъ





лей, кюнлюбюз аны бла кете эди. Ол а: «Не олтурасыз, барыгъыз, башха кьошдан мал сюрюб келигиз», – дер эди. Бармай да бир кёр, джумдуругъу бугъа башыча болур эди, джелкенге джетдирсе, насыбынг да бар эди – эшик таба тюзелсенг, джел таууш этиб, эшикге чартласанг, алай болмай, ол джити кьош ташлагъа къабыргъанг бла тийсенг а – сау кёрейим. Ёлдюм дегенден башха оюмунг къалмай эди.

Къойну саулай кеси ашай эди, анда-мында бизни таба бир сюек сызса не билеим ансы. Сора кече-кюн да джатыб джукълар эди, асыры хурулдагъандан, аны къатында огъай да, кьошда огъуна кечинир онг джокъ эди.

Ма аллай адамла кёргенме джашауумда. Артда джардан кетиб ёлген эди, хариб. Бизге да, тийреге да бир тынчлыкъ келген эди, сёзге сыйынмагъан бир рахатлыкъ. Алан, сен а: «Атым, атым», – де да тур!

Сафар, бир кесекге бушууун да унутуб:

– Да шкогугъздамы джокъ эди, уруб ёлтюрсегиз эди уа муну, бир да болмай эсе да.

– Аман джигит а туююл эдинг, бир окъ бла агъызалсанг!

Махмут, шиндикде олтуруб, сагъыш этеди. Сафар отоуну ёнчелейди, ары-бери айланыб, сагъыш этеди. «Бу къалай табарыкъ болур атымы, юйден чыкъмай? Мынга адам ышанырча туююлдю».

Экинчи кюнню ортасында элчи Харун кириб келди.

– Да, эшитгенме, Сафар, джарсыгъанма, ким биледи, табылыргъа да болур. – Ызындан эшик джабылгъанлай, Махмут:

– Айтхан эдим да, атынгы табарма деб, ма бу кетген къарт тюлюкюню артха къайытар да, ол айтыр атынг къайда болгъанын, иги бла болмаса – аман бла айтыр.

– Къайдан билесе атны Харун урлагъанын?

– Ол биз, кесибизни тыялмай, бу хапарны бютеу дуниягъа джайгъан суннганды, биз а бир адамгъа да билдирмегенбиз. Сора бу къайдан билди, кимден эшитди бу хапарны?!

– Урлагъан эсе, келмей къалса эди уа!

– Сафар, хар ким да этген ишини ахырын кёрюрге сюеди.

Сафар, джеринден терк кьобуб, Харунну ызындан чабды.





ГИТЧЕ ЧУНГУР, УЛЛУ ЧУНГУР, ЧУНГУРЛА

Къарт киши джылларын санамайды. Джашау – джылла къоша, джомакъ а аланы къурута. Къарт киши кесин къарангы уругъа тюшген къызыл гюттюге ушатады, тышындан бир деменгили къарыу аны гюттю ичине джабышдырыб, къарангы уругъа тюртгенча кёрюнеди, ол а аякъларын джерге къаты тиреб, къолларын кенг джайыб, не затха илинейим деб, ол гюттю ичинден чыгъаргъа кюрешеди. Алай кимге, не затха илинсин? Джашлары, туудукълары болушаллыкъ туююдюле. Хар кимни кесини чунгуру, кесинг чыгъаргъа кюреш, ол ишде бир киши да болушалмаз.

Айхай, ол уллу чунгурну ичинде да гитчерек чунгурла, алгъа аладан къутулуб, сора ол уллу чунгурдан да чыгъаргъа кюрешириксе. Насыбынг, арбанг болса, анга илиниб, ол гитчерек чунгурладан: Харьков тюбюнде окружениядан, концлагерден, гулагдан, Орта Азиядан ёрлейсе, кюнню, джашауну излей ёрлейсе, тырнакъларынгы сындыра, джюрегинг тамагъынгдан чыкъмазча, эринлеринги къаты къысыб.

Ёрлейди, къарт атасы ишлеген уллу къызыл гоппандан, ашыкъмай, айран иче, анасы биширген ётмекден ашай, ёрлейди.

Акъ эчкини боюнуна къызыл минчакъла тагъа, къулакъларына къызыны сыргъаларын илиндире, ол эчкини ариу, акъыллы тиширугъа ушатдырдыб, анга къууана, ёрлейди ёрге, кюн таба. Сора, юзюлюб, къызыл гюттюлей, чунгурдан чунгургъа секириб, тюшеди уллу къарангы уруну ичине.

Джауады къар. Ашыкъмай, талмай, келеди уллу къар; арбазланы, орамланы, джерни толтура. Терезеден кёреме – кёк эшик къабакъла ачылгъанларын, къол арбаны тобпа-толу къар бла джюклеб, орамгъа къызыл бетли къарт киши чыкъгъанын. Бу сыйлы, таза къарт къатын кишиге джангы джаш къан къошханча кёрюнеди кёзюме. Келеди эсеме.

Барадыла адамла, барады къар, барады къарт адам, арбасын аллына тюрте. Къарайма къызыл бетли къарт адамгъа, ичимде уа уянады орус джомакъ «Снегурочка», уянады мени къабыргъаларымдан, сюегими, санымы гитче юйчюгюнден, башымы бла джюрегими теренинден.

Биринчи сабий бушууум келеди эсеме – джазда къар да кетер, Снегурочка да эфир деб, джарсый эдим. Къарайма къарт кишиге – ол да,





Снегурочкалай, эрибми къалыр, ёмюрлени къонагъы болубму къалыр? Кюн да болур, адамла да болурла, къарт кишини орунуна уа къуру шиндик къалырмы юй аллында?

– Не тигесе, къызым?

– Къояннга кёнчек тигеме, аппа¹.

– Не эшесе, къызым?

– Ёлыучукъга кёлек эшеме, аппа.

– Иги этесе, къызым, кёлек да эш, кёнчек да тик, къоян уллу болса уа, кичи къарындашына берирсе кийимлени, ёлыучукъ да, къууаныб, джылыда турса, аурумаз. Мен да бериучю эдим быстырымы кичи къарындашларыма, алай кийимле сакълаялмадыла аланы бу дуняда, къояннга уа, ёлыучукъга уа болушурла, сен анга толу ийнан, къызым...

Къарт киши джомакъланы кёрюб болмай, алай туудукъчугъуна къалай ангылатсын джашау джомакъ болуб къалгъанын, джашау аны эсин аудуруб, джомакъга атханын къалай ангылатсын? Джомакъ аны тегерек бюгюб, тютюнню ичине джабышдырыб, чунгурдан чунгурга атыб, къыздырыб, къып-къызыл этиб ойнайды аны бла, сабий тоб бла ойнагъанлай.

Бишди къарт киши Харьковну уруш отунда, андан чыгъарыб, исси суугъа атдыла – концлагерге тюшдю, анда уа къара кийимли адамла башха адамладан бёрюле ишлеб болгъандыла – рахын кёолан бёрюле.

Джомакъны америкалыла тохтатдыла, буздула, ол сыныкъланы ичинде кёрдю къарт киши анасыны кёолунда ётмекни.

Эшитди бурунгу ийисин, кёрдю акъ къаяланы терен тюшлерин, мийик макъамларын эшитди. Анасы арбазны сыйпайды. Атасы, чалкъы чала, ашыкъмай, айран уртлай, аякъларын илипинчикде джууа, акъ терекни ауанасында къалкый, – ол джомакъдан эшитиле эдиле сёзле: «Джашым, къалайса? Ачмыса? Джаланнгачмыса? Эрикме, сакъла, келирсе, кёрюрсе, джанынгы, джюрегинги тынчайтырса, айран да ичерсе, суукъ айран». Таула, анам, атам, кюн, кёк, джерим... Туудум, къайытдым... Ол джомакъ эрите эди чыгъана темирни, бузлагъан ёзенни.

Чыкъды къарт киши къара чунгурдан, терен урудан, къызыл бла къара къатыш джомакъдан. Совет аскер джетиб, джомакъны джан-

¹Аппа – акка





гыдан кѳураб башлады. Кѳара кийимле джашил болдула. Бу адамла да башха адамладан бѳрюле ишлеб башладыла – энди кѳара бѳрюле. Бѳрюлени – юйлери да хазыр, терен, кѳарангы агѳачда кѳара чунгур. Кѳарт кишиге кѳара кѳнчек бла кѳлек бердиле, аягѳына кѳара чурукѳ-ла кѳабладыла, башына кѳара бѳрк кийдирдиле, – кѳз тиймезча, шай-тан сукѳланмазча. Биягѳы тюшдю кѳара чунгурну ичине, терен уруну тюбуне. Ол кѳарангылыкѳда кѳрдю Заманны. Заман учуруб бара эди джашил кийимли адамланы, кѳызылджух¹, адам кѳандан тоймагѳан адамланы... Аланы сыртларында шкоклары, ѳшонлери «БГТО» значокладан толуб, сохан бла аракѳы ийис ѳте, уча ѳдиле кѳарт кишини кѳаты бла, башлары бла джер теше, джер теренине ташая, джаханимге. Уча ѳдиле, магѳанасыз сѳзле айтыргѳа кюрешиб, джаханимни кѳара босагѳасында айта ѳдиле джюрек тилкѳаула: «Мне приказали», «Если не я – то кто же?»

- Не тигесе, кѳызым?
- Кѳояннга кѳнчек тигеме, аппа.
- Не ѳшесе, кѳызым?
- Гылычукѳга кѳлек ѳшеме, аппа.

Бир ай ишлейди кѳарт киши, чурукѳ борчун тѳлеялмай. Бир джыл ишлейди кѳарт киши, кѳлек хакѳын бералмай.

ѳки джыл ишлейди кѳарт киши... Юч джыл ишлейди кѳарт киши... Тѳртюнчю джыл, тѳзалмагѳанлай, гудукаланы тамадаларын тешик кѳатында, «ѳркинликге – гюнахсыз чыгѳайыкѳ» деген плакатны тюбюнде олтуруб тура эди, джерге-джерге ура чурукѳларын: «Алтындан ишленмеген ѳсегиз, бир да билмейме», – деб. Гудука уа, шакѳы бетли тишсиз ауузун ачыб, ышара-ышара: «Алан не кѳычыраса? Полну да нек бузаса? Мен джыртхан чарыкѳланы адам огѳай, мешина да сана-яллыкѳ туююдю. Тѳшекден кѳобмай огѳуна джыртханма. Ол огѳай – юсюмде куююб да кѳалгѳандыла. Мен кѳычырмайма да. Кѳызыл малгѳунла шкок бергенлеринде, аланы кѳырсанг ѳди, немис ашха сукѳланмазча болгѳанма... Харьков тюбюнде ыйыкѳла бла гырджын кѳрмей турдукѳ... Атны, итни, киштикни – ким айыра эди, – бир кѳымылдагѳан зат кѳрсек – тут да аша. Шохум а, аллай джашауну джаратмай: «Ийсагѳан, немислилеге пленнге тюшсек ѳди, иги джашаудан

¹Кѳызылджух – кызылбет





сыртыбызны тюк басар эди...» Да тюшдюк ол иги джашауну ортасына – тюз къазан ичине тюшгенлей, къашыкъ да керек туююл, узакъ да барыб кыйналма – джала да аша.

Бир джол, шохум стройдан чыкътъанда, немисли, келе-келиб, шоккну къазыкътча тутуб, иги да къарыу салыб, сыртына джетдирди. «Тюк бармыды?» – деб сорътанда, ышарыртъа кюрешди, алай эринлери бир джанына кетиб, къулакъ къатында юшюб къалдыла. Къара шайтанны бла джашил шайтанны башхалыгъы болмаз. Юзюлдю джомакъ. Ачылдыла лагерни эшиклери.

– Не тигесе, къызым?

– Къояннга кёнчек.

– Не эшесе, къызым?

– Гылычукътъа кёлек.

Барады къарт киши къумлу джол бла полуторканы кабинасында. Эки къолунда биришер къара ётмек. Барады, бир джомакъдан къутулуб – башха джомакътъа. Халкъты таулада джукълаб, къумлада уянды. Бир джомакъ башхагъа къошула, ючюнчюсюн туудура, – джокъ эди ол джомакътны не аллы, не ахыры. Барады къарт киши джашил ёзенни. Ёзен къара адамладан топпа-толу. «Кимдиле бу адамла?!» – деб шофёрдан сорду. Шофёр а, кёкюрегинде хурджунундан салыннган гюлню сылаб, бурмачач башын ол къара адамлагъа буруб: «Да таулуладыла, отлай айланадыла». «Да, мен да таулума». Шофёр ышанмай къарады, таулуну къолунда ётмекни ким кёргенди, дегенча. Ётюрюк айта болур кишичик, не уа кюнде аз-маз къызгъан болур, неда бир бёлек «джюз граммны» аудургъан эсе да, ким биледи! Мешинадан тюшюб, кёрдю къарт киши къара бетли тишсиз адамланы – ала кырдыкны ашай эдиле.

«Салам алейкум», – дегенинде, ол адамла джыладыла. Къайсы тауланы, къайсы юйлени кёрген болур эдиле ол сёзледе? Адамла ичинде джукълай-джукълай айлана эдиле уллукъарын сабийле. Сабийчикни кюннге кёлтюргенде, кёрдю къарт киши: игиледен, сюекден ишленген къара юйчюкню ичинде къара джюрекчигин, бауурчугъун. Къаманы сермегенлей, гитче бычакътчыгъын чыгъарыб, джылай-джылай, ууакъ ююшле этиб, эки ётмек бла халкътны тойдурду.

Бек тамада джомакътчы ёлдю. Халкът къумлада джатыб – таулада уянды.

– Не тигесе, къызым?





- Къояннга кёнчек тигеме, аппа.
- Не эшесе, кызым?
- Гылычукъгъа кёлек эшеме, аппа.

Эридиле къарла. Къарайма терезеге: не этерик болур къарт киши, къалай джашаяллыкъды кыышсыз, къарсыз? Меннге ол бек магъаналы сорууду.

«Снегурочка» деген джомакъны ахырын бюгюн кёреме деб, къарайма терезеге.

Къарт киши, арбасына мешхут джюклеб, эл кыйырына кетди, андан къара топуракъ джюклеб къайытды. Топуракъны тегеди къарт киши адам да, мал да джаратмагъан ташлы джерге – ол кесине бачхачыкъ ишлерге кюрешеди.

«Бу хариб нек кюрешеди, андан эсе тешегин джылытса уа», – дейдиле бир къауум адамла. «Не кыызгъанч адамды бу, кюбюрлерин санаб санаяла болмаз, чумаданланы къой да», – дейдиле башхала.

Къарт киши телевизор бла рикшаны кёргенлей ангылады: арбаны тюртген – уруну джабады, бош олтургъан – кесине уру къазады. Уллу Заманны ичине эки гитче Заман сыйыныб къаладыла. Кёзге эки адам бир джол бла баргъанча кёрюнеди, алай бири алгъа барады, башхасы уа – артха. Юч джол бла юч заман бир гитче арбагъа сыйыныб барадыла, гитче джолчукъ бла.

Къарт киши уа барады, арбачыгъындан къаты тутуб, барады, къара топуракъны артында кыызара. Ол биледи: уруну джабар ючюн кёб джер ташыргъа керек болгъанын, ансы ким эсе да, анга бир джомакъ къураб, терен къара уругъа тюртюб къоярыкъды.

- Не тигесе, кызым?
- Къоянчыкъгъа кёнчек бла кёлек.
- Не эшесе, кызым?
- Гылычукъгъа кёлек эшеме, аппа.





ОЗРОК

Озрокну сабийликден танийма – бир орамда ёсе келгенбиз. Мен аны иги билеме деб турама, алай Аллахдан бла джаншакъ къатынладан сора адамны багъасын бир киши да билмейди. Озрок джашауну бир дженгил сабий оюннга санайды, алай айтыучуду: «Джашауну сызгыра кюле ётдюрюрге керекди. Адам улуну асламысы ол кесек затчыкъны ангылаялмайды, керексиз сагъышла башларын алыб, кюнлерин адамдан ётдюредиле. «Мени бир джашауум барды, аны кюле-кюле ашырлыкъма. Кёбле, джангызлыкъдан къоркъуб, бир-бирлерине къысылыргъа кюрешедиле, мен а къоркъмайма, джашаудан тюшерик сюекни кесим да кёлтюраллыкъма, бир да къоркъма, къолумдан ычхындырмам». Озрокдан керти сёз эшитген бек къыйын эди.

Хайыр тюшер мурат бла алдамайды, бош, кюнюн ётдюрюр ючюн, джашауун сейирирек этер ючюн. Ётюрюк айтмаса, джашау мутхуз, татыусуз кёрюне эди анга. Бир кюн нёгер джашым бла Озрокга къонакъгъа келдик. Тюш болгъанлыкъгъа, ол кёб болмай уянганды. Бет-къол джуугъунчу, отоуда сакълайбыз. Нёгер джаш, эрикгенден, Озрокну сагъаты бла ойнай кетиб, кеси да билмей, сагъатны хурджунуна сукъду. Экинчи кюн сагъатны алыб келдик. Озрок бизге аууз ачдырмай, кёзлерин, бетин бир бек къоркъгъан адамлагъа ушатыб: «Джашла, тюнене мени орунумда болсагъыз эди, асыры къоркъгъандан, къырылыб къалыр эдигиз. Кече тюз юй къатында ючеулен меннге юч бычакъ тиреб, сагъатымы сыйырдыла, бермезге да бир болдум, алай джукъларын иги джаратмадым да, бериб къойдум». Биз, уяла-уяла, бир-бирге къарадыкъ. Озрок башха отоугъа кетгенлей, нёгерим сагъатны терезе





аузуна салды. Бизни заманда уа кьолда сагъатладан эсе, ёшюнледе орденле кёб эдиле. Озрокдан чыгъыб, эшикте джыламукъларыбыз келгинчи кюлдюк.

Озрок бла кёлде къайыкъгъа миниб бара эдик. Къатыбызда, бетин кёкге буруб, къайыкъ ичинде джатады мазаллы джаш. Аны эрши чечек бети, кёкге бурулуб, иги сагъышладан толу эди. Сыфатына кёре, быллай кюнле джашауунда кёб болмаз эдиле. «Ой, бодуркъу, не табханса кёкде? Бизге да бир кесегин берсенг а!» Джаш ёрге кьобханда, андан да къарыулу кёрюндю. Озрокга къараб, алай келди эсине: «Не къарыусузса, кюзде туугъан шайтан кибики. Алай къарыусуз шайтан да аманлыкъ этерге не заманда да хазырды». Ол сагъышла джатдырдыла ол уллу адамланы къайыкъ ичинде. Ол джашха джаны бек ауругъан эди. Озрок аманлыкъны былай нек сюе болур? Бир кюн Озрок: «Кел, школгъа барайыкъ, сегиз классны бошагъаныбыз ючюн, тепсеу кибикиле къурайдыла». Сюелебиз школну уллу отоуунда. Озрокну класс тамадасы: «Нек сормайсыз тепсерге?» – деди Озрокга, анга кюйсюз къараб: «Дагъыда соргъанмы этесе, уялмай, свидетельствома поведениямдан «юч» салыб, дагъыда, тепсе, дейсе. Атам сен берген кьагъыт бла... этерге кюсемейди. Насыбха, ол кюн эсириб эди да: «Бардак, это хорошо», – деб кьойгъанды. Бу чертопляскагъа мен кьошулалмам, кесинг тепсе».

Ачыуланса да, Озрок хыликке этгенин кьоймайды, алай кюлкюсю кюйсюзлюк бла къатышыб, адамны джанын бек да кьыйнай эди. Кесинден сора, не кёк, не джер, не адам кёрмей эди. Мен, элге кетиб, бир бёлек заманны Озрокну кёрмей турдум. Шахаргъа къайытыб, Озрокга тюбегенимде, чыртда таныялмадым. Кёзлери сагъыш бла мыдах кьагыш болуб, дуниягъа, адамлагъа сейирсиниб къарай эдиле. Мен да анга сейир этиб къарайма. «Не болгъан болур бу адамгъа?» Минг устаз аны баргъан джолундан бураллыкъ туююл эдиле. Ичгини кьоюб, эс джыяргъа кюрешиб, джюрегин, санын иги да кьыйнаб, бир ариу эртденликде юйден чыгъыб, дунияны игилигине, рахатлыгъына сейирсиниб кьалгъан адамлагъа ушай эди Озрок. Аны ичинде джукълаб тургъан иги иннетле шош-шош чыгъа башладыла тышына, къатында адамланы джылыта, ол джылыудан меннге да иги кесеги джетген эди.

– Бир кюнчук ёлтюрюб кьойду мени, – деди Озрок. – Къыз ючюн эбзе джашны халек туюдюм, не къарыууму, не аягъымы аямай. Сау





болсун джаш, не милицагъа тарыкъмады, бир адамгъа да ол хапарны айтмай – юйюне кетди. Меннге уа Тибилисге соревнованиягъа барыргъа тюшген эди. Джер, керти да, тар кёре эдим, – тубеб къалмаймамы орамда ол адамгъа, ол мени къучакълады, юйюне чакъырыб, адамча сыйлады, эртденликде, ачха бериб, джолгъа ашырды.

«Бар ашхы джолгъа, сен иги адамса, алай адамгъа игилигинги кёргюзтюрге уяласа. Тышындан балчыкъ джабышса да, орталыгъынга ётмейди». Ол эбзе джаш ичими айыбдан толтургъан эди. Башха адам тюерик болур эди, андан къатыракъ туююлгюнчю турур эди ол туююлгеним эсимде. Ол кюн эски джашаууму бузду, энди джангыдан башларгъа керекди. Тюнене такси бла келеме да, терезеден къарасам, арбазда аякъларын кючден кёлтюре айланнган къазла юледен мийик кёлтюрюлюб бара эдиле – кычыра, къууанчдан толуб, – бек сейирсиннген эдим алагъа. Шофёр а, бош затны юсюнден айтханча: «Къазла кюзде учаргъа кюрешедиле», – деди. Къаллай бир джашайма, къазланы кёкде биринчи кёреме. Уллу Дунияны къатында ол а не – бош, кесек зат. Мен билмеген, кёрмеген, эшитмеген къаллай бир сейирлик зат болур! Джангыз бир кюнню къаллай бир уллу магъанасы болады. Не зат келтиреди меннге келир кюн, не зат къойдум озгъан кюнде?





ТЮШ

Ол, кече белинде уяныб, чыракъны джандырды, джашы унутуб кетген Фолкнерни бла Маркесни китабларын окъургъа кюрешди. Джукълай да уяна, бир тюшге кире да, башхасына чыгъа, тюшлери бир бирлерин алыша, къатыша, сууукъ суугъа сугъуб, исси суудан чыгъара эдиле аны.

Бодайбода техникумда окъугъан джыллары, акъ чана, кёк кёзлю акъ итле, къар, азатлыкъ, къырмакъдан туугъан тейри къылыч, аны ичи бла сууурулуб: итле, чана, кеси да, буз тюбюне суугъа кетгенча, ташайдыла къарангы уругъа.

Ол юйню бир бирине тизгенча, уллу тюкени, ол а – аны тамадасы. Тюкен тегерегинде тишлик этиучю джерле, сыра сатыучу тюкенчикле. Кабинетине джюзюб киредиле, уллу семиз чабакълача, тюкенчи къа-тынла, къызыл эринлеринде къызыл тюменле. Киредиле, чыгъадыла уллу, семиз, дженгилаякъ кишиле.

Фолкнер бла дуниядан кетген атасы, юслеринде аскер кийимле: къысхабучхакъ кенчеклери, къапталлары.

Суу бойнунда юйчук, юй ичинде кюзгю, къангала урулгъан кенг орундукъ.

Пионер лагерь. Эртденлик Шаудан сууну ийиси, тиш джууучу порошкуну ийиси, бир да болмагъан бир сейирлик кюн келликди, дейдиле. Эртденликни малтаб, кюн да келди. Сабийле юч кюннге таулагъа барадыла, келселе уа, къалын агъачны ичинде, тюз да тау тёппесинде от тегерегине джыйылыб олтурадыла. Джибиген плакатны азатлыкъ, эркин ийиси, къол аязына чыпчыкъ къоннганча – джукъу, сабий къол бла ишленнген къынгыр къара юйле суратда. Сабий шокчукъну





узакъ пашот ийиси тубанда. Какао, от, от къатында эртденлик къыр-
пакъ, башха узакъ джуддузладан тюшген таза къызчыкъла.

Чана, къар, азатлыкъ, кёк кёзлю акъ итле – буз тюбуне, сууукъ
суу ичине ташаядыла, къара шыякыла ичине, къара къабыргъада
кёк тамгъала.

Атасы ёлдю, дуняны ийислери да къурудула.

Терекден чапыракъ юзюлюб, джерге джумушакъ къонду – ким
эсе да ёлдю. Ийисле келе эдиле кече тюшюнде ол къуругъан макъ-
ам бла бирге, ол макъам тиш порошокла шаудан зынгырдауукъ суу
къылычны сууруб чаба эдиле кюн таба. Кюндюз а тюкен, юй, ме-
шиналаны, тюелеча, тизиб: «Москвагъа! Москвагъа!» деб, – аша-
рыкъ, хапчюк ызындан.

Атасы бла Фолкнер хаки бетли къысхабучхакъ кёнчекле кийиб,
къапталла къаблаб турадыла шошлукъну тынчлыкъны ичинде. Сёз-
ле, тенгиз ичине ташла гюрюлдеб къуюлгъанча, къурудула. Ол тын-
члыкъгъа да тынгылай, атасы, Фолкнерге да къарай, сездри бу джашау-
да табсыз, насыбсыз джашагъанын, дагъыда келди эсине – хайт десем,
башха тюрю джюрютсем кесими, келе тургъан джылла, саугъагъа
бергенча, берирле бу тынчлыкъны, рахатлыкъны. Фолкнерге къарай,
аны китабындан бир тизгини эсине келди: «Скотт Фицджеральдны Па-
рижи. Хемингуэйни Парижи – эки башха тюрю сахарладыла. Сен
къайсын джаратаса?» – деб сорду Фолкнерге. Ол а, зат айтмай, къолла-
рын кенгге джайыб, ышарды, алай а къолла Фицджеральдны Пари-
жин джаратабыз, дедиле.

Атасы бла Фолкнер олтурдула сюрмеленмеген къангаладан иш-
ленген кенг орундукъда. Олтурадыла, сабыр акъыллы патчахлача,
олтурадыла, эки арыгъан ишчича, ма бусагъатда Парижни ишлеб бо-
шагъан эки къууанчлы арыгъан ишчича... Тынчлыкъ ичлеринде. Тын-
члыкъ тегереклеринде.

Ол а, тынгысыз чыпчыкъча, тегерегинде къанат къагъыб:
«Особняк» бла «Шум и ярость» дегенни бир адам джазгъанды
деб, ким айтыр? Фолкнер джууаб къайытармады, ышара-ышара,
къолларын кенгге джайды, атасы да олтура эди, ышара. Фолкнер
къолларын кенгге джайса, аны ичинден китаблары учуб кетгенне-
ге ушай эдиле, бир кишиге къуллукъ этмей, чыпчыкъла кюз арты





бла бизни ниетлерибиз термилген джерлеге уча эдиле, сёзге сый-ынмагъан терен магъаналы кёкге элте.

Ол атасындан, Фолкнерден келген тынчлыкъгъа тынгыласа, узакъ джерлени кёклююгю кёрюне эди; ол кёклюк чыпчыкъланы джюреклерин зынгырдата, кёчгюнчюлюк, тынгысызлыкъ къуя болур джюреклерине.

Тёгерек, артылмагъан нарат агъачдан ишленнген юйчюк, уллу агъач орундукъ, эки къаршы, джууукъ адам, кёкча – мийик, джерча – терен магъаналы кёкге элте.

Агъач ичи бла баргъан суучукъ – къызчыкъ (хаки бетли къысхабучхакъ кёнчекчиги, къапталчыгъы) ойнайды, сюймекликден толуб, агъач а, джаш сыбызгъысы бла къолунда, сууучукъгъа къарай, анга къууана, кёлю тола джырлайды сюймеклик макъам. Кёк да кюледи, ауузун кенгнге ачыб.

Атасы, юйден уллу акъ шышаны чыгъарыб: «Мени уа акъ къоньягъым барды, анга бир ашарыкъчыкъ мадарсанг эди»... «Да, бир кёрейим», – деб, джашы агъач таба атланды.

Чабадыла акъ къарда кёк кёзлю акъ итле; кёкден эртдеги тюшлеринден. Эртденликде шаудан сууну ийисича, тиш порошокну ийисича, туады макъам.

Суу бойнунда – дуния бла бир адам, ала асыры кёбден, джер да кёрюнмей эди, кийимсиз, джалан адамла...

Къызыл бояугъа боялыб – темирбаш кёпюр. Сууну башха джанында, джашил нарат ичинде – чыммакъ уллу юй. «Маркесни юйюне нечик ушайды», – деб келди эсине. Ол юй таба кёпюр бла тебреди. Бир эки-юч атлагъанлай, автомат таууш эшитди. Ол атхан адамны да кёрдю, окъла, тюз къатында чанчыла, кёпюр къангаланы тюшюре эдиле; кёпюр а – бек узун. «Артхамы къайытайым, алгъамы барайым?» – деб, арсар болуб турады тюкенни тамадасы. Артха къараса – кийимсиз адамла джуууна, кюле. Ала мараучуну кёрмейдиле. Къатларында адам ёлсе да, кёрлюк туююлдюле. Огъай, артха къайытыу джокъ. «Сууну ол джанына ётерге кюрешейим, не боллукъ эсе да», – деб, кёпюр туююне ташайды. Чириген къангала тюше эдиле, къара букъу болуб, суугъа. Алай ол къангала кёлтюре эдиле тюкенчини ауурлугъун. Окъла уа, кёпюрню темир башына тие, тюше эдиле суугъа.

Автомат таууш тохтады, тюкен тамадасы, кёпюрге ёрлеб, акъ юй





таба тебреди. Аллындагъы мараучу, хар атламдан кършыдан-кършы бола, ёсе келе эди. Къолунда автоматы джокъ, аны орунуна бир уллу балтасы. «Бусагъат, балтасын кёлтюрсе, бу акъ юй кызыл кёрюнюр... Кызыл агъач, кызыл суу, кызыл джууунуучула, кызыл хойнухча бурулурла, мени да джутарла», – деб, кёзлерин кысыб, сын къатды. Кёзлерин ачханда, къуанды – бу уллу балта бла сюелген – аны танышы, базарда эт сатыучу. Эт сатыучу балтасын агъач ичине сызыб, къучакълады тюкен тамаданы. «Къалай иги болду келгенинг, эртдеден бери адам бет кёрмегенме, адам сёз эшитмегенме, къаллай бир заман озду, къалай къуандырдынг сен мени. Аллах сени алай къуандырсын». – Эт сатыучуну кёзлеринде – мыдахлыкъ, эртдеги соруу: «Сен джетмеген джер джокъду, сен кёрмеген адам джокъду, меннге бир уллу сурат келтирсенг эди, ол суратда кёб адам болурча, сора – китабла». «Охо, келтирirme», – деди тюкен тамадасы. Тюкен тамадасы бла юй таба бара, эт сатыучу ауузун джабалмады.

– Кимникиди бу ариу юй?

– Да, не билейим. Мен мында къарауулма. Бери мараучула келедиле, аланы иш болур. Сен меннге бир уллу сурат бла кёбюрек китаб келтирсенг, ачхам – дуняа бла бир, алай андан бу агъачда не файда! Бу юйге мараучула келиб, кече-кюн да джаныуарланы кырадыла. Мыллыктарын юй ичине джыадыла, юйню поллары – къан джугъу тюк бла къан ийис бир заманда бу юйден кетмейдиле.

Эт сатыучу, орундукъ тюбуне узалыб, уллу машокну чыгъарыб, ачханы къотарды.

– Китабла алырса, суратла алырса, ол суратлада кёб адам болсун. Мен зат кёрмегенме, зат окъумагъанма, билмейме, къалгъанмыдыла дуняада суратла, китабла? Келтирмей къойма, ансы мында акъылдан шашыб къалырма, деб къоркъама.

– Мени уа нек марай эдинг?

– Биринчиден, мен сени мараучу суннган эдим, артда джууунуучу. Иги къарасам а, сен – не мараучу туююл, не джууунуучу туююл. Сен кимсе?

– Мен а джашаучума.

– Ол джууунуучуланы бек уста танийма, бир-бирлерине ушай, джууунадыла, кюнде кыза. Зат эшитмейдиле, зат кёрмейдиле, аланы





ёлтюрген эригиулю ишди: бирин ёлтюрсенг, кьалгъанлары не зат кёрлюк тьююлдюле, не зат эшитирик тьююлдюле! Суу санларын кюнде къурутханча, магъананы да алай къурутадыла. Мен китабла окъургъа сюеме. Мараучула уа: «Китабны юсюнден сёз эшитсек, тюз чычханныча агъызырыкъбыз», – дейдиле. Мени уа эсимдеди: дунияда китабла да бар эдиле, адамла да суратла да джашай эдиле... Сен келтир аланы меннге.

– Келтирirme, – деди тюкен тамадасы.

«Меннге да сабийлерим, мараучугъача, къарай болурла, аланы кёзлеринде мен ата тьююлме, – мараучу болурма эшта да».

Бу ийис къайданды? Бу кючлю нарат ийисни хорларча, неди бу?

Ол а – отоулада джаныуар мыллыкла чирийдиле. Чириген ийис акъ юйден чыгыб, нарат ийис бла кюн ийис къатышыб, мараучулары башларына чабыб, къолларына сауут тутдурады. Учхан, секирген, сюркелген болсун – джан-джаныуар агъачда къырылады.

Сууну башха джанында уа джууунуучула, кюнде джылына сууда джуууна, зат кёрмей, зат эшитмей, санларын кечиндиредиле.

– Бу адамла къайда джашайдыла, не ашайдыла?

– Чабакъланы къоллары бла тутадыла, узун къынгыр тырнакълары бла джыртадыла. Джашагъан а – кырдык ичинде, суу бойнунда... Бир-бирлери уа, шыякыла къазыб, анда турадыла.

– Энди уа теркирек кет, мараучула келселе, сени да, мени да ёлтюрмей къоярыкъ тьююлде. Тышындан келгенни ала кёрюб болмайдыла.

– Алан, джангызлыкъдан къоркъмаймыса?

– Джангызлыкъдан къоркъмайма, – деди эт сатыучу, – мен къоркъгъан джалан да – мараучула бла джууунуучула. Да, бар энди, ашхы джолгъа бар. Бек тилейме, китабланы, суратланы унутма.

Тюкен тамадасы къаты сагъыш басхан къалын агъач ичи бла барады. Нарат терекни башында – чыгыр сюлесин, нарат тюбюнде – зыккыл-зыккыл бёрю териси... барады агъач ичи бла тюкен тамадасы. «Керти да, джангызлыкъдан къыйын къадар болмаз бу дунияда. Къоркъуу. Къоркъуу неди десенг – рахын джаныуарла, мараучула бла джууунуучула».

Учадыла акъ къарда кёк кёзлю акъ итле, учадыла кюн таба, джер бла кёк кшошулгъан бирликге. Чана, бетон бла басылгъан джерге тирелиб, сызды тюкен тамаданы сыртындан.





Шайтан джерни эки тенг этди, ортасында чек – уллу уру, ол уруну, не кыйыры, не теренлиги, не узунлугъу джокъ. Джерни бир бѐлюмюнде – джангыз адам, башхасында – кългъан адамла. Бетон бла басдырды шайтан джерни, кѐкню, ол кѐк бла ийди уллу ачыу кѐзлю чыпчыкъланы. Атлайды адам, бетонну аягъы бла басыб, учу-кыйыры, кенглиги болмагъан бетонну, атлайды, джалан аякъларын сыдыра...

Джерни башха бѐлюмюнде адамла турадыла, бир-бирлерине джабышыб: кѐзлери джерге къарасала, биреуню чуругъун кѐре, кѐзлерин кѐкге бурсала, биреуню бурунун, сакъалын кѐре, кѐк бла джер бетоннга кийилгенлерин а эслеймедиле. Къууанадыла, ойнайдыла, кѐкде кюйсюз чыпчыкъланы тауушларын эшитселе: «Зурнукла барадыла», – дейдиле. Кюйсюз чыпчыкъла ашыкъмай барадыла бетон кѐкде, къанатлары бла темир таууш эте, ызлары бла ох-тух эте, келе эди адам – джангыз адам, кыйыналыб.

Кюйсюз чыпчыкъла учуб тюкеннге киредиле, аны тюкенине, ѳшонлери бла миялаланы кыра, терезеде къан джугъу ызла къоя, аякълары бла ѳтмекни, этни малтай, къан бушто¹ эте.

Эшикден, терезеге къабланыб, адам къарайды, гитче кѐзлери уллу кызыл кѐз орунларында джуууна, къарайды тюкенни ичине.

Джаратады ол адам кюйсюз чыпчыкъланы ишлерин, чыпчыкъланы да джаратады. Аны имбашында олтурады бир чыпчыкъ, къаргъадан бла къушдан туугъан бир зат.

Тюкен тамадасы чабады тюкен ичинде, аякъларын аш батмакъдан кюцен чыгъара, кычырады. Ол кычырыкъда сахар да, тюкен да, бетоннга басдырылгъан кѐк да, джер да тас боладыла.

Тау сыркыу суучукъну бойнунда кѐреди тюкен тамадасы, кѐреди кесини джашлыгъын, тѳгерек агъачдан ишленнген юйчюкню. Атасын Фолкнерни, ала уллу зынгырдауукъ кѐк бла учадыла узакъ джерлеге, терен ѳмюрлеге, биз аязгъан кюнлербизде, халал тюшлерибизде термилген джерлеге. Учадыла, заманланы, дунияланы чеклерин бузуб, ичлери тынчылыкъдан, рахатлыкъдан толуб, учадыла...

Учадыла акъ къарда кѐк кѐзлю акъ итле, сабий тюшледен, кѐкден тюшеди макъам эртденлик, шаудан бла тиш порошок ийис эте.

¹Бушто – чанчылгъан





Джуургъанны кесине тартыб, кызы: «Папа, тур, мама, ишге кеч къаласа», – дейди. Биринчи кере кёргенча, къарайды кызына, тынчлыкъ бийлеб джанын, санларын да. Кызына къарай, ышарады, къолларын кенгнге джайыб. Къатыны бла джашы киредиле, ол, алагъа къараб, ышарады, къолларын кенгнге джаяды. Ала уа, сейирсиниб, айтыр сёзлерин унутуб, эшикни шош этиб, отоуларына кетдиле. Тюкен тамадасы айланады, аякълары бла отоун ёлчелей. Шифоньерни ачыб, сейирсинеди ол къадар хапчюкге: лайка плащла, кёлекле, чурукъла, дагъыда – кёб затла...

Ол орундукъгъа олтуруб къарайды терезеге. Эшикте уа джауум джангы мешинасын джуады. Кызарады мешина, мутхуз кюннге келишмей.

Джауум уллу юйлени кынгыр этди. Джукъусураб тургъан адамла джибийдиле, орамда автобусну сакълай. Джауум къатышдырды юйлени, адамланы, заманны. Сагъатны ичи къотарылды. Къуру акъ дингилде кёрюнедиле озгъан джылла, къуру акъ дингилде кёрюнедиле келлик джылла.

Анда-мында чёге, тура, айлана: сора аш къангадан теша аракъы бла стакан алыб, терезе къатына олтурду. Тюкен тамаданы бир джары барлыгъы келмейди. Былай олтуруб, джауумгъа, орамгъа, адамлагъа турлукъ эди къарай. Онгу болса.

Джашауунда биринчи кере бир джары барлыгъы келмей эди.

Чана, чабыу, учуу, акъ къар, кёк кёзлю акъ лайкала – шкафында къара плащла.





БЭЛЛА

Поезд теберге кёб кълалмагъанды. Мен вагон кыйырында тю-тюн иче турама, къатымда беш тиширыу палтончукъларын кълаблаб олтурадыла. Аланы ичлеринде онтёрт-онбешджыллыкъ къызчыкъ, – юсюнде ариу кёнчеги, тону. Уллу къара кёзлери дуниягъа къарайдыла, аланы халаллыкълары биринчи къарагъанлай билинеди. Кёзлери эртде джашагъан адамлагъа ушайдыла. Меннге къарагъанда ол кёзле: «Джер табалмаймыса бу дунияда, гитче адамчыкъ?» – дегенча кёрюнеди. Аны къатында кесими бир гитчечик, насыбсызчыкъ болуб кълалдым. Къайда кёргенме мен бу адамы? Къызчыкъ джашауумда бир иги юзюкню эсиме тюшюрдю. Бу бетни кёб кёргенме джашлыгъымда, сабийлигимде, бусагъатда да кёреме тюшлеримде. Эсиме сабийлигим келеди. Биз Къыргъыстанда турабыз. Эсимдеди гитче юйчюгюбюз, джер поллары бла, аны ичинде кюйген гардош, чай хауун ийис этеди. Анам, арыб, ишден келсе, мени, бешджыллыкъ сабийни, къатыма олтуруб, патеген чыракъны джандыры кесини шош, халал ауазы бла китабла окъуйду. Сюйген хапарым Бэлланы юсюнден. Анам, аны окъуй, Бэлланы ёлюмюне джетсе, джылайды, мен да, анга къараб джылайма. Мени гитче джюрекчигим бек джарсыйды анга. Анам, башымдан сылай: «Кёб кълалмагъанды, джашым, биз Бэлла джашагъан джерге барырбыз, келир ол кюн да». «Кавказ, Казбич, Бэлла» деген сёзледе бир уллу мийик магъана эшитиледи. Бир кюн озмайды мен анама сормай: «Бэллагъа къачан барлыкъбыз?» – деб. Кёб кълалмагъанды, джашым, – дейди ол. Бир кюн къууанч бетли анам, юйге кириб: «Чаб, джашым, тугъан джеринге сау кълал де, ата-аналарыбызны джуртуна барабыз».

Мен бачхабызны ичинде, гитче аякъларымы сары, къаты Азияны джерине кюйдюре, чабдым анама, сора элни кыйырына бардым.





Джаз. Джер къызыл шахшахлагъа кийинибди, тегерекни от алгъанча кёрюнеди, ол от узакъда акъ къаялагъа джетеди, аллай ариу кёкню уа андан сора джашауумда кёрмедим.

Биринчи кюн поездде къууана келеме, билмей эдим ол мени сабийликден къачырыб баргъанын.

Сабийлигим кызыл сакъаллы акъ къаяланы тюрбюнде къалды. Терезеден кёзюмю айырмайма. Агъач къыйырында акъ сабийле, ала бла тишируу, аны юсюнде да акъ кийимле, ала, акъ бёркчюклерин силкиндире, поездни ашырадыла. Гитче станцияда тохтадыкъ, аны къатында нарат агъач, адамла нарат бутакъчыкъланы келтиредиле, ёмюрюмде аллай ариу ийис эшитмегенме. Мен да бир бутакъчыкъ сындырыргъа умут этдим, алай анам иймеди: «Кавказда быладан эрикген огъуна этерсе», – деб. Москвада эки кюн турдукъ, мен, анамы кёолундан къаты тутуб, бу къадар халкъгъа, бу уллу юйлеге сейирсиниб, башымы ары-бери буруб айландым орамлада. Суусаб болгъанымда, анам наразан алды, аны ичгенлей, мен бош суу тиледим. «Аллай суу узакъдады, биз анга джеталлыкъ тюрюлюбюз», – деди ол. Тёрт кюн озуб, юйюбюзге джыйылдыкъ. Терезесиз эки отоу, къабыргъаладан штукатуркасы тюшюб. Бир ёксюз кёрюндю ол меннге, эшикке чыгъыб, босагъада олтурдум. Тегерекде къаяла. Мени тюз джерге юреннген джюрегим къабханнга тюшгенча болгъан эди. Тегерекде бир аман кёлчюк да кёрюнмейди, кюн да алай иги джылытмайды, Азиядача.

Мен, босагъада олтуруб, джыладым. Анам, къатыма келиб: «Билемисе, джашым, адамгъа туугъан джеринден багъалы зат джокъду, тёз». Ол мени эл къыйырында шауданнга элтди. Суу иче, джылай турады анам, мен аны кёолундан сылай: «Не болгъанды, нек джылайса, сен кесинги джерингдесе да?» «Уллу болсанг, ангыларса, джашым». Бизни бла бир он юйюр келгенди. Къалгъан юйле мыдахсыныб турадыла. Меннге дунияны башында бизден сора халкъ болмагъанча кёрюнеди...

Бу кызычыкъгъа къараб, тюшюрдюм сабийлигими эсима. Сора, къатына барыб: «Ингир ашхы болсун, Бэлла», – дедим. Ол, мени эртдеден бери таныгъанча, сейирсинмей, джууаб къайытарды. Къатындагъы тишируула бир аман къарадыла меннге. Мени джерим вагонну ортасындады. Джукъум келмейди, кызычыкъгъа къарайма, ол да кёзлерин бир джанына бурмайды. Меннге алай кёрюндю, биз аны бла узакъда сёзсюз сёлешгенча. Кызычыкъ мени къатым бла вагонну баш-





ха кыйырына джюрюб башлады, башын ёрге кёлтюрюб, бир ариу атлайды. Эки-юч сагъатдан сора аны «къарауулары» джукъладыла, ол а джатмайды, не эсе да бир зат сакълагъанча. Мени къатымда семиз тиширыу уллу таукъну джыртыб кюрешеди. Ол, кызычкыны джюрюгенин эслеб, къахмекёзлерин меннге буруб, бир табсыз ышарады, мен анга къарамайма. Кызычкы мени къатым бла озса. «Бэлла», – деб чакъырама. Кызычкы джангы атын джаратханча кёрюнеди. Бэлла, джеринде бир кесек олтуруб, биягъы вагонну кыйырына тебреди. Экинчи полкада киши джукълаб турады, уллу, къарыулу кёолун вагонну ортасына узатыб. Бэлла бир кесек ийилсе, кыйналмай ётерикди, алай ол кишини кёолун бюгюб ётдю. Бетинде кюркыгъаны эсленмейди. Вагонда бир-эки чыракъдан кългъанлары ёчюлгендиле¹. Юйге сагъат юзде джетерикме. Бэлла, джеринде олтуруб, мени таба къарайды. Къатына барыргъа да бир болдум, алай мени бир тыйгъан зат барады, аны бир аманлыгъын кёрюме, деб кюркыама, сора, алай болса, сабийлигим да алай ариу кёрюнюрюк туюлду. Эсиме биягъы сабийлигим келди. Кече анам меннге китаб окъуйду, кюндюз а сабийле бла кёлде джууунама, сора джылы кумда джатыб, мийик акъ тереклеге къарайбыз... Поезд тохтады. Мени станциям. Кёкден ууакъ кърчыкъ джауады. Бэлла эшик къатында турады, бетине кърчыкъла тюше, эрий, джыламукълары бла къатыш боладыла. Мен анга къараб, бир сёз да айтмайма, анга тыйыншлы сёз дунияда джокъду.

Ичим кюру, тамагъымдан ким эсе да буугъанча кёрюндю. Поезд шош-шош Бэлланы элтиб барады, ол ичимден бир затымы алыб кетгенча кёрюнеди, аны орнуна джангы, ариу сагъышла кёойгъанды. Вокзалны тегереги темир хуна бла бегитилибди. Къарыусуз чыракъчыкъ терекни джарытыргъа кюрешеди, аны бутакълары уа, ары-бери силкине, мени артха, туугъан джериме къайытарадыла...

1987

¹Ёчюлгенди – джукланнганды





ТИШИРЫУНУ КЮЧЮ

Асыры кызыудан терекле, кырдыкла ёлдюле, адамла уа, сап-сары болуб, айланыргъа кюреше эдиле, керти да кюлкюлюкдю да? Да ким кюлсюн, кюллюкледе къарыу къалмаса, кюйсюз а – къалай кюлсюн, – аны кюллюгю келмейди.

Бир кюн джокъ джауум, эки кюн джокъ, мыдахландыла бусурманла:

– Ала, не ашаб турлукъбуз, кесибизде зат джокъ, базаргъа – узакъ-да джууукъда болса да, адам къоркъмай къалай кирсин ары – айгъа ишлегенинги бир кюннге къоюб чыгъаса, ол киши айтхан тюз кёре эдим: «Джашау къазауатды», – деб. Айхай, ол уруцда хар ким сени тешиндиреди, ким болгъанын а билмейсе – базармы, тюкенми? Да не айтсанг да, джауум а керекди, бир да болмаса да, башынг салкыныракъ болур да, бир зат ангыларгъа кюреширсе, ансы эртденликде олтурсакъ Къуджайны арбазында, харибле, кюн батхынчы турабыз. Огъай, джауумсуз а джарамайды, ким не айтса да.

Сора джыйылдыкъ элчи къатынла:

– Келигиз суу боюнуна, бир джауум тилейик, дедик кесибизде да, Атикагъа да, олсуз ишибиз боллукъ туюл эди, къоюн-малынг рахын болса, келир ветеринар, топпа-толу дарманлары сумкасында, кюрешир, хариб, малны тешик-элек этер, алай Атиканы чакъырмасанг, ишинг болмайды, ол хариб а бир-эки адамыча, тынгылы туюкурсе, адамынгмы, малынгмы, сабийингми – секириб аякъ юсюне сюелмей къалмай эди.

Маймёзмю, дейсе, кисейми, дейсе, гыранчамы¹, – табханыбызны

¹Гыранча – тикген джаулукъ





юсюбюзге къабладыкъ да, омакъланыб, суу таба тебрэдик, аллыбыз-да Атика бир уллу къынгыр таягъы, уллу сары лаудан байрагъы бла. Кишиле уа ызыбыздан къоркъуб къарагъанча кёрюндюле, огъесе кюлгенми эте эдиле; да ала да сау кюнню ныгъышда – кюнде – къызгъан болурла, харибле, несин ангыларыкъса кюнде къызгъан адамны – кюлгенми этеди, джыларгъамы тебрегенди, харибле...

Къазанларыбыз, эки къой мыллык, кампетлеми дейсе, къалачмы дейсе, ол мен бек суйген мысты кампетле огъуна бар эдиле.

Шорпа ийисге сабийле джыйылдыла, аланы ызларындан итле келиб, дуппурлагъа къондула, итледен сора – киштикле, - къарайдыла узакъдан, сейирсиниб бизни хахайыбызгъа, къатыбызгъа уа келмейдиле. Да, харибле, ала да кюнде къызгъан болурла. Биз а джырлай эдик – ким тауча, ким орусча, Чартте хариб а арабча окъургъа кюреше эди. Турдукъ алай ингирге дери. Юйге келсем, эрим олтурады, саргъалыб, кёзлерин да ачалмай асыры къарыусуздан, дагъыда хыликке этерге кюрешди: «Къатын, ол къалгъан миллетлеге, джерлеге джауарыкъ джауумну юсюбюзге джаудуруб келе болурса». Не айтайым бу джазыкъгъа, кесим да арыгъанма, Аллах ючюн, айтсакъ.

Экинчи кюн аллай джауум джауса болмаймыды, ючюнчю кюн да алай, ыйыкъ джауду, аллай ырхы келди. Эрим а: «Энди барсагъы джауум тилей, элде да бир къауум тиширыу къоя барыгъыз, ансы къоркъутдугъуз да, кимни къоркъутхан эсегиз да, ол а джауум орнуна ырхы ийди», – деди.

Не айтайым мен бу харибге? Алай болур, дейме, сёзлеринде бир магъана...

Къараб тургъанма, ким къалай джырлагъанын, ким не тилегенин, – тишсиз Хафисат кёкге бурулуб къычыра эди; огъай, хариб, къарт а туююдю: былтыр юч къатын бир джанындан, юч башха джанындан талашханда, хариб, правлен аллында, ма анда харибни агъызгъан эдиле тишлерин, биягъы кишиле уа олтура эдиле, бир къангагъа басыныб, кюле, не кюлкюлюгю барды анны? Сора, хариб, ол семиз Халимат, ол да бек къычара эди, огъай, хариб, ауруучу туююдю, эрикгенден кече да, кюн да ашаб турады, ол Хафисатдан да къаты къычыра болур эди, – да хау, алай къычарса уа не джауум да ырхы болуб тёгюлюр. Ол семиз Халиматны тишлери да бар эди, алай ол да къычыра эди, бир таууш чыгъа эди ол Халиматны ичинден, да мени джауум да алай къычы-





рыкъ этмесин, да хау, алай къычырсанг, ырхы келтирмей не онгунг бар эди! Кёкден ташла къюулсала да сейир туююл эди.

Джаншай кетиб, кулёгуму да джыртдым, ол халкъ ариулукъгъа джюрютген кулёкладан, Пугачёваны сураты бла, бу чюй кибики да чыгъарыргъа керекди.

Джашым а орус китабны окъуйду – «Лицеисты при встрече целовали друг другу руки»... Окъу, хариб, окъу.

Ма энди суу кетгинчи олтур, юйюнгде телевизоргъа къараб, анда уа иги зат кёргюзтюрлеми дейсе? Ма бир дирижёр – башын ары силкиндир, бери бур, къоллары да ары-бери, тауукъну ычхындырыб тутал-магъанча, ёледи, хариб, бир джапсыз кеси уа, бу дирижёрланы теличкилеге ушатама. Сора Дон Кихотну кёргюзтдюле, ол да джартыракъгъа ушайды, ансы испанлы къатынла гардош къаза тура эдиле, аны атын эшитгенлей, ишлерин да къоюб, бир кюддюле да, бири уа – тюз Хафисат, алай къалай ушайды ол анга! Ма энди къара да тур телевизоргъа, суу кетгинчи. Ма алайды джашауубуз, хариб...





ИЙНАНАМА

Басындыла джауумла. Джауумладан сора уллу ырхы келди. Элден шахаргъа дери кёпюрлени гунч этди. Сууда болгъан чабакъланы эл ичине тёкдю. Кюмюшча джылтырай эдиле чабакъла, тереклеге илиниб, джолланы толтуруб баргъан мешиналаны тохтатыб; сора биз келдик машокла бла, тазла бла, джастыкъ, тёшек тышла бла. Къып-къызылла болуб гитчебиз-уллубуз да, терлегенлерибиз бара, сёз айтыргъа заман табмай, джыйдыкъ чабакъланы...

Эмеген ашайды адамланы... аны да даулаша-туйюше, къазауат эте, сора, минг джылны аны хапары унутулмайды...

Мен а юч чабакъ ашадым. Кеси мийиклигим – бир метр бла джетмиш сантиметр, чабакъны узунлугъу уа бир метр бла бир къарыш. Татыулу уа татыулу чабакъды алтынтамгъа чабакъ. Ашадым, алай, не медет, – тоймадым. Менден маджал ашагъан адамла да болдула...

Ашайды эмеген адамланы.

Ала, бир олтургъаным бла, бир ашагъаным бла джашауну джомакъ этиб къойдум да!

Башыма бир тынгысыз сагъышчыкъ келди: ырхы да джокъ, чабакъла да къайсы ашалды, къайсы чириди... Суу боюнуна барыб, энтда да бир тутарем. Кёб сагъыш этмей, чабакъ тутар кереклерими да алыб, тебретим суу джагъагъа, десем да, суу боюнуна.

Кюн да къыздыра, ныгъышда да, не айтырса, хапар дегенинг къыза. Аламат ариу кюн. Чабакъчы чыбыгъымы кёргенде, ай-хай-хай, кюдюле акъсакъалла: «Бу сууда юч джылдан сора тутсанг – тутарса, бюгюн а чабакъ огъай – чабакъ къурт да не хазна!» Артха бурулургъа да бир болдум, дагъыда суу таба болдум. «Акъыл – иги», – дей келе ичимден. Алай акъыл бизни не кюннге джетдирди? Джерни буздукъ, кёкню тешдик, не къалды биз этмеген?

Акъылыбыз ёсе келди. Ийнаныуубуз, ышаныуубуз а аздан-аз бола барады. Тюз болурла акъсакъалла – быллай ырхыдан сора не чабакъ туталлыкъса?

Да сууда чабакъ джокъду деб, къалай ийнанайым?

Арыйса суу бойнунда. Бир ташдан бирсине секире, джыгъылмаз ючюн, къанатлыча, къолларымы къанат этиб, кенгнге джайыб. Попла-





вогум а – батмайды. Ыргъакъгъа кесим тагъылсам да, батарыкъ тюйюлдю, деб да бир келди кѣлюме. Тюзю да, ол эсиме келгенлей, батса болмаймыды! Узакъ джерледен кѣчюб келген къанатлыча, джаныб, учду кѣкге алтын тамгъалы чабакъ, къыркъыб алгъанымда, джагъа джаны тартыб. Къууандым: барды сууда чабакъ!

Ийнама! БАРДЫ СУУДА ЧАБАКЪ!

Джашил суудан секириб чыгъады алтын тамгъалы чабакъ кюн джарыгъында джууунургъа, кюнню джылыуунда джылыта сууукъ суу тамчыланы, ызына къайытыр ючюн джашил салкъыннга.

...ДЖЮЗЕДИЛЕ КѢКДЕ ЧЫПЧЫКЪЛА, УЧАДЫЛА СУУДА ЧАБАКЪЛА!..

Бу джаны барны джаратыр ючюн не къадар кюч керек эди Алла-хутагъала!

Мен акъыллыма деб, къылгъа бир къынгыр тот темир ыргъакъны тагъыб, Аллах сыйлы кюнде: «Джашасын, – деб джаратхан бир джан-ны къалай джояма?

Къарадым тегерекге – джан да джокъ, джалан да – кѣк, джер, сора суу джагъада алтынтамгъа чабакъ бла мен...

Ашайды эмеген адамланы...

* * *

Джатады таначыкъ. Ышнырчыгъын бузмайын, джатады таначыкъ. Къарадым кѣзлерине. Кѣрдюм сора ырахат кѣзлеринде гитче, гюнахлы адамчыкъны.

Тойму этебиз – къан къанатыб, бушуубузнуму ашырабыз – къан къанатыб. Ким кѣб къан къанатса – барындан да ол сыйлы. Бир ауаз келди: «Да, малны Аллах ашаргъа джаратханды». Башха ауаз а: «Огъай, сынаргъа!».

Джумуртха, джау, къаймакъ, бышлакъ... санаб санаяллыкъ тюйюлсе. Джан къоратмай, къан къанатмай тояр зат – элпек. Да, сора нек джашамайма да, гюнах алмай джаныма?

Юйге тебредим, сагъышларым бир бири бла кюреше, кюн да бата, къызыл къаяла бла бир бола, ныгъыш да чачыла, чыракъла да юйледе джана, суу таууш да эшитиле узакъдан, теренден, ол сууда уа учадыла къанатсыз чыпчыкъла, адамла да, джер да, джаны барла да, учадыла ёмюрлюкню ичинде.

Ашайды эмеген адамланы...





Джаны ауругъан – саулукълуду, джан кыйнагъан – саусузду, саусуз – ёгюзню кёлтюрюр, саулукълу – адамны кёлтюрюр. Джаны барды, деб айтабыз төрт аякълылагъа, сёзлени да, магъананы да тас этиб, соябыз аланы, бёрю сойгъанлай. Къойлагъа миниб, ким барлыкъ болур джандетге? Джанынгы аурутуб, ёсдюрюб, къарыу джыйсанг, ол элтир джанынгы тынчайыугъа. Джашау – сынауду, алданмайыкъ бу джашауда. Башха джашауларыбызда. Ёмюрлюкде бу джашау – гитче сынау. Джан ёлмейди, сюек чиригенликге. Джан джашайды, кёкден кёкге сюзюле – кёкле бошалгъынчы. Джокъду ёлюм дунияда, дунияда ёлюм джокъду.

Ашайды эмеген адамланы...

Эриген бузну бушууу, шуу-шуу деб, суу бла, заман бла къатыша барды ёмюрлюк салкъыннга. Биз да келгенбиз Шумер ёзенледен. Азияны къумларына, туюлеге китабланы джюклеб. Азиядан дарий джол бла Кавказгъа. Черек сууда ёмюрледе юзюлмеген дарий сагъышла, сёзле бал бла тузлукъ къатыш. Ай, Ана, джылла, бир, эки, юч, төрт, ёмюрле. Тюрк аскерни юзюгю, дарий джолну къараууллары, сакълагъыз – келирбиз деб, кетди улоу аскер, сакълайбыз джылла, ёмюрле. Самаркандны гюллери кийизлерибизде, ол гюлле, джерден къуруб, эсибизде чагъадыла. Алан, бий къулну атын айтыргъа кюсемей, алан дейди, сёзден кърал туугъанды. Эмчек, Чек эм. Чек бла Эмчек, туугъан джерни тамырлары. Арба – ат, Арбат, Балчут – балчыкъ, биз да сепгенбиз миллетлени ичлеринде сёзлерибизни, ёседиле ала ара шахарланы ортасында. Таулу халкъ – суу башында юзгелеле, суу тюбюнде шумер топуракъ китабдан юзюк – туугъан кюнюбюз, туугъан джерибиз, тамырларыбыз, терекни уа суу элтди, къычыр-къычырма, суу тюбюнде уа акъ ташла, къайсы джерлеге чачды сёзлерибизни?..

Ашайды эмеген сёзлени...

Тойларыбыз – къан. Ёлюмюбюз – къан.

Ол къанны юсюнде джангы сёзле тууадыла. Бу кёб мал сойду, бу уа – аз. Муну сын ташы – ариу, мунукъу – эрши.

Сёзлеге тынгылайбыз – джаны барны соябыз.

Ашайдыла адамла джаны барны, ашайды эмеген адамланы.

Джер белине чёргеледиле сангырау, сокъур кюнле...

1985





КЪАЛАЙ КЪЫЙЫНДЫ ДЖЫЙРЫКЪ ТИКГЕН

Къыйынды джыйрыкъ тикген къарт адамгъа: джарыкъ джыйрыкъ тигесе да – джарамайды, мутхуз а – ёлюмню эсинге тюшюреди. Къыйынды къарт адамгъа джыйрыкъ тикген, хар халы суургъанынг бла эсинге джашауунг келеди.

Айыра келдим да, бир кюл бетли къумачны сайладым, сайлагъан къыйынды, тикген а къалай этейим? Кюнле да оза, турады къумач, столда атылыб.

Шахарда бир къызчыкъгъа тюбедим, къууандым, къаршы джууугъум эди, кеси да кийим тикген джерде ишлей эди. Былай-былай, тигелмейме джыйрыкъны, деб тарыкъдым. «Да не къууанчынга киериксе?» – десе болмаймыды. Кеси уа бир ариубет, кёз акъларында бир къызыл тамырчыгъы да джокъ, суукъда да, джылыда да тюрленмезлик гинджи кёзле. Ичимден ачыуландым, сора джаным ауруду бу джаш адамгъа. «Ала, бу не бла джашау этерикди бу дуняда, кёкде минг кюн джандырса да Аллах, бу адамны кёзлерин джылыталлыкъ туююдю. Адам тели болургъа да болур, ариу да болур, аны аны ючюн не махтааллыкъ, не сёгаллыкъ туююлсе, алай адамны борчу, биринчи борчу бу дуняда – суюдюмлю болгъаныды, ким да болаллыкъды, болама десе; бу джазыкъ адам къалай джашарыкъды, бу ауур къанын къалай кёлтюраллыкъды, къалай элталлыкъды узун джашау джолда? Сёзлери эсимден кетмей эдиле: «Не къууанчынга киериксе? Не къууанчынга киериксе?» – «Ала, къууанчым а болгъанмыды джашауумда? Болгъанды», – дедим кесиме сора, бир уллу къыптыны алыб, къумачны кесиб башладым.

Анам ишлей туруб джырлаучу эди ол джырладан, бирчиги эсимдеди, бири десем да, бир къауум сёз ол джырдан. «Узакъ джерде, Бессарабияда, урушда таулу аскерни ёлтюредиле, джатады ол адам узакъ джерде, къатында джууугъу-тенги болмай». «Бессарабия» деген сёз зынгырдаб кире эди тар, къарангы отоучугъубузгъа, узакъ, мен таны-





магъан джерни ийисин келтире, джанымы термилте, аурута ол анда ёлген бизни таулу адамлагъа. Акъ къумачда тигеди анам алтын тигиуле, джырлайды, джылай: «Бессарабиягъа барыргъа...»

Ол джыр джашауубуз болуб къалыр деб, ол заманда кимни эсине келе эди?

Къыйынды джыйрыкъ тикген, джыйрыкъ да тигиле, джашауунгу да джангыдан джашай келесе бюгюнню кюнледе, ол таза кёзлю къызчыкъны кёзлери бла сюзюле, тюшедиле джерге, ёмюрде бошалмазлыкъ джауумча.

Болгъанмыды джашауумда къууанч? – Болгъанды.

Бусагъатда ол кюнлени эсима тюшюрсем, не затыбызгъа къууана эдик десем, кеси кесиме ангьлаталмайма, ачлыгъыбызгъа, джалангачлыгъыбызгъа? Кимни кулак эте эдиле, кимни бандит, бир-бирге доносла джаза эдик, къалгъанла иште джырлай-тепсей, юйде да джырлай, не затха къууана эдик?

Кюнле бир кюнча болгъан эдиле, адамла бир адамча. Не затха къууана эдик, эсирген адам не затха къууанады, ким билсин... Шахардан атлы келсе, тамбла уллу джыйылыу боллукъду десе, кеч-къарангы демей, халкъ, муштухул болуб, джыйылыб къала эди, тюз бир адам джыйылгъанча. Ауузда биринчи огъары элле келиб башлай эдиле, арбала, тачанкала, джанларында атлы аты бла, эшекли – эшеги бла, итими, киштигими, – элде чычхан огъуна къала болмаз эди. Арбала, атла, омакъ кийиннген адамла, къобузла, джырла, ай къатыш бла къум къатыш болуб, тюз суу келгенча, келе эдиле. Огъары элле тюб эллени джутуб, келе эдиле джырлай-ойнай. Солуугъа тохтасала уа, ким солуй эди?! Анда-мында отла джана эдиле, къарангы ауузну джарыта, къаялада адам суратла, къая башларында къынгыр-мынгыр наратланы джарыта. Эт ийис букъу ийис бла къатыша, джырла, тепсеу, къычырыкъ-хахай алай джанын келеди тар аууз ёзен таба. Уллу ёзенде уа таулу элле къатыша эдиле черкес элле бла, эки уллу узун суу уллу тенгиз болуб къала эди, – джырлай эди, тепсей ол тенгиз тау, черкес джырланы, тепсеулени бирге къатыш этиб, алай бла кюн тауусулуб, ол уллу суула бурула эдиле артха, биягъы тар ауузгъа кириб, хар элде азая-азая, баш элде гитче суучукъла юйчюклерине кирселе, кёк, зынгырдаб, таууш этдириб ие эди тийреге тынчыкъны.

Ма аллай заманыбыз да болгъанды – бир уллу къызыл байракъны





такъмасакъ юй башына, къабхан къабыныбыз да татымай эди. Аллай заманда... Не затха къууана эдик? Билмейме. Артда уа ол къууаннган-чыгъыбыз ючюн, кѣб джыларгъа тюшдю.

...Мешиналагъа тыгъыб, джетдирдиле уллу ѳзеннге, ол бизни къууанч ѳзенибизге. Ол ѳзенден башлаб, кѣб ѳзен кѣре келдик, вагон тешикледен къарай, бир-бирибизге къысылыб, келе эдик, зат ангыламай, ѳлгенлерибизни асырай джол джанында. Анамы джыры уа эсимден кетмей эди – «Бессарабиягъа барыргъа, ол бир адам ѳлген джерге» биз бютеубюз да барабыз, биягъы кюнлерибиз да бир кюн болду, адамларыбыз да бир адам болду. «Бессарабия» деген сѣзню поездни темир чархлары атдырыб, кесиб келе эдиле: Бес-са-ра-бия, Бес-са-ра-бия...

Ортангда, ичингде ариулукъ болмаса, кѣзле бош кѣре эдим, бу къызыл гюлле джашил ѳзенде эрши кѣрюне эдиле. Орталыгъымда, ичимде кѣзлерим болмаса, ол тышындагъыла уа бош кѣре эдим.

Къалай ангылатайым сеннге, ариубет, сууукъ къызчыгъыма, къууанч не болгъанын? Кѣзлери адамны эки-юч атламдан ары кѣрмейдиле, кѣзню акътылы джокъду; кѣреди джюрегим туугъан джерими, анам акъ дарийде алтын тигиуле тиге, атам ашыкъмай билейди чалкъыны, бизге къонакъла келедиле. Атам: «Барчы, къызым, ол бешджыллыкъ бышлакъны келтир», – дейди. Бышлакъ бусагъатда юйледе аллай бир турмайды.

Къууанч неди? Аллах бергенни мен сѣз бла къалай ангылаталайым? Келиб тѣгюлдюк ѳзенни юсюне, къатышдыкъ, бир юйюрлю болдукъ къыргъызылыла бла, немислиле бла, оруслула бла, – сау болсунла. Эртденликде уа къагъа эди бригадир терезелени, чыгъыгъыз ишге, деб. Ишлей эдик чюгюндюр бачхада, бачха десенг да, – къыйыры-чеги джокъ, тура эдик, атла кибики, джашил кишенле аякъларыбызда, кюн, бошалмагъан, тауусулмагъан кюн башыбызда; джангыз терекни тюбюнде олтура эди бригадирибиз, уллу харбызны ашыкъмай ашай, ышара; иги адамгъа ушайды, аман адам эсе да билмейме – бизни кѣрген ышарырма, олтурады терек тюбюнде джарыкъ бетли семиз къыргъызылы.

Джашил тенгизге къарайма, джокъ къыйыры, джокъ кенглиги, къалай джол табарыкъды адам туугъан джерине бу ѳмюрлюкде бошалмазлыкъ джашилден? Къарайма адамлагъа – къап-къара къоллары, къып-къызыл кѣзлери, джашилге батыб аякълары, башларындан кѣк бла сары. Сюеме андан бери къызылкѣз адамланы. Ишлейме, ичимде





уа – джыр, джашил наратларыбыз, салкъын юлерибиз, юй къатында шауданыбыз; къарайма адамлагъа, ала да, бири къалмай, мени джырымы джырлайдыла. Джырлайбыз сѣзсюз, ишлейбиз бу джашил тенгизде джолубузну, къууанч темир таууш этдириб джетдирир ол джол юлерибизге, келир ол кюн да.

Турама шахарда мийик юлени ичинде, юлени тамырларын кѳрмейме, къарайды къызчыкъ меннге таза кѳзлери бла, бир къызыл тамырчыгъы джокъ кѳзлеринде, тынгылайма – ичинде джыры джокъ. «Не къууанчынга киериксе? Не къууанчынга киериксе?» – темир тауушла башымда, сѣзню кесген темир таууш – не къуу-анч-ынга, не къуу-анчынга – сѣз болмаса, джыр къайдан болур?

Къарайма ариубет къызчыкъгъа. Муну къууанчын мен былай джазыкъ нек этиб къойдум, бу, джыры болмай, муну бушууун да кесимикине къошуб къойдум. Муну мен былай джазыкъ нек этиб къойдум, бу джыры болмай къалай джашарыкъды? Сѣзлени туураб къалай джашасын? Адамны кѳзюнде бир гитче къызыл тамырчыгъы болмай къалай джашасын?

Туурайма къумачны, джыйрыкъ а тигалмайма. Къалай тиксин адам джыйрыкъны ол ёлгенлени бетлерине тыйыншлы, бу къызымы джыры тууарча, къалай тигейим?

Туурайды къыпты къумачны...





ИЗЛЕГЕН ДЖЕРИМ, ИШЛЕРИК ЮЙЮМ...

...Барам кыйыр эл таба, тенгиз бла джер бирге кюшулган чекге – таулагъа. Эл тюбюнде ачыкъдан бла мырхыкладан¹ кютулмаган ёксюз итге – Бораннга. Ол итни халал кёзлери менде болсала эди, бу шайтан мюйюзле алай таб джарашыб кялмаз эдиле бетиме. Кялай аздыла бу дуняда мюйюзсюз адамла. Кёбюсюнде Ибилисни тамгасы – мюйюзле, эринлеринде кярангылыкъны байрагъы – кынгыр ышаруу. Джашауну джомакъгъа буруб бошадъкъ...

Эл кыйырында уллу парыз. Пионерле бла сабийле биченликлени ариулаб ишледиле ол уллу таш тёбени. Да бу дуняда сабий бармыды?

Отоумда Элиягъа тюбегенча, джашауда да сабийлени алай терк-терк кёре турама. Кялай азды бу дуняда сабий. Ала кёб болсала эди, джер былай мыдахмы боллукъ эди. Къралсызлыкъда, кюнсюзлюкде, тутмакъ-да джашаймыды сабий? Сабий биринчи солуюна дери сабийди.

Турады эл кыйырында парыз – тегерекде тешледен аз-маз алаша-ракъ. Председатель, бармагъын ол таш тёбеге тиреб: «Ма бу сени юй орунунг болсун», – деб, мени иги да кюуандырды. Тёрт уллу агъачны тёрт джеринден уруб, юслерине тёрт кюрукъ бегитиб, башына джаум ётдюр-меучю къара кягъытны атыб, юй ишледим. Анда-мында атылган къан-галадан тешек кюрадым. Эки чуругъумдан джастыкъ ишледим, кенче-гим бла тешек къангаланы джабдым, габрамдан джуурган кюрадым. Олтурады Боран да босагъада, юйюбюзге кюуана. Ай, ит болсам эди, чабар эдим эл тегерегинде, эркинликни аякъларым бла ёнчелей, джюре-гим а кырдыклада, соймекликгеча, бата... Футбол тобну кябакъгъа уруб чабады, кюуанчдан толуб, нёгерлери кенчегине-кёлегине илине, ол да

¹Мырхыкладан – мурджар





аладан ычхыныб, чабады сабийлик таба, бюгюннго кюнню аякълары бла малтай, чабады, къууанчылыгъы тегерекни толтура...

Айхай, орталыгъынг къууаннганлыкъгъа, къарт аякъларынг ол къууанчны джеталмайдыла. Мен – адамма, андан аманы неди десенг – къарт адамма. Къартлыкъ джашлыкъдан арыгъанлыкъмыды? Къартлыкъ душманланы ичинде джюрегине келишмеген джермиди? Къартлыкъ – мангылайынгда – Аллахны кьолумуду? Барама, кьол арбачыкъны ташдан толтуруб; барама, келегим аркъама джабыша; барама, сюек таууш джыларыгъымы келтире. Ташны тышы такъыр болгъанлыкъгъа, ичи, тенгизча, эркинди, ол тенгизде чайкъаладыла кёк да, джер да. «Кеси заманы – ташла чачаргъа, кеси заманы – аланы джыяргъа да».

Мен адамма, башха тюрлю айтханда, адам – эркинликди. Таш да – эркинликди. Къаты къучакълайма ташны, тутмакъдан эркин эте. Эки эркинлик, бир болуб, адамны ариулайдыла, джууундурадыла, сезимин, магъанасын ёсдюредила. «Сизиф насыблы эди», – деб бош айтмагъанды Камю. Сизиф насыблы эди, нек десенг, тегерегинде ишлери-кючлери болмагъан адамла джокъ эдиле, эркинлик – эркинликге болушханды, тышындан чырмау джокъ эди. Ичинде, къарангылыкъда, джукълаб тургъан Аллахны саугъалары, таш бла къучакълашханда, терлегени инджи болуб чыгъа эди джарыкыгъа, таш да аланы сюрмелеб, накъут-налмазла ишлеб, къууандыра эди джюрек кёзлюлени.

Адам ташны къучакъласа, эркинлик тууады, ол эркинликде уа – Аллах бла Аллахны саугъалары.

«Энди бетли, бетсиннген – къыйырдады», – дейди Сартр.

Сизиф а, къатында бир адам болмагъанлыкъгъа, ташны аллына сапыб, энчи бетин сакълайды.

Сизиф бла эркинлик.

Гитче мюрзеучюкде эркинлик кёбдю, бютеу мюрзеу джыйылгъан ындырдан эсе. Гитче мюрзеуде болгъан эркинликни уллу шахарда табмазса. Тенгизден эсе тенгиз боюну уллуду.

Суу джаныуарла излеидиле туугъан джерлерин. Джер бла бир солуу-лу болуб къайыталмайдыла артха – тенгизге.

Эс – мурдарды.

Сёзден эсе китаб бояуну ийиси магъаналыды. Ишден эсе тюзлюк кёбдю. Сёз – эркинди, иш а – кюнню джакъчысы.





Джюрегинг бла ишлегенинг: джыр, сурат – ёмюрлюкдюле. Къол бла ишлегенинг – биркюнлюкдю. Юйюнг, тура кетсе – оюлур, салгъан терегинг, ёсе кетсе – чирир, туудукъларынг тёртге-бешге айлансала, унутурла атынгы. Сёз – Аллахдан, иш – адамдан. Джылла бла джылла керекдиле бир керт, ёлюмсюз сёзню айтыр ючюн.

Тышы такъыр затны орталыгъы – эркин орам, отоу – тутмакъ. Ёзен – кёзге, ташны ортасы – эсге бла акъылгъа.

Не уллу кёзлю да бол, сокъур кёргенни кёралмасза.

Барама арбачыкъгъа джабышыб. Барама, вокзалдача – бир поезд кете, бири – келе, эшикле ачыла, темир чапыракъла, поездни кетген-келген заманын кёргюзтген чапыракъла. Барама, башымда – шахарла, къралла, миллетле къатыша...

Мескуа. Иван Грозный – биринчи большевик. Джылайдыла боярла.

Опричнина – биринчи ЧК.

Большевиклени тереклеринде юч бутакъ: патчах, боярла, мыжыкъла.

Россейде большевизм – ёмюрлюкдю, ол бетин тюлендирирге боллукъду, алай орталыгъы уа бирди.

«Тогъуз адамны джашау магъанасы – онунчуну тели этер ючюн».

Петербург. Пётр I. Россей немис габра къаблаб турады. Сакъал бла бирге бет тас болду.

Петербург. Достоевский. Адамланы башлары балчыкъдан аз-маз кёрюне. Шахар а – хауада. Адам а – шахарында къалгъан адамланы излей.

Гоголь. Невский. Орам. Тубан. Орамда тубандан ишленнген адамла. Джити кёзлю сокъургъа саналады, сокъур – джити кёзлюге, акъыллы – телиге, тели – акъыллыгъа...

Джазальермы эди Сервантес экинчи «Дон Кихотну»? Огъай.

Ишлеялырмы эди Шекспир джангы Гамлетни? Огъай.

Гоголь а «Ёлген джанланы» джазаллыкъ эди.

Закийми эди Гоголь? Закий деб кимге айтыргъа боллукъду?

Джартыракъла керт акъыллыны ёлгенин сезиб, анга эсгерме ишлейдиле.

Гоголь – надэкзистенциалистди. Надэкзистенциалист – джашауну къатышлыгъын, магъанасызлыгъын сезген. Ол магъанасызлыкъны ангылар ючюн, адам керекди.

Гогольну уа «Ёлген джанларында» адам джокъду.





Гоголь, адамла бла джашауну къатышлыгъында, тюз орталарына кириб, джангызлыкъгъа таяныб, джылай-джылай, мардалыкълны излей эди.

Мардалыкъ а неди – «келеди тазалыкъ, джыламукъла ичинде титирейди кюн бутагъы, илхамгъа къууана турадыла джарыкъ бетли терекле», – деген эди Семёнланы Руслан, «Семён». Къычырады Гоголь! «Мен эшитеме, мен кёреме, болушгъуз бу хылы-мылыны ариуларгъа». Юй къолайлыла уа, Гогольну уллу бурунуна тирелиб, зат эшитмейдиле, зат кёрмейдиле. Кёредиле бурунун, алай Гогольну къыйын ишин сезмейдиле. Адамла бла кесини ортасында чырмау болмазча, Гоголь бурунун бетинден кетериб къойду. Айланады Петербургда Бурун, айланады, ариу атлагъа миниб, сыйлы, татыулу ашарыкъла ашаб, мийик къуллукълну бийлеб.

Гоголь Архимедни муратларын къабыл этди, кесини бурунуна таянчакъ болуб, джерни джеринден тебдирди.

Гогольну китабларында – дуняа бла бир тынгысыз адам. Адамны къой да, шайтанла, къуртхала, сибиртгиге къонуб, адам сыртха ёрлеб, таякъдан ат ишлеб, учадыла, бу къатыш джашауну андан да бек къатышдыра. Джер табалмайды кесине Чичиков, атлары рахын болуб, арбасы да сына-бузула, айланады, мыдах Россейни ёнчелей. Гогольну адамларыны джокъду джоллары, ала сынджыргъа тагъылгъан бугъагъа ушайдыла. Нек тохтатыб къойгъанды Гоголь къралны да, адамланы да?

Заман – сагъат сыфатлыды. Ол сагъатны юсюнде юч къутургъан ат Россейни сюйреб келеди, атланы аллына чабады къычырыгъын тыялмагъан халкъ, – орталарында – Гоголь, джоргъа чюйле бла урулгъан Христосча, турады. Эки къарыуу бир-бирлерини мангылайларын чачмаз ючюн.

Гоголь. Ауруйду башым. Джарыкъды Христосну джолу, адамла да барадыла, хар ким кесине джолчукъ ишлей, барадыла, джылай, къычыра, шайтанланымы къркъутадыла, огъесе Христоснуму къыстайдыла?

Невский – Арисейни бузлагъан, адамсыз ёзени.

Барама, арбачыкългъа ташла джюклеб, аланы ташыб бошасам, аланы тюблеринде джер кёрюнюр, ол джерде уа, Аллах айтса, юй ишлерме.

Сизиф – таш бла. Петербург. Ишчи – ишине, къуллукълчу – къуллукълчуна, шахар а – хауада. Юйле бла адамла бир-бирлерине келишалмайдыла. Юйле, тенгиз бойнунда сууукъ ташлача, бир-бирлерине да, адамлагъа да бюсюремей. Адамла уа – юйсюзле, ёксюзле.





Къазан собор джарыйды кюнде. Къарда джанадыла апельсинле. Багъалары ракетле кибик, кюн отундан толуб, бир кесекден кѣлтюрлюк-дюле юйню ол эртдеден бери термилиб тургъан кѣкге. Юйле бла адамла келишалмайдыла бир-бирлери бла.

Нарсана Грушницкийледен топпа-толуду. Ала, къауум-къауум болуб, сюеледиле орамлада, ариу кийимлерине къууана, кеслери кеслерине къу-була.

Самарканд. Айланадыла меджгитле ичинде эсирген адамла, айланадыла, аман сѣзле айта. Темирлан. Китабла джюкленнген туюле.

Берлин. Гитлер. Кюедиле китабла.

Эдил. Барадыла бурлакла, кемени сыртларына джюклеб. Сакълайдыла аланы ленинле бла дзержинскийле. Сакълайдыла, ач адам ътмекни сакълагъанлай...

Москваны арасы Гогольну «Диканькасыча» болуб къалгъанды. Пушкинни эсгермесини къатында сюеледи джашил сакъаллы кишичик, бойнуна уллу джыланни чѣргеб. Тюшеди суратха тиширыу, джыйрыгъы табанындан боюнуна дери джырылыб. Айланадыла чыгыр итле, къайда не къабайыкъ деб. «Алай джарсыйма бу итчикге, баууруму чыгъарыб, анга ашатырыгъым келеди».

Бюгюнню итле ышанмайдыла поэтлеге. Грозныйде айланадыла итле, бауур, сюек айырмай, ълюклени ашай. Заман джарыкъдан-джарыкъ бола барады. Итле ычхыннгандыла эркинликге. Эркинлик – къайда да биреуню джанын-санын къыйнама.

Башха адамгъа сакъ болсанг, эркинсе.

Халкъны джартысы, къолларына резин къязыкъла алыб, излейдиле сыртлары болгъан адамланы.

Кюз бийлегенди дунияны, Агъадыла Тарковскийни алмалары, ашайдыла аланы атла, адамла уа – урушда. Кюреше эди поэзия: «Ачха да телемегиз, ътмек да бермегиз, ишлетген этигиз бизни», – деб.

Чехов. «Степь». Джашлыкъ. Кѣк ъзен. Сюймекликсизлик. Њзенде – тенгиздеча. Њзенде – джубранланы сызгыргъанлары бла эсирген кишиле. Излейди джашчыкъ тѣгерекде сабий джюрекни джылытыр зат. Излейди, ауузун ачыб, солуун тыйыб. Табалмайды. Джашау ырхы аны, сюйреб, гитче кирли шахарчыкъны ичине атады. Батарыкъ болур, эшта да.

Айтматовну джашчыгъы да джюзюб кетди тау тарлыкъдан, адамны такъырлыгъындан, ъксюзлюкден, сюймекликсизликден. Кетди, джюзюб,





кёк тенгизде акъ кемени излей ол кемеде уа атасы, турады ышара-ышара, джашын сакълай. Кёк бла тенгиз, эркинлик. Кюнню, сууну соймеклиги болмаса, ёсерми эди кырдык? Сабий а къалай аякълансын соймеклик-сиз? Къалды, тау суучукъда ууакъ толкъунчукълада чайпала, къагъытдан ишленген акъ кемечик.

Тенгиз къыйыры бла чабады Чингиз. Азия джылы Аму-Дарьядан ба-рады, ашыкъмай, бузлагъан тенгиз таба. Ол сууукъ тенгизни къыйыры бла чабады Чингиз, чабады, миллет мурдорун, миллет тамырларын из-лей. Эртдеги миллет а сууча къызыу къумладан саркъыб кетди бузлагъан тенгиз таба. Къыргъызылыла къатышдыла нивхле бла, чукчала бла, якут-лула бла. Къычыр-къычырма, озгъан джылла ол сабийни бешиги бла эритдиле, дуня хауасы бла къатышдырыб къойдула.

Сулейменов, къаза кетиб, ачды Шумер тамырны, кёрген этесе, кёрген этесе, алай джеталгъан а эталмайса. Джангы джыл. Нарат терекле джыл-тырайдыла, ойнайдыла кюн таякълары бла, кюледиле нарат салкъында омакъ кёгет кампетле, узатады сабий къолчугъун, алай джеталгъан а эталмайды. Сабий джыламукъ бла миллет мурдору – болурму аладан уллу магъана бу дуняда?

Анам бла Харьковдабыз, къалай эсе да ол къаллыкъ джерибизге джеталмайбыз. Къайсы автобусха минерикбиз, – ала уа эл бла бир, – даулашабыз. «Сиз татарлыламысыз?» Бурулуб къарасакъ, бир джаш-чыкъ къар тёбени тюз да ортасында, къолунда уа ётмеги джана. «Хау, татарлылабыз». – «Мен да татарлыма», – деб, къууаныб къычырады джашчыкъ. Мен да къууандым: «Азияны гитче сыныкъчыгъы, къайры атды сени къадар? Къайсы туюден тёнгерединг, къайсы хурджундан туюдюн? Иги эди къолунгда гырджынчыгъынг болгъаны. Джунчума къарындашым». – «Мен а джунчумайма», – деб зынгырдады аны ауаз-чыгъы, арыгъан трамвай тауушлагъа къошулуб. Къалай тура болурса ол къарла ичинде, къарындашым?

Тюркле Кавказда. Пушкинде, Лермонтовда – Кавказда джаланда «черкеслиле», алай ала нек эсе да тюркча сёлешедиле, – алай иш анда туююдю. «Черкеслиле», Кавказ – алай джабышхандыла, аралары бла суу тамычы да ёталмазча. Сора, ма сеннге! Толстой ачыкълайды: Кавказда тюркле джашайдыла, сёлешген да тюркча этедиле. Хычынла ашайдыла, сары джау бармакъларындан джингириклерине дери элпек саркъады. Шумерни туудукълары, татарлыла – Уллу Рассейни арбаз сыйпаучулары.





Колумбияда джауум джаугъан болмаз, Азияда къан тегюлгенча, алай ол къан огъуна туудуралмады Маркесни.

Къумгъа бата барадыла адамла, барадыла эртдеги къабырла таба. Алларын аскер тыйды: «Бурулугъуз артха, мында биз ракет база ишлеген-биз», – деб. Бу эркин къумланы ичинде – эркинсизлик. Чингиз бу юзюклей Маркесни мийиклигине джетеди, алай юзюк юзюклей къалды.

Гильгамеш – дунияны биринчи сёзлери къошун джазмалада. Уллу къууанч, сейирсиниу, суратланган сёзле. Ол Биринчи Сёзден Библия туугъанды: «Кюн да джаратылды, кече да джаратылды. Дунияны биринчи кюню».

Шумерлени туудукълары – татарлыла, сибиртгиле бла орус къарны ариулай, излейдиле бетлерин.

Петербург. Боран. Блок иги кёрмейди. Къара джыйынны аллында Христос туююдю, бош, бети къан, топуракъ джугъу болуб, келеди чуутлу, тегерегинде уа, сибиртгилерин къучакълаб, барадыла татарлыла.

Симбирск. Ленин. Орусума деб джаздыргъанлыкъгъа, татарлы – къанында, эсинде – Мамай хан унутулмагъанды: Ленин – Мамайны заманында гитче ханчыкъ. Уллу халкълагъа зарланнганы къурумайды. Кулико ёзенни Къазанны оруслаугъа ёмюрде да кечаллыкъ туююдю. Къарындашын орус патчах асды.

Арбачыла юйдегисин Петербургга элтирге унамайдыла. Бир кесекден кеслерини юйдегилерин джюклеб джетерле Сибирге дери.

«Бу чарх а джетерми Мескуагъа дери?» – Гогольну соруууна Ленин къанлы джууаб берди, ол чарх джерни къыйырына дери джетди, джетди, къралны джартысын къырыб. Арыгъандыла атла. Революция – Матрос, Думагъа кириб: «Къарауулла арыгъандыла», – дегенлей, кърал къандан толуб къалды.

Орус патчахла. Декабристле. Народникле. Перовскийле, Плехановла, Савинковла – барыб тохтагъан большевикледиле.

Бу адамла кёб джылланы къазыкъ, отун джыйыб тургъандыла, сернекни да ала джандыргъандыла, ол от тёбеден барысын да къыстаб, Ленин шохлары бла джылыннганды.

Большевизм – революция туююдю.

Большевизм – адамны къанында, санында, джюрегинде джашагъан къара сууду. Большевизм – ёмюрлюкдю. Ол бетин тюрлендир, заманн-





га кёре, джангы сёз табар, не да этер, алай бу джерден а кёуруб кетмез.

Мескуа. Трибунада Ленин, Троцкий. Совет властны биринчи джылы. Калита башлагъан ишни Ленин ахырына джетдирди. Рассейни джерлери, халкълары, буштукъ-буштукъ болуб, бирге джыйылдыла. Патчах, бояр-ла, опричнина, сора, къара джыйынны иннетлери бир болуб, халкъдан къанлы гюттю ишледиле.

Арисей – суу тюрбуне кетген Китежлей болду да къалды. Ол суу къадарны ичинде Достоевскийни «сабий джыламукъчугъун» а, ким эслеял-лыкъ эди?

Заман джаууму миллетлени бирге джыяды, къатышдырады, сора, бир бирлеринден айырыб, чачады джерни тёрт да джанына.

Тюркле Кавказда. Хаух джашау. Юйлерибиз – джерде дорбунла. Джашайбыз, тамбла, атлагъа миниб, артха, Самаркандха къайытырыкъча. Заман да – бара, биз да – сакълай. Асыры кёб сакълагъандан, не затны сакълагъаныбызны да унутханбыз.

Барды таулу кезде ёксюзлюк.

Джылла, жылла...

1937 джыл. Максим Максимович Печоринни джылылай, къолдан къолгъа гепоугъа тутдурады. Сабийлигимде джаным ауруй эди: «Печорин Максим Максимовичге шох нек болмайды?» – деб.

Лермонтов а, бу къанлы джылланы келликлерин билиб, бу эки адамны бир-биринден узагъыракъда тутаргъа кюрешгенди. Лермонтов биле эди. Бу джерде ол билмеген зат джокъ эди.

Кёкден къарагъан, кёбню кёрюр. Лермонтов кёкню джерге къаршыракъ этерге кюрешгенди, алай аны кёк юлгюсю джерде хар затны да гитчертиб къоя эди. Билим – кёкденди. Пушкин а билирге да суймейди. Арина Родионовна джомакъчыкъ кёураб, халкъ джомакъ, ол джомакъда уа – буржуй Пушкинни юсюнден хапарчыкъ. Хапарда уа: «Мен, къарт адам, Пушкинни кесинден эсе иги таныйма, джашаууму бу адамгъа джалчылыкъ эте келеме. Бу элде, къызла бла хауле айланыб, къаллай бир адамны джылатханды. Бир сёз бла айтханда уа – суймейди бу адам къара халкъны, шагъатлыкъ а – назмуларында».

«Тилейме, муну къабха джыйыб, халкъны эркин этигиз». Бу къагъытны Болдинни райкомуна кеси элтген эди. Пушкин а ол затланы кёрмейди, эшитмейди. Бу джерден кёк кёурайды. Заманы аз – иши уа файгъамбарны ишине тыйыншлы.





Леонид Андреев, Вересаев бла халкъны кыйыын кьадарына джарсый, ушакъ этедиле арбазда.

Орамдан а арбаз сыйпаучуну кючлю ауазы: «Полициягъа сёзлери гизни джетдирсем, аз кёрюнмез». Андреевни джюрек джарсыулары, сагъышлары кьабханнга тюшюб кьалдыла.

Арбаз сыйпаучу да – халкъды.

Адам халкъны халкъдан къалай эркин этсин? Боран ичинден джелни суууруб къалай чыгъаргъын?

Андреев, Вересаевни кьолун тутуб, мыдахланыб, кетди юй таба.

Шаламов. Хоншусу адам ёлюкню ашай тургъанлай джетди.

Адам не затны сайласын? Кимни айырсын? Ол адамны ёлтюрген къралнымы огъесе, кесини джанын сакълар ючюн, адам мыллыкны кемире тургъаннымы?

Мурдарланы бла адам ашаучулары ортасында – адам. Адам а – сайлауду.

Джылла. Гамлетден – Чеховну «Ивановуна». Гамлетни атында огъуна, адам энчилигин эсгерте, - гюрюлдейди кьонгуроу.

Иванов – уллу къралны толтургъан тукъумну ичинден, къарангылыкъ бла ишленген замандан, ичинде «гамлетлигин», бек уллу байлыгъынча, кьойнуна кысыб, джылай-джылай барады, барады Аллах джан-дыргъан чыракъ таба.

Джылла. Эки базман табакъ. Биринде – Иван Денисович къарангы джалчылыкъда, башхасында уа – биз, турабыз кюле-ойнай, джалчылыгъы- бызны да сезалмай.

Бек джазыкъла уа, ол эки табакъны ортасындагъыла – кьуллукъчула. Барысындан да кыйырда – тюшсиз къарт киши, таза джууулгъан эски габрасындан чыммакъ джаулукъну чыгъарыб, аны юсюне къап-къара ётмегин салыб, ууакъ-ууакъ къаба турады лагерде, чанка тойда олтургъанлай.

Достоевский. «Записки из мёртвого дома». Бу китабда джалчылыкъны, эркинсийликни кёргюзтуб, Достоевский ол ишледен кеси да илгениб, бизни да илгендиреди.

Заман. Заман да – бара, биз да – сылхырдан-сылхыр бола.

Фёдор Иванович – къазауатны ортасында гюл ёсгенлей.

Ёлюм къатышда – сабийни биринчи солуюу. Власть бла адамлыкъны ортасында, адамлыкъны сайлаб, джоюлуб кетди. Термилебиз къан къатышдан – кёкге.





Терек бутакъла да учарыкъ эдиле, алай тамырла иймейдиле.

Алма да учарыкъ эди, алай джерни къарыуу къоймайды.

Джандет алмала. Мичурин, Апорт. Адамгъа джан-джаныуар да, терек да, ханс да баш уругъа керекдиле. Тёгерекни-башны кесейик деб, адам улу кеси къалды башсыз.

Эй, игисагъан, бир хорлагъан адамны кёрюр эди.

Власть – джашауну бырناق этген. Римни императору Даклитан, властны къоюб, бачхасында деменгили къобуста ёсдюрю. Келечиле: «Къайыт артха», – дегенлеринде, ол, къобустасын кёргюзтюб: «Мен, бу огъурлу затланы неге алышайым?» – деди да къойду.

Барама, арбачыкъгъа ташла джюклеб. Барама, ийнана, – таш тёбени тюбюнде юй орун кёрюрме деб.

Барама, башымда поездни келген-кетген заманын кёргюзтген темир чапыракълагъа темир-таш таууш къатыш сагъышларым бла.

Биринчи къара къулла – Америкада.

Заман озду.

Джалчыла джангы къралгъа ие болдула.

Джаз. Буги-вуги. Блюз. Армстронг. Мартин Лютер Кинг: «Мен ийна-нама, келир ол кюн – оржияны полден къызаргъан тюшлеринде, акъла бла къарала, бир-бирге къол узатыб, айтырла: «Кертиси бла да, эркинме, эркинме, Аллахха шукур!»

«Бютеу Америкалы литература «Гекльбери Финнден» чыкъгъанды», - дейди Хемингуэй. Ол сёзле керти боллукъ эдиле, алай уллу суу къоймайды ол айтыугъа ийнаныргъа.

«Том Соьер». Бютеу америкалы литература бу китабдан ёсгенди.

«Том Соьер». Гитче шахарчыкъланы биринчи сабий солуулары.

Ингилизле, башха миллетле, сокъурлача, сакъ-сакъ, бармакъ къыйырлары бла излейдиле джангы миллетни – америкалыланы. Излейдиле, сабий анасыны ёшюнюн излегенлей.

«Гекльбери Финн» Америкалыланы бешик ийислерин уллу суу элтиб кетеди. Уллу сууну бойнунда космополитле джашайдыла. Гитче суучукъланы къатында – миллет – эсли адамла. Ингилизле бла башха миллетли адамла, солууларын тыйыб, къарай эдиле уллу суугъа, америкалыла болгъанлай а, хауле айланган джырчы тишируну тукъум атын, ол уллу суугъа атагъандыла – Миссис-Сиппи деб. Хемингуэй бла Набоков – бир къыйырындан кюйюз согъа, башха къыйырындан а – кеслери къурагъан кюе ол кюйюзню ашай.





Съюзан Хилл. Джашайдыла анасы бла кызы. Джашайдыла, терезеге къарай. Эшиклерин гам этиб.

Анасы кетди башха дуниягъа. Кызы уа къалгъанды бу джерде, кёк ортасында къалгъанлай, джашайды, не джерни, не адамны танымай, ангыламай. Тиширыугъа фатаргъа бир джашаулу киши келди. Турадыла уллу джарыкъ юйде эки джангызлыкъдан тойгъан эки адам, хар кимни кесини отоуу, кесини джашауу, араларында уа бир байлыкълары – ёксюзлюк.

– Мен бай адамма, шахардан шахаргъа барыб, сатама сейирлик хапчюкле, – деб, хар эртденликден чурукъларын джылтыратыб, къалпагъын ариулаб, къара габрасыны баш хурджунуна кызыл гюлню орнатыб, тебрейди киши ишине. Бир кюн тиширыу, юйде тургъандан эригиб, бугъа-бугъа, кишини ызындан атланды.

Тенгиз. Тенгиз башында мутхуз кёк, тенгиз бойнунда зыккыл чапыракъсыз терекле, ёксюз къаргъала кибиб – адамла, къансыз кюзню ортасында уа – къарт адам. Ол, патефончугъун къуруб, кесин аямай, тепсейди, джырлайды. Тиширыу, юйге къайытыб, эшигин, терезесин джууады, джырны макъамын мурулдай. Бу хапарчыкълары аты уа – «Немного пения и танцев...»

Барама, арбагъа джегилиб, ташлагъа джабышыб. Кийимлерим суппа-суу. Тёгерек пиринч ийис этеди. Корейлиле, суугъа бата, саладыла пиринчни. Итим а, къууанчдан толуб, чабады къатымда.

Адам. Халкъ. Миллет. Адам, башха къралда, башха джерде тууб, халкъына тюбемезге да боллукъду. Алай, къайда тууса да, къайда турса да, – миллет бла бирди.

Халкъ неди? Бир тилли, бир джерли, бир адетли, бир культуралы адамла. Аманлыкъчыланы кеслерини тиллери, кеслерини энчи адетлери, культуралары. Врачла, алимле, милицала, элчиле, ишчиле – хар кимни кесини тили, адети, культурасы.

Къаллай бир халкъны бирге джыяды миллет.

Бир къулну эки иеси болгъанды, орталарында асыры ары-бери чаб-хандан, – кесини атын унутханды.

Бир къулну эки иеси болгъанды...

Бир миллетни эки иеси болгъанды...

Большевизм. Большевизм А-дан – Я-гъа дери джашаууну харфлыгъыды. Къарайма хоншума, кёреме большевизманы. Къарайма кюзгюге – кёреме большевизманы.





Джангы къарда биреуню уллу аякъ ызы ачыуландырады.

Совет властны джетмиш джылы – джангыз да биринчи харфха сыйы-ныб къалды. Джашауда уа алыкъын ига кесек харф къалады. Энчи бетли адамны, энчилигин къуллукъгъа алышхан адамны тарихде не магъанасы, не кючу барды?

Джангыз да къара джыйынны иннетлерин, сагъышларын джашаугъа бардыргъандан сора, башха магъанасы джокъду.

Адам, кесини мурдорлукъ термилиуюн, ачулугъун бардыралмай, бир неда бир бёлек адамны айырыб, аны, неда аланы къоллары бла къара ишлерин себеди бу джазыкъ джашаугъа.

Фашизм – коммунистлени заманы джетмегенлей, балли къусхан сабий.

Фашизм бла большевизм – бир кёлекни ич джаны бла тыш джаны. Бу эки табсызлыкъны уа бир джюреги – къара джыйын.

«Адам кюнню джалчысыды», – дейди къара джыйын. «Кюн – адам ючюн», – дейди Инджил, айтады адамны бла халкъны атындан.

Большевикле бла фашистле адамны теблеб, этедиле кюннге намаз.

Фашизм мурдарлыкъын тышына джаяды, большевизм – ичине.

Барадыла эки душман, барадыла – хар кимни кесини джолу.

Къара джыйын – тюз джол бла, – къаядан таш къатыш къайнагъанча.

Адам бла халкъ а: анда тохтай, сагъыш эте, мында жугар¹ ишлей, будай себе, ташха, гумулжукга² сейирсине, джомакъ къурай.

Барды къара джыйынны харфлыгъы: А-дан башлаб, Я-гъа дери.

Адамны джангыз да бир харфчыгъы барды – А. «Ах!» – деб, сабий бу дуниягъа сейирсинеди.

Ол биринчи харф – бютеу джашау магъананы сыйындырыб къояды. Каренина, ол биринчи харфха ышанмай, чабды башхаланы излей, алай ол харфланы иеси – къара джыйын, аны малтаб къойду.

«Сабийлеча болмасагъыз, кёрмезсиз Аллахны сыйлы джерин», – дейди Инджил.

Айхай, сабий къайда бизни буруш джашауда?

Адам, харфла излей, ёсеме деген умутда, къурайды джангы мешина-ла, самолётла, ракетле. Къурайды, хар къурагъан затына къул бола. Ал-

¹Жугар – кюрек (лопата)

²Гумулжук – къумурсха





гъын эшек бла не узакъда джашагъан джуугъунга да джете эдинг, энди уа мешинанг бла хоншунга джеталмайса. Адам не къадар «фахмулу» эсе, ол къадар Аллахдан узакъды.

«Блаженны нищие духом», – дейди Инджил.

«Отъай, уруш да ачайым, тегерекде болгъанны тюрлендирейим, не да этейим, халкъ аллына къутулуб, энчи болайым», – дейди адам.

Не зат къуарыкъса, не зат ишлериксе?

Аллах нени да ишлеб, нени да къураб бошагъан дунияда? Ишлегенсе атны – итча гитчертиб, итни – атча улайтыб.

Аюню терекден тюшюрюб, олтуртханса велосипедге, мен ол аюге къарасам, адам улуну ахыр кюнюн кёреме.

Профессионал – Аллахны джауу, кеси кесине – биринчи душман.

Делитант – кёб бутакълы гитче терек.

Профессионал – башха бутакъларын къурутуб, джангыз да бирин ойлагъан терек. Ол, бутакъ да ёсе келиб, кюн ауанагъа тюшмей къалмайды.

«Аллах джаратырча, мен бир зат къурагъанма», – дерча, кёб адам табылмаз. Аланы ичлеринде – Сизиф.

Ол, джашауда юсюне джабышхан артыкъ затланы таш бла сюрмелеб, кёзлерин терлегенлери бла джууб, Аллахны сыфатын кёреди.

Аллахны бек уллу тарихи – цифрасы – ноль, сыфыр.

Адам а: «Бир, эки, юч сыфырдан уллуду», – дейди. Сыфырдан сора не къадар къоша барсанг, ол къадар тарихни гитчерте бараса.

Бир – бригадир. Эки – колхоз башы. Юч – генерал...

Санай барсанг, сыфырдан-нольдан узакъдан-узакъгъа кете бараса.

Сыфыр – танг аланы сабий сейирсиниюу. Бир, эки, юч... – арыгъан, рахын ингир. «Бладженны нищие духом...»

«Джашаулу», «Кёолайлы» адамла кеслерине бир уллуракъ тарихни такъмай болалмайдыла.

Кюн – сыфыр сыфатлыды. Джер сыфыр сыфатлыды. Кёк кёкле сыфыр сыфатлыдыла. Баш – сыфыр сыфатлыды.

Сыфыр – нени да сыйындыргъан Аллахны къошунуду.

Адам джангызды да – анга быллай бир эркинлик. Миллетни санына кёре – эркинлиги сыфырдан башха тарихле адамны, халкъны, джерни гитчертиб барадыла. Бир иеге къул болсанг – эркинлигинг кёбюрек. Экеуленнге къул болсанг...





Излейди эркиши магъана, тиширыуну солууу – магъанады. «Бек акъ-ыллы тиширыуну кѳрмезсе, алай эркишиледеча уа бек телисине да тюбемезсе», – дейди халкъ.

Джоконда – къарда, кюнде джылына джатады, ышара-ышара, къара джылан. Ол ышарыуну ортасына сыйынады адам улуну биринчи кюню бла ахыр кюню.

«Бладженны нищие духом...»

Ач-джаланнганч дервишни – буслийман къраллада намысы.

Юродивый – Арисейде хар юйню къонагъы. Джокъду Аллахны джартыракъ адамы, бардыла башха тюрлю акъыллы адамла.

Евразийство. Орус джанны энчилиги. Туугъанды ол джан эки бир-бирге келишмеген затладан. Туугъанды ол орус агъачланы тынчылыкъ-лыкъларындан, сабыр сууларындан, джюреклени тынгысызлыкъларындан, учу-къыйыры болмагъан джолоучулукъларындан, башха джерлеге, башха адамлагъа термилгенликлеринден. Тынгысызлыкъ тышына тартдыра эди, сабырлыкъ а – мудоруна чѳргеи эди. Орус джан – орталарында турады, не ары, не бери баралмай. Ол такъырлыкъдан оруслуланы тиллери чыгъарды. Орус тил тюрк бла къатышыб, миллетни джеринден тебдирди.

Лермонтовну къан къайнатхан джолоучулугъун бла Пушкинни, ашыкъмай, джерни тазалагъанын бирге кѳшуб, тил деменгили макъам къурады.

Орус тил – халкъдан алгъа туугъанды, туугъан эди ол тил тюрклени отларындан бла, оруслуланы къарларындан – Снежана, Огняна.

Дервишле къралдан къралгъа джюрюйдюле, юродивыйле – юйден юйге.

Бири къралланы юсюнден хапар айта эди, бири уа – юйню юсюнден, ол эки хапар, бирге кѳшуллуб, – билим бола эди.

Бах, Мусоргский, Бетховен, Чайковский – уллу композиторланы туудургъан, ол халкъдан алгъа джаратылгъан тиллени макъамлары.

Дворжак – Европа агъачла ичинден аз-маз кѳруне. Кесиледиле терекле. Чабадыла агъач ичи бла биринчи такъыр джолчукъла. Ишленедиле бирничи шахарчыкъла. Джылайды джюлгъан терек. Кюледи шахар ичинде – артыкълыкъ, Европа чыгырдан-чыгыр бола барады.

Болгарлыла – алапат штангистле бла тутушуучуладыла. Славянланы сабырлыкълары бла, тюрклени къан тириликлери, бир болуб, спортда уллу джетишимле береди.





Юрий Власов – бу джерни бек къарыулу адамы. Ол, тик таугъача, – спортну бек башына ёрледи. Ёрледи, харс тауушлагъа илиниб. Сора – узун джол кыйырларында уа – джангызлыкъ бла кынгыр ышарыула. Барады джангыз адам, спорт мийикликден джерге тюшюб. Барады, – кеси кесин излей, – кесини бетин, кесини джангыз да анга берилген адам магъанасын.

Джолну бир бёлегин озгъанлай, артха бурулуб къараса, спорт мийиклиги гитче тёшчюкча кёрюндю.

Не къадар кёб адамны суймеклигин сынагъан, не къадар кёб адамны артыкълыгъына тёзген – къаршыракъды кертиликге, джашау магъанасына. Суймекликни бла къаджаулукъну ортасында – кертилик магъана, ол магъананы сыфаты уа – ноль, сыфыр!

Большевизм – башыбызны уллу таш басханлай. Ол таш бизни эзиб къоймаз ючюн, къарыуубузну бирге джыйыб, ташны тутаргъа кюрешебиз. Демократия ол ташны кетергенлей, большевикле бурулгъан къарыуу энишге саркъыб, адамла ичинде джайылыб, ортабызда къаджаулукъ къурайды.

Адамны эки сайлауу барды: не къар, не джаум, кюн а – кысха солуча.

Тоталитаризм – элия, отун тохтатхан темирча, кърал ичинде къаджаулукъну тохтатхан бир затды.

Демократия – иеге, иелеге таяннган большевизм.

Юч мурдор ташы барды демократияны – байлыкъ, кылыкъсызлыкъ, власть.

Большевизм – Христиан терекни зор бла ёсген бутакъы, ол бутакъда уа – гитче бутакъчыкъ – фашизм.

Ашхы миниатюра – суусуз эпопеяды.

Грант Матевосян. Джашчыкъ анасыны кызыл джаулугъун къаблаб турады.

Къыш. Къыяма. Ачлыкъ.

Сарьян. Кюн. Акъ юле. Тенгизча – гюлле.

Гитче суратчыкда – эпопея.

Эрменлиле. Кюн. Сарьян – миллетни бир джаны.

Эрменлиле. Къыш. Матевосян – миллетни башха джаны.

Эрменлиле бла Къайсын.

Джерлерибизде бла къадарыбызда бир-бирге ушагъан бардыла. Къайсыннга премия беригиз деб тилерге да онгубуз джокъду. Сау болсунла эр-





менлиле. Энди, эбзелеге джалыныб, Кязимге да бир премия алалсакъ эди, ол ачагъа Шыкъыда эски юйюн джангыртыргъа боллукъ эди...

Джокъду эркинликни чеги, джокъду багъасы да. Джангыз да эркинлик туудурады суймекликни.

Эрменлиле – цивилизациядан толгъан, ол цивилизация да аланы сюрмелеб, джашау сууларын къурута баргъан бир миллетди...

Чеченлиле – дунягъа эркинликни сорууу. Адам улу джууб бермегенде, кеслери адам аягъы басмагъан, бир халкъ да атламагъан джангы джол ишледиле.

Ышанама, ол джолгъа хар адам да, хар миллет да тюзелир, шоксуз, къансыз, барырла ол джол бла, бир-бирге болуша. Анга шагъатлыкъ а – къралла, бир болуб, ол гитче къарыусуз Кувейтни Саддам Хусейнден эркин этдиле.

Ёмюрде тарихде болмагъан къууанч ишлеге шагъат болдукъ: эсирик къара кюч хорлатханды тюзлюкге бла къарыуу азыракъгъа. Ол а тарихни джолунда – адам улуну джангы, биринчи атламлары. Джашауумда бу эки ишге къууанганымча, бир затха къууанмагъанма.

Доллар – Аллахны налаты, – индейлени къанларын заман, джашил этиб, къагъытха джакъды.

Гуннла, Европаны кюйдюрюб, къайытдыла Къытайгъа.

Тоталитаризм – барысы да биреуге къаджау.

– Демократия – бир адам – башхагъа къаджау.

Къалай-алай болса да, демократия онглуракъ болур, эшта.

Иги адамла, деб не эшитмегенме, не тюбегенме, алай, адамны уа терк-терк кёре тургъанма, ийнанама, гюнахсыз адам да джашайды бизни джерибизде. Бизни джаратханла огъуна бизни ишлетирге кюрешедиле, унутуб, эсге алмай. Адамны мийиклиги Аллахданды, ол мийикликни гитчертирча, Аллах адамлагъа онг бермегенди.

Джатады орамда юйсюз адам. Тышындан къарагъанда, ол адам алашаракъ да кёрюне болур, алай аны мийиклигин Аллахдан сора бир киши ёнчелеяллыкъ туююдю.

Барама, арбама ташла джюклеб...

Азияны салкъын эртденлиги.

Къарауулну къамишден ишленнген юйчюгю.

Бачха, эртденлик, къырпакъ бла, харбыз ийис бла къатышыб, бир сейирлик, джерде болмагъан тазалыкъдан толгъан эди.





Тюртюб барама кесимден аз-маз гитчерек харбызны, барама, эркин-ликден бла тазалыкъдан кѣлжум толуб.

Революция байлыкъны, хапчюклени бирден алыб, башхагъа берген бла бошалмайды.

Революция тилни да джангыдан юлешеди.

Къул бийни кесини тилинде сѣлешдиреди, кеси уа бийини тилине кѣчеди. Къул болгъан гюнахды. Къыйынды къул болгъан. Алай ол къулну бийлеген, аны адамлыгъын ѳлтюрген – юч къаты гюнахлыды: ол кесини адамлыгъын ѳлтюреди, башха адамны ѳлтюреди, дагъыда ол ѳлжумлеге, кесини джалчы джазычуларына къууанч джыр къуратыб, алагъа джыр-латады. Большевикле Горькийни сатыб алмагъандыла. Къул бла бийни араларында сайлау болгъанда, къулла Горькийге сылыгъыракъ кѣрюннген эдиле. Горькийни хар сѣзюнде болгъан магъана хар сѣзню энчи алыб къарагъанда, – башха бир джазычуда да табмазса. Алай Горький кеси юй да ишлейди, юй хапчюклени да джерлерине кеси орнатады, окъуучугъа уа зат къалмайды.

Платонов Бунинни «Деревнясында» туугъанды, Платоновну хапарларында джауады ѳмюрде бошалмазлыкъ ууакъ джауум. Ол джауумну бек улу магъанасы барды, алай бу мутхуз джауумдан сора ырхы келир да, бу джерни ариулар дерча туююдю.

Маркесде уа – ырхы, джашил суу, джерни ариулаб, кѣбчютюб, кѣк бла къошуб къояды. Кѣк бла джерни къошагъы уа – тейри къылыч бла сабийни къууанчы.

Набоков бла Хемингуэй – бир бешикте эгизле. Орамда – туююш, тышындан адам, ол туююшню кѣрюб: «Нечик аманды джашау», – дейди. Эки сюймекликден толгъан адамны кѣрюб: «Джашау а иги зат кѣре эдим», – дейди. Эсирген адам а аманлыкъ бла ашхылыкъны арасы бла озуб, кертиликге къаршыракъ болады.

Адам бла джашауну ортасында бир джарыкъ ауана болургъа керекди. Кино бла къараучуну ортасында барды аллай ауана.

Театр а, актѳр бла къараучу, – бет бетге. Актѳрну бетинде губузу не сакъалы иги джюлжонмегени, – ол кесек затла уа спектакльни магъанасын, къараучуну эсин да башха джары буруб кетерге боллукъдула.

Бютеу дунияны актѳрлары бла реджиссѳрлары Чеховха къаршыракъ болургъа кюрешедиле. Айхай, сѣз Чеховну магъанасын кѣргюз-талмайды. Чеховну пьесаларында сѣз да, адам да хауагъа кетиб, ала





тургъан джерге уа хауа келеди. Чеховну бурун эсинг бла ангыларгъа керекди. Джангыз да балетмейстер Владимир Васильев, сёзлени бир джанына сызыб, Чеховха суугъа секиргенча, тенгизге батханча, джазыучуну магъана ортасына тюшюб къалды. «Анюта» балетде, адам уллу ташланы ары-бери тюрте, деменгили терек тамырланы джерден чыгъара, улутха, джашау телиликни, ууакъ къуллукъчуланы къарангылыкъларын джырыб, кюн джарыкъгъа чыгъады, ол джарыкъда уа – Чехов, турады ышара-ышара, ол да, кёси келиб къалмай, биргесине уа – Гоголь бла Толстой, Достоевский, ызларындан а къалгъан джазыучула къарайдыла, сейирсиниб, баш уруб, бу бютеу орус литератураны ичине сыйындырыб къойгъан тепсеуге, Васильевни тепсеулери пластикалы литературоведенияды. Тепсегенден акъыллы не барды бу дуняда? Тепсейди адам, тепсейди джер, тепсейди кюн, тепсейди джел...

«Анюта» – адамны кычырыгъыча, джашауну ортасы бла, кюе басхан «акъ къанкъазланы» арасы бла учады, къул къанын кюйдюрюб, учады, эркинликге къууана, учады, эркинликден эсире...

Эркинлик бла джарыкълыкъланы ортасында тепсейди бу джерни биринчи адамы. Алкъын сёз да туумагъанды: Гомер бла Сервантес, Гоголь бла Шекспир туумагъандыла. Тепсейди жангыз адам, эркинлик анга харс уруб, ичи уа рахатлыкъдан толуб. Тепсейди жангыз адам. Тепсейди къууанч, терлегенлери бла мийик кырдыкланы къандыра. Тепсеучю, арып, джылы джерге джатыб: «Ашхыды», – деди, ол биринчи сёз а Аллахны 99 атындан бири. Къууанч тепсеуден туугъанды биринчи сёз. Келдиле башха сёзле да: «мен», «ачха», «къуллукъ», «шкок», «байракъ», «генерал», «бий», «къул», «къан»...

Мутхуз суучукълача, келедиле сёзле, ала джерни басдырдыла, тенгизлени толтурдула.

Эссиз сабий узмез ичинде ойнагъанлай, ойнайды адам улу ол сёзле бла, кюнден-кюннге, джылдан-джылгъа, ёмюрден-ёмюрге ойнайды, ёлюр кюнюн сакълай, ахыр кюнюне кебинлик хазырлай.

Аллах – бирди, шайтанла уа дуня бла бир: кими – мыдах, кими – джарыкъ, кими – джылай, кими – кюле, джыйын-джыйын болуб, айланадыла ала, адамлагъа, малгъа кысыла, айланадыла, урушдан къалгъан ёксюз сабийлеча.

Джауум келди. Джибийди итим босагъада. Джауум арбачыгъымы





толтурду, юйчюгюме кириб, ойнайды чуругъум бла. Тёшекге ёрлеб, ичеме чай. Итими кёзлери уа – чай бетли.

Асыл тукъумлу итден арбаз ит кёб да акъыллыды. Арбаз ит дунияны ангыларгъа термиледи, чабады ол, мал бла адамда суймеклик излей, кеси да суймекликден толуб. Асыл тукъумлу ит ни уа – гиназ къанчыгъы кёзге кёрюнмеген сынджыргъа тагъыб къояды, ол къан уллу кёлден толтуруб – дуниядан да, суймекликден да – гитче юлюшчюк къабдырыб къояды.

Къарайма джауум ортасы бла, макъамсыз, суймекликсиз ёсген уллу юйлени орталары бла. Филоновну, кёк бла шакъы къатыш, сууукъ бояула бла боялгъан шахарланы орталары бла, ол сууукълукъну къыйырында уа – джанады мор бетли Вьетнам. Кюз пиринч джыйылыб. Сабийле, туудукъла да арбазда ойнай. Къарт вьетнамлы уа олтурады рахатлыкъдан бла тынчлыкъдан толуб. Турады бу джашаугъа тырманчыгъым да джокъду деб. Къалын мор бояуну ичинде джууунадыла къартны джарыкъ янтарь кёзлери. Къарт вьетнамлы кёлтюрдю ташын, кёлтюрдю адам кёзю кёрмеген мийикликге, ол мийикликден кёрдю къарт вьетнамлы башха дунияланы сыфатларын, ала уа толтурдула аны кёзлерин кёлкени къуандыргъан джарыкълыкъ бла. Аякъ тюбюнде, узакъда, тенгиз этегинде, гумулджуклача, гитчеле, тынгысызлыкъла: Хо-Ши-Мин, Ким-Ир-Сен, Мао-Цзе-Дун. Ала айланадыла, юзмезде харфла джазыб. Толкъунла да ол сёзлени, бир-бирлеринден сыйырыб, джута, кюн да, джел да бир-бирлерине ёч болуб, ол сёзлени къурута.

Айланадыла юч джазыкъ адам тенгиз бойнунда, айланадыла, сыйлы джашауларын ёлтюре. Юч датамы къуруду дунияда – бу адамланы джашаугъа къайытарыр ючюн, Аллах берген мийикликлерине джетдирир ючюн. Тангла да бу джерден учуб кетмейдиле, бир адам, джерни ариулайма деб, ташны кетерсе, башхасы – келтириб, ол джерге эки-син орнатады. Хар кимни кесини ташы. Ол ташны не уллу джыйын да тюрталлыкъ туююлду. Джангыз адамлагъа буюрулгъан ташны кесинден сора бир киши тебдираллыкъ туююлду.

Париж. Булон агъачы. Ырхы. Деменгили джел ёмюрлюк тереклени джерге бюгеди... Ол агъач ичинде – Куприн. Джылайды джауум тюбюнде: «Кърал гунч болду, юй да къуруду...» – деб. Тюненеги кюн – къарангылыкъда, бюгюнню кюню да – къара агъач бла ырхы къатыш болуб.

Короленко. «Дети подземелья». Короленкону джашчыгъы ишлейди шахар, ишлейди, ишин джарлыладан, юйле тюбюнде, шыякылада джа-





шагъанладан башлаб. Анасы бу дуниядан кетгенди. Атасы, анга джарсый, барады ишине, адамлагъа сюд этерге. Юйде уа джашчыкъ бла джангызлыкъ. Шахарчыкъ да къартлыкъдан бла ёксюзлюкден оюла-оюла барады. Ол таш сыныкъланы ичинде айланадыла, къалын джыйын болуб, чыган-лыла бла юйсюзле.

Пётр I, адамланы мырдыгъа тыгъыб, ишлегенди Петербургну. Адам мыллыкланы юсюнде сюеледиле ёмюрге джылынмазлыкъ, ёмюрге адамгъа къаджау сюелген мыдах юйле.

Короленкону джашчыгъы ишлейди шахарны, ишлейди адамланы мырдыдан чыгъарыб, аланы джыламукълары бла джуууб, кюн джарыгъында къурутуб, - ишлейди джангы адамланы, ала уа кёб джашарла, огъурлу элле къуарла. Мен халал адамлагъа тюбесем, ариу шахарны кёрсем, Короленкону джашчыгъы эсеме келеди. Барады къарыулу джашчыкъ, ауур ташны, мамукъ гюттюнюча, тёнгерете. Пётр I-ге эсгертме. Джашчыкъгъа – адамланы халал эслери. Бютеу шахарланы ол ишлегенди, уллу кърал да турады, джашчыкъгъа таяныб. Эсгертме керек эсе – ёлтюр, не къадар кёб адам къырсанг – ол къадар эсгертменг мийигирек. Джашар акъылынг бар эсе, адамланы мырдыдан чыгъар да, ёмюрлюк эсгертменг – адамланы эслеринде.

Азия. Азия Ренессансы. Айтматов, Сулейменов. Пулатов.

Ач тауукъ багушну къозгъагъанлай, къазады Айтматов ёмюрле джыйгъан юзмезни, къазады, эрикмей-талмай, излейди тамырларын, ол тамырла уа бютеу адам улуну сыфатын кёргюзтюрге деб ышанады. Сулейменов, къралны юсюнден букъусун ариулаб, Шумерни кюн джарыкъгъа чыгъарды. Пулатов – Тюрк бла Иран культураны арасында келечи.

Джибийди босагъада итим. Юйге чакъырама – келмейди. Шох болаллыкъ туююлме итге. Къарт болгъанма, шохлукъгъа уа кёб къарыу керекди. Татлы ашны – шохунга, джылы джууургъанны – шохунга. Сюйме-кликге уа – джылла да, саулукъ да чырмау туююдюле. Сюймеклик зат да тилемейди, ол кеси кесин кечиндирген бир затды. Ётмек ююш алыб, олтурама итни къатына. Олтурабыз, бир-бирге къысылыб, джауум тюбюнде джибий, бир-бирни сёзсюз ангыларгъа кюрешиб. Джауум итни кёзлеринден къара тамгъларын джуууб, аланы джарыкъландырыб къойду.

Юйчюкге кириб, кюзгюге къарасам: мени кёзлерим да, тюз да итни кёзлерица, бетими джыйырылгъаны да ариуланыб, мангылайымдан да шайтан мюйюзчюкле къуруб.





Кёкден келген джауум – эртдеги чууут джырлача, къаралгъанды. Деменгили джыр, къалын суу шоркъала бла тёгюледи кёкден. Къууанч бла бушуу макъам, тюненеги кюн бла, тамблагъы кюн, эртденлик бла къара кече, от букъу бла апельсинлени Тель-Авивни базарында джаннганлары бир болуб, согъадыла, чепкен сокъгъанча, джауум тамчыладан деменгили джыр. Джауум тамычылача, чууут миллет, ууакъ-ууакъ болуб, чачылды, джер башына чачдырдыла, тас этдиле Аллах берген энчи миллет магъаналарын. Сора, джылла, ёмюрле, сурат ишлегенлей, джыр юзюклени джыя, сыйлы китабларын окъуй – тас болгъан харфланы джыйыб, аладан къураб, минг Голгоф тёшледен бир деменгили Голгоф ишлеб, аны башындан Сионну тауларында алтын кюнню бутакъларын кёрдюле. Чууутлула бла шумерле – эки хоншу халкъ. Орталарында ойналгъан тойла къанларын къалын къатышдыргъандыла. Христос бла Мухаммат, чууутлуланы бла араблыланы эки сабийи, Библия бла Къуран, бир китабны эки чапырагъы.

Тынгылайма таулу джыргъа, чууут джыр да анга къошулуб, тюшедиле кюмюш шоркъала бла кёкден.

Ол кёб ауазлы джыр юлени, эллени, къаяланы толтурады. Малкъар тил тауда къалыб, аз тюрленнгенди, ол эртдеги тюрк тилге бек къаршыды. Джауум ортасы бла къарай, кёреме Багдадны бла Иерусалимни. Кёреме эки джюрегиме бирча джууукъ шахарланы. Эки туугъан джерим – бешигими эки къабыргъасы. Мени эсим бла, тюшлерим бла, джылауум бла, къууанчым бла, таулу бешикни ийиси бла шумер, чууут, араб хауадан ишленнген эки шахарым – Иерусалим бла Багдад. «Салам!» – десем, эсиме «Шолом» да келеди. «Стена плача» бла Каабаны ташы – бир ташны эки джаны. Хаджиме деген ол эки ташны къатында намаз этерге керекди. Ий-нанама, къачан болса да, эркинликден толурла эки шахар да: Иерусалим бла Багдад. Ий-нанама, юч китаб: Библия, Талмуд, Къуран бир-бирлерин сыйлаб джашагъанча, юч къарындаш миллет: чууутлула, араблыла, тюркле – бир-бирге болушуб, бир-бирлерин сюйюб, къууанчлы болурла. Чууутлулада къаллай бир акъыллы китаб джазылгъанды, ол китабланы магъаналарын бирге джыйыб, къаралгъа закон къууаргъа боллукъ эди. Араблылагъа джерлерин къайытаргъанлай, къаралгъа тынчлыкъ келлик эди, ол тынчлыкъ, мамырлыкъ дуния арасында чачылгъан акъылны бла ачханы Израилге джыйыб къоярыкъ эди. Тюзлюк бла, акъыл бла, ачха, – бир къаралны огъай да, сау дунияны аякъландырыргъа боллукъдула.





Салам бла Шолом – бизден кетгенле, кеслеринден – китабла, джыр-ла, тепсеуле кьойгъанла. Салам бла Шолом – бюгюн джашагъанла. Салам бла Шолом – тамбла тууарыкъла.

Сынам – туугъаныбызданды. Джашау сынамны аздан-аз эте барады. Кертда, джашаргъа умуту болгъан джашаудан кенгирекде турургъа керек болур. Сталин генерал Якирни тюрге атханда, Якир: «Джашасын Сталин!» - деб, хахайлаб айланганды. Аны онючджыллыкъ джашы Петя: «Сталин бла аны шохлары бандитледиле», – деген эди. Сынам – Аллахданды. Акъыллыланы ичинде акъыллы – Достоевскийни «Идиоту», нек дегенде, - орталыгъы, ичи кьуру, ачыкъ – Аллахны тылпыууна бла адамны керти сёзюне. Ол, темирге, зынгырдагъан автоматха ушаш, Идиотну орталыгъы ётюрюк сёзню бир джанына сызыб кьоя эди.

Достоевский адамланы кёб ууун сынагъанды, аты айтылгъанда, балдан да кьабаргъа тюшгенди. Достоевский кертиликни ол ууу бла балны ортасында табханды. Эринчек кёзге кёрюне да болур, Достоевский кёб сёзлю джазычуду деб, алай аны хар сёзчюгю – джериндеди. Сёз ючюн, Идиотну суйген джаныуары – гылычукъду. Къаллай бир кертилик барды бу сайламда.

Джууаш адам, ол кьалай сюер эди, сёз ючюн, кьабланнны не да асланны?

Къара джыйын не заманда да кьыйнагъанлай турады. Къара джыйынны биринчи душманы – суймеклик.

Паустовскийни хапарларында: кьарт киши бла кьарт ит, джибиб, асыры ачдан, эслери ауар чекге джетиб, киредиле трактирге, ашамасакъ да, бир да болмаса да – джылынырбыз деген хыйсаб бла. Ачхалары джокъ, джууукъ джокъ, тенг джокъ, суймекликден сора джокъду затлары. Олтурадыла эки кьарт джан, башларын ачлыкъ тубан басыб, юслеринден джауум тамчыла агъа, джюреклеринде уа, суймеклик ышара. Къатларында уа эки иги да жухлу адам кьызарадыла, сюек саулукълары бетлеринден ура, аш къангалары уа ашарыкъдан бла ичгиден толуб. Аша, ёсдюр бетинги, кьурчла сюеклеринги, кьууан джашаугъа, кьууанала эсенг. Айхай, аууз кьабынынг ичинге кьалай тигелесин, кьатынгда душманынг олтурса? Душман а – суймеклик.

Аманлыкъчы бомбаны атханлай, сызады «къолайлы» кьыйма юзюкню эки ач джанны ортасына. Ит насыбсыз, ач кёзлери бла кьарайды кьартха, ол а кёзлери бла: ал, аша, бу ууакъ затмы ёчюлтюрюкдю суйме-





клигибизни, дейди. Ит, уяла-уяла, шохундан кёзлерин букъдура, ашайды къара джыйындан тюшген юлюшню. Сора, «къолайлы» адамланы джазыкълыкъларын кёлтюралмай, чыкъдыла эшикге. Барадыла эки къарт джан. Барадыла, кёкден суу джыя, къарт аякъларын балчыкъдан кючден чыгъара. Барадыла, бу джалан дуняда джалан да суюмекликден джылына. Суюмеклик джарлылыкъгъа къаршы болур. Суюмеклик – джылыуду, джылыу къатына уа сууукъсурагъанла къысыладыла.

Тюрк къауум тарихни джашау себиучю бла джашау кюйдюрюучю джелиди. Тюркле – халкъла аралы культураны ёсдюрген бал чибинле. Тюркле – Азияны, Европаны, Американы бирге келишдирген тигиую.

Джыяма ташла, юй ишлер акъылым барды. Юйюмю къабыргъалары ярангача, юртача, меджгитча, клисача, тегерек боллукъдула. Юйюм тёртгюл сууукъ таш къалаугъа ушарыкъ туююлдю. Кюн таякълары юйню джити муююшлерине тийиб, тобча, артха чартлаб къаладыла. Юйюнгю къабыргъалары тегерек болса уа, кюн бутакълары, джауумча, ашыкъмай, ол къабыргъаладан саркъа, юйюнгю къучакълаб джылытадыла.

Барама, арбачыгъым бла, барама, терлегенлерим джерни сугъара. Элчи къараучула да турадыла анда-мында, бетлери да Босх бла Рафаэль ишлегенча. Бетлерини джартысы кюнден толуб, джартысын а къалын ауана басыб. Ренуарны «Девочка с шаром» деген сураты Пиросманини «Девочка с шаром и сачком» деген сураты бир къызчыкъдан ишленгенча кёрюнеди. Пиросмани бай адамлагъа суратла ишлегенди. Кязим да кёб «къолайлы» адамны атларын наллагъанды.

Къайдадыла ол байла, ол атла?

Кязимни сёзюн къой да, наллары огъуна кёб тау джоллада джата болурла, джылы къумгъа чёргелиб, джатадыла ала, тюшлеринде уа кёре болурла атланы эркин атламларын бла гюрбеджичини халал кёлларын. Къалын джауумда учу-кыйыры болмагъан нёгерлени джырлары. Къара джалчыланы онглары болмагъанды туугъан джерлеринден хапчюк бла джюкленирге. Ала, Африканы кюнюн, джерин, юйлерин, хапчюкларын джыргъа чёргеб, ол джырны кёююнларына къысыб, тюшген эдиле кеме тубюнде къара отоулагъа. Бара эдиле къара адамла, бара эдиле, джылай, джырлай, бара эдиле джалчылыкъны къарангы джолу бла.

Бу тауусулмагъан джауум джырлайды къара джалчыланы джырларын. Энди уа нёгерлени джырларын джырламагъанны, аланы тепсеулерин тепсегенни адамлагъа да ким санайды?! Къара адамла ол джырны





джырлай-джырлай, ол джыргъа таяныб, кеслерин ачы джалчылыкъдан чыгъардыла. Ол джыр а бютеу дуняны да къууландырды.

Уллу джауумда, халкъланы джарсыу джырларычады, Шукшинни орус бушууу, агъады тюрк кёзлеринден.

Ол уллу джауум туудургъанды мийик орус актёрлукъну. Чыгъа эдиле ол актёрла къыйыр джерлени мутхуз кюулеринден, бай саудюгерчилени эсирген джырларындан, ёмюрде къурумазлыкъ орус балчыкъдан. Келе эдиле актёрла къыйыр джерлени къарангылыкъларындан Мескуаны бла Петербургну алтын башлы килисаларына. Аланы гитче джерчиклерини джарсыууна сау дуняны бушууу сыйыныб къала эди.

Уллу джауумда орус адамла юч мурдор ташларын: литератураны, искусствону, динни балчыкъдан чыгъарыб, мийик джерге орнатхан эдиле. Джаады, сау дуняны джибите, уллу джауум, джуады терсликни, джер кемчиликлерин. Ол джауумда таууш да, ийис да эшитилмейди. Ол тынчлыкъгъа элия отундан джарыкъ, элия тауушдан кючлю элияны садакъ огъу тюшеди джерге: «И разверзлись хляби небесные...» – деб.

Рахын кёкню солууу ачылыб, рахатлыкъдан толуб, джунчуб тургъан джерге тюшеди. Ол сёзле джаш Толстойну, урушну ортасындан чыгъарыб, кёк хамамында джуундуруб, ачадыла кёзлерин. Уллу джауумда кёреди Толстой гитче Наполеончукъну, турады ол джол джанында, зыккыл мырхыкча, ол гитче адамчыкъны башындан а Пьерни деменгили ауазы: «Къалай, ким базаынады мени Аллах берген ёлюмсюз джаныма, кимни къолундан келликди аны ёлтюрюрге?!»

Джаш Лермонтов а Чечен урушха сабийча къууанады. «Есть упоение в бою», – дерге да кюрешеди Пушкин. Не акъыллы адам да кёбюрёк джашаса, хатасы джокъ кёре эдим, анаussy.

Джангыз да князь Мышкин, кёк бла бир солуулу болуб. Джашаууну чюйрелиги да, къыйыр джауумча, аны джибитмей, бир джаны бла ёте эди. Адамны тели сёзю, адамны аман иши Мышкинге эссиз сабийни безирегенича кёрюне эди. Анга, адам юсюнде джылтырагъан налмазла, дарийле, джаш наратчыкъла да джаннган джауум тамчыладан багъалы туююл эдиле.

Уллу джер къалкъыйды джауум ортасында, алай «Бежин лугда» джанады ёмюрде ёчюлмезлик отчукъ. Ол отну кёрюб, ким эсе да ачады бу джерни бек сыйлы китабын – Харфлыкъны. Аны ачыб, джууунады хычыуун сёзлени. ортасында: «Мама мыла раму», «У Шуры шары»... Ким эсе





да биринчи тарихлени къалаб, ёрлейди магъананы бек башына. «Ол мийикликде зат табмай, энишге къараб, кёреди: акъ къагъытда – кюн, кюн ортасында уа – алтын тарихле. «Не мийикликден да мийик кёре эдим акъ къагъытда кёкню джарыгъы», – дейди гитче джюрекчик.

Уадыла къолларында уллу тарихлени академикле, чурукъ сыйпаучу щётканы уугъанлай. Ишлейдиле алимле джолла Ай бла Кюн джанына, къурайдыла джерге сыйынмагъан бомбаланы, сора кеслерини «мийикликлеринден» кюрешедиле учхалауукъ сыфырны къабыргъасына ёрлерге. Ол сыфырны уа тюз ортасында – тутмакъда турады Аллахны Сыйлы Джашы Марченко.

Барама, арбачыгъыма джабышыб, джол джанында уа – шахшах гюлчюк.

Адам, саны кир болса, хамамгъа барады. Ичи кирленсе – гара ичеди. Башында джыйылгъан хылы-мылыны уа адам не бла ариуласын?

Ма бу гюлчюк ариуларыкъ эди. Огъурсуз къол мындан тютюн уу этмесе эди. Джазычуну джансыз тили, ётюрюк сёзю гюлню ёлтюрюб къоймаса эди, врачланы къарангылыкълары болмаса эди, милициаланы чурукълары болмаса эди... Бу гитче гюлчюк къаллай бир адамны сау этгенди! Джылла бла джукълаялмагъанланы джанларына рахатлыкъ бергенди. Бу гитче гюлчюкню кючюне чек джокъду. Мардасын билсенг, башынгы ариулайды, джюрекге сюймеклик къошады, алай, мардадан атласанг, ёлтюрюб да къояды.

Кърал мыртазакъларына берген ачханы акъыллы алимлеге берсе эди, ала да, бу гюлню джарыкъ джанын, ол къарангы джанындан айырыб, ол джарыкъгъа чек салыб, адам улуну керти да ёлюмден сакълар эдиле.

Джылан уу ёлтюрген этеди, ол уудан этилген дарман джашаугъа къайытарады.

Ёседи джол джанында назик, къызыл гюлчюк, не шош аяз да аны онглайды. Бу гитче отчукъ, адамланы джолларын джарытыргъа, джанларын джылытыргъа боллукъду, адам улуну саулай кюйдюрюб къояргъа да барды амалы...

Барама, ташла джыя. Башымда уа таш тауушлу сёзле: адам борчлуду аскерге барыргъа, адам борчулуду джашагъан ююю ючюн хакъ тёлерге. Борчлуду, борчлуду...

Кърал а къайда? Къайда? Адамгъа бармыды къралны борчу?

Къралны борчу – башха къралла бла келишиб, аскер юйлени къу-





рутуб, аланы орунларына меджгитле бла клисала ишлерле. Ким биледи, къазауатха къуллукъ этгенле ол юйлеге джыйыла кетселе, келир эсе башларына бир ангылау. Аллахны аты кёб болгъанлыкъгъа, ол джангызды.

Барды къралны борчу – кече-кюн джукъламай, башха къралла бла келишиб, урушланы дуниядан гунч этерге. Аманлыкъчылыкъ десек, ол сёзню ызындан адам сюеледи. Аманлыкъчылыкъны магъанасы закон бла къалай ангылатылады? Бир адамны ишлери, башха адамгъа не да адамлагъа заран джетдире эсе – ол аманлыкъчылыкъды. Кърал а къайда? Къайры къуруду бу борчу болмагъан джомакъ? Барыбыз да излей кетиб, ол къралны табсакъ эди, ол заманда тюрленир эди аманлыкъчылыкъны магъанасы. Ол заманда законда быллай сёзлени окъургъа боллукъ эди: аманлыкъчылыкъ – кърал адамгъа къурагъан джашаудан адамны терс ишин кетерсе, ол къалгъан затха уа аманлыкъчылыкъ дерге боллукъду.

Барама, арбачыкъны тюрте. Барама, кеси кесиме айта: борчлума адам ёлтюрмезге, борчлума эрикгенден адамны джанын къыйнамазгъа, борчлума керексизге джаныуарланы, тереклени къырмазгъа... Бек улуу борчум а – суюдюмлю болургъа, башха адам меннге къараб, къашларын туюб, бу дунияны къарангылыгъын кёбейтмезча болургъа.

Кёбдю кеси кесиме сорур затым.

Барама, ичимден намаз эте. Ол намазгъа не сёз къошмайма, не сёзюн къоратмайма. «Аллах, орталыгъымы хылы-мылыдан эркин эт. Аллах орталыгъымы таза эт». Ол эркинликге уа суюмекликни кёзю къарар. Суюмеклик а – таза хауача, кёкню юлюшюнден ишленнген къошунча, ол къошунда уа – байлыкъ, сыйлылыкъ, халаллыкъ. Болса эди алай. Толсам суюмекликден, аны башха адамгъа да узатыр эдим, бир кесегин мырхык басхан джол джанында да къояр эдим, джыламукъларындан кёз ачалмагъан адам а табар эди ол суюмекликни, табса да, ышарыр эди, ол ышарса уа, джер да джарыгъыракъ болур эди.

Назым Хикмет айтханлай: «Мен джанмасам, сен джанмасанг, ол джанмаса, - ким джарыгъыр бу къарангыны?»

Насыб деген, не къадар джыялдыңг кесине, не къадарын ийдинг дуниягъа?

Суюмекликсиз адам да – бир, мурдар адам да – бир, джокъду орталарында чек. Къаллай бир тиширыу къыргъанды суюмекликсиз адам. Урушда – эркишилени, солууда – джаныурланы бла тереклени.





Урушну уа ким кѳурагѳанды? Урушну атасы да – ол, анасы да – ол, аскерчиси да – ол...

Таула, кѳаяла, эркинликсиз ѳсген халкѳ. Кѳачыуну джокѳду чеги... Насыбыбыз да бар эди – кѳача келиб, таулагѳа тирелгенибиз, ансы тенгизде батыб кѳаллыкѳ эдик. Кѳачаргѳа сѳйгеннге Аллах да болушады, тауладан алыб, кѳумла ичине да сызыб кѳояды. «Охо, уруш болмасын ансы»... «Охо, энишгеден бир халал киши бир машок ун келтирсе, мен а дорбунчугѳумда ол ундан гырджынчыкѳ этиб, аны ашай, насыблы болурма...»

Эркинсизликге, джалчылыкѳгѳа да юрениб кѳаласа. Джылы чунгурда олтуруб, тышында сууукѳ джеллени кѳрюб, ол джеллени ичинде тынгысыз адамладан илгениб, тураса – мешхутда санларынгы джылыта, ышараса, джалчылыкѳны макѳамына тынгылай, ол макѳам да джукѳлатады, хычыуун¹ тюшле орната тауусула баргѳан эсинге.

Кѳыркѳ джылны айландыргѳанды Мусса файгѳамбар чуутлуланы кѳумлада, джалчылыгѳыгѳызыны унутугѳуз деген себеден айландыргѳанды. Алай айтадыла акѳыллы адамла. Айланнгандыла кѳыркѳ джылны кѳумлада чуутлула, айланнгандыла ач-джаланнгач болуб, сууукѳлукѳдан толуб, Аллах да алагѳа биркюнлюк ашларын кѳкден себиб, джалчыны тамблагѳа не ашы джокѳду, не кюнѳ джокѳду дегенча.

Джалчылыкѳ джол да чыгѳарады эркинликге, кѳалай атлагѳанынга кѳере. Кѳуугѳандан кѳачхан акѳыллыды. Кѳарыулудан кѳарыусуз акѳыллыды.

Эртде заманлада новгородчула, властны кир ишге санаб, патчахлыкѳгѳа Рюрикни чакѳыргѳандыла. Бизге да неге керекди халкѳны акѳылын кирликге кѳмерге? Власть – ѳлюмдѳ. Башха миллетни адамлары кѳбюрекди, балчыкѳны ала ариуласынла, биз а алагѳа сау болугѳуз, дейик. Бир-эки чындай эшсек, кѳагѳыт бла кѳалам алаллыкѳбыз, юч-тѳрт кѳолкѳаб эшсек – шахматла алырбыз. Бир-эки кѳлек эшсек – кѳыл кѳобуз алырбыз. Кѳыйналмагѳан – джыр джазмаз, джунчумагѳан – кѳууанмаз, кѳууанмагѳан – кѳууанч джырни джырламаз.

Джалчылыкѳдан кѳутулур ючюн, джангыз да эки зат керекди, халкѳны артыкѳлыкѳдан толгѳан кѳлю, сора ол терсликни башха халкѳлагѳа ангылатыр адамла – халкѳны келечилери.

Аллай келечиле болмасала, халкѳны кѳаны аш орунунда тирелиб

¹Хычыуун – сѳйкѳмлю





къалады, ол къанны джюрекге джетдирген, башха хадкълагъа ангылатхан келечиледи: Кязим, Къайсын, Мухтар, Мутай, Серго... Халкъны уллу череги¹ ючге бѐлюнуб – адабиятха, санатха, спортха – барады башха джерлеге, башха халкълагъа, барады кесини миллет магъанасын ангылатыркъа. Врач, къойчу, ишчи, инженер – хар кимни кесини иши, джокъду аланы заманлары келечилик этерге, ол келечилик джазыучугъа, спортчугъа джырлаучугъа, тепсеучюге бериледи. Хар адам фахмусундан юзюб, юлюш береди келечиге. Келечи – халкъны фахму садакъалыгъыды. Халкъ бла келечини ортасында тутхучлукъ болса, эркинлик да болур, байлыкъ да келир, суймеклик да ёсер. Келечи арымалталмай халкъ джумушун этсе, халкъ да аны, суйген сабийинча, ийнакълаб турса – хар зат ашхы болады.

«Ой, аны биз билебиз, атасы да бир къуджур зат эди!..»

«Къарнымы ауруйду, айланады, тепсей-тепсей!..»

Бу сѐзле джаншакъ къатынланы бла алагъа ушагъан эркишилене эрикдирмей турсунла, алай халкъны къарамы да башха тюрюл болур, эшта.

Джалчылыкъ – къанны уютхан бир затды. Къаны уюгъан а – не танг атханнга къууанмаз, не кюн батханнга джарсымаз. Эркинсизликни къара джолунда да бардыла джарыкъ тамгъала, бардыла сейирсиндирир, къууандырыр затла.

Санат (искусство) сейири – «Балкария» ансамбль.

Эки-юч айгъа гардошну да ёсдюралмайса. Къудай улу бла Улбаш улу ансамбль къураб, аякъландыргъан да этдиле. Сейирди, Аллах, сени ишлеринг. Тепсеучюлени кийимлери халкъны мурдор ташына, биринчи кюнлерине къайыгъарадыла, макъам да, джылланы ары-бери сызыб, ачады эртдеги халкъ эсин.

Тепсеу – спринтди, къысха заманчыкъда ич къарыуунгу бла тыш къарыуунгу бирге джыйыб, аланы хурттагы да къалмазча, кюйдюрюб къояргъа керекди, – ол таза отда да кѐрюнеди къараучугъа, кесини бла тарихни бирлиги. Чырайлы, мийик адамда ич къарыу тыйылмайды, ол, хауача, келе-кете турады. Ол ич къарыуну джыяр, тыяр ючюн, тепсеучю аз-маз алашаракъ, аз-маз къынгыраякъ болургъа керекди, ич къарыуну илинир заты болургъа керекди. Джюз метрге чабхан адамлагъа къарасанг, ала мазаллыла, аз алашаракъла, аякълары да терек тамырлары ки-

¹Череди – къобаны





бик. «Балкариягъа» къарасанг, – эркинликни макъамын эшитесе, кесинг да ол къысха заманчыкъгъа эркин боласа, азат.

Ишлейдиле келечиле къарангы агъачны ичинде джарыкъ джолчукъла, биз да, бара-бара ала ишлеген джолда, аллыбызгъа тюшген бутакъчыкъланы бир джанына сызсакъ да, хатасы джокъ эди.

Ёмюрю джугар кёрмеген джерде Хапа улу бла Жабо улу харбызла ёсдюрюб кёйдула. Сейирди джашау. Элден ёмюрге бир боксёр чыкъмагъанды, ол элде туугъанлыкъгъа, анга усталыкъны шахар береди. Тауда бокснубир заманда да тамырлары болмагъанды. Кёнделенден Россейни бла Европаны чемпионлары чыгъар деб не джарыкъ тюшюнде да кёрмез эдинг: Чапай улу уа! Тутушуудан дунияны чемпионун ёсдюрген!..

Кёнчегинг болса, гырджынынг болса, джырынг болса, ол джырыны сакълар къарыулу адамынг болса – сауду миллет. Миллет сауда уа, анга джол да табылыр, ол джолну джарыта баргъан адамларыбыз а кёбдюле. Спортда бла тепсеуде джетишимлерибиз – нарт сёзню деменгили кьонгурау тауушуна ушайдыла: «Биз кече джукълаб тургъанлай, кёкден бир къуйрукълу джудуз учуб келиб, бютеу бу тегерекни кюйдюрюб, ма бизни бу уллу кёлюбюзге тюшгенди. Кёлню сууу къайнаб къуругъандан сора, биз аны тюбюнде бу джашчыкъны кёргенбиз. Ол джылаб, кычырыб кёб тургъанды, алай аны къатына барыргъа бирибиз да базынмагъанбыз. Бу бёрюню уа бусагъатда гитче балалары барды да, ол ашдан иги тоймайды. Ол, баям, аны ашайым деб баргъан болур эди къатына. Алай бу джашчыкъ, сермеб, аны бууаргъа аздан къойгъанды. Амалсыз этиб, аны эмчегин эмиб башлагъанды. Нарт Дебет ол джашчыкъны къатына баргъанда, ол, ёсюб, ючджыллыкъ болуб тура эди. Аны Дебет биргесине алыб, Нарт элге тебregenди. Ала элге джетерге, джашчыкъ, ёсюб, джетиджыллыкъ болгъанды...»

Спортубуз да, тепсеулерибиз да – кёкден тюшген джуддузладыла. Джашчыкъ а – ол спортну, тепсеуню адамлары. Бёрю да барды. Чырмаусуз, кыйынлыкъсыз къуралмагъандыла спортубуз, тепсеубюз да. Ол джашчыкъны Нарт элге элтиб, ашатыб-ичириб, аны аякъландырыр Дебет а джокъду...

Петербургда джашагъан малкъарлы художник – Уяна улуну ишлеринде – бююнню кюн. Магъана магъанагъа къаланыб, заманны къалын этеди, ол къалынлыкъда уа адам кёмюлюб къалгъанды. Малкъарлыланы миллет магъаналары уа – тырнауузчу художник Ефи-





менкону ишлеринде. Суратларында къызыл бла къара бояу; ала уа иги да къалын салыныб. Къызыл – халкъны фахмусу, джашаугъа термилгени, эртдеги эси. Къара уа – халкъны къадары, джерни, джашауну чырмауу. Ол эки бояу бир-бирлери бла тохтамай тюйюшедиле, ол къазаутха къарай, джюрегинг тынгысызлыкъдан толады. Ол суратлада кёбдю кертилик да, акъыл да, алай ала джюрегинги къууандырмайдыла. Не этериксе, кюзгю бламы даулашхын?!

Барама, ташла джыя.

Барама, Къулийланы Борисни джырларына тынгылай. «Эртдеден ингирге къарайбыз бир-бирге. Тансыкъ болама туугъан джериме. Таулу джашха-къызгъа, сыйлы анабызгъа. Тансыкъ болама туугъан джериме».

Атасы Хаджи-Мусса да келеди эсима. Ачыкъ, джарыкъ бетли адам. Ким ётмек алайым дей барады, ким къуллукъ излей айланады. Бююннгю кюн къайсы джыр бла саугъалар деген кёзден къарай эди Хаджи-Муса бу дуниягъа.

1979 джылда «Шуёхлукъда» Борисни «Сарыаякъ къазла» деген халпары чыкъгъан эди. Таулу джашчыкъ Азияда. Эридиле, думп болдула таула. Ёксюзлюк. Сууукълукъ. Сюйсенг – кычыр, сюйсенг – джыла. Ач сабий урлайды ууучуна сыйыннган будай бюртюкле. Колхозчула, джетиб, джашчыкъны бла будай бюртюклени джер къаны этдиле, къан къатыш. Кюз. Джол джанында суула биринчи джукъа бузчукъ бла басдырыладыла. Шошлукъ. Ол буз юсюнде учадыла сарыаякъ къазла. Орам бла келеди аскерчи, чурукълары бла бузну атдыра, келеди, сууукъгъа кёмюлген бу адамсыз джерни эрите, келеди, ёшюнюнде уа майдаллары зынгырдай. Келеди ышаныу, кюмюш къонгураучугъу бла ёксюзлюкню, ачлыкъны илгендире. Къууанады ачлыкъдан бла артыкълыкъдан тойгъан ёксюз джан. Бузлауукъ джол бла келеди, чин таууш эте, джангы джашау.

Атасыны майдал тауушлары бююн да эшитиледиле Борисни джырларында.

Атала бла балала. Ким терсди орталарында? Балала. Атала билимлерине, ангылауларына, онгларына кёре сабийлерин аякъландырыргъа кюрешедиле. Айхай, не билимлери, не онглары хазна тюйюлдю. Сабийлерини уа, билимлери да барды, онглары да барды – эриннген этедиле. Джашауда башха юлгюле да бардыла. Ата бла балала бир-бирин ёсдюрюб джашайдыла, джашайдыла, бири эталмагъан ишни





башхасы ишлей. Джазыучу Германны джашы Алексей Сталинни заманында атасы айталмагъан затланы «Мой друг Лапшин» деген киносунда кёргюзтгенди. Большевикле джашаудан апокалипсис къураб, халкъ да, аллай затха юренчек болуб, айланнганды ойнай-кюле, ёлюмню джашаутъа санаб.

Константин Симоновну джашы журналистге къралдан, бандитледен зорлукъ тиймезча комитет къурагъанды. Атасы джашауда эталмагъан затны джашы аны орунуна этди. Институтда кёргенме – Шахмурзаланы Сайд джыйгъан джырланы, нарт сёзлени, ол къагъытланы бир отоудан башха отоугъа ташыргъа сау кюн керекди. Тауда аны аягъы джетмеген не юй, не эл къалмагъанды. Атасыны ишин джашы Алексей бардырады. Алексейни суратларында, философия да, лирика да, джерни ариулугъу да бирге джыйылыб, халкъны бююннгю кюнюн кёргюзтеди. Джарсыуубуз да, къууанчыбыз да – ол суратлада.

Таулу художниклени антологиясы чыкъса, бек иги иш боллукъ эди. Акъкъыزلаны Якубну альбомлары Америкада, Европаны къралларында чыкъгъандыла, бизде уа – заты джокъ.

Халкъ джылла, ёмюрле нарт сёзлени къурагъандыла, сора ол чачылгъан сёзлени джылла бла, ёмюрле бла джыяргъа кюрешгендиле – Орусбийлары, Шахмырза улу, Холаулу... Бююн эки китаб чыкъгъанды, – бирин Джуртубайланы Махти, миллет сыйыбыз – «Нартланы» джыйыб, чыгъаргъанды; башхасын – Хаджиланы Танзиля. Танзиляны ал сёзю уа – кеси энчи китабды.

Бу затланы джыйгъанла, чыгъаргъанла – ала халкъгъа берген байлыкъны ким бергенди? Эрменлини юйю кюйсе, ол отдан биринчи эски китабланы чыгъарады. Энди, Аллахха шукур, бизде да барды аллай байлыкъ. «Нартла» сабийлигимде болсала эди, анам, атам аны меннге окъусала эди – терс ишлерим иги да азыракъ болур эдиле. Кёб болмай, ауруу тынгысызлыкъ къысыб, не джатар, не олтурур онгум болмай къалды. «Нартлагъа» тынгылай, тынчылыкъ да келди, рахат да джукъладым, сау болдум. «Нартла» – халкъны Къураныды.

Барама, Бабаланы Сулеменни сёзлерине тынгылай: «Аллай къарджаады – не телини да акъыллы этерикди». Эки-юч харфны ичине тийрени ариулугъун, адамны халаллыгъын сыйындырыб къояды. Сулемен сёзлени сууун сыгъыб, къагъытда уа къалын магъанасын къояды. Окъу. Джыла. Ариулан.





Ахматланы Расулну «Моя Африка» деген хапарын Европаны тюз да ортасында уялмай окъургъа боллукъду. Гитче хапарчыкъда ол юч къатлы юй къурайды. Юйню бир бѣлюмюнде – къарт аппасы, башхасында – атасы, анасы, биринде уа – кеси. Хар бѣлюмню кесини энчи джашауу, ортларында уа – чагъыр. Хар тѣлю да джангызлыкъда сакълайды ёлюмю.

Барды бизде сайлам – не джыр, не власть. Властны адамы джырламайды. Джырлагъан а джырын власта алышырыкъ туююдю. Къайсын власта кетсе эди, кимни ышаргъаны джылытыр эди бюгюнню кюнбюзю? Кимден эшитирик эдик кунден тойгъан артиш ийисли сѣзлени? Къайсынны джерден кѣлтюрген юч къанатлы аты бар эди: назмулары, назмулары бла бир мийикде адамлыгъы, сора – ачылмай къалгъан сахна факмусу. Къаллай закий артистни кѣрмей къалды халкъ да, кърал да, дуня да... Къайсын бла Смоктуновскийни мийиклери бир эди. Орамдан костюмун да тешмей, орам солугуун сахнаны хауасына да алышмай, ойнарыкъ эди «Отеллону» бла «Король Лирни». Кинода Лирни ойнагъан эстонлу актѣр Ярвет иги да келише болмаз эди бу уллу ишге. «Король Лир» юч бѣлюмге бѣлюнеди: патчахлыкъ заман, патчахсызлыкъ заман, сора – тюзлюкню къууанчы. Ол юч затны бир этген, аланы тутхан – контрастды. Ярветни уа юч бѣлюмде да сыфаты хазна тюрленмейди. Къайсынны уа керти да патчах саны, бу джашаугъа сыйынмагъан къаны, чомарт къоллары. Байлыгъын юлешиб, властын тас этгенден сора, сатчихлыкъ патчахлыкъны къурутхандан сора, ол уллу къыйынлыкъгъа юренмеген адамны тѣгерекге сейирсиниб къарагъаны... Эх, анасны!..

Кимге – къуллукъ, кимге – джыр... Джырлай беребиз, ким тохталлыкъды джырыбызны?

Этезланы Бахаутдин, Къайсынны ауазы сакъланырча, бек кѣб назмусун плѣнкагъа джазгъанды, ол а – багъасына багъа джетмез халкъ байлыгъыды.

Эки сыйлы затыбыз барды, миллетни тутхучлары – айран бла тиширула.

Саныбызны, джаныбызны кечиндирген – айран. Аш да, ичги да – ол, суюк саулукъ да – ол. Таулу адам аскерликге не тутмакъгъа тюшсе, азыб къалады. Къалгъанлача ашаргъа кюрешеди, алай айрансыз а сан бла бет сыфатын табалмайды.





Халкъны бла ёлюмню чеги – таулу тиширыула. Къазахстанны сууукъ джеллеринден, бишиб атылган гардошча, къызыл къоллары бла. Къызыл-Къаяны иштенецлеринде¹ къаралган къоллары бла халкъны ёлюр отдан тартыб чыгъардыла. Артыкълыкъны чексиз ёзенинде джылай да, джырлай, джыламукълары бла халкъны санын ариулай, джыр бла халкъны джюрегин къоруулай, киштик рахын балаларын биришер-биришер джылы джерчикге джыйгъанлай, – халкъны бир этиб, туугъан джерлерине джол ишлетиб, джыйгъан эдиле мурдор ташны тегерегине. Ол бетлери джыйырылган, къамагъан кёзлю тиширыулагъа Аллах акъыллы, халал, ариу сабийле бергенди. Ол сабийле бюгюн да, халкъны кечиндире, халкъны аллында барадыла. Бири – халкъны къыйын кюнюнде, джанына, юйюне сабийлерине джетерик паллахны унутуб, – джазады статьяла. Башхасы, кесини джашауун унутуб, айланады нарт хапарланы джыйыб, аладан багъасы болмагъан, сыйлы китаб къураб. Бири уа – адабиятыбызны къалын тотха кесдириб къоярыкъ кёзбаулукъ бла сермеше...

Телевидениеде – эркинликде, багуш ортасында гюлле джарыгъанча, назик къызчыкъла кюрешедиле бизни къууандырыгъа, сагъыш этдирте, кюрешедиле бизни игирек этерге. Кюрешедиле онгларына кёре. Эсимдедиле мени ёлюмден къутхаргъан тиширыула. Кёз аллымдадыла аланы батыр, халал, ариу къызлары. Сегизинчи март бушууну да, къууанчны да бирге джыйыб къойду. Азиядан къайытмагъанлагъа бушуу этебиз, андан келгенлеге къууанабыз. Бир кюнде кетгенбиз, бир кюнде къайытханбыз. Джарты кюнню джылайыкъ, джарты кюнню джырлайыкъ. Къайытхан джырсыз аякъланмаз. Къайытханбыз. Аллахха шукур, къайытыб а – джырлайбыз, дуня тауусулгъунчу джырлагъан да этерикбиз, иншаллах.

Джарты кюнню джылар эдик, джарты кюнню къууаныр эдик, алай миллетни джартысы къырылган бушууну адам да, миллет да бир кюннге сыйындыралмаз. Ингир ала халджарчыгъымы аллында джылынама, от къатында. Ол, бюгюнню кюнню, тамлагъы кюнню аз-маз джарытыб, тюненеги кюннге къайытарады. Озгъан джылла дер эдим, алай, ол джыланы атлары – ёмюрле...

Атасы бир джанына, джашы башха джанына тартса, – юй оюлмай къалмайды. Бу джыйымдыкъ миллет неден болсун кърал? Ата-бабаларыбыз диннге къуллукъ этгендире, аталары-

¹Иштенецлери – шахтала





быз дин бла кѣзауат этгендиле. Биз а – ортада, экисинден да кѣуру кѣалгъан адамла. Бу кѣралда джыл сан бла бир атны да санаяллыкъ тѣюйлсе. Кѣаллай бир ёмюр джашай келеме, кѣаналмайма ансы.

1948-1953 джылла. Сталин ёлдю. Карточкала да кѣурудула. Уруш кесини отунда кѣюдю, аны орунуна бир кѣууанчлы тынчлыкъ келди. Европандан, кѣандан, ёлюмден артха кѣайытхан аскерчиле, солчуларын тѣйыб, орталарында революцияны биринчи атламларына тынгылай эдиле. Алгъын а, бир-бири ызларындан тизилиб, отлай эдиле комод башлада акъ пилле, алыгъын а джюзе эдиле акъ быстырда, кѣабыргъада, тюрюлю-тюрюлю боялгъан кѣангкѣазла, алай ала да, чѣблеяллыкъ тѣюйл эдиле Европа аскерчилени орталыгъына себген эркинликни бюртюклерин. «Белая береза», «Кавалер золотой звезды» деген китабла да кѣарай эдиле кѣоркѣа-кѣоркѣа, тынгылай эдиле джангы джашауну биринчи атламларына. Заман да, бууаз кѣатынча, сын кѣатыб, кѣачан табарыкъма да, ким тууар деген сагъышда.

1953-1956 джылла. Джѣйырманчы съезд. Адамны, халкъны ичинде джѣйылгъаны толу ырхылай тѣгюлдю тышына. Бомбалай атылды Мескуаны ортасында фестиваль. Адам да, кѣрал да кѣз ачханда, тутмакъда джашагъанларын сездиле.

1956-1960 джылла. Джангы джашау, джангы кѣйимле. Джаш тѣлю, кѣартладан айырылыб, учар кѣайгъыда. Учадыла джашла, кѣызыл, сары тамгъалы дарий кѣлекле кѣйиб, учадыла, гамбухчакъ¹ кѣнчеклеге назик, эрке аякъларын кючден-бутдан сѣйиндырыб.

1960-1964 джылла. Окуаваны кѣк троллейбусуна кѣралны джаш кѣаууму джѣйылыб, джырлай барады.

«Сорок первый» – кино уа революциядан сюймеклик магъаналы кѣре эдим! «Один день Ивана Денисовича» – Достоевскийни джазыкъ заманындан бизни кюнюбюз кѣарангылыкъ кѣре эдим! Гагарин – халкъны кѣууанчы кѣкге джете.

1964-1968 джылла. Брежнев. Чехославакия, – халкъны юсуне сууукъ суу кѣуйгъанлай. Бузну, эритирге кѣуреше эди поэзия, стадионлагъа халкъны джѣйыб: Евтушенко, Вознесенский, Рождественский, Ахмадулина. Сууукълукъдан кѣабышхан большевик шошлукъгъа кѣмюлген, халкъны кѣычырыкъдан тойгъан бети – Сахаров, Литвинов, Вогораз, сау кѣралдан джетеулен болуб келдиле Пушкиннге тарыгъу-

¹Гамбухчакъ – тарбуччакъ





ларын айтыргъа. Кърал кесини уятын теблейди, сангыраулукъну бла сокъурлукъну ортасында – адамла. Айтматовну акъ кемеси да батады кюл бетли тегизде. Кърал Вампиловну «Утиная охота» деген пьесасына сыйыныб къалады. Гитче, хауасы къуругъан шахарчыкъ, джалчылыкъ къарыуунгу къурутады. Эй, игисагъан, бу шахардан чыгъыб, бу бушланы эртден эркинликде джууунганларын бир кърсем эди! Сёзле къуругъандыла, сёлеширге да эринесе. Шахарчыкъ. Адам къулагъы эшиталмайды мырдыгъа бата тургъан адамланы къычырыкъларын. Вампиловну сюйген джыры: «Матушка возьмет ведро, молча принесет воды». Бу джырда магъана – молчи. Бу сёзню ауур шошлугъу адамны, тийрени да гуппуш этиб къояды. Вампиловну пьесаларыны магъанасы да – ёлюмню шошлугъу. Макъамсыз тийре бла сёзсюз адам. Кёблеге соргъанма: «Алан, бу адам сууну кеси нек келтирмейди? Къарт анасын нек къыйнайды?» – деб. «Ол адамны къарыуу къалмагъанды да, анасына суу келтирирге тюшеди!» – деб ангылатхан эди бу джырны Гатчинада джашагъан джазыучуну – Лена Анфимованы «Капюшоновая крыса» деген хапары. Анасы баласына саугъагъа акъ чычханны келтиреди. Ол гитче иллеу¹ берген къууанчны къарт адам бюгюн да унуталмайды.

Къарт киши базардан бир чычхан алыб, юйюне келтиреди, алай анга къарай кетиб, джийиргенчикден толуб, аны къаргъа сызады. Чабады къар ичинде акъ чычхан, чабады къызгъылдым аякъчыкъларын юшюте. Батадыла къарда джашлыкъ бла джюрекни къууанчы, къараладыла эски юйчюкде къартлыкъ бла джангызлыкъ. Кёблеге соргъанма: «Алан, эбзеле, кече-кюн тохтамай ичселе да, эсирмейдиде. Биз а шишаны этикеткасын къргенлей, сен-мен деб, кесибизни къазауатха дери джетдиргинчи тынчаймайбыз!» «Да ала джырлагъан эдиде», – деди Гемуланы Лейла. Зикир да алай бошдан болмаз! Заманны тохтатхан джырды. Аллах да сюйюб тынгылайды иги джыргъа. Къарт эбзе айтхан эди меннге: «Биз столда олтургъан заманны Аллах джыл саныбызгъа къошмайды», – деб.

1968-1985 джылла. Распутинни «Пожар» деген повести. Ол китабны оту бюгюнню кюнлени къргозтеди. Джанады кърал. Адамла уа отну ёчюлтюр орунуна къолларына илиннген хапчюклени юйлерине созаргъа кюрешедиле. Къара джыйын, большевиклени къызыл сынджырындан ычхыныб, – тонайды къралны. «Прощание с Матерой». Кючлю сёзле китабны хауасын кюйдюрюб къоядыла. «Деньги для Настёны». Сёзле ки-

¹Иллеу – оюнчакъ





таб ичинде эркин сыйынадыла. Арисейни кыйыры-чеги джокъ, ёнкюч сом алыргъа уа адам табылмайды. «Уроки французского» – адамлыкъгъа аталгъан магъаналы джыр.

Астафьев «Печальный детектив». Бююннгю джабышмакъ кюнню ортасы бла тамлагъы кюн кёрюнмейди. Отар Чиладзе, асыры къаты иш-легенден, шиндикден тёнгерей эди.

Белла Ахмадулина – тюрк бла орусну орталыкъ магъанасыны сыфаты...

Бир ташны кёлтюрсем, экисин уллу джолгъа сызама. Ташла себген-ни бла ташла джыйгъанны джокъду кыйыры-чеги. Японлу джазыучу Кобэ Абэны «Женщина в песках» деген китабындача. Адам, терен юзmez¹ уругъа тюшюб, кюрешеди андан чыгъаргъа, кюрешеди ууучу бла юзmez-ни тышына сызаргъа, алай ол кетген юзmezни орунуна, кёб мычымай, джангысы келеди.

Олтурабыз – хар кимни кесини юзmez урусу. Алай, эки макъа да тюшген эдиле сютден толгъан терен къошуннга, бири – ёллюкме да ёллюкме, зырафына нек кюрешеме деб, батыб къалгъан эди, башхасы уа, кыйнала кетиб, сютден джау чакъдырыб, чыкъгъан эди кюн джарыгына. Биз да кюрешсек, Аллах айтыб, къутулурбуз джалчылыкъ урубудан, айланыр-быз эркинликни джашил ёзенлеринде.

Эркинлик – суймекликди, айхай, суймекликни сёз бла аныглатхан, анга сёз табхан – суймекликсиз адамды. Суймеклик – гюлде эртден кырауду, сёз огъай, кюн таягъы огъуна тийсе, кёруб къалады. Суймей, джашайбыз, суймей, сабий табабыз. Бардыла, Аллахха шукур, бу дуняда эркин адамла. Ала джер тюбуне – кочегаркалагъа бугъуб, агъачлагъа къачыб, арбаз сыйпаучула болуб, Аллах берген эркин-ликге намаз этиб, кеслерин алай бла сакълагъандыла.

Арисей – ёмюрде бошалмазлыкъ революция. Джыл джашасанг – оннга сана, он джыл а – ёмюр.

Барама, ташланы тюрте...

Барама, ичиме большевик ёмюрле джыйгъан къарангылыкъны тышына тюкюре, барама терлегенлерим, сары джалчы къаным джерге агъа. Ол сары къатышны ичинде кёк сагъышчыкъ: джангыз адамны мийиклиги недеди? Ургъуйдан, итден, къамыжакъдан не зат ючюн мийикме? Ачхамы, властмы, махтауму кёргюзтеди мийиклигими?

¹Юзmez – къум





Адамны бу джерде кечиндирген, кёкге къаршыракъ этген – джазыкъсыныуду. Суюмеклик бла джазыкъсыныу – Аллахны сыйлы келчилери. «Бизге джырсымагъыз, бизни бир кишиге джарсыуубуз джокъду», – дейди поэт Гудзенко. «Джазыкъсыныу адамны гитчертеди», – дейди Горький.

Келгенди бу джерге ташла чачар заман. Шайтанла суратха тюшюб, ол суратладан кърал оноучула къралгъандыла, аланы атламлары къара ыз къоядыла. Айланадыла жухлу¹ бандитле, кими форма кийиб, кими ёгюз бойнуна пилни атламсыз эталлыкъ алтын сынджыр тагъыб. Айланадыла, къртладан, къарыусузладан сомла сыйыра, ол къанлы ачханы уа джартысын ёрге узата. Узатадыла, кызылууртла азмаз ючюн.

Эсирген къан уллу ичге сыйынмаса, башха адамны, башха миллетни къанын тёкдюрю.

«Барыгъыз, аскерчиле, бизни джарыкъ джашауубузну ол къарангы миллетни ичинде орнатыгъыз. Юнахыгъыз мениди!» Кесини джюгюн кёлтюралмагъан патчах Аллахны ишин да кеси юсюне джюклерге кюрешеди. «Уясы чачылыргъа тебресе, гумулджукга къанат битер».

Биреуню ёлюгуне олтуруб, кърал тамадагъа ышаныб, джырлайдыла аскерчиле суюмеклик джырла. Артха къайытханла уа – «юй беригиз», «ачха беригиз», «эсгерме ишлегиз», «мен терс туююлме, мени ючюн сагъыш этгенле терсдиле»... Ким эсе да мени ючюн сагъыш этеди дерге адамлагъа айыб туююмюдю?..

Мескуагъа, Мескуагъа! – Сокуровну, Тарковскийни, Германны киноларындан, джана, эрий тургъан джашаудан...

Барама, ташла тюбюнде юй орун излей.

Я Аллах, бу джашау не тукъум оюнду: не хорлам джокъ, не хорлам бла хорлатыуну арасында зат къалмады. Не ёлтюрюрге керексе, не биреуню ёлюмге иерге, не кесинг джоюл, не – алай, не – былай, орталыкъда зат да джокъ. Ол а оюн туююлду, ол – урушду. Урушда уа джангыз да кесинги къанынг тёгюледи. Джокъду урушну сау адамы. Урушдан къайытханла уа – аякъ юсюнде джюрюген ёлюкле.

Биринчи апендибиз айтады: «Мен Афганистанда къуллукъ этгенде... Душманла аллайла, душманла быллайла...» Ол сёзмюдю адамгъа? Дин ахлусуна?..

Баштёбен сюелгеннге кырдык къызыл кёрюнюр. Кюнде джылына,

¹Жухлу – хамхотлу





къалкъый тургъан къралны ичине кириб, бир капек терслиги болмагъан адамланы къыргъанла душманла туююдюле да, ол кеслерини джанларын сакъларгъа кюрешгенле уа – душманла... Сейирди, Аллах, бююнню кюнлеринг. Буслийманланы къыра тургъан мурдарлагъа апенди харс къагъа... Чеченде къан тегюлгенде, къайда тас болгъан эдиле афендиле бла джазыучула? Халкъ а къалай ышаныр къуллукъ шиндиклерин намаз этгенлеге? Хар айдан огъуна бар джаяулай Меккъагъа, хаджилик къанынгда, джюрегингде болмаса.

«Душманларынгы суй», – дейди Инджил. Сюерге да керек болур: ала да, сенича – Аллахны балалары. Душманынгы шохунгдан къаты сюерге керексе. Шох ариу айтыр, эркелетир, сен да, анга тынгылай, семирirse. Душманын а гитчертирге кюрешир, сен а Аллахны ол къартлыгъына асыраб тургъан саугъаларын орталыгъынгы бек теренинден, алагъа къарай, алагъа къууана, ёсерсе, душманын а, ол саугъаланы кёрюб, зарланыр, зарланса уа – гитчечик болуб къалыр. Къуугъаннга Аллах саугъа бермейди. Къуугъан не заманда да алашаракъды къачхандан. Душманларын кёууарла сени, тышындан къарагъан кёзге алай кёрюнюр: биринчи чабхан – мийик, экинчи, аны къуугъан – гитчерек, ючюнчюсю – андан да гитче, джюзюнчюсю уа – арбаз ит бла тенг.

Суй душманларынгы, ийнакъла сени къуугъанланы, ала сени Аллах таба къууадыла.

Барам, арбачыгъымда уа ташла тыхыр-тухур эте... Таш тауушча, джылла заманны кесек-кесек этиб, сабийлигими уллу магъанасын ашай барадыла.

«Акъыл белги» – Тюркде «истина», керти, хакъ деген магъананы тутады. А – къыл – белги. А – сабийге кёк берген уллу эс. А – бу джерни ариулугъун кёрген сабийни къууанчы. А – кёкню эси бла джерни ариулугъу бир харфха – сабий къычырыкъгъа сыйыныб къалады, ол къычырыкъны къылы – джашауну къылы, элтеди адамны ахыр кюнюне – белгиге. Ол кёкден тюшген уллу магъананы джылла, ашай-ашай, гитчертиб къойгъандыла. Адам эси – узакъда аз-маз эшитилген гармонияны ийиси...

Барам, таш макъамгъа тынгылай, ол макъамда кёреме ол мен саллыкъ тереклени салкъын ауаналарын. Суймеклик – тюбешиудю. Кёк, джер, адам тюбешселе – ол суймекликди. Джангыз да суймекликни къулу айтыргъа боллукъду: мен керти да марданы юлгюсюме деб. Марданы чеклери уа – эс бла суймеклик.





Тарих – музыкады. Келечиле – композиторла, халкъ макъамны дуниягъа билдиредиле. Тарихны ётюрюксюз джангыз да музыка кёр-гюзтеди. Музыка – терекни, гюлню, адамны, ташны, джаныуарны тарихиди. Музыка – урушну бла мамырлыкъны тарихыды. Музыка – тарихни орталыгъыды. Чайковский адам сюймекликни тарихиди. Мо-царт – джерни къууанчы, джанлы, джансыз затланы джерде ёсгенни къучакълашыуу. Хар композитор тарихни бир гитче кесегин ачыкъ-лайды... Музыка джашауда болгъанны, бола тургъанны, боллукъну да хапарыды. Халкъла, тёлеле излейдиле ёмюрле ичлеринде, излейдиле ол философ ташны джутуб ёлген итни, аны уа джангыз да музыканы хайырындан табаргъа боллукъду. Музыканы тилин билсенг, ташны да, итни да табарса. Музыка тюбешдиреди эркинлик бла, анга тюбе-сенг а, солуунг ачылыб айтырса: «Аллахха шукур, керти да эркинме!» Айхай, эркинликни адам бла бир иши да джокъду. Эркинлик джелге, кёкге, бутакълагъа шохду. Адам – шайтан тери къаблагъан мёлекди. Къурт, тегерегин мамукъ бла чёргеб, къышны кечиниб, джайда уа ге-бенек болуб чыгъады. Адам да джашауун къыш къалкъыуда ётдюреди, ёлсе уа, джаны, чыпчыкъ болуб, кёкге учуб, мёлекни имбашына къо-нады. Кюрешеди адам джашауну бауларындан къутулургъа, ычхын-са уа, Хемингуэйни уллу чабагъын тутаргъа кюрешеди. Алай ол уллу чабакъны туталлыкъ туююлсе, аны Аллах бизге туугъан кюнубюзге саугъагъа бергенди. Ма, джууунады арбаз кёлде, джылтыраукъ санлы рахатлыкъ, уллу кёк кёзлери къарайдыла, бизге сюймекликден толуб, джарсыугъа, кёрмейбиз аны. Биз излейбиз уллу чабакъны шахарлада омакъ юлеле, къуллукъ шиндикни тюбюнде, ол а джууунады арбазны кёлюнде, кюмюш тамычыланы ичинден чабакъны къучакълаб, къа-райды меннге. Мыдах сабийлигим, мен а кёрмейме зат да, – чыгъарал-майма джанымы къыш къалкъыудан.

Чабакъ сени тутама деген сагъышынгдан огъуна гитчерек болады, не къадар ызындан болсанг, ол къадар да чабакъ гитчеден гитче бола, эриб къалыргъа боллукъду. Тутама деме, къалай сакълайым де. Хемингуэй бла Маяковский асыры кеч ангылагъан эдиле ол затны. Джашаулары да, кетгенлери да алай бош болмаз... Дагъыда... Кърал большевик габрасын къаты тиймелеген эди. Серджантла бла генералла, швейцарла бла ЖЭК тамадала, школда сабий къуллукъчула: звеновойла, отрядланы бла дру-жиналаны тамадалары – бары да къуллукъ ауазгъа намаз этгенле...





Аллах бизге төрт деменгили джия кыйл бергенди: джай, джаз, кюз, кыйш. Адам улу кеси джетисин кыурагъанды.

Японлула кыйтайлыланы узун назмуларындан джангыз да юч тизгин кыйгъандыла, ол юч тизгинден бююннгю мийик технологияла кыурагъандыла.

Космополитизмни эки кыаууму барды. Бири – мамырлыкъны таянчагъы, бири уа – урушну минг тамырларындан бири. Мамырлыкъны шоху алай айтады: мени иги заманым – сени, сени иги заманынг – мени. Урушха таяннганы уа: не сени болмасын, не мени болмасын, дейди. Рюрикле, Романовла, Ермакла, Хабаровла, орус бетни джуууб, кыурутуб кетген бир джыйындыла. Сибирь, Кызан, Орта Азия, Афганистан, Чечен, башха миллетлени орта магъаналарын кыурутайыкъ дегенле кеслерини бет сыфатларын тас этдиле. Мамыр космополитизм, урушну джанына болуб, миллетни бетин кыурутду.

Арисей, тураса, алай оруслула уа джокъдула. Джангыз да тобагъа кыйытыб, сен гунч этген кыралланы джангыдан джаратыб, Аллахдан эрикмей, талмай кечгинлик тилесенг, ким биледи, Аны джаны ауруб, кыйытарыр артха бетинги. Бир джылны уруш этген эсенг, ойгъанынгы джангыдан юч джыл ишле.

Бююн кыара джыйын кыанлы революциясын бардырады. Кыара бетлиле, бирлешиб, адам бетлилени ачыкъ кыырадыла. Джер микробладан джаратылгъанды, бир клеткасы адамладан джоуллукъду. Алгъын кыара джыйынны культурадан, искусстводан, кырал байлыкъларындан кенге тутхандыла. Энди уа, ала патчах столдан юлюш сермегендиле, ол юлюшню артха сыйырыгъа уа бек кыйын боллукъду.

Адам олтургъан бутагъын кесе эсе – ол джангыз адамны сыфатыды. Адам улу олтургъан бутакъдан кючлю зат не джерде, не кёкде табмаса. Ёмюрле бла кюрешибиз ол бутакъны кесерге, алай болалмайбыз нек эсе да. Гумулджук джер титирегенин эшитгенча, сезебиз Аллахны, алай, сангыраубуз да, сёзюн эшиталмайбыз. Эсиргеннге тынчыракъды Сыйрат кёпюрден ётген, властны ууун джалагъаннга адам кебине кыйытхандан эсе...

Интеллектуал – «меннге джетмеген затла аурутадыла башымы».

Интеллитент – «биреуню аурууу ёшюнюмю тюз да ортасындады».

Акыйл: «джартысы – бетликден, джартысы – тюз сайлаудан».

Кыара джыйын, чархын джашауну ортасына орнатыб бурады, джерни





да, бизни да эсибизни кѳурута. Ол чарх бла джашау ортасында – Аллахны скойген адамлары – Мать Тереза, Сергей Ковалев дагъыда, дагъыда... Ала, налмасла болуб, чарх ичине тюшюб, аны бурулгъанын гитчертиб, бизге кѳз ачдырадыла, эс джыйдырадыла. Къара джыйын тѳгережни кюл бетли этеди, художник а кюлню ариу бояула бла джагъады.

Ариулайма ташдан гитче джерчикни. Ол ташланы ариулай туруб, джерни бек кыйырында джашагъан адамла да, халкъла да меннге изеуге келедиле. Бир уллу ташны тюбюнде Игорь Шкляревский джазгъан Джангы Инджилни табдым, ол Инджилде джангыз да бир тизгин барды. «Сени джыламугъунг – мени джаягъымда».

Ол сѳзле уа – насыб ѳзеги.

Эски Инджилден джангыз да бир тизгинни алгъанма: «Кесинги скойгенча, къатынгда адамны да алай ской». Эки Инджилден бирин кѳурагъанма. Инджилни башха сѳзлерин эсинге алмасанг да, гюнах туююдю.

«Ѳлтюрме» деген – ѳлюк бла сѳлешгенчады. Мен сени кесимича скойсем, сени джыламугъунг мени джаягъымда болса, мен ѳлтюраллыкъ туююлме. Джашагъан, джашаргъа умут этген ѳлтюрлюк туююдю, ѳлтюрген а кеси ѳлюкдю. Джангы Инджилни эки тизгинин билсенг, къалгъан китабланы окъумасанг да, гюнах туююдю.

«Хорлам» деген сѳз кѳуруса эди джашауубуздан, къалгъан зат иш туююл эди.

«Хорлам» деген сѳзню адам, ичинде къаты кысыб, аны бла кеси кесин ариулайды. Ол сѳз тышына ычхынса уа, кеси да къан бетли болуб, дуняны да къан къатыш этиб кѳояды. Сабий иллеуде болгъан магъана бу сѳзде джокъду... Сыфырны ортасында уа – джерни бек уллу байлыгъы, артыкълыкъ тѳкдюрген сабий джыламукъчукъ. Аллах алимлени кечсе, ала, кѳкден тюшюб, терлегенлери бара, ѳрлерге кюреширле тазны мийиклигине, - ол тазда уа джуады Мать Тереза эти чириген адамны аякълары. Джашайса шайтан оюнланы ортасында, магъана излей. Юч тенгизден ѳтгюнчю, къаршы адамынга тюбеялмай, хоншунг бла кесинги араңг а – Тенгиз.

Обломовну джангыз эки сайламы бар эди: тѳпсиден кѳобмай, окъуй, ашай, джукълай неда чексиз джашауну бла скоймекликни кыйырына джетерге. Ол, Штольцча, джашауну кысха таякъчыкъ бла ѳлчелеялмай эди.





Обломовну уятхан тиширыула, охо, бир атлам сыймеклик таба, эки атлам башха джанына, дегенле сыймеклик отунда къралыб къала эдиле. Россей Пётрну эгечини, Софьяны, ызындан барса эди, бир да болмаса да, бетин сакълар эди. Пётр а адамланы сакълаллары бла бирге, халкъны, къралны бетин кырыб къойгъан эди. Пётр къралны алгъа тюртеме деб, аны иги да артха сызгъан эди. Гудукача, Европагъа терезе бла кирирге умут этген эди, алай, саулай кърал ол терезеге сыйыналмагъан эди.

Ол ачыкъ терезеден Европада джыйылгъан багуш тегюледи Россейге. Бети болгъаннга уа – эшик да ачылады. Россей юйсюз адамча турады: тёрт джолну да ортасында, дунияны тёрт джанына къараб, излейди кимге «болушайым» деб. Ол «болушлукъну» сынагъан къралла уа, джукълары къуруб, оруслула къачан «болушадыла» деб, къанлары тохтаб, солуулары тыйылыб турадыла. «Не этерге керекди?» «Ким терсди?» – деб, къарайды дунияны тёрт джанына, чексиз, мурдор магъанасын унутхан кърал.

Телиден акъыллы терсди. Къарыусуздан къарыулу терсди.

«Не этерге керекди?» Кёзбау этмезге керекди. Заман къатышны, тюз да ортасында, эссиз къайын терекчиклени ичинде бугъуб турады Россей, джыламукъларыны ичинде бата. Бир ышаныу, бир байлыкъ, Аллахны саугъасы – орус тил, джангыз да ол чыгъарыр, кёргюзтюр миллетге буюрулгъан джолну. Бююн а, Россейни ангыламазса, ангыласанг да, ол ангылау асыры сейирден, анга ышанмай да къалырса. Японлуланы ышаргъанлары, бютеу мешиналадан, компютерледен сыйлы да сыйлыды, байлыкълы да байлыкълыды. Насыб деген сени тылпыуунг бла, тегерекни тылпыуу бир болса. Джыр джашауда, иште да – уллу болушлукъду. Джырлайбыз, Христосха джарсый, аджашдыкъ аны ёлтюргенде, айхай, анда да Рим бла Пилат терс эдиле, Бабилни чырмаулары, чуутт массонланы хыйлалары, Андромеданы чарсы. Айхай, джырларыбыз да тутмакъ джырла. Кече биреуню юйюне кириб, къарангыда адамланы кырыб, эртденликде уа кёзлеринги уууб къарасанг, ма сеннге, бири – ананг, бири – атанг, бир уа – туугъан эгечинг. Библияда огъуна: Аллах бир миллетни къырдырыб, юлерин, джерлерин башха миллетге береди. Шахарланы бла къралланы кюл этиб къояды. Чууттлулагъа, барыгъыз, бу шахарны адамын кырыгъыз дегенде, ала сабийлени ёлтюралмагъан эдиле.

Аллах а аны ючюн бек ачыуланнган эди. Библияда къан судан эсе эркин тегюледи; къумлада суу бек аз эди. Адам улу-ну тарихи сюек узунунгу сууутады. Алай, окъуй барсанг, китабда





къайнагъан, тѣюлген къан къуруб кетеди. Кетеди миллет араларында ар-тыкълыкъ; поэзия бла башы-аягъы болмагъан романны ортасына тюшесе. Бютеу деменгили джазыучула сыйыныб къаладыла Библияны ичине.

«Земля же была безводна и пуста и тьма над бездною».

Лермонтовда уа: «В пустые мира без приюта, вослед за веком век бежал, как за минутою минута, однообразной чередой, ничтожной властвуя землей». «И был вечер и было утро: день один». «И произвела земля зелень, траву; сеящую семя его по роду его». «И» Пушкинде уа: «Кто знает край, где небо блещет неизъяснимой синевою, где море теплою волною вокруг развалин тихо плещет, где вечный лавр и кипарис на воле гордо разрослись?»

Учады Библияны ортасында Маркес, учады, тѣшек тышха илиниб. Достоевский, башха кѣкlege къараб, анда уча тургъан балтаны кѣреди, ол балта кѣкден Раскольниковну, къарт къатынны юйюне тюшеди, ол юйле бла къанмай, сау къралны джерин да, къанын да къатышдырыб къойду. Библиягъа бютеу да, бютеу да сыйынадыла. Файгъамбар бла, мурдар, бабас бла джарты бабас, интеллигент бла окъуулу къылыкъсыз адам. Ала бютеу да ноль магъаналы эркинлик гюрюлдеуден толгъан «И» харфны тѣгеригине джыйылыб къалгъандыла.

Библиягъа сыйынмай, джерге тюшюб, гюрюлдейди Хемингуэйни къонгурауу, гюрюлдейди, сени, мени джаныма джарсый. Китаб ичинде джауадыла Платоновну ууакъ джаумчукълары адам улуну аякъ тюбюнде чаб-чаб этедиле ёмюрде къурумазлыкъ балчыкъла. Эртденлик джарсыу къурайды, кюн тинтеди джыламукъла, джылла эссизликге кийим тигедиле. Адамны къоруулар джангыз да бир зат къалгъанды - «Защита Лужина». Аллах бир терекни къурутмагъанды, бир адамны гырджынсыз къоймагъанды. Аллах «сайламлы» миллет ючюн, башха миллетлени къырмагъанды, Аллах бла юч тилде сѣлеширге боллукъду: соймекликни тилинде, сейирсиниуню тилинде, уялчакълыкъны тилинде. Ол юч тилде сѣлешген, ол юч джол бла баргъан чыгъады Аллахны эркин джолуна. Халкъ не заманда да «тюз» болур, ёлюмсюз да болур, чууттуланы сайлагъанды юлгюча: айтханымы этмесеги, кесигизни быллай къыйынлыкълагъа джетдирирсиз деб. Аллах не заманда да джангыз адамны джанындады. Халкъны аллына секириб чартлагъанны, джарсылулугъу болмагъан адамны Аллах сайламайды. Аллах сайлагъан адам халкъны ауанасындады, ол уялчакъ, аты айтылмагъан адамды. Аллахны сюйме-





клигин сынагъан, Аллахны къол аязын мангылайларында сезген, атлары айтылгъан адамла да бардыла, алай ала кёб тюйюлдюле. Кёбдюле Аллах сайлагъанла. Джерни сюрген – ала, ала бла тюрмеле, телиле юйле, клисала, меджгитле толубдула.

Ван-Гог, къулагъын кесиб, ариулукъну кёрмегенлеге кычырады, алагъа кёз ачады. Ма, къатынгда кюн, чёплеу башха бешик ишлеб, ышарады, азат къалыуда эриб. Ма, къатынгда кёкню кюлгени, терекге илиниб, джерни ариулугъуна сейирсиниб, джюзюм болуб къалды. Аллах нени да къурагъанды, нени да ишлегенди – къууан, джаша. Къууанчылыкъ – Аллахны магъанасы. Гырныуу, кюнню ишлеяллыкъмы эди, къуру джылаб тургъан, джерни гюлле бла толтурлукъму эди, кюлкючю болмаса, киштикге мыйыкъла ишлерикми эди?

Къууанчылыкъ – сабий бир аягъына секиреди, къарт адам, къыйынлыкъны хорлаб джырлайды. Ичкини мардасын билген, мардасыз суйген – Аллах суйген адамла. Бу джерде Аллахны мурдору да – ала, юйю да – ала.

Аллахны тилин эшитмегенле, Аллахны джолун кёрмегенле – властха къатышханла. Юч тилде сёлешген Аллахны джолу бла кеси бармагъан не башхалагъа кёргюзтмеген – бек гюнахлы адамды. Барындан да Аллахха къаршыракъ джанлагъанла: монахла, тутмакъда терсликлери болмай тургъанла, композиторла, балеринала.

Москуагъа, Москуагъа! – Колумбну башха джерлеге термилгени тюйюлдю. Кесин, Аллахны излеген адамны кычырыгъыды.

Москуагъа, Москуагъа! – Джер бла, джашауну ариулугъундан къутулуб, джуддуз джазыуладан сорууунга джууаб табаргъа.

Москуагъа, Москуагъа! – Ишден кёбген Сизифни къолларында кычырады эркинликге термилген къан.

Москуагъа, Москуагъа! – Ивановну мийик термилиую.

Москуагъа, Москуагъа! – Дон-Кихотну эр кычырыгъы.

Москуагъа, Москуагъа! – Гамлетни джарсыуу.

Москуагъа, Москуагъа! – Джыланла бла бууула тургъан Лаокоонну тарыгъыуу.

Москуагъа, Москуагъа! – Иовну сюек тауушунда.

Москуагъа, Москуагъа! – Аллы, къыйыры болмагъан Чаплинни джыламуқълары.

Москуагъа, Москуагъа! – Кюнде кыызгъан къаргъа, биринчи сууукъ-





лагъа термилгенлей турады Гоголь, къралны тамлагъы кюнюн къалай кёрейим деб, алай озадыла ёмюрле, Россей а, тюненеги кюнюнден чыгъ-алмайды.

Москуагъа, Москуагъа! – Акъ кемеге миниб – Москуагъа!

Москуагъа, Москуагъа! – Сёзсюз Герасимни тиш тауушунда.

Москуагъа, Москуагъа! – Вампиловну тубанындан, къыйынлыкъ джарыкъдан толгъан адам сыфаты.

Москуагъа, Москуагъа! – Окуаваны кёк троллейбусунда.

Москуагъа, Москуагъа! – «Двое в городе» деген кинодан, гильотинаны тюбюнден къарайдыла Ален Делонну кёзлери, къарайдыла, бизни къарангы джанларыбызгъа джарсый.

Москуагъа, Москуагъа! – Сокуровну, Тарковскийни, Германны киноларындан, – джана, эрий тургъан джашаудан.

Джылла, сыныкъ аппаратда суратха тюшгенча, ол сурат – сыфатынгы ары-бери джагъыб, гюл тенгизден джарсыу ийисли къуругъан хансла ичине тюшюредиле. Джангыз да терлеулеринг артха – гюлле ичине къайытарыр. Ташла джыйсанг, ташла да сени джыярла. Гитче ташчыкъда – къая, къая – ичинде – дуня. Гитче зат джожкъду, гитче – уллуну сыфаты. Биз къуруй барабыз, заман бизни къурута барады, саркъады ичибизден джашау сууубуз. Бомбалагъа ачабызны бош къоратабыз, адамны ичинде джаннган къара от бу джерни къум бла уу къатыш этиб къояргъа онгу барды. Джаханизм – боз батман, кюлге къаланнган уя. Джаханизм табада джылына туруб, таба тюбюнде от кёрген, кюнню эсине тюшюрюл, керексизге къууанмазса. Джангыз да кёкден тюшген сабий эсибиз бла суймеклик джарытыр джаханизм ауананы. Суймеклик – тюбешиюду. Кёк бла, джер бла, адам тюбешселе – ол суймекликди. Джангыз да суйген айтыргъа боллукъду: «Мен марданы юлгюсюме», – деб. Аллахны мардасыны чеклери уа – эс бла суймеклик. Кюн батхынчы – сан эркинлиги.

Айланадыла къарт да, джаш да майкачыкъла бла, ич кёлекле кийиб. Джерни, кюнню кючю ичлерине кириб, чырмаусуз тышына чыгъады, аны ичинде тутар ючюн иги да кюч салыргъа керекди. Россейни ич тартышлыгъы. Тышында кючню ичине джыйыб, джюрекни, джанны да бир этиб, ол къарыуу, ырхыча, тышына тёгюледи: кино, театр, литература, искусство, спорт. Сан эркинлиги алапат зат болур, айлан, ауузунгу ачыб, тегерек бла бир болуб, – санланы тою, сюекни къууанчы. Ич тартышлыкъ





– джан хауангы тамблагъы къууанчы. Россейни бюгюннгю такъырлыгъы – тамблагъы Ренессанс. Мардагъа сыйынган адам, – ол хиппиянкадан бла академик Лихачевдан туугъан балады. Хиппи – адамны соймеклик таба бургъан умутду, адам улугъа адам бетни къайытарыр оюмду, алай чекистле бла ууакъ къуллукъчула ма, бизни джашауубуз, бизни къанлы джолубуз юлгю болургъа керекди, ызыбыздан келигиз деб, халкъны бойнундан тутхандыла. Барлыкъ да болур эдиле сатхычлыкъдан, ётюрюкден, доносладан, къралны телилигинден тойгъан адамла, барлыкъ да болур эдиле, алай къарыулары къалмагъанды. Къуругъанды соймеклик, ансыз а джол огъай, атлам эталмазса, джол да – ол, атлам да – ол. Аллах, тюбюнде такъыр, башында къынгыр, орталыкъны уа, сен да къоймагъанса. Болургъа онг джокъду, «болургъа соймейме» уа – гюнахды. «Солдат болуб турмайдыла». «Маршал болургъа соймеген – ол аман солдатды», дагъыда эл бла бир магъанасыз сёзле къуядыла адамны къарыусуз башына. Ёсдюреди кърал мурдарланы, артда ала бла къазаут этерча. 0015/34 деген Указыны чыгъардыла, тюбюнде уа:

Москва. Кремль. Вашингтон. Штат Невада.

Бурулады тыйын чарх ичинде – адам улуну сыфат сураты. Ичингде Аллахны болмаса, аюню, агъачдан чыгъарыб, велосипедге олтуртурса. Политика – рахын сёзле бла, болмазлыкъ ишлени юсюнден.

Спорт – бу къатышлыкъдан чартлаб чыгъар умутду. Акъ кийимле кийиб чыгъаса джашил кырдыкга. Къараучулагъа тобдан ариулукъ къу-рар ючюн, къууанчылыкъ джаратыр ючюн джангыз да юч зат керекди: фахму, илхам, акъыл. Ол юч затынг болса, мингле, сени оюнунга къарай, бир адамча, секириб ёрге турурла. Оюнунга къарай, унутурла адамла къралны да, джылларын да, къайгъыларын да... Къаллай адамла чыкъгъан эдиле футболну джашил ёзенлерине!

Интеллигентле: Пеле, Круиф. Воронин. Къуршча, ышаннгылыла: Джентиле, Беккенбауэр. Къуш кёзлюле, эркин къарамлыла. Веремеев, Коньков, Кипиани.

Карфагенни чач-тюк этген – Гарринча. Футболда туууб, аны ортасында эриб къалгъан Стрельцов. Кёб эдиле футболда кеслери да къууаннганла, минглени да къууандыргъанла. Иги тренер, оюнну суратын кёрюб, ол уллу суратда табсыз затны кетериб, аны орунуна ариулукъну орнатады. Иги тренер, иги реджиссёр да, ариулукъну джюреклери бла эшитиб, кеслерини энчи, аджашмаз айырыуларына таянадыла.





Ариулайдыла интеллигентле төгөрәкни, ала джетмеген не джер, не иш к'ялмаг'анды, боксда ог'уна: Григорьев, Агеев, Мухамед Али, Ко-накбаев, Енгибарян.

Тутушуу – бир-бирге болушуб, эркинликге ычхынырг'а. К'ытхан да, к'ытдырг'ан да джашау сынджырланы юзерге кюрешедиле. Тутушуу – джашауча, минг бетлиди.

«Иду на Вы», – деген Медведьни ачык'тылыг'ы. Тау сууда тирмен иш-легенлей, – Али Алиев. Ярыгинни бла Карелинни – нарт джырлары. Пе-лени футбол к'ябак'г'а тобну гюрюлдетиб кирдиргени. Рахманиновну 5-чи концерти. Чайковскийни балет музыкасы. Плисецкаяны к'янатлы-ны тилинде с'елешгени. Джер сюрюучю Мальцевни тылпыуу бла джерни солууу бир болуб к'ялг'аны. Нёгерлени дауурбасла бла джашауг'а салам бергенлери, эбзелени джырлары, таулу нарт сёзле. «Манас». Какваз теп-сеуле, кинону, литератураны, театрны маг'анасы Иванушка-дурачокну бетине сыйыныб, ёмюрле ортасындан к'ярауу, адам улуну джан тылпыуу юфгюрюб, к'уртну юйюм оюб, гебенекни кёкге учурады.

Пушкин, Лермонтов, Толстой, Кязим, К'айсын – халк'яланы джый-ымдык' орталык' сыфатларыды. «Афганлыла», «чеченлиле», «корейли-ле» – уруш эстраданы к'яанлы тепсеучюлери. Ёкюнюуге, тобаг'а к'ай-ытхан – адамны сюек узунуду, орталык' тутхучуду. Биз джашай кетсек, ары да болабыз, бери да болабыз, алай орталыг'ыбызг'а к'айытырг'а кюрешебиз, орталык'ны бир аты уа – тоба. Граждан уруш – халк'ны зор бла тобаг'а к'айытарг'ан. Джамаг'атны эсли к'яаууму Чухрайны «Со-рок первый» бла «Баллада о солдате» деген кинофильмлеринден сора к'айыта башлаг'ан эдиле. Ол заманда ёсген эдиле эркинликни биринчи бутак'чык'ялары. Литература ётюрюкден толуб, керти сёзлени эртде уну-туб, к'ялк'ый эди, большевик сёзлени мур-мур эте. Клисала бла межгит-ле социализмге намаз эте эдиле. К'ярангылык'ны джангыз да совет кино джарыта эди, ол кинону мийиклиги онтог'узунчу ёмюрде болг'ан орус литература бла тенг эдиле. Болурла алк'ын кинода бошалмазлык' изми-ле, джангыз форма да болур, терен, биз эшитмеген маг'ана да ачык'ла-ныр, джомак'дан тюшген техника да келир, не да болур, алай кино не заманда да, артха к'айытыб, совет кинону тазалыг'ына баш урлук'ду. К'айытырык'ды тамблаг'ы кино, литература Гомерге, Софоклг'а, Ев-рипидге к'айытханлай. Алг'ын кинодан, хамамдан чыг'ыб, мырдыг'а ташайг'анча, джашау алай кёрюне эди. Энди уа кино бла джашауну орта-





сы: мырдыдан чыкъ да, мырдыгъа бат, ырмах болуб, юйюнге джетсенг а, терезенге – тутмакъдача, темир чалдыш. Кетер, заман кетерир кюйсюзлюкню ууакълыгъын. Сюймекликни джолу барды, халаллыкъны джолу барды, кюйсюзлюкню джолу барды, деб къалай айталсын адам? Джол – эки къыйыры джарыкъдан толгъан бир затды. Кюйсюзлюкню не аллы джокъ, не къыйыры джокъ, айланады къап-къарангыда бир сокъур зат.

Ол тели юйню эшигин ачыб, кирген эди Пашка Колокольников, кирген эди, Шукшинни «Живет такой парень» деген фильминден чыгъыб, суу тюбюнден, град Китежден къарай, джашауубузну къарангылыгъына тѣзалмай, келген эди бизге джауум, къар келгенлей, мардагъа тансыгъыбызча келген эди. Биз андан джангы, саулукълу сѣзле эшитдик, мардагъа тыйышлы ишлерин кѣрдюк. Кюле, ойнай, эки къарт адамны бир юйюрюлю этерге кюрешди, биреуню джана тургъан юйюн джанындан багъалы кѣруб, ѳчюлтюрге кюрешди. Биз анга къараб, ол солууубузну тыйгъан габраны тартханда, большевик тюймеле кюнню тѣрт джанына чачылдыла. Свифтни союзу да оюлду, аны закону да: дженгил зат башына чыгъар, магъаналы уа суу тюбюнде къалыр деген закону да эсибизде тюз магъанагъа келишди. Биз киногъа эрикгенден Мексиканы сапындан ишленген джыламукълары ючюн бармагъанбыз. Биз, тели юйден къачыб, киногъа джашаргъа бара эдик.

«Жил певчий дрозд», «Гамлет», «Три тополя на Плющихе», «Когда деревья были большими», «Иваново детство», «Полеты во сне и наяву». Джыл саныбызны бла бизни джашаугъа къайытаргъан киноланы санаб бошайлыкъ туюлсе. Атларын огъуна эсинге тюшюрсенг, назмулача, Аллахха бир бек джунчугъан адамланы тилегича эшитиледи. Динден айырылгъанла ийнана эдик киногъа, кино файгъамбарларыбыз бизни алдамадыла, сатмадыла, атыб къоймадыла, рахын, къыяулу джан хурттакларыбызны багъыб, джашаугъа къайытардыла. Биз а, кинону чырагъына къараб, Аллахны джарыгъын кѣре эдик. Художник джашау бла къазауат этиб, экисини сермешиулеринден джаратылгъан от, джарытхан да, джылытхан да эте эди. Художник – бююннгю кюннге къаджау. Совет кинону юсюнден барысындан да тюз Мюнхгаузен айтханды: «Къобама джетеде, сегизни джарымына дери булутланы ары-бери къууб, иги кюнню тохташдырама». Бизни кинобуз да, джюреклерибизден къара булутланы къыстаб, таза кюнню орнатыргъа кюрешгенди.

Барама, ууакъ ташланы арбачыкълары джюклей, уллуланы алайлай суу





боюнуна сюре. Суу боюнуна да ташланы бизни адамла джыйгъан болурла, эс къурай туруб?..

Джангызлыкъдан иги эркинликни бир киши да кёрмейди. Джангыз эди Христос, джангыз эди Будда, джангыз эди Мухаммат фыйгъамбар, Аллах да джангызды. Джангызлыкъ ючюн Дон-Кихот хар кюнден къазауатха чыгъыб тургъанды. Гамлетни джангызлыкъ патчах юде къабханнга тюшген эди. Ивановну джангызлыкъ кыйыр элде, татыусуз адамланы ичинде джоюлгъан эди. Сокъурланы бла сангырауланы ичинде айлана эди Идиотну джангызлыкъ, айлана эди юйден-юйге кире, зырафына къарыуун тас эте, айлана эди адамлагъа адам сёзню кёргюзтейим, эшитдирейим деб. Хемингуэйни «Шелковичные черви» деген хапары. Бир отоуда эки джаралы адам. Бири, дженгилик джарасы болгъан, тохтамай джаншайды, ол джаншауну магъанасы уа – адам къатын алса, къалгъан затла уа иш туюлдюле. Тышында уа тынчлыкъ, шошлукъ, дарий ийирген къуртла, джарагъан чапыракъдан тоюб, ауурлукъларын кёлтюралмай, «доп» деб джерге тюшедиле. Отоуда, ууакъ джауум джаугъанлай, джаралы аскерчини джаншагъаны. Тышында уа къуртла, гыж-гыж этиб, чапыракъладан тоюб, «доп» деб, тюшедиле джерге. Джаранг а къычырыкъгъа джетдиреди, джер башында уа бир адамчыкъ да къалмагъанды. Тышында уа къуртла, гыж-гыж этиб, чайнайдыла чапыракъланы, сора сау кечени доп-доп-доп деб тюшедиле адамны джарлы мыйысына...

1992 – 1996





КЕРТИ ДЖАШАУДА КЕРТИ ДА ДЖАШАЙДЫЛА

Юйчюгюмю эки терезеси, темир джолгъа къарай, къарт болдула, мен онбеш джылны ичинде къарайма ол джолгъа. Къыйынды темир джолну къатында джашаргъа онбешджыллыкъ къызгъа, къыйынды поездни терезелеринде насыблы бетлеге къараб тургъан.

Мен къобуста туурайма, анам быстыр тикген машинада кюрешеди, поезд а келеди, «чух-чух» эте. Бычагъым, аш къангагъа тийиб, «тук-тук» дейди, анамы машинасы уа – «та-та-та» дейди. «Чух-чух, тук-тук, та-та-та» деген тауушла, бир болуб, юйчюгюбюз тауушладан толуб, поездни ызындан чабханча кърюнеди. Юйюбюзге машина джау ийисли джаз джелчик киреди, ол джел поезд айланган джерлени ийисин да келтиреди, узакъ джерлени суратларын да къргюзтеди.

Къобуста шорпаны ичедиле атам бла къарындашым, тийрени къашыкъ тауушха алдыра. Кетген поездни тауушу, поезд бла табакъны, быстыр тигиучю мешинаны тауушу, бир сейирлик макъам туудурадыла, къууанч джыламукъларымы келтирген сыбызгъы джыр да эшитеме ичимде.

Джарсыйма шахарны ортасында бир джары кеталмегенлеге, ала бла тургъан адамлагъа – ала уа къычырыкъчы машиналадан сора зат кърмейдиле, ол машинала уа келтиредиле джангыз да джашау-ну боз кюнчюклерин. Мени юй къатымда уа поездле кюле, къууана барадыла, джазды да, аны ючюн, кюзде уа бек мыдахдыла. Поезд терезеде машинистни къап-къара бетин, чыммакъ тишлерин кърсем, билеме джаз келгенин.

Мазут ийис, темир джолну джылтырагъаны, джер башында кючден эсленген тубанчыкъ, билеме сора джаз башы келгенин.

Асыры кетеригим келгенден, джыламукъларымы тыялмайма, кетерик эдим ариу джерлеге, узакъ тенгизлеге, салкъын джырладан





толгъан агъачлагъа. Джангы, сейирлик адамгъа тюберигим келеди. Озгъан поездни ызындан чабарыгъым келеди, чабсам, джетерме деб ийнанама.

Сора, поездни джетиб, терезеде ышара баргъан машинистге кьол бла салам бериб тынчаяса.

Не паркда, не агъачда биринчи джангкъозланы, биринчи кырдыкны кёрсем да, джаз келгенине иги да ийнанмайма, темир джолну джырын эшитсем – билеме джаз келгенин.

Кече уа, киреме акъ, таза джууургъанны тюбуне, толу ай, мазут кёлчюкге тюшюб, темир джолну кёнделен салыннган къара агъачларын джарыкъдан толтурады, тёшегим да андан да агъыракъ кёрюнеди, тюшюмде джылы джарыкъда джууунама, поездни сызгъыргъанларын эшитеме, аланы ёмюрлюк тауушлары айтадыла меннге: «Ананг, атанг, къарындашынг, ёллюк туююлсюз, джашарыкъсыз, къыйыры болмагъан джаз ортасында». Джукъугъа батыб кетгинчи, келди эсима – нечик акъыллы адамладыла чыганлыла, ала керти да джашайдыла керти да джашауда.

Юйюбюзде кёзге кёрюнмеген дирижёр джашайды, анам, къарындашым дауурбаслада ойнайдыла, мен а сыбызгъыны согъама. Юйюбюз, джаз джомакъдан толуб, чабады поездни ызындан, чабады узакъ тенгизлеге, салкъын джырладан толгъан терен агъачлагъа. Бирде ол сыбызгъы макъамны эшитсем, анама къоркъама, аны бети саргъалгъанды, мешина къатында кёб олтуралмайды, джата-къоба, «ых» демей, юйде макъамабызны бузмаз ючюн, тынчаяды тёшегинде.

Озадыла поездде, зынгырдатадыла аякъ-къашыкъны атам бла къарындашым, аланы тауушлары айтадыла меннге: «Аллах айтса, анабыз сау болур». Анамы машинасыны тауушу уа айтады: «Кетерсе, кетербиз», – деб.

Къарайма анамы бетине, къаты къучакълаб, эшитеме джюрек тауушун: «Кетерсе, кетербиз».

1980





ЧЫЧХАН

Эртденликде бачхада кёрдюм – сокъур чычхан, мийик терекге ёрлеб, тюз да бутакъ юсюнде кертме ашай эди. Мени – эки кёзюм, эки кёолум, алай андан иги бишген, андан уллу кёетни сайлаяллыкъ туююл эдим. Кертмени эки «кёолчугъу» бла тутуб, ууакъ-ууакъ къаба, ашай эди сокъур чычхан, алай ариу, мен огъай, эртдеги чанка тиши-рыу огъуна ашайлмаз эди.

Анга къарай, пионер лагерни уллу ююу эсима келеди. Экиджюз адам бирге джыйылыб, къашыкъ-табакъ таууш къайнаб, ашайбыз, ким къубула, ким бюсюремей, ким а тонгуз баладан бир башхалыгъы болмай. Ол къатышны ичинде кёрдюм бир адам бет, ашыкъмай, сую-юб ашагъан гитче къызчыкъны, анга къарай, кёрюндю меннге кёк бла джерден туугъан сыйлы зат – аш бла адам тюбешдиле, ол тюбешиден суюдюмлюк тууду, биреуню ариулугъундан мен да тазаракъ болдум. Биз а ашарыкъгъа душманыбызгъача къарайбыз. Адамла чачылгъанда сордум джашчыкъдан.

– Ким эди ол сени къатынгда олтургъан къызчыкъ?

– Бош, элден келген колхозчу, хазна сёлеше да билмейди.

Эри, къатыны айран джугъу эринлери бла «мен сени сюеме» дерге кюрешедиле. Къалай аздыла ашарыкъ бла ариу тюбешген адамла...

Къайдаса, мени гитче устазым?

Билеме, хар къабхан къабынынг, дунягъа джарыкълыкъ болуб къайытады. Айланаса, гитче, таза тамгъачыкъгъа тюбесенг, аны уллу-ракъ этерге кюреше, айланаса, эки акъ мёлек а – къатынгда.

Олтурады терек башында сокъур чычхан. Олтурады, кертме ашай...

1995





ДЖАРЫТХАН ДА ЭТЕ, ДЖЫЛЫУ ДА БЕРЕ...

Кюн эрий, джарыкъ джауум болуб, адамлагъа, тереклеге, маллагъа тегюле эди, тамгалары, джерге тюшгенлей, джашил, къызыл, сары болуб, болгъанны къатышдырыб тепсете эдиле тегерекни. Ол джарыкъ тепсеуде: джаш, къарт, сабий, тиширыу – бир болуб къала эдиле. Ичиме тюрю-тюрю чыракъчыкъла джана, ол тышында джарыкъгъа ычхына, аны бла бир бола, сабий аякъчыкъларымы джерден келтюре эдиле.

Ол джарыкъ джауумну ичинде, эки бояу бир да тюrlenмей эдиле – кёк бла сары. Барыучу эди сары джолда, ат юсюнде къалкъый-къалкъый, къыргъыз къатын, иче эди джашил пиаладан сары чайны къарт къыргъызлы; чаба эди, гюлле малтай, багъыр тангдан келю толуб, кёк тай.

– Болур бизни орамда да къууанчыбыз – ол сууларыбыздан ичиб ёлсем да, къайгъырмайма.

Эртденден ингирге дери къуру «Кавказ, Кавказ», – дегенлей тура эдиле адамла.

«Теркирек джетиб, бир кёрсем эди ол джерни, аз ариу болмаз», – дейме кесиме.

– Мама, къол джаулугъунда ол акъ тамгала – точка зрениямыды?

– Огъай, джашым, мен сеннге аны алкъын ангылаталыкъ туююлме. – Анам къатышдыра болур ансы, тамгъа – точка зрения болмай амалы джокъду.

Тура эдим туугъан джеримде кюн бешикни ичинде джылына, кюн джауумну тюрю-тюрю бояу тамгаларын гитче къолчукларым бла тута. Джашай эдим туугъан джерими тюз ортасында. Тура эдим, мени табханла мени джериме арт буруб, эслери, кёзлери да узакъгъа кетиб,





тура эдиле джашау кыйырында, мени джерими ыспассыз этиб. «Кавказ, Кав-казз!» – деб кычыра эдиле кьаргъала.

Биринчи Кавказны китаб суратда кёрдюм. Къара суратда сакъаллы адамла, шкокла, къамала, атла, алай ол къара-къатышда – сары алтын болуб, джангы туугъан сабийча, джарый эди Кавказны магъанасы.

Бир кюнню ичинде терекни, тамырларын кырккыб, башха джерге салдыла...

Кавказда уа – тубан, машинала басадыла сары чапыракъланы. Азияда тубанны бир да кёрмегенме. Тубан ичинде къара уюкъла, гимнастёркала, папахала, – хар адам къара суратча кёрюне эди къалын тубанны ичинде, ёксюз, джангыз болуб.

Тубан ичинден къарайды гогуш, башы акъ бла джашилге боялыб, кызыл сакъалыны ичинден узун къара чачын салындырыб. Гитче кюйсюз кёзчюклерин меннге буруб – джаханимден учуб келген чыпчыкъ – Ибилисни кёзкъарамчысы, къарайды, аман сёзле айта меннге. Тубанда, базар ичинде, чыгъарады попугай чёргелген къагъытчыкъланы, аны иеси – чыганлы къатын, кычырады, къагъытла орунуна, башха къагъытла ала, кычырады: «Боря гадаёт, Боря гадаёт...» – деб.

Ол тубанны ичинде кёрдюм мен таныгъан бир затны: фанер тюкенчикни терезесинден узатадыла адамлагъа халал къолла – алтын ётмекни.

Бууа эди тамагъымы Кавказны къушхамиш¹ ийиси. Тюртюню биринчи кере къабханлай, ёлтюрген эди аны татыуу туугъан джерими суратын, сезгенем, – ол сагъатда кырккылды тамырларым. Тюртюню татыуу, джерни гитчертиб, мени къолгъа джыйгъанча кёрюннген эди. Къатымда джашчыкъ сабий шкогун атдырды.

Тубанда, ол шкокдан чыккыгъан пашот ийис да айтды меннге: «Ёксюзлюгюнню сез», – деб. Тура эдим, гитче ёксюз, бу сууукъ, мен сюймеген, ёмюрде да сюялмазлыкъ джерде, тура эдим, тубаннга чёргелиб.

«Алгъын анам, атам джашай эдиле мени туугъан джеримде, энди мен «джашарыкъма» аланы джерлеринде». Бу сёзле – къадарымы магъанасы. Салгъандыла тамырсыз терекни. «Энди уа нек чакъмайды?!» – деб сейирсинедиле.

¹Къушхамиш – кёгет





Айланадыла кѳууанч бетли сабийле, кѳолларында кѳызыл, джашил, сары шарлары. Туугѳан джеринде ѳсген – ѳксюз болмайды. Тубан ичинде джана эдиле сабий китабла: кѳызыл итле, сары сурахайла, киштик да сюеле эди, мийик, кѳара чурукѳла кийиб. Аланы кѳргенде, кѳллендим: ким биледи, бу джерде да джашарча бир онг табылыр. Алай ѳсмейди терек тамырсыз.

«Аталары мысты джюзюм ашай, сабийлени уа тишлери кѳамай», - дейди Библия.

Аталары ашайдыла мысты джюзюм, сабийлери да ашайдыла, туудукѳлары да ашарыкѳдыла, – алай тишле нек кѳамагѳанларын ангыларгѳа заман джокѳ.

Аталарыбыз сынагѳан кѳыйынлыкѳла – мюлк болуб тюшедиле бизге.

Азияны алтын джауумларындан айырылыб, батама Финляндияны кѳарларына, Маннергеймни бетон кѳабыргѳаларын бояйма кѳаным бла, кѳырама японлуланы Хасан кѳлде, джаяу Европаны шкок бла ѳлчелейме, вагондан Россейни мыдах эллерине кѳарай, кѳанлы кѳадарына джарсый, барама Орта Азиягѳа, андан артха – Кавказгѳа. Джангыдан юйле ишлейме, терлегенлерим бара, тинтеме атамдан кѳалгѳан мюлкню.

Кесими палахларымы, гюнахларымы джыяма, гебенлейме бир джерге, хазырлайма менден сора келлик адамгѳа.

Аталарыбыз ашагѳандыла мысты джюзюм, биз да ашагѳанбыз, бизден сора келликле да ашарыкѳдыла... Кѳарайма артха, ол кюнден акѳгѳан алтын джауумгѳа термиле, кѳк кѳыйырында джюрегим бла туугѳан джерими излей, турама кѳалын тубанда, ышарыргѳа кюреше.

1995





СЮЙМЕКЛИК САГЪАТЫ

Ма бу крти да эр деб джангыз да адакъагъа¹ айталлыкъма. Тауукъ, гаккы табама деб, тынгысыз къычырса, адакъа, анга джарсыб, юч кере къычырыр. Кеси ачдан ёлсе да, табхан бурхусун тауукъгъа берир. Тауукъла джукъласала, тюшлерине, джанларына къарауул болур. Къанын аямай, туююшюр, душманны джерине, юдегисине иймез ючюн. Ана да, ата да болуб, суймекликден толуб айланыр тауукъланы ызларындан. Бир ююр болайыкъ деб, тауукъну къуууб джеталмаса, кёлюне тиймейди.

«Охо, кечдим, кел, татлы бурху табханма», – деб, къанат къагъыб, джер къазады. Таза эр десенг – адакъа. Эртденликден ингирге дери суймекликге къуллукъ этиб, сора, кълкыса да, суймеклик тюшле кёрюр. Эсинде уллу заманны да, юйюрюн да тутады. Дуниягъа бурулуб къычырса, ол къуру заманны юсюнден айтыб къоймайды, заман бла суймеклик бирдиле, заманыгъызны тас этмегиз дейди.

Биз а, аны къычыргъанын эшитсек, сагъатха къараб, кимибиз – джер къазаргъа, кимибиз – къагъыт тырнаргъа. Адакъа уа къуру сагъатны юсюнден айтыб къоймайды уллу заманны хапарын да айтады. Заманны заман этген, аны тутхан, магъана бла толтургъан – суймекликди. «Суймекликсиз заман, миялача сыныб, сагъат сыныкъла болуб къалады», – дейди адакъа.

Къычырады адакъа, къычырады, джанын, ауазын аямай, биз а, сагъатха къараб, чабабыз, уллу замандан ууакъ сагъатла къууаргъа. Тюз айтылганды: «Аллах – суймекликди», – деб. «Суймекликди – бизни дуняа бла бир чырмагъан, бегитген киритлени джангыз ачхычы да», – дейди адакъа.

Аллах адамгъа къаджау болмайды, ма – игилик, ма – аманлыкъ, сайлагъанынг – сени. Аллах сайлагъанынгы джаратмаса – суймекликсиз кълдынг, джаратса, Аллахны бек мийик саугъасы – суймеклик – сеннге. «Суймекликни къулу туююл эсенг – намаз да бошду», – дейди къарт адакъа.

1995

¹Адакъа – гугурукку





БЮГЮН

«Ариуду таулада», - дейдиле ёзенден келгенле, таулула да айта болурла, алай мен эшитмегенме.

Мени элчилерими, мени бла тёш башына суугъа джюрюгенлени джокъду заманлары таулань ариулукъларын кёрюрге. Таугъа къарай-ма деб, тёшден кетсенг, джай да болуб, джаш да болсанг – ол бир иш, къарт да болуб, къышда джыгъылсанг а – ёмюрле джер табалмагъан ташла, оюлуб, кючден келтире тургъан суучугъунг да юсюнге тёгюлюб, челеклеринги эл ортасында излеб айлансанг – ол а башха иш.

«Ариуду таулада», – дейдиле ёзенден келгенле.

Миллетле арасында шохлукъ игиди, къарындашлыкъ андан да иги, алай элде суу болса да, хатасы джокъду. Бирде джыл къысха кёрюнюр, бирде кюн джылны магъанасын сыйындырыр. Бирде элде бир адам табмазса, бирде – бир адам эки элге сыйынмаз...

Бир кюн шахардан Апуаджанны джашы келди, кеси келиб къалмай, темир быргъыла келтирди. Сау кюнню кюрешди аланы от бла бир-бирлерине джалгъай, къызгъан темирлени, терлегенлери бла, джаралы къолларыны къанын сууута.

Эртденликде уянсакъ, темир быргъыдан кюмюш шоркъа келе, тюз да юй къатыбызда, уллу орамны ортасында. Апуаджан да, омакъ кийиниб, гыранча джаулугъундан эки къуш къанат ишлеб, джангыз маймёз джыйрыгъын кийиб уча эди халкъ аллында, суу къатында, кюбюр ийисден тегерекни толтуруб.

– Сау бол, Апуаджан!

– Насыблы бол! – аллай бир алгъыш тёгюлген эди ол кюн Апуаджаннга, бир джарлы адамны арбазына аллай бир сом тюссе – эки джашаууна джетер эди.

Джашадыкъ, зауукъ этиб, къышха дери, бетибизни эркин джуууб, быстырларыбызны, юйлерибизни шаудан суу бла тазалаб...

Бир кюн, къышда, суугъа барсакъ, суу – джокъ, ол темир быргъыла да къуруб, тас болуб...

Сууну уа берген да, артха алгъан да Апуаджан болгъанды. Айланды суу бойнунда ыйыкъ, айланды ай, алгъышны аз-аз эшите. Бир сууукъ кече, бир ауур салтаны алыб, къырыб башлады джашы къурагъан ишни. Юсю-





башы буз болуб, темирледен от чачдырыб, ташыды аланы, къуйду уллу суугъа, сау кечени ташыды, санын-джанын аямай, ташыды, ёпкелерин юшютгюнчю. Кюйсюзлюк санларын тюзетиб, бара эди, темирле джюкле-ниб, суукъ хауада ауузундан исси сёзле чыгъа: «Кёб тёшлеге ёрлерсиз, кёб ёзенни ёнчелерсиз, суу табхынчы», – деб. Эртденликде, арыб, рахын болуб, тёнгереди суукъ юйде суукъ тёшегине. Больницада джатды эки-юч ай, юйде да турду ауруй, иги кесек заманны, джата-къоба, кючден къайытды джашаугъа. Биз а айландыкъ, бузлауукъ тёшню ёрге-энишге ёнчелей, суу ташый, кючден аманны кебинден джазгъа чыкъдыкъ.

Секириб келеди тауладан, тёшледен джазны кирбет келечиси - илипин суу, келеди, сыртына кир табханын джюклеб, барады, уллу таза суугъа кир ыз болуб къошула. Алгъын аны орунунда темир быргъыдан кюкюш суу чыгъа эди.

Фаризатланы арбаз къатында ушакъ этедиле къатынла, тамакъла-рын аямай, бири – къаяда, бири талада тургъанча.

– Хамбийчеге джашы бир кюйюз келтирди да, асыры ариудан, кюн-дюз къанмай, кече джастыкъ тюбюнге салырса. Ёзенде – ат, терек ар-тында уа кюйсюз бёрю аны мараб, къатчыкъларында, кёкде уа – къазла джюзе... Беш джюзге алгъандыла, - деди Акий хариб.

– Атанг ёлмесин де?!

– Папа да, мама да ёлмесин!

– Кимге – насыб, кимге – джылау.

Харекет къуюлуб башласа, бир-бирлени арбазлары – такъыр, бир-лени уа – ууучларына сыйыныр...

– Хау, хариб, хау, хыйны этилген болур ансы, къайда бизге дарий-ле, къол джаулукъгъа джамау табсакъ, къууанабыз.

– Бир ашагъанла бардыла, бир ичгенле бардыла! Ала, бизнича, сар-гъалыб турмайдыла, бир байлыгъыбыз – тылпыуубуз тыйылмагъаны. Ала уа къайнайдыла, асыры къанлары кёбден, бетлери къаралыб, ай-ланадыла, кюннге тюкюре.

– Ол бош эди, суусуз къалдыкъ.

Къоллары къуругъа эди, кена, ол сууну къурутханны. Кимге ме-шать эте эди, машоксуз къаллыкъ!...

Къычырадыла къатынла, ауузлары тау ауузгъа сыйынмай. Къа-тынла къычырыб башласала, бил – тюкенде бир зат береди неда джаз келгенди.





Толкъун суу джагъагъа атхан джаз чабакълача, ауузларын ача, джаба, тиширыу кычырыкъдан, сабийлени джаншагъанларындан, бир-бирлерини сёзлерин кючден эшите, олтурадыла ныгъышда назик акъсакъалла.

– Ала, бу олтургъанла уа кимдиле? Эх, анасыны, ол узакъ къая тюбюнде турса да, танырем тиширыуну, энди уа, тюз къатымда сюелсе да, не кёрмейме, не эшитмейме, таланнган. Джашлыкъ деген а аман тюш туююл кёре эдим.

– Кимле эселе да, бек борбайлыдыла.

– Бири – Фараны къатыны.

– Нек атагъандыла алай а?!

– Сарыды да, андан.

– Башхасы уа?

– Ол а Апатайны кымпыры.

– Эшта, кече ол Апатайны хорлай болур, ансы айланмаз эди аякълары бир-бирине джабыша, кёзлери да сютбашы ичинде уянган киш-тикнича.

– Апатайны да, Фараны да хорлайдыла, кёрмеймисе, экиси да чюгюндюр тёбеле кибик...

– Ай, ким эселе да, юйге, юйюрге джарарыкъ бир затладыла.

– Не айтыунг барды, балтагъа – саб, атха – нал.

– Ол башхалары уа?

– Ала уа бош... Формаларындан сора, башха зат табаллыгъынг джокъду, тёшек джылыта айланнган бир затла.

– Бюгюн джандетге тебрерик кибик, не кычырадыла была?

– Ол ат бла озуб баргъан а кимди?

– Ол а Лянганы джашы. Черкеслиден эки мингнге ат алгъанды, айланады махтаныб.

– Не багъа эди бу, таулу кюллукъчуну шиндигича!

– Бир махтаннганы да джокъду, бек намыслы адамды.

– Адамны багъасын Аллахдан бла джаншакъ тиширыуладан сора бир киши да билмейди.

– Ат а атмыды! Патагониягъа барсанг да, табмазса аллай ат.

– Алан, суусуз къалдыкъ, не шайтанлары тутхан болур эди ол тиширыуну?





– Ол дурбала уа джашауубузну дженгилирек этген эдиле.

– Алгъын хар адамны джанын сакълагъан мёлеги бар эди, энди уа хар кимни – кесини шайтаны. Айхай, бир шайтан бла босагъадан да атлама, бир шайтаны болгъанны бир киши адамгъа да санарыкъ туююлдо, бир къауумунг болса, ким биледи, Прохладнагъа джкетерге болурса, Москуагъа барама десенг а, тынгылы джыйын къуаргъа тюшер.

– Афендиден эшитгенем: «Шайтанны ичинге ийсенг, ол бош келмейди, джан джарыгъынгы ёчюлтюб, къарангыда къарангылыкъны къыйырына элтеди».

– Болур алай да, ким биледи...

Барады эл ичи бла кир суучукъ, барады уллу суугъа къошула, суу къыйырында кир ыз болуб барады...

Ойнай, кюле, джылай джашайды къыйыр, шош элибиз. Тынчлыкъ. Алай, нек эсе да, кёрюндю меннге – дуняда баргъан урушлагъа бизни эл къызыу къатышады, къатышханны къой да, бизни гитче элчикде тууадыла уллу урушла.

Огъай, бош кёрюннген болур, ансы быллай бир саурукълу адам ойнай-кюле турмаз эдиле. Кир суучукъ а? Да алай да болады, ким биледи! Ол суучукъ аллай уллу магъананы да элте болмаз. Ким биледи. Домалай биле болур. Элде андан эсли адам болмаз, эшта да, ие десенг – ие, кесини башына ие. Онбешджыллыкъ сабий урушха къачыб, сауут бла, сауутсуз да ол кёрмеген Европада хазна кърал болмаз. Къызылла тюрге да атдыла, асыры кёб кёргенсе деб. Къанмагъан эсенг а, Азиягъа да бир къара деб, джеринден, къутургъан итнича, къыстадыла. Джашау аны ары да бюкдю, бери да сызды, алай ол кенг мангылайын, уллу башын гитчерталмайды, таулу джылыуун бетинден къуруталмады. Дюгерлиледе бла таулуладача уллубашла мен кёрмегенме.

Олтурабыз Домалай бла, гитче пиалаладан чай иче, тегерегибиз китабладан толуб, къалгъан джерни телевизор бла магнитофон алыб. Домалай, шахаргъа барса, китабсыз къайытмайды. Мал сатса, ол ачхагъа башха къраллагъа барады, былтыр Японияны кёрюб келгенди.

- Бек гюнахлыды элибиз, – деди Домалай. – Нек десенг, къуру ишлеб турады, ишден сора зат билмейди. Да къайдан билликсе, ары-бери бармасанг, эшек джер бла хоншунгу бетинден сора зат кёрмесенг.

Аллах адамгъа кюнню не ючюн бергенди? Бир юч-тёрт сагъат ишле, бир сагъат окъу, бир сагъат телевизоргъа къара, сабийлеринг бла да





бир таныш, элчилеринге тюбе, элде, не къралда къалай, дуния не ишлеб турады? Огъай, эртденден ингирге дери сюрюу ызындан сюркел да айлан. Ким кимни кютеди? Малны эсине да келе болур: «Адамны мен кютеме», – деб. Таулуланы малчылары – он миллетге джетерикдиле.

Къычырлыгъым келеди, бу къысха джашаучугъубузну, элтиб, кеси къолларыбыз бла джерге басдырсакъ, башындан да мешхут къуюб, сора, ах, биз джарлыла, ох, биз джазыкъла. Ой, кюнюм, ой, кечем!..

Бек гюнахлыдыла элчилерибиз. Аладан гюнахлы – джангыз да таулу къуллукъчула, ётюрюк сёз бла кюрешген джазыучула, терс джолгъа бургъан афендиле, устазла, артыкълыкъсыз джашаялмагъан – жандармерия, адам ёлтюргенле, сен а кесинги ёлтюресе, не башхалыгъы барды. Джумушагъыракъ, халалыракъ болсанг, джашау да сени бырнак этмез.

Къошха, малларыма бир къарайым деб, джолгъа чыкыгъан эдим. Кюз къыйыры, наратдан сора къалгъан зат ёлюб, мырхыкла, хансла къуруб. Кёрдюм буз ичинде, бузну ортасында саппа-сау кёк гюлчюкню. Къарыулу – сынады, джумушакъ бюгюлген этеди, сыннган а этмейди. Урушму дейсе? Да урушдан алкъын а – не адам, не халкъ къутулмагъанды. Патчах кючлю болса, ол башындан адамгъа, халкъгъа улу ауурлукъ салады, адам да, халкъ да, кюйсюзлюгюн, ачыуун джыйыб, аны ёрге бурады, патчахны, къралны къарыуу гуппуш этиб къоймаз ючюн. Патчах джумушакъ болса уа, ёргеден ауурлукъ болса, кюйсюзлюк халкъ ичинде къалады. Сора – ётмек алыр адам табмайса, ётмек берир адамны кёрмейсе... Джарсыуума, бизни эл ол урушну къыйырында туююлдо. Урушну къыйыры, шош джерчкилери джокъду, урушну джангыз да ортасы барды. Бийледен туумайдыла джалчыла, джалчы къандан джаратыладыла, къулдан а бий джаратылады.

Эшта, бу аурууладан дарман джокъду. Биз, эки саусузча тарыгъабыз ауруубузгъа, ачыса, къычырмай не онг барды?

Джюрек, джангыз да джюрек, сатыучу да, алыучу да, базман да – ол.

Чайыбыз да суууду, мындан кючлюрек зат да уртларыкъ эдик, «для прояснения ситуации, и чтобы кривотолков не было», – дегенлей. Охо, тамбла, Аллах айста, гарагъа барырбыз. Тёгерекге да бир къарайыкъ – не къорады, не къошуду, не ёсдю, не къуруду? Бир игирек чагъыр да алайыкъ, экибиз кампан болуб, эки къара улан болуб, бир джетейик гарагъа. Тишлик, чагъыр, тау хауа, наратла, ала бир болсала, баш да ариуланыр, джууаб да табылыр.

- Хо, да тамбла...

- Аллах айтса...





АЧЫ АЛМАЛА

Джаз. Азаматны къанатлары болса, учуб кетерик эди, бу балчыкъ ичинде мюрзеу бурхула излей айланган семиз кёгюрчюнлеча. Бу джаз кюн бютеу дуния сыркыу джашчыкъгъа ушайды – тегерекде адамла ышармай озмай эдиле. Кимге ышара болур эдиле? Бир-биргеми, бу дуниягъаamy? Не башхалыгъы барды?

Азаматха уа не – быйыл төртюнчю классны бошайды, хурджуну тегерек конфетден толу, ол аланы мийикге атыб, ауузу бла тутаргъа кюреше эди, алай, бир-экисин тутса да, кългъанлары джерге къуюладыла. Азаматны хоншусу Витька уа бир конфетни да джерге тюшюрмейди. Азамат джанындан тойдургъан эди аны, мени да юрет деб. Витька, уллу кишича, мангылайын джыйырыб: «Ала, Азамат, сейирлик адамса, бу искусстводу, хариб, фахмулу адам туюл эсенг, юреналлыкъ туюлсе», – деучю эди.

Витька уа юйде школ буфетге деб берген ачхаларын бютеу да конфетлеге къората эди. «Тохта, Азамат, мен да юренирме».

Бюгюн Азаматны бек уллу сагъышлары бар эди. Хоншу ораны сабийлери бла Азаматны ораны футбол ойнарыкъдыла. Тюне не аны командасы кытхан эди. Аны оранында джашагъан къызла оюннга къарагъан эдиле. Ала, харс уруб, кычырыб... харс не, джанларын да къызгъанмай эдиле. Оюндан сора Маринка – кёк кёзлю къызчыкъ – гюлле берген эди Азаматха. Ала бусагъатда да юйдедиле, бир кесек къургъакъсыгъандыла, ансы ёзге хаталары джокъду. Азамат аланы атмайды, алагъа къараса, Маринканы ариу бетчиги кёзюне кёрюнеди. Хорлатхан джашла, башларын эниште салындырыб, арыгъан аякъларын иги да кёлтюралмай, джерни сюркеб бара эдиле.

Бюгюн да кытдырмазгъа керекди, ансы къызланы бетлерине къллай къарарыкъса, тиллерин а ким билмейди?...





«Азамат!..» Ким эсе да башындан кыычырды. Ол ёрге кыарагъанда, больницаны балконунда атасын кёрдю. Эки ыйыкъ болады атасы больницада джатханлы. Джангыз бир кере келгенди Азамат аны кёрюрге. Атасын Азамат бек сюеди. Аны нёгер джашлары бек тарыгъа эдиле, аталарыбыз туюдиле деб, кимге кыол джете эди, кимге – белибау, бир джашчыкъ а: «Велосипедни сынджыры бла ургъанды атам», - деб джылай эди...

Азаматны уа атасы бир да урмагъанды, бек сабыр, огъурлу адамды. Арыб, ишден келе, итге неда киштикге тюбесе, тюз да адам бла сёлешгенча: «Ким кыоймайды сизни, кыарындашларым!» – деб, аланы ийнакыламай озмаучуду.

Азамат юлеринде джангыз сабийди. Анасы алай хапар айтыучуду: «Джашым, сен бешикте джукълаб турсанг, атанг, чыбыкыны алыб, тауукъланы огъуна арбаздан кыыстай эди, аланы тауушлары джукъунгу бёлмезча...»

Азамат, уллу болгъанда, сагыш этиучю эди: «Была мени кеслеринден эсе бек нек сюе болурелле?» – деб.

Аланы джашауларында кыуанчлары да болгъан болур эди, алай аны бла кёб ушакъ этерге уа тюшмегенди. Атасы гитчеликден мал кютгенден сора бир башха иш этиб кёрмегенди. Джюн ийис – сабийлиги. Джашлыгъы – уруш, кёчгюнчюлюк.

Азиядан кыайытханда, юй ишлерге кюрешиб... Ма босагъа юсюнде кыартлыкъ, кёбмю сакълатырыкъ эди кесин? Таулу тиширыуну ишини кёблюгюн а соргъан да этме.

Азаматны кыарт анасы ариу джыйрыкъ тиксе, кюзгюге кыараб, сабийча кыууана эди...

- Ана, сабийге бир ушайса да бусагъатда.

- Джашым, кьер заманымда кийинмегенме да, энди кийсем, джашлыгъым эсеме тюшеди. Да сен алкыын ангыларыкъ туююлсе аллай затланы.

«Азамат!»

Больницагъа кирген ал эшикни Азамат ётген эди. Алай мында арт эшик барды. Кирди. Саусузланы сап-сары саз бетлери, минг кере джууулгъан халатлары. «Былагъа кёб кыараса, саулугъу болгъан адам да аурурукъду», – деб сагыш этди Азамат...

Атасы, шош-шош атлай, экинчи этаждан тюшдю. Ала шиндик табдыла. Бир кесек олтурдула, сёз табмай. «Больница бир сейирлик юйдю,





болгъан сѣзчюклеринг да орамда къаладыла», - деб сагъыш этди Азамат.

- Джашым, ал эшик бла нек кирмединг, кесинги керексиз къыйнаб, юйню тегерегинде айланыб, огъесе ал эшикле этилибмидиле?

- Хау, этилибдиле.

Тюз да Азамат ол сѣзню айтханлай, ал эшик ачылыб, бир къарт къатынчыкъ кирди. Кѣб олтурдула, бир сѣз да айтмай. Не сагъышлары бар эди? Ким биледи. Заман тохтагъанча кѣрюндю Азаматха. Атасы къобду, къолун терен халат хурджуннга сугъуб, эки уллу къызыл алма чыгъарды.

- Ма, джашым, алмала кюзде бишедиле, – деб, сагъышланыб узатды джашына.

Азамат эшикге чартлады. «Ох-ох-ох!» Тыйылыб тургъан солуун гитче ёшюнюнден бошлаб, эркин солуду. Кюнню ариулугъун джыламукълары кѣмдю... Теркирек – юйге.

Азамат юй артла бла тебреди. Къолунда эки ауур алма. Энди нѣгерлериме тюбемей, юйге джетге эдим, ансы джыламукъларымы кѣрселе, айыб этерле. Алай бир «насыбсыз» болсанг, сора къучакълаш да айлан ол джабышмакъ бетсиз бла.

Азаматны аллына къууанч бетли Валек келе эди.

- Ала, аз татыулу болмазла алмаларынг? – бирин берсенг а.

Азамат, бетин бир джанына тутуб, эки алманы узатды. Алай Валек аланы алгъынчы, Азамат юй таба чабыб кетди. Юйлерини аллында эски халджарчыкъ бар эди да, аны артына кириб, Азамат алмаланы ашаб башлады. Тилине татлы кѣрюне эдиле, алай къургъакъ тамакъгъа джетселе, ачылыкълары билине эди. Аланы ашай туруб, Азаматны кѣз аллында атасыны саз бети, къалтырауукъ джылы къолларында эки уллу къызыл алма тура эдиле. Валекге алмаланы нек бермегенин ол заманда башы анга ангылатмай эди, джюреги уа: «Берме, берме», - деб шыбырдай эди...

Артда джашау Азаматха айтхан эди: «Кесинги гюнахларынгы башхагъа джюклеме».

Бу ариу джаз кюн Азамат, джыламукъларын тыялмай, алмаланы ашаргъа кюреше эди...

Ётдю заман, кѣб заман ётдю. Азамат къарт болду. Джашауунда кѣб иш алышындыргъанды, алай бир иште бир джерде да кѣб заман туралмай эди. Аны джангы адамла, джангы джерле «чакъыра» эдиле.





Энди уа – пенсия. Юйюрлю болалмады Азамат. Ол, эркинликни суйген джелча, бир джерге кириб туралмай эди.

Сабий анасыны ёшюнуне джабышханча, Азамат джаз бла къучакълашыб ётдюрдю джашауун. Къыш да, кюз да кёб кере айта эдиле анга: «Бол тамадаракъ, эслирек, сабийлик кетгенди сенден». Ол алагъа ийнанмай эди, аны кючден джюрюген къанчыгъы джазны сакълай эди. Больницаны балконундан огъуна чакъырыр адамы джокъду. Бу джазгъа да сау чыкъды. Шахарны даууру хар джылдан унутула барады. Джылла... Азамат, больницаны къатына келиб, джол таба къарай, ётген джашауун эсине тюшюре эди. Аны къаты бла, портфельчиклери бла ойнай, сабийле оздула. Ол, ызларындан къараб, бети мыдахсыныб, былай сагъыш этди: «Джаз – атагъыз, анагъыз сау болсала, бу дуниядан кетген эселе, джюрегигизде джашасала... – Азамат балкон таба къарады. Джаз – сиз уллу джашауну, бир бирни суйюб, ийнакълаб ётдюрсегиз, сора эки-юч джашау сагъатчыгъыгъыз къалса, бу орам бла барыгъыз, сабийликдеча, бир-бири аркъагъызгъа къатылырча – Аллах къарыу къойсун сизге, сора, джашаугъа бетигизни буруб, ышарыб: «Сау бол, сау къал десегиз», – джаз деген олду...»

Джол джанында мутхуз суучукъ аркъасына сернек орунну, эски агъач джигъерини энишге алыб бара эди... Къатында аны суйген къанатлылары – шорбат чыпчыкъла, бирге джыйылыб, бир-бирлерини сёзюн бёлюб, тюз да сабийле кимни бачхасына секирейик дегенча, ушакъ эте эдиле...

1978





Отзывы о творчестве Бориса Чипчикова

«САМЫЙ УМНЫЙ ЧЕЛОВЕК –
ЧЕЛОВЕК УЛЫБАЮЩИЙСЯ»

(Несколько слов о творчестве Бориса Чипчикова)

Проза Бориса Чипчикова – яркое и неопровержимое свидетельство зрелости национальной литературы. Не той, парадной зрелости, о которой громогласно и декларативно заявляют на периодических отчетах по делам литературным; а той, которая сумела освободиться от функциональной ответственности за идеологическое состояние умов и настроений читающей публики и соответственно пишущей братии, гордящейся целевым назначением быть «инженерами человеческих душ», учителями и наставниками, а освободившись, утвердила свое безусловное право на самостоятельность подлинно художественного видения.

Проза Бориса Чипчикова – явление в литературах народов Северного Кавказа новое, пока еще единичное и, признаемся, не всем и пока не вполне понятное. Мы привыкли (приучены) к описаниям и разъяснениям, а проза Чипчикова полна загадок, намеков, вопросов. Она стереоскопична, многослойна, насыщена смыслами, которые пронизывают друг друга, переплетаются в причудливые сочетания, где очевидны, а где лишь намечены и мерцают в сплетении слов, образов,





лиц, имен, идей, впечатлений, ощущений, запахов, шумов и тишины, парадоксов – всего того, что уже известно, но открывается по-новому, неожиданными гранями, складывая в совокупности приметы того художественного мышления и направления, которое называется модернизмом, но не вмещается в его определение.

В центре внимания Бориса Чипчикова – маленький человек в огромном мире и бескрайнем времени. Это и старик, и ребенок, и взрослый сложившийся гражданин, но всех их объединяет жажда понимания – себя в мире и мира вокруг Им неуютно и страшно в отсутствии опоры, они чувствуют себя потерянными и, подобно утопающим, стремятся ухватиться за что-то надежное, обрести себя, но «ноги скользят по гололеду», которому не видно конца, и «тяжелые мысли упираются в землю». Надежда-весна, надежда-мечта всегда впереди, но как трудно ее достичь.

Всесокрушающая любовь к людям водит пером писателя. Ему хочется для всех праздника и радости. И это порождает особый сплав эпического лиризма, значительно расширяющего границы художественной балкарской прозы.

В нашей путанной тревожной реальности, замусоленной мелким тщеславием и прагматичными соображениями, есть риск недооценить, пренебречь явлением Бориса Чипчикова – художника и мыслителя, недооценив, потерять или исказить его. Об этом стоит задуматься всем, кому небезразлична родная культура.

С. Алиева

Журнал «Ас-Алан» 1(3), 2000.

УРОВНИ ЧТЕНИЯ

(Повесть Б. Чипчикова «Нерестились рыбы в свете лунном»)

Повесть Б. Чипчикова «Нерестились рыбы в свете лунном» сразу же после выхода вызвала у меня читательское потрясение, и именно поэтому я долго не могла нарушить (или разрушить) это потребительское отношение к тексту святотатством анализа и препарирования. Но суровая необходимость участия в данном сборнике и отсутствие





скольнибудь внятных рецензий заставили меня посмотреть на неё со стороны. Предыдущие миниатюры и рассказы, которые всегда отмечены новым метакачеством, структурой и способностью к самоинтерпретации.

Явно принадлежа к теперь уже официально признанному, как единственно и реальному направлению художественных исканий – модернизму и постмодернизму – Б. Чипчиков являет свой вариант в этом общем. Попыткой ответа, каков же этот вариант, является эта статья. Какие каноны теории постмодернизма можно проследить на протяженном пространстве его прозы?

«Мир как текст» (Жак Деррида) или «Текст как мир» – здесь и заключается главное расхождение между теоретиками направления. Глобальный метатекст (Гейдегер) или фрагмент (Лиотар)? Сторонники второй позиции, споря с жёсткими адептами метатекста и обязательными в нём – «смертью автора, смертью рассказа, смертью романа и высокого искусства» утверждают необходимость «литературной игры» и символизма: «игра должна быть жизнеспособной, а произведение – открытым» (Умберто Эко).

Эта вторая позиция («текст как мир») оставляет за автором право на отражение сложности, хаотичности, децентрированности современного мира, на дух XX века возможные только в художественном тексте автора.

И слава Богу за право на «целительную каплю дилетантизма», придающую свежесть и новизну направлению. Последнее легимитизирует и национальный вариант постмодернизма, не оставляя его только за «наиболее развитыми обществами» в историко-культурном плане. А казахский исследователь Джуанышбеков утверждает, что «художественный текст – это, прежде всего, явление национальной литературы и культуры».

В случае с Б. Чипчиковым дилемма разрешается с онтологической односторонностью («вопрос для чего?»), ибо он – прежде всего, национальный писатель. А выбор неродного языка – скорее инструментальный. Языковая личность автора уже не сводима только к выбору языка. Для Б. Чипчикова русский – второй родной, как и для многих из его поколения. Но национальный писатель, при всей конвергированности (взаимовлияние двух культур и языков), ещё не готов, по





условиям жизни и опыта, к глобалистскому экспериментированию в главном. Для него мир, как общечеловеческий суперэтнос, ещё только абстракция вне образов национальной культуры.

На русском языке он как бы реализует недостаточность своей и «чужой» картины мира, ибо внутреннее влияние русской прозы, в частности, «орнаментальной прозы» 20-х годов XX века, уже неотделимо от событий революции и гражданской войны (А. Платонов, Б. Замятин, Б. Пермяк...)

Постмодернистское цитирование порождает новую целостность в художественном мышлении Б. Чипчикова, в которое так же свободно, в соответствии с его изобразительностью входят Ч. Айтматов («Плаха»), доисторические персонажи хтонического Хаоса (Змея, Рыба) и библейские постулаты и персонажи (Иисус, Иуда, апостолы), из которых он стремится осуществить гармонию нового человеческого мира. Летоисчисление от Рождества Христова, которое отсчитывает А. Блок от революции 1917 года в поэме «Двенадцать». Традиция модернистская, которая для Б. Чипчикова предпочтительнее постмодернистской. То есть символ предпочтительнее знака, равно как и главная ипостась модерна – «исправить и совершенствовать жизнь по более нравственным началам».

Энергия нравственного бунта и неприятие времени вылились в 20-е годы почти в синхронном потоке русской прозы двадцатых («Котлован», «Ювенильное море», «Чевенгур» А. Платонова; «Повесть о непогашенной луне» Б. Пильняка...). И повесть Б. Чипчикова на рубеже XX-XXI веков, написанная по истории, услышанной им сорок лет назад от будущей героини... Что это? Частный случай для писателя, вспомнившего рассказ о чьей-то загубленной жизни или закономерность в эволюции его творчества? Во всяком случае, этот естественный постмодернизм из наложения переживаний разных исторических времен и стилевых смещений только выигрывает в своей художественной выразительности для сегодняшнего читателя. И, если говорить о пишущей эту статью (или эссе), так же как о субавторе, ибо читательское восприятие подчинено тем же антропологическим художественным законам, ибо основывается на человеческом фантазийном виртуальном участии или восприятии, то мне трудно и почти невозможно занять не-





которую надпозицию в процессе чтения первой части повести. И хотя она основана на реально-событийной основе, пытаюсь анализировать её стиль, понимаешь, что надо цитировать всю повесть, говоря о стиле и приёмах выразительности.

Раскулачивание, произвол «ясноглазых» строителей «светлого будущего» запредельной жестокостью и насилием над отдельным человеком, приносимым в жертву идее, привнесенной извне государством и властью. Ослепленность от радости и вседозволенности, разом рушащей весь вековой национальный уклад и этические регламентации общины по отношению к женщине.

У Б. Чипчикова героиня Мариям – равноправный соавтор повести, от лица которой ведется рассказ, не обвиняющей, а почти умершей при жизни. И писатель сам становится ею («Я сам – мадам Бовари». Флобер), творит её по образу и подобию своему, чтобы помочь ей рассказать о невозможном. И тем самым даёт ей состояться художественно, ибо Слово, по Чипчикову, и по Мариям (героини), есть тот свет, «у истока реки, просветленной», в котором растворилось Слово.

Субреальность автора и субреальность героини сливаются в сверхизобразительности текста. «Запах непереваренного мяса в желудках, смешанный с водкой» устроителей нового мира, иезуитская риторика вечно молчащего, а теперь назначенного комиссаром Хажоса, вымороженная суэта толпы, в которой не видно лиц... Детали, эпитеты тут же становятся знаками, и несть им числа.

Биологизм, доходящий до зооморфизма, отличает психологическое письмо Чипчикова, он как бы уравнивает и смещает объекты обычного антропоцентричного изображения. Ими являются весь живой и предметный мир: речка, облако, усы охранника и купающийся в солнечных бликах штык, змея и косяк плодородящих рыб. Пейзаж здесь – часть живого мира, втянутого в социальную катастрофу. «И чуткий горный воздух наполнился деревянным стуком мозолистых рук, лица побурели в предчувствии социальной справедливости». Слова эфенди: «Топочущий скучный покой получает весёлое рабство... В один день бедолаг заведут туда, откуда и за тысячу лет не выбраться». Или «Судьба была сооружена нетрезвой плотницкой рукой и безразличьем маляра...». Катастрофическое видение автора апеллирует к женским образам древнего Хаоса: нерест рыб, змея, прыгающая





от избытка яда вверх и железная беременность героини, ощущаемая в виде змеи вдоль женского тела. Физиологическое усиливает социальное, порождая глобальные метафоры, основная из которых вынесена в название повести – Рыба, обдирающая свою чешую о мелководье, только через этот ежегодный мученический труд восходя к светлому устью на нерест.

Историческое и социальное одинаково подчинено общему мировому порядку. Писательское «эго» обогащено и свободно следует за этим коловращением, и только ирония отличает человека, как представителя социума.

Эпоха революционного переустройства, исследуемая в этой повести, является целью и центром художественного исследования. На наш взгляд, необычность выбора темы и запоздалого исторического римейка на тему революции объяснима, прежде всего, актуальностью сегодня этической ситуацией. Казалось бы, она давно сложилась в умах и исторических оценках учеными этого периода в нашем обществе... Но оставался некий «зазор» в виде сломанных частных судеб того исторического множества, ждущего до сих пор покаяния вершителей судеб, или историков, писателей. Как энергия, оставшаяся от этой самой исторической обочины, требующая выхода и осознания, в данном случае нашла выход в повести писателя Б. Чипчикова.

Наглядная постмодернистская эстетика повести Чипчикова – это прочитываемые разнообразные аллюзии в сфере изображения. Так, краски Петрова-Водкина в изображении нового революционного миротворения, эстетика плаката. Правда, здесь они существуют в апокалипсическом смещении и перевернуты по смыслу. Дети революции, с одинаковым энтузиазмом строящие дорогу и разоряющие усадьбу богатого общинника, расстреляв её хозяев, и тут же устраивающие торги имущества, гармошка Хафизат, как камертон абсурда...

Мечь, как убийство, в том числе и классовая, здесь предстает как суицидальный акт для самого мстящего, который влечет за собой тяжелые нравственные потери – лейтмотив всей повести. Здесь уместно вспомнить повесть Бурхана Берберова «Крик камня», близкого по поколению и по нравственному напряжению, неординарно разрешающая тот же конфликт на материале более протяженной национальной истории. Молитва Хажи, как квинтэссенция судьбы





народа, доведенная до дней депортации и возвращения на Родину.

* * *

Но если говорить условно о двух частях одной повести, то при чтении второй части мое критическое «эго» начинает просыпаться. И чем виртуальнее становится повествование о злоключениях героини, тем более слово становится менее осязаемым. Героиня попадает в концептуальное поле богословской дискуссии. Рационалистичность религиозных постулатов, торопливо приводимых автором в умозрительную систему (Иисус, Иуда, по-новому интерпретируемый автором, апостолы, разделившие мир на разные языки и народы). Система образов, или имагология, как сейчас принято называть её в сравнительном литературоведении, столь продуктивная в первой части, уступает место монологам, приписываемым героям. Дело – не только в неорганичности, а в другом религиозном культурном ряде, другой иконографии и агиографии, вместо, казалось бы, более родственных культурно-ментальных рядов. Опять апеллируем к Джуванышбекову. Почему бы светоносную теорию не найти в иранской мифологии (Ахурамазда и Ахриман, или у манихеев уйгурского каганата, несущих свет как истину). Допускаю, что я посягаю на свободу и «конвергентность» автора, не принимая маргинальность Чипчикова касательно воззренческой основы писательской личности. Ведь религиозная картина мира – в самой основе национальной картины мира, и нарушение этой закономерности чревато потерями художественного текста. Можно здесь привести для примера неорганичную для Чингиза Айтматова, с моей точки зрения, попытку развязать нравственные и ментальные узлы в романе «Плаха» введением персонажа Авдия Каллистратова, попарасстриги, провозвестника «новой» религии. У Чипчикова – это Павел, тоже бывший священник, религиозный маргинал, проповедующий Бога в человеке. Он подобен здесь Серафиму на перепутье, так и не воплотившемуся в образ человеческий.

История Мариям как бы останавливается в некой противозаконной для строя повести, до того кипящей настоящей историей и страстями, – *идилличности*. Трагизм последней любви героини и обретение утешения в мальчишке Ахие, «похожем на Павла» также конструируют концовку повести лишь внешне, хотя сама техника постмодернистского коллажа здесь присутствует. Помощь приходит извне, по воле





автора, по которой Павел и героиня превращаются в живые рупоры идеи. А религиозные персонажи вне художественной ткани и не имеют художественную предысторию. Наглядным подтверждением этого тезиса является концовка повести Б. Берберова «Крик камня», разрешающая этический конфликт, не облегчая его сложность внешними средствами, введением искусственно-логических фигур, исходящими не из национального мира.

На наш взгляд, вторая часть повести демонстрирует эклектическое даже для постмодернизма смещение метарассказа и литературной игры, предполагающей торжество художественности.

* * *

Повесть, вобравшая в себя достижения современной прозы, содержит покаяние, без которого трудно продолжать ощущать себя нацией.

Нельзя сказать, что повесть не имеет в контексте покаяния в балкарской прозе. Это – цикл рассказов Алима Теппеева «Таурай бийче». А. Теппеев, всегда контекстуально чуткий, самим названием подчеркивает вневременной аспект женской судьбы, ибо «Таурай бийче» в переводе с балкарского «Княжна Таурай».

Новаторство Б. Чипчикова – в том, что «мученичество» героини выходит, безусловно, за пределы тендерной проблемы, включено в современное поле концептов, по-современному выразительно и воздействует на восприятие сегодняшнего читателя. Оно углубляет знание балкарцев о новейшей и потому часто неприкасаемой истории. И не только новыми образно-языковыми средствами, глубиной исторического исследования времени переустройства и его универсальных нравственных последствий. Зрелостью исторической иронии, возвращающей нам достоинство, утраченное от недоговоренности, невысказанности и безличного функционирования в истории. Поймут или опять промолчат?

Повесть Б. Чипчикова «Нерестились рыбы в свете лунном», запоздавшая по объективным обстоятельствам исторического литературного сознания на целый век, восстанавливает литературную справедливость, ибо не могла не быть написана.

*Ф. Урусбиева,
доктор культурологии
Онтология и техника. Нальчик, 2008.*





«ВОЗВРАЩАЙСЯ СВОБОДНЫМ»

Черты новой художественности, с точки зрения уровня современных литературных требований, наиболее отчетливо выражены в творчестве балкарского писателя Бориса Чипчикова.

Не многие сразу поняли, что Б. Чипчиков – неожиданное, незаурядное явление не только в балкарской, но и русскоязычной литературе.

Его стиль – спрессованный, до крайности уплотненный библейскими, философскими, этическими, эстетическими, историческими аллюзиями текст. Отрывистая, быстрая, трепетно-нервная фраза. В этом смысле он поэт, отказавшийся от метрики и пишущий прозу – на каждое слово в строке неимоверная семантическая нагрузка.

Как правило, это «вынутые» из жизни, зафиксированные памятью эпизоды. Сам автор определяет их как новеллы, но скорее это новеллы-эссе или эстетико-философские эссе. Он не занимается подобно своим собратьям по перу «углублением» психологизма, это получается само собой без видимых усилий. Объект его страстного внимания – сфера духа человеческого. В его рассказах доминирует лирическое начало – присутствие автора то в качестве действующего лица, то наблюдателя ощущается постоянно. Не ограниченные традиционными канонизированными формами, они подчиняются другим законам: свободному ассоциативному полету мысли, по которому и строится любое его произведение – новелла, повесть, памфлет, статья. «Связь постройки сделана не на фабуле, а на внутренней связи» (Л.Н. Толстой). Бориса Чипчикова интересуют не сюжетные, а нравственные коллизии; мысли, чувства, ощущения, впечатления человека в каждую минуту его жизни.

Присущий его прозе высокий лиризм углублен трагической интонацией. Катарсис, в аристотелевском понимании этого слова, достигается странным, непостижимым образом – то ли необычностью психофизического состояния, то ли точностью интонации, то ли нервностью пера. Все элементы «внутренней связи» конструктивно просты, язык прозы подчеркнуто упрощен и внятен, но где-то там, в «межтекании» до последнего предела натянуты нервы. Нерв – вина. Нерв – совесть.





По ним и измеряются человеческие поступки («Джантуган», «Двери». «Идущая по дорогам», «Ваза ко дню рождения» и мн. др.)

Отсечение всего лишнего, утяжеляющего своей массой, само собой разумеющегося – первый постулат поэзии, – еще одна из особенностей его стиля. Энергия мысли, устремленной вверх или в сторону, за которой едва поспевает язык, слово, звук, придают его прозе эмоциональную перенасыщенность. Это исключает логическое, линейное построение сюжета, вот почему его новеллы практически бессюжетны. Сюжет, фабула для него не имеют никакого принципиального значения. В этом смысле оглядываться на достоверность повествования, на этот врожденный комплекс неполноценности любого прозаического жанра, будь то роман, повесть, рассказ, – ему некогда, слишком велико ускорение мысли.

«...Трасса. Машины навстречу, машины вслед. Сигнал. Визг тормозов, черный след на асфальте, шофер держит палец у виска, вряд ли застрелится, наверное, у него дети несчастные. Около дома на лавочке бабушки под ивою ругаются, машут кошелками. Лениво думаю: не ругайтесь, милые, ведь жизнь – это не навсегда» («Аленький цветочек».) Исключительно во всех вещах Чипчикова привычные, обыденные картины реальности взрываются парадоксальным взглядом на них: «...шофер держит палец у виска, вряд ли застрелится», другое значение этого жеста выпало, начисто забыто, и не потому, что герой новеллы не знает первую его трактовку, «мол, шариков не хватает», вторая для его нынешнего состояния ближе. А шоферу в его ситуации только первая трактовка и пришла в голову. В этой сшибке разных психофизических состояний появился троп, емкий образ с ироничным и даже комическим оттенком. Привычные, до оскомины банальные события и ситуации взрываются парадоксальными выводами: «Не ругайтесь, милые, ведь жизнь – это не навсегда». Или: «Пришла мама, сидит на детском стульчике, моя мама, моя дочь, моя старенькая белоголовая дочь. Я глажу и глажу ее по голове, виноват, она состарилась без моего присмотра». На острие парадокса вспыхивает новый чувственно-конкретный образ, достигаемый сдвигом художественного смысла, отсюда искрами рассыпаются по всем произведениям тончайшие эмоциональные, интонационные оттенки – это еще одна из особенностей его стиля. Вольно это получается или





нет – его тайна. И здесь мы видим еще один пример того, как технику, если хотите, методологию поэтического мышления, он использует в своих прозаических текстах. Много ли потеряла в его лице поэзия – не знаю, но проза – вне всякого сомнения – приобрела. Правда, и он завязывал сюжетные узелки в своих ранних новеллах («Носки», «Озрок», Джантууган» и некоторых других). Можно лишь предположить, что это была уступка редактору, дань традиции, желание приблизить к себе читателя, приученного воспринимать дидактическую прозу, наконец, объяснить свое миропонимание. Однако стоит вспомнить время, когда отступать, точнее, преступать (а тем более в провинции) рамки канонов не допускалось. Работать «в стол», видимо, не позволяли авторские амбиции – хотелось быть услышанным, но, поняв тщетность попыток «быть как все», он стал писать для себя, и долгое время не участвовал в литературном процессе. «Надо было себя поддержать, я переживал тяжелое время, и на помощь пришло слово», – признался он в одном из интервью. «В слове больше правды, нежели в деле. Слово – Божье».

* * *

«Только что кончилась Великая Отечественная и началась просто народная, без конца и края, ежедневная и ежесекундная война, и были уже первые раненые и убитые, нет, не первые» («Ваза ко дню рождения»).

Вот в этой ежедневной «просто народной» войне он находит своих героев и антигероев. А если соединить два слова, получится «просто-народная» война, т. е. та, к которой призывал Ф. Ницше, желая «усовершенствовать» человека: «Я призываю вас не к миру, а к победе... Благо войны освящает всякую цель».

Война и мужество совершили больше великих дел, чем любовь к ближнему» (Ф. Ницше «Так говорил Заратустра»). Конечно, повсякому можно истолковать эти призывы, например, как это сделал фашизм в 30-е года XX века. Философия «сверхчеловека» – это повседневно «нормальное» состояние человечества, а призывы Ницше всего лишь констатация этого состояния. Война в быту, в семье, на работе, война на войне – все суть самоутверждение. И это приводит в содрогание Чипчикова: «Под одним из камней я раскопал новое Евангелие от Игоря Шкляревского. Из старого я взял всего одну заповедь: «Возлюби ближнего, как самого себя». Из современного – стих





И. Шкляревского: «Твоя слеза течет по щеке моей». Соединил два Евангелия и получилось одно. Излишне уже говорить «не убей». Ну как ты убьешь, если любишь ближнего, как самого себя, и его слеза течет по щеке твоей. «Не убий!» – обращение к мертвому, ибо живущий убить не сможет, а убивший – мертв. Оказывается, льется не чужая кровь, а своя. И из-за чего льется? Из-за самого пустого, погремушечного, не наполненного никаким содержанием слова – «победа». Это слово камерное, глубоко личностное, – вырываясь наружу, оно окрашивается в красный цвет и запрашивает самую дорогую цену, существующую на земле – лицо человека, лик народа» («Там, где будет стоять дом»).

Дети Великой Отечественной войны выросли. Неунывающий гурьевский мечтатель Нодара Думбадзе стал, наверное, советским писателем. Киргизский мальчик Чингиза Айтматова, замученный непосильным трудом на пашнях 43-го года, стал председателем колхоза или сельским учителем. Аккуратный, чистенький книжный мальчик из Таллина Энна Ветемаа, требующий у немецкого офицера возврата мира, «куда можно добраться только на деревянной лошадке», стал, наверное, трубочистом или экскурсоводом. Русские «сыны полков» и рассеянные по всем городам и весям России беспризорники стали кто генералами, а кто и «ворами в законе». Об их судьбах мы знаем все или почти все. Но мы мало что, а до недавнего времени – вообще ничего не знаем о судьбах детей «спецпереселенцев».

«Целый день мы ходим по городу, мы прописываемся, и еще я узнал, что отец – спецпереселенец, слово понятное: отец специально куда-то переселился и теперь никак не может переселиться обратно.

Ночью мы падаем на пол чьей-то маленькой комнаты, которую отец важно величает квартирою. И опять утро – не мое утро, и опять день – не мой день» («Ваза ко дню рождения»).

Самое страшное проклятие на Востоке: чтоб ты родился в эпоху великих перемен. В нашей стране с «непредсказуемым прошлым» вряд ли найдется поколение, не рожденное в такие эпохи, что ни десятилетие – то великая эпоха. Кто знает, выбирают ли эпоху? Биографию тоже? Дети «спецпереселенцев» родились после войны. Они были обездолены и смяты не только войной, но и произволом тоталитарной власти. Все творчество Бориса Чипчикова пронизано их болью, их потерянностью, их сиротством. Биография и определила основную тему,





с которой он пришел в литературу: «Родители жили на моей Родине, сейчас я живу на их Родине».

Композиция новеллы «Ваза ко дню рождения» мозаична, она составлена из эпизодов-«черепков», из которых реконструируется разбитая ваза. Каждый эпизод, буквально на уровне абзаца, можно назвать вполне завершенной мининовеллой. И что интересно, именно они, эпизоды, строятся по принципу сюжета: завязка-кульминация-развязка. У них свой ритм, композиция, детали, цвет, ощущения. Первые же слова новеллы точно формулируют сущность самого автора: острое духовное зрение, тонкий слух, опыт души, приобретенный в предсуществовании и проступающий из глубинной памяти в сферу сознания.

«Нас, первоклашек-интернатовцев поднимали в пять утра, и вели на другой конец сонного города кормить в заводскую столовую». Нелепость. Дикость самой ситуации уже за пределами удивления, и потому запредельное удивление и даже страх вызывает дворник, внезапно возникший из тьмы в белом фартуке. Здесь, чтоб полнее понять реакцию героя, необходимо вспомнить атмосферу конца 50-х годов XX века. Небывалый душевный подъем, заражающий энтузиазм и эйфория. Повсюду празднично одетые люди: креп-жоржетовые или панбархатные платья на женщинах, защитного цвета френчи или белые кители на мужчинах; ордена и медали, сияющие на каждой груди, бравурно звучащая музыка. Всеобщее ликование и праздник каждый день. Балкарцы вернулись домой, на Родину! Чужбина позади, нация выжила. Жизнь сосредоточена, главным образом, на железнодорожном вокзале – каждый день прибывают оставшиеся в живых «спецпереселенцы». Ранее приехавшие встречают их, расспрашивают о своих родных и близких.

Только что приехавший на родину своих отцов мальчик потрясен самой атмосферой – там, в Азии, такого не было. И вдруг – диковинное существо без френча, без орденов и медалей, в нелепом фартуке посреди тьмы. Устало прислонившийся к перилам человек мгновенно возбудил в нем жалость и сострадание. Осознание вины. Боль. «Я создал вину или создам вместе с теми, кто сейчас спит за темными окнами». Такие же острые чувства возникли и у дворника, который повидал немало странностей за свою жизнь. «Что, малец, не сладка





сиротская жизнь?» – вдруг заговорил он человеческим голосом. Здесь удивительно, что дворник, как в сказках, заговорил человеческим голосом. Помимо аллегорий и метафор, тропы, которые чаще всего встречаются у Чипчикова, – метонимии, «подчеркивающие суть явлений и... перечеркивающие его» (О. Мандельштам). Этот троп необыкновенно выразительно передает отношение героя новеллы к абсурдности, неадекватности всего происходящего в реальной действительности. Но сами слова дворника, их беспощадная логика возвращают полусонного ребенка в фантасмагорическую реальность. «Мы не детдомовцы, мы из интерната, – и криком во тьму: – У меня есть и мама, и папа!» И тихий ответ то ли мальчику, то ли себе: «Все мы сироты...» Урок философии. У дворника своя правда: в мирное время такие марш-броски в пять утра невозможны, недопустимы для детей, защищенных отцом-матерью. Утром ребенка должна кормить мать, если, конечно, она есть. Но чтобы не посеять в сердце «мальца» зерна озлобленности на весь белый свет, он утешил его как мог. Найден еще один черепок, «сладко-горький» на вкус.

Здесь еще примечательно, что острое, пронизывающее чувство вины за все несправедливости, творящиеся в реальной жизни, испытывает ребенок. Если б это было «специально» сочинено маститым писателем, мы могли бы усмотреть в герое манию величия или, на худой конец, комплекс превосходства. Да и вряд ли «маститому» пришло бы в голову наделять такими сложными переживаниями малолетку. У Б.Чипчикова все иначе – он уже родился со знанием, с осознанием своей миссии в этом мире. Обладая уникальной, избирательной при этом памятью, для которой не существует пространственно-временных ограничений, он с точностью может восстановить, вплоть до мельчайших деталей, любую ситуацию и чувственные ощущения, возникшие в связи с этой ситуацией. Ощущение вины – потому что миссию надо выполнять, а препятствий в физическом мире множество: сейчас, в этой реальности, основное препятствие – малолетний возраст.

Мало того, что мир несовершенен, он агрессивно сопротивляется любым попыткам усовершенствовать его; от абсурда, царящего в нем, возникло желание героя новеллы отречься от него и создать свой мир, светло и радостно струящийся, сообщающийся с мирами иными по лесенке, построенной им. «От неба самого до моря синего».





Проза Б. Чипчикова автобиографична и ретроспективна. Более чем двадцатилетнее затворничество в Булунгу, из них десять – полного уединения. Аскетизм стойка. Передышка. Впечатлений, полученных от внешнего мира, было вполне достаточно, чтобы отречься от него. Возможность оглянуться и осмыслить действительность, искривившую этические и эстетические нормы, ибо нет никакой возможности принять ее в таком виде, как они есть. Но любая попытка оградить себя от воздействия внешнего мира заканчивается или крахом: можно стать пациентом определенного учреждения, – хотя с таким обостренным восприятием действительности шансов попасть туда в обыденной жизни куда больше; или рождением незаурядного художника, – это если есть сверхзадача. Но он укрупнил свою сверхзадачу: воздействовать на внешний мир если не на физическом, то на метафизическом, метафорическом уровне, таким образом, улучшая и преображая реальность.

Его герои бьются о железобетонные грани реальности, закипают ненавистью, ежесекундно ощущая на себе непосильную до хруста костей давящую тяжесть действительности. Здесь надо смириться или сопротивляться. Герои Б. Чипчикова не смиряются, и не потому, что не хотят, – не могут, не умеют. Они сопротивляются всеми доступными на данный момент способами, но всегда оригинально.

Если в предыдущем эпизоде тьма раздвигалась белым цветом, а одинокий дворник и одинокий мальчик, с неимоверным напряжением духовных сил продирающиеся к спасительной лесенке, противопоставлены пока еще не проявленной толпе (она еще спит за темными окнами) и тем, кто устроил такую жизнь, то есть террор, репрессии, депортации, голод, сиротство (они тоже пока во тьме, уравненной с Хаосом), то в этом эпизоде царственно-золотой, умиротворяюще-зеленый цвета, цвета гармонии, взрываются агрессивным красным цветом – цветом флага, пожара, крови, разрухи.

Гриневские алые паруса у Горького в «Мальве» стали красной тряпкой, развевающейся на шесте. А романтическая, мечтательная Асоль – странной, непонятной, не «социальной» Мальвой. У Чипчикова нейтральная красная тряпка обрела уже конкретные формы и угрожающий смысл, а златокудрая, зеленоглазая дева воплощением Любви, Красоты, Вечной женственности. Мирный костерок у шалаша





противопоставлен мировому пожару. А в знаменателе – серая, что-то продающая, что-то покупающая на пыльном базаре, равно равнодушная и к красоте, и к опасности, исходящей от другой, организованной толпы, собравшейся истребить несогласную с ее революционными убеждениями половину человечества. Даже на синтаксическом уровне автор не удержался от сарказма: излюбленный головной убор «буржуя» водружен на головы революционных вождей. Робы – стали униформой, то есть знаком принадлежности к какой-либо организации, клану и т.д. Служебное слово «да», рефреном повторяющееся перед каждым глаголом несовершенного вида, подчеркивает бессилие угроз и беспочвенность попыток разрушить красоту и гармонию, охраняемую Матерью Божьей.

Так. Толпа проявилась. Она непременно окрашена в серо-черные тона. Эти цвета поглощают все другие цвета радуги. Эти – цвета ада. «Ад и есть бесконечное, непрерывное серое. Огня под персональной и братской сковородой (в зависимости от земных заслуг) не будет, ибо цвет его напоминал бы солнце, порождая несбыточный оптимизм» («Там, где будет стоять дом»).

Народ и личность. Из личностей состоит народ? Толпа – суть серое, враждебное Божескому. Б. Чипчиков выхватывает из толпы отдельные лица, пристально вглядывается в них, пытаясь найти хотя бы искру, блик человечности, но видит только безнадежно мертвую материю. В «Вазе ко дню рождения» это парень, с виду не злой, даже на херувима похожий. «Он вышел на дорогу с мешком, перепачканным известью. Человек как человек, и лицом ничего, и одежда на нем была, кажется, была. Поднимал он мешок, полный кошек под самую завязку, и колотил им о горячий асфальт... Мне и тысячи слов не хватит – рассказать, как я умер в тот день, а затем сделал вид, что живой».

А фоном этой жуткой сцены была молчащая толпа. Никто не подошел, не остановил парня. Не объяснил (может, он полудурок), что так поступать нельзя. Не прибили его, наконец. Все молчали. Герой новеллы не вникает, почему молчали, он констатирует: каждый из взрослых продолжал заниматься своим делом, – «мужчины пили пиво в лесочке, а бабы шли в сельпо за покупками». Попытаться понять молчание? – оно ведь тоже имеет множество разных оттенков: осуждение, предупреждение, угроза. Нет. Равнодушие. Понять, значит простить и





принять, но это невозможно, – зверство непрощабельно, оно богопротивно. Они и видели и слышали предсмертный вой и вопли несчастных животных, но были слепы-глухи-немые. Раз и навсегда принятая удобная во всех отношениях формула обывателя. А все только потому, что парень-то был составной частью, одной из молекул этой толпы и им не было никакого дела до души, наконец, до психики ребенка, увидавшего эту ужасающую, кровь холодящую картину, который ощутил себя «тем котом в мешке... червем на острие лопаты».

В этой новелле только спившийся деревенский поп действует активно и даже агрессивно, пытаясь вернуть людей к Богу. Он полностью отождествляет себя со своей паствой, потому и призывает криком «люди, одумайтесь», потому и крушит громадной палкой буфетные вывески, доказывая, что «суд Божий грядет». Его паства тоже воспринимает его как своего, родного, но в силу своего сана, чуть-чуть приподнятого над ними; потому и не обращает особого внимания на его проповеди и прощает его выходки и пьянство. Хотя, вероятней всего, спился-то он, понимая свое бессилие что-либо исправить в человеческой сути: если сам человек не прилагает никаких духовных усилий, чтобы выбраться из греха, то никто и ничто – ни религия, ни наука, ни искусство – не в состоянии решить эту задачу. Делегировать церкви свои права и обязанности быть нормальным человеком, изо всех сил стараться спасти свою бессмертную душу – еще одна уловка, подсказанная бесом.

«Нас не надо жалеть, да и мы никого не жалели». Предадим забвению имя автора этих строк, который втащил на пьедестал поэзии подлую установку проклятой эпохи. Зверь, пожирающий зверя, не ведает жалости. Жестокая эпоха обязала разделить участь зверя: или будь пожираемым, или пожирающим. Но что бы ни случилось, стать первым – развила до крайности коллективный, то есть стадный инстинкт, и не дай Бог, кто-то кого-то пожалеет – по сей день это воспринимается как оскорбление личности. Личность не ведает жалости? Но ведь жалость – первый крик разума, интеллекта. И только через жалость и сострадание можно прийти к любви, т.е. к Богу, другой дороги просто нет. Чем бы стал человек, отними Бог у него жалость и сострадание? «Сверхчеловеком»? История дала человечеству возможность – и не единожды – заглянуть в глаза таких «сверхчеловеков». Леденящая душу же-





стокость – вот что оно там увидало. Содрогнулось. Отшатнулось.

Жалость. Сострадание. Совесть. Вина. Абсолютная искренность этих чувств придает особый трагический тембр его голосу, делает его узнаваемым и неподражаемым. Слово «неподражаемый» я употребила не в качестве комплимента, а в буквальном, первоначальном смысле этого слова, т.е. списать, подделать тембр, интонацию невозможно, а именно интонация для Бориса Чипчикова важнее факта и является реакцией на факт.

Детский глаз особенно подвержен соблазнам, однако воспитанный в ссыльной семье мальчик, на котором перешитое «с отцовского плеча» суконное пальтишко и резиновые сапоги, и которому никогда не приходило в голову сказать «купите мне то или это», и вдруг попавший в изобилие конца 50-х, конечно же, не смог справиться со своими желаниями. Но через жалость пришло понимание. Отец купил бы ему все блага мира, так желанные детскому сердцу, но в деревянном чемодане с громадным висячим замком, конечно же, были не деньги, а единственная ценность – бумажки, подтверждающие, что он, человек, которого государство и власть заставили от звонка до звонка пройти три войны – японскую, финскую, Отечественную – а теперь «спецпереселенец», имеет какие-то человеческие права в этом государстве.

Если кричишь из детства – перекричишь всех: и Толстого, и Гоголя, и Маркеса, ибо этот крик – крик Господа, ибо ребенок по дистанции ближе к Нему – он только что сошел на землю с Его Лона.

Найден еще один осколочек вазы, быть может, самый важный его фрагмент.

Несмотря на все удручающие, ужасающие картины, новелла насквозь пронизана добротой и любовью. Причем, Любовь, Доброта, Красота выступают не в качестве абстрактных понятий, шеренгой эстетических клише, а действующими и воздействующими субстанциями. Они тем более выразительны и значительны, чем большее давление на них оказывают силы зла.

Герои Б. Чипчикова поражают своей незащищенностью... и силой, мудростью... и детской наивностью. Они неунывающие бунтари, на предельном напряжении преодолевающие давление повседневности и черпающие силы для этого в своих идеальных высях. Они рады бы плюнуть на все и «рвануть» куда-нибудь, но из себя





не выпрыгнешь, корни не пускают, родовое начало, постоянно вопиющее в крови. Но мотив дороги в его творчестве постоянен. Дорога, как последнее прибежище, которым можно воспользоваться в любую минуту, в крайнем случае, уже не в мечтах, а на самом деле. Дорога – надежда, дающая силы выжить.

Но именно дорога – дорога на родину отцов рассекла надвое судьбу героя новеллы «Белла». В этой новелле, в судьбе ее героя, отразилась трагедия целого поколения балкарцев, рожденных в степях Средней Азии. И именно Чипчиков впервые в литературе открыл эту тему в 1979 году, опубликовав «Беллу» в альманахе «Шуехлук».

Ссылка исковеркала многие судьбы, и до сих пор проклятием живет в народе, который в течение нескольких часов – весь! – был загнан в товарные вагоны и отправлен в чужие края с четкой установкой свыше – исчезнуть с лица земли как нация. Белла, Печорин, Казбич – эти литературные герои, оживленные тихим голосом матери, жили отдельной жизнью в воображении маленького человека и были для него символом Кавказа, о котором так тосковал народ выживший, но не прижившийся на чужбине. Слово «Кавказ», которое ежедневно по много раз слышал мальчик, был особым, крайне привлекательным миром, окутанным ореолом таинственности, а, приехав на Кавказ, он не понял и не принял его – душа рвалась из тесноты замкнутого горами пространства вширь, ввысь, в бесконечность, – на просторы земли, где он родился. «Детство мое осталось на просторах твердой желтой земли Азии, где полыхали алые маки, огонь которых обрывался у белых гор».

* * *

Определить жанр значительного, я бы даже сказала, программно-го произведения «Там, где будет стоять дом», непросто. Обозначим условно, следуя литературоведческим канонам: мы имеем дело с этико-философским эссе, круто замешенном на социологии, политологии, историографии, теософии, культурологии. Здесь сосредоточены сгущенные до предельной концентрации идеи, которые в чистом виде, не разведенные беллетристикой, пожалуй, невозможно будет усвоить. Эссе, безусловно, требует подготовленности читателя и того сокровенного процесса, когда «чтение – есть соучастие в творчестве» (М. Цветаева).

Тем не менее, идеи, образы, которые плещутся здесь, просты и





вечны, но, как всегда у Чипчикова, увидены под особым, присущим только ему углом зрения: ими – прямо или косвенно – напитаны, насыщены все его произведения.

Дело даже не в удручающей картине: пирамида камней посреди скал на отшибе домов, – это скорее экстраполяция душевного состояния героя, который странным образом совпал с ландшафтом, основательно измененным активной деятельностью человека. А брюзжание – действие, отвлекающее внимание от действительности и подчеркивающее решимость и сомнения по поводу поставленной перед собой задачи. В этом ассоциативном ряду, который спрессовался в нескольких предложениях, четко прослеживается дистанция между ним и всеми остальными. Его воспринимают как аутсайдера, – люди зашоренные ложными ценностями, замороженные коммунистической идеологией. Чаще всего они вызывают у него сострадание, порой раздражение, но любое упоминание о преданном служении тоталитарной власти вызывает у Чипчикова неизменный сарказм, причем независимо от социального статуса человека: и пионеры (понимай – павлики морозовы), и председатели колхозов, и поэты, воспевающие их «подвиги», – суть атрибуты тоталитарной власти. Безумие, когда человечность подменяется атрибутами, а нравственность идеологией.

Метания в поисках родины, дома завершены. Начат новый этап жизни. Соотнесенность потомков и предков закономерна, но не в смысле преемственности поколений, хотя она тоже присутствует, но глубоко спрятана, – и не только потому, что от частой эксплуатации в быту и литературе этот смысл явно поистерся, а в другом: и дети, и предки равно близки к нему в родовом и эмпирическом плане, однако и равно удалены от него в реальности. При желании здесь можно увидеть аллегорию: люди-дети, кто в буквальном, кто в метафорическом смысле: поверили Библии, натаскали камней, а смысл самого действия оказался завален теми же камнями. Пафос библейской аллегории (время разбрасывать камни и время их собирать) намеренно снижен. «Собирать камни – это просто собирать их, грузить в тачку и катить ее к реке». В этой «заземленности» мне слышится вопрос: ну собрали детки и предки камни, соорудили громадную до неба пирамиду, ну сделали сказку былью, и что изменилось в человеческой природе? Перестали убивать, грабить, прелюбодействовать, подличать? Может, и





вправду пора расчистить грандиозное пространство, заваленное камнями, и посмотреть на землю, которая под ними? Но это труд сугубо индивидуальный, каждодневный и невероятно тяжелый.

«Дети такая же редкость, как шаровая молния в собственной комнате» – метафора отрицания, если можно так сказать, но отрицания не детей, как может показаться на первый взгляд, а того смысла, который обычно вкладывают в слово «дети», то есть наивные, несмышленные и т.п. существа. Автор убежден: изначально дети все понимают, и понимают правильно, но по мере взросления переучиваются и приспосабливаются под давлением этого мироустройства, а состояние взрослости – только непоправимая потеря того ценного, личного, что и служит платой, иногда непомерной, за эту жизнь.

Как бы мы ни пытались обобщить и классифицировать творчество Бориса Чипчикова, в его прозе всегда отыщется мысль, опровергающая наши представления о нем. «Я – человек, то есть пространство. Камень – пространство» – подобные заявления могут ввести в шок некоторых философов. А собственно, почему бы и нет? Для ясности вспомним определение пространства: «Это форма существования материальных объектов и процессов, всеобщее свойство пространства – протяженность, единство прерывности и непрерывности». В данном случае и человек, если смотреть на него в качестве объекта, то есть то, что противостоит субъекту в его познавательной деятельности, и камень – объекты. И здесь лирический герой выступает уже одновременно и в качестве объекта и в качестве субъекта, то есть источника активности, направляющий на объект познания свои глубинные духовные процессы. Причем он отдает себе отчет в том, что камень – сущность, возможно, и неодушевленная, но обладающая свойствами совершенствовать процесс познания: «Камень у Сизифа не простой, он – точильный. Сизиф извлекает из себя дары Божьи, а камень их оттачивает. И никого больше. Человек, Бог и дары Божьи».

Л. Гемуева

Литературная Кабардино-Балкария, №3, 2007.





НАДЕЖДА ВЕРНУТЬСЯ К СЕБЕ

Свет, печаль, мелодия. Поляна в колокольчиках и светлячках. Бездомная родина. Тропинка, проложенная в поисках себя. Бога. Чудо первых произносимых слов... Это книга «Возвращайся свободным» Бориса Чипчикова. Нет, в данном случае издательство «Эльбрус» выпустило не сборник рассказов. Зачастую обреченно и планоно оно тиражирует под разными наименованиями разные сборники. Очень редко в этом устаревшем, механическом конвейере случается «сбой», и наши издатели ошеломляют публикацией действительно Книги.

«Возвращайся свободным» – открытие безусловное и открытие утешающее – она «кусочек совести». И то, что она выпущена в брошюрном объеме, на плохой бумаге, отступает перед изумлением, что она вообще появилась. Может быть, наконец, что-то изменится и у нас. В зоне, где духовная патология утвердилась как норма, где писатель, без партбилета и самоотречения, был немислим, как заключенный без конвоира.

В ней только высокое напряжение духа, отбрасывающее ложное и лобовое, энергия природного таланта, питающаяся совестью и добротой. По всей книге разбросаны озарения, откровения, напоминания, произносимые с интонацией оклика. Их надо запоминать. «Только любовь способна вернуть память. А в нечистом она не селится. Только любовь и удивление могут спасти». «Побег из рабства так долог и бесконечен». «Слаб – упавший. Выстоявший – мертв». Страшная истина. Но не единственная. «Ад и есть – бесконечное, непрерывное серое». «Самый трудный путь – это легкий путь». Я могу долго-долго выписывать собственные открытия Чипчикова, которые невозможны без сохраненной души, сосредоточенной медитации и внутренней свободы.

Стиль Чипчикова – увлекательная тема. Присутствие неповторяемого духовного опыта само по себе ведет к личной стилистике, а здесь еще и редкое как по свойству, так и по силе дарование. При этом автор





меньше всего тревожится о сохранении чистоты жанра. Также отсутствуют усилия расширить возможности антиформы.

В зависимости от пристрастий и интеллекта критика, творчество Чипчикова можно отнести к постмодернизму, к абстракционизму, романтизму и т. д. Можно сказать, что по сюжетности и динамизму ассоциативного ряда, дерзкому отсутствию однажды установленных правил, преобладанию внутреннего монолога, его проза ближе к потоку сознания в самом редком и трудном отражении – медитативном.

Во всей книге он ищет дом. Точнее, место для дома, которое он несет в себе. Это больше, чем высказанная правда о нескольких поколениях балкарцев, родившихся в изгнании, детьми брошенных на чужбину. Образы времен, рас, религий, образы тех, кто создал культуру человечества и ее убожество, наплывают друг на друга. Их многообразие, внезапность иного освещения утомляют и вознаграждают иным узнаванием.

Гоголь, Сервантес, Филонов, Шопен, Достоевский... Обращенность к ним вызвана не филологическим чувством. Отсутствует прием оттачивания, естественный у читающего писателя и уж тем более нота интеллектуальной демонстрации. Пожалуй, только у Борхеса можно встретить такое непосредственное, личностное отношение к великим и трагическим именам в мировой культуре. Но если Борхес, ироничный в своей переоценке (по свойству таланта), иногда увлекается до насмешки, то у Чипчикова и при несогласии – только печаль. Два чувства – любовь и вина – главные в его мире. Пронизанные своеобразным духовным опытом, они выводят к «новому зрению».

Встреча со спасающим словом в жизни, и потому оно присутствует в каждой его новелле.

Сохраненная с детства лестница от моря до неба. На нее «ничто чуждое и ложное, и никто лживый ступить не может». Помогала она. И оклик – если можешь, постарайся однажды «вернуться свободным». Иначе и в уходе, и приходе мало смысла...

Р. Кучмезова

«МК-Кавказ», 24-31 января, 2002.





ВОЗВРАЩАЙСЯ СВОБОДНЫМ...

«Пьющий в меру вино и безмерно любящий человек есть божий человек» – так сказал Борис Чипчиков. Мне же хочется сказать про Бориса: «Безмерно любящий истину и человека есть живой человек».

Столько силы сокрыто в этом хрупком человеке – уму непостижимо. Он знает, что любовь – это свобода, и он любит быть свободным. Он любит человека, он любит правду, он любит слово. В его руках слово превращается в инструмент освобождения. Он просто взял и описал свои чувства – что может быть проще? Очень немногим удается наполнить бумагу смыслом, а ему удалось. Своей безграничной любовью он лишил бумагу презрительного прозвища «макулатура». Каждый миллиметрик его книги говорит правду, и от этого она тяжела, как свинец, недоброму человеку и вовсе ее не поднять.

Борис говорит, что он родился полвека назад, но это не совсем так. Он был рожден вместе с истиной и впитал ее всей душой. Он помнит динозавров, и как ему не помнить, ведь он один из них. Он долго лежал под пластами лживых отложений, дожидаясь своего часа, и вот, полвека назад, его родители выступили в роли осторожных археологов, дабы явить его миру. Он явился и начал поиски истины в мире обновленном, но оказалось, что правда всегда одна, и люди до сих пор ее не поняли.

«Возвращайся свободным», – говорит нам реликтовый человек. «Возвращайся свободным» – это не только название книги, это призыв к действию.

Х. Мамай

Советская молодежь, 24 октября, 1998.

О ПРОЗЕ Б.ЧИПЧИКОВА

Сборник Б. Чипчикова «Возвращайся свободным» также насыщен аллюзиями и реминисценциями. Это связано с постоянной апелляцией автора к классическим и современным писателям и ключевым мотивам их творчества: от А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова,





Н.В. Гоголя, И.А. Тургенева, М. Цветаевой до Б. Окуджавы, В. Шаламова и Р. Семенова.

Б. Чипчиков предельно усложняет структуру произведений, ведет «литературную игру» с читателем, втягивая его в процесс, характерный для постмодернистской прозы – сотворчество писателя и читателя. Автор переосмысляет художественные традиции, вводит в свои произведения известные сюжеты и образы, рассчитывая при этом на искушенного читателя, хорошо знающего классические мифологические и литературные сюжеты, способного адекватно воспринимать любую их трансформацию и находить в этом особое эстетическое удовольствие, становясь «соучастником» повествования. Иначе смысл авторских рассуждений останется темен. В рассказах Б. Чипчикова работает один из центральных принципов постмодернизма – сюжетно-повествовательная ориентация на образованного читателя.

Цикл рассказов Б. Чипчикова буквально зиждется на архетипах. Постоянная апелляция автора к известным мифам и традиционным символам не завуалирована драматическим сюжетом, а прямолинейна. Среди прочих особое значение в контексте чипчиковской прозы приобретают библейские мифы. При этом автор дает альтернативную трактовку «вечных» мифологем: он трансформирует миф о запретном плоде, миф о Сизифе, священные библейские заповеди. Редакция Евангелия – шаг смелый, но закономерный в контексте постмодернистской литературной традиции.

Среди формальных проявлений особенностей современного литературного процесса в прозе Б. Чипчикова выделяется жанровая синестезия. Его рассказы продолжают традицию жанра «стихотворений в прозе» И.С. Тургенева и лирической прозы М. Цветаевой. Они предельно субъективны, интимны, проникнуты лиризмом, а эпические элементы играют в них больше подчинительную роль, способствуя формированию иносказательного смысла или являясь основой философских выводов-обобщений.

Б. Чипчиков постоянно стремится выйти за пределы эмпирической данности. Его проза характеризуется раскованностью стиля, импровизационного по своей природе. Автор фиксирует путь и ритм мысли, обнажает рождение слова, использует некоторые элементы ритмической





прозы, например, синтаксические повторы, кольцевую композицию, мелодичность текста. Он нарушает привычный строй фразы, инверсии становятся его излюбленным и постоянным приемом. Б.Чипчиков переносит в свою прозу средства уплотнения языка. Игра слов – один из таких энергетических ресурсов. Внимание к созвучию, соседству слов создает формулы и афоризмы. Иногда эти формулы рождаются на глазах читателя, чаще они рассыпаны по тексту. Такие «трудные» стилистика и синтаксис прозы Б. Чипчикова обусловлены «трудной» сутью – стремлением уловить сам процесс постижения жизни.

О. Абакарова

***Современная русскоязычная проза Кабардино-Балкарии:
поэтика стилей и жанров. Нальчик, 2005.***

ЛИРИЧЕСКАЯ ПРОЗА БОРИСА ЧИПЧИКОВА

Индивидуальность писателя неразрывно связывается с его мироощущением и находит выражение в языке, жанре, композиции, ритме, интонации – сложном конгломерате компонентов, составляющих идиостиль. У каждой творческой индивидуальности существуют особые способы организации словесного ряда, ритмико-интонационные, композиционные и жанровые предпочтения, которые определяются не только социально-психологическими особенностями личности, но и художественными тенденциями «пространства и времени». В современный период человек становится психологически, эмоционально и интеллектуально вовлеченным в различные культурные пласты, что проявляется в многослойности художественного образа, смешении стилей и жанров. Постмодернистские тенденции сказываются и в том, что творческая индивидуальность писателя начинает определяться не только интеллектом и самодостаточностью, но и гибкостью мышления, «разомкнутостью» в мир, способностью быстрого и немедленного реагирования. Наверное, поэтому достаточно популярным в литературе становится жанр лирической прозы, позволяющий любые явления повседневности преподносить необычайно ярко и красочно. История развития жанра в русской литературе начинается со знаменитых стихотворений в прозе И.С. Тургенева, продолжается в рассказах





И. Бунина, миниатюрах М. Пришвина, К. Паустовского, «крохотках» А. Солженицына и длится до сих пор. В настоящий период, опираясь на богатые традиции русской классической литературы, национальные писатели обогащают данный жанр собственным мировоззрением и неповторимым колоритом.

Первый сборник Б. Чипчикова «Возвращайся свободным» (Нальчик, 1998) включает разнообразные по жанру и стилистике произведения (рассказы-воспоминания, аллегорические новеллы, философские этюды и др.). Выдвигая на первый план зарисовки мелких эпизодов окружающего мира, мимолетные мгновения, писатель выстраивает собственную концепцию лирической ритмичной прозы. Ритм присутствует в любой прозе, так как самые обычные фразы могут скандироваться, разбиваться на последовательность более долгих и кратких сегментов, но когда мы знакомимся с подлинно значительной ритмической прозой, она позволяет нам полнее ощутить текст, что-то в нем выделяя, что-то связывая воедино.

В рамках жанра лирической прозы Б. Чипчиков достигает особой доверительной интонации, разговора с читателем напрямую, без посредников. В проникновенной интонации стремление объединить опыт внутренний с внешним – и, размышляя, достичь гармонической цельности. Но размышление это осуществляется не в виде отвлеченных сентенций, а через осмысление прошлого исторического, религиозного, культурного опыта. Человек, не знающий, где родился и куда уйдет, по мнению Б. Чипчикова, подобен вазе, разбитой вдребезги. Пытаясь найти ответы на вечные вопросы бытия: «Куда иду? Зачем иду? Шел ли я вперед или, быть может, так мне казалось, а на самом деле пятился назад к истокам?», автор обращается к различным пластам истории своего народа.

Рассказ-воспоминание Б.М. Чипчикова «Бэлла» о судьбе поколения, выросшего на чужбине, поколения, для которого Кавказ был только загадочным и холодным словом. Плацкартный вагон – место воспоминаний и своеобразная точка, вмещающая в себя прошлое и настоящее. В прошлом: ожидание встречи с родиной, теплое чтение книг, «оранжево-однородная Азия». Кавказ встретил «рваным туманом», «опавшими листьями», «скалами со всех сторон». Но продолжают «цвести» книги – «теплые островки среди бесконечного ненастья».





Авторское место в середине вагона – еще одно звено в цепи взаимосвязей – географических, исторических, литературных: Средняя Азия и Кавказ, Бэлла из повести М.Ю. Лермонтова и чеченская девочка Белла в модных джинсах.

Писатель стремится увидеть историю не как цепь однажды случившихся событий, а как систему, в которой настоящее соседствует с прошлым и будущим, один народ живет рядом с другим, одна культура перетекает в другую. Разрушение модернистского «аутизма» и осознание значимости любых явлений для индивидуального бытия наполняет прозу Б. Чипчикова многообразием и глубиной различных культурно-религиозных традиций, в единении которых, по мнению писателя, залог будущего развития. «Христос и Магомет – дети единого народа – евреев и арабов. Библия и Коран – две страницы листа единого» («Там, где будет стоять дом»).

А если говорить о времени, то время у Б. Чипчикова ассоциируется скорее с песочными часами, которые всегда можно перевернуть, чем с неумолимым механическим или электронным циферблатом. Как во времени скрывается множество пластов, так и в каждом человеке скрывается потенциал многих превращений. «Иногда старик говорил, что ему семьдесят, иногда шестьдесят, были дни, тянувшие на все девяносто, да и не в годах было дело» («Розовое подполье»). Но двойственность не зловеща: именно в ней проявляется фон возможностей проявления личности, рождения новой реальности. «Сказки продолжались. Одна вливалась в другую, рождала третью, и не было конца тем сказкам» («Розовое подполье»). А, быть может, неумолимый бег времени – всего лишь сказка, внезапно ставшая явью. «Сказка давно уже быть» («Там, где будет стоять дом»).

И в этом смысле идиостиль Б. Чипчикова стягивает в единый узел прошлое, настоящее и будущее, а индивидуальная стилистика – попытка отражения жизни как цельности. «Суть крупнеет, расширяется, ибо ливень смывает границы неба и земли, соединяя их в единое целое, и суть земная утекает в бесконечность, крупнея и крупнея» («Там, где будет стоять дом»). В подвижности очертаний, мягкости контуров и бесконечности цельность эта не самоочевидна и объективна, она реконструируется напряженными усилиями совместить духовное и материальное бытие, которое в мироощущении писате-





ля является единым целым. В конструировании «новой реальности» важную роль играет «трехслойное видение», учитывающее не только позиции самого автора и читателя, но и третьего, отстраненного лица («взгляд со стороны», гештальт). При этом «другой» не только не оппонент автора, а скорее, его дополнение, включающее в себя эмпатию или «участное внимание», которое ярче всего проявляется посредством архетипа «дороги». Авторская позиция «идущего человека», человека, готового к встрече: с давно ушедшим другом («Озрок»), чеченской девочкой «Бэлла»), котенком («Я сам выбирал себе папу»), просто с незнакомыми людьми («Здравствуй, незнакомый») подчеркивает «центробежный» характер современной прозы.

Лейтмотив дороги, движения, лежащий в основе композиции и определяющий событийный ряд повествования, опирается на солидную культурную традицию – от средневековых паломнических романов-путешествий, гоголевской тройки, мчащейся в «Мертвых душах», до современной прозы В. Аксенова и С. Довлатова. В рассказе Б. Чипчикова «Здравствуй, незнакомый» автор садится в автобус и фиксирует все увиденное, не только за окнами, но и в памяти, душе. Все начинается с кругов печали: первая печаль – кони, несущие «на себе не знающих куда скакать, зачем скакать и кого убивать, несчастных, обезумевших людей. А безумие так зримо – жизнерадостный человек, сидящий на печальной лошади, да еще и поющий героические песни». Взгляд, полный глубинной печали, позволяет рассматривать жизненные метаморфозы не только с точки зрения «восседающего», но и «несущего». В более раннем рассказе «Двери» автор печально констатирует: «Лошадь с любопытством повернула ко мне голову, и в ее громадном всемудром глазу уместилась луна, и смешным и нелепым показался я себе, восседающий почему-то на существе, в чем-то равном мне, а в общем, гораздо более чистом и безгрешным, чем я».

Не случайно, вторая печаль – дефицит любви к ближнему, человека к человеку. «Вот бы в следующей жизни родиться породистым псом. Все гладили бы меня по голове, и тогда бы я узнал, что такое любовь». Но, быть может, «встреча земли, неба и человека» («Там, где будет стоять дом») – любовь – это дорога, дарующая надежду или не оправдывающая надежд? Так наступает время для третьей печали: ненадежности на первый взгляд надежного. «Шагнул в лужу, и бо-





тинки неожиданно протекли, а с виду казались такими надежными». Несоответствие, дисгармония мира внутреннего и внешнего, непреодолимый разрыв между «быть» и «казаться» настолько очевидны и печальны, что ничего не остается как... радоваться. Встреча – всегда радость, встреча – событие и в этом смысле любой повстречавшийся на жизненном пути человек становится сопричастным и твоей судьбе. Особый тип восприятия позволяет Б.Чипчикову рассматривать человека как сложную систему со-бытийствующих живых существ, каждое из которых неповторимо и почитаемо. «Незнакомый, я думаю о тебе, я верую в тебя, помолись и ты за меня, один я так далек от Бога, а вдвоем мы рядом с ним».

Столкновение человека с «другим», «здравствуй», сказанное всем живущим, сообщает с неведомым, встреча понимается как общительность, побуждающая к ощущению всей полноты бытия. Таким образом Б.Чипчиков создает особую реальность, в которой каждый ответственен не только за себя, но и за другого.

Иначе построен цитируемый ранее философский этюд «Там, где будет стоять дом». Здесь описательный материал максимально сгущен, а на первый план выдвигаются размышления автора-повествователя, представленные в форме внутреннего монолога. В качестве одного из ведущих начал наряду с изобразительной выступает здесь выразительная деталь. Равная изобразительности по содержанию, выразительность противоположна по направленности художественной энергии. Если изобразительность – отражение материального мира, то выразительность мира духовного и проявляется в свободном и органичном внедрении в ткань текста Гоголя и Лермонтова, Шаламова и Солженицына, Хемингуэя и Маркеса. Это позволяет автору размышлять о вечных вопросах бытия в контексте мировой истории, литературы, культуры. Анализируя события далекого и недавнего прошлого, автор приходит к выводу, что созидание новой реальности должно начинаться прежде всего с созидания собственной души. Внутренняя неоднородность и многослойность текста в конце концов выстраивается в стилевое единство: «... опять стиль, опять оболочка и ни слова о том, что родилось от внешней и внутренней связи о том, третьем, что важнее и значимее всех и всяческих стилей – атмосфере, духе, вещи».

Стилевая эмоциональная выразительность, настраивающая пове-





ствование в определенной тональности, проявляется и в отражении промежуточных, «пограничных» ситуаций между явью и сном, состояний, расковыливающих воображение. В этом плане интересен рассказ «Сон», в котором унылое однообразие повседневности преобразается в эмоционально яркую, насыщенную событиями действительность. Скрытую внутреннюю жизнь человека автор превращает в реальность большую, чем всем очевидную внешнюю реальность. Повествование ведется не от звена к звену, не логикой последовательного описания или рассуждения, но всевозможными сцеплениями или ассоциациями, случайный взгляд или звук могут внезапно пробудить паутину воспоминаний, любое сходство, мелькнувший образ, имя – все может послужить причиной обрыва одной словесной нити и начала другой. В данном рассказе наиболее выпукло, на наш взгляд, представлены такие художественные особенности литературы постмодернизма, как одновременное существование в тексте реминисценций и аллюзий на самые разные эпохи, апелляция к модернистским приемам «автоматического письма», «потока сознания», нарушение линейного принципа причинно-следственного развертывания повествования, введение «интертекста».

В целом, в прозе Б. Чипчикова прочитываются несколько стилизованных пластов: мифо-эпический, народно-поэтический, духовно-книжный. Разнонаправленность таит в себе огромные художественные возможности, но требует огромных сил сцепления, способных удержать разнообразное, свести вместе, и только тогда ритмическая сложность, подвижность и изменчивость придают тексту цельность и гармонию, а хаос чувств, логические неувязки – становятся не недостатками стиля, а его достоинствами. Стройное движение внутренне неоднородной речи в ее гармоническом синтезе – очень важно для понимания авторского хода мысли, для понимания творческого стиля вообще.

*Г. Базиева,
кандидат философских наук
Материалы международной научно-практической
конференции. Ставрополь, 2008.*





МАСТЕР СВЕТА, МАСТЕР МЫСЛИ

Они добры... Наверное, этими двумя словами можно охарактеризовать все книги Бориса Чипчикова, пронизанные мягким светом и любовью к жизни. Впервые я познакомился с произведениями автора случайно, листая республиканскую газету. Наткнулся и застыл. За названием небольшого, ничего не говорящего названия «Озрок» скрывалась целая Жизнь, жизнь в полном ее понимании, с красотой несурзости, подлостью и благородством. Я долго ходил тогда под впечатлением от этого рассказа, и все больше задумывался над впечатлением от прочитанного. Потом прошли годы. Недавно меня пригласили на презентацию его новой книги «Нерестились рыбы в свете лунном» (организатор А.Х. Атабиева).

Книга вышла небольшим тиражом. Не спрашивайте меня, о чем эта книга, скорее всего, я не отвечу. Или отвечу – про Жизнь. Честно говоря, этот вопрос меня всегда ставит в тупик, про что может быть книга? Вот учебник географии спросите меня про что, я вам скажу, он про географию, а книга, она всегда про жизнь, если это Книга. Так что, я не могу сказать вам про что она, но с уверенностью могу сказать вам одно: знакомство с ней похоже на боксирование. На первый взгляд ничем не примечательные строчки носят такой заряд мысли, что физически ощущаешь каждую фразу. Прочитал и тут же возникает сложный клубок эмоций, нервов, мыслей. Ты читаешь дальше, еще фраза, еще удар, звон перерастает в гул, ты стискиваешь губы и вливаешься взглядом в следующую строку, удары сыплются не переставая...

Тебя швыряет от этих ударов, как бумажный лист на ветру, и когда ты чувствуешь что все, больше не могу, наступает тишина. Значит, ты дочитал рассказ. Все, говоришь ты себе, не понимая, как могли простые слова вызвать такую бурю эмоций. Все, как заговоренный повторяешь ты себе вполголоса, но начинаешь читать следующий рассказ. И все начинается заново. Потому что это как наркотик, ты не остановишься, пока не прочитаешь все. Ты снова будешь драться с каждой буквой, с каждой фразой, ты снова будешь скрипеть зубами и держать удар. И снова ты будешь побеждать, но, застыв с победной улыбкой на лице, ты вдруг с ужасом поймешь, что ты уже не тот человек, который открывал книгу, ты стал другим. И это неизбежно, каждая мысль, прочитанная тобою, станет тихой мелодией, которую ты будешь слушать и думать, думать и слушать. Ты будешь находить ответы на мучающие тебя вопросы, а потом





осознавать, что ответы приносят с собой еще больше вопросов. Ты можешь загнать их глубоко в себя и заставить молчать, но это только временная мера, это не поможет, и ты это прекрасно знаешь, потому что мыслить – это значит жить. И мы будем жить, стараясь нести свет или хотя бы уметь его видеть, так как это делает Мастер Света, Мастер Мысли – Борис Чипчиков.

*Б. Кагермазов,
поэт*

У ГОРСКИХ НАРОДОВ БЫЛО ДВА КРЫЛА – ИСЛАМ И ЭТИКЕТ

Чегемское ущелье – удивительная земля, она дала миру Кайсына Кулиева, Якуба Аккизова, Бориса Чипчикова, а еще ранее Лиуана Шиха, пророка и святого, на могилу которого совершали хадж. Я верю, что эта земля даст еще много имен...

*М. Беппаев, поэт
Газета ЮГА, 15 ноября, 1998*

ОДАРЕННЫХ ЛЮДЕЙ В КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ГДЕ БЫ ТО НИ БЫЛО

... Отдельно хочется сказать о Борисе Чипчикове. Это одна их ключевых фигур нашей литературы. Люблю его как писателя и как человека, который живет в соответствии с теми нравственными принципами, которые декларирует в своих произведениях. Осенью Борису исполняется 60, он сумел многое сделать, нигде и никогда о себе громко не заявляя, ничего никому не доказывая.

*Н. Шогенцукова,
доктор филологических наук
Кабардино-Балкарская правда, 6 июня, 2008.*





Содержание:

ВОЗВРАЩАЙСЯ СВОБОДНЫМ!

<i>Повести и рассказы</i>	5
Возвращайся свободным!.....	7
Аленький цветочек.....	9
И светило, и грело... ..	16
Носки.....	17
Бэлла.....	22
Двери.....	29
Идущая по дорогам.....	34
Там, где будет стоять дом.....	37
Ваза ко дню рождения.....	70
Как трудно сшить платье.....	77

НЕРЕСТИЛИСЬ РЫБЫ В СВЕТЕ ЛУННОМ.....	81
Нерестились рыбы в свете лунном.....	82
Облепиховый лес.....	130
Старик. Ночь. Детство.....	171
На краю города.....	175
Озрок.....	178
Кошка.....	184
Пустяк.....	185
Растем, живя.....	186
Музыка.....	188
Улыбается Боже.....	190
Женское могущество.....	192
Сон.....	194
Розовое подполье.....	200
Открытие.....	205
Джантуган.....	207





МЫ ЖИЛИ РЯДЫШКОМ С ГРААЛЕМ.....	215
Благословение долгам моим.....	216
Вслед за августом.....	231
Дворец мой в безлюдной степи.....	234
День, из которого невозможно уйти.....	239
Красивое это слово – тропинка.....	255
Я сам выбирал себе папу.....	258
Здравствуй, незнакомый!.....	263
Меж крестом и полумесяцем.....	268
Мы жили рядом с Граалем.....	281
Хрупко.....	293
Пасха.....	294
Салют из одуванчиков.....	295
Я словом врачую раны свои.....	297

МИНИАТЮРЫ.....	301

<i>Ышарады Аллах. Хапарла.....</i>	<i>359</i>
Туугъан кюнюмю къошуну.....	360
Наша.....	371
Эркин болуб къайыт.....	374
Пасха.....	376
Сыныкълыкъ.....	377
Киштик.....	379
Эшик.....	381
Чындайла.....	389
Ышарады Аллах.....	395
Уручуну тили.....	397
Гитче чунгур, уллу чунгур, чунгурла.....	399
Озрок.....	404
Тюш.....	407
«Бэлла».....	414
Тиширыуну кючю.....	417
Ийнанам.....	420
Къалай къыйынды джыйрыкъ тикген.....	423
Излеген джерим, ишлерик юйюм.....	427





Керти джашауда керти да джашайдыла.....	476
Чычхан.....	478
Джарытхан да эте, джылыу да бере.....	479
Сюймеклик сагъаты.....	482
Бюгюн.....	483
Ачы алмала.....	488
 ПРИЛОЖЕНИЕ.....	 492
С. Алиева. «Самый умный человек – человек улыбающийся» (Несколько слов о творчестве Бориса Чипчикова).....	492
Ф. Урусбиева. Уровни чтения (Повесть Б. Чипчикова «Нерестились рыбы в свете лунном»).....	493
Л. Гемуева. «Возвращайся свободным».....	500
Р. Кучмезова. Надежда вернуться к себе.....	512
Х. Мамай. «Возвращайся свободным».....	514
О. Абакарова. О прозе Б.Чипчикова.....	515
Г. Базиева. Лирическая проза Бориса Чипчикова.....	516
Б. Кагермазов. Мастер света, мастер мысли.....	522
М. Беппаев. У горских народов было два крыла – ислам и этикет.....	524
Н. Шогенцукова. Одаренных людей в Кабардино-Балкарии больше, чем где бы то ни было.....	524





«КАРАЧАЕВО-БАЛКАРСКАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ КЛАССИКА»

Литературно-художественное издание

Б.М. Чипчиков
МЫ ЖИЛИ РЯДЫШКОМ С ГРААЛЕМ

Составитель и редактор
Фатима Ибрагимовна Байрамукова

Технический редактор Л.А.-А. Батчаева
Компьютерная верстка М. Н. Кумуковой
Корректоры Т. П. Костенко, Ф. И. Байрамукова

Издательство фонда
«Содействие развитию карачаево-балкарской молодежи
«Эльбрусоид» .

